



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slav 381.60 (12-13)

*The gift of*

Library of the  
University of Petrograd

 HARVARD COLLEGE LIBRARY 







# ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

---

СБОРНИКЪ

Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Н. И. КАРѢВА.

(1901 г.).

---

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

1901.

P Slav 381.60 (12-13)

~~Slav 25.20~~

✓

HARVARD  
JUL 17 1924

Library of  
University of Petrograd



3102

Печатается по постановленію Комитета Историческаго Общества при  
Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ. Спб., 25 октября 1901 года.  
Предсѣдатель *Н. Кареев*.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

	СТРАН.
<i>Н. И. Кареев.</i> „Теорія личности“ П. Л. Лаврова. . . . .	1—52
<i>Н. Н. Буличъ.</i> Очерки по исторіи русской литературы и просвѣщенія съ начала XIX в. . . . .	161—381

---



## „Теорія личности“ П. Л. Лаврова.

(Къ исторіи соціологіи въ Россіи).

Н. И. Карѣева.

---

Недавно мы присутствовали при зрѣлищѣ, поражавшемъ многихъ своею странностью и неожиданностью. Проповѣдовалось ученіе, которое заявляло себя самымъ прогрессивнымъ, но боевымъ лозунгомъ котораго было отрицаніе за личностью всякаго значенія, какъ дѣятельной силы въ исторіи. И этому ученію внимали цѣлыя сотни, можетъ быть, даже и тысячи молодыхъ человѣческихъ существъ, какъ будто радовавшихся тому, что личность оказалась „величиною, соціологически ничтожною“, а „роль ея въ исторіи—неимѣющею никакого самостоятельнаго значенія“. У многихъ, по крайней мѣрѣ, такіа заявленія вызывали бурю восторга — и взрывъ смѣха надъ теоріей, на смѣну которой приходило новое ученіе. Впрочемъ, можно ли было и не смѣяться, когда проповѣдники новаго „научнаго взгляда“ представляли старую теорію, какъ нѣчто совершенно нелѣпое? „Личность, — такъ буквально передавалась суть этой теоріи, — *личность все можетъ* въ томъ смыслѣ, что для нея не существуетъ соціологической необходимости“, ибо она есть-де нѣкая „самопроизвольная, творческая сила, ничѣмъ не обусловленная“. Не то было странно, что смѣялись надъ нелѣпой идеей, которой, прибавимъ, никто и никогда, однако, не высказывалъ, — а то было удивительно, что радовались ученію о ничтожности личности сотни и тысячи человѣческихъ личностей и притомъ болѣею частью такихъ, у которыхъ полагалось бы ожидать скорѣе преувеличенныя представленія о силахъ человѣческой личности, нежели склонность къ ея отрицанію.

Это явленіе было бы даже совсѣмъ непонятно, если бы новое ученіе не представляло безличный, стихійный и роковой процессъ

исторіи, какъ могучую и непреодолимую силу, имѣющую собственными своими средствами, безъ особыхъ усилій со стороны человѣка, осуществить царство правды на землѣ. Но невольно все-таки возникаетъ вопросъ, знали ли тѣ, которые восторгались благодѣтельностью фатальнаго хода судебъ человѣчества, въ чемъ на самомъ дѣлѣ заключается теорія личности и личнаго дѣйствія въ исторіи. Я думаю, что едва ли придется отвѣтить на этотъ вопросъ утвердительно. Въ противномъ случаѣ аудиторія должна была бы, по крайней мѣрѣ, протестовать: „но вѣдь этого же *они* никогда не говорили! Это — клевета на *ихъ* здравый смысл!“

Въ числѣ представителей побѣдоносно сдававшейся въ архивъ социологической теоріи на первомъ мѣстѣ, конечно, назывался покойный Лавровъ, который еще сорокъ лѣтъ тому назадъ выступилъ со своею „теоріею личности“ и продолжалъ разрабатывать ее до самаго конца жизни. И въ самомъ началѣ его теоретическая философія, вращавшаяся около идеи личности, какъ своего центра, равнымъ образомъ встрѣтила отрицаніе со стороны молодого поколѣнія въ лицѣ Писарева, собственная философія котораго сама, однако, была культомъ личности. Впрочемъ, въ характеристикѣ Лаврова, данной Писаревымъ въ „Схоластикѣ XIX вѣка“, мы едва ли узнали бы Лаврова, если бы самъ критикъ не сказалъ намъ, о комъ у него идетъ рѣчь. „Слабая сторона этого писателя, говоритъ Писаревъ, заключалась въ отсутствіи субъективности, въ отсутствіи опредѣленныхъ и цѣльныхъ философскихъ убѣжденій“. И новыя его „Бесѣды о современномъ значеніи философіи“, „не представили никакого опредѣленнаго міросозерцанія... То, чтó г. Лавровъ называетъ философіею, отрѣшено отъ почвы, лишено плоти и крови, доведено до игры словъ; это — схоластика, праздная игра ума“. Онъ „довольствуется безцѣльнымъ движеніемъ мысли въ сферѣ формальной логики“ и т. п. <sup>1)</sup> Но Писаревъ въ своемъ непониманіи писателя имѣлъ, по крайней мѣрѣ, одно оправданіе: онъ не выдавалъ своихъ приговоровъ за абсолютныя научныя истины и не приглашалъ ихъ вѣрить въ какой-нибудь Коранъ. „Въ моей статьѣ, признавался онъ самъ, навѣрное встрѣтится много ошибокъ, много поверхностныхъ взглядовъ“ <sup>2)</sup>, и потому онъ просилъ читателя самого подумать. Это, дѣйствительно, былъ одинъ изъ тѣхъ „промаховъ незрѣлой мысли“, въ которыхъ, какъ извѣстно, ему приходилось печатно каяться.

Только недоразумѣніемъ, въ смыслѣ „промаха незрѣлой мысли“, можно, впрочемъ, объяснить и то восторженное отношеніе къ отри-

<sup>1)</sup> Сочиненія Д. И. Писарева. Спб. 1868. X, 108, 109, 112.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 113.

цанію личности, свидѣтелями котораго мы недавно были. Повидимому, увлеченіе теперь улеглось, и быть можетъ, данная минута—самое подходящее время напомнить, въ чемъ на самомъ дѣлѣ состоитъ теорія личности, смыслъ которой былъ такъ безжалостно искаженъ въ приведенныхъ заявленіяхъ. Съ этою цѣлю, въ дальнѣйшемъ мы и воспроизведемъ взгляды на данный вопросъ Лаврова, раньше другихъ „соціологовъ-субъективистовъ“ выдвинувшаго въ общественной и исторической философіи на первый планъ принципъ личности и больше, чѣмъ кто-либо изъ нихъ, занимавшагося его теоретическою разработкою.

Для того, чтобы надлежащимъ образомъ понять тѣ идеи П. А. Лаврова, которыя будутъ предметомъ дальнѣйшаго изложенія, необходимо принять въ расчетъ, что свою литературную дѣятельность, получившую въ концѣ концовъ чисто соціологическое направленіе, онъ началъ работами философскаго характера, въ которыхъ преобладали вопросы психологіи, гносеологіи и этики, стоящіе далеко отъ проблемъ соціологіи въ тѣсномъ значеніи этого слова. Правда, въ настоящее время и этимъ вопросамъ стараются дать соціологическую постановку, но не слѣдуетъ забывать, что Лавровъ началъ писать сорокъ лѣтъ тому назадъ, когда и въ области психологіи, и въ области этики господствовало строго индивидуалистическое направленіе. Не входя, далѣе, въ этомъ бѣгломъ очеркѣ въ подробный разборъ вопроса о томъ, какъ сложилось общеполитическое міросозерцаніе Лаврова и что оно собою представляло въ ту пору его жизни, когда онъ выступилъ въ литературѣ, отмѣтимъ только, что онъ сильно интересовался гегельянствомъ и въ особенности „его лѣвымъ лагеремъ“, воззрѣнія котораго отразились весьма замѣтно на его собственной философіи. Это обстоятельство мы отмѣчаемъ въ виду той идеи о „критически мыслящей личности“, которая красною нитью проходитъ черезъ всѣ научные труды Лаврова, начиная съ самыхъ раннихъ и кончая самыми послѣдними. Съ другой стороны, однако, уже и въ первыхъ статьяхъ Лаврова его мысль переходила отъ вопросовъ индивидуальной психологіи и индивидуальной этики къ вопросамъ этики соціальной и соціологіи. „Для того, писалъ онъ въ „Очеркахъ вопросовъ практической философіи“, вышедшихъ въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1860 г.,— для того, чтобы современныя нравственно-политическія теоріи представились въ своемъ существенномъ единствѣ, надо обратиться къ ихъ источнику, надо взять человѣческую личность въ ея психологическихъ данныхъ, надо въ этихъ данныхъ искать основу того развитія, при которомъ человѣкъ способенъ правильно судить о политическихъ и общественныхъ вопросахъ. Преслѣдуя это развитіе, должно устранить главнѣйшія увлеченія партій,



затемнявшихъ вопросъ своими спорами, во имя историческихъ девизовъ. Въ всякихъ предположеніяхъ, не подлежащихъ наблюденію, слѣдуетъ прежде всего построить *теорію личности*“<sup>1)</sup>. Уже изъ этихъ словъ видно, что „теорія личности“ и тогда интересовала Лаврова, какъ необходимая основа нравственно-общественныхъ теорій, а это опять-таки совпадало съ общимъ духомъ лѣваго гегельянства, критическое отношеніе котораго къ современной ему общественной дѣятельности тоже отразилось на взглядахъ нашего автора. „На основаніи теоріи личности, продолжаетъ Лавровъ, уже можно приступить къ критикѣ общественныхъ формъ, при оцѣнкѣ которыхъ полемика партій достигла высшей точки, но зато и масса наблюдений весьма значительна“<sup>2)</sup>.

Вотъ съ какими взглядами выступилъ Лавровъ въ первомъ своемъ значительномъ трудѣ. Для обоснованія научной этики и политики нужна психологическая теорія личности, безъ которой выстѣтъ съ тѣмъ немыслима и критика общественныхъ формъ. Эту свою мысль онъ старается напередъ защитить отъ всѣхъ возможныхъ противъ нея возраженій. „Къ чему, говоритъ онъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ тѣхъ же „Очерковъ“, — къ чему теорія личности? скажутъ иные. Безчисленные проповѣди нравственныхъ философовъ не сдѣлали слушателей совершеннѣе. Подъ влияніемъ физическаго устройства, обстоятельствъ жизни и общества личность развивается по необходимымъ законамъ и не можетъ быть лучше, какъ она есть“. И на это Лавровъ возражаетъ: „Кто смотритъ на личность съ безстрастіемъ ученаго наблюдателя, тому мы скажемъ: для васъ это не практическое ученіе, но существованіе необходимаго процесса... Вы не имѣете права сказать: къ чему теорія личности? Она есть необходимое явленіе въ ряду явленій сознанія; еще болѣе: она есть одно изъ обстоятельствъ, перерабатываемыхъ личностью въ мысль, въ побужденіе, въ дѣйствіе. Слѣдовательно, теорія личности имѣетъ свое значеніе — и, можетъ быть, немаловажное — въ практической жизни общества“<sup>3)</sup>. Такимъ образомъ научно-философская постановка вопроса о значеніи личности для Лаврова уже тогда, въ самомъ началѣ его дѣятельности имѣла и теоретическій, и практический смыслъ. Для безстрастно наблюдающаго ученаго это — вопросъ о законахъ, по которымъ совершается развитіе личности, какъ одного изъ явленій сознанія, въ чемъ и заключается оправданіе теоріи личности, именно какъ теоріи, но рядомъ съ этимъ Лавровъ отмѣчаетъ и другую сторону дѣла — известную

<sup>1)</sup> П. Лавровъ. Очерки вопросовъ критической философіи. Спб. 1860, стр. 10.

<sup>2)</sup> Та же страница.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 94.

психическую работу личности надъ собою, въ концѣ которой стоитъ дѣйствіе, уже вводящее насъ въ практику жизни. Другими словами, теорія личности нужна не только для теоріи общества, но и для практической жизни послѣднего.

Исходя изъ теоретическаго міросозерцанія съ чисто индивидуалистическимъ характеромъ, т.-е. не сводя личность цѣликомъ на роль функціи общества, Лавровъ тѣмъ не менѣе не считалъ возможнымъ разсматривать личность совершенно изолированно отъ окружающей ее среды, и это помогло ему впослѣдствіи усвоить себѣ и чисто социологическую точку зрѣнія. Если, по его словамъ, съ одной стороны, общество немислимо безъ отдѣльныхъ личностей, а отдѣльная личность невыдѣлима изъ общества, то это отнюдь не можетъ служить препятствіемъ къ тому, чтобы различать въ цѣлѣхъ изслѣдованія вопроса о человѣческой дѣятельности два ряда явленій, такъ сказать, личныхъ и общественныхъ. „Одинъ рядъ, говоритъ Лавровъ, выходитъ изъ отдѣльности личностей, изъ ихъ самостоятельности и постепенно развивается подъ вліяніемъ различныхъ началъ, находящихся въ самой личности, такъ же, какъ подъ вліяніемъ присутствія другихъ человѣческихъ единицъ. Другой рядъ явленій человѣческой дѣятельности истекаетъ изъ соединенія личностей въ общества, какъ причины и цѣли для дѣйствія отдѣльныхъ единицъ, но въ своемъ развитіи востоянно обусловливается силами и стремленіями отдѣльныхъ личностей. Говоря о личности, необходимо имѣть въ виду общественную жизнь; говоря объ обществѣ, неизбежно является вопросъ объ отдѣльныхъ личностяхъ. Тѣмъ не менѣе рядъ явленій, составляющихъ *теорію личности*, образуетъ группу, легко отдѣляемую отъ другого ряда, который группируется въ *теорію общества*“ <sup>1)</sup>. Хотя въ теоріи личности, само собою разумѣется, „безпрестанно приходится обращаться къ вліянію другихъ людей на отдѣльную личность“, но истиннымъ содержаніемъ этой теоріи должны быть „явленія человѣческой дѣятельности, которыя преимущественно истекаютъ изъ начала отдѣльности, самостоятельности личностей“ <sup>2)</sup>.

Въ приведенномъ отрывкѣ обращаютъ на себя вниманіе нѣкоторыя частныя положенія, дающія намъ ключъ къ уразумѣнію всей общественной философіи Лаврова. Хотя личность и общество другъ безъ друга немислимы, но въ цѣлѣхъ теоретическаго пониманія человѣческой дѣятельности слѣдуетъ различать двоякаго рода явленія—индивидуальныя и социальныя. Это различеніе оправдывается тѣмъ, что въ самой личности, независимо отъ окружающей среды, нахо-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 11.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 12.

дятся различные самостоятельны начала. Изслѣдованіе *этихъ* началъ и должно быть предметомъ теоріи личности. Съ другой стороны, тутъ же Лавровъ отмѣчаетъ, что личная дѣятельность никоимъ образомъ не можетъ цѣликомъ объясняться изъ одной индивидуальной психологіи, ибо эта дѣятельность всегда находится подъ вліяніемъ дѣятельности другихъ личностей, изъ которыхъ складывается общество. Между личностью и обществомъ происходитъ постоянное взаимодѣйствіе, сводящееся, по Лаврову, къ взаимодѣйствію отдѣльных личностей. И въ началѣ, и въ концѣ своей дѣятельности Лавровъ былъ одинаково далекъ отъ мысли, будто индивидуумъ есть только продуктъ какой-то совершенно безличной общественной среды. Для него въ этомъ вѣчномъ взаимодѣйствіи личности и общества *prius* есть не общество, а личность, сама являющаяся первичнымъ элементомъ общества.

Послѣдуемъ въ самомъ дѣлѣ за Лавровымъ въ этомъ рядѣ его мыслей о взаимныхъ отношеніяхъ личнаго и общественнаго началъ. Различивъ въ упомянутыхъ „Очеркахъ“ явленія личности и явленія общества, онъ немедленно же ставитъ вопросъ: какую категорію явленій „принять за главную, за цѣль для другихъ явленій, за начало, обуславливающее другія явленія“? Отвѣтъ его на этотъ вопросъ въ пользу личности. „Съ одной стороны, говоритъ онъ, мы имѣемъ дѣйствительный предметъ изслѣдованія—человѣка; съ другой, у насъ рядъ формальныхъ единицъ (семейство, артель, государство и т. п.), каждая изъ которыхъ опирается на свое собственное начало, чуждое для прочихъ“, и „признаетъ другія за призракъ, а себя лишь за дѣйствительность“. Въ виду именно этого послѣдняго обстоятельства Лавровъ и находилъ болѣе правильнымъ начинать „съ положительнаго предмета изслѣдованія“, каковымъ для него является личность, потому, прибавляетъ онъ, „изученіе личности должно предшествовать изученію общества, независимо отъ результата, къ которому мы можемъ придти“ <sup>1)</sup>. Но, спрашивается, „гдѣ же точка исхода для теоріи личности?“, т.-е., другими словами, какой фактъ принять за неоспоримый и начальный?“ Этимъ исходнымъ пунктомъ Лавровъ считалъ „то, что отдѣляетъ, различаетъ людей одного отъ другого“, т.-е. „явленіе *самосознанія*, отличія своего я отъ ви́шняго міра, отъ другихъ существъ“ <sup>2)</sup>. Иначе говоря, уже тогда, задолго до того времени, когда Лавровъ впервые сталъ интересоваться вопросомъ о построеніи положительной науки объ обществѣ въ духѣ соціологіи Конта и объ отношеніи ея къ другимъ наукамъ, имъ уже

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 12.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 13.

было предрѣшено, что его социологія будетъ опираться на психологію и что въ наукѣ объ обществѣ у него будутъ играть видную роль не одни внѣшніе процессы, но и явленія, совершающіяся въ человѣческомъ сознаниіи.

Извѣстно, что Лавровъ опредѣлялъ свою философію, какъ „антропологизмъ“, потому что отправнымъ пунктомъ всего его ученія былъ человѣкъ, эта „мѣра всѣхъ вещей“, какъ выразился еще Протагоръ. Весьма естественно, что разъ такова была исходная точка зрѣнія всей его философіи, онъ не могъ поступить иначе и по отношенію къ общественной теоріи, въ которой также первичнымъ элементомъ является у него человѣческая личность. Теорія личности предшествуетъ теоріи общества, психологія—социологіи. Съ этой точки зрѣнія рѣшающее значеніе получалъ для всей его антропологической философіи отвѣтъ на вопросъ о томъ, что можно считать прирожденнымъ человѣку и что прививающимся ему общественною средою. Признавая основными способностями человѣческой личности, какъ таковой, т.-е. какъ сознающаго самого себя я, знаніе и творчество, въ которыхъ онъ видѣлъ и главныя орудія человѣческаго развитія, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ усматривалъ побужденіе къ самому знанію, къ самому творчеству—въ стремленіи къ наслажденію, этомъ, какъ выражался Лавровъ, „простѣйшемъ началѣ, неразрывно связанномъ съ самосознаніемъ и необходимо присутствующемъ во всѣхъ побужденіяхъ человѣческой дѣятельности“ <sup>1)</sup>. Это, говоритъ онъ еще, есть „начальное психологическое явленіе, слѣдующее за самосознаніемъ,—явленіе, съ котораго начинается рядъ личныхъ явленій человѣческой жизни. Это—побужденіе, съ котораго начинается работа знанія и творчества—развитіе человѣка, какъ дѣятеля“ <sup>2)</sup>. Итакъ, корень всѣхъ личныхъ явленій человѣческой жизни въ желаніи наслажденія. Конечно, это положеніе Лаврова не слѣдуетъ принимать въ грубо-матеріальномъ смыслѣ. Напротивъ того, въ истинно человѣческомъ развитіи вырабатывается способность наслаждаться самою нравственною жизнью, и это наслажденіе ставится развитымъ человѣкомъ выше всѣхъ другихъ доступныхъ вообще людямъ наслажденій, но общій корень у всѣхъ наслажденій—одинъ и тотъ же. Въ своей теоріи личности Лавровъ выступилъ не только психологомъ, который—правильно ли, или неправильно, другой вопросъ—сводилъ все богатство

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 14.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 15. Сравни его „Три бесѣды о современномъ значеніи философіи“ (Спб., 1861), гдѣ между прочимъ говорится то же самое: „желаніе есть источникъ всякой человѣческой дѣятельности“ (стр. 18) и „желаніе, источникъ знанія, источникъ творчества, есть тоже источникъ жизненной дѣятельности, развитія“ (стр. 54).

личныхъ явленій человѣческой жизни къ одному основному и простѣйшему началу, но и моралистомъ, объявившимъ, что личность должна стремиться къ нѣкоторому идеалу совершенства. Но объ этомъ послѣ. Здѣсь мы лишь подчеркиваемъ, что теорія личности Лаврова была не только психологическою, но и этической. Позднѣе, въ своей замѣчательной работѣ „Современныя ученія о нравственности и ея исторія“, появившейся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1870 г. <sup>1)</sup>, онъ подробно обосновалъ свой взглядъ на способность наслажденія собственнымъ развитіемъ, какъ на могучій факторъ нравственной жизни, но уже и въ первой его философской работѣ мы встрѣчаемся съ тою же идеею. Съ этой точки зрѣнія мысль человѣка является сама созидающею, творческою силою, и признаніе за мыслью такого значенія характеризуетъ не только этику Лаврова, но и его историческую теорію, въ которой личная дѣятельность, руководимая мыслью, разсматривается, какъ факторъ исторической жизни. „Для того, писалъ Лавровъ все въ тѣхъ же первыхъ своихъ „Очеркахъ“, — для того, чтобъ исторія человѣка началась, чтобы началось развитіе, чтобы родилась нравственность, необходимо, чтобы творчество человѣка обратилось на него самого, чтобы къ сознанію своего я присоединилось представленіе своего я“. Это представленіе вырабатывается фантазіей. Именно „фантазія создаетъ предъ человѣкомъ внѣ его дѣйствительнаго я другое, идеальное я, которое остается *относительно* постояннымъ при безпрестанномъ измѣненіи чувствъ, желаній и душевныхъ состояній человѣка. Это идеальное я — личное достоинство человѣка“ <sup>2)</sup>. Съ послѣднимъ понятіемъ мы, несомнѣнно, входимъ въ область этики, но оно же играетъ роль и въ исторической философіи Лаврова, насколько она вырисовывается уже въ этомъ первомъ его философскомъ произведеніи. О томъ настроеніи, которое въ самомъ авторѣ возникало при созерцаніи этой идеи, можно судить по слѣдующимъ его словамъ: „Требованія, рождающіяся изъ понятія о личномъ достоинствѣ, разнообразны: какъ *идеаль*, достоинство требуетъ уваженія; какъ *личный*, отдѣльный идеаль, онъ требуетъ *самостоятельности* личности; какъ *цѣль*, которая должна быть преслѣдуема, если не можетъ быть вполне достигнута, онъ требуетъ, во-первыхъ, *дѣятельности*, сообразной цѣли, во-вторыхъ, устраненія преградъ, связывающихъ личность, мѣшающихъ ей воплощать этотъ идеаль въ слово и въ дѣйствіе: онъ требуетъ *свободы* личности“ <sup>3)</sup>.

И наслаждаться, и развиваться, и поддерживать свое достоинство

<sup>1)</sup> См. ниже, стр. 45.

<sup>2)</sup> Очерки вопросовъ практической философіи, стр. 29.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 30.

мѣшаютъ въ дѣйствительной жизни весьма многочисленныя препятствія, для преодоленія которыхъ у человѣка есть силы физическія, силы умственныя, сила характера. Отмѣчая, что онѣ, эти силы, поэтому входятъ въ самое понятіе о человѣческомъ достоинствѣ, требующемъ къ себѣ уваженія, Лавровъ оговаривается, однако, что въ данномъ случаѣ упомянутое достоинство имѣетъ эгоистическій характеръ, т.-е. рассматривается, какъ „достоинство личности, которая не беретъ въ соображеніе свои отношенія къ другимъ личностямъ. На этой точкѣ зрѣнія, поясняетъ Лавровъ свою мысль, человѣкъ приписываетъ себѣ безусловное право подчинять себѣ все и всѣхъ, расширять свою личность до предѣловъ возможности, налагаетъ на себя безусловную обязанность выдѣленія изъ всего окружающаго, *исключительнаго* уваженія своей особенной личности“. Даже дополняясь, расширяясь и вслѣдствіе этого теряя свою исключительность, это начало уваженія къ собственной личности „остается основою человѣческой нравственности, которая лишь тамъ существуетъ, гдѣ есть самоуваженіе“ <sup>1)</sup>. Вообще Лавровъ искалъ такимъ образомъ отвѣта на вопросъ и о происхожденіи нравственности прежде всего въ психологіи самого индивидуума, т.-е. не въ социальной средѣ. Это не значитъ, впрочемъ, чтобы, по его мнѣнію, въ образованіи нравственности совсѣмъ не участвовала и эта среда, другими словами, общество.

Выдѣляя для удобства изслѣдованія личность изъ той среды, съ которою она неразрывно связана, Лавровъ вообще никогда не забывалъ, что рядомъ съ личностью существуетъ общество, и когда это оказывалось нужнымъ, онъ тотчасъ же обращался своею мыслью къ послѣднему и спрашивалъ себя, насколько мыслимо совершенно прямолинейное развитіе того, что можно принять за чисто личное начало. Въ самомъ дѣлѣ, посмотримъ, что произошло бы въ томъ случаѣ, если бы стало требовать полного осуществленія безусловно эгоистическое пониманіе личнаго достоинства, не берущее въ расчетъ существованія рядомъ съ нимъ и другихъ предметовъ.

„Если бы, говоритъ Лавровъ, представлялась возможность, то личность объявила бы весь міръ своею собственностью и всѣхъ людей своими рабами, всѣ силы природы—своими орудіями“. Но именно осуществленіе такого всемірнаго деспотизма личности прежде сего невозможно. Человѣкъ окруженъ другими предметами, которые или слабѣе его, или ему равносильны, или сильнѣе его. Конечно, отношеніе человѣка къ предметамъ этихъ трехъ разрядовъ весьма различно, и слѣдствіемъ этого различія являются новыя чувства, раз-

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 31.

вивающіяся въ душѣ человѣка и невозможныя до тѣхъ поръ, пока онъ имѣетъ въ виду только собственную личность. Слѣдствіемъ этого являются и новыя черты, прибавленныя къ идеалу человѣческаго достоинства" <sup>1)</sup>. Такъ рядомъ съ властолюбіемъ возникаетъ по отношенію къ слабѣйшимъ „милосердіе“; рядомъ со страхомъ въ присутствіи преобладающей силы—самоотверженіе <sup>2)</sup>, рядомъ съ борьбою равносильныхъ личностей—справедливость. Мы не будемъ слѣдить здѣсь за Лавровымъ въ его разсужденіи объ сравнительномъ достоинствѣ и взаимныхъ отношеніяхъ милосердія, самоотверженія и справедливости. Отмѣтимъ только, что и милосердіе, и самоотверженіе онъ опять-таки выводитъ изъ основного эгоистическаго принципа <sup>3)</sup>, но что ни милосердіе, ни самоотверженіе онъ не считаетъ „безусловными началами“, такъ какъ первое „предполагаетъ произволъ личности, способной помиловать“ однихъ и не помиловать другихъ <sup>4)</sup>, а второе тоже не можетъ быть ни общимъ, ни вдобавокъ продолжительнымъ, не говоря уже о томъ, что „самоотверженіе, выходящее изъ самоуниженія, самоотверженіе по привычкѣ или въ порывѣ страсти недостойно человѣка“ <sup>5)</sup>. Инымъ характеромъ, по Лаврову, отличается принципъ справедливости, который только одинъ и можетъ придать вполнѣ нравственное значеніе и милосердію, и самоотверженію. Источникъ чувства справедливости онъ видѣлъ въ способности творчества, которая „расширяетъ личный идеалъ достоинства по мѣрѣ расширенія человѣческихъ отношеній. Столкновенія съ равносильными личностями безпрестанны; безпрестанна необходимость уступокъ и требованій уступокъ отъ другихъ. Въ своемъ творествѣ, въ своемъ идеалѣ человѣкъ стремится къ примиренію съ этимъ положеніемъ, и предъ нимъ возникаетъ представленіе *равноправныхъ* личностей. Онъ сознаетъ между личностями отноше-

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 38.

<sup>2)</sup> „Самоотверженіе есть отвращеніе отъ борьбы даже тогда, когда умъ видитъ ясно ея удобство и неизбежный успѣхъ. Самоотверженіе есть желаніе подчиниться тому, кого мы считаемъ выше себя“. Тамъ же, стр. 43.

<sup>3)</sup> „Чѣмъ выше развитъ человѣкъ, слѣдовательно, чѣмъ его нервная система чувствительнѣе, тѣмъ непріятнѣе состояніе зрителя чужого страданія. Это нервное состояніе отражается въ душѣ чувствомъ отвращенія къ чужому страданію, а въ лучшихъ натурахъ чувствомъ сожалѣнія“. Тамъ же, стр. 39—40. „Нервы человѣка пробудили въ немъ состраданіе“, стр. 90. „Процессъ, посредствомъ котораго эгоистическая личность достигаетъ самоотверженія“, Лавровъ понималъ такъ: „сначала чужое существо намъ дорого, какъ дополненіе нашего благосостоянія, нашего достоинства; мы готовы принести жертвы для его сохраненія, потому что оно намъ нужно“ и пр., стр. 45.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 40.

<sup>5)</sup> Тамъ же, стр. 52.

нія справедливости". Человѣкъ, чувствующій состраданіе къ другому или готовый къ самопожертвованію ради другого, признаётъ въ себѣ и въ этомъ другомъ нѣчто общее, но общее въ себѣ и въ другихъ признаётъ и человѣкъ, который обнаруживаетъ въ себѣ и въ нихъ одинаковыя и высшія качества. „Мы оба, говоритъ такой человѣкъ, равно уважаемъ свое достоинство; мы оба равно сознаемъ, что другой уважаетъ свое достоинство. Это равенство уваженія и сознанія намъ обще. Оскорбленіе достоинства того, кого я призналъ равнымъ, есть во мнѣ оскорбленіе сознанія этого равенства, слѣдовательно, оскорбленіе и моего достоинства. Я долженъ быть оскорбленъ оскорбленіемъ достоинства равной мнѣ личности, какъ всякая равная мнѣ личность должна быть оскорблена оскорбленіемъ моего достоинства. Я долженъ чувствовать въ себѣ не только свое, но и чужое достоинство, наслаждаться наслажденіемъ того и другого, страдать отъ униженія того и другого. Если я оскорбляю достоинство личности, мнѣ равной, то я оскорбляю самого себя. Поэтому я долженъ при каждомъ столкновеніи съ равною мнѣ личностью сознать въ себѣ какъ свое, такъ и чужое достоинство и потомъ рѣшиться на дѣйствіе во имя равноправности обѣихъ нашихъ личностей на обоюдное наше уваженіе. Не признавая чужого достоинства, я эгоистъ; признавая только чужое, я подчиняюсь самоотверженію; равно уважая свое и чужое достоинство, я *справедливъ*, и справедливость есть расширение моего достоинства“ <sup>1)</sup>. Лавровъ считалъ справедливость „невыдѣлимымъ свойствомъ“ человѣка. „Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, она родилась въ то же время, какъ человѣческое сознаніе и человѣческой эгоизмъ. Съ первымъ обществомъ, съ первой встрѣчей между людьми, которая не рѣшилась борьбою и подчиненіемъ одного другому, начало равноправности, обоюднаго права на взаимное уваженіе достоинства, явилось по логической необходимости въ душѣ человѣка. До сихъ поръ оно не вошло въ практику жизни, но давно уже проникаетъ въ нравственный идеалъ.... Понятіе о существахъ равноправныхъ измѣняется, расширяется со временемъ, но въ каждое историческое мгновеніе для каждой личности существуетъ кругъ существъ ей равноправныхъ, въ отношеніяхъ къ которымъ человѣкъ требуетъ отъ себя и отъ другихъ не милосердія, не самоотверженія, а справедливости. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ сознаніи человѣка естественныя права личности обращаются съ помощью этого начала о взаимно признанныхъ, взаимно уважаемыхъ, но взаимно ограничивающихъ права всѣхъ равноправныхъ личностей. Въ наше время, прибавляетъ Лавровъ, для большинства мыслителей достоинство от-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 58.



дѣльнаго я дѣлается достоинствомъ человѣка“ <sup>1)</sup>. Къ сожалѣнію, размѣры статьи не позволяютъ намъ привести вполне ту характеристику справедливости, которую даетъ Лавровъ <sup>2)</sup>; и мы ограничимся лишь указаніемъ на признаніе имъ за этимъ принципомъ безусловнаго значенія. „Такимъ образомъ, замѣчаетъ онъ, идеаль человѣческой личности въ эгоистическому праву и въ эгоистическому дѣлу развивать въ себѣ тѣло, мысль, характеръ прибавляетъ право и обязанность быть справедливымъ. Это новое начало не отрицаетъ личнаго достоинства, но расширяетъ его, потому что справедливость дѣлается необходимымъ и высшимъ условіемъ собственнаго достоинства личности. Столкновеніе эгоистическаго побужденія и начала справедливости въ душѣ самого человѣка не можетъ вести ни къ какимъ взаимнымъ уступкамъ, потому что справедливость признаетъ эгоизмъ какъ свое начало, какъ необходимый элементъ своего существованія, но дополняетъ его сознаніемъ равноправности эгоизма другихъ и равной обязанности для каждаго уважать чужое и свое достоинство. Это начало равенства, заключающееся въ сознаніи справедливости, дѣлаетъ всякое, даже малѣйшее отступленіе отъ справедливости совершеннымъ отрицаніемъ ея. Она въ каждой отдѣльной личности въ данное мгновеніе не допускаетъ степеней. Немножко справедливымъ быть нельзя, какъ можно быть болѣе или менѣе знающимъ, твердымъ въ своихъ мнѣніяхъ, болѣе или менѣе страстнымъ, самоотверженнымъ, милосерднымъ. Кто нѣсколько отступаетъ отъ справедливости въ чувствахъ и дѣйствіяхъ, тотъ совершенно несправедливъ“. Притомъ, признавая справедливость „самымъ естественнымъ плодомъ эгоизма, поставленнаго въ столкновеніе съ другими эгоизмами и примиряющагося съ своимъ положеніемъ силою своего творчества“, Лавровъ прибавлялъ еще, что, „какъ необходимое понятіе, заключающее въ себѣ эгоизмъ и не допускающее уступокъ, справедливость должна составлять высшее достоинство личности, передъ которымъ эгоистическія побужденія, какъ самостоятельныя должны, уступить“ <sup>3)</sup>. Наконецъ, только на точкѣ зрѣнія справедливости, по убѣжденію Лаврова, получаютъ дѣйствительный смыслъ понятія *права* и *обязанности*. „Сознавъ, что справедливо, человѣкъ получаетъ одновременно право и обязанность требовать осуществленія справедливости. Требуя отъ себя поддержки своего и чужого достоинства, онъ налагаетъ на себя *обязанность*. Требуя того же отъ другихъ, онъ пользуется своимъ *правомъ*. Но человѣкъ *обязанъ* пользоваться всякимъ сознаннымъ пра-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 60.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 61 и слѣд.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 61.

вомъ и обладаетъ невидѣлимымъ *правомъ* исполнять всегда свою обязанность“ <sup>1)</sup>). Поэтому въ справедливости Лавровъ видѣлъ источникъ всѣхъ общественныхъ добродѣтелей, какъ въ самоуваженіи—источникъ всѣхъ добродѣтелей личныхъ, а тѣхъ и другихъ вмѣстѣ — въ правильно понятомъ уваженіи своего достоинства <sup>2)</sup>).

Во всемъ этомъ разсужденіи, которое мы передали, конечно, въ сокращенномъ видѣ, слѣдуетъ обратить вниманіе на попытку вывести всѣ высшія проявленія личности изъ принятой авторомъ первоначальной основы, при чемъ совершенно особое мѣсто онъ отводилъ высшей человѣческой добродѣтели—справедливости, возникающей на почвѣ отношенія личности къ тѣмъ, кого она признаетъ равными себѣ. Во всякомъ случаѣ, стремящаяся къ наслажденію личность Лаврова не есть личность эгоистичная. Ей доступны и другія чувства, кромѣ простого себялюбія, и ихъ существованіе расширяетъ чисто личную жизнь, позволяя человѣку быть и существомъ общественнымъ. Впослѣдствіи Лаврова также сильно занималъ вопросъ о происхожденіи всѣхъ сложныхъ явленій личной жизни изъ основного стремленія всякаго живого существа къ наслажденію, но, повторяя многое изъ того, что уже въ началѣ своей дѣятельности онъ признавалъ своимъ высшимъ идеаломъ, онъ позднѣе пользовался услугами эволюціонной теоріи, которая едва только намѣчалась, когда готовились „Очерки вопросовъ практической философіи“. Впослѣдствіи, когда Лавровъ познакомился съ ученіями Конта, Дарвина и Спенсера, отношеніе его къ личности вообще сдѣлалось болѣе реалистичнымъ, и онъ болѣе сталъ считаться съ тѣмъ, каковы люди на самомъ дѣлѣ, но его никогда не покидалъ тотъ идеализмъ, который былъ имъ воспринятъ изъ умственного общенія съ лѣвымъ гегельянствомъ. Въ раннихъ своихъ трудахъ будущій соціологъ былъ больше моралистомъ, чѣмъ изслѣдователемъ, болѣе рисовалъ идеалъ личности, чѣмъ ея реальную эволюцію, охотно указывалъ на то, чѣмъ личность должна быть, и мало интересовался тѣмъ, чѣмъ она бываетъ и какъ она стала таковою, каковою мы ее видимъ при теперешнемъ состояніи человѣческаго міра.

Въ эпоху чисто соціологическихъ трудовъ Лаврова вопросъ о роли личности, какъ агента въ историческомъ движеніи, постоянно привлекалъ къ себѣ его вниманіе, но раньше на первомъ планѣ у него обще стоялъ вопросъ, какъ должна проявлять себя личность въ жизни. Наче говоря, вопросъ ставился о достоинствѣ личности въ идеальномъ смыслѣ, а не о ея реальномъ значеніи, какъ положительной

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 64.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 65.

силы. Повидимому, эта послѣдняя не возбуждала никакихъ сомнѣній, и все дѣло заключалось только въ томъ, чтобы надлежащимъ образомъ воспитать и направить эту силу. Лавровъ не задавался опредѣленіемъ причинъ и условій, дѣлающихъ возможнымъ внимательство личности въ процессъ исторической жизни общества, и сосредоточивалъ всю свою мысль на выясненіи тѣхъ требованій, которыя слѣдуетъ предъявлять нравственному человѣку, стремящемуся къ воплощенію истины и справедливости въ общественныхъ формахъ. Поэтому первымъ качествомъ, которымъ долженъ обладать вполне и нормально развитой человѣкъ, Лавровъ въ своихъ „Очеркахъ“ объявилъ волю, силу характера. „Высшее достоинство личности, говоритъ онъ, не въ физическихъ качествахъ, не въ умственномъ развитіи. Тѣло и умъ—превосходныя орудія наслажденія: помощью ихъ человѣкъ можетъ подчинить себѣ все окружающее; но это только орудія; они доставляютъ только возможность наслажденія. Для дѣйствительнаго могущества, для дѣйствительнаго достоинства надо рѣшиться, а рѣшимость не принадлежитъ ни тѣлу съ его побужденіями, ни уму съ его мышленіемъ, но волѣ, развивающейся въ характеръ..... Безъ силы характера, продолжаетъ онъ, всѣ физическія и умственныя силы человѣка теряются лишь на то, чтобы подчиняться большую часть своей жизни тысячѣ обстоятельствъ, ему встрѣчающихся, и не потому, что онъ не можетъ выбрать себѣ дорогу, а потому лишь, что не рѣшается идти по ней. Отсюда мы получаемъ, что высшее достоинство личности заключается въ ея характерѣ“<sup>1)</sup>). Человѣкъ, лишенный силы воли, подчиняется обстоятельствамъ; человѣкъ съ характеромъ обладаетъ „могуществомъ“ себѣ подчинять обстоятельства.

Та личность, теоріей которой занимался Лавровъ въ началѣ своей дѣятельности, вообще такимъ образомъ представляется намъ идеаломъ, а не реальною величиною, съ которою мы постоянно встрѣчаемся въ жизни и въ исторіи. Это понятіе у него—плодъ творчества, а не изслѣдованія. Но къ этому понятію Лавровъ постоянно возвращался, и почти каждый разъ оно осложнялось новыми чертами, которыя, съ одной стороны, обогащали самое содержаніе идеала, а съ другой приближали и вырабатываемое понятіе о личности къ реальнымъ фактамъ жизни. Прежде, нежели мы будемъ говорить, какъ происходило послѣднее, мы должны остановиться на внесеніи Лавровымъ еще одной черты въ его идеальную личность. Эта черта стоитъ въ связи съ только-что отмѣченнымъ возвеличеніемъ въ человѣкѣ его характера. Не подчиняться обстоятельствамъ, а ихъ себѣ подчинять,—такова

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 34—35.

формула человека съ сильною волею. Въ умственной сферѣ, это — стремленіе жить своимъ умомъ, а не чужими мыслями и стремленіе своимъ мнѣніямъ давать ходъ въ жизни. Мы уже упомянули о томъ, какое значеніе идея критики имѣла въ лѣвомъ гегельянствѣ, оказавшемъ на Лаврова большое вліяніе. Съ этою самою идеей мы встрѣчаемся уже въ первыхъ трудахъ Лаврова, раньше тѣмъ онъ опредѣленно заговорилъ о „критически мыслящей личности“. Черезъ годъ послѣ „Очерковъ вопросовъ практической философіи“ Лавровъ выпустилъ въ свѣтъ „Три бесѣды о современномъ значеніи философіи“, въ которыхъ между прочимъ съ особою ясностью высказалъ свое сочувствіе къ самому принципу критики. „Человѣкъ, — напримѣръ, говоритъ онъ здѣсь, — относится къ существующимъ формамъ искусства или научнаго творчества не какъ идолопоклонникъ къ своему кумиру, но какъ свободно развивающаяся личность къ продуктамъ и средствамъ своего развитія. Онъ ихъ обсуживаетъ и подвергаетъ *критикѣ* во имя знанія. Эта критика, продолжаетъ онъ, не есть творчество, но она дополняетъ творчество, доставляя ему жизнь и развитіе; она есть *философія въ творчествѣ*... *Постоянное внесеніе всего своего знанія, всего своего бытія въ свои созданія, это есть условіе философіи въ творчествѣ*. Безъ нея всюду рутина и неподвижность; она представляетъ вѣчную *борьбу съ созданнымъ во имя создающаго*. И тогда, когда мы принимаемъ уже существующія формы, мы ихъ принимаемъ во имя критики, послѣ борьбы съ ними, признавъ ихъ удовлетворительными, но признавъ за собою право отыскивать новыя формы въ случаѣ нужды. Все *заслуживаетъ* уваженія лишь настолько, насколько сознано *послѣ критики, какъ достойное уваженія*“ <sup>1)</sup>. „Внѣ критики, говоритъ онъ еще въ другомъ мѣстѣ, нѣтъ развитія; внѣ критики нѣтъ совершенствованія. Безъ критики всего окружающаго человѣкъ никакъ бы не выработался изъ животнаго состоянія, переходилъ бы всю жизнь отъ одного мгновеннаго желанія къ другому, безъ плана, безъ послѣдовательности. Критика собственныхъ желаній, какъ критика *желаемаго* предмета и какъ критика *желательнаго* состоянія духа, позволяетъ человѣку построить іерархически свои побужденія и предметы, ихъ возбуждающіе, позволяетъ ему сказать: это лучше, а это хуже; слѣдовательно при одновременной возможности обоихъ первое — добро, а второе зло“ <sup>2)</sup>. Въ чемъ же, слѣдовательно, значеніе критики? Въ томъ, что безъ нея міръ порузился бы въ неподвижность, что ею создается движеніе впередъ, то, совершаясь во имя знанія, она въ то же время руководитъ

<sup>1)</sup> Три бесѣды о современномъ значеніи философіи. Спб. 1861. Стр. 46.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 55.

творчествомъ и именно творчествомъ все лучшихъ и лучшихъ формъ жизни. Между прочимъ, критикою руководить и идея справедливости. Не человѣкъ существуетъ для общественныхъ формъ, а общественныя формы для человѣка, и онѣ должны быть справедливы. Справедливая личность не можетъ не критиковать несправедливыхъ общественныхъ формъ. „Сознаніе, говоритъ объ этомъ Лавровъ, присутствуетъ только въ живыхъ, дѣйствительныхъ личностяхъ. Отвлеченныя общественныя единицы суть лишь формы, въ которыя отдѣльныя личности вкладываютъ свое сознаніе. Онѣ суть всегда орудія личностей“. Судъ надъ этими формами „принадлежитъ личностямъ и можетъ быть произведенъ только во имя высшаго личнаго начала, во имя справедливости. Личность, сознавая въ своей душѣ начало справедливости, сознаетъ въ то же время себя, какъ справедливую личность, судьей, создателемъ и цѣлью общественныхъ формъ. Въ личности нѣтъ ни блага, ни справедливости, и она вооружается критикою относительно формъ, ею созданныхъ, и анализомъ относительно самаго понятія собирательной единицы—общества, относительно его обязанностей и необходимыхъ условий“<sup>1)</sup>).

Эта критика общественныхъ формъ, подъ которыми Лавровъ разумѣлъ вообще всю социальную среду, вездѣ и всегда понималась имъ не только въ смыслѣ суда личности надъ всею культурно-социальною обстановкою, но и въ смыслѣ исходнаго пункта для побужденія и рѣшимости измѣнить общественныя формы по указаніямъ разума и нравственнаго чувства. Измѣнять значитъ дѣйствовать и создавать нѣчто новое. Дѣло въ томъ, что, какъ это видно уже изъ только-что приведенныхъ словъ, общественныя формы были въ глазахъ Лаврова прежде всего созданіями людей, результатами ихъ дѣятельности: отдѣльныя личности вкладываютъ въ нихъ свое сознаніе, пользуются ими, какъ своими орудіями, являются истинными ихъ создателями. Съ этою мыслью Лавровъ не разставался до самаго конца своей научной дѣятельности, но, подчеркивая это обстоятельство, нельзя не упомянуть, что уже и въ началѣ ея онъ находилъ нужнымъ, хотя и не очень пространно, говорить и объ обратномъ дѣйствіи—общественныхъ формъ на личность. По его словамъ, въ „Трехъ бесѣдахъ“, процессъ, совершающійся въ личности при ея развитіи, обуславливается средою, въ которой онъ совершается и которая одна даетъ ему опредѣленность<sup>2)</sup>. Самая среда эта мыслилась Лавровымъ опять-таки въ тѣхъ же „Трехъ бесѣдахъ“, какъ, съ одной стороны, окружающая природа и какъ общество, съ другой. „Каждый человѣкъ,—

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 92.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 56.

такъ формулировалъ онъ свою мысль объ этомъ предметѣ въ названномъ сочиненіи, — каждый человѣкъ въ процессѣ исторіи представляется намъ, какъ общая вершина двухъ конусовъ. Внѣшній міръ даетъ ему матеріалъ жизни, окружаетъ его своимъ вліяніемъ, вырабатываетъ въ немъ мозгъ для мышленія, придаетъ ему воспримчивость и дѣлаетъ его способнымъ развиваться. Исторія подсказываетъ ему съ дѣтства матеріалъ мышленія, убаюкиваетъ его преданіями, научаетъ его критикѣ, ставитъ передъ нимъ жизненные вопросы, вліяетъ на него обстановкой, словами и примѣрами окружающихъ личностей. Въ процессѣ сознанія этотъ матеріалъ перерабатывается въ новые вопросы науки и жизни, въ новые идеалы, и такимъ образомъ человѣкъ въ его единствѣ представляется результатомъ внѣшняго міра, исторіи и собственного сознанія<sup>1)</sup>. Это очень хорошая, хотя и недостаточно полная формулировка основной мысли Лаврова объ отношеніи личности къ внѣшнимъ вліяніямъ, отъ которыхъ она зависитъ въ своей жизни и въ своей дѣятельности. Природа и общество, съ одной стороны, и собственное сознаніе личности, съ другой, т. е. та лабораторія, въ которой происходитъ переработка внѣшнихъ вліяній въ новыя формы и совершается судъ надъ жизнью, не остающийся безъ вліянія на самую жизнь, разъ у личности является рѣшимость отъ мысли перейти къ дѣлу, — вотъ то внѣшнее и то внутреннее, безъ которыхъ нѣтъ историческаго процесса. Какъ бы ни были велики вліянія внѣшняго міра и исторіи въ жизни и дѣятельности отдѣльной личности, остается все-таки нѣчто, пѣликомъ не сводимое ни на то, ни на другое. Это нѣчто Лавровъ и обозначаетъ, какъ собственное сознаніе человѣка.

Это и есть все существенное, что даютъ намъ по отношенію къ теоріи, личности съ соціологической точки зрѣнія первыя произведенія Лаврова. Для самой соціологіи въ той постановкѣ, какую эта теорія тогда у него получила, она и не могла дать большаго, но и въ данномъ видѣ она могла сдѣлаться прочнымъ фундаментомъ для дальнѣйшихъ соображеній Лаврова о значеніи личнаго начала въ исторической жизни, — тема уже прямо соціологическаго характера. Извѣстно, что послѣдній вопросъ Лавровъ затронулъ въ своихъ сдѣлавшихся знаменитыми „Историческихъ письмахъ“, которыя появились въ отдѣльномъ изданіи (подъ псевдонимомъ П. Миртова) въ 1870 г. Правда, господствующая мысль этого сочиненія не о томъ, какъ вообще совершается исторія и какова въ ней на самомъ дѣлѣ роль отдѣльныхъ личностей, а о томъ, какъ долженъ происходить историческій процессъ и что для этого требуется со стороны развитой личности,

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 67.

сознающей свой историческій долгъ, но это не мѣшаетъ „Историческимъ письмамъ“ быть въ то же время и своего рода теоріей историческаго процесса съ обращеніемъ особаго вниманія на роль личности въ этомъ процессѣ.

„Историческія письма“ написаны вообще съ той же точки зрѣнія касательно взаимныхъ отношеній личностей и общества, съ которою мы познакомились изъ „Очерковъ практической философіи“. Исходный пунктъ Лаврова и здѣсь индивидуалистическій, хотя рѣчь идетъ уже не о теоріи личности, а о теоріи исторіи. Правда, въ согласіи съ общимъ духомъ этого своего труда Лавровъ больше распространяется о томъ, въ какихъ отношеніяхъ между собою должны находиться личность и общество, но по самому существу темы онъ не могъ обходить вопросовъ, касающихся роли личности, какъ агента въ историческомъ процессѣ. Не разбирая „Историческихъ писемъ“ въ ихъ цѣломъ, такъ какъ это завлекло бы насъ очень далеко, мы лишь слегка отмѣтимъ, какъ вообще понималъ въ нихъ Лавровъ желательное отношеніе между личностью и обществомъ, и остановимся нѣсколько подробнѣе на его взглядахъ относительно роли личности въ исторіи.

По первому пункту мы можемъ ограничиться слѣдующимъ разсужденіемъ Лаврова объ индивидуализмъ, который, какъ извѣстно, у Луи Блана сдѣлался чуть ли не синонимомъ всякаго зла. „Индивидуализмъ, какъ его понимаетъ Луи Бланъ, пишетъ по этому поводу, Лавровъ былъ стремленіемъ *подчинить* общее благо личнымъ, эгоистическимъ интересамъ единицъ, также какъ общественность, съ его точки зрѣнія, склоняется къ *поглощенію* личности въ ея особенностяхъ интересами общества. Но личность лишь тогда подчиняетъ интересы общества своимъ соотвѣтственнымъ интересамъ, когда смотритъ на общество и на себя, какъ на два начала, *одинаково реальныя* и соперничающія въ своихъ интересахъ. Точно также поглощеніе личности обществомъ можетъ имѣть мѣсто лишь при представленіи, что общество можетъ достигнуть своихъ цѣлей не въ личностяхъ, а въ чемъ-то *иномъ*. И то, и другое — призракъ. Общество внѣ личностей не заключаетъ ничего реальнаго... Общественныя цѣли могутъ быть достигнуты исключительно въ личностяхъ. Поэтому истинная общественная теорія требуетъ *не подчиненія* общественного элемента личному и не *поглощенія* личности обществомъ, а *смитія* общественныхъ и частныхъ интересовъ... *Индивидуализмъ* на этой ступени становится осуществленіемъ общаго блага помощью личныхъ стремленій, но общее благо и не можетъ иначе осуществиться. *Общественность* становится реализованіемъ личныхъ цѣлей въ общественной жизни, но онѣ и не могутъ быть

реализированы въ какой-либо другой средѣ" <sup>1)</sup>. Оставляя безъ всякихъ комментаріевъ мысль Лаврова о томъ, въ чемъ должны заключаться правильныя отношенія между личностью и обществомъ, оставимся лишь на томъ его соображеніи, что общество, взятое внѣ личностей, его составляющихъ, не имѣетъ никакой реальности и потому можетъ считаться въ такомъ случаѣ только фикціей. При такомъ взглядѣ Лавровъ, конечно, не могъ разсматривать исторію, какъ процессъ безличный, стихійно совершающійся въ какой-то общественной средѣ, но безъ участія въ немъ самихъ людей. Впослѣдствіи Лавровъ особенно охотно останавливался на мысли о личномъ характерѣ исторіи и любилъ выражать ее на разные лады. „Безспорно, писалъ онъ, напримѣръ, въ своемъ „Введеніи въ исторію мысли“ (1874), — безспорно, что реальны въ исторіи лишь личности; лишь онѣ желаютъ, стремятся, обдумываютъ, дѣйствуютъ, совершаютъ исторію" <sup>2)</sup>... Историческія событія *сами собою* не происходятъ. Что бы ни писали о духѣ времени, о неизбѣжномъ теченіи событій, увлекающемъ личностей, но въ концѣ концовъ все-таки дѣлаютъ исторію *личности*, духъ времени составляетъ изъ настроенія мысли *личностей*; потокъ событій, увлекающій однихъ, образуется другими, опять-таки *личностями*" <sup>3)</sup>.

Что касается именно этой самой роли личности въ исторіи, то, по мнѣнію Лаврова, общество въ массѣ, т.-е. „большинство, можетъ развиваться лишь дѣйствіемъ на него болѣе развитого меньшинства“, и „это, прибавляетъ онъ, есть, повидимому, законъ природы" <sup>4)</sup>. Съ другой стороны, само это меньшинство не все сразу приходитъ къ новой идеѣ, которая потомъ воплощается въ жизнь“. Сѣмя прогресса, говорится въ „Историческихъ письмахъ“, есть идея, которая „зарождается въ мозгу личности, тамъ развивается, потомъ переходитъ изъ этого мозга въ мозги другихъ личностей, разрастается качественно въ увеличеніи умственного и нравственного достоинства этихъ личностей, количественно въ увеличеніи ихъ числа и становится общественною силою, когда эти личности сознаютъ свое единомысліе и рѣшаются на единодушное дѣйствіе" <sup>5)</sup>. Такимъ иниціаторомъ перемѣны и является въ разсматриваемомъ сочиненіи критически мыслящая личность, о которой намъ уже приходилось упоминать. Въ критически-мыслящихъ личностяхъ, по Лаврову, вся сила историческаго процесса. „Обществу, говоритъ онъ, угрожаетъ опас-

<sup>1)</sup> П. Миртовъ. Историческія письма. Спб. 1870. Стр. 79—80.

<sup>2)</sup> Введеніе въ исторію мысли, стр. 93.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 95.

<sup>4)</sup> Историческія письма, стр. 58.

<sup>5)</sup> Тамъ же, стр. 66.



ность застоя, если оно заглушить въ себѣ критически мыслящія личности. Его цивилизаціи грозить гибель, если эта цивилизація, какова бы она ни была, сдѣлается исключительнымъ достояніемъ небольшого меньшинства. Слѣдовательно, какъ ни малъ прогрессъ человѣчества, но и то, что есть, лежитъ исключительно на критически мыслящихъ личностяхъ: безъ нихъ онъ безусловно невозможенъ; безъ ихъ стремленія распространить его онъ крайне непроченъ“ <sup>1)</sup>).

Въ этихъ выдержкахъ заключается все теоретическое зерно „Историческихъ писемъ“: критически мыслящей личности принадлежитъ инициатива, которую подхватываетъ болѣе интеллигентное меньшинство, и которая лишь послѣ всего увлекаетъ пассивную массу. Формулируя такую идею, Лавровъ, конечно, предвидѣлъ, что очень многіе съ нею никоимъ образомъ не согласятся. „Какъ! личность! одинокая, ничтожная, безсильная личность думаетъ критически относиться къ общественнымъ формамъ, выработаннымъ исторією народовъ, исторією человѣчества!“ <sup>2)</sup>. Это и преступно, это и вредно, это и бессмысленно, это и безумно, — „безумно, потому что личность безсильна передъ обществомъ и его исторією“ <sup>3)</sup>. Да, возражаетъ Лавровъ, „передъ общественными формами личность, дѣйствительно, безсильна, однако, борьба ея противъ нихъ безумна лишь тогда, когда она силою сдѣлаться не можетъ. Но исторія доказываетъ, что это возможно и что даже это единственный путь, которымъ осуществляется прогрессъ въ исторіи“ <sup>4)</sup>. Дѣло въ томъ, что критически-мыслящая личность не бываетъ одинокою, что ея мысль распространяется въ обществѣ, что единомышленники спланиваются для общаго дѣйствія. Въ другомъ мѣстѣ намъ уже пришлось высказать свое мнѣніе о такомъ пониманіи Лавровымъ роли личности въ исторіи <sup>5)</sup>. Въ немъ мы находимъ прежде всего преобладаніе деонтологическаго отношенія къ исторіи надъ чисто теоретическимъ, или субъективнаго надъ объективнымъ. Это явствуетъ между прочимъ изъ того, что разъ „всякій человѣкъ, критически-мыслящій и рѣшающійся воплотить свою мысль въ жизнь, можетъ быть названъ дѣятелемъ прогресса“ по преимуществу <sup>6)</sup>, то въ сравненіи съ такими людьми, хотя бы они не совершили ни одного яркаго дѣла, „по историческому значенію оказываются ничтожными величайшіе историческіе

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 65.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 97.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 98.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 106.

<sup>5)</sup> См. нашу книгу „Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи“ (Спб., 1890), стр. 79 и слѣд.

<sup>6)</sup> Историческія письма, стр. 77.

дѣятели“<sup>1)</sup>. Съ другой стороны, анализируя „Историческія письма“ въ ихъ чисто объективномъ пониманіи процесса исторіи, мы нашли, что въ нихъ авторъ стоитъ въ общемъ на односторонней точкѣ зрѣнія XVIII в., діаметрально противоположной одностороннему же эволюціонизму XIX в., понимающему исторію, какъ процессъ совершенно стихійный и безличный. Впрочемъ, и по мысли автора „Историческія письма“ должны были быть не столько научной теоріей историческаго процесса, сколько деонтологической проповѣдью на тему, какъ должна вести себя критически мыслящая личность, рѣшившаяся стать дѣятельницей прогресса. Несмотря, однако, на такую постановку вопроса о сущности историческаго процесса и о роли въ немъ личности, Лавровъ не могъ совсѣмъ обойтись безъ извѣстнаго объективнаго пониманія самаго, если можно такъ выразиться, механизма исторіи и того значенія, какое въ ея процессѣ принадлежитъ реальнымъ силамъ самой общественной среды. Правда, говорится объ этомъ въ „Историческихъ письмахъ“ сравнительно очень немного, но и это немногое весьма важно, такъ какъ это былъ первый набросокъ теоріи, которую впоследствии Лавровъ развилъ въ цѣломъ рядѣ уже чисто объективныхъ изслѣдованій историческаго процесса.

Выше мы уже приводили соображенія Лаврова, касающіяся двойственности явленій человѣческой жизни и вытекающаго отсюда различія въ ней личнаго и общественаго элементовъ<sup>2)</sup>. Хотя, по его представленію, личность и обуславливается окружающимъ обществомъ<sup>3)</sup>, но внутри ея происходитъ самостоятельная переработка воспринятыхъ извне впечатлѣній<sup>4)</sup>, дѣлающаяся источникомъ измѣняющей общественныя формы дѣятельности личности. Въ сущности, Лавровъ понималъ историческій процессъ, какъ взаимодействіе личности и общественной среды. Именно эта мысль и заключается въ слѣдующей формулѣ „Историческихъ писемъ“: „исторія мысли, обусловленной культурою, въ связи съ исторіей культуры, измѣняющейся подъ вліяніемъ мысли—вотъ вся исторія цивилизаціи“. Лучшимъ поясненіемъ содержащейся въ этихъ словахъ идеи о взаимодействіи культуры и мысли могутъ служить слѣдующія немногія строки, встрѣчающіяся въ тѣхъ же „Историческихъ письмахъ“: „мысль реальна лишь въ личности, культура—реальна въ обществен-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 67.

<sup>2)</sup> См. выше, стр. 5.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 16.

<sup>4)</sup> См. выше, стр. 17.

<sup>5)</sup> Историческія письма, стр. 91.

ныхъ формахъ; слѣдовательно, личность остается со своими силами и со своими требованіями лицомъ къ лицу съ общественными формами“<sup>1)</sup>). Значить, мысль, о которой идетъ рѣчь въ первой формулѣ Лаврова, это — личный элементъ исторіи, культура—элементъ общественный, и взаимодействие мысли и культуры сводится къ взаимодействию личности и общественныхъ формъ, иначе—всей общественной среды. Это ученіе Лаврова о совершающемся въ исторіи взаимодействии личности съ общественной средою представляется намъ синтезомъ, въ которомъ онъ примирилъ діаметрально противоположныя идеи объ исключительно личномъ и совершенно безличномъ характерѣ историческаго процесса. Индивидуалистическая точка зрѣнія, выдвинутая XVIII вѣкомъ и до извѣстной степени поддержанная лѣвымъ гегельянствомъ, господствовала въ мышленіи Лаврова, пока преобладающій интересъ сосредоточивался на вопросѣ, какъ должна вести себя личность въ качествѣ дѣателя исторіи. На этой точкѣ зрѣнія Лавровъ стоялъ такъ твердо, что для него совершенно сдѣлалось невозможнымъ усвоеніе противоположнаго взгляда, въ которомъ на первый планъ была выдвинута органическая, эволюціонная, стихійная и какъ тамъ еще ее ни называли, словомъ, безличная сторона исторіи. Впервые въ развитіи соціологическихъ взглядовъ съ этой идеей, устраниющею понятіе личности, какъ дѣателя, изъ всякихъ исторіологическихъ соображеній, мы встрѣчаемся въ началѣ XIX в. у французскихъ реакціонныхъ политическихъ мыслителей и у родоначальниковъ такъ называемой нѣмецкой исторической школы права, послѣднюю же доктрину, взявшую на себя защиту этой точки зрѣнія на исторію, является экономическій матеріализмъ, особенно въ его русской обработкѣ<sup>2)</sup>), что указываетъ на независимость разсматриваемаго взгляда отъ реакціонности или прогрессивности тѣхъ или другихъ политическихъ убѣжденій, съ нимъ связанныхъ. Это ученіе оказало важную услугу наукѣ, обнаруживъ всю несостоятельность взгляда, по которому общественныя формы суть будто бы только продукты сознанія и воли отдѣльныхъ личностей, и Лавровъ не могъ, конечно, не видѣть всей ненаучности прежняго взгляда. Но, съ другой стороны, онъ не могъ не видѣть односторонности тѣхъ выводовъ, которые дѣлались изъ отрицательнаго отношенія къ объясненію исторіи личнымъ произволомъ ея дѣателей, и прежде всего его мысль не могла мириться съ пониманіемъ историческаго прогресса, какъ безсознательной эволюціи, не

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 93.

<sup>2)</sup> См. мои книги: „Введеніе въ изученіе соціологіи“ (Спб. 1897) и „Старые и новые этюды объ экономическомъ матеріализмѣ“ (Спб. 1896).

требующей никакихъ личныхъ усилій<sup>1)</sup>. Вся исторія, особенно исторія послѣднихъ столѣтій, которую Лавровъ превосходно зналъ, свидѣтельствовала о противномъ, и принятію другого односторонняго взгляда мѣшала ему его широкая философская подготовка, во время которой онъ особенно углублялся въ вопросы психологіи, этики и гносеологіи, однимъ словомъ, въ научную теорію личности. „Историческія письма“ Лаврова имѣли слишкомъ спеціальную задачу для того, чтобы въ нихъ мы могли искать полнаго изложенія его взглядовъ, относительно того, какъ вообще совершается исторія и какъ въ ея исторіи распредѣляются движущія и задерживающія силы между личнымъ и общественнымъ элементами, но это было имъ сдѣлано въ послѣдующихъ работахъ.

„Историческими письмами“ какъ бы заканчивается тотъ періодъ въ литературной дѣятельности Лаврова, на который мы имѣемъ право смотрѣть, какъ на прямой результатъ его прежней гегельянской подготовки. Съ конца шестидесятыхъ годовъ Лавровъ вступаетъ въ кругъ вопросовъ и идей, выдвинутыхъ позитивизмомъ Огюста Конта и эволюціонизмомъ Дарвина и Спенсера, и отъ чисто абстрактныхъ разсужденій на философскія темы обращается къ изслѣдованію конкретныхъ явленій жизни на основаніи данныхъ положительной науки. Это не значитъ, чтобы онъ, такъ сказать, перемѣнилъ фронтъ и совсѣмъ оставилъ философію. Наоборотъ, философская подготовка помогла ему самостоятельно отнестись къ новымъ проблемамъ теоретической мысли и къ новымъ отвѣтамъ на старые вопросы. Мало того: вступивъ въ кругъ вопросовъ, прежде не привлекавшихъ къ себѣ его вниманія, и вооружившись знаніями, раньше не игравшими никакой роли въ его построеніяхъ, онъ самъ началъ возбуждать новые вопросы и давать на нихъ совершенно оригинальные отвѣты, сдѣлавшись однимъ изъ первыхъ социологовъ въ эпоху расцвѣта этой молодой науки. Оцѣнка всей дѣятельности Лаврова, какъ социолога, впрочемъ, не входитъ въ нашу задачу, и мы прослѣдимъ только, какія видоизмѣненія испытала на себѣ его теорія личности въ этотъ второй періодъ его дѣятельности.

Вопросъ о личности въ связи съ вопросомъ о прогрессѣ, хотъ и въ иной постановкѣ, нежели въ „Историческихъ письмахъ“ Лаврова, былъ поднятъ почти одновременно Н. К. Михайловскимъ въ статьѣ „Что такое прогрессъ“, напечатанной въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1869 г. Это была критика теоріи прогресса Спенсера, въ кото-

---

<sup>1)</sup> О двухъ разныхъ пониманіяхъ прогресса см. въ нашей статьѣ „Идея прогресса въ ея историческомъ развитіи“ въ „Историко-философскихъ и социологическихъ этюдахъ“ (СПб. 1899).

рой были высказаны мысли, сходныя со взглядами другой критической статьи, появившейся въ „Женскомъ Вѣстникѣ“ за 1867 г. и принадлежавшей перу Лаврова. Въ 1870 г. Лавровъ подвергъ положительную сторону разсужденій начинающаго социолога обстоятельному разбору въ статьѣ „Формула прогресса г. Михайловскаго“, помѣщенной въ „Отечественныхъ же Запискахъ“. Формула критикуемаго въ статьѣ автора была такова: „прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣльности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми“. Рѣчь шла такимъ образомъ о человѣческой индивидуальности, причѣмъ почвою, на которой долженъ былъ рѣшаться вопросъ, сдѣлалась органическая теорія общества, состоящая въ примѣненіи біологической аналогіи къ общественному существованію человѣка. Лавровъ, уже раньше заинтересовавшійся органицистическимъ ученіемъ Спенсера съ точки зрѣнія теоріи личности, не могъ обойти молчаніемъ социологическую работу, которая тоже вызывалась интересомъ къ ученію Спенсера съ индивидуалистической точки зрѣнія. Разбирая формулу прогресса, выставленную г. Михайловскимъ противъ Спенсера, который превращалъ человѣческую личность въ простой служебный органъ общественнаго организма, Лавровъ, конечно, и самъ долженъ былъ выдвинуть на первый планъ интересы личности, т.-е. ея свободу и равноправность съ другими личностями въ обществѣ, за которые ратовалъ и самъ авторъ статьи. Сущность его замѣчаній сводилась къ слѣдующему. Природныя условія существованія человѣка дѣлаютъ немыслимыми ни полное равенство особей, ни всестороннее развитіе отдѣльной личности, которыхъ требуетъ формула прогресса г. Михайловскаго: „невозможности, противопоставляемыя природою полному равенству особей, заключается въ различіи пола и возраста. Невозможности, противопоставляемыя ею же всестороннему развитію отдѣльной личности, заключаются въ краткости человѣческой жизни“. Если при этихъ условіяхъ усвоеніе личностью полнаго знанія всѣхъ наукъ невозможно, а безусловная нравственность и справедливость требуютъ возможнаго приближенія къ равенству дѣятельности индивидуумовъ, то, безъ сомнѣнія, идеаль равенства долженъ быть достигнутъ всѣми возможными средствами, даже съ ограниченіемъ успѣховъ знанія и техники, неизбежнымъ слѣдствіемъ чего будетъ устраненіе нѣкоторыхъ отраслей знанія и техники, а это было бы регрессомъ. Но допустимъ, продолжаетъ Лавровъ, — допустимъ такое состояніе общества, въ которомъ раздѣленіе труда ограничено лишь отдѣленіемъ воспитываемыхъ дѣтей и старцевъ, требующихъ заботъ, отъ взрослыхъ энциклопедистовъ науки и техники, въ которомъ всякая личность

постоянно увѣрена, что она не можетъ и не должна обратиться къ теоретической и практической дѣятельности, которая отличала бы ее отъ другихъ <sup>1)</sup>. Тогда, спрашиваетъ Лавровъ, какъ будетъ совершаться прогрессъ? Результатомъ было бы атрофированіе критической мысли, и ея работу замѣнили бы преданія, какъ въ Китаѣ <sup>2)</sup>. Съ другой стороны, „возможно полное и всестороннее раздѣленіе труда между органами“, котораго требуетъ г. Михайловскій, ограничивается неустрашимымъ различіемъ индивидуумовъ при рожденіи и стремленіемъ современной педагогикѣ не къ нивелированію личностей, а къ развитію ихъ *сообразно ихъ способностямъ и особенностямъ*, что не унижаетъ общаго человѣческаго достоинства. Во всѣхъ специализующихъ качествахъ человѣкъ находитъ удовольствіе именно потому, что онъ въ нихъ специалистъ, и общество доставляетъ человѣку удовольствіе, а себѣ пользу, ставя своего члена въ такое положеніе, гдѣ бы онъ могъ вполне развить свои спеціальныя особенности, наилучшимъ образомъ приложить ихъ <sup>3)</sup>. Одно только: эта специализація не должна вредить и препятствовать развитію того, что Лавровъ обозначаетъ, какъ „общечеловѣческія способности“. Поэтому вторую половину формулы г. Михайловскаго онъ совѣтовалъ измѣнить, поставивъ идеальнымъ требованіемъ „не возможно меньшее“, а „справедливѣйшее раздѣленіе труда между людьми“ <sup>4)</sup>.

Вообще Лавровъ былъ противникомъ органической теоріи общества, притомъ съ разныхъ точекъ зрѣнія, среди которыхъ видную роль игралъ и его принципъ личности. Онъ не занимался вплотную, какъ г. Михайловскій, критической разработкой этого ученія, оказавшаго вообще большое вліяніе на соціологическое мышленіе г. Михайловскаго, и біологическія соображенія, которыя Лавровъ въ семидесятыхъ годахъ сталъ вносить въ свои соціологическія изслѣдованія. Или изъ другого источника.—не изъ органической теоріи общества, пользовавшейся біологической аналогіей, а изъ дарвинизма. Какъ соціолога, постоянно интересовавшагося теоріей личности, Лаврова особенно привлекалъ вопросъ о развитіи въ животной особи—индивидуальности съ высшими ея духовными проявленіями, находящими свое завершеніе въ критически мыслящей личности Далъе, какъ соціологъ, ставившій свою науку на широкую основу біологіи и антропологіи, Лавровъ не могъ не заинтересоваться вопросомъ объ эволюціи общества отъ первыхъ его зачатковъ въ животномъ мірѣ и самыхъ раннихъ общественныхъ организацій у дикаго еще чело-

<sup>1)</sup> Отеч. Зап., 1870, февраль, стр. 234.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 235.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 250.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 252.

вѣка до современной цивилизаціи, а такъ какъ и при изслѣдованіи этого вопроса не покидала его мысль о теоріи личности, то разсматривая и эволюцію общества, онъ неуклонно слѣдилъ за тѣмъ, какъ постепенно развивались взаимныя отношенія отдѣльной особи и окружающаго ее общества и какъ происходило постепенное выдѣленіе индивидуальной самобытности изъ всеуравнивающей соціальной среды. Въ первый періодъ своей дѣятельности Лавровъ пользовался понятіемъ личности, сложившимся на почвѣ наблюденій изъ міра высшихъ проявленій человѣческаго духа на поприщахъ знанія и творчества. Я сказалъ бы даже, что свою критически мыслящую личность ихъ списывалъ съ самого себя и съ тѣхъ мыслителей и дѣятелей, которые стояли на одной съ нимъ ступени умственного развитія. Теперь предстояло объяснить, какъ вообще сдѣлалась возможною человѣческая личность, т.-е. не только какъ произошло выдѣленіе человѣка изъ зоологическаго міра, но какъ человѣческая особь доразвилась до способности быть личностью и выдѣлиться въ самостоятельную психическую единицу изъ однородной общественной среды. Эти два вопроса придаютъ особый интересъ цѣлому ряду большихъ, серьезно задуманныхъ и съ замѣчательною эрудиціей выполненныхъ работъ, въ которыхъ Лавровъ обобщалъ научный матеріалъ довольно разнообразныхъ категорій—зоологическій и антропологическій, этнографическій и историческій, давая ему философскую, психологическую и соціологическую обработку. Въ новый синтезъ семидесятихъ годовъ вошло и то, что утвердилось въ мысли Лаврова въ шестидесятихъ годахъ по вопросу о природенныхъ свойствахъ человѣческой личности, объ основныхъ ея стремленіяхъ, о переработкѣ и развитіи этихъ стремленій подъ вліяніемъ жизни, о взаимныхъ отношеніяхъ личности и общества, о роли личнаго начала въ историческомъ прогрессѣ и т. д. Въ первыхъ трудахъ Лаврова личность выступала на сцену скорѣе, какъ идеаль, долженствующій служить путеводною звѣздою въ жизни, но теперь предстояло объяснить, какимъ образомъ вообще сдѣлались возможными реальныя явленія, отъ которыхъ былъ отвлеченъ этотъ идеаль, т.-е. идеаль личности, самостоятельно мыслящей и самостоятельно дѣйствующей въ жизни. Оговоримся, что въ міросозерпаніи Лаврова эта самостоятельность вовсе не значила, чтобы надъ личностью не было никакого закона, чтобы дѣйствія ея не подчинялись законмѣрной причинности, и чтобы ей все было доступно. Придавая въ своей этикѣ большое значеніе сознанию свободы воли, Лавровъ, конечно, отрицалъ существованіе свободы внѣ сознающаго субъекта, т.-е. былъ послѣдовательнымъ детерминистомъ, но въ то же время онъ приписывалъ громадное значеніе и способности личности дѣйствовать по своимъ вну-

треннимъ побужденіямъ, хотя бы и обусловленнымъ во всѣхъ своихъ элементахъ и сторонахъ, т.-е. способности самостоятельно перерабатывать внутри себя идущія извнѣ вліянія. Сама эта способность была въ его глазахъ продуктомъ эволюціи, въ которой все совершалось съ закономерностью, въ силу разнообразнаго и сложнаго сочетанія совершенно реальныхъ, естественныхъ причинъ. Такія работы Лаврова, какъ „До человѣка“, „Цивилизація и дикія племена“, „Современныя ученія о нравственности и ея исторія“ и т. п. могутъ разсматриваться, какъ своего рода Bausteine, пользуясь нѣмецкимъ выраженіемъ, для цѣлой генетической теоріи личности и именно теоріи генетической, объясняющей, какъ стала личность тѣмъ, чѣмъ она является на высшихъ ступеняхъ своего развитія въ человѣческомъ мірѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, указывающей, при какихъ условіяхъ тотъ идеалъ личности, который вырастаетъ на почвѣ развитого самосознанія, можетъ быть осуществленъ въ жизни. Это—центральный пунктъ всей философіи Лаврова. Любопытно, что и главную свою работу, которая такъ-таки и осталась неоконченною, онъ посвятилъ исторіи мысли, той самой человѣческой мысли, въ которой видѣлъ и главный результатъ и главное орудіе развитія личности.

Въ своей книгѣ „Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи“<sup>1)</sup>, составляющей третій томъ „Основныхъ вопросовъ философіи исторіи“, я уже разсматривалъ взгляды Лаврова на роль личности въ исторіи, высказанные имъ въ такихъ его работахъ, какъ „Цивилизація и дикія племена“<sup>2)</sup>, „Научныя основы исторіи цивилизаціи“ и „Введеніе въ исторію мысли“<sup>3)</sup>. Эти и другія статьи Лаврова и раньше цитировались мною въ первыхъ двухъ томахъ „Основныхъ вопросовъ философіи исторіи“, взгляды которыхъ вообще по многимъ частнымъ пунктамъ отразили на себѣ вліяніе идей Лаврова. Составляя эту статью, я снова пересмотрѣлъ упомянутыя работы Лаврова и перечиталъ, что было о нихъ написано въ книгѣ моей о „Сущности историческаго процесса“, и считаю нужнымъ все существенное повторить и здѣсь, дополнивъ изложеніе указаніями, заимствованными изъ незатронутой тамъ работы „До человѣка“, которая была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1870 г.

Эта послѣдняя статья имѣетъ своимъ предметомъ между прочимъ психическую и соціальную эволюцію въ зоологическомъ мірѣ, постепенно подготовившую человѣка (откуда и самое заглавіе статьи),

<sup>1)</sup> Стр. 84—91.

<sup>2)</sup> Помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1869 г.

<sup>3)</sup> Обѣ послѣднія работы были напечатаны въ журналѣ „Званіе“ за 1872 и 1873 гг.



причемъ автора особенно интересуетъ вопросъ о „началѣ работы мысли“. Сравнивая жизнь безпозвоночныхъ и низшихъ разрядовъ позвоночныхъ животныхъ, съ одной стороны, и высшихъ разрядовъ позвоночныхъ, т.-е. птицъ и млекопитающихъ, съ другой, Лавровъ пришелъ къ той мысли, что между тѣми и другими существуетъ въ одномъ важномъ отношеніи большая разница. Если вообще во всемъ животномъ мірѣ наблюдается господство инстинктовъ, въ смыслѣ „видовыхъ и родовыхъ обычаевъ“, или „унаслѣдованныхъ органическихъ наклонностей и привычекъ“<sup>1)</sup>, то въ частности у птицъ и млекопитающихъ обнаруживаются уже нѣкоторые новыя черты, которыя отличаютъ ихъ даже отъ самыхъ развитыхъ безпозвоночныхъ въ родѣ пчелъ. Эти особенности Лавровъ сводилъ, во-первыхъ, къ „индивидуальной разницѣ въ степени подчиненія инстинктамъ“, во-вторыхъ, къ возможности приученія, выучки, воспитанія, въ-третьихъ, къ способности временно соединиться въ большомъ числѣ особей для достиженія опредѣленныхъ цѣлей и „выбирать одну особь изъ многихъ подобныхъ“ при устройствѣ своей семейной жизни<sup>2)</sup>. Всѣ эти процессы, говоритъ Лавровъ, показываютъ въ позвоночныхъ психическіе процессы, уже не количественно, а качественно различающіеся отъ того, что видимъ въ безпозвоночныхъ... Въ спинно-головномъ мозгу позвоночныхъ слѣдуетъ, вѣроятно, искать источникъ той дѣятельности *личной мысли*, которую мы замѣчаемъ въ высшихъ группахъ позвоночныхъ“<sup>3)</sup>. Не приводи здѣсь фактовъ, изъ которыхъ Лавровъ дѣлалъ такой общій выводъ, мы позволимъ себѣ сосредоточить вниманіе читателя именно только на этомъ общемъ выводѣ, который формулируется самимъ авторомъ „До человѣка“ въ такихъ словахъ: „*работа мысли*— вотъ ступень, достигаемая млекопитающими въ психическомъ развитіи организмовъ“<sup>4)</sup>. Понятно, что въ этомъ изслѣдованіи до-человѣческой эволюціи Лавровъ долженъ былъ съ особымъ интересомъ остановиться на разрядѣ человѣкообразныхъ. Касаясь вопроса о психическомъ развитіи обезьянъ, онъ находилъ прежде всего, что достигнутая ими ступень была недостаточно оценѣна самыми безпристрастными зоологами. Послѣдніе невольно становились на точку зрѣнія пользы или вреда, приписывая тѣмъ или другими животными человѣку, а съ этой точки зрѣнія быть благосклонными къ обезьянамъ оказывалось труднымъ. Но „если внимательно взвѣсить вины обезьянъ, то эти самыя вины доказы-

<sup>1)</sup> „Отч. Зап.“, стр. 68.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 79—80.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 81.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 84.

ваютъ лишь психическую высоту этихъ животныхъ“<sup>1)</sup>. Въ укоръ имъ ставятъ какъ-разъ то, что возвышаетъ обезьяну надъ другими млекопитающими и что приближаетъ ее къ человѣку, но „не дозволяетъ ей быть бессмысленнымъ рабомъ его, покорною игрушкою его прихоти“<sup>2)</sup>. Общая характеристика психического склада обезьянъ, которою оканчивается статья „Де человѣка“, принадлежитъ въ лучшимъ страницамъ всей этой работы, но здѣсь Лавровъ еще очень мало останавливается на томъ, что можно, пожалуй, называть индивидуализмомъ обезьянъ. Эта тема была развита имъ гораздо подробнѣе въ статьѣ „Цивилизація и дикія племена“.

Въ тольکو что названной работѣ есть цѣлая глава, посвященная социальной жизни животныхъ<sup>3)</sup>, имѣющая на нашъ взглядъ, большую важность и въ общей разработкѣ этого предмета<sup>4)</sup>. Въ частности Лавровъ остановился здѣсь на вопросѣ о взаимныхъ отношеніяхъ между особью и социальнымъ цѣлымъ въ родѣ пчелинаго роя или обезьяньего стада. Общежитіа безпозвоночныхъ онъ характеризуетъ господствомъ въ нихъ „строгаго преданія и неумолимой привычки уже въ удовлетвореніи потребностей“, отсутствіемъ даже „самомалѣйшаго протеста“<sup>5)</sup>. Разъ новая особа является на свѣтъ въ извѣстной общественной средѣ, то самое существованіе послѣдней уже предполагаетъ, что она, среда эта, представляетъ все нужное для самаго существованія данной особи, которой потому и останется лишь пользоваться услугами общественнаго быта, передавая его неизмѣннымъ новымъ особямъ<sup>6)</sup>. Правда, и пчелы, и муравьи должны были измѣнить свои привычки (безъ этого онѣ и не выработались бы и не достигли бы современнаго состоянія), но „тѣ немногіе случаи, которые были наблюдаемы въ этой сферѣ явленій, указываютъ не на борьбу одной или нѣсколькихъ особей съ общественнымъ строемъ“, а на дѣйствіе общихъ причинъ, лежащихъ въ измѣненіи условій существованія<sup>7)</sup>. Наоборотъ, въ общежитіяхъ позвоночныхъ обнаруживается уже „господство индивидуальнаго побужденія надъ общественнымъ строемъ, надъ обычаемъ“, т.-е. позвоночныя животныя отно-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 90.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 91.

<sup>3)</sup> 5. Происхожденіе общественной связи у животныхъ.—6. Культура животныхъ.—14. Общественный элементъ безпозвоночныхъ.—16. Общественный элементъ позвоночныхъ.

<sup>4)</sup> Въ книгѣ „Введеніе въ социологію“ (стр. 78—79) мы указали, въ чемъ, по нашему мнѣнію, заключается научное достоинство этой статьи.

<sup>5)</sup> Отеч. Зап., стр. 296.

<sup>6)</sup> Тамъ же, стр. 297.

<sup>7)</sup> Тамъ же, стр. 300.

сятся къ общественной жизни какъ къ средству, не отдавая ей себя совсѣмъ, какъ это наблюдается у муравьевъ и пчель <sup>1)</sup>. Въ этомъ и связанныхъ съ этимъ явленіяхъ выбора и уклоненія отъ данной нормы Лавровъ видитъ положительное „умственное преимущество позвоночныхъ“. „Личная мысль, прибавляетъ онъ, и ея вліяніе на измѣненіе обычая—вотъ важный элементъ общественности, появляющійся среди позвоночныхъ“ <sup>2)</sup>.

Такимъ образомъ изъ сдѣланнаго Лавровымъ сравненія между людскими и животными общежитіями вытекаетъ, что и въ тѣхъ, и въ другихъ можетъ царить рутинность, но чѣмъ выше стоитъ особь на лѣстницѣ органическаго развитія, тѣмъ менѣе она способна подчиниться безусловному господству рутины. „Когда однажды, говоритъ онъ, новое существо является въ жизнь, въ общество опредѣленнаго строя, уже самое существованіе среды, въ которой это существо явилось, предполагаетъ, что есть средства удовлетворить потребностямъ его организаціи, что есть преданіе для ихъ удовлетворенія, что ему могутъ сообщить рутинную технику, назначенную для этой цѣли, и что новое существо найдетъ цѣлую систему привычныхъ потребностей, привычныхъ соображеній, привычныхъ приемовъ жизни, привычнаго общественнаго строя. Сдѣлавшись органомъ этого строя, это существо будетъ передавать всю эту привычную систему новымъ существамъ, и ничто не мѣшаетъ подобнымъ процессамъ повторяться неопредѣленно длинное количество времени, переходя отъ одного поколѣнія къ другому“. Это соображеніе, продолжаетъ онъ, „совершенно одинаково приложимо къ государству насѣкомыхъ, какъ и къ бѣдной жизни какого-нибудь племени островитинъ или къ разнообразнымъ явленіямъ жизни государства, имѣющаго сложное законодательство, обширную промышленность, великолѣпное богослуженіе, даже обширную литературу“ <sup>3)</sup>. Такимъ образомъ и въ человѣческой цивилизаціи есть элементы, допускающіе окоченѣніе. „Формы общественной жизни, говоритъ еще Лавровъ, насколько онѣ получаютъ по преданію и передаются по привычѣ, отличаются отъ строя животной жизни лишь по сложности, а не по существеннымъ признакамъ. Человѣческій муравейникъ можетъ обладать администраціей, законодательствомъ, промышленностью, искусствомъ, религіей, даже въ извѣстной степени наукою и оставаться не болѣе, какъ человѣ-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 301.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 302. Въ другомъ мѣстѣ читаемъ: въ обществахъ беспозвоночныхъ „особи еще не личности, а потому общежителный законъ не допускаетъ исключеній и не можетъ ихъ допустить“. До человѣка, стр. 74.

<sup>3)</sup> Отеч. Зап., стр. 297.

ческимъ муравейникомъ“. Къ счастью однако, „до сихъ поръ не встрѣчалось въ обществахъ, достигшихъ извѣстной степени развитія, примѣровъ полнаго и окончательнаго застоя“. „Какія старанія, представляетъ Лавровъ, ни употребляли, чтобы упрочить человѣческій муравейникъ того или другого развитія, они не удавались“, и причина этого, по его мнѣнью, въ сущности, всегда бывала одна и та же, именно „протестъ личности во имя новыхъ потребностей, сдѣлавшихся для этой личности столь побудительною силою, что эта сила превозмогла силу привычки и преданія и заставила личность возстать противъ строя, еще не вызывавшаго протеста со стороны другихъ личностей“ <sup>1)</sup>. Такой индивидуальный протестъ, совершенно немислимый, какъ полагаетъ Лавровъ, у безпозвоночныхъ, появляется впервые въ обществѣ позвоночныхъ животныхъ съ болѣе развитою индивидуальностью. Общій выводъ, дѣлаемый авторомъ изъ сопоставленія общественности безпозвоночныхъ и позвоночныхъ животныхъ, — тотъ, что человѣкъ „отъ ряда млекопитающихъ, бывшихъ до него, получилъ въ наслѣдство не только возможность жить въ данныхъ формахъ общества, а еще способность *лично* приноравливаться къ обстановкѣ, пользоваться *лично* болѣе или менѣе выгоднымъ положеніемъ для достиженія себѣ большихъ благъ, для поставленія себя въ выгоднѣйшее положеніе, относительно своихъ собратій“. Человѣкъ „живетъ въ обществѣ подобно муравьямъ и пчеламъ, но онъ готовъ, подобно позвоночнымъ, каждую минуту выйти изъ условій этого общества, если ему это лучше; онъ можетъ уклониться отъ обычая, лицемѣрить и употреблять обычай, не какъ священный законъ, а какъ щитъ для своихъ цѣлей, и, подчиняясь обычаю, онъ можетъ это дѣлать потому, что онъ лично, какъ особь, вѣритъ въ высокое значеніе обычая, или потому, что онъ сознаетъ свое безсиліе противиться обычаю. Опять-таки онъ можетъ это сдѣлать, но въ дѣйствительности достигаютъ этого лишь немногіе. Другіе живутъ въ данныхъ формахъ, но не обсуждая ихъ подобно муравьямъ. Спасеніе человѣческихъ обществъ отъ застоя, продолжаетъ Лавровъ, заключается именно въ томъ, что въ нихъ есть всегда первыя. Эти дерзкіе критики существующаго, эти лицемѣры, относящіеся съ тайнымъ эгоистическимъ расчетомъ къ священному обычаю, эти львы, идущіе за другими не потому, что и тѣ идутъ, а потому, что имъ лично видна цѣль въ этомъ направленіи, — это люди мысли, работники прогресса или реакціи, но во всякомъ случаѣ враги обычая. Они мѣшаютъ другимъ останавливаться навсегда на той или другой

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 299.

ступени общественнаго развитія и хранятъ ихъ традицію позвоночныхъ животныхъ среди общества, готового опуститься на ступень безпозвоночныхъ“ <sup>1)</sup>. Лавровъ даже классифицируетъ отдѣльныя особи, входящія въ составъ общества, по степени ихъ самостоятельности въ отношеніи культурно-соціальныхъ формъ. Беря современное европейское общество, а въ немъ прежде всего меньшинство, поставленное въ наивыгоднѣйшее отношеніе, онъ въ немъ, этомъ меньшинствѣ, различалъ три группы личностей. Это, во-первыхъ, немногіе *дѣатели* цивилизаціи съ болѣе или менѣе основательнымъ взглядомъ на общественныя задачи. Далѣе, это — *участники* въ цивилизаціи меньшинства, живущіе мыслью первой группы, повторяющіе ихъ слова, дѣйствующіе по ихъ указанію, составляющіе ихъ самую прочную поддержку — въ смыслѣ ли защиты существующихъ порядковъ или нападенія на нихъ. Наконецъ, третью и самую притомъ многочисленную категорію составляютъ личности, пользующіяся не менѣе другихъ (а пожалуй, и болѣе) всѣми ощутимыми выгодами современной общественной жизни, но не участвующія въ ея движеніи: онѣ, такъ сказать, лишь *присутствуютъ* при цивилизаціи <sup>2)</sup>. Тѣ же три группы Лавровъ различалъ и въ томъ классѣ общества, который не пользуется совсѣмъ или не пользуется въ равной мѣрѣ благами современной цивилизаціи <sup>3)</sup>. Это же подраздѣленіе, говоритъ онъ еще, повторяется вездѣ, гдѣ только существуетъ человѣческое общество, — и въ предыдущіе періоды развитія высшихъ расъ, и въ современномъ быту низшихъ <sup>4)</sup>. „Собственно дѣателями“ онъ считаетъ возможнымъ „назвать очень немногихъ“, и именно „ихъ разнообразныя процессы мысли, лежащія въ основѣ ихъ стремленій, составляютъ, по его словамъ, въ сущности, всю движущую силу современнаго цивилизованнаго меньшинства. Наоборотъ, тѣ, которые „лишь присутствуютъ при европейской цивилизаціи“, только „получили по наслѣдству нѣкоторыя формы жизни и привычки и сохраняютъ ихъ подобно тому, какъ австраліецъ до конца жизни сохранить обычай и привычки семьи, въ которой родился, какъ муравей сохранить тотъ или другой строй унаслѣдованнаго имъ муравейника“ <sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 307.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 292—293.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 295.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 296.

<sup>5)</sup> Тамъ же, стр. 292—293. Въ той же статьѣ Лавровъ приводитъ большую выдержку изъ „Исторіи цивилизаціи Европы“ Гизо, чтобы указать на то, какъ этотъ ученый впервые различилъ въ историческомъ развитіи общества два элемента: *личныя*, который для Гизо какъ бы совпадалъ съ общечеловѣческимъ, и

Тѣ же основныя мысли свои на роль личнаго начала повторялъ Лавровъ и въ другихъ своихъ статьяхъ, печатавшихся въ семидесятихъ годахъ въ „Отечественныхъ запискахъ“ и въ „Знаціи“. Во второмъ изъ этихъ журналовъ онъ помѣстилъ въ 1873 г. свое „Введение въ исторію мысли“, вышедшее въ свѣтъ и отдѣльной книгой. Это было, дѣйствительно, введение, за которымъ должна была слѣдовать и самая исторія мысли, громадный трудъ, печатавшийся въ восьмидесятихъ годахъ за границею и при жизни автора оставшійся неоконченнымъ. Только незадолго до смерти Лавровъ успѣлъ изложить основныя идеи этого своего труда въ небольшой книжкѣ, вышедшей въ свѣтъ подъ заглавіемъ: „Задачи пониманія исторіи“, причемъ авторъ выступилъ здѣсь подъ псевдонимомъ Арнольди <sup>1)</sup>. Эта книжка, о которой я уже имѣлъ случай довольно подробно говорить въ печати <sup>2)</sup>, можетъ разсматриваться, какъ послѣдняя формулировка идей Лаврова, касающихся роли личнаго начала въ общественной жизни и въ историческомъ процессѣ.

Во „Введеніи въ исторію мысли“ Лавровъ съ особою обстоятельностью останавливается на различіи въ исторіи „идеально-обобщающаго“ и „реально-біографическаго“ элементовъ. „Если, говоритъ онъ, мы станемъ смотрѣть на исторію *только* какъ на результатъ рефлексовъ, совершающихся въ обществѣ подъ вліяніемъ внѣшнихъ дѣятелей, мы получимъ лишь схему исторіи, рядъ формулъ, которыя не заключаютъ именно того, что составляетъ особенность всего человѣческаго. Въ нихъ мы не видимъ, какъ люди страдали и боролись, стремились къ лучшему и сознавали себя борцами за лучшее... Зная, какія безсознательныя, неизмѣнныя начала присутствуютъ въ жизни общества, исторія мысли хочетъ еще знать, насколько и

---

*общественный*, который какъ бы совершается съ меньшею сознательностью и заключается болѣе въ формахъ общественнаго строя, чѣмъ въ дѣятельности личностей“. Считая это различіе въ высшей степени важнымъ, Лавровъ находилъ, однако,—и, нужно замѣтить, вполне справедливо,—что понятіе о развитіи общественной дѣятельности у Гизо оставалось туманнымъ. Именно французскій историкъ какъ бы упускаетъ изъ виду, что измѣненіе общественныхъ формъ происходитъ не само собою, а путемъ дѣятельности личностей (тамъ же, стр. 96). Но у Гизо все-таки, хотя и смутно, высказалось „различіе личной дѣятельности, вмѣняющей обществу во имя своего идеала, и общественной культуры, представляющей лишь среду для развитія личностей и обуславливающей болѣе или менѣе удобное ихъ развитіе“ (тамъ же, стр. 97).

<sup>1)</sup> Арнольди. Задачи пониманія исторіи. Проектъ введенія въ изученіе эволюціи человѣческой мысли. М. 1898.

<sup>2)</sup> Статья „Новый историко-философскій трудъ“ въ 45 книгѣ „Вопросовъ философіи и психологіи“.

какимъ образомъ эти начала переходятъ въ сознаніе личностей, и какіе результаты получаютъ отъ встрѣчи этихъ лучей, преломленныхъ въ столбикъ человѣческихъ призмахъ. Лишь изучая это, мы изучаемъ *жизнь* общества, и знать эту жизнь мы можемъ, лишь вглядываясь въ біографіи личностей, составляющихъ общество“ <sup>1)</sup>. Въ послѣднее время многіе высказывали ту мысль, что вообще біографическій элементъ не можетъ быть относимъ къ области науки. Лавровъ не раздѣлялъ этого взгляда или, по крайней мѣрѣ, сильно его ограничивалъ. „Біографіи отдѣльныхъ лицъ, говоритъ онъ, не имѣютъ вовсе научнаго значенія, если біографъ не усвоилъ и не хочетъ знать неизбѣжнаго обусловленія личностей общими законами физики и вліяніемъ среды. Но біографъ, мечтающій, что онъ можетъ всѣ факты изучаемой личности свести на *извѣстныя* общія начала и вліянія, доказываетъ неясное пониманіе средствъ и предѣловъ науки; если же онъ считаетъ въ біографіи важными лишь факты, объясняемые общими законами, онъ отнимаетъ у біографіи всякій научный интересъ, низводя ее на степень иллюстраціи началъ, вовсе не нуждающейся еще въ одномъ подтвержденіи“ <sup>2)</sup>. Становясь на такую точку зрѣнія, Лавровъ высказывался за возможность строгой научности и біографій и притомъ не только въ томъ случаѣ, если ихъ авторы умѣютъ „прослѣдить въ жизни личности все то, что можетъ быть выведено, какъ неизбѣжный результатъ общихъ фізіологическихъ, психологическихъ, экономическихъ законовъ, дѣйствующихъ при данной обстановкѣ культуры, расы, идей“, но если при этомъ выдвигаютъ впередъ и все „обособляющее данную личность, принадлежащее ей настолько, что другія лица, поставленные, повидимому, въ подобныя или почти подобныя обстоятельства, вышли иными и въ своихъ чувствахъ, и въ своихъ мысляхъ, и въ своихъ дѣйствіяхъ“ <sup>3)</sup>. Лавровъ даже думалъ, что вообще успѣхъ всѣхъ антропологическихъ наукъ зависитъ отъ тщательнаго изученія всего, что только служитъ обособленію личностей. Между прочимъ и исторической наукѣ, по его мнѣнію, постоянно нужно разрѣшать вопросъ, насколько событія подводятся подъ общіе законы, и что „остается на долю дѣятельности конкретныхъ личностей, не разрѣшенной въ общій законъ“. Поэтому-то онъ и требовалъ соединенія въ исторіи „идеально - обобщающаго и реально-біографическаго“ элементовъ, оговоря, что лишь при выполненіи этого условія въ надлежащей мѣрѣ можно *понять* ту или другую эпоху въ истинномъ ея значеніи и

<sup>1)</sup> Введеніе въ исторію мысли, стр. 96—97.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 94.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 95.

возсоздать ее во всей ея жизненности <sup>1)</sup>). „Понять эпоху, говорить о ней, можно лишь тогда, когда подъ картиною ея жизни мы угадываемъ бессознательные процессы, служащіе основаніемъ этой картинѣ <sup>1)</sup>.... Возсоздать жизнь, возсоздать реальную мысль эпохи можно лишь при пособіи біографическаго элемента“ <sup>1)</sup>).

Какова же вообще роль, „которую слѣдуетъ придать личностямъ въ общемъ историческомъ развитіи человѣчества?“ Лавровъ, конечно, не могъ игнорировать, что многіе мыслители готовы были приравнять ее къ нулю. „Роль личностей въ исторіи человѣчества, говорить о ней, оцѣнивалась весьма различно. Если въ младенчествѣ исторіи этой роли придавали слишкомъ большое значеніе, то въ послѣдствіи, прямо наоборотъ, стали слишкомъ отрицать личный элементъ въ исторіи. Въмѣсто преобразователей, создателей государствъ, создателей законовъ, создателей культуры, въ исторіи воцарился безличный законъ событій, неизбежная сила идей, двигающая массы. Личностямъ отмежевано лишь скромное мѣсто глашатаевъ того, что развилось внутри общества болѣе или менѣе полныхъ представителей жизни идей“ <sup>2)</sup>). Въ данномъ случаѣ, по мнѣнію, Лаврова повторился діалектическій законъ Гегеля: человѣческій умъ, схвативъ одну сторону предмета, непосредственно вѣрную, замѣтилъ ея неполноту и, разрушивъ ее, противопоставилъ ей то начало, которое въ ней не было взято въ разсмотрѣніе. Но на этомъ дѣло остановиться не можетъ, и умъ долженъ перейти къ болѣе полному воззрѣнію, гдѣ удержана вся непосредственная вѣрность перваго начала, но дополненная усвоеннымъ противоположеніемъ. „Безспорно, продолжаетъ Лавровъ, что *реальны въ исторіи лишь личности*; лишь онѣ желаютъ, стремятся, обдумываютъ, дѣйствуютъ, совершаютъ исторію. Это—первобытное воспріятіе, само собою бросающееся въ глаза, и по тому самому первое доступное хроникеру, писателю мемуаровъ, точно такъ же какъ оно первое доступно изъ исторіи ребенку.... Но едва ли не столь же очевидно для мыслящаго историка, что, начиная съ мелкихъ и доходя до важныхъ человѣческихъ мыслей и дѣйствій, *все въ личности есть неизбежное слѣдствіе предшествующихъ причинъ*. Неизбѣжные законы физики, химіи, фізіологіи и психологіи господствуютъ надъ человѣкомъ въ каждое мгновеніе его бытія. Климатическія данныя, преемство расы, культурныя привычки общества, его окружающаго, преданія и вѣрованія, передаваемые ему съ дѣтства, составляютъ неотвратимую обстановку, проникающую своимъ вліяніемъ во всѣ поры человѣка, обуславливаю-

<sup>1)</sup> Та же страница.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 93.



щую всякое его, физическое и нравственное движение. Наконец, вѣчная борьба теоретическихъ и практическихъ міросозерцаній, живущая въ обществѣ, вѣчное столкновение экономическихъ интересовъ бросаетъ развивающагося человѣка въ ряды той или другой партіи, возбуждаетъ въ немъ самостоятельную личность, опредѣляетъ размѣры его знаній, твердость его убѣждений, энергію его характера, округляетъ его міросозерцаніе и обособляетъ его жизнь въ жизни его современниковъ. Наука исторіи начинается лишь съ усвоенія этого подчиненія личности общимъ законамъ личной и общественной жизни“ <sup>1)</sup>. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не слѣдуетъ забывать и того, что историческія событія сами собою не происходятъ. „Что бы ни писали о духѣ времени, о неизбѣжномъ теченіи событій, увлекающемъ личностей, но въ концѣ концовъ все-таки дѣлаютъ исторію личности; духъ времени составляется изъ настроенія мысли личностей; потокъ событій, увлекающій однихъ, образуется другими опять-таки личностями“. Поэтому Лавровъ прямо даже считаетъ возможнымъ сказать, что исторія „представляетъ лишь идеальныя обобщенія событій, принадлежащихъ съ реальной точки зрѣнія къ области разныхъ біографій“ <sup>2)</sup>.

Всѣ эти статьи Лаврова, которыя мы только что рассматривали для опредѣленія того, какъ ставился имъ вопросъ объ эволюціи личности и о роли личности въ исторіи, равно какъ и другія его работы, помѣщавшіяся въ семидесятыхъ годахъ главнымъ образомъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и въ „Знаніи“, имѣли значеніе подготовительныхъ этюдовъ къ задуманной авторомъ, но, какъ я сказалъ, не оставшейся неоконченною „Исторіи мысли“. Мы уже упомянули, что всѣ основныя идеи этого труда Лавровъ передъ своею смертію представилъ въ сжатомъ очеркѣ, своего рода конспектѣ, вышедшемъ въ свѣтъ отдѣльной книгой въ 1898 году. Въ этомъ послѣднемъ трудѣ перваго по времени русскаго соціолога мы встрѣчаемся съ знакомыми уже намъ мыслями о положеніи личности въ обществѣ и о значеніи ея въ исторіи. „Личности, говоритъ онъ, входятъ въ исторію, какъ элементы коллективностей, по ихъ отношенію къ коллективнымъ задачамъ, передъ ними поставленнымъ событіями. Но въ то же время понятіе объ обществѣ при внимательномъ разсмотрѣніи его, оказывается лишь удобною формою для изученія единовременныхъ психическихъ процессовъ, совершающихся въ большемъ или меньшемъ числѣ солидарныхъ между собою личностей, и реальныхъ дѣйствій, ими совершаемыхъ, такъ что

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 94.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 95.

общества имѣютъ, собственно, реальное существованіе лишь въ личностяхъ, ихъ составляющихъ, именно въ *сознаніи* личностями своей солидарности, какъ между собою, такъ и съ коллективностью“<sup>1)</sup>. Это касается положенія личности въ обществѣ, а значеніе ея въ процессѣ измѣненія общественныхъ формъ сводится къ тому, что главную роль въ самомъ существованіи и въ измѣненіяхъ этихъ формъ играютъ потребности отдѣльныхъ личностей, складывающихся въ общества. Двигателей разнообразныхъ измѣненій культуры, говоритъ Лавровъ, „надо искать, во первыхъ, въ потребностяхъ отдѣльной личности, создающихъ формы общежитія и видоизмѣняющихъ эти формы опять-таки подъ вліяніемъ тѣхъ же или иныхъ потребностей; во вторыхъ, во вліяніи на личности социальной среды.... Взаимодѣйствіе личностей и общественныхъ формъ... выступаетъ, какъ одинъ ихъ самыхъ существенныхъ элементовъ исторіи“<sup>2)</sup>. Мы уже раньше встрѣчались у Лаврова съ этой идеей взаимодѣйствія личности и культурно-соціальной среды<sup>3)</sup>, съ идеей, съ которою связано тѣснѣйшимъ образомъ отрицаніе научности за такими взглядами на исторію, по которымъ все дѣло въ самихъ только личностяхъ или только въ одной средѣ<sup>4)</sup>. Эту свою точку зрѣнія Лавровъ защищалъ и въ „Задачахъ пониманія исторіи“, гдѣ имъ, между прочимъ, говорится слѣдующее: „ни исторія борьбы личностей за ихъ индивидуальныя привычки, интересы и убѣжденія, ни абстрактная исторія послѣдовательно возникающихъ и ослабѣвающихъ общихъ теченій исторіи не есть, въ ихъ отдѣльности, научно-понятая исторія“<sup>5)</sup>. Лавровъ съ большою убѣдительностью говоритъ здѣсь и вообще о ненаучности разсматриванія историческаго процесса, какъ безличнаго, когда „пренебрегаютъ соображеніемъ, что его единственными реальными совершителями были, будутъ и могутъ быть лишь личности въ ихъ индивидуальномъ разнообразіи; въ ихъ конкретномъ общественномъ положеніи въ узлѣ событій или въ одной изъ второстепенныхъ ихъ комбинацій; въ ихъ личныхъ побужденіяхъ“<sup>6)</sup>. Нѣсколько дальше, полемизируя съ такъ называемыми объективистами, авторъ „Задачъ пониманія исторіи“ говоритъ еще: „какъ-то странно представить себѣ, чтобы эти объективисты рѣшились утверждать, что ходъ историческаго процесса можетъ совершаться безъ всякаго посредства и вѣдъ всякой инициативы индивидуальныхъ мыслящихъ и волевыхъ

<sup>1)</sup> С. Арнольди. Задачи пониманія исторіи, стр. 34.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 27.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 21.

<sup>4)</sup> См. выше, стр. 33.

<sup>5)</sup> Арнольди, стр. 114—115.

<sup>6)</sup> Тамъ же, стр. 114.

аппаратовъ“ <sup>1)</sup>. Да, для Лаврова отдѣльныя личности, дѣйствующія въ исторіи, суть именно отдѣльные „мыслящіе и въ особенности волевые аппараты“, изъ которыхъ каждый способенъ къ отдѣльному дѣйствію, являющемуся результатомъ внутреннихъ процессовъ, въ немъ происходящихъ. „Научный фактъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—тотъ, что въ исторіи мы непосредственно наблюдаемъ лишь человѣческія личности, какъ *волевые аппараты*, составляющіе реальную почву всѣхъ историческихъ событій, реальные элементы всѣхъ культурныхъ общественныхъ формъ, реальный источникъ всей работы мысли“ <sup>2)</sup>.

„Въ функционированіи общественнаго союза, читаемъ мы нѣсколькими страницами ниже, въ историческомъ движеніи и въ жизни историческихъ эпохъ вообще реальны лишь *особи*. Лишь въ большемъ или меньшемъ числѣ этихъ особей воплощаются коллективные обычаи, аффекты, интересы и убѣжденія. Съ этой точки зрѣнія можно сказать, что всѣ явленія въ социологіи и въ исторіи совершаются исключительно *личностями*, которыя создаютъ общество съ его разнообразными приѣмами солидарности, съ его пестрыми формами культуры, съ его продуктами мысли, перерабатывающими эти формы культуры“ <sup>3)</sup>. Мало того: противъ взгляда, по которому будто бы личность сама по себѣ ничто, и что все—общественная среда, Лавровъ рѣшительнѣйшимъ образомъ выставляетъ такое положеніе: „Въ отдѣльныхъ личностяхъ въ дѣйствительности воплощается безъ остатка жизнь общества“ <sup>4)</sup>.

Лаврову пришлось писать свои „Задачи пониманія исторіи“ въ годы наиболѣе шумныхъ успѣховъ россійскаго экономическаго материализма съ его сведеніемъ личности къ нулю. Въ книгѣ замѣтны слѣды этого обстоятельства. Между прочимъ, адепты новой социологической доктрины,—правда, послѣ того уже нѣсколько разъ мѣнявшіе свои взгляды,—старались подорвать „ученіе о роли личности“ указаніемъ на будто бы несогласованность между собою его основныхъ положеній. Находили, говоритъ по этому поводу Лавровъ,—находили противорѣчіе въ такихъ заявленіяхъ: „личности создали исторію“ и „все въ личности есть неизбѣжное слѣдствіе предшествующихъ причинъ“, но это, въ сущности, только заявленія о двухъ одновременныхъ сторонахъ историческаго процесса, т. е. о „роли инициативы личности, какъ необходимаго способа осуществленія всякихъ без-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 117.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 109.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 114—115.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 115.

личныхъ историческихъ теченій“ и о „роли среды и эпохи въ работѣ этой самой инициативы“ <sup>1)</sup>). Коротко и ясно. „Личная инициатива — въ дѣйстви и въ воздержаніи отъ дѣйствій, въ критической борьбѣ съ существующимъ и въ подчиненіи рутинѣ — есть именно тотъ приѣмъ, который исключительно доступенъ для историческаго теченія, самаго могущественнаго, какъ и самаго слабаго, чтобы воплотиться въ событія и идейные продукты“ <sup>2)</sup>). Въ исторіи дѣйствуютъ частныя и общія, индивидуальныя и культурно-соціальныя причины въ весьма различныхъ комбинаціяхъ. Ихъ нужно уловлять въ ихъ особенности и умѣть различать, не сваливая все безъ остатка на однѣ причины общія и культурно-соціальныя. Вѣдь и сами эти послѣднія причины складываются, какъ изъ своихъ необходимыхъ элементовъ, изъ причинъ частныхъ и индивидуальныхъ. „Въ процессахъ идейнаго и практическаго творчества, говоритъ Лавровъ, въ процессахъ, совершающихся въ миллионахъ отдѣльныхъ мозговъ, для научной исторіи важно въ особенности то, что сближало всѣ эти процессы въ немногія могучія историческія теченія желаній, убѣжденій и событій, стирая всякую индивидуальную особенностью реальныхъ агентовъ исторіи и обращая ихъ въ безличныя органы жизни коллективной“. Конечно, роль личной инициативы „каждаго отдѣльнаго мыслящаго и волевого аппарата“ совершенно незначительна въ цѣломъ историческаго процесса, но именно лишь эти „индивидуальные аппараты общаго безличнаго процесса позволяютъ ему совершаться и составляютъ исключительные его органы“. Кроме того, въ этой своей роли они вносятъ въ историческій процессъ индивидуальное разнообразіе, а въ иныхъ случаяхъ обуславливаютъ для какой-либо личности, поставленной случайными обстоятельствами въ узлѣ событій, большее вліяніе на ходъ послѣднихъ, нежели можно было бы ожидать, принимая въ соображеніе исключительно могущество общихъ историческихъ теченій и индивидуальныхъ качества и способности того мыслящаго и волевого аппарата, который въ данномъ случаѣ имѣется въ виду“ <sup>3)</sup>). Мы не будемъ останавливаться на разнообразіи, вносимомъ въ историческій процессъ участіемъ въ немъ особенностей дѣйствующихъ личностей, но вопросъ объ особенномъ вліяніи на ходъ исторіи со стороны личностей, поставленныхъ случайностями жизни, какъ выражается Лавровъ, „въ узлѣ событій“, заслуживаетъ большаго вниманія. Конечно, замѣчаетъ онъ, общій характеръ политической исторіи XVIII в. обусловленъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 117.

<sup>2)</sup> Та же страница.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 116.

общими теченіями, не зависѣвшими отъ лицъ, которые участвовали въ этой исторіи, и тѣмъ не менѣе, напримѣръ, роль Пруссіи въ эту эпоху, — а съ нею и множество отдѣльныхъ событій этого и послѣдующаго времени, — оказалась бы совершенно иною, если бы Елизавета Петровна умерла годомъ позже, и если бы ея преемникъ имѣлъ другія личныя особенности. Беря другой примѣръ изъ области науки, Лавровъ высказываетъ небезосновательное мнѣніе, что личный характеръ Кювье не остался безъ вліянія на задержку цѣлой отрасли ученыхъ работъ. Вообще „задачи жизни, прежде чѣмъ онѣ становятся опредѣленно передъ обществомъ, принуждены воплотиться въ идею, требующую себѣ осуществленія въ индивидуальномъ дѣлѣ. Представители этой идеи становятся необходимымъ органомъ историческаго движенія. Лишь при ихъ неизбѣжномъ посредствѣ можетъ дѣйствовать детерминизмъ исторіи“, но въ такомъ случаѣ „особенности личностей, которыя составляютъ какъ бы узлы въ исторической сѣти событій данной эпохи, получаютъ болѣе или менѣе важное значеніе для историка, стремящагося понять эту эпоху“ <sup>1)</sup>.

Отстаивая активность личности, какъ самостоятельной силы въ историческомъ процессѣ, Лавровъ съ особенною охотою останавливался на той мысли, что будущее отчасти зависитъ и отъ насъ самихъ. „Надъ законами естественной необходимости, писалъ онъ, наприм., еще въ „Историческихъ письмахъ“, мы не властны, не властны мы и надъ исторіею. Мы властны въ нѣкоторой степени лишь надъ будущимъ, такъ какъ наши мысли и наши дѣйствія составляютъ матеріалъ, изъ котораго организуется все содержаніе будущей истины и справедливости. Каждое поколѣніе отвѣтственно передъ потомствомъ за то лишь, что оно *могло* сдѣлать и не сдѣлало“ <sup>2)</sup>. Въ „Задачахъ пониманія исторіи“ Лавровъ опять возвращается къ этой мысли <sup>3)</sup>. Если исторія дѣйствительно должна насъ научать, какъ слѣдуетъ понимать настоящее, — а этого Лавровъ требуетъ отъ науки, — то, съ другой стороны, пониманіе настоящаго не можетъ быть полно, если съ нимъ не соединено представленіе о тѣхъ возможностяхъ, которыя оно въ себѣ заключаетъ для будущаго. Лав-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 120. Съ этой точки зрѣнія и въ „Задачахъ пониманія исторіи“ также защищается биографическій элементъ исторіи, къ которому во имя ложно понятой научности нѣкоторые высказываютъ пренебреженіе, 125.

<sup>2)</sup> Историческія письма, 57. „Культура общества есть среда, данная исторіею для работы мысли и обуславливающая *возможное* для этой работы въ данную эпоху съ такою же неизбѣжностью, съ какою во всякое время ставятъ предѣлы этой работѣ неизмѣнный законъ природы“, стр. 91.

<sup>3)</sup> Для послѣдующаго см. болѣе подробно въ моей статьѣ о „Задачахъ пониманія исторіи“ Арнольди.

ровъ не принадлежалъ къ числу фаталистовъ, исключавшихъ самое понятіе о разныхъ возможностяхъ, потому что не принадлежалъ и къ догматикамъ, которые готовы предсказывать будущее не на основаніи критическаго анализа настоящаго, а на основаніи какой-либо общей формулы, признаваемой за объективный законъ исторіи. Подобный догматизмъ въ „Задачахъ пониманія исторіи“ былъ прямо имъ осужденъ подъ названіемъ „логическаго субъективизма случайнаго и произвольнаго мѣнія“.

Попытокъ опредѣленія существующихъ въ настоящемъ возможностей для будущаго требуетъ не только теоретическое изученіе прошлаго, но и самая практика жизни. Дѣло въ томъ, что „общій ходъ событій можетъ обнаружить передъ историкомъ мысли неизбежность въ каждомъ случаѣ *постановки* того или другого вопроса, тогда какъ то его рѣшеніе, которое изъ *возможнаго* сегодня дѣлается *дѣйствительнымъ* завтра, обусловливается сложною комбинаціей обстоятельствъ, въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ доступною въ ея частностяхъ и случайностяхъ пониманію историка“ <sup>1)</sup>. Вообще, возможность переходить въ дѣйствительность при наличности извѣстныхъ условій, къ числу которыхъ относятся и тотъ или другой образъ дѣйствій личностей, составляющихъ изъ себя общество. „Для обращенія, говорить далѣе Лавровъ, — исторически возможнаго въ дѣйствительно совершающееся трудно не признать преобладающей роли личностей, случайно поставленныхъ въ узлѣ событій данной эпохи, какъ правители или какъ демагоги; какъ пророки, окруженные ореоломъ фантастическихъ вѣрованій. или какъ отрицатели тѣхъ или другихъ особенностей современной имъ культуры; какъ типическіе представители общаго поднятія духа въ обществѣ, толкающаго массы на историческое дѣло, или столь же общаго упадка общественнаго духа, — упадка, парализующаго всѣ попытки вызвать коллективный организмъ къ реакцированію противъ соціальной болѣзни“ <sup>2)</sup>. Вопросъ о роли личности въ исторіи имѣетъ, конечно, не одно теоретическое значеніе, но, будучи самъ по себѣ вопросомъ чисто-теоретическимъ, онъ долженъ быть рѣшенъ на чисто-научной или философской почвѣ. Обзорѣвая самыя послѣднія умственныя теченія, Лавровъ съ прискорбіемъ констатируетъ, что, несмотря на разные пункты несогласія, существующіе между ними, они болѣе или менѣе сходны между собою въ томъ, что всѣ очень „склонны подрывать расчетъ на личную инициативу и энергію воли у отдѣльныхъ особей“. Онъ особенно подчеркиваетъ, что это явленіе наблюдается какъ разъ „въ то самое время, когда догматы всеобще

<sup>1)</sup> *Апрюльди*, стр. 366.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 367.

конкуренціи, характеризующій царство буржуазіи, требуетъ непремѣннымъ условіемъ прочности этого царства особенное развитіе и этой инициативы, и этой энергіи“ <sup>1)</sup>). Въ другомъ мѣстѣ онъ даже особенно выдвигаетъ на видъ роль, какъ онъ выражается, „класса дѣлопроизводителей“ <sup>2)</sup> въ современномъ обществѣ, т.-е. людей, знающихъ и понимающихъ дѣла, ведущія къ накопленію и перераспредѣленію богатствъ, и достигающихъ своихъ цѣлей, благодаря изворотливости и проницательности мысли и энергіи характера. Ни одинъ общественный строй не обходится безъ такихъ „дѣлопроизводителей“, и будущее, конечно, въ этомъ отношеніи не будетъ отличаться отъ прошедшаго и настоящаго.

Но тутъ-то и возникаетъ вопросъ, въ какомъ отношеніи находится это допущеніе роли личности къ усиливающемуся все болѣе и болѣе господству началъ детерминизма въ современномъ пониманіи міра. Противники личнаго начала въ исторіи часто утверждаютъ, будто теоретики историческаго процесса, иначе понимающіе роль личности, придаютъ ей такое значеніе, что ради него готовы бывають отрицать закономерность общественныхъ явленій („личность все можетъ“). Послѣднее было бы дѣйствительно полнымъ ниспроверженіемъ научнаго міросозерцанія, но дѣло въ томъ, что у Лаврова сознательное дѣйствіе личностей, самое подчиненное строгой закономерности, противопоставляется отнюдь не этой закономерности, а всему тому въ историческомъ процессѣ, въ чемъ проявляется умственная и волевая пассивность людей. То или другое, только возможное, становится, по его убѣжденію, дѣйствительнымъ лишь тогда, когда этому помогаютъ въ достаточной мѣрѣ стремленія и усилія отдѣльныхъ лицъ. Лавровъ не говоритъ, чтобы теоретическій детерминизмъ самъ по себѣ практически приводилъ непремѣнно къ общественному квіетизму, и даже думаетъ, что этотъ самый детерминизмъ для осуществленія неизбежнаго требуетъ превращенія въ непремѣнныя свои орудія—чувства, мысли и воли индивидуальныхъ строителей будущаго. Научно-философское пониманіе исторіи, полагаетъ онъ, и должно въ этомъ отношеніи формулировать „правила умственной и нравственной гігіены для всякой развитой личности“. Самъ Лавровъ выноситъ изъ всего изученія исторіи поученіе, которое можетъ быть коротко передано слѣдующимъ образомъ: ставя себѣ жизненныя цѣли, личность прежде всего имѣетъ передъ собой элементъ неизбежнаго, неотвратимаго: это—вся совершившаяся исторія, все то, что уже прошло и что создало какъ самое личность, такъ и

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 357.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 337.

окружающую ее среду. Этот неустрашимый элемент есть фактъ, и личности остается только къ нему приспособляться съ цѣлью нахождения въ немъ всего того, что можетъ быть ея орудіемъ или пособіемъ въ достиженіи ея жизненныхъ цѣлей. Но затѣмъ передъ личностью въ каждую данную эпоху обнаруживаются различныя, даже противоположныя по своему направленію возможности дальнѣйшаго хода событій, причемъ однѣ изъ этихъ возможностей, по-видимому, имѣютъ всѣ шансы осуществиться, такъ сказать, сами собою; другія же, напротивъ, требуютъ особаго напряженія мысли и воли сочувствующихъ лицъ и вообще кажутся менѣе вѣроятными. Нерѣдко увѣренность въ легкой осуществимости той или другой возможности заставляетъ людей слишкомъ полагаться на естественный ходъ вещей и пренебрегать личными усиліями, и, наоборотъ, нерѣдко трудность осуществленія чего-либо заставляетъ въ безсиліи опускать руки. Правильное пониманіе историческаго процесса для однихъ даетъ строгія поученія, для другихъ служитъ оживляющимъ урокомъ. Сколько разъ тѣ, которые вчера казались непобѣдимыми, на другой день оказывались безсильными противъ незамѣченныхъ и презираемыхъ враговъ, и одержанныя побѣды превращались въ пораженія лишь потому, что сами-то оставались еще только возможностями, требовавшими дальнѣйшей работы мысли и дѣятельности воли. Съ другой стороны, все, что возможно, способно при какихъ-нибудь новыхъ комбинаціяхъ обратиться въ дѣйствительное, хотя бы шансы этого обращенія и были слабы, — лишь бы только правильно работала мысль и энергично дѣйствовала воля <sup>1)</sup>. Изъ этого разсужденія Лавровъ извлекаетъ и цѣлое поученіе для развитой человѣческой личности, которая желаетъ быть въ числѣ сознательныхъ строителей будущаго. Это — тотъ же старый его призывъ къ дѣятельности во имя личнаго убѣжденія, во имя того, что необходимымъ органомъ совершающагося историческаго детерминизма всегда была и будетъ сила мысли и энергія воли личностей. „Когда, говоритъ онъ, ты поставилъ передъ собой жизненную цѣль, какъ твой личный идеаль, когда ты положилъ на этотъ идеаль всю свою силу мысли, всю свою энергію воли въ мірѣ создаваемыхъ тобою цѣлей и выбираемыхъ тобою средствъ, тогда твое дѣло сдѣлано. Пусть тогда волна историческаго детерминизма охватитъ твое я и твое дѣло своимъ неудержимымъ теченіемъ и унесетъ ихъ въ водоворотъ событій. Пусть они перейдутъ изъ міра цѣлей и средствъ въ міръ причинъ и слѣдствій, отъ тебя независяцій. Твое дѣло или твое воздержаніе отъ дѣятельности одинаково вошло неустрашимымъ эле-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 369—370.



ментомъ въ строеніе будущаго, тебѣ неизвѣстнаго. Понятая тобою исторія научила тебя и приспособляться къ неотвратимому, и оцѣнивать значеніе возможностей въ борьбѣ за жизненные цѣли, и энергически бороться за лучшее будущее для миллиардовъ незамѣтныхъ особей, которыя рядомъ съ тобою сознательно и бессознательно строятъ будущее. Борись же за это будущее и помни слова одного изъ самыхъ блестящихъ современныхъ публицистовъ: „побѣжденъ лишь тотъ, кто призналъ себя побѣжденнымъ“ <sup>1)</sup>. Въ этихъ словахъ мы узнаемъ автора „Очерковъ практической философіи“ и „Историческихъ писемъ“ <sup>2)</sup>.

Въ теоріи личности Лаврова важное значеніе, кромѣ вопроса о личности, какъ историческомъ агентѣ, и даже, пожалуй, еще большее значеніе, чѣмъ ему, принадлежитъ вопросу о развитіи личности. Между прочимъ на идеѣ личнаго развитія онъ обосновывалъ всю свою этику, какъ и въ болѣе раннихъ сочиненіяхъ, такъ и въ позднѣйшихъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаютъ особаго вниманія его „Современныя ученія о нравственности и ея исторія“. Въ этой замѣчательной работѣ проводится та мысль, что развитіе во внутреннемъ мірѣ человѣка воспринимается, какъ сознаніе возвышенія собственнаго существа, сопровождающееся своего рода и притомъ высшаго

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 371.

<sup>2)</sup> Современный идеалъ, писалъ Лавровъ въ „Очеркахъ вопросовъ практической философіи“, „требуетъ человѣка, который свободно развиваетъ въ себѣ и въ другихъ физическія качества, умъ, знаніе, характеръ, сознаніе справедливости; человѣка, который уважаетъ достоинство всякаго ближняго, какъ свое собственное, и не только уважаетъ мысленно, но готовъ рисковать своею личностью, чтобы защитить личное достоинство и справедливыя требованія другой личности. Эгоистическое стремленіе наслаждаться на счетъ другихъ въ этомъ человѣкѣ преобразовывается въ наслажденіе собственнымъ дѣломъ, полезнымъ и прекраснымъ для другихъ... Этотъ идеалъ, продолжаетъ Лавровъ, не является для человѣка внѣшнимъ закономъ, понужденіемъ, обязательствомъ, наложеннымъ внѣмировою или общественною властью. Онъ есть обязанность внутренняя, обязанность относительно самаго себя, свободно налагаемая личностью на себя, вслѣдствіе логической оцѣнки обстоятельствъ, въ которыхъ личность живетъ и вслѣдствіе естественнаго стремленія къ высшему возможному блаженству“. Наконецъ, Лавровъ подчеркиваетъ и общественное значеніе такого идеала. „Этотъ идеалъ справедливой личности, логически развившійся въ человѣкѣ, представляется ему, какъ необходимый и обязательный не только для него, какъ отдѣльнаго лица, но для него, какъ человѣка, а потому обязательный для всѣхъ людей. Во имя этого идеала каждая отдѣльная личность сознаетъ въ себѣ и въ другихъ право судить дѣйствія и явленія, признавать ихъ справедливыми, хорошими, заслуживающими похвалы или несправедливыми, дурными, заслуживающими порицанія. Еще болѣе: этотъ идеалъ требуетъ не только сознанія справедливости, но ея воплощенія въ дѣйствительность, въ жизнь; требуетъ много борьбы и жертвы за правое дѣло“.

порядка наслажденіемъ, соединеннымъ съ чувствомъ обязанности и вперёдъ развиваться. Разница между внутреннимъ міромъ людей, стоящихъ на разныхъ ступеняхъ развитія не количественная только, но и качественная: представленія, понятія, идеи болѣе развитого человѣка болѣе тонки, болѣе ясны, болѣе вѣрны, болѣе возвышенны. Внутреннее, психическое развитіе состоитъ изъ отдѣльных измѣненій, которыя происходятъ въ нашихъ знаніяхъ и въ нашемъ пониманіи, но когда мы сознаемъ, что мы что-либо вѣрнѣе знаемъ или яснѣе понимаемъ, мы въ то же время чувствуемъ, что вмѣстѣ съ этимъ мы сами какъ бы улучшились, стали выше, чѣмъ были прежде, въ своихъ собственныхъ глазахъ. „Фактъ расширенія мысли, говорить здѣсь Лавровъ, — фактъ умственного развитія подходитъ подъ многообразную категорію *наслажденія*, а потому въ числѣ другихъ фактовъ представляетъ цѣль и орудіе животной борьбы за существованіе. Онъ увеличиваетъ наши средства поддерживать наше существованіе, вліять на окружающій насъ міръ, а потому, опять въ ряду другихъ подобныхъ же фактовъ, входитъ въ обширную категорію *полезнаго*. Но развитіе представляетъ не только наслажденіе вообще и даже не только наслажденіе, подлежащее оцѣнкѣ по его пользѣ: оно представляетъ состояніе духа, въ которомъ личность сознаётъ себя выше, чѣмъ была. Сойти на прежнее положеніе, — это для нея — *унизиться*, продолжать тотъ же процессъ, это для нея — *возвыситься*. Каждый особенный аффектъ, продолжаетъ Лавровъ, вызываетъ особенный психическій рефлексъ, превращающійся при нѣкоторой силѣ рефлекса и при удобныхъ обстоятельствахъ въ рефлексъ физическій. Аффектъ наслажденія вызываетъ вообще желаніе; аффектъ сознанія пользы вызываетъ расчетъ; аффектъ совнанія возвышенія существа вызываетъ рефлексивный процессъ *обязательности*. Лишь человѣкъ, имѣющій случай ощущать послѣ незначительныхъ промежутковъ времени снова и снова наслажденіе развитія, получаетъ нѣкоторую привычку къ этому *особенному* психическому рефлексу, начинаетъ отличать его въ себѣ и наконецъ становится настолько развитымъ человѣкомъ, что для него психическое понятіе *обязательности* представляется съ совершенною ясностью“ <sup>1)</sup>. Развитіе личности и есть для Лаврова основа, на которой возникаетъ мѣрка для сужденія о мысляхъ и поступкахъ по ихъ нравственному качеству, по ихъ внутреннему достоинству. Тутъ поступки судятся не по ихъ слѣдствіямъ (пріятнымъ или полезнымъ), а по ихъ намѣреніямъ, намѣренія же, т.-е. представленія, соединенныя съ чувствованіями и стремленіями, судятся по ихъ соотвѣтствію съ тѣмъ, что человѣкъ

<sup>1)</sup> Современные ученія о нравственности и ея исторія, От. Зап., IV, стр. 437 и слѣд.

въ своемъ творчествѣ нравственныхъ идеаловъ и въ своемъ изслѣдованіи нравственныхъ идей считаетъ соотвѣтственнымъ достоинству человека и содержанію понятія о добрѣ.

Эти мысли, съ первымъ наброскомъ которыхъ мы встрѣчаемся въ „Очеркахъ вопросовъ практической философіи“<sup>1)</sup>, лежатъ въ основѣ всего объясненія Лавровымъ генезиса нравственнаго чувства. Потребность развитія, какъ потребность высшаго порядка, вырастающая на почвѣ перваго возбужденія, всегда входила у него въ общій счетъ тѣхъ потребностей, удовлетвореніемъ которыхъ живутъ люди. И въ личной, и въ общественной жизни онъ приписывалъ ей громадное значеніе. И этому вопросу Лавровъ посвятилъ не мало мѣста въ своемъ послѣднемъ *résumé* всего имъ передуманнаго въ области теоріи личности: только личное развитіе превращаетъ индивидуумъ въ дѣятеля прогресса. Лавровъ очень часто указывалъ на то, какъ при извѣстныхъ условіяхъ въ обществѣ выдѣляется и приобретаетъ на него вліяніе группа личностей, способныхъ наслаждаться развитіемъ и вырабатывающихъ потребность развитія. Это — интеллигенція, которая въ историческомъ міросозерцаніи Лаврова „выступаетъ, какъ двигатель сознательныхъ измѣненій культуры въ противоположность непреднамѣреннымъ ея измѣненіямъ. Ея дѣло, говоритъ онъ еще, есть переработка культуры мыслью“<sup>2)</sup>. Конечно, потребность развитія появляется сравнительно поздно, тогда какъ необходимость солидарности, очень и очень часто оказывающейся враждебною личному развитію<sup>3)</sup>, относится, наоборотъ, къ числу наиболѣе раннихъ явленій. Можно даже сказать, что зависимость между индивидуумами устанавливается помимо всякихъ сознательныхъ процессовъ, сама собою, совершенно фатальнымъ образомъ, и лишь впоследствии вырабатывается солидарность сознательная, являющаяся могучимъ орудіемъ общества въ борьбѣ за существованіе. Въ сущности, потребность солидарнаго общежитія для успѣховъ въ борьбѣ за существованіе влечетъ за собою господство неизмѣннаго обычая, т.-е. культурный застой, требующій подчиненія индивидуальной мысли и дѣятельности устанавливающимся формамъ. Но, какъ мы уже видѣли<sup>4)</sup>, Лавровъ не считалъ возможною окончательную побѣду

1) Ср. выше, стр. 7 и слѣд.

2) *Арнольди*, стр. 30.

3) Въ одномъ мѣстѣ Лавровъ прямо говоритъ о дилеммѣ „или крѣпкой солидарности при подавленіи развитія отдѣльной личности, или же сильнаго и разносторонняго развитія личности, отрешенія отъ всякой идейной солидарности“, стр. 360.

4) См. выше, стр. 31.

традиціоналізма. Выросши на почвѣ одной изъ областей потребностей нервнаго возбужденія, потребность развитія обусловила и первое проявленіе идейныхъ интересовъ въ исторіи, и ихъ логически неизбежное усиленіе, а въ будущемъ она же обусловитъ и болѣе или менѣе вѣроятное преобладаніе идейныхъ интересовъ. Хотя Лавровъ и приписывалъ громадное значеніе интересамъ политическимъ и особенно экономическимъ, тѣмъ не менѣе, по его представленію, „несмотря на всѣ стремленія интересовъ экономическихъ и политическихъ преобладать въ исторіи и эксплуатировать въ свою пользу продукты интересовъ идейныхъ“, уже и въ настоящемъ даже времени потребность развитія, выработавшаяся въ интеллигенціи въ самостоятельную силу, „сдѣлалась, въ сущности, главнымъ двигателемъ исторіи“ <sup>1)</sup>. Въдъ изъ интеллигенціи и выходятъ тѣ „дѣлопроизводители“, о которыхъ онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ <sup>2)</sup>. Эти общественные дѣятели могутъ служить очень несходнымъ интересамъ, отчего зависитъ различіе какъ тѣхъ цѣлей, которыя они себѣ ставятъ, такъ и тѣхъ средствъ, къ которымъ они прибѣгаютъ, но во всякомъ случаѣ мѣръ цѣлей и средствъ вырабатывается только въ сознаніи отдѣльныхъ дѣятелей. Какъ работа индивидуальной мысли, такъ и направленіе индивидуальной воли, да и вся дѣятельность интеллигенціи съ классомъ общественныхъ „дѣлопроизводителей“ могутъ имѣть весьма неодинаковое значеніе, между прочимъ, по отношенію къ общественной солидарности и къ личному развитію. Вообще можетъ существовать—и даже на самомъ дѣлѣ существуетъ—нѣкоторый и притомъ весьма значительный антагонизмъ между общественною солидарностью и личнымъ развитіемъ. Съ основной точки зрѣнія Лаврова, оба эти элемента, существенно различные, одинаково необходимы и существуютъ нераздѣльно; но въ исторіи оказываются возможными „такія формы солидарности, которыя мѣшаютъ росту сознательныхъ процессовъ въ интеллигенціи, и такія условія роста послѣднихъ, которыя подрываютъ общественную солидарность“. Поэтому Лавровъ и видѣлъ прогрессъ въ ростѣ и скрѣпленіи солидарности лишь тогда, когда она не мѣшаетъ развитію сознательныхъ процессовъ и мотивовъ дѣйствія въ личностяхъ лишь настолько, насколько это не оказываетъ препятствія росту и скрѣпленію солидарности между наибольшимъ числомъ личностей <sup>3)</sup>.

Не касаясь здѣсь подробностей соціальнаго идеала автора „Задача пониманія исторіи“, мы отмѣтимъ только, что въ его пред-

<sup>1)</sup> *Арнольди*, стр. 61.

<sup>2)</sup> См. выше, стр. 42.

<sup>3)</sup> *Арнольди*, стр. 131.

ставленіи совершенное общество немислимо безъ широкаго личнаго развитія, потребность котораго включается имъ вообще въ число потребностей личности. Но все-таки это только одна изъ потребностей личности: есть и другія. Было бы крайне односторонне рассматривать человѣка, какъ какой-то безплотный духъ, или только „мыслительный и волевой аппаратъ“. Но этого и не было у Лаврова. Онъ бралъ человѣка такимъ, каковъ онъ есть, съ его зоологическими предками, не только какъ личность, но и какъ біологическую особь. Уже въ первомъ своемъ трудѣ онъ опредѣлялъ тѣ элементы, изъ которыхъ складывается личная жизнь особи, стремящейся удовлетворить свою потребность въ наслажденіи. Въ „Задачахъ пониманія исторіи“ онъ также исходитъ изъ перечисленія и классификаціи потребностей отдѣльныхъ личностей. Вся социальная жизнь возникаетъ изъ удовлетворенія человѣческихъ потребностей, и изъ ихъ различныхъ группъ Лавровъ особенно выдѣлялъ три группы способностей, дающихъ начало жизни экономической, политической и идейной<sup>1)</sup>. „Прямое, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—прямое аффективное наслѣдство зоологическаго міра (влеченіе къ общежитію, влеченіе половое и родительская заботливость), весьма вліятельное по отношенію къ психологическимъ процессамъ въ особяхъ, оказывается едва ли особенно значительнымъ мотивомъ соціологической эволюціи, благопріятной для роста солидарности и сознательныхъ процессовъ. Поэтому побужденіе къ ней приходится искать въ тѣхъ чисто-животныхъ потребностяхъ человѣка, которыя нельзя не признать эгоистическими, но которыя именно онъ обратилъ въ человѣчныя и благопріятныя въ указанныхъ отношеніяхъ“<sup>2)</sup>. Прежде всего это была потребность въ пищѣ, которая въ концѣ концовъ обратилась въ потребность особи обезпечить себѣ при помощи общежитія и общественныхъ учрежденій матеріальныя средства существованія. „Въ этой своей формѣ, говоритъ Лавровъ, она легла въ основаніе всей эволюціи экономической жизни человѣчества“. Онъ даже и не считаетъ особенно нужнымъ напоминать, что „вся эволюція родовой, семейной, индивидуальной и государственной собственности, борьба классовъ въ продолженіе всей исторіи и борьба труда съ капиталомъ въ наше время оказываются въ значительной мѣрѣ въ своемъ основаніи вопросами желудка“<sup>3)</sup>. Другая изъ указанныхъ потребностей есть потребность индивидуальной безопасности, и она-то именно обусловила

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 12.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 42.

<sup>3)</sup> Лавровъ былъ готовъ отнести и „огромную долю“ даже творчества художественнаго, философскаго, научнаго и нравственнаго къ тому же источнику.

эволюцію политической жизни социальных организмовъ. Наконецъ, третья потребность есть потребность въ нервномъ возбужденіи, которая проявилась ранѣе всего въ стремленіи украшать жизнь, и этому Лавровъ приписываетъ столь важное значеніе, что, по его мнѣнію, лишь оно было способно восторжествовать надъ лѣнью тѣла и мысли, составляющею характеристическую черту дикаря не-исторической и исторической культуры<sup>1)</sup>. Въ этомъ послѣднемъ источникѣ заключаются основанія для всей духовной культуры съ ея эстетическими, религіозными, нравственными, философскими и научными явленіями.

Во всѣхъ своихъ работахъ Лавровъ старался объяснить тѣ или другія явленія культурно-соціального порядка изъ соотвѣтственныхъ источниковъ, не впадая въ односторонность. Его теорія личности была одною изъ наиболѣе полныхъ, и отъ односторонности спасало его то, что за исходный пунктъ своихъ соціологическихъ построеній онъ бралъ человѣческую личность со всѣмъ разнообразіемъ ея жизненныхъ проявленій, а не ту или другую сторону общественности. Въ то время, какъ экономическій матеріализмъ стремится свести всѣ явленія исторіи на побужденія и потребности экономическія, другіе современные писатели (напримѣръ, Дюрингъ и Гумиловичъ) охотно ищутъ основной мотивъ процесса исторіи въ элементѣ политическомъ. „Наименѣе приверженцевъ, говоритъ Лавровъ, сохранило между реалистическими изслѣдователями этого процесса недавно еще господствовавшее стремленіе видѣть въ сознанныхъ и несознанныхъ идеяхъ, слѣдовательно, въ высшихъ формахъ нервного возбужденія, главнаго двигателя исторіи“<sup>2)</sup>. За каждою изъ этихъ трехъ теорій историческаго процесса онъ признаетъ весьма различную цѣнность для научнаго пониманія эволюціи человѣчества; но, сравнивая между собою эти теоріи, онъ находитъ необходимымъ обратить вниманіе на три стороны дѣла: 1) на сравнительно болѣе или менѣе раннее появленіе трехъ упомянутыхъ потребностей, 2) на болѣе или менѣе ихъ частое повтореніе въ жизни и мысли человѣка и 3) на болѣе или меньшую необходимость эволюціи ихъ послѣдовательныхъ фазисовъ<sup>3)</sup>. Все это, дѣйствительно, важныя соображенія, рѣшающія вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. По вопросу о болѣе или менѣе раннемъ появленіи трехъ упомянутыхъ потребностей Лавровъ высказывался въ томъ смыслѣ, что человѣкъ уже отъ своихъ зоологическихъ предковъ унаслѣдовалъ ихъ всѣ, такъ что приходится признавать ихъ мало уступающими одна другой въ

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 45.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 47.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 49.

качествъ мотивовъ человѣческихъ дѣйствій. Другое дѣло — степень повторяемости побужденій, обусловливаемыхъ этими тремя потребностями; въ этомъ отношеніи, конечно, потребность въ пищѣ безусловно преобладаетъ надъ двумя другими, а потому „экономическіе мотивы во всѣ эпохи борьбы сознанныхъ интересовъ должны были безусловно преобладать надъ политическими“<sup>1)</sup>. Тѣмъ не менѣе Лавровъ и здѣсь совѣтуетъ не забывать, что за борющимися группами прогрессивной, консервативной и реакціонной интеллигенціи идутъ другіе общественные элементы, очень часто лишь по привычкѣ или по аффекту, и что въ самихъ группахъ руководящей интеллигенціи мотивы политическіе иногда преобладаютъ надъ экономическими, а тѣ или другіе въ иныхъ случаяхъ уступаютъ первенство побужденіямъ идейнаго свойства<sup>2)</sup>. Что касается наконецъ, большей или меньшей необходимости эволюціи послѣдовательныхъ фазисовъ трехъ разсматриваемыхъ потребностей, которая равнымъ образомъ должна опредѣлять относительную ихъ цѣнность для научнаго пониманія исторіи, то Лавровъ отдавалъ рѣшительное предпочтеніе идейной эволюціи, потому что, говорить онъ, только въ этой области проявляется еще одинъ историческій двигатель, именно „мотивъ неизбѣжныхъ логическихъ послѣдствій“. Дѣло въ томъ, что всякое понятіе вызываетъ роковымъ логическимъ процессомъ появленіе новыхъ понятій независимо отъ того, совпадаетъ ли развитіе этихъ логическихъ фактовъ съ экономическими и политическими интересами людей, въ которыхъ или среди которыхъ эти факты возникаютъ. Въ однихъ случаяхъ новыя понятія совпадаютъ съ интересами вліятельныхъ индивидуумовъ и группъ, въ другихъ случаяхъ между новыми идеями и существующими интересами происходитъ конфликтъ, и въ зависимости отъ всего этого историческое движеніе или ускоряется, или замедляется, но въ концѣ концовъ логика развитія слѣдствій изъ данныхъ посылокъ оказывается неодолимою силой<sup>3)</sup>. Такъ называемые

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 51. Поэтому Лавровъ даже рекомендовалъ искать объясненія политической исторіи прежде всего въ интересахъ экономическихъ, хотя и оговаривался при этомъ, что „каждое гипотетическое объясненіе этого рода не можетъ еще считаться фактическимъ и что вѣроятность его должна быть строго проверена въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ“, стр. 52.

<sup>2)</sup> Между прочимъ, Лавровъ ссылается на многочисленные примѣры разнаго рода коллективныхъ увлеченій, изъ которыхъ совершенно исчезаетъ всякій расчетъ какихъ бы то ни было реальныхъ интересовъ экономическихъ или политическихъ, хотя онъ и далекъ отъ утвержденія, будто этотъ элементъ исторической жизни встрѣчается очень часто и проявляется съ большою силой.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 55.

проклятые вопросы настойчиво требуют своего рѣшенія, и противъ этого не могутъ ничего подѣлать господствующіе экономическіе и политическіе интересы. Подобнымъ идейнымъ теченіямъ Лавровъ придавалъ большое значеніе, и въ видѣ примѣра ссылался на христіанскую церковь, какъ на такую самостоятельную силу, которая сама вызвала цѣлыя господствующія формы экономическихъ отношеній, политическихъ организацій, философскихъ и эстетическихъ продуктовъ <sup>1)</sup>).

Итакъ, у личности есть три группы потребностей, дающія въ жизни общества начало явленіямъ экономическимъ, политическимъ и идеологическимъ. Это—потребности въ пищѣ, въ безопасности и въ нервномъ возбужденіи. Всѣ эти три рода потребностей одинаково древни въ жизни человѣчества, но если изъ нихъ первой принадлежитъ несомнѣнное первенство въ смыслѣ болѣе частой повторяемости, то въ смыслѣ необходимости эволюціи послѣдовательныхъ фазисовъ побѣда остается за третьей. Этотъ послѣдній элементъ всегда особенно интересовалъ Лаврова. Поэтому и его социологія имѣла не экономическую и не политическую, а психологическую основу. Этимъ опредѣляется и его отношеніе къ экономическому матеріализму, который стремился сдѣлаться всеобъемлющей социологической теоріей, совершенно игнорируя личность и вліяніе ея внутренняго міра на внѣшніе процессы жизни человѣчества <sup>2)</sup>).

На этомъ мы и кончимъ. Моей задачей не было рассмотреть всѣ сочиненія и всѣ стороны ученія Лаврова. Напротивъ, я нарочно выдѣлилъ изъ всего того, о чемъ онъ писалъ, только одну сторону, его „теорію личности“, отдѣльныя части которой разбросаны по разнымъ сочиненіямъ. Какой бы хоть сколько-нибудь обширной темы ни касался онъ въ своихъ многочисленныхъ трудахъ, всегда большею частью онъ ставилъ вопросъ: „а какъ слѣдуетъ объ этомъ думать по отношенію къ личности, къ ея развитію и къ ея роли въ обществѣ?“ Это—центральный пунктъ всего мышленія Лаврова и ключъ къ пониманію постановки имъ многихъ теоретическихъ вопросовъ. Онъ былъ первымъ русскимъ социологомъ и оказалъ большое вліяніе на дальнѣйшее движеніе научной мысли въ области социологіи. Его „антропологизмъ“ отразился на социологіи общимъ ея психологическимъ и этическимъ характеромъ, который и придавалъ отличительную окраску такъ называемой русской субъективной школѣ въ социологіи. О ея первой по времени теоріи слишкомъ мало писали,

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 58.

<sup>2)</sup> Объ отношеніи Лаврова къ экономическому матеріализму см. упомянутую мною статью „Новый историко-философскій трудъ“.



чему, конечно, были свои причины, и, разумѣется, нельзя не пожелать, чтобы рано или поздно, — и, понятно, лучше раньше, чѣмъ поздне, — философскія сочиненія Лаврова, разбросанныя по старымъ журналамъ, были собраны вмѣстѣ и тѣмъ самымъ сдѣлались болѣе доступными и для читающей публики и для критики.

Октябрь 1901 г.



Какъ извѣстно, правительство остановилось предъ матеріальными затрудненіями практическаго рѣшенія этого вопроса. Только указъ о „вольныхъ хлѣбопашцахъ“ остался въ законодательствѣ памятникомъ челоуѣколюбивой мечты Александра. Проектъ этого указа составленъ былъ графомъ Н. П. Румянцевымъ, который на основаніи его и превратилъ своихъ вѣрстанъ въ вольныхъ землепашцевъ. Державинъ говоритъ, что Румянцевъ сдѣлаъ это, „чтобы подолѣститься въ государю, ставнущимъ напередъ, смѣю сказать, съ якобинскою шайкою — Чарторижскимъ, Новосильцевымъ и прочими“ <sup>1)</sup>. По поводу этого указа, который нравился Александру, Державинъ имѣлъ съ нимъ горячее объясненіе, въ которомъ, разумѣется, оспаривалъ основанія этого указа и доказывалъ вредъ его для государства. Но „какъ государь учителемъ своимъ, французомъ Лагарпомъ, упоенъ былъ, говорить Державинъ, и прочими его окружавшими ласкателями, сею мыслію, по ихъ мнѣнію, великодушію и благородною, чтобъ освободить отъ рабства народъ, то остался непоколебимымъ въ своемъ предразсудкѣ“ <sup>2)</sup>. Указъ состоялся, и Александръ сдѣлался еще холоднѣе въ Державину. Въ началѣ октября 1803 года онъ не принялъ его съ обычнымъ докладомъ и, когда чрезъ нѣсколько дней Державинъ добился свиданія и объясненія съ государемъ, онъ ему сказалъ: „ты очень ревностно служишь“ <sup>3)</sup>, и Державинъ вышелъ въ отставку съ полнымъ пенсіономъ. Такъ кончилась служебная дѣятельность стараго поэта, начатая еще при Екатеринѣ. Ни съ однимъ изъ трехъ государей однакожь, при которыхъ пришлось служить Державину и быть съ ними въ близкихъ отношеніяхъ, не умѣлъ онъ поладить; всѣ они оставались недовольны имъ. Въ разное время, съ разныхъ точекъ, смотрѣли на эту служебную дѣятельность Державина. Въ двадцатыхъ годахъ, когда эта дѣятельность была извѣстна только по преданію и изъ „объясненій“ въ его стихотвореніямъ, продиктованныхъ самимъ поэтомъ племянницѣ своей Львовой, для передовыхъ людей того поколѣнія, напр., для Рылѣева, въ его думѣ „Державинъ“, поэтъ являлся идеаломъ гражданскаго мужества, гражданской чести, борцемъ за истину, за поцранныя права закона. Въ 1859 году, когда въ первый разъ появились въ „Русской Бесѣдѣ“ записки Державина, взглядъ на него былъ уже другой. При господствѣ въ тогдашней литературѣ обличительнаго нацравленія, записки Державина „по своей безразсчетной откровенности, говоритъ новый издатель ихъ, Гротъ“ <sup>4)</sup>, подали про-

<sup>1)</sup> Ibid., VI, стр. 812.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 817.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 821.

<sup>4)</sup> Соч. Держ. II, с. 410.

тивъ автора оружіе критикамъ, которые не затруднились къ дѣятелю другой эпохи примѣнить новыя, хотя еще не совсѣмъ ясно сознанныя, идеалы гражданской доблести и либерализма". Какъ извѣстно, въ тогдашнемъ увлеченіи Державину жестоко досталось. Какъ государственный и просто какъ честный человѣкъ, онъ былъ совершенно развѣнчанъ. Для насъ, при болѣе спокойномъ разсужденіи, не можетъ быть такихъ увлеченій. Державинъ былъ, конечно, честный человѣкъ, но его пылкій, чрезвычайно своенравный и строптивый характеръ приносилъ вредъ и дѣлу и ему самому. Государственнымъ человѣкомъ онъ не могъ быть, потому что для этого у него не было ни широты идей, ни образованія; онъ не могъ смотрѣть впередъ; все хорошее для него было позади, въ прошедшемъ, и идти за временемъ, понимать его новыя потребности и сочувствовать имъ Державинъ былъ не въ состояніи. Время его лучшей поэтической дѣятельности прошло безвозвратно; обществу, жизни русской, онъ никакой уже пользы не могъ принести своимъ ослабѣвшимъ талантомъ, особенно при нескрываемой имъ ненависти къ новымъ людямъ и къ новой жизни. Его плодотворное стихотворство отъ отставки до смерти было только его личною забавою.

Въ письмахъ своихъ къ старому другу и родственнику, Капнисту, Державинъ высказываетъ свою радость, что освободился отъ тяготившаго его бремени дѣлъ и что теперь можетъ съ полною свободою отдаться любимому занятію своему — поэзій. Намъ позволительно однако не вполнѣ вѣрить искренности его словъ. Въ душѣ его осталась горечь отъ неудовлетвореннаго честолюбія, увеличиваемая еще болѣе глубокимъ недовольствомъ новыми людьми, имѣвшими власть, и тѣми преобразованіями, которыя совершались тогда въ государствѣ, больше впрочемъ людьми, чѣмъ преобразованіями, а это и доказываетъ присутствіе въ недовольствѣ Державина личнаго чувства. Такъ въ баснѣ „Жмурки“, написанной въ 1805 году<sup>1)</sup>, онъ желалъ представить Александра и его триумвирать; въ баснѣ „Выборъ министра“<sup>2)</sup> подъ видомъ наука является Сперанскій, а подъ муравьемъ — Новосильцевъ.

Однимъ словомъ, Державинъ, какъ и Дмитріевъ, не могъ сочувствовать ничему новому, но онъ не могъ и противодѣйствовать первымъ потому, что онъ не понималъ этого новаго, а потомъ еще и потому, что онъ „бѣдное свое риемачество“ — по выраженію Ломоносова — ставилъ выше всего въ жизни. Правда, въ остальные годы своей жизни, отъ отставки и до смерти, Державинъ писалъ очень много, но съ каждымъ годомъ талантъ его и воображеніе слабѣли.

<sup>1)</sup> Соч. Держ., III, стр. 354.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 359.

Это уже была жалкая тѣнь прежняго, и очень часто стихи его вызвали улыбку сожалѣнія, если не насмѣшку,—ясное доказательство того, что поэтический гений не старѣется только тогда, когда онъ получаетъ содержаніе изъ новой жизни, его окружающей, и обновляется ея стремленіями. Державину мѣшала въ этомъ случаѣ недостаточность образованія; его духовные интересы были до крайности узки и мелки, всѣ они состояли въ жалкой погонѣ за приемами. Что писалъ Державинъ въ послѣдніе годы своей жизни? Прямо отъ управленія министерствомъ юстиціи Державинъ садится за сочиненіе своихъ „Анакреонтическихъ цѣсентъ“ (1804 г.); не зная древнихъ языковъ и знакомясь съ древними поэтами или по французскимъ переводамъ или по русскимъ подстрочнымъ, которые дѣлали для него друзья его, Державинъ переводить или скорѣе подражаетъ Анакреону, представляя картинки весьма скромнаго свойства, неприличныя старику, подражаетъ Горацию, Пиндару, но сущность древней поэзіи и ея изысканные образы совершенно исчезаютъ въ этихъ передѣлкахъ. На борьбу съ Наполеономъ и по случаю патріотическаго настроенія русскаго общества въ это тяжелое для Россіи время Державинъ написалъ много стиховъ, но за исключеніемъ очень немногихъ одъ, остальные не производили никакого впечатлѣнія на тогдашнее общество: нашлись новые звуки, народились новые поэты, которые сумѣли то же патріотическое содержаніе выразить въ иныхъ, болѣе современныхъ образахъ. Религіозныя стихотворенія Державинъ писалъ въ это время въ большомъ количествѣ, но всѣ они въ высшей степени холодны и безжизненны; это риторика, вялая, скучная, только съ приемами.

Въ отставкѣ Державинъ получилъ особенную страсть къ драматической поэзіи, которая не покидала его до послѣднихъ дней жизни. Нѣсколько трагедій, конченныхъ и неоконченныхъ, нѣсколько комедій и оперъ, по большей части оригинальныхъ, составили цѣлый толстый четвертый томъ академическаго изданія. Многія изъ нихъ были напечатаны только въ этомъ изданіи, но Державинъ при жизни читалъ ихъ своимъ пріятелямъ, заставлялъ ихъ читать себѣ и повидимому оставался доволенъ новымъ родомъ поэзіи, съ которымъ познакомился только подъ старость. Современная критика изъ уваженія къ старой славѣ Державина или молчала, или отзывалась о его драматической прихоти весьма снисходительно, но прежніе друзья его, напр., Дмитріевъ, качали головой и смѣялись надъ послѣдними произведеніями Державина. „Вы удивитесь и вѣрно скажете про себя, писалъ онъ въ Москву къ Дмитріеву, что я подъ старость рехнулся съ ума, пустившись по неизвѣстной мнѣ понынѣ дорогѣ въ храмъ Мельпомены; но что дѣлать отъ бездѣлья? Оды уже наскучили;

и такъ я хотѣлъ испытать русскую пословицу: смѣлымъ Богъ владѣетъ! Пусть господа ваши критики цѣнятъ, какъ хотятъ, но дѣло уже сдѣлано“ <sup>1)</sup>. Говорятъ, впрочемъ, что современные лавры Озерова, такъ легко имъ прибрѣтенные тогда, не давали покоя Державину и вызвали его на драматическое поприще. Это была манія старца. Война съ Наполеономъ вызвала Державина и на практическое участіе въ дѣлахъ того времени. Въ 1806 и 1807 годахъ онъ представлялъ двѣ записки о томъ, какъ укротить, по его словамъ, наглость французовъ. На нихъ не обратили вниманія. „Меня обѣщали призвать и выслушать мой планъ, пишетъ онъ Понову, но послѣ пренебрегли и презрѣли, какъ стихотворческую горячую голову; но теперь, \*къ несчастію, все, что я говорилъ, сбывается“ <sup>2)</sup>. Въ 1812 году онъ также писалъ о мѣрахъ въ оборонѣ, но правительству было тогда не до него: О „Бесѣдѣ любителей русскаго слова“, литературномъ обществѣ старыхъ писателей, въ образованіи котораго принимали самое дѣятельное участіе Державинъ и Шишковъ, мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ.

Фигура Державина въ послѣдніе годы его жизни, его интересы и дѣятельность очень живо являются въ современныхъ воспоминаніяхъ Жихарева, Аксакова и В. Панаева. Это были молодые писатели, только что вступавшіе на литературное поприще, никому еще неизвѣстные, а потому видѣвшіе въ Державинѣ и знаменитаго „барда“ временъ Екатерины и недавняго министра. Они склонялись предъ нимъ съ глубокимъ раболѣпствомъ, какъ было прилично молодымъ людямъ того времени. Панаевъ передаетъ, съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ онъ въ первый разъ увидѣлъ маститаго старца и бросился цѣловать его руку. Жихаревъ и Аксаковъ славились тогда, какъ чтецы или декламаторы. Державинъ заставлялъ ихъ безпрестанно читать въ слухъ свои произведенія. Общество, собиравшееся къ нему, состояло все изъ чиновныхъ старцевъ, болѣе или менѣе его сверстниковъ, членовъ Бесѣды. Всѣ интересы этого общества вертѣлись около стиховъ и вдобавокъ плохихъ. Къ Карамзину, въ московскому литературному кругу отношеніе было враждебное.

Державинъ доживалъ, такимъ образомъ, свой вѣкъ, какъ обломокъ старины, чуждый новой жизни и занятый совершенно бесполезною и не имѣющею смысла дѣятельностію. Между тѣмъ политическія обстоятельства времени должны были измѣнить положеніе дѣлъ въ Россіи, характеръ общественнаго движенія и вызвать новыя литературныя явленія и новыя имена.

<sup>1)</sup> Ibid., VI, с. 197.

<sup>2)</sup> Ibid., VI, с. 234.

## ЛЕКЦІЯ XX.

Отношеніе общественнаго мнѣнія къ западно-европейскимъ событіямъ.—Первая война съ Наполеономъ.—Аустерлицкое пораженіе.—Разгромъ Пруссіи и Тильзитскій миръ.

Только пять лѣтъ продолжалось стремленіе Александра въ реформамъ и преобразованіямъ и желаніе переустроить свое царство на новыхъ лучшихъ началахъ. Какъ ни слабы были эти желанія, какъ ни незначительны были результаты задумываемыхъ реформъ, вслѣдствіе неразвитости и апатіи общества, все же эти первые пять лѣтъ царствованія Александра были временемъ такихъ прочныхъ преобразованій, какъ, напр., устройство на широкихъ началахъ народного просвѣщенія и такого оживленія и возбужденія умовъ, замѣтнаго даже и въ сѣдной литературѣ того времени, которая оставила глубокіе слѣды въ жизни общественной и не вдругъ могли исчезнуть въ сознаніи. Люди, которые принимали дѣятельное участіе въ духовной жизни и въ общественномъ оживленіи этихъ пяти лѣтъ, всегда съ глубокимъ чувствомъ вспоминали ихъ, какъ свѣтлую пору молодости; но даже и тѣ, которымъ были не по душѣ начала, появившіяся тогда въ государственной и общественной жизни, какъ, напр., Вигель, называютъ это время блаженнымъ и свѣтлымъ. Неожиданно для многихъ, конечно, не дальновидныхъ, но совершенно естественно, по исторической необходимости, и вниманіе правительства и движеніе общественнаго мнѣнія, выражавшагося въ литературѣ, направились въ другую сторону; реформы и благія начинанія были сначала отложены на время, а потомъ и позабыты. Настала пора вѣшнихъ войнъ нашихъ съ Наполеоновскою Франціею, продолжавшихся десять лѣтъ и имѣвшихъ важное значеніе въ исторіи нашего внутренняго развитія. Продолжительное напряженіе всѣхъ силъ страны, то поворотъ пораженія, то слава побѣды, все это кипучее время вѣшной дѣятельности, когда очень часто будущее страны зависѣло отъ прихотливыхъ случайностей сраженія,—все это сильно возбуждало и тревожило общественное мнѣніе, которое воспитывалось и крѣпло въ этихъ волненіяхъ. Указывать на эти колебанія общественнаго мнѣнія, на его отношеніе къ великимъ тяжелымъ событіямъ, необходимо, ибо безъ этого мы не поймемъ ни смысла литературныхъ явленій, какъ выраженій этого общественнаго мнѣнія, ни ихъ направленія, ни силы и значенія ихъ въ отношеніи общей жизни Россіи.

Французское вліяніе, французскія формы жизни и мысли, моды и литература Франціи господствовали въ нашемъ обществѣ съ по-

ловины прошлаго вѣка, чему въ особенности безспорно благопріятствовало то, что воспитаніе высшаго и средняго дворянства все находилось въ рукахъ французскихъ наставниковъ. Но мы имѣли дѣло съ старой Франціей, съ Франціей легитимной монархіи Бурбоновъ, бѣлаго знамени, лилій, аббатовъ, изящныхъ трагиковъ, свободныхъ мыслителей XVIII вѣка, которые нигдѣ не высказывали, какъ думаютъ они примѣнить на практикѣ, въ жизни человѣчества, свои широкія гуманныя идеи, и веселыхъ насмѣшливыхъ поэтовъ, воспитавшихъ легкіе нравы и легкую любовь. Отъ знакомства съ новыми идеями и формами, возникшими на развалинахъ старой Франціи послѣ революціоннаго переворота, въ которомъ погибло все прошлое этой страны, насъ оберегали правительственныя распоряженія Екатерины и Павла, понимавшихъ очень хорошо всю радикальную противоположность новой Франціи съ коренными условіями ихъ власти. Это ревнивое оберегательство правительства не всегда достигало цѣли и не могло продолжаться долго; нельзя запретить идею и не давать ей ходу, ея природа слишкомъ неуправима и рано или поздно она вырвется наружу. При Александрѣ, какъ мы видѣли, это положеніе вещей измѣнилось. Онъ былъ, конечно, случайно, воспитанъ иначе. Еслибъ Екатерина могла предвидѣть результаты его воспитанія, то, конечно, повела бы его иначе, но дѣло въ томъ, что никогда люди не были такъ мало предусмотрительны, и никто въ Европѣ не предчувствовалъ тогда такой близости грозы и такихъ ужасающихъ формъ переворота. Александръ сдѣлался сыномъ вѣка противъ его воли, но все, что было въ немъ хорошаго, всѣ его искреннія желанія блага странѣ, всѣ его стремленія и надежды, все это своею жизнію обязано было началамъ французскаго переворота, разумѣется, безъ его обстановки. Онъ, дѣйствительно, походилъ на школьника 1789 года, съ идеалами братства, равенства и свободы въ сердцѣ. Молодые совѣтники его, передовые люди по своему образованію, были воспитаны и жили въ томъ же кругѣ идей, какъ и онъ; результаты, добытые переворотомъ Франціи, были для нихъ дороги, они хотѣли положить ихъ въ основаніе задумываемыхъ ими вмѣстѣ съ императоромъ преобразованій страны своей. Но людей, которые бы раздѣляли ихъ убѣжденія, и въ обществѣ и въ литературѣ было чрезвычайно мало. Послѣдняя была, какъ мы видѣли, въ высшей степени бѣдна, а общество жило поклоненіемъ формамъ старой Франціи и не понимало совершившагося въ ней переворота, пока тяжелыми потерями не убѣдилось въ томъ, что передъ нимъ другая Франція, враждебная старой.

Когда Карамзинъ въ своемъ „Вѣстникѣ Европы“ привѣтствовалъ перваго консула, поразившаго „гидру“ революціи, начинавшаго воз-

становлять католичество и нѣкоторыя старыя формы, и онъ и большинство современниковъ не думали, что въ рукахъ этого консула будущее Европы, что онъ измѣнитъ ея исторію своими безпощадными войнами. Очень многіе мечтали видѣть въ немъ новаго генерала Монка, но никакъ не Кроувеля. Но вотъ на развалинахъ старой Европы постепенно воздвигается зданіе громадной воинственной державы. Европа превращается въ лагерь, точно во время Аттилы. Во власти перваго консула вся Италія, Голландія; онъ управляетъ по произволу сосѣднею съ нами Германіей, въ которой такъ много было родственныхъ связей у нашего двора; честолюбивые виды Бонапарте ширятся, все склоняется передъ его волей, и одна только далекая, сѣверная страна еще избѣгаетъ его вліянія. Ея положеніе бѣситъ перваго консула и недовольство его Россіей высказывается грубыми выходками противъ пословъ ея, которые, впрочемъ, и сами не понимали своего положенія и новой Франціи и ея властителя. Крикъ негодованія поднялся въ Европѣ, когда Бонапарте велѣлъ разстрѣлять во рву Венсенскаго замка одного изъ Бурбоновъ, герцога Ангіенскаго. Тогда только убѣдились, что изъ перваго консула не выйдетъ Монка, а въ отвѣтъ на проклятія всей Европы, онъ объявляетъ себя императоромъ, и съ тѣхъ поръ *se soldat couronné*, до самаго паденія своего, дѣлается предметомъ ненависти правительствъ и людей стараго режима, но вмѣстѣ съ тѣмъ и народной партіи. Народное чувство вездѣ видѣло въ немъ врага свободы и независимости, оно окружило его глубокою ненавистью и ею умѣли пользоваться правительства.

Рядомъ съ уроками Лагарпа и филантропическими идеалами, созданными духомъ времени, въ душѣ Александра всегда присутствовало убѣжденіе, что онъ государь самодержавный, что воля его не ограничена ничѣмъ и кромѣ того онъ государь легитимный, Божій помазанникъ. Эти идеи, конечно, развиваются тамъ преимущественно, гдѣ ихъ питаютъ матеріальныя сила и могущество; и нигдѣ онѣ не были такъ сильны, какъ при нашемъ дворѣ. Александръ былъ воспитанъ ими; его мать, вдовствующая императрица Марія Федоровна, всегда имѣвшая на сына сильное вліяніе, доводила эти идеи до крайности; все старое поколѣніе придворныхъ, эти „орлы Екатерины“, были того же образа мыслей, который еще болѣе укрѣплялся въ высшемъ петербургскомъ свѣтѣ присутствіемъ множества знатныхъ французскихъ эмигрантовъ и ихъ плачевными разсказами о вынесенныхъ ими страданіяхъ, объ ужасахъ революціи, о бѣдствіяхъ и гибели королевской фамиліи, о развратѣ и неистовствахъ Бонапарта. Люди эти, по старому и вѣрному о нихъ выраженію, ничего не забыли и ничему не научились. Ихъ слушали въ нашемъ обществѣ,



дѣлили ихъ любовь къ прошлому и ненависть къ новому порядку вещей во Франціи.

Изъ дипломатическихъ соображеній, увлекшихъ насъ въ тяжелую войну съ Франціей, кажется, самымъ сильнымъ было неудовольствіе нашего двора на тотъ произволъ, съ которымъ Наполеонъ распоряжался мелкими нѣмецкими владѣніями, безпрестанно перетасовывая ихъ, отнимая у одного и давая другому, иногда просто лишая престоловъ ихъ владѣтелей, а всѣ они были близкими и дальними родственниками нашего двора. Участь ихъ озабочивала Александра. И вотъ онъ становится въ главѣ новой коалиціи противъ Франціи, вызывая и образовывая вездѣ въ Европѣ союзы и увѣряя дворы ея, что „самымъ опаснымъ оружіемъ французовъ было распространенное ими убѣжденіе, будто бы они ратуютъ за свободу и благосостояніе народовъ“<sup>1)</sup>. Въ этомъ убѣжденіи, дѣйствительно, состояла главная причина успѣха Наполеоновскихъ войнъ. Дѣло шло въ этой войнѣ со стороны нашего императора ни больше ни меньше, какъ объ изгнаніи хищника престола законныхъ государей Франціи и о возстановленіи Бурбоновъ. Нужно было остановить могущество Наполеона, пока еще возможна была борьба съ нимъ. Это настроеніе господствовало впрочемъ не при одномъ русскомъ дворѣ, и Австрія и Пруссія желали того же въ лицѣ своихъ дворцовъ, но ихъ силы были слабѣе и у нихъ не доставало Александрова рыцарства.

Всякая война, въ которой напрягаются силы страны, могущественно возбуждаетъ умъ народа и общественное мнѣніе: вѣдь тутъ страна жертвуетъ лучшимъ своимъ достояніемъ, и самое существованіе ея ставится на карту. Самые удачныя, полезныя по результатамъ своимъ войны бываютъ тѣ, которые ведутся сознательно, которыхъ цѣль и средства понятны и извѣстны народу. Солдатамъ Наполеоновскихъ армій, съ которыми пришлось имѣть дѣло нашему народу, бюллетени ихъ императора и приказы постоянно твердили, что они сражаются за великое дѣло, что они призваны для того, чтобъ разнести по свѣту свободныя идеи французской революціи, чтобъ освободить и просвѣтить міръ. А у насъ, до отечественной войны, существовало ли какое нибудь общественное мнѣніе, относилась ли сколько-нибудь сознательно страна къ напряженію своихъ силъ, знала ли она сколько-нибудь намѣренія и политическіе виды правительства и понимала ли она за что ведется война? На вопросы эти болѣе всего надобно отвѣчать отрицательно. Гдѣ нѣтъ политической жизни, гдѣ представители народа не принимаютъ въ ней никакого участія, тамъ не можетъ быть и знанія своего положенія,

<sup>1)</sup> Богдановичъ. Исторія царств. имп. Александра I, т. I, с. 351.

тамъ не можетъ быть и того сознательнаго патріотизма, который производитъ чудеса, а является патріотизмъ пассивный, патріотизмъ жертвъ и терпѣнія. Публичности дѣйствій правительства не было вовсе; гласности, въ томъ даже смыслѣ, какъ она существуетъ теперь, тогда вовсе не существовало; газеты были самаго жалкаго свойства; въ нихъ помещались скудные, отрывочныя извѣстія, не дававшія никакого понятія объ истинѣ, онѣ не слѣдили за событіями послѣдовательно, не объясняли причинъ ихъ и хода. Страна узнавала о потрясающихъ событіяхъ только то, что считало нужнымъ сообщить странѣ правительство. Въ этомъ обстоятельствѣ сказывалось и недоверіе правительства къ своему народу и боязнь. При отъѣздѣ въ первую Наполеоновскую кампанію, Александръ счелъ необходимымъ учредить въ столицѣ какую-то *высшую полицію*, которая должна была наблюдать за состояніемъ умовъ и преслѣдовать всякіе толки, неумѣстные въ тѣхъ обстоятельствахъ <sup>1)</sup>. Тогда же была учреждена и внутренняя стража по губерніямъ <sup>2)</sup>. Всякіе политическіе толки о событіяхъ строго преслѣдовались; приходилось говорить о нихъ на ухо и то только въ интимномъ кругу. Жихаревъ передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ московскій главнокомандующій Беклешовъ призвалъ къ себѣ въ пріемный день нѣсколько молодыхъ дворянъ, политическій разговоръ которыхъ былъ подслушанъ, и, въ присутствіи всѣхъ, грозилъ имъ розгами <sup>3)</sup>. Тоже самое было и въ Петербургѣ; и тамъ особенный комитетъ общественнаго спокойствія хлопоталъ объ обузданіи политической болтовни, появившейся всегда необходимо тамъ, гдѣ нѣтъ правительственнаго выраженія общественнаго мнѣнія. О провинціальныхъ городахъ и говорить нечего; тамъ всякая жизнь спала сномъ непробуднымъ, въ блаженномъ невѣдѣніи всего, что только подымалось хоть на вершокъ надъ мелкими интересами грубой и инстинктивной жизни. И вотъ полки и батальоны русскаго народа шли безмолвно и медленно куда-то далеко, въ неизвѣстную тогда Европу, на кровавыя поля сраженій, откуда немногіе возвратились домой, а большая часть погибла съ полнымъ невѣдѣніемъ, за что. А между тѣмъ поборы, наборы и милиція тяжело ложились на народъ; бумажныя деньги падали, и все дорожало. Толки и общественное мнѣніе могли выражаться только въ высшихъ совѣтахъ государства и въ высшемъ обществѣ столицъ.

Отправляясь осенью 1805 года вслѣдъ за войскомъ, перешед-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1867 г., с. 754.

<sup>2)</sup> Ibid., с. 762.

<sup>3)</sup> Записки Жихарева, с. 115.

шимъ границу, Александръ уже не могъ думать о начатыхъ имъ преобразованіяхъ въ государствѣ: впереди его была война съ Наполеономъ, окруженнымъ славой непобѣдимаго полководца, а онъ не зналъ, кому поручить главное начальство русской арміи и рѣшился стать самъ въ главѣ ея. Народъ съ молитвами и благословеніями провожалъ его по петербургскимъ улицамъ, когда онъ отправился въ армію и онъ въ рескриптѣ своемъ къ генералъ-губернатору Вязмитинову высказывалъ свое наслажденіе „честью быть начальникомъ столь почтенной и отличной націи“ <sup>1)</sup>.

Въ Москвѣ, при началѣ войны, въ обществѣ господствовала удивительная довѣренность къ Александру, и начиналась ненависть къ Наполеону, увеличившаяся въ сильнѣйшей степени послѣ нашихъ поражений. Москва называла Александра „ангелъ во плоти“; всѣ сословія ея были увлечены общою къ нему любовію. Въ московскомъ англійскомъ клубѣ, гдѣ было главное средоточіе общественнаго мнѣнія этой столицы, всѣ были увѣрены въ побѣдѣ, всѣ полагались на Суворовскаго любимца Кутузова, всѣ хорохорились и храбрились, презирая *сухотарыхъ французшескъ* и ихъ геніальнаго вождя, который являлся въ представленіяхъ доморощенныхъ клубныхъ политиковъ чѣмъ-то въ родѣ мелкаго мазурика. „Подавай мнѣ этого мошенника Буонапартія, я его на веревкѣ въ клубъ приведу!“ кричалъ толстый помѣщикъ, отставной прапорщикъ Перхуровъ, и надобно замѣтить, что все общественное мнѣніе Россіи въ то время выражалось такими бессмысленными криками <sup>2)</sup>. Это было понятно, потому что оно опиралось на громкую славу Екатерининскихъ войнъ и героевъ. Въ этомъ клубѣ господствовалъ только интересъ къ извѣстіямъ войны; въ этомъ отношеніи онъ походилъ, по выраженію современника, на воскресный базаръ, особенно въ тѣ дни, когда приходило извѣстіе изъ арміи. Всеобщее безпокойство увеличилось передъ главнымъ сраженіемъ всей кампаніи, но увѣренность въ побѣдѣ не покидала никого, поражение было немыслимо.

Та же самая самонадѣянность и презрѣніе къ врагу господствовали и въ войскѣ, главнымъ образомъ въ свитѣ государя, гдѣ господствовало настроеніе мыслей французскихъ эмигрантовъ, воображавшихъ, что они наканунѣ восстановленія Бурбоновъ, своихъ правъ и своихъ имѣній. Эта самоувѣренность поражала даже французовъ, посланныхъ въ нашъ лагерь Наполеономъ для переговоровъ о мирѣ. Требованія наши были до крайности неумѣренны. И вотъ послѣдовало неслыханное поражение русской арміи на поляхъ Аустерлица;

<sup>1)</sup> Богдановичъ, II, с. 50.

<sup>2)</sup> Записки Жихарева, с. 87.

разрушившее разомъ всю прежнюю самонадѣянность. Стыдъ и позоръ послѣдовали за неумѣренною гордостію и самоувѣренностію. Союзники разомъ оставили насъ, и чтобъ отплатить за позоръ пораженія и осуществить цѣль Александра—уничтоженіе могущества Наполеона, намъ приходилось уже однимъ вести, по его выраженію, une guerre de fantaisie. Де-Местръ рассказываетъ въ своихъ письмахъ, что тотчасъ послѣ Аустерлицкаго сраженія кто-то изъ придворныхъ свиты Александра сказалъ ему: „Кто знаетъ, что въ это время дѣлается въ Петербургѣ?“ и государь тотчасъ же, съ поля сраженія поскакалъ въ свою столицу <sup>1)</sup>. Съ этихъ поръ не общія преобразования государства стали занимать его мысли и досугъ, а устройство арміи. Парады и смотры сдѣлались любимыми его занятіями. „Императоръ лично эскерцируетъ свою гвардію, говоритъ тотъ же де-Местръ, изобрѣли новый барабанъ, производящій страшную трескотню; всѣ смѣются, и въ особенности офицеры, и это великое зло“ <sup>2)</sup>. Онъ заботится теперь преимущественно о военномъ воспитаніи.

Но опасенія императора и его близкихъ совѣтниковъ при возвращеніи въ Петербургъ послѣ Аустерлицкаго пораженія были напрасны. Народъ и общество не знали настоящей правды, и смутные рассказы объ Аустерлицѣ долго передавались только шепотомъ. Государь и его свита были встрѣчены въ столицѣ съ обычнымъ восторгомъ. „Ихъ величали, какъ героевъ, совершившихъ чудеса храбрости и самоотверженія“ <sup>3)</sup>. Не смотря на это, ударъ, нанесенный нашей народной гордости пораженіемъ подъ Аустерлицомъ, былъ жестокъ и глубоко проникъ въ сердца многихъ. Для русскихъ, избалованныхъ непрерывнымъ рядомъ побѣдъ въ теченіе полувѣка, это пораженіе было тѣмъ чувствительнѣе. Но раздумье и печаль о потерѣ продолжались недолго; было на кого возложить заботы и успокоиться: „Государь знаетъ лучше насъ, что для чего дѣлается, и если насъ потрепали, то видно, что такъ и надобно“, говорило тогда большинство <sup>4)</sup>. Лица были пасмурны недолго и скоро прояснились; пошли рассказы объ отдѣльныхъ подвигахъ русскихъ воиновъ, куражъ вернулся снова, нопрежнему стали третировать побѣдителя Наполеонишкой и Бонапартишкой: „сами не свои и чортъ намъ не братъ“, по выраженію современника. Въ англійскомъ клубѣ выпито было громадное количество бутылокъ шампанскаго. Въ Москву пріѣхалъ единственный герой этой кампаніи—Багратіонъ, за которымъ осталась кое-какая

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1871 г., с. 107.

<sup>2)</sup> Ibid., с. 88.

<sup>3)</sup> Богдановичъ II, с. 106.

<sup>4)</sup> Записки Жихарева, с. 111.

слава успѣха. Ему устраивали торжественныя оваціи, давали обѣды со стихами, но безъ спичей, пѣли въ честь его гимны. Это была нѣкотораго рода оппозиція; Вагратіонъ командовалъ только арьергардомъ и игралъ второстепенную роль, но Москва въ прежніе годы любила быть въ оппозиціи.

Такъ начались эти войны съ Наполеономъ, кончившіяся его нашествіемъ въ Россію и, наконецъ, его паденіемъ. Пораженіе при Аустерлицѣ, если не по голосу всего народа, то по мнѣнію правительства, должно было быть отмщено, и Россія стала готовиться къ войнѣ, т.-е. увеличивать войско. Невольно воинственное увлеченіе стало проходить и въ общество, гдѣ теперь ненависть къ Наполеону начала раздувать и возникшая тогда политическая литература. Этой послѣдней еще не было времени у насъ сформироваться отъ непониманія событій и отъ равнодушнаго отношенія къ нимъ, а потому все, что являлось у насъ противъ французовъ въ первые годы войны съ ними, было переводимо съ нѣмецкаго. Униженіе Германіи чувствовалось въ ней очень многими. Наполеоновскій гнетъ лежалъ на ней невыносимо, и ея государи видѣли въ русскихъ естественныхъ своихъ союзниковъ. Пруссія первая захотѣла сбросить съ себя этотъ гнетъ; Александръ былъ въ искренней дружбѣ съ прусскимъ королевскимъ домомъ и обѣщалъ дѣятельную помощь. Но прежде нежели русскія войска могли подоспѣть на помощь пруссамамъ, королевство это въ одинъ день 2-го (14) октября 1806 года въ двухъ сраженіяхъ, при Іенѣ и Ауэрштедтѣ, пало совершенно. Погромъ былъ страшный, неслыханный; военная слава Фридриха В. исчезла въ нѣсколько дней, и королю прусскому остался жалкій клочокъ земли въ восточномъ углу его государства.

Мы рвались отмстить теперь за Іену. Паденіе Пруссіи ставило насъ лицомъ къ лицу съ Наполеономъ, и приходилось думать не о наступленіи, а объ оборонѣ. Войнѣ придають характеръ народный. Манифестомъ 30 ноября 1806 года собиралось огромное количество земскаго войска или ополченія; Синодъ издалъ воззваніе къ народу, гдѣ говорилось объ оборонѣ отечества. Приближались великія событія, но значеніе и смыслъ ихъ понимали очень немногіе; общественнаго мнѣнія не существовало, все облечено было глубокою тайной, и понятно поэтому, что, по замѣчанію современниковъ, русскіе люди, призванные управлять событіями, оказывались стоящими гораздо ниже уровня современныхъ великихъ и страшныхъ обстоятельствъ. Недостатокъ людей, способныхъ на дѣло, чувствовался во всѣхъ сферахъ государственной дѣятельности. Александръ не зналъ даже кому ввѣрить начальство надъ русской арміей и сдѣлалъ самый неудачный выборъ, назначивъ главнокомандующимъ стараго орла Ека-

терининскихъ войнъ, на котораго указывало мнѣніе двора. Но у крыльевъ орла давно вылиняли перья. Выписанный изъ деревни графъ Каменскій оказался больнымъ и слѣпымъ старикомъ, который не могъ даже ѣздить верхомъ. Дворъ и Петербургъ проводили его съ восторженными надеждами въ армію, но Каменскій, испугавшись отвѣтственности, на немъ лежащей, сознавая ничтожность своихъ силъ, сдѣлалъ самовольно начальство старшему по себѣ и бросилъ армію. Бороться съ первымъ военнымъ геніемъ времени всякому приходилось не подъ силу. Новый главнокомандующій Беннигсенъ былъ также старъ и болѣзненъ; онъ отличался слабостью и безхарактерностью; подчиненные ему генералы повиновались ему неохотно; безначаліе грозило нарушить всякую дисциплину въ арміи, и безъ того уже подорванную. Плохо одѣтые, плохо обутые, солдаты по цѣлымъ днямъ оставались безъ пищи, а лошади безъ фуража. Ихъ грабили интенданты, — имъ приходилось грабить страну, которую они пришли защищать отъ нашествія Наполеона. Войско видимо слабѣло, и понятно, что ожидать успѣха было нельзя. Правда, нерѣшительныя сраженія мы выставляли за побѣды, но истина невольно раскрывалась въ бѣдственномъ положеніи арміи, которой одной, безъ союзниковъ, приходилось бороться съ Наполеономъ и его славными маршалами. Къ вождю ея не было никакого довѣрія, и Александръ считалъ необходимымъ отправиться самому въ войску. Такъ наступилъ 1807 годъ. Армія была утомлена переходами, сраженіями, безпрестанными стычками; еще болѣе, чѣмъ въ сраженіяхъ, солдаты гибли отъ ранъ и болѣзней въ лазаретахъ, которые образованные иностранцы называли тогда „ужасомъ чело-вѣчества“. Жестокое пораженіе насъ при Фридландѣ 2-го (14) іюня должно было покончить эту бѣдственную для насъ войну, причина которой лежала въ рыцарскомъ чувствѣ Александра, а не въ необходимости. Это пораженіе и въ арміи, и въ государѣ, и въ большинствѣ лицъ, его окружавшихъ, развило убѣжденіе въ необходимости мира, и обращавшійся гордо и презрительно съ Наполеономъ императоръ Александръ долженъ былъ склониться предъ побѣдителемъ и просить о мирѣ. Онъ не замедлилъ, и Тильзитскій трактатъ положилъ конецъ войнѣ, унижилъ Россію, но возбудилъ ея общественное мнѣніе.

## ЛЕКЦІЯ ХХІ.

Впечатлѣніе отъ Тильзитскаго мира. — Удаленіе Чарторьскаго, Новосильцева и Кочубея. — Аракчеевъ. — Сперанскій. — Патріотическая литература. — «Геній времени». — О. В. Растопчинъ. Его дѣтство. Служба.

Неудачная война съ Наполеономъ и вслѣдъ за нею невыгодный Тильзитскій миръ произвели на русское общество того времени впечатлѣніе самое тяжелое. До сихъ поръ мы вели только счастливыя войны, или отъ побѣды къ побѣдѣ; до сихъ поръ мы сами предписывали условія мира побѣжденнымъ; теперь въ свою очередь надобно было подчиниться. Сила обстоятельствъ привела насъ въ 1807 году къ этому невыгодному миру. Дѣйствующая армія была ослаблена тяжелыми сраженіями съ Наполеономъ и болѣзнями, еще болѣе упадкомъ дисциплины и казнокрадствомъ, отъ котораго наживался самъ фельд-маршалъ Бенингсенъ, богатѣвшій на счетъ грабимыхъ солдатъ<sup>1)</sup>. Вслѣдствіе поражений нашихъ Польша готовилась къ возстанію, а у насъ не было вовсе резервовъ, чтобы продолжать войну, ибо на ополченія необученныхъ крестьянъ не надѣялся никто. Однимъ словомъ, миръ былъ заключенъ нами по необходимости; безъ него было бы хуже, а между тѣмъ онъ тяжело ложился на совѣсть всѣхъ въ немъ участвовавшихъ и самого Александра, который послѣ своего всемірно-историческаго свиданія съ Наполеономъ медлил въ Тильзитѣ, какъ бы подъ тяжестью стыда, несмотря на представленія всѣхъ приближенныхъ, торопившихъ его воротиться въ Имперію<sup>2)</sup>. Никому неизвѣстно, о чемъ шла рѣчь между двумя императорами, въ рукахъ которыхъ были тогда судьбы міра, но Александръ не могъ не подчиниться гениальному уму Наполеона, и это подчиненіе вело только къ униженію Россіи, къ ея ослабленію; Наполеонъ льстилъ Александру, но думалъ только о своихъ выгодахъ и о своемъ честолюбіи.

Какъ внѣшняя, такъ и внутренняя политика Александра должна была измѣниться теперь, послѣ Тильзитскаго мира. Наступило другое время, съ другимъ содержаніемъ, другими цѣлями и намѣреніями, и, наконецъ, другими людьми. Прежніе друзья молодости Александра должны были уступить свои мѣста другимъ. На ближайшаго друга Александра — Чарторьскаго, какъ на поляка, а слѣдовательно естественнаго врага Россіи, обрушилось негодованіе общества; все то, что было близко къ государю и имѣло какое-нибудь вліяніе на его рѣшенія, подвергалось тогда въ обществѣ самымъ разнообразнымъ

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1868 г., с. 182.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1868 г., с. 50.

обвиненіямъ. Современники говорятъ о тайной радости Чарторьскаго при нашихъ пораженіяхъ<sup>1)</sup>; на него всё смотрѣли, какъ на измѣнника. Изъ писемъ Чарторьскаго видно, какъ Александръ, и по нерѣшительности своего характера и по недостатку дѣльныхъ людей между тѣми, которые окружали его, долго колебался въ необходимости отдалить отъ управленія министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Чарторьскаго. „Мнѣ нужно уважать тѣхъ, съ кѣмъ я работаю“, писалъ онъ къ послѣднему<sup>2)</sup>, и только уступая требованію общества, онъ удалилъ отъ себя Чарторьскаго, увѣряя его, что его личныя чувства къ нему не измѣнились. Дѣйствительно, хотя Чарторьскаго и смѣнилъ Будбергъ, онъ все-таки оставался близокъ къ Александру до самой отечественной войны и былъ главнымъ совѣтникомъ его въ дѣлахъ дипломатическихъ. Другіе прежніе совѣтники удалились тоже постепенно. Новосильцевъ, какъ мы знаемъ, былъ жаркимъ поклонникомъ Англіи, ея государственныхъ формъ; когда дѣло шло о союзѣ противъ Наполеона, Новосильцевъ былъ посланъ въ Лондонъ и своими свиданіями съ Питтомъ и Фоксомъ устроилъ этотъ союзъ. Новосильцевъ говорилъ самъ, что лично ненавидитъ Наполеона<sup>3)</sup>, и послѣ Тильзитскаго мира убѣждалъ государя уволить его въ отставку. Хотя Александръ не согласился, но Новосильцевъ постепенно удалялся отъ двора, постепенно терялъ свое вліяніе и, часто громко и безцеремонно браня Наполеона и порицая новое направленіе нашей политики, принужденъ былъ, наконецъ, уѣхать за границу, вызвавъ противъ себя гнѣвъ Александра. Министръ внутреннихъ дѣлъ Кочубей, также недовольный измѣнившимся ходомъ дѣлъ, принужденъ былъ уступить свое мѣсто князю Куракину и уѣхать въ безсрочный отпускъ. Графъ Строгановъ еще прежде перешелъ въ военную службу и храбро сражался въ кампанію 1807 года. Такъ одинъ за другимъ сошли со сцены тѣ близкіе люди къ императору Александру, которые вначалѣ его царствованія составляли знаменитый „комитетъ общественнаго спасенія“, думали спасти Россію или, по крайней мѣрѣ, поднять и возвысить ее своими реформами и преобразованіями, возбудивъ этими послѣдними гнѣвъ и ненависть къ себѣ людей Екатерининскаго поколѣнія. Ихъ удаленіе отъ дѣлъ свидѣтельствуетъ о чистотѣ ихъ убѣжденій, о томъ, что они не хотѣли поступиться ими въ угодность новому направленію политики правительства. Но объясняютъ ихъ удаленіе и иначе. „Причину удаленія товарищей юности Александра, говоритъ Богда-

<sup>1)</sup> Записки Ф. Ф. Вигеля. М: 1891, ч. II, с. 206.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1871 г., с. 748.

<sup>3)</sup> Богдановичъ II, с. 310.



новичъ<sup>1)</sup>, слѣдуетъ приписать не столько измѣненію его виѣшней политики, сколько нравственному перевороту, происшедшему въ немъ самомъ послѣ Тильзитскаго свиданія. Многократныя продолжительныя бесѣды съ тѣмъ, кого современники наперерывъ провозглашали величайшимъ изъ смертныхъ, должны были способствовать развитію самостоятельности Александра и *показать ему въ настоящемъ видѣ* благородныхъ, но мало опытныхъ и не всегда достаточно дальновидныхъ совѣтниковъ, которыхъ прежде считалъ онъ умами превосходными“. Объясненіе не совсѣмъ вѣрное, по нашему мнѣнію. И прежде Александръ былъ самостоятеленъ и выказывалъ передъ совѣтниками свою самодержавную власть; никогда, какъ мы видѣли, они не имѣли на него большого вліянія; но они были честные люди; ихъ желанія блага государства теперь не могли быть приведены въ исполненіе; на ихъ планы реформъ, которые оскорбляли консерваторовъ и затрогивали ихъ частныя интересы, поднялся теперь крикъ со всѣхъ сторонъ. Неудачу военную приписывали разновременнымъ реформамъ. Самъ Александръ, подъ вліяніемъ этихъ неудачъ и еще болѣе подъ вліяніемъ унизітельнаго мира, совершенно измѣнился въ своемъ характерѣ. Его подозрительность и недовѣріе ко всему его окружающему заставили его обратиться къ такимъ печальнымъ личностямъ, каковъ былъ Аракчеевъ, бросавшій много лѣтъ тѣнь на царствованіе его. Изъ разсказовъ и сообщеній современниковъ видно, что въ это время возникла въ обществѣ нелюбовь къ государю; онъ не могъ не сознавать этого, и отъ того увеличивались его внутреннія страданія и недовѣріе къ близкимъ, къ странѣ, къ народу. И вотъ онъ возвышаетъ около себя челоуѣка, на котораго потомъ обрушилось столько справедливыхъ проклятій. „Полагаю, что онъ захотѣлъ поставить съ собою рядомъ пугало пострашнѣе, говорить де-Местръ, по причинѣ внутренняго броженія, здѣсь господствующаго“. Обѣ императрицы, всѣ люди, близкіе къ императору, ненавидѣли Аракчеева. „Онъ все давить; передъ нимъ исчезли, какъ туманъ, самыя замѣтныя вліянія“<sup>2)</sup>. Очень вѣрно сравниваетъ Аракчеева и Вигель съ бульдогомъ, который, не смѣя никогда ласкаться къ господину, всегда готовъ напасть и загрызть тѣхъ, кои бы воспротивились его волѣ<sup>3)</sup>. Въ тѣхъ военныхъ заботахъ и безпрестанныхъ войнахъ, которыя теперь наполнили восемь лѣтъ царствованія, такой челоуѣкъ былъ необходимъ Александру, тѣмъ болѣе, что онъ былъ глубоко убѣжденъ въ его достоинствахъ, какъ военнаго организатора, и мало-по-малу

<sup>1)</sup> Ibid., с. 311.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1871 г., с. 120.

<sup>3)</sup> Записки, ч. III, с. 14.

Аракчеевъ сдѣлался всѣмъ; за деспотизмомъ и ужасами Аракчеева прятался самъ Александръ, но народная ненависть обрушивалась не на него, а на его министра. Другое лицо, возвысившееся въ слѣдующія пять лѣтъ и столь же близкое къ государю, какъ Аракчеевъ, былъ Сперанскій. И у него была глубокая личная преданность государю; но раздѣляя прежде воззрѣнія и убѣжденія павшихъ теперь совѣтниковъ Александра, ему ничего не стоило измѣнить ихъ, сообразуясь съ измѣнившимися обстоятельствами. Онъ остался и возвысился, работая надъ преобразованиемъ внутреннего устройства Имперіи.

Таковъ былъ порядокъ вещей, возникшій изъ нашей неудачной войны съ Наполеономъ и изъ унижительнаго мира. Униженіе было забыто русскимъ обществомъ только послѣ окончательной побѣды надъ Наполеономъ и послѣ его паденія. „Тильзитъ! При словѣ семъ обидномъ уже не поблѣднѣетъ Россѣ“—восклицалъ молодой Пушкинъ въ одѣ своей на смерть Наполеона въ 1821 году. Но въ то время, когда правительство стало у насъ во многомъ подражать французскимъ порядкамъ, когда армію одѣли по французскимъ образцамъ, у солдатъ срѣзали косы, а на офицеровъ надѣли французскіе эпюлеты, когда цензура запрещала всякія выходы противъ Наполеона, запрещены были даже намеки о дурныхъ свойствахъ его характера, когда послѣ тильзитскаго мира нельзя было печатать даже о военныхъ неудачахъ французскаго императора, у насъ возникла патріотическая литература съ глубокою ненавистью къ французамъ и ко всему французскому. Эта литература встала, такимъ образомъ, по своему содержанію, въ оппозицію.

Стали появляться нападки на французовъ и на французское вліяніе, преимущественно въ воспитаніи нашего дворянства, высшаго и средняго. Наши неудачи стали приписывать паденію національнаго чувства отъ воспитанія. Мы укажемъ на цѣлый рядъ литературныхъ явленій въ этомъ духѣ и въ этомъ направленіи. Чѣмъ ближе становилась послѣдняя и упорная борьба наша съ Наполеономъ, тѣмъ направленіе это пріобрѣтало болѣе силы и наконецъ стало имѣть вліяніе на государя. Этому вліянію принесены были въ жертву и люди и системы. Не найдемъ мы въ этой патріотической литературѣ сильныхъ талантовъ и большого ума, развитія и политическаго знанія, но она имѣла все же возбуждающее дѣйствіе, хотя и походила иногда на тѣ безсмысленные крики клубныхъ ораторовъ нашихъ, о которыхъ было уже говорено. Политическаго знанія, политическаго такта здѣсь ожидать нельзя: дѣло шло о чувствахъ. Политическаго знанія событій почерпнуть было не откуда. Газеты и журналы наши давали читателямъ безсвязныя отрывочныя свѣдѣнія;

свободы въ разсужденіяхъ, вслѣдствіе цензурныхъ отношеній, не было никакой. Единственною сколько нибудь порядочною газетою былъ „Геній время“, издававшійся два года, съ 1807 по 1809 г., Делаacro и Гречемъ, выступившимъ въ первый разъ тогда на издательское поприще. Политическое обозрѣніе этого журнала, въ которомъ высказывается какъ бы его программа, очень замѣчательно и какъ бы проникнуто сочувствіемъ къ реформамъ, о которыхъ скоро не будетъ слышно рѣчи. Авторъ сравниваетъ Россію и Францію дореволюціоннаго періода. Россія не томится тѣмъ зломъ, которое происходитъ отъ *застарѣлости*, тѣмъ именно зломъ, которое профъ извело революцію. Авторъ доказываетъ, что королевскій домъ Бурбоновъ палъ отъ того, что упорно держался своихъ застарѣлыхъ убѣжденій, что не могъ согласить своихъ законодательныхъ мѣръ съ духомъ времени, съ обновляющимися требованіями общества. Между тѣмъ это отношеніе къ духу времени и стараніе сообразовать его съ властію—необходимо; не надобно доходить до застарѣлости, т.-е. быть упорнымъ въ старинѣ. Взглядъ, конечно, правильный, и, еслибъ онъ постоянно развивался въ газетѣ, примѣнительно къ Россіи, она имѣла бы большое значеніе. Но программа осталась только программой и дальнѣйшаго развитія не получила, а взглядъ на политическія событія Европы стѣснялся цензурою. Газета различно смотрѣла на Наполеона и наци къ нему отношенія до тильзитскаго мира и послѣ него, когда наша печать должна была соблюдать самое глубокое уваженіе къ особѣ Наполеона и стала льстить ему <sup>1)</sup>. Журналисты, если имъ случалось промахнуться въ этомъ отношеніи, получали самыя строгія замѣчанія отъ цензурнаго комитета. Министръ народнаго просвѣщенія былъ убѣжденъ, какъ онъ пишетъ, что сочинители не могутъ близко видѣть „матерій политическихъ“, и „увлекаясь одною мечтою своихъ воображеній, пишутъ всякую всячину въ терминахъ неприличныхъ“. Вотъ какъ быстро упало уваженіе къ печатному слову, о которомъ такъ много говорилось въ началѣ царствованія! Наконецъ министерство предписало всѣмъ учебнымъ округамъ, чтобы „цензоры не пропускали никакихъ артикуловъ, содержащихъ извѣстія и разсужденія политическія“ <sup>2)</sup>. Едва ли, при такомъ положеніи печати можно было получить какое-либо понятіе о событіяхъ времени.

Собственная политическая мысль не пробуждалась. Приходилось довольствоваться тѣмъ, что произведено чужимъ умомъ, и у насъ

<sup>1)</sup> Пятковскій, Изв исторія нашего лит. и общ. развитія, изд. 2, ч. II, стр. 188—189.

<sup>2)</sup> Сухомлиновъ. Исслѣдованія и статьи, т. I, стр. 428.

явилось очень много переводныхъ, большею частію съ нѣмецкаго, книгъ и брошюръ политическаго содержанія, направленныхъ противъ французовъ и ихъ воинственнаго властителя. Содержаніе ихъ состояло въ нападеніи на личность Наполеона, на его завоеванія, неуваженіе къ правамъ народнымъ и пр., и въ защитѣ Россіи, которую Наполеоновскіе публицисты старались выставить странною грубою и невѣжественною. Весьма вѣроятно, что многія изъ этихъ произведеній издавались съ вѣдома и при помощи правительства, но послѣ тильзитскаго мира оно уже не принимало никакого участія въ этой литературѣ.

Первый съ своими рѣзкими и смѣлыми выходами и обвиненіями противъ французовъ выступилъ графъ Ѳ. В. Растопчинъ, имя котораго получило такую громкую извѣстность въ 1812 году. Его произведенія, дышущія современностію, имѣющія самое живое и близкое къ ней отношеніе, имѣли въ свое время сильное вліяніе на русское общество и много способствовали къ его возбужденію въ отечественную войну, а его политическія мнѣнія, весьма консервативнаго свойства, оказали вліяніе на государя, тѣмъ болѣе, что онъ старался доводить свои мнѣнія до государя не только литературнымъ путемъ, но и другими средствами. Въ эпоху 1812 года онъ играетъ одну изъ первыхъ ролей въ государствѣ и имя его извѣстно каждому русскому. По типу его сочиненій, живыхъ, бойкихъ, написанныхъ прекраснымъ, одушевленнымъ и простымъ языкомъ, сложился тотъ доморощенный патріотизмъ, которымъ отличались люди 12-го года и, долго потомъ храбrivшіеся консерваторы и ненавистники всякой чужеземщины.

Графъ Растопчинъ происходилъ изъ старой татарской фамиліи, выѣхавшей въ XVI столѣтіи изъ Крыма и служившей московскимъ царямъ, но никогда не занимавшей значительныхъ мѣстъ и важнаго положенія. Біографъ его, Бантышъ-Каменскій, производитъ родъ его отъ Чингизъ-Хана, и по этому поводу распространяется даже о жизни послѣдняго. Но самъ Растопчинъ, отличавшійся остроуміемъ и шутливостію, смотрѣлъ на свое происхожденіе гораздо проще. „Скажи мнѣ, отчего ты не князь?“—спросилъ его однажды въ большомъ обществѣ очень любившій его императоръ Павелъ. Немного подумавши, Растопчинъ спросилъ Павла, можетъ ли онъ высказать настоящую причину, и получивши утвердительный отвѣтъ, сказалъ: „Предокъ мой, выѣхавши въ Россію, прибылъ сюда зимою“.—„Какое же отношеніе имѣетъ время года къ достоинству, которое ему было пожаловано?“—спросилъ императоръ. „Когда татарскій вельможа, отвѣчалъ Растопчинъ, въ первый разъ являлся ко двору, ему предлагали на выборъ или *шубу* или *княжеское достоинство*. Предокъ мой

пріѣхалъ въ жестокую зиму и отдалъ предпочтеніе шубѣ“. Это заставило смѣяться Павла <sup>1)</sup>. Отецъ Растопчина былъ майоръ въ отставкѣ, жилъ въ своихъ деревняхъ въ подмосковныхъ губерніяхъ, имѣлъ довольно значительное состояніе и былъ простой и благодушный человѣкъ. Сынъ его родился въ Москвѣ 12 марта 1763 года и до 15-ти лѣтъ жилъ при отцѣ въ деревнѣ, воспитываемый разными иностранными гувернерами; это дало Растопчину возможность усвоить вполне нѣсколько иностранныхъ языковъ. Несмотря на иностранцевъ гувернеровъ, въ Растопчинѣ сохранилось много чисто народныхъ чертъ характера и горячей любви ко всему, родному. Это служить доказательствомъ, что не всегда французское воспитаніе извращало у насъ людей; чтобъ избѣжать вреда его нужны были умъ и постороннее вліяніе. Перваго у Растопчина было довольно, а о второмъ онъ самъ говорить про себя, что „имѣлъ десятка съ три заморскихъ учителей; но, помня поученія священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался русскимъ“. Такая простая исторія повторялась очень часто. Этихъ мамъ или нянь Растопчинъ очень уважалъ. „Хотя мамы эти, хаживавшія за дѣтьми, говорить онъ (въ повѣсти „Охъ, французы!“), и были простыя барскія барыни, безъ просвѣщенія, въ набойчатыхъ или ситцевыхъ кофтахъ, съ повязаннымъ на головѣ платкомъ, но онѣ отнюдь у дѣтей ни умовъ ни сердецъ не портили; хотя и пугали ихъ волками, мертвецами, смертью курносой, но не говаривали, что отецъ дуракъ, мать зла, что все послѣ дѣтямъ достанется. И чѣмъ жены англійскаго конюха, швейцарскаго пастуха и нѣмецкаго солдата должны быть лучше, умнѣй и добронравнѣй женъ нашихъ приказчиковъ, дворецкихъ и конюшихъ?“

Въ 1775 году Растопчинъ сдѣланъ былъ пажемъ при дворѣ Екатерины, а потомъ служилъ въ преображенскомъ полку. Императрица рано обратила на него вниманіе и замѣтила его умъ и въ особенности даръ выставлать на показъ смѣшное. За это приглашали Растопчина въ самое отборное общество двора, гдѣ любили его остроуміе. Здѣсь, вмѣстѣ съ другими, игралъ онъ въ литературную игру и очень рано могъ образовать свой слогъ, простой и естественный, чуждый всякихъ риторическихъ украшеній.

Въ 1784 году, когда Растопчину было только двадцать одинъ годъ, онъ оставилъ службу и уѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ нѣсколько лѣтъ. Мы не знаемъ цѣли его путешествія и тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ прожилъ все это время, даже неизвѣстно съ точностію время, проведенное имъ за границею. Памятникомъ его перваго путе-

<sup>1)</sup> Тихонравовъ. Сочиненія, т. III, ч. I, примѣч. стр. 54.

шествія въ молодости осталось его описаніе путешествія по Пруссіи <sup>1)</sup>, написанное имъ, какъ видно изъ нѣкоторыхъ мѣстъ его, гораздо позднѣе, какъ воспоминаніе о прошломъ. Самый языкъ доказываетъ это: въ концѣ XVIII вѣка у насъ такъ не могли писать. Замѣчательнъ языкъ этотъ въ томъ отношеніи, что хотя сочиненіе писано очевидно въ первыхъ годахъ XIX вѣка, на немъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ вліянія Карамзина: доказательство, что Растопчинъ писалъ не ex professo, не какъ литераторъ, а какъ умный только человѣкъ, не думая о формѣ выраженія. (Первоначальныя замѣтки писаны были по-французски, что видно изъ его сочиненія: „Journal écrit à Berlin, les années 1786 и 1787“) <sup>2)</sup>. Изъ путешествія по Пруссіи, гдѣ Растопчинъ рассказываетъ свою дорогу до Берлина и потомъ описываетъ эту столицу, видно, что онъ ѣхалъ, какъ знатный молодой человѣкъ того времени, и имѣлъ возможность сближаться съ самымъ высшимъ кругомъ общества. Умъ, веселость и наблюдательность являются на каждой страницѣ; Растопчинъ отлично изучилъ нѣмцевъ и смѣется надъ ними очень зло и остро. Въ особенности забавны его жалобы на медленность ѣзды на почтовыхъ и грубость почтмейстеровъ и жадность ихъ къ деньгамъ. Никакой затаенной мысли нѣтъ въ его описаніи; это просто замѣтки для себя. „Въ Берлинѣ (описаніемъ котораго собственно и ограничиваются записки Растопчина) я былъ три раза, говоритъ онъ, жилъ долго, знаю его какъ Москву и Петербургъ, но предпочту ему и Выборгскую сторону и Рогожскую“ <sup>3)</sup>. Такого рода предпочтеніе родныхъ мѣстъ очень часто является въ описаніи Растопчина. Замѣтки его вообще очень разнообразны; въ нихъ входятъ и наблюденія надъ военнымъ строемъ Пруссіи, что особенно должно было интересовать Растопчина послѣ семилѣтней войны, и характеристика знатнаго общества, и театръ, и Академія Наукъ, въ засѣданіи которой въ честь Фридриха Великаго онъ присутствовалъ, и нравственность народная, и образъ жизни, не похожій на русскій, и разные современные случаи, выходящіе изъ обыкновеннаго ряда. Даже замѣчанія его о художественныхъ произведеніяхъ показываютъ въ Растопчинѣ не восторженнаго дилеттанта, какимъ былъ Карамзинъ въ Дрезденской галлерей, а очень тонкаго цѣнителя, умѣющаго превосходно описать содержаніе и смыслъ художественнаго произведенія. Таково его описаніе картины Тербурга: „Осужденіе на смерть графа Горна“ <sup>4)</sup>. Онъ былъ въ

<sup>1)</sup> Москвитянинъ, 1849 г., №№ 1, 10, 13 и 15.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1868 г., стр. 855.

<sup>3)</sup> Москвитянинъ, № 1, стр. 80.

<sup>4)</sup> Ibid., № 13, стр. 6—7.

Санъ-Суси въ самый день смерти Фридриха Великаго (1786) и видѣлъ тѣло великаго короля тотчасъ по кончинѣ еще въ вреслахъ и подъ синимъ плащомъ, который поднималъ для него стоящій на часахъ гусаръ. Описаніе мертваго короля дышитъ истиной и чувствомъ <sup>1)</sup>. О Фридрихѣ часто говоритъ онъ съ глубокимъ уваженіемъ и сравниваетъ его не разъ съ нашимъ Петромъ Великимъ, на котораго смотритъ какъ на „преобразователя великаго и славнаго своего отечества“ <sup>2)</sup>. Изъ извѣстныхъ людей того времени Растопчинъ встрѣчался въ Берлинѣ съ Мирабо, который былъ посланъ туда Людовикомъ XVI или скорѣе министромъ Калонномъ, но изображение Мирабо, вѣжета, написано Растопчиннымъ позднѣе и на него, безъ сомнѣнія, имѣла вліяніе позднѣйшая роль знаменитаго оратора въ Национальномъ Собраніи Франціи <sup>3)</sup>. Въ Берлинѣ Растопчинъ сблизился съ нашимъ посланникомъ, графомъ С. П. Румянцевымъ (сыномъ Задунайскаго), что помогло потомъ его служебной карьерѣ.

Воротившись изъ за границы, Растопчинъ очень желалъ служить волонтеромъ во вторую нашу войну съ турками, но ему не удалось, по какой причинѣ, неизвѣстно <sup>4)</sup>. Безбородко, тогдашній канцлеръ Имперіи, отправлявшійся на театръ военныхъ дѣйствій, взялъ съ собою Растопчина, какъ дипломатическаго чиновника при заключеніи мира. Съ этихъ поръ Растопчинъ сталъ служить по дипломатической части. По возвращеніи изъ Турціи онъ былъ сдѣланъ камеръ-юнкеромъ, и бывая дежурнымъ въ этомъ званіи при наслѣдникѣ престола Павлѣ Петровичѣ, въ Павловскѣ и Гатчинѣ, онъ очень полюбился ему, что и было причиною его необычайно-быстраго возвышенія при вступленіи на престолъ Павла.

## ЛЕКЦІЯ XXII.

Растопчинъ при Павлѣ.—Отставка Растопчина.—Занятія сельскимъ хозяйствомъ.—  
Брошюра «Плугъ и соха».—«Мысли вслухъ».

День смерти Екатерины и восшествія на престолъ Павла, дружески расположеннаго къ Растопчину, былъ днемъ его возвышенія и началомъ его быстрыхъ успѣховъ по службѣ, что было вовсе не необыкновенно въ то время и при условіяхъ характера Павла. Объ этомъ днѣ, столь замѣчательномъ въ исторіи русской, когда разомъ

<sup>1)</sup> Ibid, стр. 9—10.

<sup>2)</sup> Ibid., № 10, стр. 86.

<sup>3)</sup> Ibid., № 15, стр. 122.

<sup>4)</sup> Впрочемъ, по замѣткамъ М. Н. Лонгинова, Растопчинъ былъ при осадѣ и штурмѣ Очакова (Русск. Арх. 1868 г., стр. 852).

перемѣнились и люди и правительственная система, Растопчинъ оставилъ любопытную записку: „Послѣдній день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствованія императора Павла“<sup>1)</sup>. Она, какъ и всякое другое сочиненіе Растопчина, свидѣлствуетъ о его необыкновенномъ умѣ, наблюдательности, честномъ и благородномъ характерѣ, и, будучи написана по горячимъ слѣдамъ событій, живо переноситъ насъ въ среду ихъ и жѣтко очерчиваетъ и лица и тогдашнія отношенія (она помѣчена 15 ноября 1796 г.). Растопчинъ, скоро узнавшій объ ударѣ, поразившемъ Екатерину, былъ посланъ Александромъ Павловичемъ къ отцу въ Гатчину съ извѣстіемъ о томъ, встрѣтилъ новаго императора въ Софіи уже сначущаго въ Петербургъ, провожалъ его во дворецъ и былъ свидѣтелемъ, такимъ образомъ, первыхъ изліяній Павла, первыхъ его ощущеній и первыхъ дѣйствій. Павелъ тотчасъ же при другихъ показалъ свои дружескія, близкія отношенія къ Растопчину, сказавъ о немъ: „Вотъ человекъ, отъ котораго у меня нѣтъ ничего скрытнаго“, и всѣ видѣли уже въ немъ будущаго временщика, сѣрались заранѣе подолститься къ нему и угодить. Смятеніе и нравственное безобразіе двора въ эту пору изображены въ запискѣ чрезвычайно вѣрно. Растопчинъ во многихъ мѣстахъ не можетъ сдержатъ своего негодованія и говорить о „живомъ омерзѣніи“, которое онъ чувствуетъ. Онъ видѣлъ посреди спальни на полу, на кожаномъ матрацѣ, съ едва замѣтными признаками жизни, умирающую Екатерину, которой прислуживала попрежнему преданная ей ея любимица Марья Савишна Перекусихина; другіе придворные были заняты единственно собой, „а сія минута была для нихъ всѣхъ тѣмъ, что Страшный судъ для грѣшника“ — говоритъ Растопчинъ. Онъ замѣтилъ отчаяніе послѣдняго фаворита Екатерины — Зубова; въ лицѣ и во всѣхъ его движеніяхъ изображалась увѣренность въ паденіи и ничтожествѣ. Онъ рыдалъ и сидѣлъ въ углу; „толпа придворныхъ удалялась отъ него, какъ отъ зараженнаго, — говоритъ Растопчинъ, — и онъ, терзаемый жаждою и жаромъ, не могъ выпросить себѣ стакана воды (Растопчинъ самъ подаль ему стаканъ); та комната, въ коей давили другъ друга, чтобъ стать къ нему ближе, обратилась для него въ необитаемую степь“. Въ такомъ же положеніи находился и знаменитый графъ Орловъ-Чесменскій. Когда Растопчинъ ѣхалъ къ нему съ Архаровымъ, вскорѣ потомъ назначеннымъ Петербургскимъ губернаторомъ, чтобы по приказу Павла привести его къ присягѣ, этотъ Архаровъ, всѣмъ обязанный Орлову, видя въ Растопчинѣ новаго временщика, „не переставалъ говорить мерзости на счетъ графа Орлова“. Изъ этихъ отзывовъ и

<sup>1)</sup> Чтенія Москов. Общ. Ист. и Др. 1864 г., кн. 2, Смѣсь, стр. 171—184.



замѣтокъ Растопчина легко видѣть его честный и благородный характеръ, чуждый интригъ придворной жизни, которую онъ никогда не любилъ.

Повидимому, Растопчинъ не искалъ почестей самъ. По его разсказу, императоръ Павелъ въ день своего восшествія позвалъ его въ кабинетъ и велѣлъ ему откровенно сказать—чѣмъ онъ желаетъ быть при немъ. „Имѣя всегда въ виду истребленіе неправосудія, я, не останавливаясь нисколько, отвѣчалъ: „секретаремъ для принятія просьбъ“. Но Павелъ противъ желанія Растопчина, которому не хотѣлось служить въ военной службѣ, назначилъ его генераль-адъютантомъ, чтобы управлять военной коллегіей. Ему оставалось только молча согласиться. Чины, звѣзды и крѣпостные крестьяне посыпались на новаго любимца, хотя вся его служба состояла въ объявленіи высочайшихъ приказовъ. Въ 1798 году на него однако обрушилась немилость Павла; онъ былъ отставленъ отъ службы, но опала продолжалась не долго, и Растопчинъ, снова поступилъ на службу въ томъ же году и такъ быстро шелъ въ ней, что къ концу слѣдующаго года былъ сдѣланъ графомъ, получилъ чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и назначенъ первоприсутствующимъ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, т.-е. по нынѣшнему министромъ иностранныхъ дѣлъ; при этомъ остались за Растопчинымъ всѣ прежнія его должности. Какъ министръ, во время войны нашей съ Франціей при Суворовѣ, онъ получилъ множество иностранныхъ орденовъ, а Павелъ подарилъ ему 3000 душъ крестьянъ и 33000 дес. земли.

Такимъ образомъ Растопчинъ, вѣроятно, неожиданно для самого себя и только по прихотливой милости императора Павла сдѣлался министромъ иностранныхъ дѣлъ. Управление Растопчинымъ этою важною частью государственной жизни было слишкомъ непродолжительно, чтобы можно было составить о немъ правильное понятіе и вѣрно судить дѣятельность Растопчина. Что было сдѣлано Растопчинымъ въ русской политикѣ того времени, какъ онъ управлялъ ею,—можно найти въ книгѣ Терещенки <sup>1)</sup> и въ біографіи его Б.-Каменскаго; на сколько дѣйствовалъ онъ самостоятельно—намъ неизвѣстно. Къ намъ дошелъ, впрочемъ, одинъ документъ внѣшней политики, составленный Растопчинымъ въ концѣ 1800 года: „Картина Европы въ началѣ XIX столѣтія и отношеніе къ ней Россіи“ <sup>2)</sup>, въ которомъ Растопчинъ возвращается къ прежнимъ Екатерининскимъ идеямъ въ нашей внѣшней политикѣ относительно юга Европы и Турціи. Съ планомъ

<sup>1)</sup> „Опытъ обозрѣнія жизни сановниковъ, управлявшихъ иностранными дѣлами въ Россіи. Спб. 1837 г., ч. II, стр. 205 слѣд.

<sup>2)</sup> Пам. Нов. Русск. Исторіи. Сборникъ Кашпирева. Спб. 1871-г., т. I, стр. 102—111.

его совершенно согласился Павелъ и дѣйствительно, незадолго до его смерти политика наша вдругъ измѣнилась: послѣдоваль разрывъ съ Англіей и сближеніе съ Франціей. Планъ Растопчина состоялъ въ раздѣлѣ турецкой территоріи между Россіей, Австріей, Пруссіей и Турціей, на которую онъ смотрѣлъ какъ на безнадежнаго больного. Исполненіе этого плана Растопчинъ принимаетъ на себя, хочетъ все обдѣлать въ тайнѣ и при помощи хитрости и вовсе не проявляетъ обширнаго государственнаго ума и соображеній. Какъ извѣстно, смерть Павла помѣшала исполненію этого плана.

Управляя иностранными дѣлами Россіи, Растопчинъ долженъ былъ вести переписку съ Суворовымъ, находившимся тогда съ войскомъ въ Италіи. Переписка эта свидѣтельствуетъ о близости ихъ. Растопчинъ еще прежде въ Турціи зналъ и любилъ Суворова. Въ оригинальныхъ умахъ обоихъ было очень много общаго и знаменитыя выходки Суворова очень нравились Растопчину. Коротенькія воспоминанія его о своихъ личныхъ сношеніяхъ съ знаменитымъ полководцемъ, который „вездѣ побѣждалъ и одинъ умеръ непобѣжденнымъ“ <sup>1)</sup>, даютъ, несмотря на свою краткость, очень вѣрное представленіе о знаменитомъ героѣ. Для Растопчина, это былъ герой-богатырь съ чисто-русскимъ характеромъ. Въ письмахъ къ нему <sup>2)</sup> высказываетъ онъ живое участіе къ его затруднительному положенію въ Италіи, гдѣ побѣдамъ его мѣшали интриги того же Вѣнскаго двора, на защиту и спасеніе котораго онъ пришелъ съ русскимъ войскомъ. Посреди несправедливостей своего положенія, Суворовъ думалъ бросить все и выйти въ отставку, и Растопчинъ употребляетъ въ письмѣ всѣ усилія убѣжденія, чтобъ отговорить его отъ этого шага. Суворовъ для Растопчина—герой его сердца; его слава, его подвиги близки ему и въ высшей степени дороги.

Растопчинъ не дослужилъ до конца царствованія Павла. Въ концѣ февраля 1801 г. Растопчинъ и Аракчеевъ, два самыя преданныя лица и самыя близкія къ Павлу, были имъ внезапно удалены и на мѣсто Растопчина назначенъ С.-Петербургскій военный губернаторъ графъ Паленъ, одинъ изъ участниковъ переворота <sup>3)</sup>. Интригѣ, которой необходимо было удалить отъ Павла человѣка ему преданнаго, конечно было легко, при вспыльчивомъ характерѣ императора, убѣдить его въ томъ или другомъ, но въ чемъ состояли обвиненія противъ Растопчина—мы не знаемъ. Онъ уѣхалъ въ свою деревню, извѣстное очень село Вороново, и до самаго того времени, когда императоръ

<sup>1)</sup> Русск. Вѣстн. 1808 г. № 3, стр. 241—249.

<sup>2)</sup> Соч. изд. Смирдина стр. 147—160; Гр. Ф. В. Растопчинъ и литература въ 1812 г. Сочиненія Н. С. Тихонравова, М. 1898, т. III, ч. I.

<sup>3)</sup> Русск. Арх. 1863 г., стр. 808.

Александръ назначилъ его въ 1812 году, передъ нашествіемъ Наполеона, главнокомандующимъ въ Москвѣ, Растопчинъ жилъ то въ деревнѣ, то въ Москвѣ по зимамъ, какъ богатый помѣщикъ. Впрочемъ, онъ бывалъ и въ Петербургѣ, гдѣ у него было много связей, но не служилъ. Въ Москвѣ его оригинальная личность, блестящее образованіе, богатство и остроуміе дѣлали его любимымъ гостемъ общества. Его разсказы и разговоры заслушивались. „Что это за увлекательный образъ изъясненія: анекдотъ за анекдотомъ, одной чертой такъ и обрисуетъ всего человѣка, и между тѣмъ о своей личности ни слова“ — разсказываетъ современникъ <sup>1)</sup>: Съ самаго начала войнъ съ Наполеономъ, въ его разговорахъ безпрестанно слышалась ненависть къ французамъ и патріотическое чувство. „Графъ Растопчинъ, даже и въ отставкѣ, говоритъ тотъ же современникъ, не пропускаетъ ни одного случая, чтобы словомъ или дѣломъ содѣйствовать славы отечества“ <sup>2)</sup>. Съ этихъ поръ усвоилось ему названіе патріота. Растопчинъ былъ родственникомъ по женѣ (Протасовой) — Карамзину и очень часто проводилъ время въ его обществѣ, заговариваясь до утра. Въ эпоху возбужденія патріотическаго чувства и, слѣдовательно, недовольства прежнею политическою системою правительства, недовольства, въ особенности усилившагося передъ 12 годомъ, Растопчинъ и Карамзинъ были совершенно одинаковыхъ убѣжденій и дѣйствовали, какъ мы увидимъ впоследствии, заодно.

Занятія и жизнь Растопчина, со времени его отставки, рисуются въ его письмахъ къ другу, извѣстному кавказскому герою Цицианову, убитому на Кавказѣ <sup>3)</sup>. Главнымъ занятіемъ Растопчина, когда онъ жилъ въ деревнѣ, что и случалось часто, потому что въ Москву пріѣзжалъ онъ на короткое время, были конскій заводъ и сельское хозяйство, особенно хлѣбопашество. Какъ и всѣмъ, онъ и этимъ занимался со страстію: „У меня въ полѣ, на дворѣ и въ домѣ дѣла множество, и какъ человѣкъ живетъ въ суетахъ, то и я отдаю сей долгъ природѣ“ <sup>4)</sup>. Эта дѣятельность тѣмъ понятнѣе, что Растопчинъ, выйдя въ отставку, несмотря на свой чинъ и на то, что имѣлъ уже самый высшій орденъ имперіи, былъ еще молодъ: ему было всего 37 лѣтъ и при энергическомъ характерѣ, его мучила жажда дѣятельности. Между нашими богатыми сельскими хозяевами, несмотря на крѣпостной трудъ, на которомъ основывалось все хозяйство, господствовало въ это время увлеченіе англійскою системою обработки пахотныхъ полей.

<sup>1)</sup> Записки С. П. Жихарева, М. 1890, стр. 24.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 152.

<sup>3)</sup> Тихонравовъ, указанная выше статья, стр. 322—329, 336—350, 360—366.

<sup>4)</sup> Ibid., стр. 324.

И Растопчинъ, по примѣру другихъ, выписалъ изъ Англіи фермера, завелъ плугъ, пробовалъ разныя системы удобренія и пр. Самымъ жаркимъ приверженцемъ и распространителемъ у насъ системы англійскаго хозяйства въ то время былъ богатый калужскій помѣщикъ Дм. Мар. Полторацкій; онъ славился какъ агрономъ, и о его хозяйствѣ писали тогда въ журналахъ. Растопчинъ былъ знакомъ съ нимъ, переписывался и посылалъ къ нему своихъ крестьянъ учиться новому способу сельскаго хозяйства, на англійскій ладъ. Но Растопчинъ, кажется, очень скоро разгадалъ непримѣнимость англійской системы къ русской почвѣ. Полторацкій, какъ англоманъ, ввелъ въ свое хозяйство плугъ, замѣнивъ имъ прежнюю соху. Его примѣру послѣдовали другіе; между приверженцами сохи и плуга началась жаркая полемика, которая выступила и въ печать. Растопчинъ находилъ, что система англійскаго хозяйства, съ ея сѣвооборотомъ и искусственнымъ удобреніемъ, можетъ быть съ успѣхомъ примѣнена у насъ тогда, когда народонаселеніе увеличится втрое, а до тѣхъ поръ гораздо лучше держаться старой предковской системы. Онъ смотрѣлъ въ этомъ случаѣ, какъ простой русскій чело-вѣкъ и съ удовольствіемъ приводитъ отзывъ своего мужика Проньки о выписанныхъ англійскихъ работникахъ: „имъ противъ насъ не вынести; у нихъ кишка-то пожиже“.

По поводу этихъ сельско-хозяйственныхъ споровъ о преимуществахъ плуга и сохи, Растопчинъ въ первый разъ выступилъ въ печати на литературное поприще съ брошюрою „Плугъ и соха“, изданною степнымъ дворяниномъ (М. 1806 г.) Въ ней высказываетъ онъ тоже консервативное направленіе, которое отличало его и въ вопросахъ политическихъ. Это видно даже изъ его эпитафиа: „Отцы наши не глупѣй насъ были“. Другой эпитафій, въ стихахъ, рисуетъ самую личность автора:

„Поболѣ другого я по свѣту шатался,  
Ученіемъ, людьми, вещами занимался,  
И оттого, что внѣ Россіи долго жилъ,  
Узналъ всю цѣну ей и больше полюбилъ.  
Какъ сынъ, я преданъ ей и сердцемъ и душой,  
Служилъ въ войнѣ, дѣлахъ, теперь служу съ сохой.  
Я пользы общества всегда былъ вѣрный другъ,  
Хочу увѣрить въ томъ и возстаю на плугъ“.

Кромѣ разсужденій о непримѣнимости у насъ плуга, Растопчинъ и вообще возстае въ этой брошюрѣ на русскую страсть къ нововведеніямъ и заимствованіямъ, безъ положительнаго знанія о томъ, годится или нѣтъ для насъ заимствованное: „То, что содѣлалось въ другихъ земляхъ вѣками и отъ нужды, говорить онъ, мы хотимъ

посреди изобилія завести у себя въ годъ. Единственно по склонности къ новостямъ и въ подражаніе чужестраннымъ, по множеству перемѣнъ въ одеждѣ, въ строеніи, воспитаніи, даже и въ образѣ мыслей“. Но онъ не желаетъ однако явиться передъ обществомъ отъявленнымъ и нерасудительнымъ противникомъ всего чужого, даже хорошаго. „Хотя я русскій и сердцемъ и душою, и предпочитаю отечество всѣмъ землямъ безъ изъятія; не изъ числа однакожъ тѣхъ, которые отъ упрямства, предразсудковъ и самолюбія пренебрегаютъ вообще все иностранное и доказательства отражаютъ словами: *пустое, вздоръ, негодится*“.

Между тѣмъ у Растопчина подростали дѣти; онъ сталъ заботиться о ихъ воспитаніи и, несмотря на свой патріотизмъ и высказываемое имъ русское чувство, собирался ѣхать за границу, подобно всѣмъ богатымъ русскимъ людямъ того времени, съ намѣреніемъ тамъ воспитывать дѣтей. Онъ мечталъ о тепломъ климатѣ, о спокойной жизни, посреди другихъ людей и интересовъ.

Общество, въ которомъ онъ жилъ въ Москвѣ, по всей вѣроятности, ему не нравилось. „Я всегда возвращаюсь изъ Москвы въ огорченіи отъ видѣннаго и слышаннаго, писалъ онъ къ Циціанову: развратъ достигъ до тѣхъ людей, кои почитались степенными“. Въ самомъ дѣлѣ, жизнь тогдашняго московскаго общества, какъ это видно изъ современныхъ записокъ, походила на какую-то продолжительную безумную оргію, въ которой не было ни мысли, ни духовныхъ и нравственныхъ интересовъ. Пьянство въ огромныхъ размѣрахъ и развратъ, скаковыя лошади, азартная игра, въ одну ночь уносящая состоянія, медвѣжьи травли, пѣтушьи и гусинные бои—вотъ въ чемъ проводили время богатые и знатные представители московскаго общества, люди, игравшіе въ оппозицію съ властью. Растопчинъ чаще всего бывалъ у Карамзина и у Дашковой. Знаменитая княгиня очень полюбила Растопчина и всѣмъ твердила, что она въ своей жизни нашла лишь трехъ человѣкъ, кои дѣлаютъ честь людямъ: Фридриха В., Дидерота и Растопчина. Понятно, какъ хотѣлось Растопчину уѣхать за границу, но начавшаяся война съ Наполеономъ помѣшала его сборамъ и заставила его принять участіе въ общемъ возбужденіи Россіи.

Война эта была для него не новость. Знакомый съ современной исторіей Европы, слѣдя за событіями, Растопчинъ давно уже вѣрно смотрѣлъ на возростающее могущество Наполеона, сдѣлавшагося на слѣдникомъ революціи. Еще въ 1800 году Растопчинъ замѣтилъ, какъ Франція „чрезъ непонятныя происшествія, произведенныя варварствомъ, сумасшествіемъ и геройствомъ, привела не только себя, но и двѣ трети Европы въ совершенный хаосъ...., оканчиваетъ нынѣ

преданіемъ себя въ самовластіе иноземца Бонапарте“ <sup>1)</sup>. Онъ понималъ, что съ Бонапарте во главѣ правленія, французы ничего не выиграли отъ своей революціи: „Мнѣ то смѣшно, что люди не признаются никогда въ ихъ сумасшествіи, и стоило ли жизни близъ двухъ милліоновъ людей, потрясенія всѣхъ властей и произведенія непонятныхъ варварствъ и безбожія то, чтобы сдѣлать изъ пѣхотнаго капитана императора и короля?“ — пишетъ онъ къ Циціанову <sup>2)</sup>. Ему не нравилась наступающая война и союзъ съ Англіей, которой своекорыстіе онъ хорошо понималъ; онъ не желалъ, чтобы мы „набивались на драку“. Какъ и прежде, съ своей политической точки зрѣнія, онъ скорѣе былъ за союзъ съ Франціей и возвращался къ старой мысли своей о раздѣлѣ Турціи, съ тѣмъ, чтобы дружбу Франціи купить уступкою ей Египта“ <sup>3)</sup>. Но война началась, и бѣдствія ея вызвали Растопчина на публичное выраженіе своихъ мыслей, враждебныхъ французамъ и ихъ господствовавшему вліянію. Эта нелюбовь къ французамъ, которую Растопчинъ объяснялъ самъ тогдашнею войною съ ними, увеличивалась еще отъ мелкихъ непріятностей, которыя онъ долженъ былъ выносить дома отъ французскихъ гувернеровъ, нанимаемыхъ имъ для дѣтей. Несмотря на свою любовь ко всему русскому, Растопчинъ не могъ отказать отъ общепринятаго обычая — воспитывать дѣтей по-французски. Неудачный выборъ воспитателей раздражалъ Растопчина, и онъ подробно описываетъ свои непріятности по этому поводу въ письмахъ къ Циціанову: „Не знаю, жалуется онъ ему, Сергуша (сынъ), когда меня не будетъ на свѣтѣ, будетъ-ли знать цѣну всѣхъ моихъ пожертвованій для его воспитанія и что *тертѣе* должно отъ этихъ иноземцевъ“ <sup>4)</sup>. Въ самомъ дѣлѣ нельзя было не раздражаться Растопчину, когда одинъ изъ его гувернеровъ вздумалъ обращать питомца своего въ католичество; другой былъ до крайности грубъ и заносчивъ; третій завелъ преглупую романическую исторію въ домѣ, такъ что пришлось разставаться со всѣми тремя въ короткое время. „Голова идетъ кругомъ, жалуется онъ; Богъ знаетъ, гдѣ сыскать человѣка. Какое несчастіе, что Петръ Первый насъ обрилъ, а Шуваловъ заставилъ говорить этимъ нечестивымъ французскимъ языкомъ“ <sup>5)</sup>. Отъ этихъ домашнихъ непріятностей больше скоплялась желчь его противъ французовъ, вылившаяся въ печати.

Первое произведеніе Растопчина въ ряду прочихъ этого рода произведеній, изобилующихъ выходками противъ французовъ, по-

<sup>1)</sup> Сборникъ Каширева, „Картина Европы,“ стр. 105.

<sup>2)</sup> Тихонравовъ, указан. статья, стр. 342.

<sup>3)</sup> Ib., стр. 363.

<sup>4)</sup> Ib., стр. 365.

<sup>5)</sup> Ib., стр. 366.

явилось не задолго до тильзитского мира. То были „Мысли въ слухъ на красномъ крыльцѣ, Россійскаго дворянина Силы Андреевича Богатырева“. (Сиб. 1807 г. 4<sup>о</sup>). Этотъ небольшой памфлетъ ходилъ въ рукописи и, соотвѣтствуя настроенію общества, переписывался вездѣ. Одинъ экземпляръ его дошелъ до Петербурга, и А. С. Шишковъ, обрадовавшись, вѣроятно, тому, что нашелъ въ неизвѣстномъ для него авторѣ энергическаго поборника его идей о вредномъ вліяніи французскаго воспитанія, напечаталъ „Мысли“ Растопчина, безъ его вѣдома, въ С. Петербургѣ. Но онъ кое-что измѣнилъ въ первоначальномъ текстѣ, сгладилъ нѣкоторыя, показавшіяся ему жестокими выраженія, ослабилъ выраженіе ненависти къ иностранцамъ и прибавилъ похвалу Бенингсену, о которой не думалъ Растопчинъ. Авторъ считалъ поэтому нужнымъ въ томъ же году издать свои „Мысли“ въ Москвѣ, съ приложеніемъ „письма Силы Андреевича Богатырева къ одному пріятелю въ Москвѣ“, гдѣ онъ жалуется публикѣ на исправленія, сдѣланныя петербургскимъ издателемъ.

Что такое этотъ первый и знаменитый памфлетъ Растопчина, принятый съ восторгомъ тогдашнимъ русскимъ обществомъ и доставившій автору громкую извѣстность? Передъ нами выходитъ любимый герой Растопчина, идеаль, по его мнѣнію, настоящаго русскаго человека, съ древними доблестями, непохожій на людей современнаго поколѣнія. Это „Ефремовскій дворянинъ Сила Андреевичъ Богатыревъ, отставной подполковникъ, израненный на войнахъ, три выбора предводитель дворянскій и кавалеръ Георгіевскій и Владиміровскій“. Онъ „отправился изъ села Зажитова, по случаю милиціи въ Тулу для закупки ружей, и узнавъ о побѣдѣ подъ Прейсидшъ-Эйлау, проѣхалъ въ Москву для развѣдыванія о двухъ сыновьяхъ, братѣ и племянникѣ, кои служатъ на войнѣ. Отпѣвъ молебень за здравіе государя и отстоявъ набожно обѣдню въ Успенскомъ Соборѣ, по выходѣ, въ прекрасный день сѣлъ на Красномъ крыльцѣ для отдохновенія, и преисполненъ бывъ великими происшествіями, славою Россіи и своими замѣчаніями, положи локти на колѣна, поддерживая сѣдую голову руками, сталъ думать въ слухъ“. Такимъ образомъ въ этомъ идеаль Растопчина соединяются тѣ доблести, которыя онъ желалъ бы видѣть въ настоящемъ русскомъ человѣкѣ: дворянство, военная храбрость, преданность государю, набожность и патріотизмъ.

Въ чемъ же главное содержаніе мыслей Богатырева, нашедшихъ такой сильный отголосокъ въ русскомъ обществѣ 1807 года? Эти мысли уже извѣстны намъ; онѣ направлены противъ иностраннаго, преимущественно французскаго вліянія, но никогда онѣ прежде не выражались такимъ простымъ, чисто русскимъ и энергическимъ языкомъ: „Господи, помилуй! — такъ начинается свою думу, Богатыревъ:

да будетъ ли этому конецъ? долго ли намъ быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за умъ, сотворить молитву, и плюнувъ, сказать Французу: сгинь ты, дьявольское навожденіе! ступай въ адъ, или во свояси, все равно, только не будь на Руси". Главныя нападенія направлены на французскихъ воспитателей, которыхъ берутъ у насъ „на перехватъ" и которые своимъ вліяніемъ уничтожаютъ въ человѣкѣ всякое русское чувство. „Тотъ и уменъ и хорошъ, котораго французъ за своего брата приметъ. Какъ же имъ любить свою землю, когда они и русскій языкъ плохо знаютъ? Какъ имъ стоять за вѣру, царя и отечество, когда они закону Божьему не учены и когда русскихъ считаютъ за медвѣдей?" Воспитанники французовъ для Рас-топчина—дураки и дуры; онъ смѣется надъ ихъ понятіями, нарядами и развращенному поколѣнію идеалъ для подражанія представляется въ предкахъ. Имъ и слава и царство небесное! „Чего лучше быть русскимъ, не стыдно нигдѣ показаться, ходи носъ въ верхъ, есть что поразсказать, а слушать иной хоть не радъ, да готовъ". И Богатыревъ выставляетъ величіе Россіи, перечисляетъ ея славныхъ людей: воиновъ, спасителей отечества, духовныхъ, министровъ, писателей... Вся ненависть Богатырева, впрочемъ главнымъ образомъ направлена на послѣднюю французскую исторію и на новаго властителя Франціи, съ которымъ мы вели войну. Съ нравственнымъ характеромъ ихъ онъ не можетъ примириться: „въ французской всякой головѣ вѣтряная мельница, гошпиталь и сумасшедшій домъ. На дѣлахъ они плутишки, а на войнѣ разбойники; два лишь правила у нихъ есть: *все хорошо, лишь бы удалось. Что можно взять, то должно прибрать*". Революція представлена очень просто: „Вить что проклятые надѣлали въ эти двадцать лѣтъ! все истребили, пожгли и разорили. Сперва стали уметь, потомъ спорить, браниться, драться; ничего на мѣстѣ не оставили, законъ попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили, царя казнили, да какого царя! — отца. Головы рубили, какъ капусту; всѣ повелѣвали, то тотъ, то другой злодѣй. Думали, что это будетъ равенство и свобода, а никто не смѣлъ рта разинуть, носу показать и судъ былъ хуже Шемакина. Только и было два опредѣленія: либо въ петлю, либо подъ ножъ". Также оригинально передается и возвышеніе Наполеона: „Погналъ Сенатъ въ зашей, забралъ все въ руки, запрягъ и военныхъ и свѣтскихъ и духовныхъ и сталъ погонять по всѣмъ по тремъ". Разсказавъ по своему завоеванія Бонапарта, Богатыревъ прибавляетъ: „А все мало! весь міръ захотѣлъ покорить, что за Александръ Македонскій? Мужичишка въ рекруты не годится, ни кожи, ни рожи, ни видѣнья, разъ ударить, такъ слѣдъ простынетъ и духъ вонъ; а онъ таки лѣзетъ впередъ на Русскихъ. Ну, милости просимъ!"



## ЛЕКЦІЯ XXIII.

Вліяніе Растопчина на литературу. Повѣсть «Охъ, французы». — Комедія «Вѣсти или убитой живой». — Отношеніе Растопчина къ Сперанскому.

Рѣзкія до чрезвычайности выходки Растопчина въ его „Мысляхъ въ слухъ на красномъ крыльцѣ“ противъ французовъ и ихъ властителя объясняются тогдашнею войною съ ними, ихъ успѣхами и поэтому весьма понятнымъ чувствомъ ненависти, возбужденнымъ въ умахъ. Имя Наполеона тогда уже имѣло обаяніе для многихъ; Растопчинъ, безъ сомнѣнія, понималъ его не такъ, какъ выставилъ въ своей брошюрѣ. Происхожденіе и цѣль памфлета объясняетъ самъ Растопчинъ гораздо позже, въ сочиненіи, написанномъ имъ какъ бы въ защиту свою отъ нападеній европейскихъ публицистовъ, такимъ образомъ: „Небольшое сочиненіе, изданное мною въ 1807 году, имѣло своимъ назначеніемъ предупредить жителей городовъ противъ французовъ, жившихъ въ Россіи, которые старались приучить умы къ мысли пасть передъ арміями Наполеона“ <sup>1)</sup>. Трудно сказать, на сколько справедливо замѣчаніе Растопчина и дѣйствительно ли французы у насъ могли имѣть вліяніе на умы, но памфлетъ желалъ дѣйствовать на массу. Онъ и понравился массѣ, которая быстро раскупила его до 7000 экз., конечно, не масса народа, а большинство грамотнаго общества, въ которомъ и безъ того уже бродила ненависть къ французамъ, возбужденная войною, и ея неуспѣхомъ, отъ котораго падалъ духъ. „Мысли“ Растопчина скоро нашли подражателей въ литературѣ; онъ какъ бы задавалъ тонъ, которому вторили другіе. Такъ, напр., двѣ комедіи Крылова изъ этого времени: „Модная Лавка“ и „Урокъ дочкамъ“ вполне раздѣляютъ мысли Богатырева и направлены противъ французовъ и ихъ вліянія, модъ и легкихъ нравовъ. Левшинъ, очень плодовитый авторъ множества сочиненій по сельскому хозяйству, въ томъ же 1807 году издалъ сочиненіе: „Посланіе Русскаго къ французолюбцамъ“ — съ тѣмъ же самымъ направленіемъ и содержаніемъ. Отъ этой литературы, порожденной взволнованнымъ чувствомъ, вдругъ возникшею ненавистью къ французамъ, вслѣдствіе войны съ ними, нельзя было ждать обдуманности и безпристрастія; увлеченіе было очень естественно. Такъ, плохая комедія „Высылка французовъ“ <sup>2)</sup> (1807 г.) въ своемъ увлеченіи дошла даже до нападеній на просвѣщеніе. Для насъ важно, что начало этого литературнаго направленія, самобытнаго и рѣзкаго,

<sup>1)</sup> La vérité sur l'incendie de Moscou. Соч., изд. Смирдина, стр. 274.

<sup>2)</sup> Авторъ неизвѣстенъ.

было положено Растопчинимъ. Но въ немъ было одно достоинство, котораго не было у его подражателей—оригинальное пониманіе лицъ и событій и живое отношеніе къ нимъ; это выражалось и въ его блестящемъ свободномъ и чисто русскомъ языкѣ, которымъ никто, кромѣ Растопчина, не владѣлъ тогда въ такой степени. Самое сильное возбужденіе своимъ талантомъ и направленіемъ Растопчинъ призвелъ на С. Н. Глинку, который съ начала слѣдующаго 1805 г. сталъ въ Москвѣ издавать свой патріотическій журналъ „Русскій Вѣстникъ“, посвященный исключительно Россіи и ея интересамъ. О немъ и его журналѣ мы скоро скажемъ, а теперь замѣтимъ, что Глинка тотчасъ сдѣлался поклонникомъ Растопчина, и тотъ помѣщалъ въ его журналѣ нѣкоторыя статьи въ томъ же родѣ. По разсказу самого Глинки, Растопчинъ, прочитавъ его объявленіе о журналѣ, въ которомъ опредѣленно высказывалось его будущее направленіе, и встрѣтившись съ издателемъ въ одномъ знакомомъ домѣ, высказалъ свое сочувствіе и обѣщалъ сотрудничество, но просилъ Глинку удерживать запальчивое перо его <sup>1)</sup>.

Въ своемъ первомъ письмѣ къ издателю „Русскаго Вѣстника“, адресованномъ изъ села Зипунова, подъ псевдонимомъ *Устина Вѣникова* <sup>2)</sup>, высказываетъ Растопчинъ полное сочувствіе къ предпріятію Глинки и удивляется смѣлости его духа:

„Вы имѣете въ виду единственно пользу общую, пишетъ онъ, и хотите издавать одну русскую старину, ожидая отъ нея испѣленія слѣпыхъ, глухихъ и сумасшедшихъ, но забыли, что неизмѣнное дѣйствіе истины есть колоть глаза и приводить въ изступленіе“. Вѣниковъ думаетъ, что всѣ нападенія издателя „Русскаго Вѣстника“ не будутъ имѣть успѣха: „Для сихъ, отпадшихъ отъ своихъ и впавшихъ въ чужихъ, вы будете проповѣдникомъ, какъ посреди дикаго народа въ Африкѣ“, и совѣтуетъ насмѣшку и карикатуру, которая лучше подѣйствуетъ на умы: „Представьте, напр., парикмахера, стригущаго русскаго, съ надписью: *подстриженный сѣверный Самсонъ*, или обезьяну, которая учитъ медвѣдя танцевать, съ надписью: *сержусь, но поклонюсь*, или бѣса, раздѣвающаго русскаго, съ надписью: *облегчится и просвѣтитсѣ*“.

Растопчинъ писалъ съ увлеченіемъ, со страстью; мысль о родинѣ въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ она находилась тогда, наполняла всю его душу и выливалась подъ перо вполне задушевно. Это видно изъ его частнаго письма къ Глинкѣ, въ которомъ онъ приглашалъ его къ себѣ въ Вороново, чтобъ сообщить анекдотъ о

<sup>1)</sup> Тихонравовъ, указанная статья, стр. 370.

<sup>2)</sup> Русск. Вѣстн., ч. I, стр. 68—72.

Суворова, котораго онъ называетъ „чудакомъ героемъ“. Его образу, вызванному изъ памяти, приписываетъ Растопчинъ возбужденіе своей литературной дѣятельности: „онъ какъ будто и изъ могилы своей выеликиваетъ душу, разумѣется, душу русскую и вселяетъ въ нее гордость: „Пора духу русскому пріосаниться. Шопотъ—дѣло сплетницъ“. Такъ объясняетъ самъ Растопчинъ начало своей литературной дѣятельности. Главное содержаніе ея есть патріотическое чувство: „Что земля русская намъ не мачиха, объ этомъ готовъ спорить до тѣхъ поръ, пока не лягу въ мать сырую землю. Чего нѣтъ въ нашей родной колыбели? Было бы только у насъ *горячее къ ней сердце*, да обнимала бы ее покрѣпче душа русская; а то постоитъ она за себя“<sup>1)</sup>.

Отсюда, изъ этого горячаго чувства къ родинѣ, которое заставило Богатырева говорить свои мысли вслухъ, явилось въ самомъ Растопчинѣ желаніе создать въ литературѣ типъ настоящаго русскаго человѣка, не зараженнаго французскимъ духомъ и воспитаннаго прямо по-русски. Желаніе это онъ старался осуществить въ своей замѣчательной повѣсти „Охъ Французы!“, которая была написана имъ безъ сомнѣнія въ періодъ времени до 1812 года, но напечатана чрезъ шестнадцать лѣтъ послѣ его смерти<sup>2)</sup> и не вошла въ собраніе его сочиненій, сдѣланное Смирдинымъ (СПб. 1853 г.). Повѣсть эта, названная имъ „наборкою изъ былей“, чрезвычайно оригинальна. Мы говорили, что Растопчинъ не былъ литераторомъ по призванію, а потому понятно, что его повѣсть не похожа ни на одно произведеніе такого рода. Ея живой, бѣжій языкъ, оригинальный въ высшей степени, умъ и наблюдательность надъ жизнью, которые блещутъ на каждой страницѣ, живыя лица, выхваченныя изъ тогдашняго общества, — все это имѣло бы большое вліяніе на литературу и вѣрно породило бы въ ней подражателей, еслибъ повѣсть была напечатана въ то время, когда была написана. Но явившись въ ту пору, когда настроеніе общества, породившее ее, давно исчезло, когда совершенно измѣнилось литературное направленіе, она не могла уже имѣть вліянія, и на нее обратили вниманіе только тѣ, которымъ исторически была извѣстна дѣятельность Растопчина. Намъ кажется, что повѣсть „Охъ Французы!“ заключаетъ въ себѣ и автобіографическія данныя, что въ лицѣ главнаго ея героя Богатырева или Кремнева, изображенъ отецъ Растопчина; или, по крайней мѣрѣ, главные лица повѣсти — снимки съ тѣхъ лицъ, которыя авторъ видѣлъ близко въ жизни и обществѣ и наблюдалъ ихъ.

<sup>1)</sup> Тихонравовъ, указан. статья, стр. 373.

<sup>2)</sup> От. Зап. 1842 г., № 10.

Главная цѣль, однако, Растопчина въ повѣсти была поучительная—выставить вредъ французскаго воспитанія и осмѣять его. Онъ самъ называетъ себя лѣкаремъ, снимающимъ катаракты. Посвящается повѣсть лицамъ разнаго возраста, „разумѣется благороднымъ, по той причинѣ, что сіе почтенное сословіе есть подпора престола, защита отечества и должно предпочтительно быть предохранено. Купцы же и крестыане хотя подвержены всѣмъ извѣстнымъ болѣзнямъ, кромѣ нервовъ и меланхоліи, но еще отъ иноземства кой-какъ отбиваются, и сія летучая зараза къ нимъ не пристаётъ. Они и до сихъ поръ французовъ называютъ нѣмцами, вино ихъ — церковнымъ“. Выходя противъ французовъ разбросаны по всей повѣсти, но оставившись на главномъ героѣ, Луѣ Андреевичѣ Кремневѣ, на его семьѣ, на лицахъ, его окружающихъ, авторъ какъ бы позабылъ свою дидактическую цѣль, которую имѣлъ въ виду, и написалъ чрезвычайно живую, удачную и очень мѣткую картину изъ прежняго дворянскаго быта въ деревнѣ и Москвѣ конца XVIII и начала XIX вѣка. Конечно, герой его нѣсколько идеаленъ, но очень мало; зато всѣ другія лица дѣйствительны и взяты изъ жизни. Содержаніе очень просто: это собственно исторія любви, сватовства и потомъ женитьбы героя на бѣдной родственницѣ старой дѣвы, княжны Мишурской, проживающей въ Москвѣ посреди грязной, а подчасъ и забавной, живо схваченной обстановки крѣпостного быта. Юморомъ и наблюдательностью проникнута вся повѣсть съ начала до конца; очень можетъ быть, что лица ея—были портреты, но съ какою веселостью они написаны!

Къ тому же 1807 году, къ самому разгару войны относится комедія Растопчина: „Вѣсти или убитой живой“<sup>1)</sup>. Это не комедія, а анекдотъ изъ того времени: московскіе сплетники и сплетницы распускаютъ вѣсть о томъ, что женихъ дочери Богатырева, находившійся въ дѣйствующей арміи офицеръ, убитъ въ сраженіи, и привозятъ эти вѣсти въ домъ старика, вызывая, конечно, и горе, и слезы. Но женихъ является здоровъ и невредимъ, да еще съ отличіемъ; сплетники пристыжены. Очевидно, подобныхъ случаевъ было тогда довольно, и московскіе вѣстовщики и другія лица комедіи взяты изъ жизни, но они каррикатурны. Анекдотъ слишкомъ былъ обыкновененъ; характеровъ не было, и комедія, поставленная на сцену, не имѣла успѣха. Глинка представляетъ и другую причину неуспѣха комедіи Растопчина; она, по его словамъ, заключалась въ томъ, что въ ней выведены были лица, знакомыя Растопчину и всей Москвѣ. Они обидѣлись и отместили автору шиканьемъ и свистомъ на пред-

<sup>1)</sup> Сочиненія Растопчина, изд. Смирдина, стр. 25—134.

ставленіи. Растопчинъ счелъ нужнымъ вступиться за себя и издалъ тогда же въ Москвѣ маленькую брошюру: „Письмо Вѣникова къ Богатыреву и отвѣтъ Богатырева Вѣникову“<sup>1)</sup>. Изъ нея видно, что паденіе комедіи произошло отъ неудовольствія партіи приверженцевъ чужеземщины. „Ты не сердись, пишетъ Вѣниковъ къ своему другу, ты и на театрѣ тоже говорилъ, что на Красномъ Крыльцѣ, и я иногда воображалъ, что ты въ моихъ глазахъ. Досталось и модамъ, и мадамамъ, и сплетнямъ, и зараженнымъ заморскими проказами. Но объ Россіи ты говорилъ, какъ законный ея сынъ и нѣжный любовникъ..., а потому ложная и кресельная публика не совсѣмъ благосклонно тебя приняла и заключила, что въ тебѣ много соли и что ты пересолилъ“. Вѣниковъ проситъ: „перестань проповѣдывать истину, ты ею дразнишь людей и надорвешься надъ порокомъ“... Въ отвѣтъ своемъ Богатыревъ или Растопчинъ говоритъ о своемъ характерѣ и высказываетъ презрѣніе къ публикѣ, возставшей на него: „Меня на вѣку ужъ много разъ сквозъ строй языками гоняли, а загонять не могутъ. Живѣ по милости Божіей. Да я жъ не хочу быть въ числѣ тѣхъ людей, коихъ всѣ любятъ. Они или ничто, или все, а я по своей натурѣ иныхъ почитаю, иныхъ уважаю, другихъ презираю, и ничего не скрываю... Языкъ мой — врагъ мой; увижу дурное—кричу: разбой!“

Растопчинъ, говорятъ, написалъ еще нѣсколько комедій, дѣйствующими лицами въ которыхъ онъ выставялъ своихъ знакомыхъ или людей, хорошо знакомыхъ Москвѣ, но, прочитавъ эти комедіи въ близкомъ кругу, истребилъ ихъ. Эти первыя патріотическія сочиненія Растопчина сдѣлали имя его извѣстнымъ между всѣми, которые болѣе или менѣе раздѣляли его убѣжденія. Скоро имя Растопчина стало становиться рядомъ съ именемъ Карамзина въ московскомъ обществѣ, которое слышало не разъ, какъ тотъ и другой высказывали свои убѣжденія, въ которыхъ были согласны между собою. Направленіе сочиненій Растопчина, доставившихъ ему громкую извѣстность, не было новостью; это былъ голосъ Москвы и ея особаго, мѣстнаго патріотизма, въ которомъ высказывались оппозиціонныя стремленія этого города, консерватизмъ московскихъ старовѣровъ и нелюбовь къ тѣмъ реформамъ, которыми было ознаменовано начало царствованія Александра. По мѣрѣ того, какъ союзъ нашъ съ Наполеономъ послѣ тильзитскаго мира близился къ разрыву, предвѣщавшему послѣднюю жестокую борьбу, и по мѣрѣ того, какъ развивались въ это же время государственныя преобразованія Сперанскаго, число недовольныхъ возрастало ежедневно. Во главѣ ихъ стояли Карамзинъ и Растопчинъ.

<sup>1)</sup> Соч., стр. 135—144.

Личный характеръ, прежнее воспитаніе, привычка къ самовластью при Павлѣ, положеніе въ свѣтѣ удалившагося отъ дѣлъ вельможи и большое богатство, основанное на крѣпостномъ трудѣ, — все это должно было поставить Растопчина въ ряды оппозиціи, въ ряды старой партіи. Въ характерѣ и въ дѣйствіяхъ Растопчина, какъ замѣчали современники, была грубая смѣсь утонченнаго доска парижанина съ дикими выходами чисто русскаго произвола и грубыми замашками московскаго барства, — смѣсь, характеризующая всѣхъ почти лучшихъ людей Екатерининской эпохи. Но нельзя, конечно, утверждать, что Растопчинъ, въ своихъ патріотическихъ сочиненіяхъ, только хлопоталъ прослыть кореннымъ русскимъ человекомъ и патриотомъ: въ немъ говорило настоящее, искреннее чувство, но только чувство. Очень можетъ быть, что подъ словами патріотическихъ думъ Богатырева, направленными противъ чужеземщины и французскаго вліянія, словами, понятными въ разгаръ войны, скрывались и консервативныя убѣжденія и взгляды Растопчина, но они такъ были скрыты, что ихъ трудно было разглядѣть. Что онъ былъ противъ преобразованій—видно изъ его удаленія отъ двора и отъ новаго императора до самаго того времени, когда критическія обстоятельства заставили сдѣлать его московскимъ главнокомандующимъ; какъ прошли эти обстоятельства, Растопчинъ снова долженъ былъ удалиться въ отставку. Извѣстныя всѣмъ консервативныя убѣжденія графа Растопчина заставили приписывать ему „Возраженія“ на книгу графа Стройновскаго „Объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами“, русскій переводъ которой появился въ 1800 году. Такихъ возраженій изъ очень многочисленной рукописной литературы по этому предмету, сильно занимавшему умы помѣщиковъ и государственныхъ людей въ первую половину царствованія Александра, съ именемъ Растопчина напечатано у насъ два <sup>1)</sup>, изъ которыхъ первое нападаетъ только на общую мысль освобожденія, а второе входитъ въ подробности дѣла. Издатель не объяснилъ, почему онъ эти сочиненія считаетъ принадлежащими Растопчину. Россіи, по мнѣнію автора, при освобожденіи крестьянъ грозитъ погибель, что-то въ родѣ французской революціи—государство не въ состояніи будетъ собрать подати, когда крестьяне разбредутся. Кромѣ редактора „Чтеній“ возраженіе на книгу Стройновскаго приписываетъ Растопчину и Тихонравовъ <sup>2)</sup> потому, вѣроятно, что въ нѣкоторыхъ мысляхъ „Возраженій“ и въ брошюрѣ „Плугъ и соха“ есть сходство. Надобно думать, что изъ

<sup>1)</sup> Чтенія въ Общ. ист. и др. рос., 1859 г., кн. III, отд. V, стр. 37 — 42; 1860 г. кн. II, отд. V, стр. 203—217.

<sup>2)</sup> Указанная статья, стр. 309.

вѣстный всѣмъ консервативный образъ мыслей Растопчина въ ту тяжелую пору между несчастною войною и грозящимъ нашествіемъ, когда всякая либеральная мысль и каждая реформа казались внушенными французскимъ вліяніемъ и чуть не измѣною, заставилъ соединить „Возраженія“ съ именемъ Растопчина. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ, подобно Карамзину, былъ противъ освобожденія крестьянъ, и мы не отрицаемъ принадлежности „Возраженій“ ему. Но сынъ Растопчина положительно отрицаетъ ее и смотритъ на это, какъ на выдумку<sup>1)</sup>; доказательства его однако не убѣдительны вполне. Азафасьевъ, которому принадлежитъ редакція „Возраженій“ въ „Чтеніяхъ“, увѣряетъ, что, по всѣмъ преданіямъ образованнаго русскаго общества, они дѣйствительно принадлежатъ ему<sup>2)</sup>, что во всѣхъ спискахъ ихъ стоитъ его имя. То же подтверждаетъ и Суншковъ, на основаніи одного мѣста самихъ возраженій, гдѣ Растопчинъ говоритъ о своихъ сосѣдяхъ по имѣнію<sup>3)</sup>, извѣстному Воронову.

Итакъ Растопчинъ былъ противникомъ всякой мысли объ освобожденіи. Говоря въ своихъ „Мысляхъ“ о французскомъ вліяніи на молодое поколѣніе, Растопчинъ или Богатыревъ говоритъ, что у него всему дано свое названіе, гдѣ извращаются коренныя русскія понятія, а именно: Богъ помочь — Bon jour, отецъ — monsieur, старуха мать — maman, холопъ — mon ami, Москва — Ridicule, Россія — Fidonc<sup>4)</sup>. Въ ту тяжелую пору Россіи всѣ эти Растопчины, Кремневы, Богатыревы и другіе консервативные столбы отечества не могли быть ничѣмъ инымъ, какъ защитниками рабства. Но на Растопчина пало въ тѣ же годы болѣе тяжелое обвиненіе: это участіе его въ паденіи Сперанскаго въ началѣ 1812 года. До сихъ поръ этотъ печальный случай изъ новой русской исторіи, гдѣ самодержавный государь принесъ въ жертву слѣпому, раздраженному мнѣнію консервативнаго большинства русскаго общества своего любимца, человѣка искренно ему преданнаго, исполнявшаго только его волю и оказавшаго дѣйствительныя услуги государству, — представляется темнымъ и необъясненнымъ, потому что раскрытіе его есть психологическая загадка, разрѣшеніе которой было бы возможно, еслибъ для насъ была двусмысленная натура самого Александра. До самаго послѣдняго времени, писавшіе о Сперанскомъ высказываютъ разныя, часто противорѣчащія догадки и предположенія. Мнѣніе объ участіи Растопчина въ этомъ темномъ дѣлѣ давно сложилось. По своему богатству и своему вліянію въ обществѣ, по уму и положенію, Растопчинъ

<sup>1)</sup> Русск. Вѣстн. 1860 г., XXVI, Соврем. Лѣтопись, стр. 37.

<sup>2)</sup> Чтенія, 1860 г., кн. II, отд. V, стр. 193.

<sup>3)</sup> Чтенія, 1861 г., кн. IV, отд. V, стр. 181—182.

<sup>4)</sup> Соч., стр. 9—10.

представлялъ выдающуюся фигуру въ это смутное время. О немъ говорили всѣ; на него и на Карамзина указывали, какъ на вождей, консерваторы. Его ненависть къ Сперанскому и къ реформамъ была извѣстна, и въ это время послѣдовало сближеніе съ нимъ Александра, который, посѣтивъ въ 1809 году Москву, „говорилъ съ Растопчинымъ и былъ восхищенъ силою и живостью его рѣчи“ <sup>1)</sup>. Въ Твери жила любимая сестра Александра — Екатерина Павловна, ненавидѣвшая революцію, французовъ, Наполеона, женщина консервативныхъ и легитимныхъ убѣжденій, большая поклонница Карамзина, сблизившая его съ царственнымъ братомъ. Мужъ ея, принцъ Георгъ Ольденбургскій, былъ генераль-губернаторомъ въ Твери, и ея маленькій дворъ здѣсь сдѣлался центромъ соединенія людей, враждебныхъ реформамъ и Сперанскому. Здѣсь Карамзинъ читалъ Александру свою знаменитую „Записку“; здѣсь любили слушать пылкія рѣчи пріѣзжавшаго изъ Москвы Растопчина, уже получившаго довѣріе Александра. Растопчинъ доставлялъ Екатеринѣ Павловнѣ разныя рукописныя свои сочиненія, и письма его къ ней <sup>2)</sup> доказываютъ ихъ близость. Передъ нею выигрывалъ онъ своею преданностью къ Павлу. Въ это время мнѣнія Растопчина имѣли большой вѣсъ. „Онъ излагалъ въ откровенныхъ письмахъ къ государю, говорить біографъ его Бантышъ-Каменскій <sup>3)</sup>, свои опасенія, средства, какія употреблялъ Наполеонъ, чтобы вредить Россіи, положить себѣ дорогу къ сердцу ея, поколебать и разрушить основаніе, на которомъ, въ продолженіе многихъ вѣковъ, утверждено государство сильное, страшное врагамъ вѣрою и любовію. Можетъ быть Растопчинъ далеко распространялъ свое усердіе и, какъ человѣкъ, ошибался; но онъ говорилъ не за себя одного, за древнюю столицу, которая избрала его представителемъ, уполномочила ходатайствовать у престола, въ пользу и защиту отечества (письмо къ государю графа Растопчина, отъ 17 марта 1812 года)“ <sup>4)</sup>. Это послѣднее письмо <sup>4)</sup> и есть именно то, гдѣ Сперанскій и человѣкъ десять близкихъ къ нему людей обвиняются въ прямой измѣнѣ отечеству, въ сношеніяхъ съ Наполеономъ и въ полученіи отъ него подарковъ. Растопчинъ будто бы говоритъ здѣсь, какъ избранныкъ „первѣйшаго сословія“, говорить, что „время заняться исправленіемъ монархіи и критическаго ея положенія“. Въ заключеніе онъ прибѣгаетъ къ угрозамъ: „Письмо сіе есть послѣднее и если останется не дѣйствительнымъ, тогда сыны отечества необходимою себѣ поставятъ двинуться въ сто-

<sup>1)</sup> Богдановичъ, Исторія царствованія имп. Александра I, т. III, стр. 202.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1869 г. стр. 759—762.

<sup>3)</sup> Словарь достопамятныхъ людей русской земли, т. III, стр. 124.

<sup>4)</sup> Русск. Ист. Сборн. Лонд. 1859 г. I, стр. 42—45.



лицу и настоятельно требовать какъ открытія сего злодѣйства, такъ и перемѣны правленія <sup>1)</sup>: Сперанскій, какъ извѣстно, оправдывался противъ этихъ обвиненій и ему не трудно было оправдаться, такъ какъ обвиненія придумала слѣпая ненависть. Письмо объ измѣнѣ Сперанскаго должно быть причислено къ тѣмъ подметнымъ, т.-е. анонимнымъ письмамъ, которыя расходились тогда во множествѣ списковъ по Петербургу и Москвѣ; въ нихъ отражалось возбужденное, встревоженное мнѣніе, но мнѣніе общества темнаго, грубаго, невѣжественнаго, лишеннаго всякаго политическаго пониманія обстоятельствъ. По словамъ Вантышъ-Каменскаго, Растопчинъ писалъ нѣсколько писемъ къ государю, всѣ они, какъ и содержаніе ихъ—неизвѣстны и только одно, упомянутое нами, приписывается ему. Сынъ Растопчина, конечно, опровергаетъ принадлежность письма отцу, но его доводы, и въ этомъ случаѣ, не совсѣмъ убѣдительны. Біографъ Сперанскаго, баронъ Корфъ, кажется, положительно доказалъ, что письмо это не было писано Растопчинимъ. Вопросъ о принадлежности письма этому послѣднему, по мнѣнію барона Корфа, и существовать не можетъ. „Растопчинъ при извѣстной заносчивости и строптивости характера, былъ, однако, человѣкъ чрезвычайно умный, чрезвычайно образованный и искусно владѣвшій перомъ, а письмо съ мнимой его подписью, несмотря на нѣкоторое, правда, подражаніе его тону и слогу, представляетъ, по всему своему содержанію, верхъ грубаго невѣжества, нелѣпости, незнанія политическихъ обстоятельствъ и безграмотства“ — говоритъ баронъ Корфъ. По его словамъ, письмо это „родилось въ самыхъ низшихъ слояхъ чиновничества, въ томъ сословіи, надъ которымъ разразился указъ 1809 года объ экзаменахъ. Это подтвердилось отчасти и изслѣдованіемъ“ <sup>2)</sup>. Въ оставленныхъ Растопчинимъ запискахъ на языкѣ французскомъ <sup>3)</sup> онъ говоритъ, что ссылка Сперанскаго была для него новостью, причину ея онъ приписываетъ другимъ лицамъ и измѣну Сперанскаго называетъ клеветой. Но записки эти были писаны гораздо позднѣе, подъ конецъ жизни, а въ ту пору Растопчинъ, по всему видимому, раздѣлялъ народное убѣжденіе объ измѣнѣ Сперанскаго. Это видно изъ письма его къ Александру, уже настоящаго, отъ 23 августа 1812 года, гдѣ онъ говоритъ о вредѣ пребыванія Сперанскаго въ Нижнемъ, называя его *se misérable Speransky*, пишетъ, что онъ чрезъ Злобина и Столыпина старается дѣйствовать въ губерніяхъ Пензенской и Саратовской и что нужно страхомъ ослабить ихъ ревность.

<sup>1)</sup> Отрывокъ изъ этого письма помѣщенъ также въ Русск. Арх. 1892 г., № 8, стр. 405.

<sup>2)</sup> Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 9—10.

<sup>3)</sup> *Mémoires du comte Rostoptchine, écrits en dix minutes.* Paris. 1839.

Это былъ, конечно, вздоръ, но вслѣдствіе извѣстія, сообщеннаго Растопчинимъ, Сперанскій былъ удаленъ дальше, именно въ Пермь <sup>1)</sup>).

Такова была жизнь и литературная дѣятельность Растопчина до 1812 года, когда онъ въ самый разгаръ отечественной войны явится снова передъ нами съ своими прославленными афишами, освѣщенный зловѣщимъ блескомъ зарева московскаго пожара. Тогда въ полномъ свѣтѣ явятся передъ нами и темныя, и свѣтлыя стороны этого характера, замѣчательнаго во многихъ отношеніяхъ. Его первыя патріотическія попытки, съ рѣзкими выходами противъ французовъ, могли появиться только до тильзитскаго мира; послѣ него онъ замолчалъ, но война 12 года снова пробудила его и заставила обратиться къ народу. Для насъ важно, что Растопчинъ первый заговорилъ въ этомъ патріотическомъ тонѣ, первый положилъ начало этого рода литературѣ. Подражателей у него нашлось довольно. Впереди ихъ долженъ быть упомянутъ Глинка.

## ЛЕКЦІЯ XXIV.

С. Н. Глинка.—Его дѣтство, пребываніе въ корпусѣ и служба.—Первыя произведенія Глинки.—Перемѣна въ убѣжденіяхъ Глинки.—Программа «Русскаго Вѣстника».

Послѣ Растопчина, этого знатнаго барина, воспитаннаго французами и французскою литературою, но явившагося во время неудачныхъ первыхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ какъ бы основателемъ патріотическаго направленія въ русской литературѣ, выступившаго съ простою русскою рѣчью, проникнутою глубокою ненавистью въ французамъ и ихъ вліянію, это патріотическое направленіе, вызванное изъ жизни отношеніями времени, стало на нѣсколько лѣтъ господствующимъ. Имъ проникались самыя разнообразныя произведенія литературы, оно доставило извѣстность, правда, недолговѣчную, нѣсколькимъ литературнымъ именамъ, которыя безъ этой патріотической струи, прямо попадающей въ сердце возбужденнаго общества, остались бы совершенно безвѣстными. Направленіе это имѣло жизнь, находило сочувствіе, потому что стояло въ близкомъ отношеніи къ времени, но, съ другой стороны, эта близость къ времени доводила до преувеличеній и до увлеченій, которыя дѣйствовали вреднымъ образомъ на мысль общества, возбуждая его къ самохвалству и самодовольству, мѣшающимъ здравому и хладнокровному сужденію и возбуждающимъ въ обществѣ презрѣніе къ

<sup>1)</sup> Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 67.

тому неизбежному единственному пути, по которому пошло наше просвѣщеніе со временъ Петра В. Народность, которая вызывалась теперь патріотическою литературой, очень часто прикрывала своимъ знаменемъ глубокое невѣжество, бессмысленную любовь къ старинѣ и преданію и ненависть ко всякому улучшенію жизни. Не надобно забывать, что при жалкомъ состояніи нашей періодической печати и при цензурныхъ отношеніяхъ всякая литературная борьба съ этимъ направленіемъ была почти невозможна; дѣло ограничивалось только легкими, случайными замѣтками, да рукописными эпиграммами, ходившими въ кругу писателей и людей, интересовавшихся литературой. Историческія обстоятельства, къ счастью, не допустили укорениться въ нашей литературѣ этому патріотическому направленію, грозившему, повидимому, приостановить наше развитіе. Счастливая борьба съ Наполеономъ, европейскіе походы, въ теченіе которыхъ такъ много замѣчательныхъ личностей познакомились съ Европою, самая великость переживаемыхъ событій и прежнія, хорошія вліянія первыхъ лѣтъ царствованія Александра, все это будило мысль и не позволяло ей отупѣть и опомлѣть посреди криковъ патріотическаго самодовольства.

Громкую извѣстность въ этотъ періодъ патріотическихъ увлеченій получило имя С. Н. Глинки, издававшего въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ журналъ „Русскій Вѣстникъ“, который появился непосредственно вслѣдъ за памфлетами Растопчина, вызвавшими какъ бы къ жизни и это направленіе, и этотъ журналъ. Глинка жилъ очень долго и всю жизнь свою писалъ и печаталъ множество сочиненій, проникнутыхъ, впрочемъ, однимъ направленіемъ, которое онъ рѣшительно высказалъ въ своемъ „Русскомъ Вѣстникѣ“ въ первый разъ. Этому направленію онъ оставался вѣренъ всю жизнь и высказывалъ его съ пыломъ страсти, очень часто доходившимъ до смѣшнаго. Но при всей своей увлекательности, натура Глинки была честная; свои убѣжденія онъ цѣнилъ дорого, ставилъ ихъ выше всѣхъ матеріальныхъ выгодъ, о которыхъ почти всегда забывалъ. Какъ въ его характерѣ, такъ и въ его жизни и литературной дѣятельности было что-то до крайности безпорядочное, что и составляетъ причину, почему имя его, несмотря на чрезвычайную плодовитость его въ литературномъ отношеніи, не имѣетъ почти мѣста въ исторіи нашего литературнаго развитія. Вся его дѣятельность высказалась вполнѣ въ первые годы изданія имъ „Русскаго Вѣстника“, потомъ онъ только повторялся. Эта крайняя безпорядочность мысли Глинки, зависѣвшая отъ ея пылкости, отразилась и въ „Запискахъ“ о его жизни, составленныхъ имъ въ позднюю пору жизни и представляющихъ воспоминанія. Память измѣняла ему не столько отъ лѣтъ, сколько отъ пыл-

кости; часто смѣшивалъ онъ событія и лица, а потому пользоваться его записками нужно съ большою осторожностью, хотя онѣ даютъ прекрасный матеріалъ для знакомства съ личностію самого Глинки.

С. Глинка, родомъ изъ дворянъ помѣщиковъ Смоленской губерніи родился въ деревнѣ Духовщинскаго уѣзда въ 1775 году. Помѣщичій бытъ, съ дѣтства окружавшій его въ семействѣ, представленъ Глинкою въ воспоминаніяхъ совершенно идеально. Помѣщичья семья Глинки представляетъ собою патріархальныя достоинства: „Алчная роскошь, говоритъ онъ, не отдѣляла еще тогда рѣзкими чертами помѣщиковъ отъ почтенныхъ питателей рода человеческого“ (по выраженію Княжнина), т. е. отъ крестьянъ <sup>1)</sup>). Жизнь деревенская кажется ему раздольемъ, и обратная сторона медали вполне ускользаетъ отъ его вниманія. Историческія воспоминанія совпадаютъ для Глинки съ царствованіемъ Екатерины, на которое онъ смотритъ, какъ на эпоху славы и счастья Россіи. Все, что имѣло отношеніе къ этому времени,—дорого для Глинки. Недалеко отъ ихъ села была родина Потемкина; онъ самъ часто ѣзжалъ мимо въ Петербургъ окруженный баснословно роскошною обстановкою, и Глинка считаетъ своимъ долгомъ защитить знаменитаго временщика отъ нареканій въ расхищеніи казеннаго достоянія. На первоначальное развитіе Глинки имѣлъ вліяніе, хотя и непродолжительное, дядя—масонъ, но домашнее воспитаніе скоро должно было окончиться. Въ 1781 году Екатерина, возвращаясь изъ Бѣлороссіи въ Петербургъ, ѣхала на Смоленскъ мимо родины Потемкина и недалеко отъ деревни Глинокъ. Вся семья устроила ей на перемѣнѣ лошадей деревенское угощеніе, которымъ распоряжался отецъ Глинки, бывшій капитанъ-исправникомъ. Императрица осталась очень довольна, обласкала дѣтей исправника и велѣла записать трехъ въ кадетскій корпусъ. Эта встрѣча Екатерины, вѣроятно по семейнымъ разсказамъ, осталась самымъ дорогимъ воспоминаніемъ Глинки. Его дѣтство прошло такимъ образомъ въ деревнѣ посреди патріотическихъ восторговъ отъ царствованія Екатерины и довольства помѣщичьею жизнью, на которую онъ смотритъ, какъ на благословенную идиллію, хотя и записываетъ о какомъ-то общемъ возстаніи крѣпостныхъ крестьянъ въ ихъ окрестностяхъ и замѣчаетъ только, что „какая-то невидимая сила волновала села и деревни“ <sup>2)</sup>).

Черезъ годъ послѣ проѣзда Екатерины, Глинку и брата его повезли въ Петербургъ, въ кадетскій корпусъ, въ тотъ извѣстный

<sup>1)</sup> Записки С. Н. Глинки. Спб. 1895, стр. 2—3.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 29.

шляхетный сухопутный корпусъ, гдѣ въ продолженіе почти всего прошлаго вѣка воспитывались для военной службы и свѣтской жизни дѣти лучшихъ дворянскихъ фамилій государства. Воспитаніе, совершенно на французскій ладъ и на языкъ французскомъ, находилось подъ главнымъ вліяніемъ извѣстнаго Бецкаго. Дѣти, по вступленіи въ корпусъ, тотчасъ попадали въ руки надзирательницъ французенокъ, и подъ ихъ вліяніемъ скоро забывались и родной языкъ и воспоминаніе о прежней жизни. Въ высшемъ возрастѣ также и начальники и гувернеры всѣ были французы. Понятно, что участіе къ этой странѣ развилось очень рано въ Глинкѣ, отъ одного изъ своихъ наставниковъ онъ узналъ о приближающемся переворотѣ во Франціи и скоро сталъ жадно слѣдить за политическими событіями.

Однимъ изъ лучшихъ воспоминаній корпусной жизни Глинки было время управленія корпусомъ графа Ангальта, о которомъ онъ говоритъ съ глубокимъ уваженіемъ. Это былъ идеальный воспитатель въ духѣ гуманной философіи XVIII вѣка, внушавшій къ себѣ страстную любовь и воспитанниковъ и воспитателей. Ангальтъ самъ былъ увлеченъ образами классической древности, идеалы людей существовали для него только въ исторіи Греціи и Рима; это было общее направленіе того времени. Всѣ учителя Глинки, за исключеніемъ трагика Княжнина, были французы, даже русскую исторію преподавали извѣстные французы Леклеркъ и Левекъ. Французскій языкъ господствовалъ даже между самими кадетами, они безпрестанно декламировали наэтомъ языкѣ и разыгрывали французскія театральныя пьесы. Будущій пылкій патріотъ, Глинка увѣрялъ всѣхъ въ корпусѣ, что онъ родился во Франціи, а не въ Россіи... Тогда же, при врожденной пылкости характера, въ Глинкѣ сильно развилось воображеніе, онъ сталъ писать стихи, много сочинялъ и зачитывался французскими книгами. Если вѣрить его воспоминаніямъ, то кадеты его времени жили современною жизнію и слѣдили за тогдашними великими событіями по французскимъ журналамъ и газетамъ, чего никогда потомъ не бывало не только въ корпусахъ, но даже и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Графъ Ангальтъ завелъ въ корпусной залѣ столъ со всѣми современными заграничными извѣстіями, такъ что Глинка, не выходя изъ корпуса, познакомился съ политикою и со всѣми главными лицами политической исторіи того времени. Передъ этою жизнію жалкими казались Глинкѣ тогдашнія періодическія русскія изданія, которыя тутъ же рядомъ лежали на столѣ: „Зритель“ Крылова, „Меркурій“ Клушина, „Московскій журналъ“ Карамзина. Въ нихъ, говоритъ Глинка, „особенно вооружались противъ казенной абеда и заразы роскоши и модъ, истощавшихъ бытъ сельской, а о

политической борьбѣ европейской въ нихъ не было и помину; она какъ будто не существовала для Россіи“<sup>1)</sup>).

Изъ русскихъ учителей больше всѣхъ остался въ памяти Глинки Княжнинъ. Ему посвятилъ онъ нѣсколько страницъ своихъ воспоминаній. „Никто изъ нашихъ писателей не уважалъ трудовъ земледѣльцевъ болѣе Княжнина“—замѣтилъ онъ объ немъ между прочимъ<sup>2)</sup>. Другимъ учителемъ словесности былъ извѣстный актеръ и писатель—Плавильщиковъ. Умственная жизнь корпуса, благодаря Ангальту, была вообще замѣчательна въ то время, судя по воспоминаніямъ Глинки. По его разсказу, между кадетами была даже борьба мнѣній: были двѣ партіи—материалистовъ и спиритуалистовъ. Но преобладающимъ увлеченіемъ была страсть къ французскому театру. Однимъ словомъ, кадеты получали широкое въ духѣ вѣка образованіе, при чемъ военная сторона составляла въ немъ вовсе не главное. Все это гуманное направленіе измѣнилось вдругъ, когда по смерти графа Ангальта начальникомъ корпуса назначенъ былъ М. И. Кутузовъ, извѣстный фельдмаршалъ въ 1812 году. Это было въ послѣдніе годы царствованія Екатерины: ей не нравилось свободное направленіе корпуса; она и въ немъ боялась революціонныхъ идей, и Кутузовъ былъ призванъ водворить строгій военный порядокъ въ распущенномъ, по мнѣнію властей, заведеніи. Но это было уже въ послѣдній годъ пребыванія Глинки въ корпусѣ. Онъ вышелъ изъ него въ 1795 году въ чинѣ поручика, но въ душѣ совершеннымъ французомъ, съ большими симпатіями къ французской революціи, событія которой онъ зналъ очень хорошо. Онъ сильно интересовался современной политикой и любилъ заговаривать о ней въ гостинныхъ большого свѣта, куда попалъ по выходѣ изъ корпуса. Но его сразу остановилъ покровитель его, извѣстный Екатерининскій вельможа Л. А. Нарышкинъ, словами, въ которыхъ выражался общій взглядъ Екатерининскихъ сановниковъ на современные событія: „до политики не касайся—это не твое дѣло, наша политика въ кабинетѣ Екатерины. Она за насъ думаетъ и заботится. А наше дѣло пировать да веселиться“<sup>3)</sup>.

Изъ корпуса, съ головою, полною великихъ европейскихъ событій того времени, Глинка отправился съ братомъ на родину къ отцу въ отпускъ, послѣ котораго возвратился на службу въ Москву, гдѣ стоялъ его полкъ. Въ это время онъ былъ еще французомъ. „Во второй разъ, для меня Москвы не было въ Москвѣ, говоритъ онъ въ „Запискахъ“. Русское было далеко отъ моихъ мыслей, а въ настоящемъ затерялся я въ шумѣ большого свѣта, также далеко отъ древней

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 76.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 88.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 126.

Москвы и отъ старобытной Россіи<sup>1)</sup>). Глинка попалъ въ адъютанты къ князю Ю. В. Долгорукому, что познакомило его съ высшимъ московскимъ свѣтомъ. Служба была легкая, и все занятіе Глинки заключалось, кажется, въ усердномъ посѣщеніи театра, который онъ страстно полюбилъ.

Тогда же Глинка познакомился съ литературнымъ міромъ Москвы и его представителями: Шатовымъ, Николевымъ—стариками и болѣе молодыми: И. И. Дмитріевымъ, Карамзинымъ, В. Л. Пушкинымъ. Глинка самъ пустился было тогда въ поэзію и написалъ оду о *суетности*, въ которой высказались тѣ идеи вѣротерпимости и христіанскаго милосердія, которыя составляли общую проповѣдь философіи XVIII вѣка, но цензоръ, профессоръ Чеботаревъ, не пропустилъ ее въ печать.

Глинка жилъ въ водоворотѣ большого московскаго свѣта. Это общество тогда отличалось широкимъ, но дикимъ барскимъ разгуломъ; Москва пировала день и ночь, и Глинку оскорбляло, что никто въ этомъ обществѣ не думалъ о будущемъ, не интересовался великими событіями современной исторіи. Въ домѣ князя Долгорукова, московскаго главнокомандующаго, никогда не велось разговора о политикѣ, и о Наполеонѣ стали говорить тогда уже, когда онъ сдѣлался первымъ консуломъ. А между тѣмъ Глинка весь былъ занятъ этими событіями. „Въ 1796 году не наступило еще, говорить онъ, перерожденіе души моей въ жизнь *отечественную*, въ жизнь *русскую*“<sup>2)</sup>).

Тогда же, въ послѣдній годъ жизни Екатерины, Глинка выступилъ было съ полкомъ своимъ въ походъ. Екатерина стала собирать войска, чтобы двинуть ихъ подъ предводительствомъ Суворова противъ ненавидимой ею французской республики, но полкъ Глинки дошелъ только до Ржева тверской губерніи; воцареніе Павла приостановило эти воинственные планы. Глинка воротился въ Москву на прежнюю службу къ Долгорукому, т. е. на жизнь въ свѣтскихъ и литературныхъ кружкахъ Москвы. Глинка много говоритъ о своихъ близкихъ отношеніяхъ и дружбѣ къ знаменитому богачу и остроумцу Ѳ. Г. Карину. Одинъ случай изъ ихъ отношеній рисуетъ честный и независимый характеръ Глинки. Состоянія у него не было никакого, и Каринъ подарилъ ему однажды дарственную записъ на калужскую деревню въ шестьдесятъ душъ. Глинка изорвалъ записъ и сказалъ: „Не возьму; я никогда не буду имѣть челоѣка какъ собственность, и притомъ не понимаю сельскаго быта“<sup>3)</sup>. Это безкорыстіе и презрѣніе матеріальныхъ выгодъ отличали Глинку въ теченіе всей жизни.

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 146.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 167.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 177.

Въ царствованіе Павла Глинка снова выступилъ было въ походъ въ тѣхъ войскахъ, которыя назначены были идти на помощь къ Суворову, но походъ въ Италію не состоялся: война кончилась. Въ 1800 году онъ вышелъ въ отставку капитаномъ, средствъ для жизни у него не было никакихъ, и онъ рассчитывалъ на литературу. Первое произведеніе его, доставившее ему средства, была героическая драма „Наталья боярская дочь“, игранная тогда же и съ успѣхомъ на московской сценѣ. Ея содержаніе, взятое изъ временъ царя Алексѣя Михайловича, показываетъ уже стремленіе Глинки къ русской старинѣ. За нею слѣдовало еще нѣсколько подобныхъ, незамѣчательныхъ, однако, по литературнымъ достоинствамъ произведеній. Музыку для нихъ сочинялъ Кашиинъ, крѣпостной человѣкъ Бибикова, освобожденію котораго помогалъ Глинка. Около того времени умерли отецъ и мать Глинки; небольшое оставшееся ему наслѣдство онъ отдалъ единственной сестрѣ своей и сталъ жить по словамъ его „съ довѣренностію и безусловной надеждой на Провидѣніе“<sup>1)</sup>.

Но пылкій характеръ Глинки безпрестанно вводилъ его въ новыя увлеченія: всѣ деньги, какія были у него, онъ проигралъ въ карты и принужденъ былъ отправиться въ Малороссію къ какому-то богатому помѣщику Х. въ качествѣ домашняго учителя, никогда не будучи имъ и никогда не приготовляясь къ этому званію. Впрочемъ, онъ рассказываетъ объ успѣхѣ своихъ уроковъ, состоявшихъ въ томъ, что онъ читалъ съ своими учениками великихъ писателей. Три года продолжалось это учительство, но отъ него ничего не осталось у Глинки. Снова, по возвращеніи въ Москву, ему пришлось работать для театра и на выработанные деньги онъ часто ѣздилъ въ Петербургъ, гдѣ жилъ предметъ его платонической страсти. Въ 1803 году онъ переложилъ въ стихи съ французскаго прозаическаго перевода „Юнговы Нощи“. Въ 1806 году явилась его трагедія „Сумбека или покореніе царства Казанскаго“, въ слѣдующемъ—другая трагедія—„Михаилъ князь Черниговскій“. Около того же времени совершился переворотъ въ душѣ Глинки; онъ оставилъ свои европейскія увлеченія и явился вдругъ самымъ пылкимъ патріотомъ. Еще недавно любимымъ героемъ Глинки былъ Наполеонъ, напоминавшій ему героевъ Греціи и Рима; еще недавно любимую мечтою его было служить подъ его знаменами. Теперь ему пришлось забыть всѣ вліянія своего обще-европейскаго образованія и сдѣлаться *истымъ* русскимъ, какъ называли его современники.

Переворотъ этотъ, какъ и въ Растопчинѣ, совершился подъ вліяніемъ политическихъ событій, въ которыхъ находилась тогда Россія. Послѣ Аустерлицкаго пораженія приходилось напрягать силы, воз-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 187.



буждать народный духъ. Въ концѣ 1806 года въ народъ пущено было воззваніе о составленіи милиціи и къ числу возбужденныхъ принадлежалъ и Глинка.

„Въ то время отечество для меня было новою мечтой, говорить онъ, и воображеніе мое горѣло, какъ чувство юности, согрѣтое первымъ пламенемъ любви“<sup>1)</sup>. Въ запискахъ своихъ Глинка пишетъ, что еще въ 1806 году, въ письмѣ какому-то пріятелю, онъ увѣрялъ, что Наполеонъ будетъ въ Москвѣ, и тогда уже поохладѣлъ его восторгъ отъ этого имени. Изъ Петербурга, гдѣ онъ хлопоталъ объ успѣхѣхъ своихъ литературныхъ произведеній и нѣкоторые изъ нихъ, чрезъ разныхъ покровителей, подносилъ Государю, Глинка поѣхалъ на родину. „Что влекло меня на родину, гдѣ у меня не было ничего, кромѣ сердечныхъ воспоминаній, спрашиваетъ онъ. Въ душѣ родилась новая мысль и не у меня одного. Всѣхъ и каждого вызывала она къ защитѣ отечества и къ оборонѣ гробовъ праотеческихъ“<sup>2)</sup>. Глинка записался въ милицію. Въ 1807 году онъ собиралъ старыхъ отставныхъ солдатъ, вновь призванныхъ на службу, дѣлательно хлопоталъ объ устройствѣ милиціоннаго войска и о снабженіи его, входилъ даже въ личныя отношенія къ фельдмаршалу Каменскому, но неудачныя сраженія повели къ тильзитскому миру, и Глинка, не оказавъ никакихъ подвиговъ на войнѣ, долженъ былъ воротиться въ Москву къ литературнымъ трудамъ.

Но это тревожное время, при пылкости характера Глинки, совершенно измѣнило его прежніе взгляды, симпатіи и убѣжденія. Онъ полюбилъ русскія свойства, которыхъ вовсе не зналъ до того времени. „Въ необычайный годъ, среди русскаго народа, ознакомился я съ душею нашихъ воиновъ. Служа въ полку, я зналъ доброе сердце солдатъ нашихъ. Что же почувствовалъ я, видя порывъ души богатырей русскихъ? Они подарили меня сокровищемъ обновленія мысли. Мнѣ стыдно стало, что доселѣ, кружась въ какомъ-то невидимомъ мірѣ, не зналъ я ни души, ни кореннаго образа мыслей русскаго народа. Въ шумѣ большого свѣта, на балахъ и вечерахъ этого не было. Но время, могучею силой, вывело духъ русскій передъ лицомъ нашего отечества и передъ лицомъ Европы. Онъ повелъ меня, какъ далѣе увидимъ, къ новой жизни. И этотъ первый урокъ повелъ меня постепенно къ изданію „Русскаго Вѣстника“. Глинка рассказываетъ, что тогда же въ первый разъ, на тридцатомъ году жизни, у Сычевскаго городничаго онъ узналъ о существованіи лѣтописи Нестора,—въ такомъ невѣдѣніи родного воспитывались тогда русскіе писатели<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 195.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 211.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 216—217.

Въ такомъ настроеніи духа воротился Глинка въ Москву къ прерваннымъ литературнымъ занятіямъ. Нечего и говорить, что на Москву онъ сталъ смотрѣть теперь глазами восторженнаго патріота, все въ ней представлялось ему въ обновленномъ видѣ: „На каждой улицѣ, на каждомъ перекресткѣ представлялся мнѣ новый міръ, вызываемый воображеніемъ изъ прошедшаго. Словомъ, Москва явилась мнѣ въ своемъ подлинномъ видѣ, то-есть завѣтною, живою лѣтописью земли русской. Я спѣшилъ ознакомиться съ каждымъ ея памятникомъ, и каждый день для меня былъ новымъ открытіемъ, новымъ приобретеніемъ. Въ этомъ расположеніи духа задумалъ я издавать „Русскій Вѣстникъ“<sup>1)</sup>.

Цѣлю задуманнаго журнала, по словамъ Глинки, было возбужденіе народнаго духа и приготовленіе русскихъ къ новой и неизбежной борьбѣ. Онъ былъ увѣренъ, что эта борьба впереди, что тильзитскій міръ есть только перемиріе. Глинка хотѣлось говорить съ публикою, дѣлиться съ нею своими новыми патріотическими мыслями. Не безъ вліянія на содержаніе и тонъ статей Глинки была предшествовавшая литературная дѣятельность Растопчина, онъ самъ это сознаетъ: „Справедливость требуетъ сказать, что графъ первый еще въ 1807 году своими „Мыслями въ слухъ на красномъ крыльцѣ“ вступилъ, такъ сказать въ родственное сношеніе съ мыслями всѣхъ людей русскихъ. Его листокъ облетѣлъ и чертоги и хижины, и какъ будто былъ передовою вѣстью великаго 1812 года“<sup>2)</sup>.

Но на изданіе предполагаемаго журнала нужны были деньги, а ихъ никогда не было у Глинки. Его выручилъ извѣстный московскій издатель и содержатель типографіи, двоюродный братъ И. И. Дмитріева—Пл. П. Бекетовъ, который вызвался напечатать на свой счетъ первыя двѣ книжки журнала и, если онъ не пойдетъ,—принять расходы на себя. Обрадованный этимъ предложеніемъ, Глинка тотчасъ же напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ объявленіе о своемъ будущемъ журналѣ, гдѣ высказывалъ цѣль его и направленіе. Это объявленіе произвело, по словамъ его, и недоумѣніе и удивленіе въ обществѣ. Рѣчи и убѣжденія Глинки были чѣмъ-то новымъ, неслыханнымъ. Глинка становился въ противоположность съ господствующимъ мнѣніемъ, говорилъ о томъ, что было забыто—о русскомъ духѣ и направленіи, о русской старинѣ, о необходимости своеобразнаго развитія, о вредѣ подражанія Европѣ. Тонъ, господствовавшій до него въ русской журналистикѣ, былъ совершенно иного свойства, а потому понятно, что рѣчи Глинки приводили невольно въ удивленіе.

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 219—220.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 222—3.

Издатель обѣщался предлагать читателямъ только то, что „непосредственно относится въ Русскимъ“, что „можетъ улаживать сердца русскія“. Въ первый разъ, первый Глинка вздумалъ говорить о русской старинѣ, о древней русской исторіи, отодвинутой новымъ развитіемъ: „Въ сихъ листахъ, говорилъ онъ, найдутъ многія статьи о древнихъ временахъ Россіи. Бесѣда съ праотцами, бесѣда съ героями и друзьями отечества питаетъ душу, и, сближая прошедшее съ настоящимъ, умножаетъ бытіе наше. Настоящее объясняется прошедшимъ, будущее—настоящимъ“. Это прошедшее, отъ котораго мыслящіе люди того времени думали навсегда отдѣлаться, для издателя „Русскаго Вѣстника“ становится снова очень дорогимъ, источникомъ развитія: „Примѣръ добродѣтелей и нравовъ праотеческихъ заключается въ древнихъ преданіяхъ; въ нихъ означено то *особое воспитаніе*, о которомъ говорятъ извѣстнѣйшіе наши писатели“.

Правда, Глинка не прямо возстаетъ на новое развитіе Россіи; онъ видитъ въ немъ довольно истинно полезнаго и требуетъ, повидимому, только, чтобъ пріобрѣтенное было соединено съ своимъ собственнымъ, чтобъ мы были „богаты не чужимъ, не заимствованнымъ, но своимъ роднымъ добромъ“, но онъ возстаетъ противъ реформъ, вооружается противъ мысли XVIII вѣка, требовавшей преобразованій.

Такова была программа патріотическаго журнала Глинки.

## ЛЕКЦІЯ XXV.

Сотрудники Глинки: Растопчинъ, княгиня Дашкова.—Отношеніе публики и правительства къ «Русскому Вѣстнику».—Содержаніе журнала.—Отношеніе къ нему журналистики.—Эпиграммы на Глинку.

Тотъ писатель, которому ближе всего было направленіе зарождавшагося журнала Глинки, именно Растопчинъ, выказалъ полное ему сочувствіе, предложилъ себя въ сотрудники, но называлъ предпріятіе Глинки отважнымъ, въ виду, конечно, современныхъ политическихъ обстоятельствъ и мира съ Франціей Наполеона, вслѣдствіе чего трудно было нападать на недавняго и будущаго врага. Растопчинъ, какъ мы уже видѣли, дѣйствительно помѣстилъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ нѣсколько небольшихъ статейъ подѣ псевдонимомъ Устина Вѣникова въ духѣ его мыслей и въ томъ направленіи, въ какомъ Глинка хотѣлъ издавать свой журналъ. Самъ издатель писалъ иныя свои статьи подѣ влияніемъ разсказовъ Растопчина. Послѣдній часто приглашалъ къ себѣ Глинку, и тотъ разставался съ Растопчинимъ увлеченный его словами и мыслями. Другимъ замѣнитимъ сотрудникомъ Глинки, на первыхъ порахъ его журнала, была

извѣстная княгиня Дашкова, проводившая, послѣ ссылки въ деревню при Павлѣ, свою старость въ Москвѣ, въ воспоминаніяхъ о своемъ значеніи при-Екатеринѣ и вообще о блестящемъ прошломъ, которое было ей дороже настоящаго. Княгиня вызвалась писать статьи для Глинки, но по сѣоенравію своему требовала, чтобъ въ этихъ статьяхъ онъ никогда не пережѣнялъ ничего. Двѣ или три статьи ея были политическаго содержанія; будучи давнишней поклонницей Англіи, гдѣ она воспитывала и сыновей своихъ, княгиня не могла не отзываться съ сочувствіемъ объ этой любимой странѣ своей, а она была враждебна намъ, вслѣдствіе тильзитскаго мира. Одна статья ея въ этомъ родѣ не была пропущена цензоромъ; княгиня жестоко разсердилась и съ тѣхъ поръ болѣе не давала своихъ статей Глинкѣ. Вскорѣ потомъ издатель разошелся и съ Растопчинымъ, который при началѣ журнала, обѣщая свое сотрудничество въ немъ, просилъ Глинку сдерживать его запальчивость. Обиженный московскою публикой на представленіи его комедіи „Вѣсти или убитой живой“, графъ Растопчинъ прислалъ Глинкѣ нѣсколько писемъ противъ этой публики; Глинка не напечаталъ ихъ, ссылаясь на рѣзкій тонъ, и Растопчинъ ничего уже болѣе не посылалъ въ „Вѣстникъ“. Но они сошлись снова въ 1812 году.

„Русскій Вѣстникъ“ имѣлъ успѣхъ не столько по таланту издателя, который отличался только своею рьяностію и пылостію, сколько по направленію статей своихъ, соотвѣтствующихъ духу общества, недовольнаго потерями въ послѣдней войнѣ и унижительнымъ для насъ тильзитскимъ миромъ. Впрочемъ, судить объ успѣхѣ журнала съ современной точки зрѣнія нельзя. Глинка рассказываетъ, что даже въ самую сильную эпоху возбужденія народнаго духа, въ 1812 году, разошлось „Вѣстника“ не болѣе ста экземпляровъ, а потому можно судить, какъ незначительно было то общество, въ которомъ могло существовать какое-нибудь мнѣніе. Вся прочая масса была безгласна, и надобно замѣтить, что успѣхъ журнала главнымъ образомъ обуславливался Москвою; въ Петербургѣ едва ли были довольны имъ—и правительство, желавшее сдержать свое обѣщаніе передъ Наполеономъ, и небольшое число издателей тогдашнихъ журналовъ, приучавшихъ все-таки общество, какъ мы видѣли, къ просвѣщенію, отертому для русскихъ дѣломъ реформы Петра В. Глинка рассказываетъ, что журналъ его имѣлъ большой успѣхъ въ Москвѣ, что всѣ знакомые говорили ему *спасибо* за „Вѣстникъ“, что студенты московскаго университета спѣшили ловить книжки журнала при выходѣ ихъ; главные, впрочемъ, читатели журнала были члены англійскаго клуба и знатные вельможи, которымъ, конечно, болѣе всего пріятна была въ „Вѣстникѣ“ консервативная привязанность къ старинѣ. Впрочемъ,

безъ сомнѣнія, журналъ имѣлъ вліяніе, если даже посолъ Наполеона считалъ нужнымъ принести нашему правительству жалобу на направленіе Глинки. Поводомъ къ жалобѣ послужила одна изъ статей издателя въ 1808 году, гдѣ говорилось о тильзитскомъ мирѣ, высказывалась неизбежность новой войны между Франціей и Россіей и убѣжденіе, что „будутъ приняты всѣ надлежащія мѣры къ отраженію властолюбиваго завоевателя“. Любопытенъ отвѣтъ Александра Коленкору, что онъ не зналъ даже о существованіи этого журнала. Въ угоду французскому послу, цензору Мерзлякову сдѣланъ былъ выговоръ, а Глинка, имѣвшій мѣсто съ казеннымъ жалованьемъ при московскомъ театрѣ, былъ уволенъ отъ этой службы. Тогда же сдѣлано было распоряженіе по цензурѣ о недозволеніи печатать статей политическаго содержанія. Изъ этого видно, что сила „Русскаго Вѣстника“ состояла вовсе не въ политическихъ статьяхъ; область политики была возбранена цензурою, да въ ту пору съ политикою были знакомы и занимались ею только люди, официально къ тому призванные. Бѣдный русскій журналистъ былъ вообще далекъ отъ политическаго міра, потому что самая страна не жила политическою жизнью; интересы его были вообще очень ничтожны и жалки, какъ и во всей нашей литературѣ того времени.

Сила „Русскаго Вѣстника“ заключалась въ патріотическомъ чувствѣ и въ возбужденіи его въ читающей публикѣ. Чувство это родилось подъ вліяніемъ современныхъ событій; источникъ его заключался скорѣе въ сердцѣ и увлеченіи, чѣмъ въ сознаніи, чѣмъ въ критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Возбужденное неудачными и тяжелыми внѣшними войнами нашими, это чувство видѣло вокругъ себя въ обществѣ сильное увлеченіе иностраннымъ и въ особенности французскимъ, — увлеченіе, бывшее неизбежнымъ слѣдствіемъ нашей внутренней исторіи со временъ Петра. Пылкому издателю „Русскаго Вѣстника“ это увлеченіе стало казаться измѣною роднымъ началамъ, и онъ всѣми силами старался ему противодѣйствовать. Понятно, что только въ русской, преимущественно древней, до-петровской исторіи, Глинка находилъ и указывалъ свои идеалы; все новое было для него подражаніемъ, заимствованіемъ и потому осуждалось. Въ увлеченіи своемъ онъ нападалъ на новое просвѣщеніе и ставилъ его гораздо ниже древняго. Всѣ статьи „Русскаго Вѣстника“ были полны этимъ содержаніемъ, выражали это направленіе и посвящены были исключительно Россіи; говорить о чемъ-либо иностранномъ — казалось неуваженіемъ къ родинѣ. Общая тема — о любви къ отечеству — повторяется въ журналѣ непрерывно. Герои этой любви и русской доблести, извѣстныя лица, преимущественно древней Руси, и о нихъ издатель говоритъ очень часто и при всякомъ случаѣ. Это: Мининъ,

Авраамъ Палицинъ, Князь Пожарскій, бояринъ Артамонъ Матвѣевъ, кн. Александръ Невскій, кн. Яковъ Долгорукій, древнія московскія царицы, московскіе бояре и проч. Главная мысль издателя, что Россія до Петра В. не была страной варварскою, доказывается всѣми способами: и выписками изъ разныхъ писателей нашихъ, говорившихъ объ этомъ предметѣ <sup>1)</sup>, и цѣлыми статьями, посвященными спеціальной разработкѣ вопроса о томъ, напр. „О просвѣщеніи Русскихъ до временъ Петра Великаго“ <sup>2)</sup> или „О свойствахъ Россіянъ и замѣчанія о измѣненіи кореннаго свойства народовъ“ <sup>3)</sup> и проч. Мысль о поднятіи умственнаго и нравственнаго значенія древней Руси была господствующею мыслию журнала Глинки: „Съ удовольствіемъ читалъ я въ разныхъ мѣстахъ вашего журнала, пишетъ къ издателю одинъ изъ случайныхъ его сотрудниковъ, опроверженія выставленнаго Вольтеромъ и иностранцами слѣпо принятаго мнѣнія, будто наши предки были погружены въ невѣжество и варварство.—Эта неосновательная мысль давно меня огорчаетъ, ибо многія дѣянія отечественной нашей исторіи доказываютъ, что древнее наше правительство было не только просвѣщенное и человеколюбивое, но и образованнѣе многихъ европейскихъ, признаваемыхъ таковыми“ <sup>4)</sup>. Разумѣется, все это древнее русское просвѣщеніе представляется въ свѣтѣ благочестія и истиннаго христіанства: „Возрастая въ страхѣ Божіемъ и простотѣ нравовъ, говоритъ издатель, предки наши заимствовали всѣ понятія свои *отъ наставленія отцовскаго* и изъ духовныхъ книгъ. Они не спорили о какомъ-то первобытномъ природномъ состояніи, о безпредѣльномъ усовершенствованіи ума человѣческаго, но старались исполнять обязанности человѣка, гражданина и христіанина“ <sup>5)</sup>. Глинка доказываетъ, что во времена Рюрика ни одна страна европейская не была просвѣщеннѣе Россіи *въ нравственномъ и политическомъ образованіи* <sup>6)</sup>, и что вообще до Алексѣя Михайловича и до Петра Великаго Россія „едва ли уступала какой странѣ въ гражданскихъ учрежденіяхъ, въ законодательствѣ, въ чистотѣ нравовъ, въ жизни семейственной, и во всемъ томъ, чѣмъ благоденствуетъ народъ, чтущій обычаи праотеческіе, отечество, царя и Бога“ <sup>7)</sup>.

Въ этомъ увлеченіи русскою до-Петровскою стариною, о которой Глинка, къ чести его, заговорилъ первый, хотя и безъ знанія поло-

<sup>1)</sup> Русск. Вѣстн. 1808 г., ч. I, стр. 43—52.

<sup>2)</sup> Ч. III, стр. 17—48.

<sup>3)</sup> Ч. III, стр. 49—64.

<sup>4)</sup> Ч. II, стр. 343.

<sup>5)</sup> Ч. III, стр. 17.

<sup>6)</sup> Ib., стр. 41.

<sup>7)</sup> Ib., стр. 42.

жительнаго, и основываясь только на одномъ чувствѣ, естественно должны были встрѣчаться и въ самомъ дѣлѣ встрѣчались иногда даже очень забавныя преувеличенія. Мы знаемъ изъ біографіи Глинки, что онъ былъ воспитанъ современно, на идеяхъ французской мысли XVIII вѣка, что онъ скорѣе былъ французъ, а не русскій. Не могъ онъ забыть этого образованія; оно было дорого ему и, страннымъ образомъ, его идеи, его содержаніе онъ искалъ, въ древней Руси. Тутъ былъ очевидный недостатокъ логики и сообразительности, сопровождавшій всегда Глинку въ его патріотическихъ статьяхъ. Отъ того у него бояринъ Матвѣевъ умствовалъ о душѣ точно такъ же, какъ Локъ и Кондильякъ<sup>1)</sup>, а предки наши мыслили о человѣкѣ, душѣ и чести подобно древнимъ Сократамъ и Маркамъ Авреліямъ; учрежденіе Ярославомъ I въ 1131 году училищъ соотвѣтствуетъ цѣли Александра I, изъясненной въ 1803 году<sup>2)</sup>. Зотовъ, наставникъ и учитель Петра перваго, руководствовалъ своего питомца способами ученія Кондильяка и Песталоцци, хотя въ то время ихъ и не было на свѣтѣ: потому же и „добродѣтели Марка Аврелія сіяли въ лицахъ нашихъ вѣщеносцевъ“<sup>3)</sup>. Однимъ словомъ, воспоминанія общаго европейскаго образованія, полученнаго Глинкою въ корпусѣ, постоянно жили въ его головѣ; они были дороги ему, и знакомые ему по образованію и ученію образы и идеи онъ желалъ или мечталъ найти въ незнакомой ему до того родной жизни.

Русь рисовалась въ умѣ издателя „Русскаго Вѣстника“ не въ своемъ настоящемъ, а совершенно идеальномъ, созданномъ воображеніемъ, образѣ. Лучшимъ примѣромъ этого отношенія можетъ служить разборъ Глинки „Древнихъ Россійскихъ стихотвореній“, тогда только что въ первый разъ изданныхъ Якубовичемъ. Онъ сравниваетъ ихъ съ поэмами Оссіана и древними французскими балладами<sup>4)</sup>. Въ нихъ, по его словамъ, „изображены всѣ добродѣтели, которыя хранятъ и подкрѣпляютъ общества и области. Сіи добродѣтели суть: человеколюбіе, правота, защищеніе слабого и невиннаго отъ хищной и сильной руки, гостепріимство, богобоязненность, нѣжность, состраданіе къ злополучію и усердіе къ отечеству“. Въ „Древнихъ Русскихъ стихотвореніяхъ“ Глинка ищетъ нравы и „градоотеческія добродѣтели“. Былина о Соловьѣ Будимировичѣ представляетъ доказательство, что въ старину понимали ремесла и искусства<sup>5)</sup>; былина о женитбѣ князя Владимира даетъ поводъ разсуждать о свя-

<sup>1)</sup> Ч. II, стр. 19.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 23.

<sup>3)</sup> Ib., стр. 33.

<sup>4)</sup> Ч. I, стр. 374.

<sup>5)</sup> Ibid., стр. 377—380.

тости гостепріимства и о пагубномъ слѣдствіи страстей <sup>1)</sup>; Ермакъ— о мужествѣ и великодушіи русскихъ <sup>2)</sup>; Глинка сравниваетъ Ермака съ Сципіономъ Африканскимъ. Вотъ, по словамъ Глинки, краткое начертаніе добродѣтелей временъ богатырскихъ: ненарушимость даннаго слова, смѣлость и неустрашимость духа, богобоязненность, скромность, простота нравовъ, усердіе къ службѣ государевой и проч. Глинка былъ какъ бы влюбленъ въ древнюю Русь и, не имѣя, разумѣется, никакихъ о ней положительныхъ знаній, онъ сознательно желалъ видѣть въ ней только хорошее. „Странно, говоритъ онъ, что у насъ всякой почти старается отыскать что-нибудь худое въ своемъ отечествѣ; лучшее же остается безъ примѣчанія, или умышленно представляется въ видѣ невыгодномъ“ <sup>3)</sup>. Глинка впадалъ въ другую крайность: онъ умышленно все изображалъ въ розовомъ свѣтѣ и очень часто доходилъ до смѣшного. Таково, напр., его разсужденіе о „Кормчей книгѣ“, которую онъ называетъ „хранилищемъ божественныхъ и нравственныхъ преданій“; въ ней, по утверженію его, „заключается все то, на чемъ зиждется истинное благо каждаго человѣка особенно и цѣлыхъ обществъ“ <sup>4)</sup>. Естественно, что при такомъ взглядѣ, Глинка долженъ былъ высоко ставить авторитетъ автора „Разсужденія о древнемъ и новомъ слогѣ“ и повторять часто его мысли.

Журналъ съ такимъ содержаніемъ и направленіемъ, посвященными исключительно только русскому и древности русской, долженъ былъ естественно смотрѣть враждебными глазами на все иностранное и даже на просвѣщеніе европейское, которому самъ Глинка былъ такъ много обязанъ. Вызывая образы старины, журналъ долженъ былъ найти сочувствіе во всѣхъ тѣхъ, которымъ была дорога эта старина и ненавистно все новое: „Старики русскіе васъ благодарятъ, да и раскольники русскіе хвалятъ: будетъ время, когда и они благодарятъ“—пишетъ къ издателю одинъ поклонникъ старины изъ Казани <sup>5)</sup>, выставляющій на показъ глубокую ненависть къ *дѣтямъ*, которыя съ своимъ французскимъ воспитаніемъ сдѣлались будто бы умнѣе отцевъ. Такого же содержанія и письмо *Старовцова* къ издателю <sup>6)</sup>. Старинный идеалъ воспитанія сдѣлался дорогъ Глинкѣ; время увлеченія общимъ образованіемъ, европейскими началами— прошло, и Аракчеевъ, котораго Глинка называетъ „знаменитымъ

<sup>1)</sup> Ч. I, стр. 380—389.

<sup>2)</sup> Ч. II, стр. 206—214.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 250.

<sup>4)</sup> Ч. III, стр. 189—200.

<sup>5)</sup> Ч. II, стр. 186.

<sup>6)</sup> Ч. III, стр. 201 сл.



Россіяниномъ“, приглашенный подписаться на „Русскій Вѣстникъ“, могъ уже открыто и съ сознательною гордостью выставить себя всѣмъ на образецъ: „А я, какъ бѣдный дворянинъ, пишетъ онъ къ Глинкѣ, воспитанъ былъ совершенно по русски: учился грамотѣ по Часослову, а не по рисованнымъ картамъ. Потомъ выученъ будучи читать Псалтырь за упокой по своимъ родителямъ, посланъ на службу государя и препорученъ въ С.-Петербургѣ чудотворной Казанской иконѣ, съ такимъ родительскимъ приказаніемъ, дабы я всѣ мои дѣла начиналъ съ ея соизволенія, чему слѣдую и по сіе время“ <sup>1)</sup>). Вотъ что было теперь дорого Глинкѣ, дороже того общаго, съ широкимъ содержаніемъ образованія европейскаго, которое давалъ ему въ молодости корпусъ при Ангальтѣ.

Намъ нѣтъ надобности продолжать далѣе изложеніе идей Глинки въ его журналѣ, нашедшемъ сочувствіе и отголосокъ въ обществѣ. Достаточно познакомиться съ однимъ первымъ годомъ „Русскаго Вѣстника“, чтобъ знать и дальнѣйшее его содержаніе. Ничего особеннаго дѣльнаго не могъ высказать издатель ни въ первый, ни въ послѣдующіе годы своего журнала: для этого нужно было имѣть знанія и таланта болѣе, чѣмъ сколько было у него. „Русскій Вѣстникъ“ былъ порожденіемъ патріотическаго чувства Глинки, вспыхнувшего для самого его неожиданно и вдругъ; какъ выраженіе одного чувства, онъ долженъ быть по своему содержанію однообразенъ и утомителенъ. Въ самомъ дѣлѣ: стихи, помѣщенные въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, вполне соотвѣтствуютъ общему его содержанію и направленію: это или выраженіе патріотическихъ чувствъ издателя, или воспѣваніе древнихъ русскихъ доблестей или современныхъ военныхъ подвиговъ. Повѣсти „Вѣстника“ — понятно чужды вполне современной жизни и берутъ свое содержаніе, по рецепту Шишкова, — изъ Четыхъ Миней или изъ древней русской исторіи, и тогда въ нихъ сказывается господствующая въ литературѣ Карамзинская сентиментальность. Разумѣется больше всего журналъ говорилъ о коренныхъ свойствахъ русскаго характера, восхваляя ихъ, и разсуждалъ на темы, въ которыхъ выражалось современное патріотическое направленіе: о благоговѣніи къ русскимъ царямъ, о вѣрности русскихъ дворянъ отечеству и престолу, о благодѣтельныхъ помѣщикахъ и т. п. Народъ, т.-е. простого крестьянина, съ его жизнію, страданіями и лишеніями, въ журналѣ все-таки незамѣтно, несмотря на то, что Глинка и говорилъ о немъ; слова его были только фразы; чувство, выражавшееся въ „Вѣстникѣ“, было узко сословный патріотизмъ, глубоко консервативный и ненавидящій все новое, а вмѣстѣ

<sup>1)</sup> Ч. II, стр. 245.

съ нимъ, попятно, и просвѣщеніе, возможное для насъ только на европейскихъ началахъ. Это упорное ретроградное направленіе и призывъ къ возвращенію исчезнувшей старины, эта пылкая проповѣдь русскихъ началъ, неясныхъ, неопредѣленныхъ, туманныхъ для самого Глинки, конечно, не сознававшего вполне къ чему онъ призывалъ общество, должны были, несмотря на всю ничтожность нашего тогдашняго литературнаго развитія, вызвать отпоръ въ тѣхъ людяхъ, которымъ сколько нибудь дорого было просвѣщеніе и новое русское развитіе, начавшееся въ Россіи съ воцареніемъ Александра. Какъ ни далеки были тогда другъ отъ друга журналы, одинокіе и разрозненные, выражавшіе не мысль общественную, а личные вкусы своихъ издателей,—все же мы можемъ въ нихъ встрѣтить полемику, хотя и серомную, противъ направленія и проповѣди Глинки. Такъ „Московский Вѣстникъ“, еженедѣльный журналъ, издававшійся въ 1809 году карамзинистомъ Макаровымъ, возсталъ вообще противъ криковъ современныхъ патріотовъ и въ особенности журнала Глинки: „Большая часть сихъ самопроизвольныхъ заступниковъ отечественнаго, говоритъ издатель, нашли всю пользу свою или находятъ ее въ томъ, чтобъ бранить иностранное, проклиная чужихъ учителей или ученыхъ, довольствоваться единственно своимъ, хотя бы и худымъ и невѣжественнымъ; но отнюдь не перенимать ничего хорошаго и необходимаго со стороны чуждой... Лучшая система добродѣтели ихъ основывается на томъ, чтобъ учиться отъ какого-нибудь Ульяна Березкина и Вѣнникова (псевдонимы Растопчина въ „Вѣстникѣ“); не спрашивая того, какъ они учены и чему учены“... Для Макарова крикуны эти—фальшивые патріоты. Онъ указываетъ имъ на примѣръ настоящаго патріота, Петра В., „который ѣздилъ нарочно по бѣлому свѣту для того, чтобъ все узнавать, все испытывать, всему научиться“... Онъ увлекся-было криками Березкиныхъ и Вѣнниковыхъ и самъ сдѣлался-было патріотомъ въ ихъ родѣ, но „нѣкоторые изъ пріятелей моихъ доказали фальшь моего патріотизма, открыли мнѣ многое хорошее въ чужомъ, и я согласился, что намъ не мѣшаетъ и еще перенимать и еще научиться доброму и хорошему отъ иностранцевъ“<sup>1)</sup>. Около этой мысли только и вертѣлось опроверженіе; политической стороны тенденцій Глинки возразитель не касался.

Другой современный журналъ „Цвѣтникъ“, издававшійся Беницкимъ и А. Е. Измайловымъ, ограничился простою насмѣшкою надъ направленіемъ Глинки. Неизвѣстный авторъ этой насмѣшки рассказываетъ, что онъ видѣлъ во снѣ болото и въ немъ множество

<sup>1)</sup> Моск. Вѣстн., 1809 г., стр. 277.

завязшихъ людей, которыхъ вытаскиваютъ другіе. Одинъ изъ вытащенныхъ, бывшій даже суше другихъ, снова „стремглавъ бросился въ болото, увязъ въ грязь, такъ что виденъ былъ лишь воротникъ его *зеленаго* кафтана (обвертка „Русскаго Вѣстника“) и закричалъ: „Что вы, друзья, нашли хорошаго на солнцѣ? Оно только что па-литъ васъ; возвратитесь опять въ болото;“ здѣсь прохладно и спо-койно! то-то раздолье! Всѣ смотрѣли на чудака, но никто за нимъ не слѣдовалъ... Увязшій кричалъ безъ умолку, а что—того право я не могъ разобрать“ <sup>1)</sup>). Эта насмѣшливая выходка показываетъ, что въ петербургской журналистикѣ были люди, которые понимали смѣш-ную сторону увлеченій Глинки и видѣли недолговѣчность его на-правленія, не придавая ему большого значенія. Подъ патріотиче-скими выходами Глинки легко могло скрываться самодовольное не-вѣжество. Это было выражено въ той французской эпиграммѣ, ко-нецъ которой приводитъ самъ Глинка въ своихъ запискахъ <sup>2)</sup>):

A présent sur un ton rempli de suffisance,  
A ses concitoyens il prêche l'ignorance“...

Молодые, болѣе образованные литераторы того времени, при томъ, вовсе не серьезномъ взглядѣ вообще на нашу литературу, господ-ствовавшемъ въ кружкахъ, не желали вести полемику съ Глинкой и не придавали его дѣятельности важнаго значенія. Умный Даш-ковъ прямо говорить о бѣдности мыслей у Глинки <sup>3)</sup>). Батюшковъ въ своемъ сатирическомъ „Видѣніи на берегахъ Леты“ чрезвычайно вѣрно схватилъ личность издателя „Русскаго Вѣстника“ и его лю-бовь къ фразамъ. Передъ адскимъ судьей Миносомъ, одна за другой являются тѣни русскихъ писателей, каждая въ немногихъ, но до-вольно забавныхъ стихахъ высказывая содержаніе своей дѣятель-ности. За княземъ Шаликовымъ является Глинка:

„Уф! я усталъ; подайте ступы!—

говорить онъ,—

Позвольте мнѣ, я очейъ славенъ!  
Безсмертенъ я, пока забавенъ!“  
Ктожь ты? „Я *русскій и поэтъ*.  
Я самъ бѣгу, лечу за славой;  
Мнѣ врагъ—чужой разсудокъ здравый,  
Для русскихъ правъ—мой толкъ кривой,  
И въ томъ кланусь моей душой!“  
Да кто же ты? — Жанъ Жакъ я русскій,  
Расинъ и Локъ и Юнгъ я русскій!

<sup>1)</sup> Цвѣтникъ 1810 г., ч. VI, стр. 358—359.

<sup>2)</sup> Стр. 247.

<sup>3)</sup> Русск. Арх. 1866 г., стр. 495.

Три драмы русских сочинилъ,  
Для русских—нѣтъ ужъ болѣ силъ!  
Писалъ для русских драмы слезны,  
Труды мои всѣ бесполезны:  
Вина тому развратъ умовъ!  
Сказать, въ рѣку, и былъ таковъ!" <sup>1)</sup>

Больше всего и остроумнѣе досталось Глинкѣ отъ Воейкова, который сначала даже самъ участвовалъ въ его „Вѣстникѣ“. Въ „Парнасскомъ Адресъ-Календарѣ“ Воейкова Глинка „снабжаетъ отхожій кабинетъ патріотической русской музы мягкой бумагою“ <sup>2)</sup>, но лучше всего изображенъ онъ въ „Домѣ Сумасшедшихъ“:

„Нумеръ третій: на лежанкѣ  
Истинъ Глинка возсѣдѣтъ,  
Передъ нимъ духъ русскій въ склянкѣ  
Не откупоренъ стоитъ.  
Книга Кормчая отверста  
И уста отверзены.  
Сложены десной два перста,  
Очи вверхъ устремлены.  
О, Расинъ! Откуда слава?  
Я тебя, дружокъ, поймалъ:  
Изъ російскаго Стоглава  
Ты Гофолію укралъ.  
Чувствъ возвышенныхъ слязнь,  
Выраженья красота  
Въ Андромакѣ — подражанье  
Погребенію kota!“

Такъ тѣшились наши писатели того времени другъ надъ другомъ, и мы нарочно привели часть эпиграммъ, сыпавшихся на Глинку и его направленіе, чтобъ показать характеръ тогдашней полемики.

Самъ Глинка считалъ себя „сторожемъ духа народнаго“. Это, конечно, преувеличено, но его „Русскій Вѣстникъ“ все-таки имѣетъ историческое значеніе въ русской литературѣ, и статьи его, одностороннія, но страстно преданныя одному направленію, имѣли смыслъ, приготовляя духъ народный къ тяжкимъ испытаніямъ 1812 года. Весь трудъ изданія журнала, послѣ перваго года, лежалъ на одномъ Глинкѣ. Онъ самъ говоритъ, что у него не было сотрудниковъ. Эта преданность Глинки единой, всего его поглотившей мысли была источникомъ его чрезвычайной популярности въ московскомъ простонародіи въ 1812 году; онъ велъ толпы народа на встрѣчу государя въ его пріѣздъ въ Москву, весною этого года. Московскіе студенты

<sup>1)</sup> Соч. Спб. 1887 г., т. I, кн. 2, стр. 81.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1866 г., стр. 763.

любили Глинку, благодарили его за возбужденіе въ нихъ патріотизма. Но этимъ патріотическимъ 12 годомъ и кончилась историческая роль Глинки въ литературѣ. Все, что печаталъ онъ съ тѣхъ поръ, все это не имѣло значенія, писалось только для денегъ, для приобрѣтенія средствъ. „Русскій Вѣстникъ“ не возбуждалъ прежняго восторга; онъ падалъ; число подписчиковъ уменьшалось: „Вызовы Минина, Пожарскаго и другихъ старожиловъ лѣтописей, говоритъ онъ самъ съ грустію, утомляли слухъ. Духъ времени требовалъ освѣженія словесности“ <sup>1)</sup>, но Глинка былъ уже не способенъ на это, онъ остался при старомъ, и вся послѣдующая долгая жизнь его представляетъ только борьбу съ бѣдностію, тяжелую работу перомъ изъ-за куска хлѣба.

## ЛЕКЦІЯ XXVI.

Новыя нападки Шишкова на современную литературу.—Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа.—Д. В. Дашковъ и его критика на сочиненія Шишкова.—Отвѣтъ Шишкова.

Между тѣмъ, подъ вліяніемъ патріотическаго настроенія общества и зародившейся патріотической литературы снова появился въ печати и Шишковъ съ новыми статьями своими, наполненными однако старымъ содержаніемъ. Усиленный тѣми голосами, которые теперь, казалось, раздавались въ литературѣ въ его защиту, подкрѣпляли или раздѣляли его мнѣніе, онъ думалъ, что настало удобное время снова напасть на своихъ враговъ, т.-е. на писателей, употреблявшихъ въ своихъ сочиненіяхъ новый слогъ и подражавшихъ Карамзину. Другого, внѣшняго повода къ печатному высказыванію его мыслей—не было. Онъ видѣлъ, что его убѣжденія, искренно имъ исповѣдуемые, теперь получили перевѣсъ; онъ самъ говоритъ, что его первое извѣстное „разсужденіе“ расположило къ себѣ многихъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ „службою, лѣтами и нравами почтенныхъ“, что даже иностранцы отзывались о ней съ почтеніемъ и „только въ господахъ журналистахъ нашихъ“ онъ не былъ такъ счастливъ. Но вся сила ихъ критики и доказательствъ, по словамъ Шишкова, заключается въ словахъ: „онъ одинъ, а насъ много“. Онъ не боится однако этого множества; за личныя оскорбленія Шишковъ не считаетъ нужнымъ вступаться... „Но когда вижу распространеніе мнѣній, способствующихъ къ упадку языка нашего и словесности, тогда ничто не удержитъ меня доказывать нелѣпость и лживость сихъ умство-

<sup>1)</sup> Записки, стр. 309.

ваній, которыя смѣшны и странны при свѣтѣ разума, но весьма вредны и заразительны при мракѣ усиливающихся заблужденій“... Эти заблужденія, заключающіяся въ *новомъ слогѣ*, Шишковъ ставитъ въ связь съ французской революціей и въ новыхъ словахъ, употребляемыхъ карамзинскою школою, онъ видитъ или желаетъ видѣть глубоко ненавидимыя имъ понятія: „когда чудовищная французская революція, поправъ все, что основано было на правилахъ вѣры, чести и разума, произвела у нихъ новый языкъ, далеко отличный отъ языка Фенелоновъ и Расиновъ, тогда и наша словесность, по образу ихъ новой и нѣмецкой, искаженной французскими названіями словесности, стала дѣлаться непохожею на русскій языкъ“<sup>1)</sup>. Вотъ гдѣ источникъ ожесточенныхъ нападеній Шишкова на новую русскую словесность. Онъ стоитъ за старый авторитетъ; ему не нравится, что молодые писатели позволяютъ себѣ имѣть мнѣніе. „Вскорѣ появились у насъ не два или три, но цѣлыя полки сочинителей, которые, ничего не написавъ, ничего не прочитавъ, вдругъ возмечтали о себѣ, что они Лонгины, Квинтилианы, Лагарпы, и стали обо всемъ судить и рядить по своему; стали проповѣдывать, что языкъ нашъ грубъ, бѣденъ, неустановленъ, удаленъ отъ просторѣчія; что надобно всѣ старыя слава бросить, ввести съ иностранныхъ языковъ новыя названія, новыя выраженія, разрушить свойство прежняго слога, переимѣнить словосочиненіе его и однимъ словомъ писать не по русски“<sup>2)</sup>. Вотъ на что собственно нападаетъ Шишковъ; старая цѣль постоянно у него передъ глазами: это языкъ, испорченный подражаніемъ французскому, а подражаніе начинается у насъ, по словамъ Шишкова, съ Петра. Зло глубоко пустило корень и бороться съ нимъ онъ считаетъ своею обязанностью. Съ этою цѣлію Шишковъ въ 1808 году перевелъ изъ Лагарпа: а) сравненіе французскаго языка съ древними и в) о краснорѣчіи и напечаталъ ихъ тогда же, снабдивъ ихъ разными примѣчаніями, въ которыхъ высказывалъ прежнее: старую борьбу свою съ новымъ слогомъ. Можетъ быть самый Лагарпъ, этотъ знаменитый критикъ и историкъ литературы XVIII вѣка, нравился ему своею ненавистью къ французской революціи. Извѣстно, что сначала Лагарпъ раздѣлялъ всѣ ея мнѣнія, оправдывалъ всѣ ея дѣйствія, но послѣ паденія Робеспьера, которому онъ льстилъ при жизни, круто измѣнилъ свои убѣжденія и сталъ ожесточенно нападать на все, чему прежде поклонялся.

Шишковъ воспользовался мыслями Лагарпа о богатствѣ латинскаго языка сравнительно съ бѣдностію французскаго, чтобъ повто-

<sup>1)</sup> Соч. и перев., ч. III, стр. 259—263.

<sup>2)</sup> *Ib.*, стр. 259—260.

рять свои старыя утвержденія о богатствѣ славянскаго языка, т.-е. языка перевода книгъ священнаго писанія. Этотъ древній языкъ долженъ быть постояннымъ источникомъ новаго, какъ источникъ родной, а не чуждый. Нашъ же современный языкъ удалился отъ этого источника, и наши сочиненія начинаютъ быть похожими на переводы. Это отъ того, что забыть древній славянской языкъ, отличающійся богатствомъ и зрѣлостію понятій. На него онъ смотритъ какъ на что-то священное; по его словамъ, онъ представляется „плодомъ долговременнаго умствованія“ <sup>1)</sup>. Шишковъ предполагаетъ даже, что до перевода на славянской языкъ на немъ существовали сочиненія, теперь утраченныя; иначе нельзя объяснить его силу и богатство.

Въ предисловіи своемъ ко второй Лагарповой статьѣ Шишковъ развиваетъ любимую тему объ иностранныхъ словахъ, введенныхъ и вводимыхъ насильственно новыми писателями въ русскій языкъ и не соответствующихъ его генію. Приводя разные примѣры этихъ иностранныхъ словъ, Шишковъ въ особенности останавливается на тѣхъ, совершенно техническихъ выраженіяхъ, которыя давно уже употребляются въ наукѣ реторики, будучи заимствованы изъ языка греческаго. Почтенный ревнитель чистоты русскаго языка утверждаетъ, что и ихъ слѣдуетъ отбросить и замѣнить соответствующими русскими выраженіями. Съ этою цѣлію, чтобы показать примѣръ, въ переводѣ своемъ второй Лагарповой статьи онъ не употребляетъ ни одного иностраннаго слова и всѣ извѣстныя техническія выраженія переводитъ по русски. Исполненіе такой задачи не обходится разумѣется безъ натяжекъ, иногда довольно забавныхъ, которыя и были тотчасъ замѣчены критикою. Враговъ своихъ Шишковъ даже затронулъ впередъ выходкою, которая не имѣла ничего общаго съ предметомъ спора и старалась выставить защитниковъ новаго слова въ видѣ не очень нравственнаго. Представитель ихъ у Шишкова, по словамъ его, „не читавъ ничего, кромѣ переводимыхъ по два тома романовъ въ недѣлю и не бывавъ сроду ни у заутрени, ни у обѣдни, не хочетъ вѣрить, что *благодатный*, *неискусобрачная*, *тлетворный*, *злосознанный*, *багрянородный* — суть русскія слова, и утверждаетъ это тѣмъ, что онъ ни въ *Лизѣ* ни въ *Анютѣ* ихъ не читалъ“ <sup>2)</sup>. Разумѣется, больше всего возмущаетъ Шишковъ противъ французскаго воспитанія нашего общества, противъ всеобщаго употребленія въ нашемъ обществѣ французскаго языка, языка нашихъ враговъ. Политическія отношенія времени придавали особенную

<sup>1)</sup> Ib., стр. 249.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 316.

силу этимъ нападеніямъ. Съ грустію замѣчалъ Шишковъ, что „осмыслѣннѣе дитя читаетъ у насъ, какъ самъ Лекенъ, стихи Вольтеровы, и не умѣетъ, не только наизусть, ниже по книгѣ прочитать *блаженъ мужъ* или *отче нашъ*“<sup>1)</sup>, или: „наша женщина съ русскою въ рукахъ книгою, или съ письмомъ по русски написаннымъ, хотя бы то было къ старику ея дѣдушки, опасается быть выключенною изъ избраннаго общества и попасть въ толпу тѣхъ непросвѣщенныхъ людей, которые думаютъ, будто въ своей землѣ надобно умѣть говорить по своему“<sup>2)</sup>.

Въ этомъ нападеніи Шишкова на слогъ новыхъ писателей, какъ и въ прежнемъ его „разсужденіи“ заключались и вѣрные замѣчанія и преувеличенія. Послѣднихъ, разумѣется, было больше, ибо критикъ невольно увлекался пристрастіемъ къ основной своей мысли. Какъ и прежде, такъ и теперь нападенія Шишкова не остались безъ опроверженія. Новымъ критикомъ явилось лицо совершенно до того неизвѣстное въ литературѣ, случайно выступившее въ ней и потомъ скоро промѣнявшее ее на государственную службу, гдѣ пріобрѣло себѣ высокое значеніе и имя. Это былъ отличавшійся умомъ, широкимъ образованіемъ и твердостью своихъ убѣжденій Д. В. Дашковъ, принадлежавшій къ числу немногихъ замѣчательныхъ государственныхъ людей въ царствованіе Николая, когда онъ былъ министромъ юстиціи.

Дашковъ происходилъ изъ богатаго дворянскаго рода и получилъ образованіе свое въ концѣ прошлаго вѣка въ благородномъ Московскомъ пансіонѣ при университетѣ; онъ былъ младшимъ товарищемъ Жуковскаго, которому даже былъ порученъ своими родителями. Служба его по окончаніи курса въ пансіонѣ, гдѣ воспитанники слушали университетскія лекціи, началась въ Московскомъ Архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; однимъ изъ товарищей его по Архиву былъ Блудовъ; съ нимъ Дашковъ подружился надолго и вмѣстѣ потомъ, почти одновременно и неразлучно, они сдѣлали свою служебную карьеру и оба стали министрами при Николаѣ.

Близкія отношенія Дашкова къ Жуковскому познакомили его, съ другой стороны, съ литературнымъ кругомъ: Дашковъ былъ друженъ съ Батюшковымъ, Тургеневыми, княземъ Вяземскимъ и поклонялся талантамъ Карамзина и Дмитріева. Литературные вопросы и интересы были дороги ему довольно долгое время, хотя онъ измѣнялъ имъ ради службы или, скорѣе, служебной карьеры. Въ молодости, какъ это видно изъ немногихъ писемъ его къ пансіонскому товарищу Грам-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 330.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 333.



матину, Дашковъ очень уважалъ Вольтера; онъ былъ вообще отлично знакомъ съ французской литературой XVIII вѣка, зналъ и англійскій языкъ и цѣнилъ Шекспира <sup>1)</sup>. Переселившись изъ Москвы въ Петербургъ на службу, гдѣ ему въ особенности покровительствовалъ И. И. Дмитріевъ, Дашковъ довольно долго не покидалъ еще ни своихъ литературныхъ друзей, ни своихъ литературныхъ симпатій; къ литературѣ его влекло образованіе и тотъ кругъ пріятельскій, въ которомъ онъ жилъ. Дашковъ случайно участвовалъ въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ, живо интересовался современною литературною борьбою невиннаго, но остроумнаго „Арзамасскаго общества“, членами котораго были всѣ друзья его, съ „Бесѣдою“, гдѣ главными дѣйствующими лицами были Шишковъ и Державинъ, писалъ самъ эпиграммы и въ прозѣ и въ стихахъ на Шаховскаго, Шишкова, Хвостова и другихъ. Но всѣ эти литературные вкусы и стремленія оставались Дашковымъ постепенно, по мѣрѣ успѣховъ его служебной карьеры и его возвышенія. Такая измѣна литературному дѣлу случалась тогда очень часто и была вполне естественною. Въ самомъ дѣлѣ, какую привлекательность могла представлять въ то время наша литература, нѣмая, безгласная, не имѣющая никакого вліянія на общество, почти презираемая или только терпимая властію, нищая въ лоскуткахъ, оборванныхъ безсмысленною цензурою— для человѣка съ талантами, съ образованіемъ, съ честолюбіемъ. Литературная дѣятельность не могла привлекать подобныхъ людей. На этомъ поприщѣ подвизались тогда люди полуобразованные, которымъ особенно дороги были ихъ жалкіе интересы, чуждые жизни и дѣйствительности. Это было даже замѣчено современными журналистами. „Наблюдая образованіе нашихъ писателей, говоритъ одинъ изъ нихъ, всякъ долженъ удивляться, что у насъ ихъ такъ много и довольно хорошихъ. Большая часть изъ нихъ, какъ портной Тришка, учились самоучкою. Рѣдкіе получили ученое воспитаніе. Выучившись читать и писать по русски (иногда и тому весьма плохо), затвердивъ наизусть нѣсколько французскихъ стиховъ, зная, что во Франціи писали трагедіи Расинъ и Корнель, а комедіи Мольеръ, наши молодые люди почитаютъ себя совершенными и начинаютъ переводить, сочинять, печатать, издавать“...<sup>2)</sup>). Онъ же указываетъ на тотъ фактъ, что лучшие люди удаляются отъ литературной дѣятельности, хотя и выставляетъ тому другую причину: „Не довольно внимательная къ истиннымъ достоинствамъ публика наша (то есть многочислѣннѣйшая часть) причиною, что многіе люди съ талантомъ

<sup>1)</sup> Библ. Зап. 1895 г., т. II, стр. 257—263.

<sup>2)</sup> Цвѣтникъ 1810 г., ч. VI, стр. 349.

и познаніями вскорѣ начинаютъ скучать упражненіями въ словесности и посвящаютъ свои дарованія государственной службѣ. Многие изъ нынѣшнихъ полезныхъ чиновниковъ государства (изъ которыхъ большая часть училась въ Московскомъ и нѣкоторые въ иностранныхъ университетахъ) въ молодости своей успѣшно занимались словесностью.

Хладнокровіе публики, не умѣющей цѣнить ихъ талантовъ, заставило ихъ бросить ученые занятія. Еслибъ я смѣлъ, то называлъ бы таковыхъ людей двадцать и больше, занимающихъ нынѣ почетныя мѣста въ государствѣ. Вообще рѣдкій писатель трудится у насъ болѣе пяти лѣтъ сряду. Одобреніе и награда публики столь слабы, а досады и неудовольствія, сопряженныя съ состояніемъ писателя, такъ велики, что должно имѣть самую страстную любовь къ словесности, чтобъ заниматься ею долго<sup>1)</sup>.

Къ числу этихъ отставшихъ отъ литературы образованныхъ и талантливыхъ людей принадлежалъ и Дашковъ. Его увлекло служебное честолюбіе, и по мѣрѣ своихъ успѣховъ, онъ забывалъ старыхъ друзей и товарищей по воспитанію и службѣ. Такъ Милюковъ, довольно замѣчательный сатирикъ, товарищъ ему по московскому пансіону, жалуется очень горько на его надменность<sup>2)</sup>. Въ 1817 году Дашковъ получилъ мѣсто совѣтника при посольствѣ въ Константинополь, гдѣ пробылъ около пяти лѣтъ и съ тѣхъ поръ не принималъ уже никакого участія въ литературномъ движеніи. Но въ эпоху появленія „Двухъ статей изъ Лагарпа“, переведенныхъ Шишковымъ, литература сильно занимала умъ Дашкова. Споръ Шишкова съ Карамзинистами и нападенія его на новый слогъ придали ей нѣкоторое оживленіе; тутъ была борьба мнѣній, столкновение стараго съ новымъ, и Дашковъ явился на сторонѣ послѣдняго и потому, что уважалъ талантъ Карамзина и придавалъ его реформѣ слога большое значеніе, и потому, что въ нападеніяхъ Шишкова было много несправедливаго. Дашковъ, конечно, не былъ филологомъ, но въ его критикѣ<sup>3)</sup> очень много здраваго смысла и правды. Она отличается и достоинствомъ и безпристрастіемъ. Онъ совершенно согласенъ съ Шишковымъ относительно излишняго введенія въ языкъ нашъ несвойственныхъ ему словъ и оборотовъ, но замѣчаетъ, что требованія Шишкова въ этомъ отношеніи слишкомъ парадоксальны, слишкомъ широки, хотя и повторяютъ то же самое, что высказано

<sup>1)</sup> Гл. VI, стр. 349—351.

<sup>2)</sup> Библ. Зап. 1895 г., т. II, стр. 301—2.

<sup>3)</sup> Цвѣтн. 1810 г., ч. VII.

было уже имъ въ его прежнемъ разсужденіи. Дашковъ справедливо замѣчаетъ преувеличеніе Шишкова въ томъ, что онъ совершенно смѣшиваетъ, соединяетъ въ одно два языка: славянскій и русскій въ *славяно-русскій*, хотя самъ совершенно ложно увѣряетъ, что русскій языкъ отдѣлился отъ славянскаго *введеніемъ множества татарскихъ словъ и выраженій*, совсѣмъ прежде неизвѣстныхъ. Соглашается Дашковъ съ Шишковымъ и въ томъ, что употребленіе славянскаго языка необходимо для возвышеннаго слога (это была дань господствующей теоріи), но употребленіе славянскихъ словъ и для этой цѣли требуетъ большой осторожности. Богатство языка, въ противность утвержденію защитника стараго слога, Дашковъ видитъ не въ его древнемъ и неизмѣняемомъ видѣ, а въ обогащеніи его новыми понятіями, а слѣдовательно и словами, только бы слова эти были хороши и точно выражали понятіе. Самъ защитникъ старыхъ словъ употребляетъ иногда выраженія, заимствованныя вовсе не изъ славянскаго языка, и употребляетъ съ большимъ успѣхомъ <sup>1)</sup>.

„Хотѣть все вдругъ перемѣнить, хотѣть переводить всякое слово безъ разбора, есть также погрѣшность: ибо вмѣсто извѣстнаго и значительнаго иностраннаго слова, вездѣ употребляемаго, мнѣ вбиваютъ въ голову другое *славенорусское*, или лучше сказать—славено-варварское, совсѣмъ того смысла не выражающее“ <sup>2)</sup>. Дашковъ указываетъ нѣсколько такихъ переведенныхъ Шишковымъ словъ, которыя не сохраняютъ смысла подлинника, напр. *лицедѣй*—актеръ, *краснословъ*—ораторъ, *вещесловіе*—матерія, произношеніе—просодія, художественныя, вмѣсто техническія названія и пр. Необходимо поэтому согласиться, что есть такія слова иностранныя, безъ которыхъ мы не можемъ обойтись, потому что не имѣемъ соотвѣтственныхъ имъ русскихъ выраженій. Чѣмъ замѣнить, напр., слова *критикъ*, *парадоксъ*, *синонимъ* и т. п.? Шишкову очень нравилась, и совершенно справедливо, способность русскаго языка къ составленію сложныхъ словъ; это доказываетъ богатство и особую упругость языка; но примѣры, имъ приводимые, были не совсѣмъ удачны, напр. онъ хвалилъ взятое имъ изъ священныхъ пѣсней прилагательное къ дереву—*благодѣтельнолиственное*, при чемъ забывалъ, что это буквальный переводъ съ языка греческаго, который скорѣе допускаетъ подобныя сложные слова, чѣмъ русскій. Дашковъ въ насмѣшку приводитъ составленные по этому образцу сложные слова изъ одного современнаго рукописнаго перевода „Освобожденнаго Іерусалима“: *длинноустозакоптьмля*

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 277.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 296.

брада, *христобоготокланяемая* страна—и доказываетъ этими примѣрами, какъ надобно быть осторожнымъ при составленіи новыхъ словъ.

У самого Шишкова критикъ находитъ тяжесть и неправильность слога и приводитъ довольно большое число примѣровъ, гдѣ онъ самъ, переводя изъ Лагарпа, не могъ удержаться отъ галлицизмовъ, отъ словъ, составленныхъ совсѣмъ не по-русски. Примѣры эти приведены были очень ловко и должны были задѣть за живое защитника чистоты русскаго слога, произвольно нарушившаго ее. Очень умно отвѣтилъ Дашковъ и на косвенный упрекъ въ неуваженіи къ религіознымъ обрядамъ, сдѣланный Шишковымъ всѣмъ Карамзинистамъ: „Показывать ошибки и опровергать должны умствованія писателей позволено всякому, говорить онъ; но не должно касаться до чести и мнѣній о вѣрѣ какого бы то ни было человѣка, даже и не называя его. Затѣмъ къ обыкновеннымъ сужденіямъ о словесности примѣшивать постороннія укоризны о неисполненіи обрядовъ, предписанныхъ церковью? Г. переводчикъ, конечно, самъ не захочетъ, чтобы мы, подражая ученымъ протекшихъ вѣковъ, при малѣйшемъ спорѣ называли другъ друга безбожниками и богохульниками<sup>1)</sup>).

Такимъ образомъ становится довольно яснымъ, что подъ споромъ о словахъ скрывался споръ о понятіяхъ и убѣжденіяхъ, но высказывать послѣднія свободно и открыто и защищать ихъ было невозможно въ ту пору. Какъ бы то ни было, и писатели и журналисты раздѣлились въ то время на два лагеря: къ Шишкову, къ старикамъ литературнаго преданія, къ заслуженнымъ генераламъ литературы, у которыхъ образовался вскорѣ центръ соединенія въ „Бесѣдѣ любителей Россійскаго слова“, пристало все, чтò въ литературѣ было бездарнаго или приниженнаго и искательнаго, въ надеждѣ выиграть искательствомъ и лестью у знатныхъ стариковъ. Другая сторона, гдѣ находились люди съ дѣйствительными знаніями и талантами, образовала противоположный центръ въ такъ называемомъ „Арзамасскомъ обществѣ“. Но люди эти смотрѣли на литературу, какъ на забаву между дѣлъ, какъ на отдыхъ послѣ болѣе трудныхъ и болѣе уважаемыхъ занятій; вся ихъ дѣятельность ограничивалась насмѣшкой и пародіей на внѣшнюю обстановку литературныхъ занятій „Бесѣды“ и въ особенности на слогъ ея членовъ. Здѣсь, именно въ трудахъ „Бесѣды“, нашелъ себѣ пріютъ тотъ слогъ, который рекомендовалъ съ такимъ усердіемъ Шишковъ. Здѣсь находили полное одобреніе напыщенные, насыщенные славяно-церковными выраженіями вирши Боброва, кн. Ширинскаго-Шихматова, переводы Захарова и подобныя произведенія еще болѣе бездарныхъ писателей, въ родѣ доносчика Гера-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 430—431.

кова. Все это, разумѣется, давало обширный матеріалъ для насмѣшекъ, но дѣло и ограничивалось только ими.

Упорный Шишковъ не могъ и теперь не отвѣтить своему новому критику, какъ отвѣчалъ онъ прежнимъ. Онъ твердо стоялъ на своемъ и считалъ своимъ долгомъ защищать высказанныя имъ разубѣжденія. Этотъ отвѣтъ вошелъ въ его новое „Разсужденіе о краснорѣчій священнаго писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила Россійскаго языка, и какими средствами онъ еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно“. Разсужденіе это было имъ читано въ годовомъ собраніи Россійской Академіи въ декабрѣ 1810 года, а потомъ, печатая его въ слѣдующемъ году, онъ присоединилъ къ нему „присовокупленіе“, въ которомъ и заключенъ отвѣтъ его критику. Разсужденіе это было писано на двѣ темы, заданныя Академіей, т.-е. по всей вѣроятности, самимъ Шишковымъ; темы эти онъ соединилъ въ одно, а самое разсужденіе представляетъ слѣдующія три части: а) о превосходныхъ свойствахъ нашего языка, б) о краснорѣчій священныхъ писаній и с) какими средствами словесность наша обогащаться можетъ, и какими приходитъ въ упадокъ.

Нѣтъ никакой надобности входить въ подробное изложеніе этого новаго произведенія Шишкова; настоящимъ филологомъ онъ не былъ и отличался только платоническою любовью къ славянскому языку. По его собственнымъ словамъ, этотъ языкъ былъ для него „нѣкая чудная загадка, понынѣ еще темная и не разрѣшенная“. Онъ говорилъ о языкѣ или наивныя или бессодержательныя фразы; на языкъ славянской смотрѣлъ, какъ на первоначальный. Подражаніе звукамъ природы, впечатлѣнія предметовъ на органы слуха и зрѣнія—вотъ источники словъ. Поэтому Шишковъ говорилъ напр.: „ежели умъ примѣчалъ въ какой либо видимой вещи круглость, то для составленія имени ея выбиралъ и буквы такой же образъ имѣющія: око“. Онъ останавливается на богатствѣ въ русскомъ языкѣ такихъ многозначущихъ словъ, неимѣющихся ни въ нѣмецкомъ, ни въ французскомъ языкахъ. Богатство это особенно проявилось въ древнемъ славянскомъ переводѣ книгъ Священнаго Писанія, а потому-то въ нихъ и заключаются образцы истиннаго краснорѣчія. Чтобъ показать эти образцы, Шишковъ представляетъ довольно много выписокъ изъ книгъ священнаго писанія; въ словахъ этого древняго перевода заключены корни всѣхъ русскихъ словъ, а потому „для украшенія нынѣшняго нашего нарѣчія остается только черпать изъ онаго“. Такъ и поступали всѣ поклонники Шишкова, раздѣлявшіе его взглядъ на *новый* слогъ. Оба языка, и славянской и русскій—одно и то же; толки, распространенные во многихъ нынѣшнихъ книгахъ о разно-

сти этихъ двухъ языковъ, не даютъ процвѣтать нашей словесности. А потому всѣ усилія новаго разсужденія Шишкова направлены къ тому, чтобъ доказать единство обоихъ языковъ и опровергнуть ихъ мнимое различіе, утверждаемое его противниками. Русскій языкъ, отдѣльно отъ словенскаго—мечта, загадка, по словамъ Шишкова; но славянскій языкъ стоитъ выше русскаго; это высокій, книжный, ученый языкъ, образецъ для краснорѣчія. Не понимаютъ этого и не хотятъ понять люди, испорченные французскимъ воспитаніемъ, „нѣсколько журналистовъ, неизвѣстныхъ ни именами своими, ни трудами, нѣсколько молодыхъ людей, научившихся превратно видѣть вещи“. Противъ этихъ-то людей, въ числу которыхъ принадлежить, разумѣется, и новый критикъ Шишкова, направлено его „присовокупленіе“. Здѣсь Шишковъ прямо приводитъ слова его авторитета Лагарпа, который доказываетъ вредъ, нанесенный Франціи журналами, появившимися въ ней со временъ революціи. То же видитъ Шишковъ и у насъ. Во многихъ статьяхъ нашихъ журналовъ, по словамъ его, не щадится ни нравственность, ни разсудокъ. Хлопочать о раздѣленіи русскаго языка отъ славянскаго для того, „чтобъ умъ и сердце cadaго отвлечь отъ правоучительныхъ духовныхъ книгъ, отвратить отъ словъ, отъ языка, отъ разума оныхъ, и привязать къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ помраченію ума и уловленію невинности“. „Какое намѣреніе, спрашиваетъ Шишковъ, полагать можно въ стараніи удалить нынѣшній языкъ нашъ отъ языка древняго, какъ не то, чтобъ языкъ вѣры, ставъ невразумителенъ, не могъ никогда обуздывать языка страстей?“ Вотъ, до какихъ преувеличеній, до какихъ инсинуацій доходилъ Шишковъ въ своемъ рвеніи къ словенскому языку, обвиняя современную литературу и нашу невинную журналистику въ безбожномъ революціонномъ направленіи...

## ЛЕКЦІЯ XXVII.

Книга Дашкова «О легчайшемъ способѣ возражать на критики».—«Разговоры о словесности» Шишкова.—Критика Каченовскаго на первый разговоръ.—«Бесѣда».

Новое сочиненіе Шишкова по языку или новый отвѣтъ его критикамъ, какъ мы видѣли, не прибавлялъ ничего къ высказаному уже имъ нѣсколько разъ, не усиливало его доказательствъ, но выражалъ только его раздраженіе, въ пылу котораго онъ забывалъ приличія литературной критики и удалялся отъ дѣла, нападая на воображаемые имъ нравственные недостатки своихъ противниковъ. Причина этихъ нападеній заключалась въ томъ, что у Шишкова вовсе не было

знаній, необходимыхъ для того предмета, который онъ взялся доказывать и защищать. Болѣе серьезнымъ образомъ доказать незнаніе Шишкова старался тотъ же Дашковъ въ своей небольшой книжкѣ, которая должна была служить отвѣтомъ Шишкову на его новыя нападенія. Эта книжка вышла въ 1811 году подъ заглавіемъ: „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“ и могла бы считаться лучшимъ полемическимъ русскимъ сочиненіемъ того времени, еслибъ предметъ ея не былъ такъ далекъ отъ современности и общественной. Во всякомъ случаѣ она свидѣтельствуетъ о познаніяхъ, умѣ и авторскомъ талантѣ Дашкова. Можно пожалѣть, что онъ промѣнялъ поприще писателя на государственную службу.

Отвѣтъ Дашкова направленъ собственно противъ „Присовокупленія“ Шишкова, въ которомъ онъ нападалъ вовсе не литературнымъ образомъ на своихъ противниковъ. „Отвѣчать бранью на учтивую, благонамѣренную критику, значитъ признать себя торжественно не въ состояніи отвѣчать на оную доказательствами, говорить Дашковъ, но къ сужденіямъ о языкѣ примѣшивать нравственность и вѣру, въ неукротимой запальчивости называть противниковъ своихъ *импотичными поврежденное сердце* и укорять ихъ въ мнимомъ намѣреніи ослабить благотворную власть вѣры, забывать права общественныя и должное уваженіе къ лицу всякаго гражданина—есть разительный примѣръ, сколь сильно дѣйствуетъ оскорбленное самолюбіе и желаніе властвовать въ республикѣ словесности“... „Человѣкъ, упражняющійся въ словесности, оставляетъ почтенное сіе занятіе, вступаетъ въ поприще ругательства, присвоиваетъ себѣ право обвинять своихъ согражданъ, и все сіе, дабы отмстить за то, что ему дерзнули противорѣчить, что смѣли показать его ошибки!“..... Дашковъ доказываетъ, что Шишковъ собственно объ ошибкахъ, указанныхъ ему критикою „Цѣтника“, старается вовсе не говорить. Это и есть *легчайшій способъ возражать на критики!* „Къ сему не нужны ни ученость, ни знаніе языка, ни даже здравая логика!“<sup>1)</sup> Онъ ставитъ рѣзкую противоположность между стариками, съ младенчества приучившими себя къ нескладному сборищу славенскихъ выраженій, и юношами, воспитанными въ правилахъ здраваго вкуса. Конечно, при характерѣ критики Шишкова, спорить съ нимъ трудно: „Онъ почитаетъ всякое оружіе противъ соперниковъ своихъ законнымъ, по произволу перемѣняетъ значеніе словъ и смыслъ рѣчи, и употребляетъ насмѣшку тамъ, гдѣ самъ ошибается“<sup>2)</sup>, но Дашковъ очень умно и съ знаніемъ дѣла разбиваетъ всѣ слабые доводы Шишкова въ пользу

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 14.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 30.

его мнѣнія о тождествѣ славянскаго и русскаго языковъ; онъ старается выставить его дѣйствительно незнающимъ того предмета, о которомъ такъ давно и съ такою горячностію Шишковъ толкуетъ публикѣ. Дашковъ присоединяетъ его къ числу „мнимыхъ нашихъ Квинтиліановъ, которые, ничему не учившись въ молодости и при-  
выкнувъ писать на удачу, обо всемъ судить, все знать, переводить съ французскаго и другихъ языковъ, не понимая оныхъ, и никакъ не хотѣть признаться въ своемъ невѣжествѣ“<sup>1)</sup>). Положенія и утвержденія Шипкова онъ называетъ *видѣніями*. Въ самомъ дѣлѣ не видѣніе ли утвержденіе Шипкова, что древній славянинъ для составленія имени круглой вещи выбиралъ и буквы круглыя, напр. *око*. „Прекрасно! замѣчаетъ въ этомъ случаѣ Дашковъ: потому буква *о* есть несомнѣнный признакъ *круглости* во всѣхъ словахъ, гдѣ только она находится: отчего же нѣтъ ея въ названіяхъ *крупа* и *шара*, фигуръ самыхъ круглѣйшихъ? Неужели Славеникъ, умѣвшій столь искусно разсуждать при составленіи языка своего, забылъ при названіи сихъ образцовъ круглости любимую свою систему?“<sup>2)</sup>). Такъ молодой и талантливый писатель разрушалъ авторитетъ Шипкова, разбивая его положенія и доказывая его незнаніе. Но Шипковъ не сдавался; въ его писательствѣ было удивительное упорство, онъ все твердилъ одно и то же. Онъ какъ будто не слушалъ ни возраженій, ни справедливыхъ критикъ, на него направленныхъ, и очень часто снова повторялъ свои парадоксальныя утвержденія. Въ томъ же 1811 году, когда появилась книжка Дашкова, Шипковъ напечаталъ новое сочиненіе „Разговоры о словесности между двумя лицами Азъ и Буки“. Разговоры этихъ два: одинъ о русскомъ правописаніи, другой о русскомъ стихотвореніи. Въ первомъ, согласно общему убѣжденію Шипкова, доказывается, что достаточныя и твердыя правила для русскаго правописанія заключаются въ церковныхъ книгахъ, что поэтому желаніе отдѣлать славянскій языкъ отъ русскаго есть только незнаніе и невѣжество, что языкъ книжный отъ словеснаго долженъ быть необходимо отдѣленъ, что порча того и другого происходитъ отъ нашего воспитанія: „Еслибъ воспитаніе наше было такое, говоритъ онъ, чтобъ мы отъ самаго дѣтства своему языку основательно учились, своимъ языкомъ говорили, свои книги читали, тогда бы разговорный языкъ сталъ возвышаться и чиститься отъ книжнаго, на разумъ основаннаго, а не книжной упадать и портиться отъ разговорнаго, невѣжественнаго языка“<sup>3)</sup>). Весь этотъ первый разго-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 50.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 73.

<sup>3)</sup> Разговоры, стр. 26—7.



воръ Шишкова касается мелкихъ вопросовъ правописанія, употребленія нѣкоторыхъ буквъ въ предлогахъ, сложныхъ съ глаголами, измѣненія ихъ и т. п. Въ немъ встрѣчаются тѣ же словопроизводства, которыя всегда любилъ Шишковъ, напр. *хранца* отъ храненіе, *лѣстница* отъ лезу, *обонаніе* отъ обвонаніе и пр., то же, какъ и прежде, отдѣленіе высокаго слога отъ низкаго и т. п. Словомъ, упорный ненавистникъ новаго слога стоялъ на прежнемъ; для него какъ бы не существовали критическія замѣчанія его противниковъ.

Второй разговоръ „о русскомъ стихотвореніи“ посвященъ собственно народной поэзіи и надобно поставить въ заслугу Шишкову, что онъ заговорилъ въ ту пору объ этомъ забытомъ или вовсе неизвѣстномъ для современныхъ писателей предметѣ. Онъ говорилъ о необходимости примѣнить искусственной поэзіи къ народной, говорилъ, что первая уклонилась отъ второй не только мѣрою, но слогомъ, мыслями, выраженіями и даже словами, и даетъ наконецъ образцы языка въ народной поэзіи, приводя ея отрывки. Шишковъ глубоко убѣжденъ въ достоинствѣ народной поэзіи, утверждаетъ, что первоначальный видъ нашихъ пѣсень и сказокъ былъ превосходный, любитъ ихъ образами и выраженіями. Онъ первый указалъ на нѣкоторыя характеристическія особенности языка нашей народной поэзіи, которыя потомъ повторяли только изслѣдователи, напр.: повтореніе, постоянные эпитеты, сокращенныя прилагательныя, употребленіе уменьшительныхъ и ласкательныхъ, вводныя поговорки, отрицаніе, выражающееся въ сравненіяхъ, простота и естественность этихъ сравненій и т. п. Изъ довольно длиннаго разговора Шишкова видно, что онъ глубоко и искренно любилъ народную поэзію и понималъ ея красоты. Онъ требовалъ отъ современной литературы знакомства съ нею. „Мы бросились на новѣйшіе иностранные языки, заключаетъ онъ этотъ разговоръ свой, и переводя съ нихъ, стали придерживаться ихъ свойствамъ. Чего у нихъ въ языкѣ нѣтъ, того уже и мы въ сочиненіяхъ своихъ употреблять не смѣемъ. Сіе излишнее подражаніе имъ отводитъ насъ отъ собственныхъ красотъ языка нашего и, стѣсняя предѣлы онаго, служить болѣе ко вреду, нежели къ пользѣ словесности“<sup>1)</sup>. То, что высказалъ Шишковъ въ этомъ разговорѣ о народномъ языкѣ, составляетъ его дѣйствительную заслугу, и современная критика, преслѣдовавшая всякое его сочиненіе, не задѣла это; напротивъ, отозвалась съ полнымъ одобреніемъ его мысли. Зато первый разговоръ, гдѣ снова повторялись его мысли о единствѣ славянскаго, т.-е. церковнаго языка съ русскимъ, встрѣ-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 156.

тилѣ новаго и очень дѣльнаго критика въ издателѣ „Вѣстника Европы“— Каченовскомъ (1811 г., №№ 12 и 13). Онъ оспаривалъ главное положеніе Шишкова, доказывалъ, что не въ церковныхъ книгахъ заключаются правила русскаго правописанія, а въ грамматикахъ, что славянскій языкъ нашихъ церковныхъ книгъ очень удаленъ отъ современнаго русскаго и несходствомъ словъ, и разностію въ спряженіяхъ и даже въ синтаксисѣ, что русскій языкъ не нарѣчіе славянскаго, а другой самостоятельный языкъ, что на немъ излагаются законы, пишутся книги и пр. Каченовскій доказывалъ и всю неестественность словопроизводства у Шишкова, но, конечно, не могъ убѣдить своего противника никакими доводами. Попрежнему далъ онъ отпоръ и въ „Прибавленіи къ разговорамъ о словесности“ отвѣтилъ Каченовскому (Спб., 1812 г.), опровергая его, хотя и весьма слабо. На этотъ разъ онъ по крайней мѣрѣ не затрагивалъ личностей.

Въ такомъ видѣ представляется этотъ продолжительный и, по правдѣ сказать, бесполезный для жизни и литературы споръ о языкѣ, поднятый Шишковымъ; онъ велъ этотъ споръ до 1812 года, когда новыя обязанности отвлекли Шишкова отъ любимаго предмета и когда потомъ, послѣ великихъ событій времени, общество и литература не могли уже воротиться къ прежнему. Разбирая фазисы этого спора и содержаніе рѣчей противниковъ, мы могли видѣть, что споръ этотъ былъ какъ бы чисто виѣшняго характера, касался словъ, а не идей и не понятій. Подъ словами однакожъ, какъ мы замѣчали не разъ, скрывались понятія; спорящіе ихъ подразумѣвали только, но не высказывали. Шишковъ раздѣлялъ понятія и убѣжденія Глинки. Онъ самъ это высказывалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Бардовскому, большому поклоннику его идей. Этотъ Бардовскій перевелъ одно изъ сочиненій Лагарпа, въ которомъ тотъ нападалъ на философію XVIII вѣка: „Опроверженіе злоумышленныхъ толковъ, распространенныхъ философами XVIII вѣка противъ христіанскаго благочестія“ (М. 1810 г.). Шишкову нравится „Русскій Вѣстникъ“ за то именно, что журналъ этотъ не любитъ новаго просвѣщенія. „Для того весьма охотно читаю „Русскій Вѣстникъ“—пишетъ онъ къ Бардовскому— который не твердитъ о словахъ *эстетика, образованіе, просвѣщеніе* и тому подобныхъ, но говоритъ всегда объ истинной и чистой нравственности, отъ которой въ нынѣшнія времена родъ человѣческій, къ злополучію своему, далѣе и далѣе отпадаетъ. Онъ не смотритъ на то, что таковыя его писанія многимъ, у которыхъ голова вскружена *новыми понятіями*, не нравятся; онъ продолжаетъ, исполняя долгъ свой, и сѣетъ сѣмена общаго и давно проповѣдываемаго благомыслія, не угадывая предбудущаго и не зная, дождь ли ихъ

зальетъ или солнце согрѣетъ“ <sup>1)</sup>). Такъ точно смотрѣлъ и Шишковъ на свою дѣятельность: „Господа журналисты и большая часть молодыхъ людей (нынѣшняго образа мыслей) крайне меня не жалуяютъ; но признаюсь, что изъясняемая ими ненависть ко мнѣ есть самое то, чѣмъ я горжусь; знавъ, что я различно съ ними думаю, а они такъ худо и вредно думаютъ, что быть съ ними различнаго мнѣнія дѣлаетъ человѣку честь“ <sup>2)</sup>). Изъ этихъ словъ Шишкова очевидно для всякаго, что, несмотря на всю его любовь къ корнямъ русскаго языка, было ему что-то другое дороже. Это другое — старыя понятія и ненависть къ идеямъ прогресса и развитія, ненависть, соединявшаяся въ то время съ патриотизмомъ.

Кажется, съ пѣлю распространенія въ обществѣ своихъ понятій и убѣжденій Шишковъ придумалъ организовать собранія своихъ единомышленниковъ по литературнымъ вѣздамъ въ нѣчто правильное, не случайное, а періодически повторяющееся. Мы говорили уже о литературныхъ друзьяхъ Шишкова, людяхъ болѣе извѣстныхъ въ литературѣ своею привязанностію къ старымъ формамъ и идеямъ, чѣмъ талантомъ. Часто собирались они другъ у друга; наконецъ, по предложенію князя Голицина <sup>3)</sup>, Шишкову или Державину пришло на мысль сдѣлать эти частныя собранія общественными. Частныя собранія эти возникли гораздо раньше. Писатели одного закала, поклонники Державина и Шишкова, собирались еще съ 1806 года то у того, то у другого. На собраніяхъ этихъ, кромѣ записныхъ литераторовъ, старыхъ и молодыхъ, публики впрочемъ не было. Общій характеръ ихъ и содержаніе нѣкоторыхъ чтеній съ ихъ обстановкою представлены довольно подробно въ запискахъ Жихарева, принадлежавшаго къ числу молодыхъ литераторовъ, начинающихъ свою карьеру подъ покровительствомъ старшихъ. Жихаревъ прославился въ этомъ обществѣ, какъ чтецъ и декламаторъ, и старикъ Державинъ любилъ слушать изъ устъ его свои оды, и часто заставлялъ его читать. Мысль сдѣлать чтенія публичными возникла въ 1810 году, по разсказу Вигеля, въ то время, когда въ Петербургъ пришло извѣстіе о томъ, что Карамзинъ въ Твери у В. К. Екатерины Павловны читалъ свою исторію и еще какое-то другое произведеніе императору Александру, который будто бы склонился къ его образу мыслей. Мы знаемъ, что Шишковъ, въ своемъ блаженномъ невѣдѣніи, все еще продолжалъ смотрѣть на Карамзина, какъ на якобинца; вѣроятно, въ публичности

<sup>1)</sup> Записки. Берлинъ 1870 г. II, стр. 319.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 317.

<sup>3)</sup> Это было князь Борисъ Владимір. Голицинъ (1769—1813). См. Соч. Держ. Изд. Ак. Н. т. VIII, стр. 905.

„Бесѣды“ онъ думалъ образовать противодѣйствіе возникшему вліянію Карамзина. Какъ ни былъ онъ преданъ русской словесности, какъ ни любилъ онъ старый слогъ и изслѣдованіе корней, все же, сколько можно видѣть изъ его „Записокъ“, въ немъ была значительная доля честолюбія и онъ считалъ нужнымъ жаловаться, что его забыли. Въ это время, послѣ тильзитскаго мира, государь, по его словамъ, былъ въ негодованіи на него за какіе-то имъ написанные французскіе стихи по поводу этого мира. Шишковъ не любилъ ни Сперанскаго, ни его преобразованій; безъ сомнѣнія, онъ рѣзко отзывался въ обществѣ о томъ и другомъ; образъ мыслей его былъ извѣстенъ, и въ этомъ, конечно, надобно искать причину, почему онъ не могъ участвовать въ высшемъ управленіи. Когда въ 1810 году, по проекту Сперанскаго, образовался Государственный Совѣтъ, Шишковъ не былъ назначенъ его членомъ по личному нежеланію Александра. Одному изъ близкихъ къ Шихову людей—Философову Александръ будто бы сказалъ, что „лучше согласится не царствовать, нежели сдѣлать его членомъ“ <sup>1)</sup>. Тогда, говоритъ Шишковъ, я попрежнему обратился къ любимымъ своимъ занятіямъ словесностью. И организованная „Бесѣда“ съ своими публичными засѣданіями скоро выдвинула его впередъ.

„Бесѣда любителей Русскаго слова“ была Высочайше утверждена 17 февраля 1811 года, и первое публичное чтеніе ея съ торжественною обстановкою происходило 14 марта того же года. Организацию этого любимаго дѣтища Шихова и Державина можно узнать изъ 1 и 13 книжки „Чтеній“, которыхъ вышло 20 книжекъ (1811—1815 г.). „Бесѣда“ имѣла четыре разряда и у всѣхъ ихъ вмѣстѣ были попечители, принадлежавшіе къ самымъ знатымъ лицамъ по служебной іерархіи. Эти попечители были, при основаніи „Бесѣды“: Н. С. Мордвиновъ, Графъ А. К. Разумовскій, И. И. Дмитріевъ, В. С. Поповъ и С. К. Вязьмитиновъ,—не всѣ, какъ видно, литераторы. Предсѣдателями разрядовъ были: Шишковъ, Державинъ, А. С. Хвостовъ и И. М. Муравьевъ-Апостолъ. Затѣмъ шли дѣйствительные члены, члены—сотрудники и наконецъ почетные члены, къ числу которыхъ принадлежали лица духовныя и, между прочимъ, нѣкоторыя дамы—писательницы, которыя подъ покровительствомъ Державина и Шихова получили тогда литературную извѣстность, какъ княжна Урусова и дѣвицы Бунина и Волкова. Нельзя не замѣтить, что старики организаторы „Бесѣды“, по привычкѣ служебной и согласно своимъ понятіямъ, ввели въ собраніе нѣсколько чиновничій характеръ, что,

<sup>1)</sup> Зап. I, стр. 114—115.

разумѣтся, не могло понравиться нѣкоторымъ молодымъ писателямъ. Такъ Гнѣдичъ, извѣстный впоследствии какъ переводчикъ Иліады, а тогда только что начинающій поэтъ, завелъ по поводу этого чиновничьяго довольно забавную переписку съ Державинымъ. Онъ замѣтилъ, что члены второго разряда подъ предсѣдательствомъ Державина, куда и его помѣстили, *разставляются по чинамъ*.

„Отдавая всю справедливость и уваженіе заслугамъ по службѣ, писалъ онъ, я тогда только позволю себѣ видѣть имя свое ниже нѣкоторыхъ господъ, послѣ какихъ внесенъ я въ списки, когда дѣло будетъ идти о чинахъ“. Онъ не понималъ также разности между званіемъ дѣйствительнаго члена и члена-сотрудника и просилъ позволенія не называться просто членомъ-сотрудникомъ, а или „членомъ-сотрудникомъ Его Высокопревосходительства Державина“ или только *членомъ*. „Еслижъ на это или не дадутъ согласія гг. члены, или не буду я въ правѣ по моему чину, то въ обоихъ случаяхъ мнѣ ничего не остается, кромѣ заслуживать еще и лучшее о себѣ мнѣніе и большій чинъ“ <sup>1)</sup>. Такихъ, впрочемъ, независимыхъ молодыхъ писателей въ „Бесѣдѣ“ было немного.

Не безъ мысли противодѣйствовать Карамзину и его школѣ и проводить въ общество свои любимыя идеи и убѣжденія была задумана и организована со стороны Шишкова „Бесѣда“. Въ печатномъ планѣ „Бесѣды“ высказывался намекъ на Карамзина и почему публика такъ любитъ его сочиненія: „Временная слава возрастаетъ отъ нѣкотораго стеченія обстоятельствъ, говорилось здѣсь <sup>2)</sup>, отъ случайнаго расположенія умовъ и часто отъ размноженія пустыхъ голосовъ, повторяющихъ одинъ другого“. Въ „Бесѣдѣ“ есть и прямая выходка противъ Карамзина, написанная не безъ злости и не безъ правды, въ посланіи Марина <sup>3)</sup>.

„И впрямь, что нужды мнѣ въ дѣла другихъ мѣшаться?  
На свѣтѣ можетъ всякъ, чѣмъ хочетъ заниматься.  
Пускай нашъ Ахаленъ стремится въ новый путь,  
И вздохами свою наполня томну грудь,  
Опишетъ, свойства плакъ давъ Игорю и Кію,  
И добренькихъ Славянъ и милую Россію“...

„Бесѣда“ была то же, что и Россійская академія; большинство членовъ первой было и членами послѣдней, но Академія не имѣла тогда никакого значенія и никакого вліянія на общество; тамъ въ эту пору засѣдали удрученные лѣтами маститые старцы; молодыхъ

<sup>1)</sup> Соч. Державина. Изд. Ак. Н. т. 8, стр. 909.

<sup>2)</sup> Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русск. слова, кн. I. стр. IV.

<sup>3)</sup> Ibid., кн. III, стр. 121.

и дѣятельныхъ членовъ не было, а между тѣмъ Шишкову, который только въ 1813 году сдѣлался президентомъ Россійской Академіи, хотѣлось имѣть вліяніе на общество: главная цѣль „Бесѣды“ состояла „въ чтеніи произведеній своихъ предъ посѣтителями обоего пола“. Патриотическія стремленія времени, все болѣе и болѣе увеличивающіяся по мѣрѣ приближенія грознаго 12 года, способствовали участію общества къ этому учрежденію. „Воспринувшее въ разныхъ состояніяхъ чувство патріотизма, говорить въ своихъ „Запискахъ“ Вигель, видимо однако нерасположенный къ „Бесѣдѣ“, потому что самъ принадлежалъ къ „Арзамасу“, подѣйствовало, наконецъ, и на высшее общество: знатныя барыни на французскомъ языкѣ стали восхвалять русскій... Имъ и придворнымъ людямъ натолековали, что онъ искаженъ, зараженъ, начиненъ словами и оборотами, заимствованными у иностранныхъ языковъ, и что „Бесѣда“ составила единственно съ цѣлю возвратитъ ему его чистоту и непорочность“... Конечно въ этомъ поворотѣ общественнаго мнѣнія въ высшемъ кругу была виновата вовсе не пропаганда, дѣлаемая сочиненіями Шишкова, быстро сѣдовавшими одно за другимъ, но обстоятельства времени, мода и наконецъ образъ дѣйствій самой власти, которая желала воспользоваться этимъ патріотическимъ настроеніемъ общества. Наивно было бы повѣрить Шишкову, что послѣ перваго чтенія въ „Бесѣдѣ“ „многія присутствовавшія на немъ госпожи почувствовали, что не похвально языкъ свой презирать и многихъ, прекрасныхъ на немъ сочиненій не читать, и не знать“<sup>1)</sup>. Изъ всѣхъ русскихъ писателей того времени въ знатныхъ кружкахъ петербургскаго общества вращался только одинъ Крыловъ, начавшій съ 1806 года писать и печатать свои знаменитыя басни. Ихъ, конечно, слушали съ удовольствіемъ въ разныхъ домахъ, но любили Крылова въ то время вовсе не за басни, а за его шутиливость и другія свойства характера.

Собранія членовъ „Бесѣды“ были частныя и публичныя. Последнія происходили обыкновенно по вечерамъ; посѣтители съѣзжались не иначе, какъ по пригласительнымъ билетамъ и этимъ собраніямъ старались придать какъ можно болѣе торжественный видъ. Въ домѣ Державина была нарочно приспособленная къ этимъ собраніямъ зала, которая ярко освѣщалась. По срединѣ залы стоялъ большой круглый столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, вокругъ котораго сидѣли члены, обыкновенно подъ предсѣдательствомъ Державина, по „мановенію котораго начиналось и перемежалось интересное чтеніе въ слухъ и часто образцовое“, говорить современникъ (Стурдза). Слушатели помѣщались на сѣдалищахъ, возвышавшихся уступами вокругъ залы.

<sup>1)</sup> Записки I, стр. 117.

На часть внѣшнюю, декоративную было обращено особенное вниманіе. Она, конечно, была гораздо красивѣе самаго содержанія чтеній, которые до 1812 года ничѣмъ не отличались отъ статей, помѣщаемыхъ въ журналѣ Глинки. Въ самомъ дѣлѣ, изъ всего, что было прочитано въ „Бесѣдѣ“ и потомъ напечатано въ ея изданіи, кромѣ нѣсколькихъ басенъ Крылова, ничего не удержалось въ исторіи нашей литературы. Едва ли большая часть публики могла слушать съ удовольствіемъ эти скучныя чтенія, въ которыхъ не было ничего живаго. Самый большій вкладъ въ „Бесѣду“ вложили главные ея представители и учредители: Державинъ и Шишковъ. Первый, въ продолженіе цѣлаго ряда чтеній излагалъ здѣсь свое длинное разсужденіе „о лирической поэзіи“—старческую компиляцію изъ разныхъ нѣмецкихъ эстетикъ, которая никого не могла интересовать. Одно мѣсто этого разсужденія подало поводъ къ продолжительнымъ насмѣшкамъ надъ легковѣріемъ Державина. Въ Петербургѣ былъ тогда какой-то любитель и собиратель древностей Селакадзе, плохой знатокъ древностей или, можетъ быть, плутъ<sup>1)</sup>, который продалъ Державину кожаный свитокъ, на которомъ было написано якобы славено-рунное стихотвореніе І вѣка и нѣсколько произреченій новгородскихъ жрецовъ V вѣка. Державинъ напечаталъ эти рѣдкости особенными буквами—точнымъ снимкомъ съ мнимыхъ рунъ, съ переводомъ на русскій и разсуждалъ о нихъ, какъ объ остаткахъ древнѣйшей лирической поэзіи славянъ<sup>2)</sup>. Кажется, что всѣ члены „Бесѣды“ вѣрили подлинности рунъ. Вообще Державинъ былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ „Бесѣды“. Всѣ послѣднія его стихотворенія помѣщены въ этомъ изданіи, которое и прекратилось вмѣстѣ съ его смертію. Шишкова еще раньше отвлекли отъ „Бесѣды“ другія обязанности. Но онъ открылъ эти собранія. Его рѣчь при открытіи „Бесѣды“<sup>3)</sup> говорила вообще о словесности, и служила какъ бы введеніемъ въ предстоящія чтенія. Она наполнена множествомъ отрывковъ изъ любимыхъ имъ прозаиковъ и поэтовъ русскихъ, которыми онъ хотѣлъ возбудить любовь къ нашему языку и чтенію на немъ собственныхъ нашихъ произведеній. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ снова читалъ свою извѣстную рѣчь, или „Разсужденіе о любви къ отечеству“<sup>4)</sup>. Онъ рассказываетъ въ своихъ „Запискахъ“, что долго не рѣшался читать этой рѣчи, зная неблаговоленіе къ себѣ государи, боясь французскаго посла Коленкура и опасаясь „чтобъ не поставили мнѣ это въ какое нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народну“, но наконецъ рѣшился

<sup>1)</sup> Зап. Жихарева, стр. 360—361.

<sup>2)</sup> Чтеніе въ Бесѣдѣ люб. русск. слова, кн. VI, стр. 5—7.

<sup>3)</sup> Соч. IV, стр. 108—146.

<sup>4)</sup> Чтеніе, кн. V, стр. 1—54.

послѣ долгихъ колебаній. Рѣчь эта, конечно, имѣеть отвлеченный характеръ, но онъ получилъ реальное содержаніе, въ виду близившихся событій 1812 года. Рѣчь исполнена пылаго чувства; съ силою говорилъ Шишковъ о народной гордости, о вѣрѣ, воспитаніи, языкѣ. Собраніе было многочисленно; рѣчь имѣла успѣхъ; о ней заговорили въ столицѣ и безъ сомнѣнія она была причиною, что въ мартѣ 1812 года, тотчасъ по паденіи Сперанскаго, Александръ послалъ за Шишковымъ и сдѣлалъ его государственнымъ секретаремъ. Тогда сталъ онъ писать свои знаменитые манифесты, которые возбуждали народъ и общество въ эпоху отечественной войны.

## ЛЕКЦІИ XXVIII и XXIX.

Крыловъ.—Комедіи его «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ».—Озеровъ и его трагедіи: «Ярополкъ и Олегъ», «Эдипъ въ Аѣинахъ», «Фингалъ».

Патріотическое возбужденіе общества въ годы съ 1806 по 1812 было до такой степени сильно, что люди съ несомнѣннымъ талантомъ въ какомъ-нибудь литературномъ родѣ увлекались невольно общимъ настроеніемъ и пытали свои силы въ томъ, что находило къ себѣ сочувствіе, что нравилось большинству. Къ числу такихъ талантовъ въ литературѣ, заплатившихъ дань времени, принадлежалъ Крыловъ. Имя его, правда, было уже извѣстно въ литературныхъ кружкахъ и между лицами интересовавшимися литературою, но дѣйствительный родъ поэзіи, который доставилъ ему славу, еще не вполне былъ признанъ имъ. Литературная дѣятельность знаменитаго баснописца началась давно; уже въ 1789 году онъ является издателемъ-журналистомъ, писателемъ для театра, потомъ, по недостатку серьезнаго образованія, лѣнь—характеристическая черта Крылова, различные мелкія увлеченія, бродячая жизнь по Россіи, которая унесла безслѣдно нѣсколько лѣтъ его жизни, не позволяли Крылову ни на чемъ сосредоточиться. Первые годы царствованія Александра, не принимая ни въ чемъ участія, относясь совершенно безразлично къ признакамъ новой жизни, которая началась тогда въ Россіи, Крыловъ прожилъ въ саратовской деревнѣ стараго своего покровителя князя Голицына, вдали отъ всякаго умственнаго движенія и, повидимому, чуждый всякимъ современнымъ вопросамъ,—не то въ качествѣ учителя при дѣтяхъ, не то въ качествѣ веселаго домашнего чловека и собесѣдника, посреди приволья и жирныхъ блюдъ крѣпостной помѣщичьей жизни. Въ 1806 году, къ счастью Крылова, эта лѣнивая и беззаботная деревенская жизнь кончилась для него и онъ поѣхалъ въ Петербургъ, безъ сомнѣнія, искать мѣста, рассчитывая на преж-



нія занятія и связи литературныя. Этотъ годъ замѣчателенъ въ жизни Крылова въ томъ отношеніи, что тогда написаны были имъ первыя басни и онъ нашелъ такимъ образомъ тотъ литературный родъ, который доставилъ ему извѣстность. Проѣздомъ Крыловъ остановился въ Москвѣ; здѣсь возобновилъ онъ прежнее литературное знакомство съ Дмитріевымъ, который уже тогда имѣлъ славу русскаго Лафонтена. По разсказамъ біографовъ Крылова (Соч. Спб. 1859 г. I, XLVI—XLVII) Дмитріевъ, которому на судъ представилъ Крыловъ свои первыя двѣ басни, переведенныя имъ изъ Лафонтена, первый увѣрилъ его, что басня есть настоящее его призваніе.

„Дубъ и трость“ „Разборчивая невѣста“, „Старикъ и трое молодыхъ“—были первыя печатныя басни Крылова. Онѣ появились въ 1 и 2 № за 1806 годъ журнала Шаликова „Московскій Зритель“, и были переданы издателю Дмитріевымъ съ одобреніемъ, о чемъ печатно заявилъ въ журналѣ и самъ Шаликовъ. Съ этихъ поръ Крыловъ почти ничего уже не писалъ до самой смерти своей, кромѣ басенъ. Вернувшись, однако, въ 1806 году въ Петербургъ, онъ поставилъ въ слѣдующемъ году двѣ комедіи и еще волшебную оперу. Кажется, впрочемъ, что пьесы эти были имъ написаны ранѣе и онъ привезъ ихъ съ собою въ Петербургъ. Еще въ прежнюю эпоху своей литературной дѣятельности, когда онъ являлся журналистомъ, Крыловъ любилъ писать комедіи и оперы, литературный родъ, который завелся у насъ было въ концѣ XVIII вѣка. Въ 1793 году Крыловъ напечаталъ комическую оперу „Бѣшеная семья“ и комедію „Проканники“, а въ 1794 году—прозаическую комедію „Сочинитель въ прихожей“. Зная Крылова по его баснямъ, любясь въ нихъ его тонкимъ, наблюдательнымъ умомъ, насмѣшливостью и многими, чисто русскими, вполне народными свойствами характера, казалось, можно было бы ожидать отъ комедій Крылова высшихъ поэтическихъ и вообще литературныхъ достоинствъ. Выходило однакожъ совсѣмъ не то, и комедіи Крылова стоятъ неизмѣримо ниже писанныхъ значительно ранѣе комедій Фонъ-Визина. Общая, рутинная подражательность погубила эти комедіи. Напрасно стали бы мы искать въ нихъ наблюденія надъ русскою общественною жизнію, ея пониманія, сознательной, прочувствованной сатиры, какъ у Фонъ-Визина. Это какіе-то „образы безъ лицъ“, а не характеры, грубая каррикатура на нравы, на случаи, а не наблюденія ихъ. Интрига комедій ведена по общепринятому, господствовавшему тогда французскому образцу. Всѣмъ дѣйствіемъ заправляютъ ловкій слуга или служанка, чуждые нашимъ нравамъ; это дѣйствіе вертится обыкновенно на пустомъ волокитствѣ. Ни жизни, ни правды не было въ этомъ комическомъ мірѣ, который занималъ тогда Крылова; это былъ міръ нелѣпый и вдобавокъ еще скучный и до крайности утомительный.

Всѣми этими недостатками отличаются и двѣ комедіи Крылова, которыя были имъ поставлены на сцену въ 1807 году: „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Очень вѣроятно, что уродливое искаженіе нашей всеобщей тогда подражательности французскому, утрировка этого недостатка въ провинціи, гдѣ жилъ Крыловъ до того времени, навели его на главную идею и содержаніе этихъ комедій. Безъ сомнѣнія также, что патріотическое чувство и ненависть къ Французамъ, возбужденныя современными обстоятельствами и начинавшей имѣть вѣсь патріотической литературой, коснулись и Крылова; современное содержаніе придадо имъ жизнь и значеніе и способствовало успѣху комедій на сценѣ. Комедія „Модная лавка“, какъ уже показываетъ самое названіе, имѣетъ цѣлю осмѣять пристрастіе къ моднымъ, т.-е. французскимъ товарамъ. Представительницею этой страсти является деревенская помѣщица Сумбунова, пріѣхавшая въ Москву закупать приданое для падчерицы. Модная лавка, куда является эта Сумбунова, скорѣе похожая на карикатурную дуру, чѣмъ на живое лицо, выставлена притономъ разнаго мошенничества и нечистыхъ дѣлъ. Французы, введенные въ пьесу, конечно, плуты. Мужъ Сумбуновой, ненавистникъ модныхъ товаровъ и поклонникъ всего русскаго, изъ-за чего у него происходятъ безпрестанныя ссоры съ женою, не внушаетъ къ себѣ симпатіи, потому что весьма недалекъ, да и самое дѣйствіе поглощено любовной интригой, такъ что выходы противъ подражательности русскіхъ и слѣпое поклоненіе всему иностранному, встрѣчаются очень рѣдко. Комедія, однако, несмотря на всѣ свои недостатки, имѣла большой успѣхъ. Современникъ замѣчаетъ, что на сценѣ Сумбуновъ, жена его и деревенскій лакей ихъ Антропка являли собою настоящіе провинціальныя, всѣмъ знакомыя типы, но это, вѣроятно, происходило отъ искуснаго выполненія ролей на сценѣ<sup>1)</sup>.

Другая комедія Крылова съ тѣмъ же современнымъ патріотическимъ направленіемъ „Урокъ дочкамъ“ кажется намъ еще неудачнѣе. Цѣль ея—осмѣять исключительное воспитаніе на французскомъ языкѣ и неумѣренное пристрастіе къ нему. У помѣщика Велькарова—двѣ дочери; самъ онъ вдовъ и на службѣ, а дочерей отдалъ воспитывать къ теткѣ въ Москву. Онѣ и воспитались „на послѣдній манеръ“. По возвращеніи со службы Велькаровъ пріѣхалъ посмотрѣть на дочерей, „чтобы до замужества ими полюбоваться“. „Ну, правду сказать, утѣшили же онѣ старика! говоритъ горничная Даша. Лишь вошли къ батюшкѣ, то поставили домъ вверхъ дномъ, всю его родню и старыхъ знакомыхъ отвалили грубостями и насмѣшками. Баринъ

<sup>1)</sup> Зап. Жихарева, стр. 443.

не знаетъ языковъ, а онѣ накливали въ домъ такихъ не-Русей, между которыхъ бѣдный старикъ шатался, какъ около Вавилонской башни, не понимая ни слова, что говорятъ и чему хохочутъ". Старикъ разсердился и увезъ ихъ изъ дома московской тетки въ деревню, гдѣ строго запретилъ имъ между собою и съ кѣмъ бы то ни было изъ гостей разговаривать по-французски. Собственно „урокъ дочкамъ" состоитъ въ томъ, что съ вѣдома отца имъ приходится принимать простого російскаго лакея за французскаго маркиза, разговаривать съ нимъ, приходитъ отъ него въ восторгъ, за которымъ слѣдуетъ жестокое разочарованіе. Обѣ дочери Велькарова—характеры преувеличенные и карикатурные, но „Урокъ дочкамъ" нравился той части русскаго общества, которая была настроена патріотически. Конечно, урокъ этотъ не послужилъ никому въ пользу, и комедія Крылова, когда прошла мода на патріотическое направленіе, скоро забылась—вѣрное доказательство той мысли, что для успѣха литературное произведеніе, кромѣ живого сочувствія къ современности, нуждается еще и въ талантѣ.

Къ этимъ же годамъ патріотическаго возбужденія въ обществѣ относится непродолжительная, но громкая слава трагическаго поэта *Озерова*, прогремѣвшаго своимъ именемъ и немногими драматическими произведеніями и потомъ вдругъ неожиданно удалившагося отъ успѣховъ и славы, въ глушь уединенія, гдѣ его постигло сумасшествіе за нѣсколько лѣтъ до смерти. Эта злополучная судьба Озерова, постигшая его послѣ необычайныхъ, до тѣхъ поръ неслыханныхъ успѣховъ на русской сценѣ, гдѣ долгіе годы послѣ его смерти давались съ успѣхомъ его пьесы, возбуждала къ нему общее сочувствіе, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ мы не имѣемъ положительныхъ свидѣтельствъ о тѣхъ дѣйствительныхъ нравственныхъ причинахъ, которыя привели несчастнаго поэта къ катастрофѣ; о ней существуютъ въ литературѣ только неясныя намеки и неопредѣленныя догадки, такъ что дѣло останется, вѣроятно, навсегда темнымъ. Единственная біографія поэта „О жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова", приложенная къ изданію его сочиненій, была написана вѣяземъ Вяземскимъ еще въ 1817 году, вскорѣ послѣ смерти поэта; съ тѣхъ поръ къ неопредѣленному высказываемымъ въ видѣ предположеній и догадокъ фактамъ этой біографіи не прибавилось до сихъ поръ почти ничего. Друзья Озерова,—а онъ, будучи двоюроднымъ братомъ Блудова и даже чѣмъ-то въ родѣ опекуна его въ молодости, принадлежалъ къ кружку карамзинистовъ,—оставили о немъ и о судьбѣ его въ своихъ произведеніяхъ искреннія сожалѣнія, но ни одного положительнаго факта. Его имя, съ неясными намеками, встрѣчается въ стихахъ Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина и др. Его, по

ихъ понятіямъ, необыкновенный геній и несчастная судьба интересовали ихъ живо.

Владиславъ Александровичъ Озеровъ былъ дворянскаго происхожденія. Онъ родился 29 Сентября 1769 года въ деревнѣ зубцовскаго уѣзда тверской губерніи. Отецъ его былъ старый офицеръ гвардіи временъ Елисаветы Петровны, жилъ очень долго, говорятъ, пережилъ своего несчастнаго сына и имѣлъ отъ двухъ женъ 22 человека дѣтей. Кажется, что писатель былъ отъ первой жены, которая умерла, когда онъ былъ еще ребенкомъ. О судьбѣ другихъ дѣтей намъ ничего неизвѣстно, равно какъ и объ отношеніяхъ ихъ къ писателю. Въ раннемъ дѣтствѣ отецъ отвезъ его въ тотъ сухопутный кадетскій корпусъ, гдѣ воспитывался нѣсколько позднѣе и С. Глинка. Здѣсь Озеровъ пробылъ двѣнадцать лѣтъ, до 1788 года, учился, какъ видно, отлично, получилъ при выпускѣ изъ корпуса чинъ поручика и въ награду первую золотую медаль. По другимъ свѣдѣніямъ онъ пробылъ въ корпусѣ десять лѣтъ и выпущенъ изъ него въ концѣ 1787 года<sup>1)</sup>. Выпущенный изъ корпуса Озеровъ опредѣлился въ дѣйствующую армію, былъ адъютантомъ у графа де Бальмена и подъ начальствомъ Потемкина участвовалъ во взятіи Бендеръ въ 1789 году. По заключеніи мира съ турками Озеровъ поступилъ на службу въ тотъ же корпусъ, гдѣ воспитывался, адъютантомъ къ извѣстному намъ графу Ангальту. Такія сухія официальные свѣдѣнія дошли до насъ о молодости поэта, приобрѣтшаго потомъ такую громкую извѣстность. Такъ мало эта извѣстность и слава возбудила интересъ къ его личности, несмотря на его слишкомъ печальную, трагическую судьбу. Это свидѣтельствуетъ о томъ маловажномъ значеніи, которое общество и тогда, и долго потомъ придавало литературѣ. „Повѣрить ли кто, говоритъ Гречъ въ своемъ „Опытѣ краткой исторіи русской литературы“, напечатанномъ вскорѣ послѣ смерти Озерова, что мнѣ невозможно было получить свѣдѣній о жизни и службѣ В. А. Озерова, при всемъ моемъ стараніи, при всемъ желаніи его родственниковъ“. А между тѣмъ, по выраженію критиковъ, писавшихъ о немъ, „жизнь Озерова, богатая особенностями, была игрищемъ враждующей судьбы и людей, коихъ злоба бываетъ еще изобрѣтательнѣе и постояннѣе“. (Вяземскій). Даже самая исторія его поэтическаго развитія для насъ неизвѣстна и приходится довольствоваться сухими свѣдѣніями.

Мы знаемъ, что тотъ корпусъ, въ которомъ воспитывался Озеровъ, давалъ своимъ питомцамъ вполне французское воспитаніе и что литература Франціи была имъ гораздо извѣстнѣе своей родной, по

<sup>1)</sup> Карабановъ, Основаніе русскаго театра. Спб. 1849, стр. 68.

истинѣ жалкой и незначительной. Мы знаемъ также, что въ корпусѣ еще со временъ Сумарокова была развита между учащимися особенная страсть къ театральнымъ представленіямъ; притомъ учителемъ Озерова былъ знаменитый тогда трагикъ Княжнинъ, драматическую славу котораго онъ и наслѣдовалъ. Глинка въ своихъ „Запискахъ“ передаетъ, что Озеровъ зналъ наизусть трагедіи Корнеля, Расина, Вольтера, что онъ самъ участвовалъ въ театральныя французскія представленія въ домахъ русскихъ вельможъ, гдѣ исполнялъ трагическія роли <sup>1)</sup>, и такимъ образомъ приготавлился къ своей будущей дѣятельности. Миръ греческихъ и римскихъ героевъ, изъ которыхъ состоялъ персоналъ французскихъ трагедій XVIII вѣка, былъ такимъ образомъ рано усвоенъ Озеровымъ, но, разумѣется, въ одеждѣ двора Людовика XIV. Съ этимъ увлеченіемъ французскимъ трагическимъ міромъ, по свидѣтельству біографа его князя Вяземскаго, соединилось для Озерова страстное влеченіе къ женщинѣ, имени которой никто не называлъ, и это влеченіе „рѣшило судьбу почти всей его жизни.“ Этой любви онъ отдалъ всю свою молодость, для нея онъ игралъ во французскихъ трагедіяхъ и писалъ французскіе стихи. Эта женщина принадлежала, кажется, къ высшему кругу; она была замужняя и добродѣтельная, говоритъ біографъ. Французскіе стихи къ ней Озерова не дошли до насъ. Намъ извѣстны французскіе стихи его, написанные въ 1794 году на смерть его начальниа и покровителя — графа Ангальта <sup>2)</sup>. Несмотря на условныя ходячія выраженія этихъ чисто отдѣланныхъ александрійскихъ стиховъ, позволительно видѣть въ нихъ искреннее чувство поэта, тѣмъ болѣе, что Ангальтъ былъ вполне достоинъ его. По всей вѣроятности, вскорѣ послѣ смерти Ангальта, когда начальство и самый характеръ воспитанія въ корпусѣ измѣнились, Озеровъ долженъ былъ оставить въ немъ службу и перейти въ другую. Князь Куракинъ далъ ему мѣсто въ лѣсномъ департаментѣ тогдашняго министерства финансовъ, гдѣ онъ и служилъ до самой отставки. Трагическій поэтъ долженъ былъ объѣзжать казенные лѣса Казанской и Симбирской губерніи, писать отчеты о ревизіи ихъ и придумывать средства объ извлеченіи изъ нихъ доходовъ.

Первое печатное произведеніе Озерова появилось въ томъ же 1794 году, когда были написаны и французскіе стихи на смерть Ангальта. Это былъ стихотворный переводъ Ироиды или придуманнаго, по образцу Овидія, посланія Элоизы къ Абеяру изъ незначительнаго французскаго поэта Колардо, съ довольно длиннымъ пре-

<sup>1)</sup> Записки, Спб. 1895, стр. 60.

<sup>2)</sup> Караб., стр. 69—70.

дисловіемъ переводчика, гдѣ онъ говоритъ о причинахъ, побудившихъ его къ этому труду, и излагаетъ довольно подробно жизнь знаменитаго схоластика, сдѣлавшагося жертвой несчастной любви. Эта Иронда была уже у насъ переведена прозою въ 1786 году, но Озеровъ не доволенъ этимъ переводомъ; онъ не узнаетъ въ немъ знакомаго ему произведенія, а главное—находитъ въ немъ болѣе ума, нежели *чужаго* и потому рѣшается издать свой переводъ. Озеровъ самъ говоритъ, что это первый его опытъ въ стихахъ. „У меня спросить: зачѣмъ для перваго опыта я выбралъ столь трудное твореніе? Съ обработаннаго и совершеннаго языка предпріять перевести лучшую героиду на нашъ языкъ, начинающій образовываться, конечно, было дерзко. Но на сіе отвѣчаю, что природа въ томъ виновна. Читая Колярдо, я былъ восхищенъ; мнѣ открылся путь парнасскій и я почувствовалъ вдохновеніе Аполлона, о которомъ прежде и мысли не имѣлъ“ <sup>1)</sup>. Прізнаніе это любопытно; оно показываетъ какимъ искусственнымъ образомъ зародилось въ Озеровѣ желаніе быть поэтомъ. Можетъ быть впрочемъ,—но Озеровъ не говоритъ о томъ,—героида понравилась ему, какъ выраженіе несчастной любви. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ переводъ этотъ ничѣмъ не замѣчательнъ, но стихъ его выгодно отличается отъ современниковъ; онъ значительно глже другихъ. Можетъ быть въ этому же начальному періоду поэтической дѣятельности Озерова относятся нѣсколько мелкихъ его стихотвореній (кромѣ, разумѣется, плохихъ одъ его: на смерть Екатерины и на восшествіе на престолъ Александра), но во всѣхъ ихъ нѣтъ ничего замѣчательнаго и ничего не прибавляютъ они къ поэтической характеристикѣ Озерова.

Воспитаніе, чтеніе и игра на домашнихъ театрахъ влекли его къ сценѣ и, разумѣется, къ трагедіи, какъ къ господствующему въ XVIII вѣкѣ роду драматической поэзіи, тѣмъ болѣе, что онъ подходилъ и къ сердечному настроенію Озерова. У насъ трагедія давно уже получила господство въ литературѣ; ихъ писалось очень много; онѣ доставляли извѣстность и деньги поэтамъ; притомъ писать ихъ въ ту пору, по общепринятымъ правиламъ и утвердившемуся шаблону, было дѣломъ вообще не труднымъ, особенно тому, кто былъ хорошо знакомъ съ обширнымъ репертуаромъ французскаго театра и могъ оттуда черпать и заимствовать смѣлою рукою, что было тогда вполне въ литературныхъ нравахъ, ни для кого не считалось предосудительнымъ, а напротивъ даже дѣлало честь автору. Озерову легко было выбрать эту карьеру, имѣя множество русскихъ предшественниковъ и при отличномъ знакомствѣ съ ложноклассиче-

<sup>1)</sup> Соч. Озерова. Изд. 5-ое. Спб. 1828 г., 8° ч. III, стр. 64—65.

скими образцами. Первая трагедія его была „Ярополѣ и Олегъ“, поставленная имъ на сцену въ 1798 году. И заимствованіемъ сюжета изъ древней русской исторіи, и всѣмъ развитіемъ трагедіи, и даже стихомъ онъ стоитъ здѣсь на почвѣ Сумарокова и Княжнина и видимо имъ подражаетъ. И неизбѣжная любовная страсть въ этой трагедіи, и соперничество братьевъ, и имѣющія притязаніе на возвышенность поэтическія тирады, и самый языкъ, который ничѣмъ не хуже прочихъ трагедій Озерова, все дѣлало эту пьесу не лучше и не хуже прочихъ современныхъ, а между тѣмъ она не имѣла успѣха и была принята публикою неблагосклонно. Догадываются, что причиною этого была нетригическая развязка трагедіи, но ей недоставало вмѣстѣ съ тѣмъ и новаго элемента, внесеннаго уже въ литературу Карамзинимъ: чувствительности, безъ которой долго съ тѣхъ поръ не могло обойтись и не могло имѣть успѣха литературное произведеніе. Послѣ паденія своей театральной пьесы, Озеровъ нѣсколько лѣтъ не является въ литературѣ, если не считать его весьма обыкновенную оду на восшествіе на престолъ Александра I. Въ это время онъ былъ усердно занятъ службою въ своемъ лѣсномъ департаментѣ и, кажется, служилъ успѣшно; по крайней мѣрѣ въ 1804 году онъ былъ уже въ чинѣ генераль-маіора. Литературныя знакомства Озерова въ это время намъ неизвѣстны, кромѣ, какъ кажется, близкихъ и давнишнихъ отношеній его къ Державину. Въ обществахъ, гдѣ появлялся Озеровъ, онъ не блисталъ ничѣмъ. О немъ говорили, что это человѣкъ ума весьма обыкновеннаго, какъ вдругъ въ 1804 году, поставленная на петербургской сценѣ его трагедія „Эдипъ въ Аѣинахъ“ окружила имя его необычайной громкой славой и разнесла это имя по всей Россіи. Успѣхъ трагедіи былъ полный; ему въ особенности способствовала молодая, талантливая, чрезвычайно красивая актриса — Семенова, имя которой неразрывно связано съ именемъ Озерова въ литературныхъ воспоминаніяхъ, какъ и въ извѣстномъ стихѣ Пушкина о русскомъ театрѣ:

Тамъ Озеровъ невольны дни  
Народныхъ слезъ; рундлеескаміи  
Съ милой Семеновой дѣлилъ.

Сама она, для которой какъ бы нарочно были писаны трагедіи Озерова, представлявшія прекрасныя женскія роли, только и блистала въ нихъ; вскорѣ послѣ послѣдней трагедіи Озерова „Поликсена“ Семенова, сдѣлавшись княгиней Гагариной, навсегда оставила сцену.

Изъ всѣхъ литературныхъ знакомствъ своихъ того времени, Озеровъ выше всѣхъ ставилъ Державина и склонялся передъ его *игнѣмъ*. Державину посвятилъ онъ своего „Эдипа“. Въ чрезвычайно льстивыхъ напыщенныхъ фразахъ восхвалялъ онъ въ этомъ посвященіи характеръ поэзіи Державина. „Вдохновеннымъ пѣснямъ вашей музы, писалъ онъ, величественнымъ какъ стройное теченіе вселенной, плѣнительнымъ, какъ свѣтлый *ключъ Гребеневской*, быстрымъ, блистательнымъ, какъ *водопадъ Суны*, поучительнымъ, какъ смерть, современника міровъ, и безсмертнымъ, какъ герои, предметы хвалы вашей, я обязанъ живѣйшими наслажденіями въ жизни; и, можетъ быть, сіянію вашей славы буду обязанъ я спасеніемъ труда моего отъ мрака забвенія“. Но Державинъ не раздѣлялъ общихъ восторговъ публики по отношенію къ трагедіи Озерова. Правда, онъ отвѣчалъ одою на посвященіе Озерова, но эта плохая ода <sup>1)</sup> была имъ написана черезъ годъ; притомъ Державинъ, какъ самъ онъ пишетъ въ своихъ объясненіяхъ <sup>2)</sup>, соглашаясь съ тѣми „многими знатоками“, которые „находили въ сей трагедіи слабости“, отзывался при свиданіи съ Озеровымъ объ „Эдипѣ“ довольно критически и обѣщалъ автору ея прислать на нее даже примѣчанія по разсмотрѣніи ея съ *пріятелями*. Этимъ Державинъ объясняетъ поводъ на неудовольствіе къ нему со стороны Озерова. Дѣло въ томъ, что къ числу пріятелей, о которыхъ говоритъ Державинъ, принадлежалъ сторонникъ его старческихъ взглядовъ на литературныя произведенія—Шишковъ, который „встрѣчалъ недоброжелательно всякое новое дарованіе“ (Гротъ), потому что видѣлъ въ немъ и новый слогъ и вредную новизну. Его отзывы имѣли вліяніе на сужденіе Державина и разстроили добрыя прежде отношенія поэтовъ. Потомъ Державинъ отзывался о другой трагедіи Озерова „Димитрій Донской“ весьма неблагоклонно, говорилъ что она не имѣетъ порядочнаго плана, и „характеры великихъ князей весьма въ ней подлы“, а Шишковъ написалъ даже подробный неблагопріятный разборъ „Димитрія“. Шишковъ видѣлъ въ новомъ, вдругъ прославившемся трагикѣ,—пріятелѣ и родственникѣ ненавистныхъ ему карамзинистовъ,—представителя новаго слога, и этого было довольно для него. Озеровъ же неблагоклонность къ нему Державина объяснялъ, и довольно справедливо, завистію къ быстро вознившей его славѣ. До сихъ поръ Державинъ еще не встрѣчалъ

<sup>1)</sup> Соч., изд. Акад. Наукъ, II, стр. 580—582.

<sup>2)</sup> Ibid., III, стр. 698.



соперниковъ своей славѣ; потомъ онъ привыкъ къ паденію своего таланта, а въ тѣ годы это было для него чувствительно. Онъ самъ сознается, что изъ соревнованія сталъ писать трагедіи; но мы уже говорили объ этихъ жалкихъ попыткахъ его.

Неслыханный, всеобщій восторгъ публики и квалёбныя привѣтствія журналовъ и другихъ поэтовъ совершенно вознаградили Озерова за эти непріятности. Уже тогда въ стихахъ его поклонниковъ говорилось о зависти къ нему. Такъ у Капниста:

„Теки-жъ, любимецъ музъ! Во храмъ Мельпомены,  
Къ которому взопелъ по сволюхой ты горѣ,  
Неувядаемый, рукой ея сплетенный,  
Лавровый ждешь тебя вѣнокъ на алтарѣ.  
Теки и, презря ядъ зоиловъ злоязычныхъ,  
Въ опасномъ поприщѣ ты бѣгъ свой простирай;  
Внемли плесканью рукъ, и вѣкъ не забывай,  
Что зависть спутница однихъ даровъ отличныхъ,  
Что яркимъ озаренъ сіяніемъ предметъ,  
Уродливу на долъ и мрачну тѣнь кладеть“.

(Озеровъ, Соч., стр. 438).

Трагедіи Озерова, за исключеніемъ одной изъ нихъ, и по достоинству своему стоящей ниже другихъ, именно „Димитрія Донскаго“, берутъ свое содержаніе изъ поэтическихъ преданій, принадлежащихъ обще-европейскому міру, но отъ насъ удаленныхъ пространствомъ времени и мѣста; ничего общаго съ нашею жизнію и этимъ содержаніемъ въ трагедіяхъ Озерова не было. Казалось бы поэтому, что современная публика не могла интересоваться внутреннимъ міромъ трагедій Озерова и должна была безучастно отвернуться отъ его героевъ, съ которыми у ней не было ничего общаго. Какое ей дѣло было до трагической судьбы Эдина, до борьбы чувствъ и страстей въ душѣ Фингала, до проклятій Кассандры, до слезъ и стоновъ Поликсены? А между тѣмъ, содержаніе это въ высшей степени нравилось, и публика съ восторгомъ принимала трагедіи Озерова и имя его окружила слагою. Это происходило отъ того, что міръ чувства, изображаемый трагикомъ, заключая въ себѣ общечеловѣческое содержаніе, въ сильной степени интересовалъ ее, что она уже выросла до пониманія этого міра чувства, что чувствительность или сентиментальность, отличавшая всѣ тогдашнія произведенія литературы, входила, какъ существенный элементъ, въ трагедіи Озерова. Но все это не составляетъ большой заслуги со стороны нашего трагика; все историческое и все литературное содержаніе своихъ трагедій онъ заим-

ствовалъ изъ французскихъ образцовъ, съ которыми только и былъ знакомъ; всѣ знаменитыя фразы и тирады онъ по большей части только переводилъ; въ наше время сказали бы съ насмѣшкою—украсть, но въ ту пору на это дѣло смотрѣли иначе и не ставили въ вину автору вольныя и невольныя его заимствованія. „Подражаніе не всегда бываетъ удѣломъ низкихъ писателей, говоритъ современный рецензентъ Озерова; нерѣдко геним не стыдились заимствовать изъ сочиненій другихъ, не говорю высокихъ, но весьма посредственныхъ“ <sup>1)</sup>). Заимствование хорошаго, усвоеніе того, что твердила вся Европа,—было честью для писателя.

„Эдипъ въ Афинахъ“ передаетъ послѣднюю судьбу знаменитаго героя греческихъ сагъ и преданій. „Доселѣ злоключенія грековъ, говоритъ тотъ же современный критикъ, не извлекали у насъ слезъ на русскомъ театрѣ“. Дѣйствительно за исключеніемъ „Демофонта“, трагедіи Ломоносова, которая по своему характеру и не могла имѣть успѣха на сценѣ, Эдипъ Озерова былъ первою у насъ греческою трагедіею; для пониманія „злоключеній“ Эдипа нужно было нѣкоторое развитіе, знакомство съ содержаніемъ преданія. Эти требованія общество могло уже выполнить. Судьба Эдипа давно сдѣлалась предметомъ сценической передачи, начиная съ безсмертной трилогіи Софокла. У Озерова для его пьесы было весьма много образцовъ, изъ которыхъ главными были: „Эдипъ въ Колонѣ“, послѣдняя часть Софокловой трилогіи, и пьеса посредственнаго французскаго трагика Дюси — „Эдипъ у Адмета“. Изъ той и другой пьесы Озеровъ заимствовалъ одинаково, но не повторилъ однако буквально ни той, ни другой. По словамъ современной критики „въ его твореніи нѣтъ ни *сухости* (!) трагика греческаго, ни любовныхъ шалостей французскихъ“. Эти слова показываютъ, какъ смотрѣли тогда, согласно риторической теоріи французовъ, на греческій театръ. И Озеровъ былъ воспитанъ въ тѣхъ же понятіяхъ. Было бы очень долго указывать здѣсь подробно отношенія трагедіи Озерова къ двумъ названнымъ нами пьесамъ Софокла и Дюси, у которыхъ заимствовалъ Озеровъ, у перваго—общій планъ и частію характеры дѣйствующихъ лицъ, у другого — тоже характеры и подробности. Русская критика давно уже и подробно обратила вниманіе на эту сторону вопроса. О немъ говорится и въ статьѣ „Сѣвернаго Вѣстника“, но болѣе подробно и съ большимъ знаніемъ дѣла—Мерзляковымъ на его публичныхъ лекціяхъ о трагедіяхъ Озерова <sup>2)</sup>, а также и въ большой критической статьѣ Галахова о сочиненіяхъ

<sup>1)</sup> Сѣв. Вѣстн., 1805 г. Іюль, стр. 25.

<sup>2)</sup> Вѣстн. Евр. 1817 г., ч. XCII, стр. 267—295.

Озерова <sup>1)</sup>). Нечего и говорить, что ни для самого сочинителя, ни для его восторженных поклонников — зрителей его трагедии, вовсе не существовало того глубокого, религиозного и патристического содержания, которое заключено в Софоклѣ. Очень хорошо сказано объ этомъ уже очень давно князь Вяземскій вь статьѣ своей объ Озеровѣ: „трагедія греческая заимствовала свою силу отъ всего, что было священо для греческаго сердца. Слава предковъ и современныхъ гражданъ, народныя преданія и обычаи, таинства религій, торжественныя обряды богослуженія, были, такъ сказать, сокровищемъ греческихъ трагиковъ. Мы можемъ постигать красоту ихъ искусства, но и постигнувъ ее, будемъ единственно холодными зрителями дѣйствія, а не участниками онаго. Смерть Эдипа, залогъ благоденствія Аѳинъ, можетъ ли производить надъ зрителями чуждыми то дѣйствіе, которое имѣла она на аѳинскомъ театрѣ?“ <sup>2)</sup>). Чѣмъ же восторгались наши зрители вь греческой трагедіи Озерова? Ихъ влекло вь театръ прекрасное, одушевленное для времени, выраженіе обще-человѣческаго содержанія, человѣческихъ чувствъ и страстей, согласное съ новымъ развитіемъ современнаго общества. По глубинѣ душевнаго содержанія, по силѣ и интенсивности сердечнаго чувства, по красотѣ выраженія вь языкѣ—трагедія Озерова далеко ушла впередъ отъ всего предшествовавшего ей на русской сценѣ. Не страданія Эдипа, какъ Эдипа греческаго, печальной жертвы неумоимаго древняго фатума, вызывали сочувствіе вь сердцахъ зрителей, а страданія отца, оставленнаго злыми и неблагодарными сыновьями, его душевная скорбь при воспоминаніяхъ о нихъ, его прощеніе раскаявшемуся сыну, его нѣжныя отношенія къ Антигонѣ, характеръ которой принадлежитъ къ самымъ плѣнительнымъ созданіямъ трагической музы грековъ. Изящныя скульптурныя черты греческой Антигоны, ея беззапятная преданность отцу, ея нѣжное отношеніе къ братьямъ—повторились и вь Антигонѣ Озерова, но она нѣсколько потеряла свою древнюю простоту, то безмолвіе греческой женщины, которое составляло ея достоинство вь гинекеяхъ. Она—трагическая героиня новаго времени: она дѣйствуетъ и разсуждаетъ; она высказываетъ сознаніе самой себя и того, что ее окружаетъ. Озеровъ не зналъ греческаго подлинника, и если былъ знакомъ съ пьесой Софокла, то, по всей вѣроятности, во французскомъ переводѣ іезуита Вушюу. Главнымъ образцомъ поэтому былъ для него Дюси, и его пьеса скроена по эстетической теоріи французовъ. Это

<sup>1)</sup> Отеч. Зап., 1847 г., т. LII, стр. 3—14.

<sup>2)</sup> Соч. Озерова, изд. 5-ое, ч. III, стр. 140—141. Эта біографія вошла вь собраніе Соч. Вяз., т. I, стр. 24—60.

очевидно по многимъ отступленіямъ отъ греческаго первообраза. У Софокла, напр., Эдипъ умираетъ въ концѣ трагедіи; смерть является для него желанною, давно жданною гостею, исполнительницею воли боговъ, примирительницею послѣ долгихъ, неслыханныхъ бѣдствій и страданій; этою смертію онъ примиряется съ богами, а прахъ его, оставшійся въ афинскомъ предмѣстіи Колонѣ, по общанію оракула, дѣлается залогомъ счастья и будущаго цвѣтущаго развитія гостепріимныхъ Аѣинъ. Даже у Дюси—Эдипа поражаетъ громъ небесный. У Озерова же знаменитый страдалецъ остается въ живыхъ, и этимъ фактомъ ослабляется общее окончательное впечатлѣніе трагедіи. Что Эдипу жизнь, на что она ему послѣ всего того, что онъ выстрадалъ? Современный критикъ передаетъ объ этомъ обстоятельстве любопытный рассказъ, свидѣтельствующій о могуществѣ теоріи для тогдашнихъ авторовъ. Озеровъ желалъ первоначально кончить Эдипа такъ, какъ онъ оканчивается у Софокла, т.-е. смертію, но одинъ актеръ, воспитанный въ школѣ Сумарокова (по всей вѣроятности Дмитревскій) напугалъ его своимъ предсказаніемъ, что публика дурно приметъ конецъ, противный тогда господствующимъ понятіямъ о цѣли драматическихъ произведеній, по которымъ пороки должны быть наказаны, а добродѣтель восторжествовать въ трагедіи. И Эдипъ остался жить, а жертвою трагическаго возмездія является Креонъ—лицо, находящееся и у Софокла, гдѣ оно необходимо и служитъ для объясненія и развитія дѣйствія; въ трагедіи же Озерова этотъ Креонъ, братъ Эдиповой жены,—ходульный злодѣй, какихъ любили выставлять ложно-классическіе трагики, а не живое лицо: онъ гордится, хвалится на каждомъ шагѣ зломъ и преступленіями. Зато воспоминаніемъ греческаго театра и очень удачнымъ нововведеніемъ у Озерова являются хоры, которые онъ написалъ не столько въ подражаніе трагедіи Софокла, сколько въ подражаніе современной французской оперѣ „Эдипъ въ Колонскомъ предмѣстіи“, излагавшей то же самое содержаніе.

Какъ бы мы ни рассматривали эту первую трагедію Озерова, для насъ на первомъ планѣ стоитъ та мысль, что несмотря на все свое греческое содержаніе, она не даетъ опредѣленнаго представленія о духѣ личностей древняго театра и, кромѣ вѣшной тѣни греческой басни, не заключаетъ въ себѣ ничего греческаго. Трагедія Озерова ближе всего подходитъ къ своему французскому образцу; изъ пьесы Дюси вышелъ и Эдипъ, болѣе похожій на резонирующаго отца XVIII вѣка, чѣмъ на печальную жертву боговъ, и Антигона съ своею изысканною нѣжностію, и сынъ Эдипа—Полиникъ, обратившійся на путь добра и чистосердечно выпрашивающій себѣ прощеніе у ногъ отца. Заслуга Озерова заключалась въ хорошемъ усвоеніи

французской пьесы, въ умѣннй передать ея содержаніе сильными и прекрасными для того времени стихами, которыми любовались его современники. Заслуга, конечно, не очень большая, чисто относительная, но этими стихами передавались на сценѣ выраженія трогательныхъ чувствъ и они, удерживаясь въ памяти, невольно способствовали воспитательному элементу театра и его вліянію на общество. Очень многія изъ французскихъ трагедій XVIII вѣка, въ особенности у Вольтера, у М. Ж. Шенье, проникнуты были вполнѣ современнымъ содержаніемъ и направленіемъ мысли: нѣкоторыя изъ нихъ являлись вдохновенною проповѣдью политической свободы, гражданского равенства, вѣротерпимости и другихъ идей, волновавшихъ современное общество. Мы не имѣемъ права искать этого широкаго общечеловѣческаго содержанія въ трагедіяхъ Озерова: онъ самъ былъ не настолько образованъ, чтобъ сочувствовать полнотѣ современной мысли, да и русская литература вся страдала тогда бѣдностію ея. Выраженія, сентенціи и отдѣльныя мысли трагедіи Озерова были слишкомъ общаго содержанія, но они были написаны прекраснымъ языкомъ и невольно удерживались въ памяти. Чуткая публика, а это было въ первые годы царствованія Александра, когда мы еще не начинали пагубныхъ войнъ, съ жадностію ловила въ пьесѣ всѣ современные намеки. Государственныя реформы того времени приводили въ восторгъ мыслящее молодое поколѣніе и, напр., при слѣдующихъ словахъ Тезея:

Мой мечъ—союзникъ мнѣ  
И поданныхъ любовь къ отеческой странѣ;  
Гдѣ на законахъ власть царей установлена,  
Сразить то общество не можетъ и вселенна“,—

при стихахъ этихъ, въ которыхъ видѣли современный намекъ на государя,—театръ московской ломился отъ рукоплесканій и криковъ <sup>1)</sup>).

Разбирая взгляды, сужденія и отношенія современниковъ къ этой первой трагедіи Озерова, мы должны сказать, что, несмотря на общій восторгъ, возбужденный ею, мнѣнія вообще раздѣлились, и безусловными поклонниками „Эдипа“ являлись представители молодого поколѣнія, на сторонѣ которыхъ были, впрочемъ, и болѣе умные писатели, какъ, напр., Карамзинъ, Дмитріевъ, Мерзляковъ, Капнистъ, тогда какъ старое поколѣніе стояло все еще за трагическія преданія временъ Сумарокова и Княжнина: этимъ объясняется и враждебное отношеніе къ пьесѣ Державина и Шишкова. Но господствующій взглядъ, однако, состоялъ въ томъ, что до „Эдипа“ не встрѣчается въ нашей литературѣ трагедіи, столь превосходной въ теоре-

<sup>1)</sup> Записки Жихарева, стр. 82.

тическомъ отношеніи, что стихи трагедіи безподобны, выражая прекрасныя мысли, и главное — множество чувства, что умиительныя сцены трагедіи невольно исторгаютъ слезы, что дѣйствіе ея просто и естественно <sup>1)</sup>. Словомъ, успѣхъ трагедіи былъ полный, а восторгъ отъ нея публики вездѣ единодушный; театръ былъ постоянно полонъ при ея представленіи. Необыкновенный успѣхъ *Одіа*, казалось, указывалъ Озерову, что его призваніе есть трагическая поэзія, и черезъ годъ послѣ первой трагедіи его явилась на петербургской сценѣ (8 декабря 1805 года) вторая — „*Фингалъ*“ — также съ хорами и даже пантомимными балетами, которыхъ не знала прежде русская трагедія, но которые, однако, оживляли сцену. На этотъ разъ содержаніе трагедіи взято было Озеровымъ изъ міра, очень далекаго къ Греціи и совершенно чуждаго ей по содержанію, по характеру дѣйствующихъ лицъ, по природной обстановкѣ и религіознымъ понятіямъ. Содержаніе новой трагедіи взято изъ *Оссіановыхъ* поэмъ, которыя были въ большомъ уваженіи въ концѣ прошлаго и даже началъ нынѣшняго вѣка въ европейскихъ литературахъ и вызвали много подражательныхъ явленій. Поэмы *Оссіана*, кромѣ множества различныхъ отрывковъ, появлявшихся въ журналахъ, конечно, въ переводахъ съ французскаго, были у насъ извѣстны еще въ 1792 году въ переводѣ Кострова. Озеровъ заимствовалъ содержаніе своей трагедіи изъ 3 пѣсней. Дѣйствіе ея раздѣлено между немногими лицами. На первомъ планѣ является старикъ *Старнъ*, царь локлинскій, бывшій плѣнникомъ *Фингала*, царя Морвенскаго. *Фингалъ* убилъ когда-то въ сраженіи сына Старнова — *Тоскара*, и старикъ, постоянно оплакивая сына, только живетъ и дышитъ мыслию о мщеніи, а между тѣмъ *Фингалъ* влюбленъ страстно въ сестру убитаго *Тоскара* и дочь *Старна* — *Моину*, которая отвѣчаетъ ему взаимностію. Любовь *Фингала* и *Моины* исполнена лирическаго чувства и идилліи, а *Старнъ* скрываетъ отъ дочери свое негодованіе и приготовленія къ мести. *Моина* колеблется между любовью къ отцу и любовью къ *Фингалу*; она спасаетъ его отъ меча отцовскаго, но сама падаетъ отъ его руки. Вотъ содержаніе новой трагедіи Озерова, у которой, въ противность правиламъ классической теоріи, только три дѣйствія: очевидное доказательство, что у поэта не достало содержанія на два. Справедливо въ этомъ случаѣ замѣтилъ князь *Вяземскій* объ *Оссіанѣ*: „Ровное и, такъ сказать, одноцвѣтное поле его поэмъ общаетъ ли богатую жатву для трагедіи, требующей дѣйствія сильныхъ страстей, безпрестаннаго ихъ боренія и великихъ послѣдствій? Не думаю“ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Ibid, стр. 81.

<sup>2)</sup> Соч. Озерова. 5-е изд., ч. III, стр. 147.

Не оставляя своихъ классическихъ воспоминаній, Озеровъ, въ посвященіи „Фингала“ А. Оленину, съ которымъ онъ былъ соединенъ многолѣтнею дружбою, говорить, что и въ этомъ отношеніи содержаніе новой трагедіи получено имъ не самостоятельно, а что по его совѣту онъ рѣшился „народовъ сѣверныхъ Ахилла описать“. Оленинъ, указавшій на этотъ разъ Озерову содержаніе для новой трагедіи, принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей въ царствованіе Александра и Николая, хотя собственно въ литературѣ имя его встрѣчается и на брошюрахъ самаго разнообразнаго содержанія, доказывающихъ, что онъ, какъ человекъ русскій, брался за многое, говорилъ о многомъ поверхностно, не изучивъ глубоко предмета, о которомъ говорилъ. Оленинъ получилъ образованіе за границею. Въ царствованіе Екатерины онъ прожилъ пять лѣтъ въ Дрезденѣ, обучаясь воинскимъ и словеснымъ наукамъ; въ этомъ городѣ, гдѣ собрано такъ много произведеній искусства и гдѣ вообще развита художественная жизнь, Оленинъ полюбилъ искусство. Его успѣхи по службѣ начались при Александрѣ и были довольно быстры, хотя Оленинъ ничѣмъ не выдавался, кромѣ любви къ художествамъ и поэзіи, къ художникамъ и литераторамъ. Это влеченіе Оленинъ могъ удовлетворять въ сильной степени, когда въ 1808 году онъ сдѣлался помощникомъ главнаго директора Императорской публичной библіотеки, а вскорѣ потомъ и директоромъ ея и наконецъ президентомъ Академіи художествъ. Его домъ, гдѣ въ двадцатыхъ годахъ господствовала умная жена его Елисавета Марковна, урожденная Полторацкая, и красивыя и образованныя дочери, былъ пріютомъ художниковъ и писателей. Самъ Оленинъ, при своей чрезвычайной любознательности, сочувствовалъ весьма многому и былъ очень полезенъ совѣтами собиравшимся къ нему писателямъ. Представитель Екатерининскаго поколѣнія, онъ не принадлежалъ однакожъ къ тѣмъ старикамъ, которые навсегда остаются при воспоминаніяхъ своей молодости и смотрятъ подозрительно и угрюмо на новыя явленія жизни. Гостинная Олениныхъ была нейтральною, гдѣ сходились представители обоихъ поколѣній. Оленинъ былъ друженъ, какъ сверстникъ, съ Державинымъ, Шишковымъ и другими литераторами стараго закала; затѣмъ онъ находился въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ Карамзинымъ и его послѣдователями: Жуковскимъ, Батюшковымъ, Озеровымъ и другими. Гнѣдичъ и Крыловъ были домашними людьми въ домѣ Олениныхъ. И потомъ, когда послѣ 1815 года началось у насъ быстрое развитіе либеральныхъ идей, вызванное какъ противодѣйствіе правительственному гнету, въ гостинныя Оленина радушно принимались и молодой Пушкинъ и представители новаго порядка идей, враждебныхъ идеаламъ Ка-

рамзина. Вообще имя Оленина тѣсно связано съ біографіями нашихъ писателей въ царствованіе Александра. Прибавимъ, что единственные достовѣрные свѣдѣнія о біографіи Озерова заключаются въ нѣсколькихъ письмахъ послѣдняго къ Оленину <sup>1)</sup>.

Совѣтъ, данный Оленинымъ Озерову, воспользоваться для новой трагедіи пѣснями Оссіана былъ, однако, не совсѣмъ удаченъ. „Фингалъ“ вышелъ гораздо слабѣе „Эдипа“. Въ послѣднемъ Озеровъ имѣлъ дѣло съ содержаніемъ давно разработаннымъ всемірною литературою. Образы древняго преданія стояли предъ нимъ ясно очерченные, выразительные, точные, какъ статуи изъ мрамора. Таланту его оставалось немного; воспользоваться чужою работою было ему легко. Расплывающіеся же, неясные, туманные образы Оссіановой поэзіи, созданные болѣзненною фантазіей человѣка XVIII вѣка, требовали гораздо болѣе глубокой обработки: имъ вообще не доставало трагическаго содержанія, а дать его Озеровъ былъ не въ состояніи по недостатку таланта. Мерзляковъ справедливо замѣтилъ въ своемъ разборѣ „Фингала“, что изъ поэмъ Оссіана обыкновенно составляли тогда на парижскихъ театрахъ оперы или балеты, ибо, говоритъ онъ, „почитали сіи басни совсѣмъ неспособными для образованной сцены по отдаленности и странности обычаевъ и по самой дикости нравовъ“ <sup>2)</sup>. И Озеровъ, въ самомъ дѣлѣ, чтобы придать разнообразіе трагедіи, ввелъ въ нее хоры и танцы, что придавало особую красоту исполненію трагедіи на сценѣ. Это исполненіе, однако, многимъ было обязано, по свидѣтельству современниковъ, талантливой игрѣ въ пьесѣ Яковлева и Семеновой, произносившихъ звучные для того времени стихи Озерова <sup>3)</sup>. Вся прелесть трагедіи заключалась только въ этихъ стихахъ да въ сценической обстановкѣ, которая изображала дикія скалы, грозное море и мрачную сѣверную природу. Самая же трагедія была вообще плоха и по слабому развитію дѣйствія и по неопредѣленности, невыдержанности и даже безсмыслию. Фингалъ и Моина—лица вовсе не трагическія; одна только Моина, съ ея любовью, съ ея страданіями печальной жертвы, возбуждаетъ къ себѣ сочувствіе и выкупаетъ своимъ прекраснымъ образомъ общую бѣдность содержанія трагедіи. Но пьеса нравилась публикѣ. „Самая новостъ сцены, дикость характеровъ и мѣстъ, старинные храмы, игры и тризна, скалы и вертепы: все вмѣстѣ съ арфою и стихами Озерова, облеченное сѣверными туманами, придаетъ пьесѣ этой какую-то меланхолическую занимательность“ — говоритъ Мерзляковъ <sup>4)</sup>. Это, какъ ви-

<sup>1)</sup> Гротъ. Соч. Держ. II, стр. 493 сл.

<sup>2)</sup> Вѣстн. Евр. 1817 г., ч. XCIII, стр. 37.

<sup>3)</sup> Записки Жихарева, стр. 265—266.

<sup>4)</sup> Вѣстн. Евр. Ibid. стр. 46—47.



дите, были чисто внѣшнія достоинства; замѣтимъ, что трагедія „Фингалъ“ произвела сильное впечатлѣніе на воображеніе Жуковскаго, который оставилъ въ стихахъ своихъ полученное имъ впечатлѣніе.

Съ небольшимъ черезъ годъ (январь, 1807 г.) послѣ „Фингала“ появилась на сценѣ и третья трагедія Озерова „Димитрій Донской“, посвященная имъ въ сознаниі патріотическаго чувства императору. Представленіе происходило во время самаго разгара нашей войны съ Наполеономъ, въ 1807 году. Эти обстоятельства придали трагедіи Озерова особое значеніе, да и самъ сочинитель, создавая свою трагедію, имѣлъ ихъ въ виду. Въ своемъ посвященіи онъ сравнивалъ Александра съ Димитріемъ передъ битвою съ Мамаемъ на Задонскихъ поляхъ, говорилъ, что Александръ принялъ оружіе для спасенія разноплеменныхъ народовъ отъ ига честолюбиваго завоевателя, для защищенія свободы европейскихъ державъ, называлъ Александра покровителемъ угнетенныхъ и пр. Все это патріотическое содержаніе посвященія выражалось на каждомъ шагѣ въ самой трагедіи: она была написана для обстоятельствъ и общества того времени.

Эти чисто внѣшнія причины способствовали необыкновенному успѣху трагедіи; онѣ подкупили современниковъ, и пьеса приводила ихъ въ неописанный восторгъ. Многіе изъ нихъ смотрѣли на это новое произведеніе Озерова, какъ на гениальное. „Я въ восторгѣ! записываетъ въ свой дневникъ одинъ современникъ, воротившійся съ репетиціи „Димитрія Донскаго“. У насъ не слыхано и не видано такой театральной пьесы, какою завтра будетъ подчивать публику Озеровъ. Роль Димитрія превосходна отъ перваго и до послѣдняго стиха. Какое чувство и какія выраженія!.. Оттого ли, что стихи въ трагедіи мастерски принаправлены къ настоящимъ политическимъ обстоятельствамъ, или мы всѣ вообще теперь еще глубже проникнуты чувствомъ любви къ государю и отечеству, только дѣйствіе, производимое трагедіею на душу,—невообразимое.

Стоя у кулисы... я плакалъ, какъ ребенокъ, да и не я одинъ: мнѣ показалось, что самъ Яковлевъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей роли какъ будто захлебывался и глоталъ слезы“ <sup>1)</sup>.

„Димитрій Донской“ имѣлъ громадный успѣхъ, какого не помнятъ наши театральныя лѣтописи. Нѣкоторые стихи этой трагедіи, очевидно, рассчитанные на обстоятельства времени, были привѣтствуемы тогда всеобщимъ восторгомъ, напр.

Бѣды платить врагамъ настало нынѣ время!

<sup>1)</sup> Зап. Жихарева, стр. 265—266.

Или

Ахъ! лучше смерть въ бою, чѣмъ миръ принять безчестный!

Посланникъ Мамай являлся для публики посланникомъ Наполеона, Димитрій—Александромъ.

„Иди къ посланному и возвести ему,  
Что Богу русскій князь покоренъ одному“.

Или

„Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой:  
Къ чести, правдѣ врагъ, тотъ врагъ, конечно, мой—

говорилъ Димитрій послу Мамай и публикѣ казалось, что передъ ней происходило современное дѣйствіе.

Восторженное чувство зрителей доходило до крайнихъ предѣловъ, когда въ концѣ трагедіи, послѣ побѣды надъ татарами израненный Димитрій, поддерживаемый князьями, становится на колѣни и говорить:

„Но первый сердца долгъ къ Тебѣ, Царю царей!  
Всѣ царства держатся десницею Твоей:  
Прославь, и утверди, и возвеличь Россію,  
Какъ прахъ земной сотри враговъ кичливыхъ выю,  
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменикъ могъ:  
Язвы! вѣдайте: великъ Россійскій Богъ!“

Такое патріотическое содержаніе новой трагедіи „Димитрій Донской“, гдѣ заключалось такъ много намековъ на современность, всѣхъ занимавшую, должно было совершенно скрыть отъ глазъ современниковъ всѣ недостатки ея. Относиться скептически къ достоинствамъ трагедіи, отыскивать въ ней разныя погрѣшности, выражать открыто свое мнѣніе о томъ, чѣмъ грѣшитъ она, — значило вооружать противъ себя общественное мнѣніе, являться не патріотомъ. Такое несвободное отношеніе критики къ „Димитрію“ продолжалось довольно долгое время. Замѣчательно, что Мерзляковъ, уже по смерти Озерова, сдѣлавшій въ 1817 году на своихъ публичныхъ лекціяхъ подробный и весьма справедливый по тому времени разборъ всѣхъ трагедій Озерова, не подвергалъ однако разсмотрѣнію „Димитрія Донскаго“, безъ сомнѣнія, по тому соображенію, что безпристрастное сужденіе о трагедіи было бы непріятно его слушателямъ. Еще въ то время всѣ были убѣждены, что „Озеровъ возвратилъ трагедіи ея истинное достоинство: питать гордость народную священными воспоминаніями и вызывать изъ древности подвиги великихъ героевъ, благодѣтелей современникамъ, служащихъ образцомъ для потомъ-

ства“ <sup>1)</sup>. Въ 1812 году повторился вновь чрезвычайный успѣхъ „Донского“. Современники говорили, что въ этой трагедіи были предсказаны многія событія года отечественной войны.

### ЛЕКЦІЯ XXX.

«Димитрій Донской.» — Служебныя неприятели Озерова. — Намѣреніе писать трагедію изъ русской исторіи. — «Поликсена.» — Неуспѣхъ пьесы. — Его причины. —  
Кн. А. А. Шаховской.

Трагедія Озерова „Димитрій Донской“ имѣла временное значеніе, которому помогали историческія событія, вызвавшія патріотическое настроеніе общества. Но, какъ художественное произведеніе, она стоитъ гораздо ниже прочихъ его драматическихъ произведеній и не выдержитъ самой снисходительной критики. Въ другихъ трагедіяхъ у Озерова было содержаніе, чрезвычайно разработанное европейскими литературами; трагическія лица и событія стояли передъ нимъ вполне готовые и отдѣланные; Озерову оставалось только брать смѣлою рукою и переводить на русскій языкъ, на свой звучный, для того времени, стихъ. Здѣсь, въ событіяхъ отечественной исторіи, въ ихъ отношеніи къ его поэтическому пониманію было совершенно другое дѣло. Озерову, трагическому поэту начала XIX вѣка, воспитанному вполне по-французски и на классическихъ образцахъ французской литературы, содержаніе и характеръ родной исторіи были совершенно неизвѣстны; разумѣется, онъ не читалъ ни одного лѣтописнаго разсказа о побѣдѣ Димитрія надъ Мамаемъ, ни одной древне-русской повѣсти о ней; сраженіе Куликовское представлялось въ его воображеніи въ образахъ совершенно общихъ, лишенныхъ мѣстнаго колорита, чѣмъ-то въ родѣ сраженія Мараѳонскаго. Озеровъ не зналъ русской исторіи, а если онъ и зналъ что-нибудь о настоящемъ историческомъ Димитріи, то считалъ себя въ правѣ измѣнить эту личность дѣйствительную въ небывалую и идеальную фигуру средне-вѣковаго рыцаря, влюбленнаго въ столь же небывалую и фантастическую княжну Ксенію, прибывшую въ русскій лагерь для брака съ княземъ тверскимъ, по волѣ отца и противъ стремленія своего сердца, влекущаго ее къ Димитрію, свободно рассказывающую со своею наперсницею и безпрестанно толкующую о своей страстной любви. Озеровъ имѣлъ, впрочемъ, право измѣнить дѣйствительное содержаніе на фантастическое, потому что и его зрители были

<sup>1)</sup> Соч. Озерова, изд. 5, ч. III, стр. 150.

совершенно равнодушны къ первому, подобно поэту не знали русской исторіи, и ихъ національное чувство нисколько не могло оскорбиться грубымъ искаженіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Значеніе этой трагедіи Озерова должно было быстро исчезнуть, вмѣстѣ съ обстоятельствами времени; для насъ содержаніе, состоящее изъ нелѣпой любви, наполняющей всѣ пять дѣйствій, и напыщенныя тирады о любви къ отечеству, долгѣ, рыцарскихъ чувствахъ и т. п. дѣлаютъ ее невыносимою. Для тѣхъ зрителей, которые въ сонмѣ российскихъ князей, бояръ и воеводъ, собиравшихся въ трагедіи для разсужденій о благѣ отечества, для рѣшеній вопроса о войнѣ или мирѣ, воображали видѣть личностей, напоминающихъ сенаторовъ древняго Рима, — ихъ рѣчи звучали и величіемъ и патриотизмомъ. Но для людей, искусившихся знаніемъ своего прошлаго, читавшихъ, что эти князья, бояре и воеводы въ княжеской московской думѣ сидѣли большею частію молча, уставя брады или грызаясь между собою изъ-за мѣсть, — ихъ рѣчи въ трагедіи Озерова звучатъ ходульной декламаціей и возбуждаютъ только смѣхъ. Не то было во время представленія трагедіи. Современники были возбуждены патриотически, громкая рѣчь о любви къ отечеству казалась имъ близкою къ дѣлу.

Даже „любовныя шалости“, столь изобильно наполняющія трагедіи Озерова, за исключеніемъ одного „Эдипа“, не казались тогда приторными. Общество того времени уже было воспитано чувствительностію Карамзина; Озеровъ принадлежалъ къ его школѣ, былъ увлеченъ общимъ направленіемъ и хлопоталъ въ своихъ трагедіяхъ объ изображеніи чувства. Оно было выражено въ самомъ дѣлѣ съ значительною вѣрностію и глубиною, хотя уже, согласно духу времени, переходило въ тотъ мечтательный, неопредѣленный, расплывающійся *романтизмъ*, представителемъ котораго вскорѣ сдѣлался у насъ Жуковский. Озеровъ можетъ названъ въ этомъ смыслѣ его предшественникомъ. Оттого у Жуковского было такое сочувствіе къ Озерову. Онъ говорить о немъ:

„Чувствительность его сразила!  
Чувствительность, которой сила  
Моины думу создала,  
Пѣвцу погибелью была“...

Эта чувствительность была наслѣдіемъ Карамзина; Жуковский придавалъ ей туманный характеръ современнаго европейскаго романтизма. У Карамзина дѣло шло только о чувствительности сердца, искушеннаго любовными страданіями; у Жуковского эта скорбь расширялась и распространялась на всю жизнь, на весь міръ, въ которомъ человѣкъ

не видѣлъ для себя мѣста для дѣйствія, гдѣ были только разбитыя надежды, печальныя, напрасныя жертвы, гдѣ было все невѣрно, обманчиво, гдѣ человѣкъ приучался только мечтать о грядущемъ, объ очарованномъ *тамъ*, которое замѣнить и искупить земныя страданія. Начало этого болѣе широкаго романтизма, который, въ свою очередь, подобно Карамзинской чувствительности, сдѣлался однимъ изъ воспитательныхъ элементовъ нашего общества, замѣтно и у Озерова. Женскія лица всѣхъ его трагедій вполнѣ романтическія героини.

Необычайный успѣхъ „Димитрія Донскаго“ былъ однако послѣднимъ сценическимъ успѣхомъ Озерова. Вскорѣ начались его неудачи въ жизни, кончившіяся такъ печально. „Частныя неудовольствія, легкія можетъ быть для другого, но нестерпимыя для нѣжной и благородной души, удалили Озерова въ деревню“ — говоритъ кн. Вяземскій. Въ чемъ заключались эти „частныя неудовольствія“, мы не знаемъ положительно. По разсказу двоюроднаго брата Озерова, Блудова, слышанному Гротомъ, выходитъ, что неудачи эти были служебныя. Мы говорили уже, что Озеровъ дослужился до чина генераль-маіора, будучи совѣтникомъ въ лѣсномъ департаментѣ по министерству финансовъ, которымъ управлялъ государственный казначей Голубцевъ. Озеровъ терпѣлъ большія непріятности отъ своего начальника и былъ въ 1808 году уволенъ вовсе отъ службы, безъ прошенія и безъ пенсіи <sup>1)</sup>. За что нападалъ Голубцевъ на Озерова, мы не знаемъ, но честный характеръ этого Голубцева извѣстенъ намъ изъ записокъ современниковъ. Изъ писемъ самого Озерова къ пріятелю его Оленину, видно, что обвиненія падали не на него одного; онъ раздѣлялъ ихъ съ прочими лѣсными чиновниками, заподозрѣнными, какъ видно, во взяточничествѣ. Слава поэта-патріота не спасла Озерова. „Мою обязанность къ отечеству исполнилъ, пишетъ онъ къ Оленину, находясь въ службѣ болѣе тридцати лѣтъ и служивъ оберъ-офицеромъ болѣе 20 лѣтъ. Если не могъ быть ему полезенъ столько, сколько желалъ, тому не я причиною, а судьба, стѣснявшая всегда кругъ моихъ обязанностей. По лѣсному же департаменту я имѣлъ случай доставить казнѣ, въ продолженіе семи лѣтъ, болѣе милліона трехъ сотъ тысячъ рублей дохода новою и мною найденною и обработанною статьею сборовъ, которая ежегодно приноситъ отъ 50 до 70 тысячъ рублей. Но вмѣсто поощреній и награжденій я чувствовалъ одни огорченія, испыталъ несправедливости и подвергнулся со всѣми лѣсными чиновниками подозрѣнію правительства. Послѣднее довершило мое негодованіе на службу, когда я увидѣлъ, что ни моя скромная жизнь, ни отказываніе себѣ во многомъ не могли меня

<sup>1)</sup> Соч. Держ. II, стр. 581.

исключить изъ подъ ложнаго мнѣнія, по которому, можетъ быть, считаютъ, что сынъ не царскій и не боярскій, а просто дворянскій, не можетъ быть честнымъ человѣкомъ по воспитанію, по собственному понятію своему и совѣсти“<sup>1)</sup>. Эти искреннія слова вполне оправдываютъ Озерова и заставляютъ убѣдиться, что общее обвиненіе, можетъ быть, въ сущности и справедливое, не должно было касаться его. Всѣ хлопоты Озерова о пенсіонѣ, который былъ ему необходимъ, чтобы имѣть возможность, при его незначительномъ состояніи, жить въ Петербургѣ, кончились неуспѣхомъ, и онъ долженъ былъ, уѣхать въ тверскую деревню отца своего, которому шелъ тогда 73-й годъ.

Къ этимъ служебнымъ непріятностямъ, которыя повели къ несчастной отставкѣ Озерова и заставили его оставить Петербургъ, гдѣ онъ провелъ лучшіе года своей жизни, гдѣ онъ наслаждался славою поэта и блестящими сценическими успѣхами и гдѣ были всѣ его созданныя годами привязанности, присоединился неуспѣхъ его послѣдней трагедіи „Поликсена“, почти оконченной до отъѣзда его въ деревенскую глушь. Этотъ неуспѣхъ нанесъ окончательный нравственный ударъ Озерову. Изъ писемъ къ Оленину видно, что несчастный поэтъ уѣхалъ бодрымъ изъ Петербурга. Онъ сообщаетъ насмѣшливыя замѣчанія о своей деревенской обстановкѣ, объ эстетическомъ развитіи и вкусѣ своихъ сосѣдей. Пославъ къ Оленину изъ тверской деревни осенью 1808 года свою „Поликсену“, въ чисто переписанномъ экземплярѣ и возложивъ на него всѣ заботы о постановкѣ этой трагедіи на петербургской сценѣ, съ условіемъ взять за нее съ театральной дирекціи не менѣе 3 тысячъ рублей и не уступать изъ этой суммы ни рубля, потому что „пора признать въ Россіи, что таланты не для дневнаго пропитанія трудятся“<sup>2)</sup>, Озеровъ наполняетъ свои письма заботами о своемъ послѣднемъ трагическомъ дѣтищѣ и спѣшитъ поправить въ ней изъ деревни тотъ или другой стихъ, который ему не нравится. Изъ тверской деревни Озеровъ долженъ былъ уѣхать дальше, именно въ деревню Красной Ярѣ, въ 30 верстахъ отъ г. Чистополя, Казанской губерніи. По его словамъ, это была его единственная собственность и въ ней требовалось необходимо его присутствіе для устройства хозяйственныхъ дѣлъ. Даль и глушь не пугали его сначала: „Исключая нѣкоторое малое число милыхъ пріятелей, которыхъ я покинулъ въ Петербургѣ, я ни о комъ и ни о чемъ, тамъ оставленномъ, не тужу,—пишетъ онъ уже изъ чистопольской деревни. Здѣсь живу я въ настоящей хижинѣ, потому что мой домъ не отдѣланный стоитъ, безъ печей и окон-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1869 г. стр. 139—140.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 131.

чинъ, но признаюсь вамъ, что мою безпечную и свободную жизнь не промѣняю ни на сенаторское, ни на министерское мѣсто“ <sup>1)</sup>. Пославъ свою „Поликсену“ въ Петербургъ къ Оленину, Озеровъ составляетъ планы и выбираетъ содержаніе для будущихъ трагедій. Онъ слѣдитъ за текущею русскою литературою по журналамъ. Впереди всѣхъ шумѣлъ тогда „Русскій Вѣстникъ“ Глинки, который, какъ мы знаемъ, писалъ передъ тѣмъ трагедіи съ содержаніемъ, взятымъ изъ русской исторіи. Это требованіе Глинки—обращаться за содержаніемъ къ родной жизни—сначала, повидимому, вызываетъ ироническія замѣчанія Озерова. „Изъ его разсужденій, пишетъ онъ, выводится заключеніе, что ни Корнель, ни Расинъ, ни Вольтеръ, ни Кребильонъ не были истинными трагиками, хотя мы всѣ, упражняющіеся въ трагическомъ искусствѣ, почитаемъ ихъ своими учителями“. Но мало-по-малу теорія Глинки овладѣваетъ умомъ Озерова, и онъ думаетъ писать трагедію изъ русской исторіи, но не въ томъ, далекомъ отъ истины видѣ, въ какомъ написанъ былъ „Димитрій Донской“, а съ разработкою дѣйствительнаго историческаго содержанія; съ этою цѣлью Озеровъ обращается за совѣтомъ и помощью къ Оленину. Содержаніе думаетъ онъ взять теперь изъ царствованія Анны Ивановны, именно смерть Волинскаго, „пострадавшаго отъ Бирона за правду и защиту русскаго народа“. Мысль о такомъ содержаніи занимала Озерова еще въ Петербургѣ; оно было весьма благопріятно для трагедіи и надо удивляться, что такая мысль пришла на умъ Озерову, для котораго дороже всего были его французскіе образцы. Но Волинскій все-таки была личность неясная для трагика, для разработки матеріала въ этомъ родѣ тогда вовсе не доставало источниковъ, и, чтобы добыть ихъ, онъ обращается къ Оленину: „По вашимъ связямъ съ министрами и, другими сильными людьми въ довѣріи и власти, не можете ли открыть производство слѣдственнаго дѣла надъ Волинскимъ и мнѣ о томъ сообщить?“ Но Озеровъ понималъ тогдашнее положеніе литературы, съ ея робкимъ и ничтожнымъ содержаніемъ, понималъ ея печальную зависимость отъ цензуры и высказывалъ грустное убѣжденіе, что его трагедія съ этимъ избраннымъ имъ содержаніемъ *никогда* не можетъ быть играна на нашемъ театрѣ, а потому онъ и намѣревался писать ее только для своихъ пріятелей. А между тѣмъ его взглядъ на содержаніе и развитіе предполагаемой трагедіи былъ широкъ и свободенъ: „И какое широкое поле для сочинителя, говоритъ онъ, чтобъ показать во всемъ блескѣ правду русскаго боярина, должность вельможи и сенатора, и противоположить злоупотребленія временщика-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 139.

иностранца, алчущаго одной своей корысти и. можетъ быть, ненавидящаго народъ, ввѣренный управленію его слабою государынею; и наконецъ представить настоящее положеніе народа подъ слабымъ и недовѣрчивымъ правленіемъ“ <sup>1)</sup>. „Вы чувствуете, какія истинныя картины можно изобразить, заимствуя кое-что изъ нашихъ временъ“. Но для такой картины, вдали отъ Петербурга и безъ помощи архивовъ, у Озерова, въ его глуши, не доставало матеріаловъ. Оленинъ же не совѣтовалъ ему приниматься за Волинскаго, и Озеровъ снова обратился къ вѣчнымъ сюжетамъ классической трагедіи. По словамъ кн. Вяземскаго, онъ сжегъ написанныя имъ три дѣйствія новой трагедіи „Медея“, въ припадкѣ унынія и оскорбленнаго самолюбія отъ неуспѣха его „Поликсены“. Онъ не хотѣлъ болѣе ничего писать: „Ни сей трагедіи, ни другихъ писать болѣе не хочу“—говоритъ онъ—„тысячи непріятностей, навлеченныхъ мнѣ званіемъ автора и обиды, *которая, можетъ быть, оное навело мнѣ по службѣ* (любопытный намекъ) заставляютъ меня отстать отъ стихотворства, бросить перо, приняться за заступъ, и обработывая свой огородъ, возвратиться въ толпу обыкновенныхъ людей“.

Содержаніе послѣдней трагедіи Озерова „Поликсена“, представленной въ первый разъ на петербургской сценѣ, въ отсутствіе автора, 14 мая 1808 года, взято имъ снова изъ классическаго міра, изъ круга троянскихъ сказаній. Современные критики считали эту трагедію лучшимъ изъ произведеній Озерова, а слѣдовательно, лучшею изъ всѣхъ русскихъ трагедій. Можетъ быть, въ этомъ сужденіи участвовала и значительная доля сожалѣнія о несчастной судьбѣ Озерова, соединенной съ этою трагедіею. У трагика въ обработкѣ содержанія „Поликсены“ было много предшественниковъ, какъ и въ „Эдипѣ“. Кто не пользовался, кто не обрабатывалъ вѣчное содержаніе Гомеровыхъ поэмъ! Три образца въ особенности лежали передъ Озеровымъ: „Гекуба“ — трагедія Эврипида, „Троада“ — Сенеки и „Троянки“ — тогда молодого и пользовавшагося уже большою славою французскаго писателя, Шатобріана. О своемъ подражаніи Эврипиду говоритъ самъ Озеровъ: „Если третье дѣйствіе нѣсколько поразило слушателей, то обязаны они симъ удовольствіемъ Эврипиду, у котораго я занялъ почти весь разговоръ Гекубы съ Улиссомъ“ <sup>2)</sup>. Кромѣ Эврипида, и Сенека, и Шатобріанъ доставили также много матеріала Озерову. Намъ нѣтъ надобности входить въ подробности о содержаніи „Поликсены“. Всякому образованному человѣку извѣстны вѣчныя преданія, связанныя съ троянскою сагою. Здѣсь дѣло идетъ

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 143.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 149.



о жертвоприношеніи Полиksены, дочери Пріама и Гекубы, когда-то невѣсты Ахилла, въ угоду тѣни греческаго героя, требовавшей жертвы, которая нужна была еще и потому, что съ этою жертвою соединенъ былъ счастливый возвратъ грековъ на родину изъ подѣ ствѣ разрушенной Трои. На троянскомъ берегу ихъ держало безвѣтріе и принесенная жертва должна была умиловать разгнѣван ныхъ боговъ. Въ трагедіи нѣтъ той уже ополненной любовной страсти, которая такъ портила „Димитрія Донскаго“. Все сосредоточено на чувствѣ любви материнской и дочерней, и эта сосредоточенность чув ства придаетъ особую простоту дѣйствию. Лучшій характеръ, конечно, Поликсена, какъ и другія женскія лица трагедій Озерова. Но и другіе характеры трагедіи, окружающіе Поликсену: ея мать Гекуба, сестра Кассандра, Агамемнонъ, скорѣе, впрочемъ, похожій на рыцаря, чѣмъ на древняго грека, Пирръ, Улиссъ—характеры также вѣрные себѣ въ развитіи пьесы. На отдѣлкѣ характера Полиksены сосре доточился, однако, весь талантъ Озерова. Изъ рукъ его она вышла вполне романтическою дѣвою. Прощаясь съ матерью передъ тѣмъ, какъ идти на закланіе, она произноситъ слѣдующія слова, полныя романтическаго чувства:

„Благослови меня послѣднимъ цѣлованьемъ!  
Но духа моего ты не смущай рыданьемъ,  
И слезъ не лей: я ихъ не въ силахъ стереть.  
*Повторъ: не стоитъ жизнь, чтобы о ней жалеть.*  
И Гекторъ и Пріамъ и смертный, сердцу милый,  
Всѣ ждутъ меня, всѣ тамъ, за темною могилой.  
Тамъ мы увидимся! О мать! отпусти,  
Прости въ послѣдній разъ! и ты, сестра, прости!“

Такое представленіе древней гречанки съ романтическими сторо нами характера было уже въ духѣ времени, то же чувство разлито въ балладахъ Шиллера, посвященныхъ Греціи, напр., въ балладѣ „Торжество побѣдителей“. Конечно, оно одно и могло быть пони маемо, и могло нравиться зрителямъ, для которыхъ и сцена дѣй ствія и содержаніе его не представляли никакого интереса. Въ душу типовъ древней Греціи вливалось новое чувство, понятное современ никамъ. Пониманія древней жизни нельзя требовать отъ Озерова. То же самое романтическое чувство слышится и въ послѣднихъ сло вахъ Нестора, заключающихъ трагедію:

„Какой постигнетъ умъ боговъ совѣты чудны!  
Жестоки-ль были мы, или были правосудны?  
Среди тщеты надеждъ, среди страстей борьбы  
Мы бродимъ по землѣ игрищемъ судьбы.  
Счастливы, кто въ гробъ скорѣй отъ жизни удалится,  
Счастливы стократъ, кто къ жизни не родится!“

Современный критикъ слышалъ въ словахъ этихъ отголосокъ души самого поэта. „Обманувшійся во многихъ надеждахъ, говоритъ онъ, растерзанный въ живѣйшихъ чувствахъ сердца, онъ взоромъ разочарованнымъ глядѣлъ на жизнь и съ удовольствіемъ думалъ о смерти, спокойномъ убѣжищѣ утомленныхъ странниковъ земли.“<sup>1)</sup>

„Поликсена“, представленная въ первый разъ 14 мая 1808 года, появлялась на сценѣ только два раза, и въ оба раза театральныи сборъ былъ неполонъ. Отчего публика такъ неблагоклонно встрѣтила послѣднюю трагедію Озерова, тогда какъ она только годъ тому назадъ привѣтствовала его единодушнымъ восторгомъ на представленіяхъ „Димитрія Донского“, объяснить едва ли возможно. Дѣло это представляется до того темнымъ, до того закрытымъ разными современными и послѣдующими намеками и догадками, что теперь, за неимѣніемъ положительныхъ свидѣтельствъ, о немъ ничего нельзя сказать точнаго. По заведенному порядку, директоръ театровъ, послѣ втораго представленія пьесы, долженъ былъ дать предписаніе кому слѣдуетъ о выдачѣ Оленину 3 тысячъ р., которые Озеровъ просилъ за „Поликсену“; два представленія были даны, а деньги, которыя такъ нужны были Озерову, не выдавались, и разсерженный трагикъ писалъ въ Петербургъ къ своему другу, чтобъ онъ не допускалъ трагедіи до третьяго представленія и взялъ ее обратно изъ дирекціи. Это были послѣднія слова послѣдняго письма его, написаннаго къ Оленину. „Для моей славы довольно и двухъ представленій“—говорилъ онъ. Изъ дѣлъ театральной дирекціи видно, что „Поликсена“ была отдана ей за 3 тысячи р. съ условіемъ получить ихъ „если она будетъ имѣть успѣхъ и принесетъ выгоды дирекціи“. Въ два представленія „Поликсена“ дала сбору только 1846 р. 25 к., изъ чего дирекція, заключая, что представленія трагедіи невыгодны, пріостановилась давать ее, но „дабы у автора, сдѣлавшаго уже себѣ имя прежними твореніями, не отнять охоты къ сочиненію впредь, говорилось въ докладѣ директора Нарышкина императору Александру, несмотря на малый успѣхъ его трагедіи, дирекція не имѣя суммъ на заплату, испрашивала на то Высочайшаго соизволенія“. Докладъ Нарышкина представленъ былъ черезъ кн. А. Н. Голицына Государю, но Александръ не разрѣшилъ уплаты, основываясь на точномъ исполненіи условія<sup>2)</sup>.

Все это дѣло и восхождение его на утвержденіе императора, который отказываетъ въ незначительномъ количествѣ рублей Озерову, только годъ тому назадъ написавшему имѣвшую чрезвычайный успѣхъ патріотическую трагедію, и самая оцѣнка „Поликсены“ послѣ

<sup>1)</sup> Соч. Озерова, ч. III, стр. 156.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1869 г., стр. 2031—2032.

двухъ представленій, куда публика могла обратиться не въ полномъ количествѣ и совершенно случайно, — представляется чрезвычайно страннымъ. Въ ходѣ этого дѣла, отъ условія, заключеннаго Озеровымъ и до доклада императору, все кажется естественнымъ, нигдѣ не проглядываетъ та личная къ Озерову вражда, способствовавшая неуспѣху „Поликсены“, а слѣдовательно, и погубившая поэта, о которой единогласно говорятъ современники. Изъ разсмотрѣнія всего этого дѣла, сдѣланнаго княземъ Вяземскимъ <sup>1)</sup>, является очевиднымъ, что къ Озерову не были враждебно расположены ни Нарышкинъ, ни Голицынъ, ни самъ императоръ, что подъ всею этою вполнѣ законною обстановкою скрывается, однако, какая-то темная пружина, руководившая всѣми обстоятельствами, враждебными Озерову, что было какое-то лицо, которое желало вредить ему и имѣло на то средства. Всѣ показанія современниковъ единогласно указываютъ на такое лицо; одно только странно, что обвиненія стали высказываться, не ранѣе 1815 года, т.-е. за годъ до смерти Озерова, а до тѣхъ поръ никто ни слова не говорилъ въ теченіе семи лѣтъ. Лицо, которое называли сознательнымъ врагомъ Озерова, былъ князь Александръ Александровичъ *Шаховской* (род. 24 Апр. 1777 года), извѣстный авторъ множества комедій и водевилей, весьма долго державшихся на русской сценѣ и любопытныхъ для изученія, такъ какъ изъ нихъ можно извлечь многія черты для характеристики общества во вторую половину царствованія Александра <sup>2)</sup>. Шаховской былъ самъ страстнымъ поклонникомъ театра, вообще сцены и закулиснаго міра; онъ самъ имѣлъ большой комическій талантъ и, по рассказамъ современнымъ, былъ превосходнымъ актеромъ, такъ что игра его заставляла совершенно забывать о неуклюжей и безобразной его фигурѣ <sup>3)</sup>. Эта страсть къ театру и сценическія способности сдѣлали Шаховского извѣстнымъ директору императорскихъ театровъ Нарышину; онъ сдѣлалъ Шаховского начальникомъ репертуарной части, что придавало ему большое значеніе, такъ что судьба авторовъ, актеровъ и пьесъ находилась вполнѣ въ его рукахъ. Шаховской принадлежалъ къ тремъ разнымъ кругамъ общества: и къ знатному, по рожденію, и къ литературному, и къ закулисному. Изъ этихъ круговъ сосредоточивались въ домѣ Шаховского всевозможныя сплетни. Самъ онъ отличался удивительною раздражительностью характера и, по свидѣтельству современниковъ, завистливостью ко всякому таланту, обра-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1869 г., стр. 2036—2041.

<sup>2)</sup> „О заслугахъ кн. Шаховского въ драматической словесности“. Полное собраніе соч. С. Т. Аксакова, СПб. 1886 г., т. IV, стр. 144—149.

<sup>3)</sup> Записки Вигеля, III, стр. 126.

щавшему на себя вниманіе общества. При *всѣхъ томъ*, всѣ свидѣ-  
тельствуя о его добротѣ и мягкости: виною всѣхъ его выходовъ  
была раздражительность, которая однако скоро проходила. По своимъ  
литературнымъ вкусамъ и убѣжденіямъ, Шаховской былъ съ самаго  
начала своего писательства сторонникомъ Шишкова и врагомъ Ка-  
рамзина и его школы. Въ своей комедіи „Новый Стернь“ онъ прежде  
всего вывелъ на сцену Карамзина и старался осмѣять его сентимен-  
тальность; разумѣется, это было непріятно поклонникамъ Карамзина.  
Въ другой, позднѣйшей комедіи „Липецкія воды“ онъ осмѣивалъ Жу-  
ковского и его романтизмъ. Говорятъ, вообще въ его комедіяхъ много  
современныхъ личностей, почему либо возбудившихъ къ себѣ неблаго-  
воленіе Шаховскаго. Понятно, что поклонники Карамзина и Жуков-  
скаго, такъ называемые „Арзамасцы“ не любили Шаховскаго и сдѣлали  
его мишенью для выстрѣловъ своихъ многочисленныхъ эпиграммъ, въ  
которыхъ онъ обыкновенно назывался *Шутовскимъ*. Другое литера-  
турное имя его, за современные намеки въ комедіяхъ, было Ари-  
стофанъ. Вдругъ возникшая слава, дѣйствительный талантъ, и не-  
обыкновенный успѣхъ трагедій Озерова—должны были сильно подѣй-  
ствовать на завистливый характеръ Шаховскаго; эти неожиданные  
лавры раздражали его воображеніе; этихъ успѣховъ Шаховской пе-  
ренести не могъ. Были ли какія-нибудь личныя причины вражды  
его къ Озерову, намъ неизвѣстно, но самое мягкое объясненіе дѣй-  
ствій Шаховскаго (въ чемъ они состояли, мы также положительно не  
знаемъ) будетъ то, что онъ, какъ человѣкъ другихъ литературныхъ  
убѣжденій, думалъ, что „въ самомъ дѣлѣ оказываетъ услугу русской  
литературѣ, затормозивъ дальнѣйшее движеніе Озерова. Во всякомъ  
случаѣ было бы непростительно допустить, что онъ могъ предвидѣть  
пагубныя и плачевныя послѣдствія, которыя повлекло за собою про-  
тиводѣйствіе его успѣхамъ Озерова“ <sup>1)</sup>.

## ЛЕКЦІЯ XXXI.

Интриги Шаховскаго противъ Озерова. — Сумасшествіе Озерова. — Отзывъ Сперанскаго объ Озеровѣ. — Трагедіи Крюковского. — Записка Карамзина „о древней  
и новой Россіи“.

Всѣ современники согласны въ томъ, что причиною несчастья,  
постигшаго Озерова, и причиною сознательною—былъ князь Шахов-  
ской. По разсказамъ Блудова, переданнымъ въ его біографіи Кова-  
левскимъ, Шаховской „затѣялъ противъ него интригу“ и для паде-

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1869 г., стр. 2044.

нія „Поликсены“ „подготовилъ общественное мнѣніе, а можетъ быть и самихъ актеровъ“ <sup>1)</sup>). Какъ дѣйствовалъ Шаховской и какія средства употреблялъ онъ для достиженія своей цѣли—намъ неизвѣстно. Всѣ однако-жъ говорятъ въ одинъ голосъ объ интригахъ, сгубившихъ Озерова, и о зависти, породившей ихъ. Батюшковъ, въ своей баснѣ „Пастухъ и Соловей“, посвященной Озерову, намекаетъ на „зоиловъ строгихъ, богатыхъ завистью, талантами убогихъ“. Въ своей статьѣ о Петраркѣ тотъ же Батюшковъ, говоря о „любимцѣ Мельпомены“, упоминаетъ о завистникахъ дарованія и заключаетъ мыслію, выражающею взглядъ его на поэзію: „Великое дарованіе и великое страданіе почти одно и то же“. Жуковскій также говоритъ о зависти <sup>2)</sup>).

„Увы! Димитрія творецъ  
Не отличилъ простыхъ сердецъ  
Отъ хитрыхъ, полныхъ вѣроломства:  
Зачѣмъ онъ свой сплетать вѣнецъ  
Давалъ завистникамъ съ друзьями?  
Пусть дружба нѣжными перстами  
Изъ лавровъ сей вѣнецъ свила—  
Въ нихъ зависть тернія вилела;  
И торжествуетъ: растерзали  
Ихъ нглы славное чело“.

Дашковъ, въ своемъ ироническомъ „письмѣ къ новѣйшему Аристотелю“, подъ названіемъ котораго онъ и друзья его разумѣли кн. Шаховского, остроумно подсмѣивается надъ нимъ, увѣряя, что онъ совершенно не причастенъ зависти: „Зависть! Можетъ ли сіе слово вамъ приличествовать! Подобно Вольтеру, который Вамъ однимъ вашему участію въ переводѣ его трагедій обязанъ истинною своею славой, подобно ему вы чуждаетесь низкихъ страстей человѣчества. De qui dans l'univers peut il être jaloux“; говоритъ онъ также и объ отношеніяхъ Шаховскаго къ Озерову: „Явился писатель, коего образованію природа и искусство равно содѣйствовали, который заслужилъ безсмертное имя въ лѣтописяхъ русскаго театра, и разительными красотою своихъ трагедій заставилъ забыть свои недостатки. Такъ мы судили: Вы одни, М. Г., открыли грубую ошибку нашу и всѣми силами стремились сокрушить несправедливую славу творца Поликсены и Димитрія... Ахъ! Вы ли виною, что небольшія огорченія (можетъ быть, съ самымъ лучшимъ намѣреніемъ причиненныя) раздражили глубокую чувствительность, неразлучную съ гениемъ, и погубили его. О несправедливости! о суетѣ славы!“ <sup>3)</sup>. Когда пришелъ

<sup>1)</sup> Ковалевскій. Графъ Блудовъ и его время, стр. 37.

<sup>2)</sup> „Посланіе къ кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину“.

<sup>3)</sup> Сынъ Отеч. 1815 г., ч. XXV, № 42, стр. 143—144.

въ Петербургъ первое извѣстіе о смерти Озерова, въ томъ же „Сынѣ Отечества“ появилась слѣдующая эпиграмма <sup>1)</sup>:

„Угасъ нашъ Озеровъ, лучъ славы Россіянъ:  
Умолкъ пѣвецъ Фингала, Поликсены!  
Рыдайте, невскія камены!  
Лилуи, *Аристофанъ!*“

Молодой, только что начинающій Пушкинъ, въ своемъ посланіи къ Жуковскому, зоветъ даже литературныхъ друзей своихъ, на мѣсть за Озерова:

„Смотрите! Пораженъ враждебными стрѣлами,  
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,  
Къ вамъ Озерова духъ, взываетъ, други, мѣсты!“

Такимъ образомъ, всѣ современники, болѣе другихъ интересовавшіеся литературою, желавшіе ей успѣха, новаго содержанія и новыхъ формъ, сходились въ общемъ мнѣніи, что зависть была причиною гибели Озерова и что лицомъ, способствовавшимъ ей какими-то темными продѣлками и интригами, былъ князь Шаховской. Можетъ быть, все это было преувеличено; можетъ быть, поклонники таланта Озерова въ своемъ рвеніи заходили далеко, и на нихъ могла имѣть вліяніе несчастная судьба Озерова. Онъ былъ до крайности самолюбивъ и раздражителенъ и „чувствительность его сгубила“ — по выраженію Жуковского. Мы приводили уже мѣсто изъ писемъ его къ Оленину, гдѣ онъ совершенно отказывается отъ поэзіи, въ первое время по полученіи извѣстія о неуспѣхѣ на сценѣ его „Поликсены“. За неудовольствомъ и раздраженіемъ наступило отчаяніе; вѣроятно, деревенское уединеніе развило больше это отчаяніе и сомнѣніе въ своемъ талантѣ и все кончилось тѣмъ, что Озеровъ сошелъ съ ума въ своей чистопольской деревнѣ. Оттуда старикъ отецъ перевезъ его въ Зубцовскій уѣздъ и лѣтъ семь, до смерти своей въ ноябрѣ 1816 года, несчастный поэтъ не приходилъ въ сознаніе. Озеровъ долженъ быть, такимъ образомъ, причисленъ къ тѣмъ напраснымъ и несчастнымъ жертвамъ, которыхъ довольно представляетъ русская литература. Нельзя, однако, припоминая печальную судьбу Озерова, не сдѣлать замѣчанія о положеніи поэта въ тогдѣшнемъ обществѣ. Неужели возможно въ болѣе развитомъ состояніи послѣдняго такое обстоятельство, что чиновничьи продѣлки могутъ возвысить и уронить славу поэта, что литературная судьба его можетъ зависѣть отъ канцелярскихъ отношеній и отъ формы доклада, хотя бы и самому государю?

<sup>1)</sup> Ibid., 1816 г., ч. XXXIII, стр. 267.

Судить о значеніи Озерова и о его положеніи въ исторіи нашей литературы, конечно, можно только съ современной ему точки зрѣнія, принимая во вниманіе тогдашніе вкусы, тогдашнія требованія отъ поэзіи и литературы. Для насъ даже тотъ родъ произведеній, въ которомъ упражнялся Озеровъ, не существуетъ; мы требуемъ отъ поэзіи и вообще отъ искусства, чтобъ они изображали передъ нами жизнь дѣйствительную, жизнь настоящую, а такой родъ поэзіи, гдѣ эта жизнь является въ преувеличенныхъ, неестественныхъ размѣрахъ, гдѣ передъ зрителями выходятъ на сцену не простые люди, а герои,—не можетъ удовлетворить насъ. Господство французской теоріи и французскихъ образцовъ, которымъ Озеровъ подражалъ и по воспитанію и по убѣжденіямъ,—давно прошло. Но въ свое время трагедіи Озерова были дѣйствительнымъ шагомъ впередъ, потому что онѣ вносили новыя понятія и новыя представленія на сцену и расширяли сферу ея содержанія, трактуя о томъ чувствѣ, котораго не было въ прежнихъ трагедіяхъ, и выражая его прекраснымъ для того времени языкомъ и звучнымъ стихомъ. Въ этомъ смыслѣ, по словамъ современнаго критика, Озерова можно дѣйствительно назвать „преобразователемъ“ нашего театра; но говорить о немъ, какъ о гениі, могли только увлеченные современники. Въ Озеровѣ не было ничего самобытнаго, ничего оригинальнаго; онъ былъ созданіемъ французской теоріи и французскихъ образцовъ, и только совершенно случайныя, временныя обстоятельства придали ему чрезвычайное значеніе и увеличили восторгъ современниковъ, подкупаемыхъ, кромѣ того, и изяществомъ стиха Озерова, и романтическимъ выраженіемъ. Приведемъ, однако, въ заключеніе сужденіе объ Озеровѣ одного изъ чрезвычайно умныхъ современниковъ, чуждаго, впрочемъ, литературѣ. Оно доказываетъ, что и тогда были люди, не увлекавшіеся общимъ восторгомъ и смотрѣвшіе на дѣло другими глазами: „Эдипъ Озерова точно таковъ, какъ ты его понимаешь,—пишетъ въ частномъ письмѣ къ своей дочери Сперанскій. Слабое, натянутое подражаніе, сборъ разныхъ мѣстъ изъ французскихъ трагедій. Озеровъ никогда и ни въ чемъ не имѣлъ истиннаго таланта. Это трудолюбивая посредственность. Я зналъ его коротко. Онъ лучше писалъ по-французски и весьма поздно принялся за русскій. Но, еслибъ онъ и ранѣе началъ, то не болѣе бы сдѣлалъ. Меня раздражаетъ не то, что онъ могъ ошибиться въ своемъ родѣ, но то, что вкусъ нашей публики такъ еще мало образованъ, въ такомъ ребячествѣ, что всякая мишура его веселитъ и восхищаетъ. Впрочемъ, мы поздно пришли, чтобъ желать или надѣяться имѣть у себя драматическихъ стихотворцевъ; родъ сей вообще проходитъ или уже прошелъ во всей Европѣ (надобно ду-

мать, что Сперанскій говоритъ здѣсь о ложно-классической трагедіи). Поэзія, языкъ боговъ, перелилась нынѣ вся въ политику. Нынѣ не стихи строить воображеніемъ, но государства“<sup>1)</sup>). Отзывъ этотъ, конечно, одностороненъ, такъ какъ принадлежитъ человѣку, для котораго интересы литературы составляли второстепенное дѣло, но нельзя отказать ему въ нѣкоторой доли справедливости.

Что обстоятельства времени могли способствовать въ ту пору успѣху даже нисколько не замѣчательной по таланту и выраженію пьесѣ, только потому, что въ ней заключалось много намековъ на современные событія и высказывалось сильно возбужденное патріотическое чувство,—можетъ служить доказательствомъ чрезвычайный успѣхъ трагедіи Крюковского „Пожарскій или освобожденная Москва“, поставленной на сцену въ одинъ годъ съ „Димитріемъ Донскимъ“ Озерова. Авторъ этой трагедіи, тогда еще очень молодой человѣкъ (род. 1781 г.), Матвѣй Васильевичъ Крюковской, не былъ замѣчательнъ ничѣмъ, но вдругъ, отъ восторга публики, поднялся на верхъ человѣческой славы. Подобно Озерову, онъ учился въ томъ же кадетскомъ корпусѣ и также былъ выпущенъ изъ него въ чинѣ поручика. Служилъ онъ переводчикомъ въ комиссіи для составленія законовъ, а потомъ въ банкѣ и до своей трагедіи не писалъ ничего. Трагедія его имѣла необычайный успѣхъ на сценѣ; всѣ называли Крюковского вторымъ Озеровымъ, а были и такіе, которые ставили его по таланту выше. Самое содержаніе пьесы высказано въ заглавіи ея, но исторіи, какъ и у Озерова, здѣсь искать не слѣдуетъ. Въ трагедіи нѣтъ ни дѣйствія, ни характеровъ, ни страстей; вся она состоитъ изъ патріотическихъ тирадъ и возгласовъ, отъ которыхъ трепетали сердца современниковъ. Крюковской вдругъ сдѣлался знаменитостью, его приглашали въ дома знатныхъ на расхвалъ. Службу свою онъ забылъ, къ должности пересталъ являться и былъ за то уволенъ; но императоръ Александръ, которому была поднесена трагедія, смотрѣлъ благосклонно на Крюковского и даже велѣлъ спросить у него: чего бы онъ желалъ<sup>2)</sup>). Крюковской сознавалъ свой талантъ и высказалъ желаніе быть отправленнымъ за границу. Дѣйствительно, онъ, былъ отправленъ на казенный счетъ въ Парижъ „для усовершенствованія трагическаго таланта“. Но изъ этого путешествія не вышло ничего, онъ прожилъ въ Парижѣ два года совершенно бесполезно, закутился тамъ повидимому, и вывезъ оттуда болѣзнь, которая и свела его въ могилу въ 1811 году, на 30-мъ году жизни. Вторая трагедія Крюков-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1868 г., стр. 1730—1731.

<sup>2)</sup> Карабановъ. Основаніе русск. театра, стр. 81.



ского „Елисавета, дочь Ярослава“, содержаніе которой составляет любовь норвежскаго принца Гаральда къ русской княжнѣ, такъ слаба вообще, что даже не могла быть поставлена на сценѣ. Она напечатана въ 1820 г. „Пожарскій“ — тоже слабое произведеніе въ художественномъ отношеніи, поставленъ былъ *кстати*, вовремя, и оттого имѣлъ чрезвычайный успѣхъ на сценѣ; стихи, которые кажутся намъ напыщенной декламацией, приводили слушателей въ полный восторгъ, особенно, когда произносилъ ихъ звучнымъ голосомъ знаменитый трагическій актеръ того времени—Яковлевъ. Стихи эти говорили о любви къ отечеству: „Любови къ отечеству сильна надъ сердцемъ власть“ — или о ненависти къ врагамъ, говорили о томъ, что чувствовалъ въ то время каждый мыслящій русскій. Поэтъ все-таки былъ человѣкъ умный. Онъ умѣлъ понять данное настроеніе общества и выразить его въ звучныхъ стихахъ. Та же ненависть къ иностранцамъ и нападенія на нравственный вредъ ихъ вліянія, которыя обильно заключались въ произведеніяхъ патріотической литературы, у Шишкова, Растопчина, Глинки, проповѣдуется и Крюковскимъ:

„Они и въ сердце намъ разврата ядъ вливають,  
И нравы нѣгою постыдной разслабляютъ.  
Обычай суетный почто перенимать  
И рабски чуждому примѣру подражать?  
Не пользу отъ сего, какъ мыслить, обрѣтаемъ,  
Но русскій духъ въ мѣнѣ толь низкой мы теряемъ;  
Издѣлій роскоши не зная Россѣ цѣнить, —  
Умѣлъ карать пороки и добродѣтель чтить“.

Тѣ же и упреки въ недостаткѣ патріотизма, котораго было гораздо больше встарину, чѣмъ теперь:

„Прошли на вѣкъ сіи счастливы времена,  
И истинныхъ сыновъ Россіи лишена:  
Отечество у насъ одно лишь изреченье“.

Стихи оставались надолго въ памяти современниковъ и многіе изъ нихъ, имѣвшіе отношеніе къ Москвѣ, потомъ въ эпоху 1812 года, считались пророческими, такъ какъ въ самомъ дѣлѣ между обѣими знаменательными эпохами русской исторіи было много общаго. Такова, на примѣръ, слѣдующая тирада Пожарскаго:

„Погибни лучше все! и градъ, поработенный  
Въ отеческой странѣ рукой иноплеменной,  
Готовъ разрушить я, въ прахъ зданія попать,  
Во храмы бросить огонь и пламенемъ объять  
Ихъ гордыя главы, что въ золотѣ сіяютъ,  
И блескъ протекшаго величія являютъ“.

Когда Москва въ 1812 году была уступлена Кутузовымъ безъ боя французамъ, и когда это событіе сильно поразило и огорчило современниковъ, а въ депешахъ Кутузова и въ тогдашней печати выражалось убѣжденіе, что съ потерей Москвы не соединяется еще гибель отечества,—то же говорилось и въ стихахъ Пожарскаго, въ трагедіи Крюжовскаго, гдѣ было столько словъ и фразъ, посвященныхъ Москвѣ:

„Россія не въ Москвѣ—среди сыновъ она,  
Которыхъ вѣрна грудь любовью къ ней полна...“

Самый сильный, однако, восторгъ производилъ тотъ знаменитый стихъ, который произноситъ Пожарскій, узнавшій въ одно время и объ измѣнѣ Заруцкаго и объ опасностяхъ, въ которыхъ находится его семейство. Онъ жертвуетъ семейными привязанностями общему чувству любви къ Москвѣ, не слушаетъ друзей своихъ, уговаривающихъ его спѣшить на помощь къ семьѣ:

„Родные!—но Москва не мать ли мнѣ?“

Все подобное могло имѣть мѣсто только въ извѣстное время. Прошли годы возбужденія, перемѣнились обстоятельства и трагедія Крюжовскаго, въ которой не было почти художественнаго достоинства, была совершенно забыта. Мы видѣли, что онъ и самъ не былъ въ состояніи написать что-либо другое. Возбужденія достало у него только на „Пожарскаго“.

Не то бываетъ съ произведеніями, написанными авторомъ съ дѣйствительнымъ талантомъ и опирающимися на положительное знаніе и опытъ. Къ тому же кругу идей, вызванныхъ къ жизни обстоятельствами времени, къ тому же патріотическому возбужденію, которое проникало большинство литературныхъ произведеній времени, принадлежитъ сочиненіе, написанное также въ виду грозныхъ, современныхъ обстоятельствъ, передъ страшною войною съ Наполеономъ, уже грозившимъ своимъ нашествіемъ, сочиненіе, не предназначенное однако для печати, для обращенія въ публикѣ, для дѣйствія на общественное мнѣніе, но, по таланту и положенію автора, несмотря на эту таинственность происхожденія, имѣвшее гораздо болѣе вліянія, чѣмъ, даже иное талантливое сочиненіе въ печатной литературѣ. Сочиненіе это, если оно и не предназначалось для печати, то было написано съ цѣлію произвести вліяніе на образъ мыслей и на образъ дѣйствій человѣка, котораго мнѣніе значило гораздо больше, чѣмъ все общественное мнѣніе тогдашней Россіи. Записка Карамзина „О древней и новой Россіи въ ея политическомъ, и гражданскомъ отношеніяхъ“, ибо объ этомъ сочиненіи будетъ

теперь рѣчь, имѣла вліяніе и на того, для кого она была писана, и на высшія правительственныя сферы послѣдующаго царствованія, которыя какъ бы соображали свои дѣйствія, свои мѣры съ сужденіями и мнѣніями, высказанными Карамзинымъ. Мы очень далеки отъ мысли придавать его „Запискѣ“ именно такое значеніе; она была написана для другого времени, для другихъ обстоятельствъ; но кодексъ консервативныхъ идей, въ ней заключающійся, но ея взглядъ на направленіе и содержаніе русской исторіи остались надолго въ употребленіи у извѣстной партіи. Вокругъ этого сочиненія до сихъ поръ сосредоточивается борьба противоположныхъ взглядовъ на русское развитіе и на русскую политическую жизнь, на дѣли и стремленія въ будущемъ. Эта борьба мнѣній изъ-за „Записки“ Карамзина высказывалась однако не совсѣмъ полно и не совсѣмъ ясно, потому что самое сочиненіе, о которомъ спорили, было не вполне извѣстно публикѣ или было извѣстно въ извлеченіяхъ, сдѣланныхъ невѣрно. Только изданіе „Записки“ въ „Русскомъ Архивѣ“ позволило наконецъ познакомиться съ мыслями Карамзина во всей ихъ полнотѣ. Постараемся представить, по возможности безпристрастно, содержаніе этого замѣчательнаго сочиненія Карамзина, гдѣ онъ является публицистомъ-историкомъ и говоритъ, какъ власть имѣющій.

Карамзинъ, прекративши изданіе „Вѣстника Европы“ и получивъ по ходатайству Муравьева, при посредствѣ друга своего, И. И. Дмитріева, званіе исторіографа, отдался весь съ любовію избранному имъ труду надъ русской исторіей. Онъ жилъ въ Москвѣ и до 1810 года не былъ лично извѣстенъ государю. Но друзья Карамзина и, главнымъ образомъ, Дмитріевъ, назначенный министромъ юстиціи и близкій къ государю, часто говорили о немъ съ Александромъ, интересовавшимся ходомъ его труда. Въ 1810 году Карамзинъ былъ награжденъ орденомъ и чиномъ. Сближенію его съ государемъ способствовала сестра Александра, Екатерина Павловна. Воспитанная въ консервативныхъ убѣжденіяхъ и въ ненависти къ французской революціи и къ новому Наполеоновскому господству во Франціи своею матерью, императрицею Марією Теодоровною, великая княгиня, женщина очень умная и образованная, любила являться патріоткою, покровительницею всего русскаго, а въ томъ числѣ и литературы. Мѣстопробываніе ея было въ Твери, при мужѣ, принцѣ Георгѣ, который былъ главнымъ директоромъ путей сообщенія. Здѣсь у нихъ былъ небольшой дворъ, къ которому Екатерина Павловна любила собирать избранное общество и людей почему-либо замѣчательныхъ. Карамзинъ былъ первымъ лицомъ въ тогдашней литературѣ. Не могла она не обратить на него вниманія, а позна-

комившись съ нимъ, не могла не полюбить его, такъ какъ во взглядахъ ихъ и убѣжденіяхъ было очень много общаго. Въ Москвѣ въ 1810 году она узнала Карамзина и пригласила его посѣтить ее въ Твери. Карамзинъ воспользовался этимъ приглашеніемъ въ первый разъ въ февралѣ 1810 года, пробылъ тамъ шесть дней и читалъ отрывки изъ своей исторіи ей и великому князю Константину Павловичу, цесаревичу. Объ этомъ чтеніи Карамзина счелъ нужнымъ сообщить своему правительству сардинскій посланникъ Ж. де-Местръ, передавшій при этомъ случаѣ нѣсколько любопытныхъ подробностей о самой великой княгинѣ. Дворъ ея, по его словамъ, походитъ на монастырь; по вечерамъ тамъ нѣтъ другого развлечения, кромѣ чтенія. Она сама учитъ своего мужа русскому языку и знакомитъ его съ простолюдинами. „Ея голова способна на дальновидные планы и на сильную рѣшимость“—прибавляетъ де-Местръ. Константинъ Павловичъ, вернувшись въ Петербургъ послѣ чтенія, рассказывалъ со смѣхомъ, что онъ изъ русской исторіи только и знаетъ то, что узналъ въ тотъ вечеръ <sup>1)</sup>. Послѣ того Карамзинъ былъ еще два раза въ Твери, въ декабрѣ 1810 года, и въ февралѣ 1811 года. Карамзинъ былъ въ полномъ восторгѣ отъ приѣма великой княгини и отъ своихъ отношеній съ нею. Ея дворецъ онъ называетъ „очарованнымъ замкомъ“; онъ не нахвалится ея любезностію, ангельскою добротою и „необыкновенными познаніями“ принца, ея мужа <sup>2)</sup>. Карамзинъ, кромѣ чтенія своихъ отрывковъ изъ исторіи, долго и много бесѣдовалъ съ великою княгиней. То было время общаго патріотическаго настроенія умовъ; ни о чемъ другомъ не могла быть ихъ бесѣда, какъ о современномъ состояніи Россіи, въ виду великихъ приближающихся событій и грозной тучи нашествія, которая подымалась на дальнемъ западѣ. Всѣ умы были заняты однимъ, и Екатерина Павловна съ перваго знакомства съ Карамзинымъ оцѣнила его консервативныя убѣжденія и взгляды, основанные, по ея мнѣнію, на глубокомъ изученіи прошедшей исторіи Россіи. Она смотрѣла на него, какъ на человѣка государственнаго и, конечно, много толковала съ нимъ о современныхъ государственныхъ реформахъ въ Россіи, полезности которыхъ она не вѣрила. Когда во второй разъ Карамзинъ посѣтилъ Тверь въ декабрѣ 1810 года, она просила его изложить свои мысли о современномъ положеніи Россіи на бумагѣ и даже торопила его этою работою. Такъ возникла эта знаменитая „Записка“ Карамзина, которую онъ въ февралѣ 1811 года, переписанную рукою жены, отвезъ въ Тверь и прочиталъ великой княгинѣ, долго бесѣдуя

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1871 г., стр. 0192.

<sup>2)</sup> Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 137.

съ нею о ея содержаніи. По прочтеніи „Записки“ она взяла рукопись у Карамзина и оставила у себя. Цѣль ея была передать „Записку“ своему брату, сблизить его съ Карамзинымъ. Она думала, что факты, изложенные въ „Запискѣ“ краснорѣчивымъ языкомъ Карамзина, сужденія и мнѣнія его о современномъ положеніи Россіи, вполнѣ ею раздѣляемые, произведутъ впечатлѣніе на государя, и не ошиблась. Заинтересованный разсказами и рекомендаціей сестры, Александръ самъ пожелалъ сблизиться съ Карамзинымъ и послушать его. Александръ долженъ былъ въ Мартѣ того же 1811 года быть въ Твери у сестры, и великая княгиня пригласила Карамзина пріѣхать также въ этоу времени. Сближеніе послѣдовало, и Карамзинъ, разумѣется, былъ въ восхищеніи отъ пріема государя, какъ это видно изъ писемъ его къ Дмитріеву <sup>1)</sup>. Онъ обѣдалъ вмѣстѣ съ нимъ, болѣе двухъ часовъ читалъ ему свою исторію, говорилъ съ нимъ о самодержавіи, при чемъ даже былъ не согласенъ съ нѣкоторыми мыслями государя (вѣроятно, Карамзинъ былъ въ этомъ разговорѣ *plus royaliste que le roi*). Александру понравился и Карамзинъ и его исторія. Онъ любезно звалъ его въ Петербургъ съ женою, предлагалъ для житія комнаты въ Аничковскомъ дворцѣ и сдѣлалъ какое-то милостивое предложеніе, о содержаніи котораго Карамзинъ, однако, умалчиваетъ. Вообще, Карамзинъ пишетъ, что государь выѣхалъ изъ Твери съ благопріятнымъ къ нему расположеніемъ. Въ сущности это было не совсѣмъ такъ, и Александръ былъ сначала недоволенъ Карамзинымъ и недоволенъ именно за „Записку“, о чемъ тотъ не могъ писать Дмитріеву, потому что знаменитая записка эта тогда, да и долго потомъ, считалась государственною тайною. Карамзинъ не читалъ ея самъ императору. Великая княгиня передала ее брату наканунѣ его отъѣзда изъ Твери и, вѣроятно, онъ успѣлъ познакомиться съ ея содержаніемъ тогда же, потому что на другой день онъ „обошелся съ исторіографомъ холодно, не говорилъ съ нимъ ни слова, какъ будто не замѣчалъ его, и уѣхалъ не простившись съ Карамзинымъ“ (Гротъ). Чѣмъ при чтеніи „Записки“ Карамзина остался тогда недоволенъ Александръ: оскорбила ли его самая форма сочиненія, гдѣ подданный принималъ смѣлость свободно говорить съ своимъ самодержавнымъ монархомъ, не разглядѣлъ ли онъ, подъ наружнымъ видомъ свободной грубости рѣчи того фиміама лести, который курилъ здѣсь Карамзинъ самодержавной власти, или ему дороги еще были тогда его учрежденія первыхъ лѣтъ царствованія, его реформы, о которыхъ онъ когда-то мечталъ, будучи юношей, и

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 139—141.

онъ былъ недоволенъ за нихъ на Карамзина? Отвѣчать положительно на вопросъ этотъ невозможно.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и самыхъ замѣчательныхъ, конечно, въ русской исторіи. Ходъ событій, европейскія вліянія, люди, окружавшіе Александра, исчезновеніе прежнихъ либеральныхъ друзей его молодости, появленіе новыхъ совѣтниковъ, которые подъ наружнымъ видомъ преданности, умѣли на пользу себѣ лстать, самая слабость характера, все влекло Александра по другой, совершенно противоположной дорогѣ, на которой онъ могъ только раздражительно осуждать идеальныя стремленія своей молодости. Тогда, въ эти годы нравственнаго поворота, онъ оцѣнилъ консервативное содержаніе „Записки“ Карамзина, оно пришлось ему по мыслямъ, а Аракчеевъ успѣлъ его примирить не только съ Карамзинымъ, но и со многими другими, гораздо худшими. Александръ приблизилъ къ себѣ Карамзина; послѣдній считалъ государя своимъ искреннимъ другомъ. Въ 1816 году, пожаловавъ Карамзину ленту, Александръ замѣтилъ, что онъ награждаетъ его не за исторію, а за записку. Тогда онъ вполнѣ уже раздѣлялъ ея сужденіи. Странная судьба, однако-жъ, этой „Записки“, имѣющей такую историческую важность по своему вліянію на правительство. Отдавая рукопись Екатеринѣ Павловнѣ, Карамзинъ не оставилъ у себя съ нея копій. Она стала дѣлаться извѣстною въ высшихъ сферахъ петербургскаго общества только въ 1826 году. Первые, весьма незначительные отрывки ея были напечатаны въ „Современникѣ“ 1837 года <sup>1)</sup> и только въ 1871 году она появилась вполнѣ. А между тѣмъ, вокругъ нея сталкиваются до сихъ поръ противоположныя взгляды на русское развитіе.

## ЛЕКЦІИ XXXII, XXXIII и XXXIV.

Содержаніе „Записки“ Карамзина.

Для знакомства съ самимъ Карамзинымъ, для изученія его взглядовъ и убѣжденій по исторіи русскаго развитія и по внутренней политикѣ государства „Записка“ представляетъ очень много, такъ какъ, по всей вѣроятности, несмотря на ея выложенный, гладкій языкъ, составляющій особенность Карамзина, какъ писателя, онъ менѣе думалъ въ ней о сочинительствѣ, чѣмъ въ другихъ случаяхъ. Въ ней высказываетъ онъ свои убѣжденія вполнѣ искренно, не стараясь скрывать ихъ подъ формою придуманной фразы; нельзя

<sup>1)</sup> Т. V, стр. 89—112.

не отдать также полной справедливости смѣлости его выраженія, желанію высказать въ ней вполнѣ то, что онъ думалъ, желанію не скрывать своей мысли. Очевидно, Карамзинъ писалъ не для цензуры, какъ привыкли писать всѣ русскіе сочинители, и эта смѣлость выраженія была причиною того, что „Записка“ такъ долго не могла появиться въ печати. Кромѣ того, „Записка“ весьма важна и въ томъ отношеніи, что въ ней высказался вполнѣ опредѣленно весь кодексъ тогдашней охранительной партіи, ея взгляды и убѣжденія относительно прошлаго и настоящаго Россіи и въ особенности относительно реформъ, въ которыхъ преимущественно выражалась государственная дѣятельность Сперанскаго, единственнаго совѣтника Александра со времени эрфуртскаго свиданія. На этомъ человѣкѣ, поднявшемся такъ быстро въ Имперіи, сосредоточилась вся ненависть консервативной партіи, дошедшая до крайностей въ началѣ 1812 года, когда Александръ долженъ былъ уступить ея крикамъ и рѣшиться на ссылку Сперанскаго. Конечно, Карамзинъ нигдѣ въ своихъ нападеніяхъ на реформы не говоритъ о Сперанскомъ прямо, не называетъ его имени, но эти оуждаемыя имъ реформы были созданіемъ Сперанскаго, и оужденіе, разумѣется, падало косвенно и на него. Карамзинъ, мы сказали, въ „Запискѣ“ своей является выразителемъ мнѣнія тогдашнихъ охранителей; онъ представилъ въ изящной литературной формѣ, что выражалось болѣе просто и грубо въ разговорахъ партіи, всю ту ненависть къ реформамъ, которая накипѣла въ сердцахъ этой партіи. Если мы употребляемъ здѣсь слово *партія*, то считаемъ, однако, необходимымъ оговориться. Партія охранителей, партія консерваторовъ,—выраженія эти предполагаютъ существованіе партіи либераловъ и прогрессистовъ; но послѣдней-то мы и не видимъ въ тогдашнее время. Мы знаемъ уже, какъ слаба была тогда либеральная печать наша, которая могла бы оправдывать и защищать реформы, задумываемыя правительствомъ, и готовить къ нимъ общественное мнѣніе. Все, что слабо говорилось въ этомъ духѣ и въ этомъ родѣ, все это смолкло вдругъ въ эпоху войны, и раздавался громко только голосъ патристической литературы, которая, нападая на наши заимствованія отъ иностранцевъ, требуя возвращенія къ роднымъ началамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ косвенно осуждала все то, что было сдѣлано правительствомъ въ послѣдніе годы. Если и находились люди, вступавшіе въ споръ съ господствовавшимъ направленіемъ, то мысль ихъ не могла быть ясно сформулирована и представлена въ полномъ видѣ. Споръ шелъ, какъ мы видѣли, о старыхъ и новыхъ словахъ, а не о томъ, что занимало мысль каждаго, не о тѣхъ реформахъ, которыя касались коренныхъ основъ государственной жизни. Гдѣ же тутъ могла быть прогрессив-

ная партія, которая бы защищалась и вступила въ борьбу съ охранителями? Ея не было. Прогрессивную партію собственно составляло одно правительство, но у него не было нравственной точки опоры, не было и силы убѣжденія, которой не допускалъ слабый, колеблющійся характеръ самого Александра. Правда, у правительства были цѣлыя полки чиновниковъ-исполнителей, орудій его воли, но это была безмолвная масса, слѣпое орудіе, которое, исполняя порученное ему дѣло, могло относиться къ нему совершенно равнодушно и даже враждебно. Правительство было одиноко. Реформы, задуманныя имъ, не смотря на всю ихъ неотложную необходимость, стояли выше понятій невѣжественнаго большинства общества, всегда защищающаго свои эгоистическія цѣли, и вотъ, когда подзадоренное войною и грубыми криками патріотической литературы, не встрѣчая ни въ чемъ себѣ отпора, громко поднялось невѣжественное мнѣніе этого большинства,—правительство должно было уступить ему и пойти по противоположной дорогѣ, на которую оно уже отчасти вступило при началѣ войны. Александръ не былъ Петромъ Великимъ и не могъ до конца вести свое дѣло, одолевая препятствія и вѣря въ могущество идеи, вводимой имъ въ русскую жизнь. Какъ прежде онъ безусловно вѣрилъ преобразовательнымъ планамъ Сперанскаго, такъ теперь онъ повѣрилъ Карамзину и его ненависти къ реформамъ, высказанной въ „Запискѣ“. Сочиненіе это принадлежитъ къ тѣмъ же явленіямъ патріотической литературы передъ войною 1812 года, но оно стоитъ выше ихъ всѣхъ и по полнотѣ содержанія, и по силѣ выраженія, и по вліянію, которое оно получило въ послѣдствіи.

Карамзинъ въ своей „Запискѣ“ хотѣлъ представить общій ходъ всего русскаго развитія, всей русской исторіи со времени основанія государства, разумѣется, съ своей исключительной точки зрѣнія, руководствуясь мыслию, высказанною имъ въ самомъ началѣ: „Настоящее бываетъ слѣдствіемъ прошедшаго. Чтобъ судить о первомъ, надлежитъ вспомнить послѣднее“. Очеркъ древняго русскаго развитія не отличается у Карамзина, однако, полнотою и обстоятельностью; вся сила его краснорѣчія и убѣжденія оставлена для новаго времени. Но и въ прошедшемъ Россіи Карамзинъ старается выставить событія въ свѣтѣ своей любимой теоріи и доказать ее. Взглядъ его здѣсь тотъ же, что и въ „Исторіи Государства Россійскаго“. Все древнее величіе Руси заключалось въ самодержавіи, оно одно только спасало ее въ трудные моменты исторической жизни, и Карамзинъ поэтому останавливается съ особеннымъ уваженіемъ и любовью на политическомъ возвышеніи и развитіи Москвы и на дѣйствіяхъ ея князей. Для „мудрой политики“ ихъ онъ не находитъ



достаточно похвалъ, равно какъ для описанія величія и благоденствія московскаго государства. Отсюда онъ не замѣчаетъ вовсе разложенія этого государства въ эпоху самозванцевъ и междоусобицъ, и ограничивается только слѣдующими сентенціями по поводу низложенія Самозванца. „Самовольныя управы народа бываютъ для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей или заблужденій государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе нравственное къ сану властителей“. Карамзинъ, разумѣется, не на сторонѣ бояръ или „мятежной аристократіи“, и съ восторгомъ привѣтствуетъ Романовыхъ на престолѣ. Время царей изъ этого рода вызываетъ новыя похвалы публициста. „Отечество успокоилось подъ сѣнію самодержавія“. „Народъ не жалѣлъ о своихъ древнихъ вѣщахъ и сановникахъ, которые умѣряли власть государеву; довольный дѣйствіемъ не спорилъ о правахъ“...

Карамзинъ замѣтилъ сближеніе наше съ Европою и вслѣдствіе этого постепенное измѣненіе нашей государственной жизни и въ періодъ прежнихъ царей и царей изъ дома Романовыхъ. „Еще предки наши усердно слѣдовали своимъ обычаямъ, но примѣръ начиналъ дѣйствовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ старымъ обычаемъ“... Но „сіе измѣненіе дѣлалось постепенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія: мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примѣняя все къ нашему и новое соединяя съ старымъ“. Съ этой точки зрѣнія Карамзинъ смотритъ и на реформу Петра. Ея насильственный, рѣзкій характеръ не могъ ему нравиться. Онъ забылъ, что источникъ этой рѣзкости надобно искать въ томъ же самодержавіи, отъ котораго онъ приходитъ въ восторгъ, и его взглядъ на реформу совершенно соответствуетъ тому, который принадлежитъ позднѣйшимъ славянофиламъ.

Карамзину, съ его консервативными убѣжденіями, которыя никогда его не покидали, съ его привязанностію къ старинѣ и преданію, натура и дѣйствія Петра должны были казаться въ высшей степени антипатичными. Петръ былъ величайшимъ реформаторомъ, крутымъ и радикальнымъ революціонеромъ, не задумывающимся надъ средствами, и Карамзинъ, въ жертву своего идеала *тишайно* и постепеннаго развитія, не обращая вниманія на историческія обстоятельства, какъ это было бы желательно для настоящаго историка, сводитъ Петра съ пьедестала. Правда, онъ ссылается на исторію, но, очевидно, это только одна пустая оговорка. „Мы, Россія, не имѣя предъ глазами свою исторію, говоритъ онъ, подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иностранцевъ и скажемъ ли, что Петръ есть

творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную, и, что не менѣе важно, учредили въ ней твердое правленіе единовластное? Слава славное въ семь монархѣ, оставимъ ли безъ замѣчанія вредную сторону его блестящаго царствованія?”

Но Карамзинъ не „славить славное“ въ Петрѣ, не видитъ исторической необходимости реформы, не хочетъ сознать, что она была единственнымъ нашимъ выходомъ изъ душнаго китаизма московскаго государства, а напротивъ, сваливаетъ на Петра всевозможныя обвиненія. „Страсть Петра къ новымъ для насъ обычаямъ преступила въ немъ границы благоразумія“. Онъ оскорбилъ народный духъ, тѣ особенныя свойства народа, которыми онъ отличается отъ другихъ. „Искореня древніе навыки, представляя ихъ смѣшными, глупыми, хвала и ввода иностранныя, государь Россіи унижалъ россиянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ“. И Карамзинъ отстаиваетъ тѣ русскія особенности, которыя старался уничтожить Петръ, желая, чтобъ и по наружному виду его подданные походили на европейцевъ. Доказательства Карамзина, повидимому, имѣютъ на своей сторонѣ справедливость: „Русская одежда, нища, борода не мѣшали заведенію школъ. Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различныя“. Последнее положеніе, впрочемъ, вовсе несправедливо: просвѣщеніе находится въ полной зависимости отъ нравовъ и обычаевъ, и Петру, именно, нужно было бороться съ нравами и обычаями, чтобъ проложить широкую дорогу для просвѣщенія. Что за бѣда, если на этой дорогѣ попались и мелочи, которыя пришлось устранить, а говорить объ униженіи народнаго духа и упрекать за него Петра едва ли было справедливо со стороны историка, тѣмъ болѣе, что и въ московской Руси, которая ему такъ нравится, едва ли онъ могъ замѣтить со стороны царей особенное уваженіе къ народу. Уваженія этого не было никогда, ни прежде Петра Великаго, ни потомъ. Воюя съ мелочными наружными формами народности, Петръ, конечно, понималъ, что не въ нихъ заключается истинное величіе народа, что послѣднее создается только развитіемъ, просвѣщеніемъ, успѣхами гражданственности, и на нихъ было обращено его главное вниманіе. Карамзинъ былъ, по меньшей мѣрѣ, сентименталенъ и здѣсь, какъ и вездѣ, сожалѣя о бородахъ, кафтанѣ и т. п. Не то говорилъ онъ въ своихъ „Письмахъ“, когда находился подъ обаяніемъ европейской жизни и развитія.

Петру онъ приписываетъ разладъ въ русской жизни, разъединеніе между собою классовъ народа, потому что онъ ограничилъ свое

преобразование дворянствомъ. „Со временъ Петровыхъ,—говоритъ онъ,—высшія степени отдѣлились отъ нижнихъ, и русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ, увидѣлъ нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго, народнаго единодушія государственныхъ состояній“. „Въ теченіе вѣковъ народъ обыкъ чтить бояръ, какъ мужей, ознаменованныхъ величіемъ, поклонялся имъ съ истиннымъ *уничтоженіемъ*, когда они съ своими благородными дружинами, съ азіатскою пышностью, при звукѣ бубновъ, являлись на стогнахъ, шествуя во храмъ Божій, или на совѣтъ къ государю“... Эта идиллическая картина въ сентиментальномъ родѣ едва ли свидѣтельствуешь о томъ, что въ древней Руси не было розни сословій. Карамзину не нравится, что Петръ уничтожилъ бояръ и понадѣлалъ чиновниковъ. Выбѣтъ съ боярами онъ сожалѣть о патріархѣ и жалуется, что съ уничтоженіемъ патріаршества упало въ народѣ достоинство духовенства. И здѣсь, на патріаршество онъ смотритъ съ своей сентиментальной точки зрѣнія. „Первосвятители имѣли у насъ одно право,—говоритъ онъ:—вѣщать истину государямъ, не дѣйствовать, не мятежничать, право благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоитъ въ справедливости“. Но мы хорошо знаемъ, пользовались ли представители высшаго духовенства нашего правомъ „вѣщать истину царямъ“, знаемъ также и то, что именно въ нихъ—то Петръ встрѣтилъ самыхъ сильныхъ противниковъ задуманнаго имъ преобразованія. Представители духовенства отличались невѣжествомъ и недостаткомъ развитія. Духовенство должно было пасть не потому, что было уничтожено достоинство патріарха, а потому, что свѣтская образованность опередила его. И даже самая столица Петра, на которую сыпались проклятія поздѣйшихъ славянофиловъ, вызываетъ сентиментальное осужденіе Карамзина: „Основаніе новой столицы, на сѣверномъ краѣ государства, среди зыбей болотныхъ, въ мѣстахъ, осужденныхъ природою на безплодіе и недостатокъ“—онъ считаетъ ошибкою Петра.

Забывая исторію и законы исторической необходимости, игнорируя время и его условія, Карамзинъ собираетъ всевозможныя обвиненія на дѣло Петра и старается унизить его преобразованія; онъ сходится въ этомъ протестѣ противъ реформы съ славянофилами, но послѣдніе не признаютъ въ немъ своего, по различію своихъ идеаловъ. Если славянофилы цѣнятъ народное самоуправленіе, уважаютъ форму вѣча, судъ и голосъ народный, то для Карамзина нѣтъ спасенія внѣ самодержавія, „ибо нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“,—говоритъ онъ. Во всемъ остальномъ они сходятся. „Честію и достоинствомъ Россіянъ сдѣлалось подражаніе“. Русь пала, а не возвысилась, утративъ прежнія, коренныя добродѣтели. „Чѣмъ

болѣе мы успѣвали въ людскости, въ обходительности, тѣмъ болѣе слабѣли связи родственныя: имѣя множество пріятелей, чувствуемъ менѣе нужды въ друзьяхъ и жертвуемъ свѣту союзомъ единокронія“. И сюда ввелъ Карамзинъ свою чувствительность, какъ ни была она не у мѣста.

Нравственный вредъ реформы Петра, по словамъ Карамзина, состоитъ въ томъ, что въ насъ исчезло всякое патріотическое чувство. „Должно согласиться, что мы съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ утратили гражданскія. Имя русскаго имѣетъ ли теперь для насъ ту силу неисповѣдимую, какую оно имѣло прежде? И весьма естественно: дѣды наши уже въ царствованіе Михаила и сына его, присвоивая себѣ *многія обыкновѣнія* иноземныхъ обычаевъ, все еще оставались въ тѣхъ мысляхъ, что правовѣрный Россіянинъ есть совершеннѣйшій гражданинъ въ мірѣ, а *святая Русь*—первое государство. Пусть назовутъ то заблужденіемъ, но какъ оно благопріятствовало любви къ отечеству и нравственной силѣ онаго! Теперь же, болѣе ста лѣтъ находясь въ школѣ иноземцевъ, безъ дерзости можемъ ли похвалиться своимъ гражданскимъ достоинствомъ? Нѣкогда называли мы всѣхъ иныхъ европейцевъ *неотурками*, теперь называемъ *братьями*. Спрашивается: кому бы легче было покорить Россію (намекъ на собиравшуюся грозу): *неотуркамъ* или *братьямъ*, т.-е. кому бы она, по вѣроятности, долженствовала болѣе противиться? При царѣ Михаилѣ или Ѳеодорѣ, вельможа руссійскій, обязанный всѣмъ отечеству, могъ ли бы съ веселымъ сердцемъ на вѣки оставить его, чтобы въ Парижѣ, Лондонѣ, Вѣнѣ спокойно читать въ газетахъ о нашихъ государственныхъ опасностяхъ? Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи, — виною Петръ“. Всѣ эти громкія фразы для безпристрастнаго, критическаго взгляда должны показаться только преувеличеніемъ. Въ русскомъ обществѣ того времени такъ мало было развитъ космополитизмъ, въ такомъ жалкомъ видѣ представлялось просвѣщеніе, на которое будто бы мы промѣняли древнія гражданскія доблести, что іереміады Карамзина и его сожалѣнія о старинѣ и о святой Руси—скорѣе смѣшны, чѣмъ заслуживаютъ опроверженія. Черезъ годъ слова Карамзина получили блестящее опроверженіе въ историческихъ фактахъ, и если масса народа, нетронутая европейскимъ развитіемъ, въ 1812 году выказала свой старинный религіозный патріотизмъ и ту же ненависть къ иноземцамъ, которая отличала ее въ эпоху междоусобицы, то и образованные по европейски общественные классы, которыхъ Карамзинъ укорялъ въ недостаткѣ патріотизма вслѣдствіе просвѣщенія, твердо стояли за Русь и одинаково, вмѣстѣ съ народомъ, умѣли умирать.

„Онъ великъ, безъ сомнѣнія,—говорить Карамзинъ свои заключительныя слова о Петрѣ,—но еще могъ бы возвеличиться гораздо болѣе, когда бы нашелъ способъ просвѣтить умъ Россіянъ безъ вреда для ихъ гражданскихъ добродѣтелей“. Въ немъ онъ оуждаетъ даже самовластіе, даже самодержавіе, которому поетъ хвалебный гимнъ во всей древней Россіи. „Предписывать уставы обычаямъ,—говорить онъ,—есть насиліе незаконное и для монарха самодержавнаго“. Но кто же можетъ писать уставы для самодержавія, если въ немъ все благо народа и государства, по мнѣнію Карамзина, и кто же осмѣлится спорить, если это самодержавіе пойдетъ по одной дорогѣ, а не по другой? Кто имѣетъ право судить его? Очевидно, Карамзинъ въ своихъ выводахъ и заключеніяхъ былъ невѣренъ себѣ. Остальныя царствованія, до Александра, Карамзинъ обозрѣваетъ довольно бѣглымъ образомъ, представляя только общія заключенія или останавливаясь на самыхъ рельефныхъ фактахъ, но все-таки удерживая главную мысль, что Россія была потрясена насильственными переменами, и видя въ нихъ источникъ зла. „Питмеи спорили о наслѣдіи великана. Аристократія, олигархія губили отечество....“, а потому самодержавіе сдѣлалось необходимѣе прежняго для охраненія порядка... Несмотря, однако, на торжество этого самодержавія при Аннѣ, положеніе Россіи не стало лучше; при Елизаветѣ тоже было не хорошо. Перехода къ царствованію Екатерины, которую онъ называетъ „истинною преемницею величія Петрова и второю образовательницею новой Россіи“, Карамзинъ оставляетъ, однако, тонъ панегирика, которымъ онъ описалъ это царствованіе при воцареніи Александра и находитъ въ немъ много темныхъ пятенъ. Онъ хвалитъ Екатерину, что „ею смягчилось самодержавіе, не утративъ силы своей“. „Ея душа, гордая, благородная, боялась унизиться робкимъ подозрѣніемъ, и страхи тайной канцеляріи исчезли“. Похвала эта, конечно, преувеличена, и публицистъ не принялъ въ соображеніе различные періоды этого царствованія и различные случаи, которые опровергли бы его мысль. Не смотря на это увлеченіе, Карамзинъ смотритъ на царствованіе Екатерины правильно. „Правы болѣе развратились въ палатахъ и хижинахъ... Богатства государственныя принадлежатъ ли тому, кто имѣетъ единственно лицо красивое?... Замѣтимъ еще, что правосудіе не цвѣло въ сіе время... Въ самыхъ государственныхъ учрежденіяхъ Екатерины видимъ болѣе блеска, нежели основательности, избиралось не лучшее по состоянію вещей, но красивѣйшее, по формамъ... Екатерина хотѣла умозрительнаго совершенства въ законахъ, не думая о легчайшемъ, полезнѣйшемъ дѣйствіи оныхъ; дала намъ суды, не образовавъ судей, дала правила безъ средствъ исполненія... Екатерина... дремала на

розахъ, была обманываема, или себя обманывала, не видѣла, или не хотѣла видѣть многихъ злоупотребленій...“ Въѣ эти вѣрно подмѣченныя черты царствованія Екатерины очень далеки отъ панегирика, а между тѣмъ, по словамъ Карамзина, „время Екатерины было счастливѣйшее для гражданина руссiйскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время...“ Откуда это противорѣчiе? Вѣроятно, происходило оно отъ слабости мысли, подкупленной вѣншною славой Екатерининскаго царствованiя. Время Павла представлено за то съ полною откровенностью; Карамзинъ какъ бы забылъ о томъ, что онъ говорилъ сыну объ отцѣ, и это дѣлаетъ ему большую честь. „Что сдѣлали якобинцы въ отношенiи къ республикамъ, то Павелъ сдѣлалъ въ отношенiи къ самодержавiю: заставилъ ненавидѣть злоупотребленiя онаго“. По словамъ Карамзина, Павелъ хотѣлъ быть Иоанномъ IV: „онъ началъ господствовать всеобщимъ ужасомъ, не слѣдуя никакимъ уставамъ, кромѣ своей прихоти; считалъ насъ не подданными, а рабами; казилъ безъ вины, награждалъ безъ заслугъ“. Царствованiе Павла есть „царствованiе ужаса“, по выраженiю Карамзина. Но въ обществѣ жило „великодушное остервенѣнiе противъ злоупотребленiя власти“, а потому, когда узнали о смерти Павла, то „въѣсть о томъ въ цѣломъ государствѣ была въѣстью искупленiя: въ домахъ, на улицахъ люди плакали отъ радости, обвиняя другъ друга, какъ въ день Свѣтлаго Воскресенiя“. Несмотря на это изображенiе крайностей самодержавiя, Карамзинъ, однако, не подвергаетъ его критикѣ, не думаетъ о возможности устранить на будущее время злоупотребленiя самодержавной власти, которая въ Павлѣ дошла до полного, все отрицающаго произвола, какъ того желалъ Александръ, вступая съ тяжелою думою на отцовскiй престолъ послѣ катастрофы 11 марта. Карамзинъ говоритъ, что „благоразумнѣйшiе руссiяне сожалѣли, что зло вреднаго царствованiя было пресѣчено способомъ вреднымъ“. Этотъ вредный способъ былъ заговоръ, и Карамзинъ востаетъ, и совершенно справедливо, противъ этого способа. „Заговоры суть бѣдствiя, колеблющiя основу государствъ, говоритъ онъ, и служащiя опаснымъ примѣромъ для будущности. Если нѣкоторые вельможи, генералы, тѣлохранители присвоить себѣ власть тайно губить монарховъ, или смѣнять ихъ, что будетъ самодержавiе? Игналищемъ олигархiи, и должно скоро обратиться въ безначалiе“... Эти заговоры были, однако, такъ часты у насъ въ XVIII вѣкѣ, что прямо указывали на постоянную причину ихъ—безграничный произволъ самодержавiя, приводившiй людей къ самоуправству, а между тѣмъ Карамзинъ ни слова не говоритъ объ этихъ историческихъ причинахъ, а старается проповѣдать обществу, вмѣсто прiисканiя дѣйствительныхъ, законныхъ средствъ,

только пассивную покорность неисповѣдимымъ путямъ провидѣнія: „кто вѣритъ провидѣнію, говоритъ Карамзинъ, да видитъ въ зломъ самодержцѣ бичъ гнѣва небеснаго! Снесемъ его, какъ бурю, землетрасеніе, язву, феномены страшные, но рѣдкіе, ибо мы въ теченіе 9 вѣковъ имѣли только двухъ тирановъ... Заговоры да устрашаютъ народъ для спокойствія государей! Да устрашаютъ и государей для спокойствія народовъ!“ Въ словахъ этихъ слышится полное отрицаніе всего того, что занимало Александра при вступленіи его на престолъ, именно желанія ограничить произволъ самовластиа, опредѣлить власть закономъ. Мы знаемъ, что Александръ и тогдашніе либеральные друзья его желали конституціи. Этого послѣдняго понятія, какъ мы увидимъ далѣе, Карамзинъ не могъ переварить. Не понимая дѣйствительности, строго держась своихъ консервативныхъ взглядовъ и теоріи божественнаго права, Карамзинъ отнималъ у народа возможность даже мысли объ улучшеніи порядка вещей, подъ властію котораго ему пришлось жить, отнималъ всякую идею совершенствованія и проповѣдывалъ безусловную, слѣпую покорность судьбѣ или случаю, смотря потому, какъ кто понимаетъ. На основаніи этой теоріи понятно, какими глазами долженъ онъ былъ смотрѣть на все, сдѣланное въ царствованіе Александра для развитія государственной жизни.

Вторая и самая важная половина „Записки“ Карамзина имѣла тогда живой современный интересъ; она относилась къ царствованію Александра, къ тому, что было сдѣлано имъ и его совѣтниками для преобразованія государства, и вообще къ современному состоянію Россіи, котораго Александръ, конечно, не зналъ вполнѣ или смотрѣлъ на него глазами тогдашнихъ своихъ приближенныхъ. Особенный вѣсъ словамъ Карамзина придавали великія современные событія и то грозное ополченіе, которое уже собиралъ Наполеонъ противъ Россіи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ тогдашней, совершенно естественной тяжелой думѣ о будущихъ судьбахъ своей страны, Александръ долженъ былъ обратить вниманіе на слова Карамзина, долженъ былъ подчиниться ихъ вліянію, тѣмъ болѣе, что въ ту пору около него не было ни одного человека, который бы могъ парализовать вліяніе Карамзина и опровергать печальные выводы его одинокой проповѣди. А между тѣмъ грозная туча все ближе и ближе подвигалась на горизонтъ. Россія была въ опасности; нужны были крутыя рѣшительныя мѣры. Карамзинъ принималъ на себя судъ дѣлъ Александра, строгую критику всего совершеннаго въ его царствованіе и принималъ на себя видъ искренняго патріота. „Какое имѣю право? спрашивалъ онъ.—Любовь къ отечеству и монарху, нѣкоторыя, можетъ быть, данныя мнѣ Богомъ способности, нѣкоторыя знанія, приобрѣтенныя мною въ лѣтописяхъ міра и въ бесѣдахъ съ мужами вели-

ними, то есть въ ихъ твореніяхъ. Чего хочу? Съ добрымъ намѣреніемъ испытать великодушіе Александра и сказать, что мнѣ кажется справедливымъ и что нѣкогда скажетъ исторія“.

И онъ даетъ рѣзкую критику либеральныхъ начинаній и различныхъ мѣръ, предпринятыхъ при Александрѣ. Въ началѣ царствованія, замѣчаетъ онъ, было два мнѣнія, двѣ партіи. Одни желали, чтобъ „Александръ взялъ мѣры для обузданія неограниченнаго самовластия, столь бѣдственнаго при его родителяхъ“; другіе желали восстановленія Екатерининской системы. Карамзинъ, понятно, съ своей стороны, высказываетъ мнѣнія, принадлежавшія второй партіи; онъ противъ всякаго ограниченія самодержавія, откуда бы оно ни шло, и съ замѣчательною логикою и силою убѣжденія возстаетъ противъ конституціонныхъ порядковъ, введеніе которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, было затруднительно въ тогдашнемъ положеніи общества и государства. Но Карамзинъ считаетъ эту затруднительность постоянною, вѣчною, онъ знать не хочетъ ни о какомъ послѣдующемъ развитіи. „Самодержавіе основало и воскресило Россію, говоритъ онъ, съ перемѣною государственнаго устава ея она гибла и должна погибнуть, составленная изъ частей столь многихъ и разныхъ, изъ коихъ всякая имѣетъ свои особенныя гражданскія пользы. Что, кромѣ единовластія неограниченнаго, можетъ въ сей машинѣ производить единство дѣйствія?“ Въ этомъ вопросѣ Карамзинъ остался неподвижнымъ. Онъ былъ противъ всѣхъ тѣхъ, которые думали въ то время не о полной конституціи для Россіи, что, разумѣется, было невозможно, а только объ исправленіи стараго. Съ этою цѣлью Карамзинъ совѣтовалъ государямъ только править *добродѣтельно* и довольствовался совершенно этою вялою сентиментальною фразою.

Приступая къ характеристикѣ современнаго царствованія, Карамзинъ говоритъ о добрыхъ, человѣческихъ свойствахъ Александра и объ общей любви къ нему всѣхъ. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ „собираетъ твердость духа“, чтобъ „сказать истину“. Эта „истина“ заключается въ слѣдующемъ изображеніи того времени: „Россія наполнена недовольными, жалуются въ палатахъ и въ хижинахъ; не имѣютъ ни довѣренности, ни усердія къ правленію, строго осуждаютъ его цѣли и мѣры“. Недовольство это, выставленное Карамзиннымъ, какъ всеобщее, было нѣсколько преувеличено; недовольны были, конечно, всѣ ретрограды, но причины ихъ недовольства легко объяснить: онѣ были чисто личныя. Карамзинъ въ своей „Запискѣ“ объясняетъ это горестное расположеніе умовъ „несчастными обстоятельствами Европы и важными, какъ думаю, ошибками правительства“. Очень рѣзко осуждаетъ Карамзинъ нашу тогдашнюю внѣшнюю политику и отношенія къ Европѣ: ошибки дипломатіи, вмѣшательство въ войну,



проигранныя сраженія, постыдный тильзитскій миръ. Осужденія эти легко было сдѣлать Карамзину, потому что они высказывались уже послѣ совершившихся событій, когда судить можетъ всякій. Тутъ не нужно было ни особаго ума, ни знанія дѣла; такія сужденія оправдываетъ успѣхъ или неуспѣхъ дѣйствія, а потому сужденія Карамзина, въ родѣ, напр., слѣдующихъ словъ: „Никто не увѣритъ Россіянъ, чтобы совѣтники трона, въ дѣлахъ внѣшней политики слѣдовали правиламъ истинной мудрой любви къ отечеству и къ доброму государю“—ничего не доказываютъ. Карамзинъ обвиняетъ этихъ совѣтниковъ или „сихъ несчастныхъ“, какъ онъ выражается, въ томъ, что они „думали единственно о пользѣ своего личнаго самолюбія“. Намъ извѣстно, насколько было это справедливо.

Переходя къ внутреннимъ дѣламъ государства, т.-е. къ тѣмъ немногимъ преобразованіямъ, которые допустили сдѣлать обстоятельства времени, Карамзинъ откровенно высказываетъ свои охранительныя убѣжденія и свою нелюбовь ко всякаго рода преобразованіямъ: „Вмѣсто того, чтобы немедленно обращаться къ порядку вещей Екатеринина царствованія, утвержденному опытомъ 34 лѣтъ и, такъ сказать, оправданному безпорядками Павлова времени, вмѣсто того, чтобы отмѣнить единственно излишнее, прибавить нужное, однимъ словомъ, *исправлять* по основательному разсмотрѣнію, — совѣтники Александровы захотѣли новостей въ главныхъ способахъ монаршаго дѣйствія, оставивъ безъ вниманія правила мудрыхъ, что *всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло*, къ коему надобно прибѣгать только въ необходимости: ибо одно время даетъ надлежащую твердость уставамъ“. Идеаломъ Карамзина, слѣдовательно, было время Екатерины, но онъ самъ уже представилъ въ „Запискѣ“ темныя стороны этого времени, а Александръ еще при жизни Екатерины видѣлъ всю тогдашнюю неурядицу: и всеобщій грабежъ, и бѣдствія угнетеннаго народа, и царствовавшее вездѣ и во всемъ неправосудіе и пр. Можно ли было, зная все это и сочувствуя бѣдствіямъ массъ, не затыкая ушей и не закрывая глазъ, оставаться при старыхъ порядкахъ? Но Карамзинъ считаетъ правленіе Екатерины лучшимъ, нежели реформы, введенныя въ началѣ царствованія Александра. „Сія система правительства, говоритъ онъ, не уступала въ благоустройствѣ никакой иной европейской, заключая въ себѣ, кромѣ общаго со всѣми, нѣкоторыя особенности, сообразныя съ мѣстными обстоятельствами Имперіи“. Такъ Карамзинъ нападаетъ на министерства и ихъ учрежденіе въ 1802 году, и, повидимому, на поверхностный взглядъ, замѣчанія его кажутся справедливыми. Прежде всего онъ замѣчаетъ „излишнюю постыжность“ въ учрежденіи министерствъ. Съ своей точки зрѣнія онъ убѣжденъ, что съ этимъ

учрежденіемъ правительство лишилось консервативнаго характера и потеряло послѣдовательность въ своихъ дѣйствіяхъ. Онъ доказываетъ, что Сенатъ утратилъ прежнее свое правительственное значеніе (эту мысль раздѣлялъ съ Карамзинымъ и Державинъ), и жалѣетъ о прежнихъ коллегіяхъ и ихъ порядкахъ. Карамзинъ нападаетъ также и на Государственный Совѣтъ, придуманный, по словамъ его, чтобы ограничить нѣсколько неограниченную власть министровъ. Онъ даже впередъ осуждаетъ всѣ нововведенія, всѣ новыя преобразованія, которыя разрабатывались тогда главнымъ образомъ Сперанскимъ. Все сдѣланное доселѣ, по словамъ его, имѣетъ характеръ неожиданности. „Спасительными уставами бывають единственно тѣ, коихъ давно желаютъ лучшіе умы въ государствѣ, и которые, такъ сказать, предчувствуются народомъ, будучи ближайшимъ цѣлебнымъ средствомъ на извѣстное зло: учрежденіе министерствъ и совѣта имѣло для всѣхъ дѣйствіе внезапное“. Карамзинъ требуетъ, чтобы для этихъ новыхъ учреждений были приготовлены умы, чтобы объяснены были намѣренія, цѣли правительства и смыслъ вводимаго, забывая, что все это несообразно съ самодержавіемъ. Противорѣчія его мнѣній особенно вѣрно выставлены въ біографіи Сперанскаго барона Корфа, въ статьѣ о Сперанскомъ Дмитріевъ <sup>1)</sup> и въ книгѣ Пыпина „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“. Останавливаясь подробно на критикѣ противорѣчій Карамзина и указывать то, что было въ его замѣчаніяхъ вѣрнаго и невѣрнаго,— не стоитъ, да и далеко отъ нашей цѣли. То онъ нападаетъ на всемогущество министровъ, на ихъ безответственность, то недоволенъ тѣмъ, что въ учрежденіи о министерствахъ говорится о возможности суда надъ ними. Этотъ судъ нарушаетъ самодержавіе; ответственность министровъ несовмѣстна съ послѣднимъ, потому что выборъ ихъ зависитъ отъ государя. „Пусть государь награждаетъ достойныхъ своею милостію, а въ противномъ случаѣ удаляетъ недостойныхъ безъ шума, тихо и скромно. Худой министръ есть ошибка государя; должно исправлять подобныя ошибки, но скрытно, чтобы народъ имѣлъ довѣренность къ личнымъ выборамъ царскимъ“.

На каждомъ шагѣ въ „Запискѣ“ Карамзина сквозитъ не только недовѣріе ко всему тому, что было до сихъ поръ сдѣлано въ царствованіе Александра съ искреннимъ желаніемъ добра и блага народу и государству, но и рѣзкое осужденіе всѣхъ реформъ въ соединеніи съ сожалѣніемъ о старомъ. Къ преобразователямъ относится онъ съ глубокимъ преврѣніемъ, какъ къ людямъ только одной теоріи:

<sup>1)</sup> Р. А. 1868 г.

„Вообще новые законодатели Россіи, говоритъ онъ, славятся наукою писмоводства болѣе, нежели наукою государственною“. Понятно, что прежде все было лучше, и Россія болѣе была счастлива: „Разсматривая такимъ образомъ сіи новыя государственныя творенія и видя ихъ незрѣлость, добрые Россіяне жалѣютъ о бывшемъ порядкѣ вещей. Съ Сенаторъ, съ коллегіями, съ генераль-прокуроромъ у насъ шли дѣла, и прошло блестящее царствованіе Екатерины“. Въ своемъ консерватизмѣ Карамзинъ доходитъ до тупости: „Зло, къ которому мы привыкли, для насъ чувствительно менѣе новаго, а новому добру какъ то не отъится; переменны сдѣланныя не ручаются за пользу будущихъ; ожидаютъ ихъ болѣе со страхомъ, нежели съ надеждою, ибо къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно; Россія же существуетъ около 1000 лѣтъ и не въ образѣ дикой орды, а въ видѣ государства великаго. А намъ все твердятъ о новыхъ образованіяхъ, о новыхъ уставахъ, какъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ американскихъ. Требуемъ болѣе мудрости хранительной, нежели творческой“. Всякое нововведеніе, по мысли Карамзина, благопріятствуетъ произволу. Пугая Александра будто бы всеобщимъ недовольствомъ противъ правительства, Карамзинъ старается доказать, что одна изъ главныхъ причинъ этого неудовольствія есть „излишняя любовь правительства къ государственнымъ преобразованіямъ, которыя потрясаютъ основу имперіи и коихъ благотворность остается доселѣ сомнительною“. Таковъ общій взглядъ Карамзина на значеніе совершившихся преобразованій. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ разбираетъ. Въ особенности сильно досталось отъ Карамзина министерству народнаго просвѣщенія и преобразованіямъ, сдѣланнымъ по этой части, что составляетъ самое лучшее дѣло изъ царствованія Александра. „Онъ употребилъ *милліоны* для основанія университетовъ, гимназій, школъ; къ сожалѣнію, видимъ болѣе убытка для казны, нежели выгодъ для отечества. Для выписанныхъ профессоровъ не было учениковъ приготовленныхъ; ученики, по незнанію латинскаго языка, не понимаютъ профессоровъ“... „У насъ нѣтъ охотниковъ для высшихъ наукъ“; „выгоды ученаго состоянія у насъ неизвѣстны“. По Карамзину, ни одно сословіе, ни одна профессія въ Россіи не нуждается въ высшемъ образованіи, и потому нужно было заводить его въ размѣрахъ втрое меньшихъ. „Строить, покупать дома для университетовъ, заводить библіотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитыхъ иноземныхъ астрономовъ, филологовъ, есть — пускать пыль въ глаза. Чего не преподаютъ нынѣ даже въ Харьковѣ и Казани“. Такъ скептически смотрѣлъ Карамзинъ на то, что было сдѣлано правительствомъ для образованія вообще и высшаго въ особенности. Онъ былъ недоволенъ и уставомъ

внутренняго устройства университетовъ, тѣмъ, что профессора должны заниматься дѣлами хозяйственными или ѣздить осматривать училища. „Вообще, говорить онъ, министерство *такъ называемо* просвѣщенія въ Россіи донынѣ дремало, не чувствуя своей важности и какъ бы не вѣдая, что ему дѣлать, а пробуждалось отъ времени до времени единственно для того, чтобы требовать денегъ, чиновъ и крестовъ отъ государя“. Конечно, въ словахъ Карамзина заключалась часть правды, но насъ поражаетъ въ нихъ это неуваженіе къ наукѣ и просвѣщенію цѣлей страны, болѣе чѣмъ странное въ писателѣ, пользовавшемся заслуженною извѣстностью.

Гораздо болѣе Карамзинъ былъ правъ, нападая на извѣстный указъ объ экзаменахъ 1809 года, хотя и здѣсь нельзя не сказать, что пренебрежительный отзывъ его страдаетъ преувеличеніемъ. Государство желало, чтобы его органы-чиновники были люди сколько-нибудь образованные. Указъ былъ задуманъ и приведенъ въ исполненіе по волѣ государя только однимъ Сперанскимъ и потому на него одного обрушилось негодованіе заинтересованныхъ въ немъ людей. Указъ этотъ, объясняя предпринимаемую мѣру, говорилъ, что „всѣ части государственнаго служенія требуютъ свѣдущихъ исполнителей, и чѣмъ далѣе будетъ отлагаемо твердое и отечественное образованіе юношества, тѣмъ недостатокъ вполнѣдствіи будетъ ощутительнѣе“. Причина, по словамъ указа, заключалась въ легкости достигать чиновъ не заслугами и отличными познаніями, но однимъ пребываніемъ и численіемъ лѣтъ службы. Чтобы прекратить этотъ вредный порядокъ вещей, было постановлено не производить никого въ чинъ коллежскаго ассессора безъ университетскаго свидѣтельства объ окончаніи курса или вообще о знаніяхъ. То же самое требовалось и для производства въ статскіе совѣтники. При указѣ приложена была довольно обширная программа предметовъ общаго образованія, знаніе которыхъ требовалось отъ чиновника, желавшаго пріобрѣсти высшій чинъ. Понятно, какое сильное негодованіе долженъ былъ произвести этотъ неожиданный указъ въ многочисленной арміи нашихъ невѣжественныхъ чиновниковъ того времени, въ странѣ, которая была лишена тогда всякихъ средствъ для высшаго образованія. Старики чиновники, долго служившіе, лишались вдругъ возможности дальнѣйшаго повышенія. Злоба противъ Сперанскаго, противъ этого выскочки-поповича, изъ столицъ распространилась по провинціямъ. На него посыпались злобные сарказмы, анонимныя письма, ругательныя стихотворенія. Но не одни чиновники нападали на указъ; съ ихъ голоса стали кричать въ обществѣ и тѣ, которые были недовольны реформами Сперанскаго. Указъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, отчасти несправедливъ, потому что онъ нисколько не цѣнилъ

продолжительную опытность чиновника и требовалъ отъ него только общихъ теоретическихъ знаній, которыя, повидимому, вовсе ни на что не годились въ его спеціальной службѣ. Когда для такихъ стариковъ чиновниковъ открыты были особенные экзаменные комитеты при университетахъ, то, помяну, что экзамены эти превратились въ пустую формальность, а профессора-экзаменаторы брали съ чиновниковъ взятки. Началась торговля университетскими свидѣтельствами. Самый главный недостатокъ этого указа Сперанскаго состоялъ въ томъ, что онъ былъ очень крутъ и касался не только будущаго, но и настоящаго; онъ вводился тотчасъ же; не было положено срока, послѣ котораго слѣдуетъ требовать университетскаго свидѣтельства. Но это былъ единственный недостатокъ указа 1809 года. Сперанскій явился настоящимъ государственнымъ человѣкомъ, требуя отъ чиновника общаго университетскаго свидѣтельства, а не спеціального административнаго экзамена, который былъ рѣшительно невозможенъ при тогдашнемъ состояніи у насъ спеціальной науки. Служба, однако, во всякомъ случаѣ, выигрывала, когда пріобрѣтала людей, развитыхъ умственнымъ и нравственнымъ образомъ. Другихъ требованій невозможно было и дѣлать въ ту пору. Въ этомъ отношеніи указъ Сперанскаго составилъ дѣйствительную эпоху и принесъ несомнѣнную пользу. Съ него начинается паденіе сословія подъячихъ и невѣжественныхъ чиновниковъ-взяточниковъ, этой старинной язвы нашего общества. Въ темный міръ брошена была искра свѣта, начала честности и правды, которыя даются общимъ развитіемъ.

Карамзинъ, нападая на этотъ указъ, который онъ называетъ *несчастливымъ*, не выказалъ ни такта государственнаго человѣка, который смотритъ не на одно настоящее, ни любви къ просвѣщенію и наукѣ. Онъ говоритъ объ одномъ только настоящемъ и дѣлается, такимъ образомъ, отголоскомъ всеобщаго воли невѣжественныхъ чиновниковъ. Карамзинъ ограничивается только сарказмами, правда, злыми и язвительными, но едва ли справедливыми съ широкой государственной точки зрѣнія. Онъ согласенъ на спеціальнѣй, административный экзаменъ, который, какъ мы сказали, не былъ возможенъ тогда въ Россіи, и негодуетъ на требованіе общаго образованія.

„У насъ предсѣдатель гражданской палаты обязанъ знать Гомера и Теофрита; секретарь сенатскій — свойства оксигена и всѣхъ газовъ; вице-губернаторъ — Пиеагорову фигуру; надзиратель въ домѣ сумасшедшихъ — римское право, или умруть коллежскими и титулярными совѣтниками... Никогда любовь къ наукамъ не производила дѣйствія столь несогласнаго съ ихъ цѣлью!“ Кромѣ вреда Карамзинъ ничего хорошаго не ожидаетъ отъ этого указа и въ особен-

ности налагаетъ на *принудительный* характеръ его, вызванный, впрочемъ, бездѣйствіемъ, инерціей самого общества.

Далѣе Карамзинъ разсуждаетъ о крѣпостномъ вопросѣ и о тѣхъ мѣрахъ, которыя задумывались въ началѣ царствованія Александра для облегченія участи крѣпостного сословія. Достаточно зная уже Карамзина, мы не имѣемъ никакого права ожидать, чтобы въ этомъ случаѣ онъ былъ особенно либераленъ и шелъ въ своихъ требованіяхъ впередъ общественнаго мнѣнія. Напротивъ, какъ помѣщикъ и строгій консерваторъ, онъ раздѣлялъ и поддерживалъ мнѣніе большинства, стоялъ за *statu quo*, вовсе не желая освобожденія, такъ что невольно приходитъ въ голову весьма естественная мысль: не привело ли Карамзина желаніе сохранить *statu quo* въ крестьянскомъ вопросѣ вообще къ его консерватизму. Странное впечатлѣніе производитъ этотъ умный и талантливый писатель своими отсталыми мнѣніями по крестьянскому вопросу въ то время, когда все живое и молодое было предано идеямъ свободы и хлопотало объ облегченіи угнетенныхъ массъ. Мы привыкли съ XVIII вѣка говорить, что наша литература шла впередъ общественнаго развитія, что она всегда проповѣдовала любовь къ человѣчеству и развитіе. На этотъ разъ вышло не такъ, и человѣкъ, который такъ много въ своихъ сочиненіяхъ наговорилъ сентиментальныхъ фразъ о свободѣ, о любви къ человѣчеству, о просвѣщеніи и пр., дѣлается защитникомъ темнаго дѣла и стоитъ за принципы крѣпостного права.

Прежде всего, въ своей защитѣ крѣпостного права, Карамзинъ осуждаетъ указъ, которымъ запрещалась продажа и купля людей съ цѣлю отдать ихъ въ рекруты; это былъ обычай, который велъ ко многимъ злоупотребленіямъ, какъ всякая торговля людьми. Карамзинъ посмотрѣлъ на этотъ указъ весьма односторонне; онъ жалѣетъ, что онъ отнялъ средство у „небогатыхъ владѣльцевъ“ сдавать дурныхъ людей въ рекруты и у хорошей крестьянской семьи возможность нанять за себя рекрута. Собственно объ освобожденіи крестьянъ Карамзинъ не могъ говорить прямо и открыто, потому что желанія правительства, въ началѣ, повидимому, весьма широкія, ограничились въ этомъ дѣлѣ слабыми полумѣрами, но онъ считалъ своею обязанностію высказать въ запискѣ свои мнѣнія вообще по предмету освобожденія.

„Нынѣшнее правительство, говоритъ онъ, имѣло, какъ увѣряютъ, намѣреніе дать господскимъ людямъ свободу“. Поэтому онъ исторически разбираетъ у насъ рабство и старается доказать, что крестьяне никогда не имѣли права на землю, всецѣло принадлежащую помѣ-

щику. Онъ не допускаетъ даже мысли о возможности освобожденія крестьянъ съ землею, а на освобожденіе безъ земли, по его словамъ, не рѣшится „благоразумный самодержавецъ“. Карамзинъ рисуетъ бѣдственное положеніе государства и самихъ крестьянъ въ случаѣ, если послѣдуетъ освобожденіе. Онъ какъ бы старается нанудать правительство ужасающими для порядка послѣдствіями. Связь между помѣщиками и крестьянами разрушится. „Дотогѣ падали они въ крестьянахъ свою собственность,—тогда корыстолюбивые владѣльцы захотятъ взять съ нихъ все возможное для силъ физическихъ“. Начнутся безконечныя тяжбы между тѣми и другими, когда придется юридически опредѣлять отношенія или заключать контракты. Когда крестьянинъ не будетъ болѣе прикрѣпленъ къ землѣ, казна неминуемо потерпитъ убытокъ въ сборѣ подушныхъ денегъ и другихъ податей, самое земледѣліе потерпитъ. Поля останутся не обработанными, житницы пустыми. Крестьяне, не имѣя надъ собою безденежнаго суда помѣщичьяго, станутъ ссориться между собою, судиться въ городахъ; отсюда ихъ общее разореніе. Лишенные помѣщичьей опеки, лучшей чѣмъ всѣ земскіе суды, крестьяне станутъ пьянствовать, злодѣйствовать: „какая богатая жатва для кабаковъ и мздоимныхъ исправниковъ, но какъ худо для нравовъ и государственной безопасности!“ Карамзинъ пугаетъ даже правительство его безсиліемъ, если оно лишится содѣйствія дворянъ-помѣщиковъ. „Дворяне, разсыянные по всему государству, содѣйствуютъ монарху въ храненіи тишины и благоустройства; отнявъ у нихъ сію власть блюстительную, онъ, какъ Атласъ, возьметъ себѣ Россію на рамена... Удержитъ ли? Паденіе страшно!“ Свобода земледѣльцевъ вредна для государства. Освобожденные отъ власти господской, они не будутъ счастливы, „преданные въ жертву ихъ собственнымъ порокамъ, отступникамъ и судымъ безсовѣстнымъ“. Помѣщики крестьяне и теперь гораздо счастливѣе казенныхъ. „Знаю, что теперь неудобно возвратитъ крестьянамъ свободу—говоритъ Карамзинъ, а что если и есть злоупотребленія помѣщичьей властію, то лучше *подъ рукою* взять мѣры для обузданія господъ жестокихъ. Въ заключеніе своей защиты крѣпостного состоянія Карамзинъ считаетъ своимъ долгомъ обратиться къ доброму монарху съ слѣдующими словами: „Государь! Исторія не упрекнетъ тебя зломъ, которое прежде тебя существовало (положимъ, что неволя крестьянъ и есть рѣшительное зло), но ты будешь отвѣтствовать Богу, совѣсти и потомству за всякое вредное слѣдствіе твоихъ собственныхъ уставовъ!“

Такимъ образомъ, въ вопросѣ столь важномъ, такъ глубоко затрогивающемъ всѣ основы государственной и народной жизни, въ вопросѣ, который занималъ лучшихъ людей того времени, воспользо-

вавшихся идеями гуманной и просвѣтительной философіи прошлаго вѣка, Карамзинъ стоялъ на неподвижной, строго консервативной точкѣ зрѣнія. Онъ отсталъ отъ передовыхъ писателей, даже русскихъ. Пусть онъ не былъ человѣкомъ съ государственными тактомъ и широкимъ взглядомъ, смотрѣвшимъ въ даль будущаго, но онъ былъ писатель—филантропъ, воспитанный въ гуманной масонской школѣ; въ своихъ сочиненіяхъ онъ безпрестанно твердилъ о любви къ человѣчеству и свободѣ, а когда пришлось примѣнять слова къ дѣлу, оказалось, что всѣ красивыя слова, имъ когда-то произнесенныя, были только фразами безъ содержанія, оказалось, что вмѣсто филантропа-писателя передъ нами риторъ—помѣщикъ, изъ низкихъ эгоистическихъ цѣлей старающійся защищать даже торговлю людьми!

Въ защитѣ крѣпостного права, въ виду уже созрѣвшей мысли передовыхъ людей и даже самого правительства, которое относилось къ угнетенной массѣ простого народа болѣе гуманно, чѣмъ человѣкъ, считавшійся первымъ писателемъ своего времени, высказался весь тупой консерватизмъ Карамзина. Аргументы, приводимые имъ, конечно, не принадлежали ему собственно; они составляли кодексъ убѣжденій рабовладѣльческаго большинства. Съ тою же силою и убѣжденіемъ они высказывались еще недавно, и несправедливость ихъ доказана временемъ. Мы не знаемъ, насколько аргументы Карамзина подѣйствовали въ этомъ вопросѣ на умъ и волю Александра, но при извѣстной слабости его характера, надобно полагать, что теоретически сочувствуя бѣдственному положенію крѣпостного сословія, онъ едва ли рѣшился бы на практическое рѣшеніе вопроса: такъ много было вокругъ него совѣтниковъ, раздѣлявшихъ изъ личныхъ выгодъ мнѣнія, высказанныя Карамзинымъ.

Но „Записка“ не оканчивается крѣпостнымъ вопросомъ. Карамзинъ далъ себѣ задачу разобрать всѣ главныя правительственныя мѣры въ царствованіе Александра, оцѣнить ихъ критически и во всемъ представить бѣдственное положеніе государства. Далѣе слѣдуетъ разборъ *финансовыхъ мѣръ*, о которомъ упомянемъ коротко вслѣдствіе его специальности. Карамзинъ осуждаетъ множество ассигнацій, неравномѣрность и увеличеніе налоговъ, расточительность казны, въ противоположность съ личною, дворцовою бережливостію самого Александра. „Сколько изобрѣтено новыхъ мѣстъ, сколько чиновниковъ ненужныхъ! Здѣсь три генерала стерегутъ туфли Петра Великаго; тамъ одинъ человѣкъ беретъ изъ пяти мѣстъ жалованье; всякому столовыя деньги; множество пенсій излишнихъ; даютъ въ займы безъ отдачи и кому? Богатѣйшимъ людямъ!“ Расточительность, казнокрадство, тунеядство и роскошь—вотъ черты финансоваго поло-



женія Россіи въ то время, по словамъ Карамзина. Но между средствами ограничить лишнюю расточительность казенныхъ денегъ Карамзинъ рекомендуетъ между прочимъ: „отказывать невѣждамъ, требующимъ денегъ для мнимаго успѣха наукъ“. Это былъ прямой упрекъ тогдашнему министерству народнаго просвѣщенія, котораго Карамзинъ не любилъ.

Послѣ осужденія финансовыхъ мѣръ и неудовлетворительности тогдашняго финансоваго положенія Россіи, самыя сильныя обвиненія Карамзина падаютъ на законодательныя мѣры того времени, гдѣ главнымъ дѣятелемъ былъ Сперанскій. Нельзя сказать, чтобъ въ этихъ нападеніяхъ его присутствовали только желчь и раздраженіе; было въ нихъ и довольно правды, потому что законодательное дѣло при Александрѣ шло весьма поспѣшно и необдуманно, для него не доставало у насъ тогда людей съ научнымъ юридическимъ образованіемъ, на что горько жаловался и Сперанскій, первый человекъ, который сталъ дѣлательно заботиться о развитіи у насъ юридическаго образованія. Поговоривъ о прежнихъ попыткахъ законодательства у насъ, съ самыхъ древнихъ временъ, Карамзинъ переходитъ къ разбору того, что сдѣлано было при Александрѣ. „Александръ, ревностный исполнить то, чего всѣ монархи російскіе желали, образовалъ новую комиссію, набрали многихъ секретарей, редакторовъ, помощниковъ, не сыскали одного и самаго необходимѣйшаго—человѣка способнаго быть ея душою.“ Этимъ человѣкомъ, главнымъ дѣятелемъ въ комиссіи до Сперанскаго, былъ Розенкампфъ. На его работы нападать было не трудно. Томъ предварительныхъ работъ его Карамзинъ характеризуетъ такъ: „Множество ученыхъ словъ и фразъ, почерпнутыхъ въ книгахъ, ни одной мысли, почерпнутой въ созерцаніи особеннаго гражданского характера Россіи. Добрые соотечественники наши ничего не могли понять, кромѣ того, что голова авторовъ въ лунѣ, а не на землѣ русской!“ Но „вотъ опять новая декорація: видимъ законодательство въ другой рукѣ“. Это былъ Сперанскій. Онъ напечаталъ двѣ первыя книжки „Проекта новаго уложенія“, и хотя онѣ были предназначены только для членовъ совѣта, но сдѣлались извѣстными и въ публикѣ, которая изъ ненависти къ Сперанскому находила въ ней одни недостатки. Достоинство законодательныхъ работъ Сперанскаго, какъ предварительныхъ при Александрѣ, такъ и послѣдующихъ, при составленіи „Свода“ въ царствованіе Николая, признано наукою. Карамзинъ отнесся къ нимъ, однако, съ крайнимъ порицаніемъ и раздражительно, и видѣлъ въ нихъ только недостатки. Въ двухъ томахъ „Проекта“ онъ находитъ „Переводъ Наполеонова кодекса!“ „Какое изумленіе для Россіянъ! Какая пища для злословія! Благодаря Всевышняго, мы еще не подпали желѣзному

скипетру сего завоевателя; у насъ еще не Вестфалія, не Итальянское королевство, не Варшавское герцогство, гдѣ кодексъ Наполеоновъ, со слезами переведенный, служить уставомъ гражданскимъ. Для того ли существуетъ Россія, какъ сильное государство, около тысячи лѣтъ, для того ли около ста лѣтъ трудимся надъ сочиненіемъ своего полнаго уложенія, чтобы торжественно предъ лицомъ Европы признаться глупцами и подсунуть сѣдую нашу голову подъ книжку, слѣвленную въ Парижѣ 6-ю или 7-ю эксъ-адвокатами и эксъ-якобинцами!" Такъ презрительно третируетъ Карамзинъ,—конечно, не пристъ и даже не ученый—лучшій законодательный памятникъ той эпохи, который „вполнѣ соотвѣтствовалъ всѣмъ тогдашнимъ требованіямъ науки и общества“—по словамъ барона Корфа <sup>1)</sup>). Конечно, трудъ Сперанскаго былъ слишкомъ поспѣшенъ, но это былъ только проектъ, и высокомѣрное отношеніе къ нему Карамзина, съ разнообразными мелкими натяжками въ обвиненіяхъ, не оправдывается ничѣмъ. Баронъ Корфъ въ своей біографіи Сперанскаго приписываетъ только раздражительности Карамзина его упрекъ Сперанскому въ томъ, что въ его проектѣ говорится о *правахъ гражданскихъ* (т.-е. о правѣ собственности, завѣщаніяхъ и т.п.). Ихъ, по словамъ Карамзина, „въ истинномъ смыслѣ не бывало и нѣтъ въ Россіи“. У насъ только политическія или особенныя права разныхъ государственныхъ состояній: у насъ дворяне, купцы, земледѣльцы и пр.; всѣ они имѣютъ свои особенныя права. При поспѣшности работы Сперанскаго, легко было Карамзину нападать на ошибки перевода съ французскаго, но ненависть его къ кодексу Наполеона можно объяснить только тогдашними нашими политическими отношеніями и общимъ тономъ всей патріотической литературы того времени, къ которой принадлежала и „Записка“ Карамзина. „Оставляя все другое, говорилъ онъ, спросимъ: время ли теперь предлагать Россіянамъ законы французскіе, хотя бы оныя и могли быть удобно примѣнены къ нашему гражданскому состоянію? Мы всѣ—всѣ любящіе Россію, государя ея, славу, благоденствіе, — такъ ненавидимъ сей народъ, обогранный кровію всей Европы, осыпанный прахомъ столь многихъ державъ разрушенныхъ. И въ то время, когда имя Наполеона приводитъ сердца въ содроганіе, мы положимъ его кодексъ на святой олтарь отечества!“

Вмѣсто систематическаго кодекса, основаннаго на современныхъ понятіяхъ науки и болѣе развитого общества, Карамзинъ предлагалъ только систематическое собраніе и изложеніе законовъ, заключающихся въ указахъ и постановленіяхъ, изданныхъ отъ временъ царя

<sup>1)</sup> Жизнь графа Сперанскаго. Спб., 1861 г., т. I, стр. 162.

Алексѣя Михайловича до нашихъ: „вотъ содержаніе кодекса“—говорилъ онъ.—„Для стараго народа не нужно новыхъ законовъ“. Нужно было только кое-что исправить, кое-что прибавить. Этотъ же самый способъ предлагалъ и Сперанскій, но это, по его мнѣнію, былъ худшій родъ законодательства; у Карамзина это лучшій. „Сей трудъ великъ,—говорилъ онъ,—но онъ такого свойства, что его нельзя поручить многимъ. Одинъ человѣкъ долженъ быть главнымъ, истиннымъ творцемъ Уложенія Россійскаго; другіе могутъ служить ему только совѣтниками, помощниками, работниками. Здѣсь единство мыслей необходимо для совершенства частей и цѣлаго, единство воли необходимо для успѣха; или мы найдемъ такого человѣка, или долго будемъ ждать кодекса“. Замѣчательно,—и это служитъ доказательствомъ вліянія „Записки“ Карамзина въ послѣдующее время,—что дѣло законодательное приняло у насъ такой ходъ, какой совѣтовалъ Карамзинъ, хотя единственнымъ составителемъ „Свода Законовъ“ въ царствованіе Николая является тотъ же Сперанскій, на котораго Карамзинъ нападалъ.

Разобравъ такимъ образомъ и осудивъ внутреннее состояніе Россіи въ то время, Карамзинъ опять возвращается къ тому, съ чего началъ, т.-е. къ общему недовольству правительствомъ въ Россіи. „Удивительно ли, спрашиваетъ онъ, что общее мнѣніе столь не благопріятствуетъ правительству? Не будемъ скрывать зла, не будемъ обманывать себя и государя, не будемъ твердить, что люди обыкновенно любятъ жаловаться и всегда недовольны настоящимъ: сіи жалобы разительны ихъ согласіемъ и дѣйствіемъ на расположеніе умовъ въ государствѣ“. Но Карамзинъ не отчаивается въ будущемъ Россіи, хотя и видитъ въ ней „еще обширное поле для всякихъ новыхъ твореній самолюбиваго, неопытнаго ума“. Онъ предлагаетъ для излѣченія всеобщаго зла нѣсколько цѣлебныхъ средствъ, по его словамъ, самыхъ простѣйшихъ. Возвратиться къ прежнему, т.-е. къ системѣ Екатерины, составлявшей идеалъ Карамзина, уже поздно; надобно искать другихъ средствъ. „Главная ошибка законодателей сего царствованія состоитъ въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности“, а потому надобно перемѣнить систему, думать и хлопотать не о формахъ, а о *модяхъ*. Главное правило—*искать моды*; „теперь всего нужнѣе люди“ — говоритъ Карамзинъ. Люди эти нужны вездѣ и въ особенности на губернаторскихъ мѣстахъ. Пусть будутъ вездѣ хорошіе губернаторы, и министрамъ и совѣту можно тогда „отдыхать на лаврахъ“. Губернаторами того времени Карамзинъ совершенно недоволенъ, но, несмотря на то, онъ желаетъ увеличенія губернаторской власти, сожалѣетъ, что много частей въ составѣ губерній не принадлежатъ къ вѣдомству губер-

натора, требуетъ возвысить его санъ и сдѣлать его похожимъ на Екатерининскаго намѣстника. Карамзинъ хлопоталъ, такимъ образомъ, объ усиленіи власти, о ея централизаціи, что соответствовало его представленію о неограниченномъ самодержавіи. Та же мысль является и во второмъ его правилѣ: „умѣйте обходиться съ людьми“. Здѣсь требуетъ онъ силы правительственной, а не мягкости, — грозы и страха, но только изъ рукъ монарха. Личная строгость монарха — все въ государствѣ. Онъ самъ — „живой законъ“. „Сирены могутъ пѣть вокругъ трона: „Александръ! воцари законъ въ Россіи“ и пр. Карамзинъ это объясняетъ такъ: „Александръ, дай намъ именемъ закона господствовать надъ Россіею, а самъ покойся на тронѣ, изливай единственно милости, давай намъ чины, ленты и деньги!“ Карамзинъ востаетъ, такимъ образомъ, противъ силы закона; въ нее онъ не вѣритъ и все спасеніе видитъ въ *хорошихъ модяхъ*. Но кому неизвѣстно это, рекомендуемое имъ средство, и не приготовляются ли сами люди, для настоящаго исполненія своихъ обязанностей хорошими законами, высшимъ образованіемъ, наконецъ, личнымъ участіемъ въ дѣлахъ государственныхъ, согласно конституціоннымъ порядкамъ, — а Карамзинъ не признаетъ силу первыхъ, считаетъ ненужнымъ для Россіи второе и рѣшительно вооружается противъ третьяго. Не отзываются ли его *цѣлебныя средства* тѣмъ же вялымъ сентиментализмомъ, какъ и вся его прежняя литературная дѣятельность?

Подъ конецъ своей „Записки“ Карамзинъ считаетъ почему-то нужнымъ вставить цѣлую патетическую тираду въ пользу дворянства, какъ будто на него было сдѣлано особое нападеніе или Александръ особенно не благоволилъ къ нему. „Самодержавіе есть палладіумъ Россіи, говоритъ онъ; цѣлость его необходима для ея счастья; изъ сего не слѣдуетъ, чтобы государь, единственный источникъ власти, имѣлъ причины унижать дворянство, столь же древнее, какъ и Россія“. Дворянству предоставляетъ онъ единственно служебное поприще, а потому совѣтуетъ государю какъ можно болѣе „возвышать санъ дворянина“. Блескъ его „можно назвать отливомъ царскаго сіянія“. Для этого хорошо бы монарху являться самому въ торжественныхъ собраніяхъ дворянства и не въ гвардейскомъ мундирѣ, а въ дворянскомъ. Точно такъ же Карамзинъ желаетъ поднятія значенія духовенства, чтобы, по крайней мѣрѣ, синодъ имѣлъ болѣе важности въ составѣ его и дѣйствіяхъ, чтобы іереи были лучше и образованнѣе, чтобы по закону они болѣе „пеклись о нравственности прихожанъ“ и пр. Вотъ программа испѣленія язвъ Россіи, по правдѣ сказать, слишкомъ неопредѣленная и не глубокая. „Дворянство и духовенство, сенатъ и синодъ, какъ хранилища законовъ.

надъ всѣми государь, единственный источникъ властей,—вотъ основаніе россійской монархіи, которое можетъ быть утверждено или ослаблено правилами царствующихъ“. При наличности этихъ условій Карамзинъ не вѣритъ въ возможность бѣдствій Россіи, не видитъ близкой гибели для нея; но Александру нужно быть „осторожнѣе въ новыхъ государственныхъ твореніяхъ, стараясь всего болѣе утвердить существующія и думая болѣе о людяхъ, нежели о формахъ“. Это любимая мысль Карамзина. Онъ не любитъ *формы*, нападаетъ на нихъ и хочетъ остаться при старомъ произволѣ. Подъ поклоне-ніемъ формамъ разумѣется Карамзинымъ конституціонный проектъ Сперанскаго, опередившій далеко то общество, для котораго онъ былъ писанъ, и раздѣляемый только государемъ и самымъ ничтожнымъ меньшинствомъ развитыхъ людей.

Таково было общее содержаніе знаменитой „Записки“ Карамзина. Долго она являлась чѣмъ-то запретнымъ, таинственнымъ; это обстоятельство придавало ей особое значеніе и воображаемыя достоинства. Теперь запретъ снятъ; мысль Карамзина знакома намъ въ полнотѣ, а не въ преднамѣренныхъ пересказахъ. Критика свободно можетъ разбирать это произведеніе; для общества же не бесполезно прошли годы развитія и его не подкупать красивыя фразы Карамзина. Мы знаемъ мысль Карамзина и видимъ, что она не была ни глубока, ни блестяща по своему содержанію, не отличалась ни знаніемъ дѣла, ни безкорыстіемъ. „Записка“ была выраженіемъ цѣлой системы консерватизма въ обществѣ невѣжественномъ, своекорыстномъ, напуганномъ задуманными и отчасти начатыми реформами. Но консерватизмъ этотъ, по характеру литературной дѣятельности Карамзина, получилъ какой-то туманный, сентиментальный видъ, облекся въ красивыя, но крайне безсодержательныя фразы. „Несмотря на странныя несообразности и недомолвки, „Записка“ Карамзина имѣетъ для насъ, потомковъ, большую историческую цѣну, говоритъ біографъ Сперанскаго, вовсе не по внутреннему ея достоинству и не по краснорѣчивому изложенію въ ней индивидуальныхъ его мыслей, но какъ искусная компиляція того, что онъ слышалъ вокругъ себя. Карамзинъ, гораздо болѣе литераторъ, нежели человѣкъ государственный или вообще политическій, говорилъ здѣсь, разумѣется, не одно свое. Если современная ему публика написала въ его „Запискѣ“ свое собственное темное неудовольствіе, облеченное въ форму изящной рѣчи, то нѣтъ сомнѣнія, что взаимно и та среда, въ которой онъ жилъ, не могла остаться безъ широваго на него вліянія. Въ этомъ смыслѣ „Записка о старой и новой Россіи“, представляя собою общій, такъ сказать, итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обетшавъ, требо-

вали обновления, еще болѣе подтверждаетъ мысль, выше нами высказанную, что Александръ и первый его министр, въ порывѣ восторговъ своихъ увлеченій, опережали возрастъ своего народа, даже между образованнѣйшими его классами<sup>1)</sup>.

Существованіе „Записки“ Карамзина и ея содержаніе сдѣлались извѣстными, къ сожалѣнію, въ такую эпоху русской жизни, когда ея начала и мысли стали господствующими и когда свободное отношеніе къ ней критики было немислимо. Все, что только въ обществѣ и литературѣ было либеральнаго по взглядамъ и убѣжденіямъ, все это было разсѣяно бурей или задавлено новымъ тяжелымъ порядкомъ вещей. А между тѣмъ имя Карамзина, глубоко уважаемое по личному характеру и по разнымъ другимъ отношеніямъ, напр., хотя бы потому, что, будучи другомъ Александра, онъ ничего не искалъ лично для себя и отклонялъ разныя блестящія предложенія, окружено было въ передовомъ литературномъ кругу славой и почетомъ. Уваженіе къ нему перешло въ массу общества, и каждое слово Карамзина принималось какъ откровеніе свыше, — тѣмъ болѣе, что никто не вникалъ въ настоящій смыслъ его „Записки“, никто не зналъ даже вполнѣ ея текста; принимали на вѣру, какъ авторитетъ. Только одинъ русскій изгнанникъ, Н. И. Тургеневъ, счастливо избѣгнувшій послѣдствій катастрофы 14 декабря, уже въ поздніе годы могъ свободно разсуждать за границею о содержаніи „Записки“ Карамзина. Но онъ, подобно прочимъ современникамъ, относится съ особеннымъ пѣтетомъ къ личности Карамзина, говоритъ о его благородной и возвышенной душѣ и отдаетъ справедливость той смѣлости, съ какою онъ говорилъ Александру, хотя послѣдній легко и скоро, конечно, могъ простить грубость Карамзина, именно потому, что источникъ этой грубости заключался въ его любви къ абсолютизму. Но Тургеневу не нравится въ „Запискѣ“ защита дворянскихъ привилегій, желаніе возвысить это сословіе, неуваженіе къ русскому народу, для котораго Карамзинъ считалъ какъ бы невозможнымъ всякій прогрессъ, и видѣлъ прогрессъ только въ дѣйствіяхъ абсолютной власти, безъ которой онъ считалъ невозможнымъ существованіе и развитіе Россіи. Въ особенности Тургеневу, всю жизнь мечтавшему объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ и положившему такъ много труда для этого дѣла, не нравились взгляды Карамзина на крѣпостной вопросъ. Но критика Тургенева была единственною справедливою критикою „Записки“; къ сожалѣнію, у насъ она не имѣла вліянія, будучи напечатана за границею. Первый баронъ Корфъ въ своей біографіи Сперанскаго, вышедшей въ 1861 г.,

<sup>1)</sup> Корфъ. Жизнь Сперанскаго, I, стр. 143.

сказалъ о запискѣ Карамзина нѣсколько дѣльныхъ и мѣстныхъ замѣчаній и наконецъ Пыпинъ въ 1870 году (Вѣстникъ Евр., кн. V, стр. 202—246)<sup>1)</sup> подробно и вѣрно разобралъ ея содержаніе и указалъ значеніе ея для того и послѣдующаго времени. Всѣ остальные лица, писавшія объ этомъ произведеніи Карамзина, только хвалили его.

Мы должны перейти теперь къ совершенно иному кругу идей, который не имѣетъ ничего общаго ни съ современными вопросами государственнаго устройства, ни съ общимъ содержаніемъ патристической литературы, господствовавшей въ описываемое время въ обществѣ, но который, тѣмъ не менѣе, имѣетъ право на существованіе, потому что выражаетъ извѣстную духовную потребность общества, и заслуживаетъ быть упомянутымъ въ исторіи русскаго умственнаго развитія. Мы говоримъ о масонствѣ и мистицизмѣ, которые возродились къ жизни въ первые годы царствованія Александра, чему способствовалъ нѣкоторый относительный просторъ мысли и гуманный взглядъ на это направленіе ума со стороны самого императора. Направленіе это высказалось въ литературѣ цѣлымъ рядомъ сочиненій, переводовъ и даже періодическихъ изданій, проникнутыхъ одною мыслию, преимущественно мыслию и содержаніемъ христіанскаго піетизма, применившаго тогда къ нѣкоторымъ именамъ мистиковъ-піетистовъ Германіи, сдѣлавшихся у насъ неопровержимыми авторитетами. Сочиненія ихъ были переведены почти въ полномъ объемѣ. Въ сущности, эта мистическая литература первыхъ временъ царствованія Александра была продолженіемъ такого же движенія, начавшагося еще въ XVIII вѣкѣ въ кружкѣ Новикова и друзей его, составившихъ тогда общество масоновъ и мистиковъ, разогнанное преслѣдованіями Екатерины въ послѣдніе годы ея правленія. Теперь, однако, и самый характеръ цѣлей и стремленій мистиковъ нашихъ долженъ былъ измѣниться, сообразно обстоятельствамъ. Не было дѣтски-нелѣпныхъ увлеченій прежняго времени розенкрейцерствомъ, не было слишкомъ пестраго внѣшняго ритуала и обрядности, но зато не было также и прежнихъ широкихъ филантропическихъ и педагогическихъ цѣлей, которыми отличалось „Дружеское общество“ Новикова. Все дѣло ограничивалось чисто-нравственными стремленіями, исключительно христіанскимъ мистицизмомъ, возникшимъ изъ недовольства догматическою стороною религіи, плохо объясняемою грубымъ и невѣжественнымъ духовенствомъ officialной церкви, и изъ желанія развить и усвоить себѣ это христіанство болѣе разумнымъ, внутреннимъ и сердечнымъ образомъ. Тутъ стрем-

<sup>1)</sup> См. „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“.

ленія нашихъ мистиковъ встрѣтились съ одинаковыми же стремленіями мистиковъ протестантскихъ, идущихъ и развивающихся непрерывнымъ рядомъ со временемъ знаменитаго Якова Бема. Но связь этого литературнаго мистицизма первой половины царствованія Александра (во второй его половинѣ, при другихъ обстоятельствахъ, появился правительственный мистицизмъ) съ нашимъ московскимъ масонствомъ XVIII вѣка была, однако, очевидна. Тогда жилъ еще знаменитый страдалецъ Новиковъ. Удрученный болѣзнями, онъ слѣдилъ за этимъ движеніемъ въ своемъ сельскомъ уединеніи, куда являлись на поклонъ болѣе молодые мистики. Въ этомъ движеніи принималъ участіе и товарищъ его—старикъ Лопухинъ. Въ мистической литературѣ дѣйствовали ихъ прямые ученики и воспитанники. Мы укажемъ главныхъ представителей и главныя черты этой мистической литературы.

## ЛЕКЦІЯ XXXV.

Масонство и мистицизмъ.—Новиковъ.

Масонство и мистицизмъ XVIII вѣка, съ Новиковымъ во главѣ, обремененное тайной и окруженное преслѣдованіями, долго въ сознаніи общества являлось чѣмъ-то неяснымъ, неопредѣленнымъ и до крайности отрывочнымъ; содержаніе этого движенія долго было неуловимо. Только въ недавнее время, изъ довольно многочисленныхъ изслѣдованій и документовъ, опубликованныхъ по дѣлу и дѣятельности Новикова и друзей его, выяснилось достаточнымъ образомъ это нравственно-общественное движеніе, въ которомъ сказалось такъ много различныхъ сторонъ времени, выяснились всѣ дурныя и хорошія стороны этого движенія, обусловливаемого, разумѣется, обстоятельствами. Въ особенности ясно выступила передъ нами въ масонствѣ XVIII вѣка цѣль филантропическая и педагогическая, служеніе общему благу, которое имѣли въ виду главные и самые энергическіе представители масонства и мистицизма—Новиковъ и Шварцъ, хотя, конечно, и эти цѣли и это служеніе они понимали одностороннимъ мистическимъ образомъ. Обстоятельства времени и бессмысліе правительства ввели нашихъ масоновъ, людей честныхъ и искреннихъ, но не глубокихъ, и легкомысленныхъ по своимъ увлеченіямъ, въ политическій процессъ и сдѣлали изъ нихъ напрасныя жертвы, приостановивъ внутреннее движеніе масонства и не позволивъ ему развиваться дальше. Это преслѣдованіе сдѣлало еще болѣе загадочнымъ для мысли масонское движеніе, которое выражало собою, ко-



нечно, одну изъ любопытѣйшихъ сторонъ состоянія нашего общества въ прошломъ вѣкѣ. Массонство обусловливалось у насъ не подражаніемъ, не модою, не увлеченіемъ личностью одного человѣка, хотя бы эта личность была и Новиковъ. Тутъ были болѣе глубокія общественныя причины. Конечно, главная причина появленія у насъ массонскихъ ученій заключалась въ той общей съ Европою духовной жизни, которою мы стали пользоваться болѣе сознательнымъ и глубокимъ образомъ въ концѣ XVIII вѣка. Самое явленіе массонства, въ основѣ котораго лежала идея личнаго дѣятельнаго нравственнаго совершенствованія, возникло въ самой Европѣ не ранѣе начала этого вѣка, богатаго вообще идеями, и очень скоро, въ первой его половинѣ, перешло уже и на нашу грубую и необработанную общественную почву: и у насъ, какъ и въ Европѣ, люди, конечно, лучшіе, стали искать въ массонскихъ ложахъ отвѣта на свои индивидуальныя нравственныя стремленія. Этотъ переходъ массонскихъ идей въ нашу жизнь доказываетъ уже значительное духовное общеніе наше съ Европою. Въ нравственныхъ, въ общественныхъ идеяхъ, которыми руководилось европейское массонство XVIII вѣка, господствовалъ тотъ же духъ деизма, гуманности и филантропіи, которымъ была проникнута вся литература того времени, только онъ получилъ въ массонскихъ ложахъ осязательное выраженіе въ различныхъ формулахъ и обрядахъ, говорившихъ фантазіи и сердцу, потому что массонство удовлетворяло болѣе всего этимъ сторонамъ человѣческаго существа. Очень скоро, однако, какъ во всякомъ человѣческомъ дѣлѣ, къ массонству, какъ выраженію чистаго нравственнаго стремленія, привились посторонніе факторы: подражаніе, мода, обманъ. Почвою самаго разнообразнаго движенія массонства сдѣлалась въ XVIII вѣкѣ особенно Германія, гдѣ для этого было много благопріятныхъ обстоятельствъ, и отсюда заимствовали мы и піетизмъ и мистицизмъ, и наконецъ различные бредни, которыми такъ богата была эта страна въ концѣ того вѣка, напр. дѣланіе золота, добываніе жизненнаго элексира и т. п., что проповѣдывалось, какъ чудеса вѣры въ безчисленныхъ тайныхъ сектахъ иллюминатовъ, розенкрейцеровъ, тамплиеровъ и т. п. Эти бредни, эта экзальтація были крайнимъ развитіемъ піетистической вѣры, которая въ своемъ увлеченіи могла видѣть чудеса въ природѣ. Это было, слѣдовательно, извращеніе религіознаго протестантскаго движенія, но не въ немъ заключалась главная сущность массонства. Кромѣ восторженныхъ піетистовъ въ общество шли и другіе люди, въ особенности, какъ мы увидимъ потомъ, у насъ въ XIX вѣкѣ, люди, недовольные официальною церковностью, ея неподвижностью и безжизненностью. Въ обществѣ

масоновъ было много людей дѣйствительно просвѣщенныхъ, которые искали въ немъ себѣ духовнаго удовлетворенія, не находя его въ дѣйствительности. Конечно, не стоитъ говорить о тѣхъ, которые искали въ ложахъ развлеченія, моды, веселыхъ собесѣдниковъ. Масса искала въ ложахъ какого-то высшаго знанія, которое давалось легко, безъ большихъ трудовъ и усилій, требуемыхъ дѣйствительною наукою. Здѣсь, для приобрѣтенія этого высшаго знанія, которымъ отрывалось все,—стоило только исполнить нѣкоторыя обрядности въ ложахъ.

Нѣмецкое масонство, сказали мы, перешло къ намъ въ концѣ XVIII вѣка. Лучшие люди нашего общества того времени, искавшие и желавшіе развитія, должны были невольно увлечься идеями, до которыхъ дошла Европа, тѣмъ болѣе, что въ тогдашнихъ условіяхъ, при слабости научнаго образованія, при ничтожности нашей самостоятельной литературы, это увлеченіе было легко. Общественная русская жизнь въ XVIII вѣкѣ представляла такъ много мрачныхъ, возмущающихъ душу явленій, что они невольно вызывали на протестъ. Самостоятельнымъ образомъ, законными и естественными средствами бороться съ ними, при недостаткѣ умственныхъ и нравственныхъ силъ въ обществѣ, было невозможно, и вотъ лучшие люди наши ухватились за масонское движеніе Германіи, видя въ немъ якорь спасенія. Бороться противъ этого наплыва чужихъ идей, весьма темныхъ, туманныхъ, дивихъ и фантастическихъ, были тогда не въ состояніи у насъ даже такія энергическія личности, какъ Новиковъ, потому что у нихъ недоставало образованія и науки, спасающихъ вообще отъ такого рода увлеченій. У насъ, къ тому же, было просвѣщеніе призрачное, а не настоящее, не допускавшее самостоятельной умственной работы; недостатокъ знанія и логики естественно влекъ, такимъ образомъ, нашихъ лучшихъ людей къ печальному явленію масонства, къ дикой фантастикѣ мистицизма, которыми даже въ кружкѣ Новикова доходили до крайней нелѣпости. Все нелѣпое нѣмецкихъ ложъ было имъ усвоено почти цѣликомъ. Новиковъ и друзья его увлеклись самымъ дикимъ толкомъ нѣмецкаго масонства—розенкрейцерствомъ, или какъ у насъ переводили тогда—„златорозоваго креста“. Увлеченіе этихъ лучшихъ нашихъ людей того времени крайними нелѣпостями—представляется въ исторіи нашего духовнаго развитія прошлаго вѣка чрезвычайно печальнымъ явленіемъ: оно свидѣтельствуетъ, что въ обществѣ нашемъ были и жизнь и стремленія, но лишенные всякаго основанія, всякаго сознанія, и люди бросались въ туманъ, не имѣя руководительной идеи. Удивительное дѣтство и легкомысліе этихъ людей, при множествѣ хорошихъ другихъ сторонъ,—свидѣтельствуетъ только о

слабости нашего умственного развитія. Умъ молчалъ въ нихъ, но это забвеніе и неразвитость мысли искупались другими дѣйствительно благородными сторонами нашего масонства. Кружокъ Новикова представлялъ лучшихъ по нравственному развитію, искреннеубѣжденныхъ людей: для нихъ служеніе общественному благу было не пустою фразою и филантропическія цѣли ихъ, вытекавшія изъ братской любви къ людямъ, заставляютъ невольно смотрѣть сквозь пальцы на ихъ умственные заблужденія. Тутъ были они вполне безпомощны; Новиковъ самъ говорилъ, что не имѣя точки опоры, онъ неожиданно попалъ въ масонское общество. Онъ искалъ въ немъ, подобно нѣкоторымъ другимъ, нравственного совершенствованія, о которомъ такъ много говорили масонскія ложи на своемъ вычурномъ языкѣ. Это исканіе нравственного совершенствованія составляло завѣтную думу Новикова, оно выразилось въ его волненіяхъ, въ его безпрестанныхъ колебаніяхъ, въ переходѣ отъ одной системы къ другой, пока онъ не успокоился на дикомъ розенкрейцерствѣ, въ составъ упражненій котораго входили и алхимія и каббалистика. Понятно, что съ такимъ жалкимъ духовнымъ запасомъ, наше масонство прошлаго вѣка было почти безплодно для общественнаго развитія, оно не давало обществу никакого здороваго содержанія; оно было совершенно безсильно, при рѣшеніи вопросовъ о религіи, о нравственности, объ общественной жизни. Въ особенности печально было это явленіе масонства и мистицизма по отношенію къ наукѣ, которая едва только зарождалась тогда въ нашей жизни. Естественно, что мистицизмъ долженъ былъ бояться здоровой научной критики, потому что разлетался въ прахъ при первомъ соприкосновеніи съ нею, но эту боязнь онъ замѣнялъ высокомернымъ отношеніемъ къ наукѣ, презрѣніемъ къ ней, старался выставить всю ея недостаточность для познанія истины. Между людьми съ сколько-нибудь строгимъ научнымъ образованіемъ мистицизмъ не могъ найти сочувствія. Онъ распространялся, подобно суевѣрію, въ той средѣ, гдѣ умъ уступаетъ воображенію, между людьми, не знакомыми съ наукою, и это главнымъ образомъ обуславливало успѣхъ масонства и мистицизма въ русскомъ обществѣ XVIII вѣка. Этотъ кругъ идей, въ родѣ популярной философіи, удовлетворялъ вполне людей съ незавиднымъ образованіемъ. Его гораздо легче было заимствовать изъ Европы, чѣмъ другія, болѣе строгія, научныя явленія; послѣднія были тогда не по плечу нашему обществу. Главное содержаніе въ этомъ заимствованномъ кругу идей составлялъ пѣтизмъ, но у Новикова онъ не могъ быть ни смѣлымъ, ни послѣдовательнымъ, какъ у нѣмецкихъ пѣтистовъ, опиравшихся на протестантизмъ; ему хотѣлось только болѣе разумнаго или, скорѣе, болѣе сердечнаго пониманія православнаго ученія, хотѣлось болѣе

простора, самостоятельности, поменьше официальнаго отношенія къ церкви, однимъ словомъ — самодѣтельности. Но въ этомъ мистицизмѣ, къ сожалѣнію, очень часто сказывалось недовѣріе къ наукѣ и даже враждебное отношеніе къ ней.

Была, однакожъ, въ масонствѣ и мистицизмѣ прошлаго вѣка одна сторона, по которой они занимаютъ въ исторіи нашего общественнаго развитія почетное мѣсто. Въ нихъ мы видимъ первыя попытки общественной самодѣтельности, желаніе служить нравственнымъ интересамъ общества свободно, безъ вызова, безъ правительственной указки, по одному внутреннему убѣжденію въ пользѣ дѣла. Въ Новиковѣ и друзьяхъ его присутствовала дѣятельная любовь къ человечеству, и въ этомъ отношеніи эти натуры были чистыя натуры, рѣзко выдѣлявшіяся на общемъ мрачномъ фонѣ грубой жизни, гдѣ царили чувственность, своекорыстіе и презрѣніе къ людямъ. За эту нравственную, чистую сторону можно простить нашимъ мистикамъ и масонамъ разныя вздорныя бредни ихъ и увлеченія.

Въ своихъ двухъ главныхъ проявленіяхъ, въ мистицизмѣ и нравственно-общественной иниціативѣ, масонство у насъ было заимствовано, какъ уже сказано выше, съ Запада. Мистицизмъ былъ стариннымъ явленіемъ христіанской жизни Европы. Онъ вытекалъ изъ религіознаго чувства, недовольнаго положительною религіею, и проповѣдывалъ чудесное соединеніе съ Богомъ, безъ всякаго участія разсудочной дѣятельности, — однимъ чувствомъ и экстазомъ. Естественно, что мистицизмъ, въ этихъ стремленіяхъ своихъ, постоянно твердилъ о тщетѣ и недостаточности человѣческаго разума. Онъ увлекался и до галлюцинацій и до фанатическаго преслѣдованія науки, до обскурантизма, какъ это всегда бываетъ съ разсужденіями, основанными только на чувствѣ. Но мистицизмъ гораздо понятнѣе и увлекательнѣе для неразвитыхъ массъ всякаго сколько-нибудь раціональнаго отношенія къ предмету, и это способствовало его обширному распространенію и существованію чрезвычайно плодотворной мистической литературы, явленія которой идутъ до нашего времени. Она не признаетъ раціональной науки, нападаетъ на нее, считаетъ ее вредною и опасною. Это направленіе, къ сожалѣнію, было усвоено и нашими мистиками и по преемственности мистической литературы породило у насъ, во второй половинѣ царствованія Александра, когда мистицизмъ проникъ въ правительственныя сферы и сдѣлался такъ сказать официальнымъ, — весьма печальныя явленія. Таковы были дѣйствія Магницкаго.

Хотя главнымъ представителемъ мистицизма для нашихъ масоновъ былъ французскій мистикъ Сень-Мартень, имѣвшій много личныхъ знакомыхъ и адептовъ между членами высшей русской ари-

стократіи <sup>1)</sup>, масоны наши увлекались и мистицизмом нѣмецкаго розенкрейцерства. Это было общество, возникшее въ Германіи въ началѣ XVIII вѣка, въ противоположность школьному протестантскому богословію, желавшее основываться только на словахъ Писанія и хлопотавшее о преобразованіи общества на христіанскихъ началахъ, объ усовершенствованіи человѣчества и объ улучшеніи всѣхъ общественныхъ отношеній. Впослѣдствіи это общество, въ которомъ сначала господствовалъ чистый кальвинистскій мистицизмъ, вслѣдствіе разнообразныхъ условій нѣмецкой исторіи, дошло до величайшихъ недѣльностей, стало принимать участіе въ іезуитскихъ проискахъ и играть политическую роль. Новиковъ, увлеченный Шварцемъ, думалъ черпать въ этомъ мутномъ источникѣ, конечно, не будучи знакомъ со всею его грязью.

Не говоря о ложахъ, дѣйствіе которыхъ на общество совершалось болѣе внѣшнимъ образомъ, при инициативѣ Новикова и его кружка возникла у насъ обширная литература для распространенія масонскихъ идей въ обществѣ, для приготовленія его къ тайнамъ масонства. Правда, дѣйствіе этой литературы было насильственно остановлено, но она, съ нѣскольکو измѣненнымъ характеромъ, продолжалась во все время царствованія Александра. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ этой литературы, вызывателемъ ея является Новиковъ. Масонскія убѣжденія пришли къ нему совершенно естественно. Человѣкъ этотъ, безъ сколько-нибудь серьезнаго образованія, не зная даже иностранныхъ языковъ, выступилъ въ очень молодыхъ еще годахъ сатирическимъ журналистомъ и, возмущенный многими явленіями русской общественной жизни, обличалъ ихъ съ энергіею и страстію. Недовольный жалкимъ состояніемъ русскаго просвѣщенія того времени, онъ требовалъ отъ русской литературы гораздо больше, чѣмъ всѣ современники. Вспомнимъ, что онъ первый заговорилъ съ настоящей точки зрѣнія о крѣпостномъ вопросѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, тогда же въ его журналѣ высказывалось и недовольство наукою вообще съ ея „физическими доказательствами“, и вражда къ французской просвѣтительной философіи того вѣка, и недовѣріе къ духовнымъ учителямъ, т.-е. къ священникамъ официальной церкви. Всѣ эти убѣжденія его выходили изъ глубины сердца, и онъ былъ преданъ имъ всею душою. Недовольный современной наукою, въ которой онъ видѣлъ только грубый матеріализмъ, Новиковъ искалъ религіозно-нравственнаго идеала. Этотъ идеалъ представился ему въ масонствѣ, облеченномъ тайною,

---

<sup>1)</sup> Сочиненіе Сень-Мартеня „О заблужденіяхъ и истинѣ“ было напечатано у насъ въ переводѣ въ 1785 г.

разукрашенномъ восторженными описаніями друзей его, бывавшихъ и въ русскихъ и въ заграничныхъ ложахъ. Относиться критически къ масонству и даже къ увлеченіямъ розенкрейцерства Новиковъ не могъ по недостатку своего образованія и сдѣлался масономъ, потому что масонство вполне удовлетворяло его и въ религіозномъ отношеніи своимъ мистицизмомъ, и въ научномъ, открывая ему легкій доступъ къ самымъ таинственнымъ и казавшимся столь глубокими знаніямъ, и въ политическомъ, такъ какъ масонство примирялось со всѣми государственными формами, а Новиковъ былъ слишкомъ вѣрно-подданный, чтобъ примириться съ такою системою идей, которая отрицала существующій у насъ порядокъ вещей. Такова была исторія и всѣхъ нашихъ мистиковъ и масоновъ, друзей Новикова, ихъ учениковъ и послѣдователей.

Мистицизмъ ихъ, однако, не доходилъ до тѣхъ крайнихъ предѣловъ, до которыхъ доходило розенкрейцерство въ Германіи. Наши мистики не думали о дѣланіи золота, не искали философскаго камня, не бредили алхиміей. Можетъ быть, это потому, что они не были посвящены въ такъ называемые „высшіе градусы“, но, кажется, все ихъ направленіе было чуждо этихъ увлеченій. Главная дѣятельность Новикова и друзей его была литературная; для нея образовывали они „Дружеское типографское общество“ и ею думали они приготовить публику къ пониманію масонскихъ идей и распространить ихъ. Такъ возникла наша обширная мистико-масонская литература, существовавшая и въ XIX вѣкѣ. Надобно сказать вообще объ этой литературной дѣятельности, что въ ней было весьма мало самостоятельнаго и что она отличалась эклектическимъ характеромъ. Кромѣ сочиненій общаго содержанія, которыя естественно выходили изъ типографіи Новикова, какъ изъ всякой другой, онъ печаталъ книги по христіанской философіи и по аскетизму и въ особенности много чисто мистическихъ книгъ и съ христіанскимъ и съ не-христіанскимъ содержаніемъ, такъ какъ масоны всякую древнюю отдаленную мудрость старались представить какою то откровеніемъ свыше. Разумѣется, что главное мѣсто въ этой мистической библіотекѣ занимали сочиненія знаменитыхъ протестантскихъ мистиковъ Арндта, Я. Бема, Таулера и др., въ особенности Бема, сочиненія котораго были давно переведены у насъ и обращались въ рукописи въ масонскихъ кругахъ. Они же были оракуломъ и для мистиковъ Александровскаго времени. Собственно масонскія сочиненія, напечатанныя Новиковымъ, тоже были эклектическаго содержанія и тоже всѣ почти переводныя. Они говорили намеками, неопредѣленно, языкомъ туманнымъ, не открывали всей тайны масонства, а какъ бы давали предчув-

ствовать ее тому, для которого она вполне раскроется въ ложахъ. Наконецъ въ этой масонской литературѣ принадлежало также много сочиненій, написанныхъ розенкрейцерами и трактовавшихъ объ алхиміи, съ самымъ фантастическимъ и нелѣпымъ содержаніемъ. Оригинальныхъ русскихъ масонскихъ сочиненій было очень мало, и всѣ они не выдерживаютъ никакого сравненія съ переводными, — ясно, что явленіе у насъ масонства было скорѣе случайно, чѣмъ коренилось въ дѣйствительныхъ потребностяхъ русскаго общества. Вся эта литература доказываетъ, что понятія нашего масонства были чрезвычайно смутны и скорѣе походили на мистическую теософію въ общемъ своемъ составѣ. Новиковъ самъ думалъ, что посредствомъ масонства онъ достигнетъ лучшаго пониманія Бога и христіанства; онъ былъ глубоко-религіозный человѣкъ, но лишенный образованія и науки.

Лучшею стороною нашего масонства прошлаго вѣка было, конечно, то, что перешло къ нимъ отъ англійскихъ масоновъ: идеи естественной религіи и братская любовь къ человѣчеству — филантропія. Въ этомъ масонствѣ воспитывались уваженіе ко всѣмъ вѣроисповѣданіямъ и космополитическое чувство. Филантропія нашла свое примѣненіе у московскихъ масоновъ въ разныхъ человелюбивыхъ заведеніяхъ, основанныхъ Новиковымъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, въ воспитаніи молодыхъ людей, которымъ масоны давали всѣ средства, и въ обширномъ благотвореніи неимущимъ. Всѣ старые масоны отличались нищелюбіемъ. Походяшинъ роздалъ почти все свое имѣніе на помощь народу во время голода, Лопухинъ прожилъ свое на нищихъ. Въ масонствѣ воспитывалась нравственная человѣческая личность, а это было важнымъ приобритеніемъ для тогдашняго русскаго общества, которое нигдѣ на практикѣ не встрѣчало глубокихъ нравственныхъ понятій. Къ сожалѣнію, мистическій элементъ преобладалъ въ масонствѣ и затемнялъ то немногое въ немъ, что было сдѣлано въ нравственно-человѣческомъ направленіи.

Нельзя отрицать, такимъ образомъ, того, что русское масонство имѣло нравственное вліяніе на общество. Наша русская жизнь въ XVIII вѣкѣ была крайне бѣдна въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, не говоря уже о сторонѣ политической. Наука и литература занимали немногихъ и были ничтожны по своему содержанію и вліянію на общество. Внѣшность, стремленіе къ грубымъ чувственнымъ удовольствіямъ, матеріализмъ, рядомъ съ внѣшнею обрядностью церкви — вотъ чѣмъ жило наше общество. Въ такомъ обществѣ и масонскіе идеалы, при всей своей неопредѣлен-

ности и неясности, были уже значительнымъ успѣхомъ; сравнительно съ грубымъ содержаніемъ общества, они были и широки и прогрессивны. Кромѣ того въ нашемъ масонствѣ проявилась, какъ мы сказали, общественная самодѣятельность, индивидуальная свобода мысли и проявилась въ первый разъ, хотя это проявленіе и шло рядомъ съ проповѣдью обскурантизма. Вотъ въ чемъ историческое значеніе нашего масонства прошлаго вѣка.

Дальнѣйшее развитіе нашего масонства въ XVIII вѣкѣ, очевидно, невозможное и по самому ходу общественнаго развитія, которое вскорѣ уже не могла удовлетворить эта туманная и неопредѣленная форма, было однако приостановлено насильственно дѣйствіями правительства, вслѣдствіе различныхъ, вовсе неосновательныхъ опасеній его. Два враждебныя начала встрѣтились здѣсь лицомъ къ лицу: начало авторитета и государственной опеки, и начало общественной инициативы; первая давно уже, и въ особенности въ царствованіе Екатерины, все брада на себя и не могла терпѣть рядомъ съ собою свободы и простора выбора со стороны общества. Рядомъ съ правительствомъ, въ масонствѣ возникла свободная нравственная сила, гдѣ главнымъ двигателемъ былъ Новиковъ; его изданія выражали образъ мыслей, появившійся совершенно независимо отъ инициативы правительства, и Екатерина, конечно, не могла помириться съ этимъ. Съ другой стороны и масса неразвитого русскаго общества смотрѣла съ недовѣріемъ и подозрительностію на возникшее въ средѣ его явленіе, видѣла въ немъ что то вредное и опасное. Въ угоду этимъ общественнымъ толкамъ и по противоположности своего внутренняго развитія, Екатерина давно преслѣдовала масонство и сатирическими сочиненіями и комедіями. Этотъ литературный способъ борьбы былъ единственно справедливъ. Но европейскія тайныя общества, къ которымъ передъ революціей примѣшались политическіе элементы, и разнообразныя обвиненія противъ нихъ обскурантовъ въ литературѣ—увеличили подозрѣніе и нелюбовь Екатерины къ русскимъ масонамъ, и она сочла ихъ якобинцами. Началось преслѣдованіемъ и запрещеніемъ масонскихъ книгъ, кончилось ссылками, допросами и тюрьмами для главныхъ представителей масонства. На Новикова преимущественно обрушилось гоненіе, именно потому, что онъ главнымъ образомъ развилъ общественный характеръ масонства, онъ способствовалъ нравственному пробужденію общества и вызывалъ всю филантропическую и образовательную дѣятельность кружка. Кружокъ масоновъ, конечно, рѣзко выделялся изъ всего общества своими особенностями. Всѣ они считались „братями“, несмотря на различіе своего общественнаго положе-



ніа,—а это нарушало укоренившіяся въ обществѣ понятія. Всѣ масоны были болѣе или менѣе оригиналами, и на глаза, привыкшіе къ обыкновеннымъ общественнымъ типамъ, должны были казаться чрезвычайно странными, тѣмъ болѣе, что образомъ жизни и мыслей своихъ они выражали твердое убѣжденіе, а его въ массѣ не было. Не правилось обществу также и вліяніе масонства на молодое поколѣніе, что масоны считали необходимымъ для пропаганды своихъ идей. Все это увеличивало къ нимъ непріязнь общества. Началось революціонное движеніе во Франціи, и близорукіе современники сваливали всю вину его на личности. Такъ возникло нелѣпое подозрѣніе невинныхъ масоновъ въ революціонныхъ замыслахъ, началось, по выраженію Лопухина, „сраженіе съ тѣнью“, кончившееся пораженіемъ и страданіемъ слабыхъ.

## ЛЕКЦІЯ XXXVI.

Мистическая литература при Александрѣ I.—Судьба старыхъ масоновъ.—Лопухинъ.—Его «Разсужденіе о злоупотребленіи разума». — Записки Лопухина. — Защита духоборцевъ.

Памятникомъ русскаго масонства въ XVIII вѣкѣ осталась для потомства обширная мистическая и масонская литература, стоившая много трудовъ, много усилій, которые могли быть употреблены съ гораздо большею пользою. Въ этой массѣ произведеній съ самымъ дикимъ и нелѣпымъ содержаніемъ, писанныхъ тяжелымъ неконятымъ языкомъ, похоронено много стремленій честныхъ, благородныхъ людей, не находившихъ, къ несчастію, въ тогдашней русской жизни лучшей, болѣе полезной для общества дѣятельности. Едва ли есть какая-нибудь возможность въ настоящее время читать всѣ эти масонскія и мистическія книги; во всей этой массѣ произведеній только съ величайшимъ трудомъ можно выслѣдить общую первоначальную мысль масонства: такъ много постороннихъ наростовъ появилось на ней. Но литература эта, съ своимъ страннымъ содержаніемъ, находила, однако, читателей, ея произведенія покупались. Послѣ нѣсколькихъ годовъ преслѣдованія, она возродилась снова въ царствованіе Александра, правда, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, но въ столь же многочисленныхъ произведеніяхъ, какъ и прежде и также не самостоятельныхъ, а по большей части переводныхъ. На эту мистическую литературу и ея представителей при Александрѣ мы обратимъ теперь вниманіе.

Послѣ Екатерининскаго преслѣдованія наше масонство замолкло на нѣсколько лѣтъ. При Павлѣ, хотя онъ освободилъ изъ крѣпости Новикова, и многіе прежніе масоны получили при немъ важныя мѣста въ служебной іерархіи, время было вообще неблагопріятно для возстановленія дѣятельности ложъ, тѣмъ болѣе, что вмѣсто масонскаго ордена, новый Императоръ покровительствовалъ ордену мальтійскихъ рыцарей, который изъ политическихъ видовъ выбралъ его гротъ-мейстеромъ. Естественно было, что съ воцареніемъ Александра, любившаго свободу, отличавшагося мягкостію характера и нечуждымъ на первыхъ порахъ всякое преслѣдованіе, масонскія ложи должны были открыться и выказать свою дѣятельность. Открытію ложъ и ихъ дѣятельности способствовало то обстоятельство, что многіе старые московскіе масоны были въ живыхъ; вокругъ нихъ, какъ около учителей, группировалось нѣсколько болѣе молодыхъ учениковъ ихъ, приготовленныхъ ими прежде для специальныхъ цѣлей масонства, было много и другихъ разрозненныхъ членовъ прежнихъ ложъ. Подъ вліяніемъ обстоятельствъ времени и новаго общественнаго развитія, старыя преданія, конечно, должны были ослабѣть или измѣниться, тѣмъ болѣе, что старые масоны почти не участвовали въ новыхъ ложахъ. Въ нихъ мы не видимъ ни Новикова, ни Гамалѣи, ни Лопухина, ни Поздѣева, ни Карпѣева и др., не смотря на то, что эти лица пользовались большимъ авторитетомъ и глубокимъ уваженіемъ между братьями новыхъ ложъ; этотъ авторитетъ поддерживался главнымъ образомъ письмами и личными бесѣдами. Въ началѣ царствованія Александра не было дано официального разрѣшенія на открытіе масонскихъ ложъ, но тѣмъ не менѣе онѣ скоро возникли и существовали сначала тайно. Говорятъ, что при вступленіи на престолъ Александръ возобновилъ указъ Павла противъ масонскихъ ложъ, но въ 1803 году самъ сдѣлался масономъ, подъ вліяніемъ убѣжденій стараго масона Бебера. Это обстоятельство должно было дать свободное движеніе масонскимъ лохамъ и, дѣйствительно, вскорѣ начали возобновляться старыя ложи и основываться новыя. Исторія этихъ ложъ еще неполнѣе извѣстна. Официальное разрѣшеніе ложъ послѣдовало только въ 1810 году, когда онѣ сдѣлались извѣстными министру полиціи, а до тѣхъ поръ на нихъ смотрѣли сквозъ пальцы. Почти всѣ сколько нибудь выдающіяся личности царствованія Александра были тогда членами ложъ, но о внутреннемъ содержаніи ихъ дѣятельности мы мало имѣемъ свѣдѣній. Одно только можно сказать, что характеръ масонства измѣнился. Въ немъ было гораздо меньше того пустого розенкрейцерскаго суевѣрія, которое занимало простыхъ московскихъ масоновъ, но попрежнему въ ложахъ господствовали чужія вліянія, теперь новыя нѣмецкія, и эти вліянія отра-

зились въ возникшей тогда между учениками старыхъ масоновъ религиозно-мистической литературѣ, проповѣдывавшей обществу вмѣсто розенкрейцерства—пѣтизмъ и аскетизмъ.

Взглянемъ сначала на судьбу прежнихъ масоновъ, доживавшихъ свой вѣкъ, но оказывавшихъ замѣтное вліяніе на новыя движенія. Освобожденный изъ крѣпости Павломъ въ 1797 году, Новиковъ, съ разстроеннымъ отъ заключенія здоровьемъ, все остальное время до самой смерти своей въ 1818 году провелъ подъ Москвою въ небольшомъ имѣніи своемъ Бронницкаго уѣзда въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ процессъ и потомъ тюрьма прервали весь ходъ его предпріятій и запутали всѣ дѣла. Старое масонство походило нѣсколько на секту, гдѣ члены были связаны между собою искреннею, почти родственною любовью. Въ домѣ своемъ Новиковъ пріютилъ стараго друга своего, масона С. И. Гамалѣю (1743—1822), малороссіянина, воспитанника Кіевской духовной академіи, человѣка глубоко-религіознаго, честнаго и безкорыстнаго, получившаго за свои душевныя качества прозваніе „Божьяго человѣка“. Гамалѣя очень много переводилъ изъ мистической литературы и часть его переводовъ была напечатана Новиковымъ; но большая часть осталась въ рукописи. Вмѣстѣ съ нимъ у Новикова жила вдова его друга Шварца, такъ какъ у нея не было другихъ средствъ къ существованію. Образъ жизни Новикова и его занятія въ этотъ послѣдній періодъ ея довольно подробно описаны въ книгѣ Лонгинова.<sup>1)</sup> Повидимому, знаменитый вождь стараго масонства былъ преданъ тогда исключительно набожности и благотворительности. Онъ не принималъ уже участія въ новомъ движеніи масонскихъ ложъ и въ мистической литературѣ того времени. Тогда не вышло ни одного его сочиненія въ печать, но онъ писалъ очень много и велъ обширную переписку, изъ которой опубликована весьма незначительная и незамѣчательная часть; всѣ прочія рукописи, по словамъ Лонгинова, неизвѣстно куда дѣвались. Думалъ онъ было въ 1805 году снова взять на откупъ университетскую типографію и начинать дѣло, но оно почему-то не состоялось. Въ 1812 году онъ опять было сдѣлался подозрительнымъ въ глазахъ Растопчина, потому что по челоуѣколюбію не различалъ среди раненыхъ и больныхъ—своихъ отъ враговъ. Посѣщали его нѣкоторые друзья и сотрудники по прежней его дѣятельности; посѣщали и нѣкоторые ученики его, напр. Карамзинъ, къ которому остались два очень замѣчательныя письма Новикова, рисующія ихъ прежнія отношенія, но вообще о связяхъ Новикова и о его дѣятельности въ продолженіе болѣе, чѣмъ двадцати послѣд-

<sup>1)</sup> Новиковъ и московскіе мартинисты. М. 1867.

нихъ лѣтъ его жизни, мы знаемъ очень мало. Онъ умеръ въ глубокомъ уединеніи.

Гораздо больше свѣдѣній за это время мы имѣемъ о другомъ вождѣ масоновъ прошлаго вѣка, — Лопухинѣ, благодаря тому, что, служа при Александрѣ сенаторомъ, онъ входилъ въ сношенія съ разными лицами и оставилъ намъ довольно любопытныя „Записки“ о своей дѣятельности масонской и служебной, которыя могутъ служить матеріаломъ для опредѣленія нравственнаго вліянія масонства на тогдашнихъ людей. Лопухинъ былъ годами тринадцатю моложе Новикова. Онъ родился въ Москвѣ въ 1756 году, принадлежалъ къ знатной и богатой фамилии, родственной по женѣ Петру I. Его первоначальное домашнее воспитаніе и образованіе по его собственному разсказу, было крайне недостаточно. „Русской грамотѣ училъ меня домашній слуга. По-французски училъ Савояръ, незнавшій совсѣмъ правилъ языка. По-нѣмецки Берлинецъ, который ненавидѣлъ языка нѣмецкаго и всячески старался сдѣлать мнѣ его противнымъ, а хвасталъ французскимъ, и сколько умѣлъ, училъ меня ему тихонько, пользуясь охотою моею къ чтенію. Нѣмецкія же книги держали мы на учебномъ столѣ моемъ для одного виду“. Этому языку онъ выучился уже послѣ „отъ сильнаго желанія читать духовныя книги“. Съ такимъ плохимъ образованіемъ Лопухинъ поступилъ на 17-мъ году въ военную службу, къ которой приготавливалъ его отецъ, старшій служака. Онъ разсказываетъ, что здоровье его было вообще очень слабо, что ему часто приходилось быть больнымъ, и онъ пользовался этимъ временемъ болѣзни для чтенія. Такимъ образомъ всѣ познанія Лопухина, до поступленія въ масоны, были ничтожны. Приобрѣтались случайно, самоучкою, и мы не видимъ на немъ никакого сколько-нибудь сильнаго духовнаго вліянія. Въ началѣ 1782 года, когда масонская дѣятельность Новикова уже получила развитіе, Лопухинъ вышелъ въ отставку полковникомъ и пріѣхалъ въ Москву на житье. Безъ сомнѣнія, до этого времени встрѣчался онъ съ Новиковымъ и другими масонами; по крайней мѣрѣ, по его разсказу, еще въ 1780 году съ нимъ совершился умственный и нравственный переворотъ, и онъ сталъ вдругъ писателемъ. По разсказу Лопухина, до того времени онъ былъ вольнодумцемъ, т.-е. раздѣлялъ и еи французской философіи прошлаго вѣка, читалъ Вольтера, Руссо и пр. и даже перевелъ изъ извѣстной тогда книги *Système de la Nature*, въ которой проповѣдывался матеріализмъ, „Уставъ Натуры“, а такъ какъ по цензурнымъ отношеніямъ его напечатать было нельзя, то онъ рѣшился раздавать его въ рукописи знакомымъ. Когда онъ сѣлъ для этого переписывать рукопись, имъ овладѣло, по его собственному наивному признанію, сильное раскаяніе. Рукопись свою

онъ сжегъ и въ очищеніе совѣсти написалъ опроверженіе того, что такъ недавно ему нравилось. Это небольшое его „Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями, и опроверженіе ихъ вредныхъ правилъ, и чтущимъ Бога и любящимъ добродѣтель усердно посвящаемое“ напечатано въ 1780 году. Содержаніе его видно изъ самого заглавія. Хотя Лопухинъ и не называетъ именъ тѣхъ писателей, на которыхъ нападаетъ, но ясно, что это представители свободной философіи того вѣка, которые „разумъ свой содѣлываютъ орудіемъ погубленія людей“. Разсужденіе Лопухина похоже на дѣтское риторическое упражненіе; онъ опирается на одно нравственное чувство и старается доказать бытіе Бога и безсмертіе души, опровергаемая авторомъ *Système de la Nature*. Эта точка зрѣнія Лопухина была совершенно масонская, и дѣйствительно, черезъ два года онъ сдѣлался масономъ. На образъ мыслей его имѣли большое вліяніе двѣ, весьма уважаемыя масонами книги: Сентъ-Мартеня „О заблужденіяхъ и истинѣ“ и Арндта „О истинномъ христіанствѣ“. Съ этихъ поръ Лопухинъ полюбилъ чтеніе духовныхъ книгъ, удовлетворявшихъ его религіозной потребности и приготовившихъ его къ масонству. Вскорѣ онъ вступилъ въ масонское общество и сдѣлался однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ его, но на дѣло масоновъ и мартинистовъ смотрѣлъ, повидимому, только съ религіозной стороны. „Цѣль сего общества, говоритъ онъ въ „Запискахъ“<sup>1)</sup>, была издавать книги духовныя и наставляющія въ нравственности истинно евангельской, переводя глубочайшихъ о семъ писателей на иностранныхъ языкахъ, и содѣйствовать хорошему воспитанію, помогая особливо готовящимся на проповѣдь слова Божія чрезъ удобнѣйшія средства приобрѣтать знанія и качества, нужныя къ оному званію, для чего и воспитывались у насъ больше 50 семинаристовъ, которые отданы были отъ самихъ епархіальныхъ архіереевъ съ великою признательностію“. Все дѣло масоновъ, по его словамъ, было „упраженіе въ познаніи самого себя, творенія и Творца, по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ премудрости (VII, 17—22), науки, содержащейся въ библии, и писаніяхъ мужей, непосредственнымъ откровеніемъ просвѣщенныхъ отъ Бога, открывающей начало всѣхъ вещей, безъ познанія коихъ никогда *натура вещей* истинно извѣстна быть не можетъ“. Наука эта, какъ видите, всеобъемлющая, дается откровеніемъ, т.-е. чувствомъ, сер-

<sup>1)</sup> Записки нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни и службы д. т. сов. сенатора И. В. Лопухина, сочиненныя имъ самимъ. М. 1860. Изъ II и III книжекъ Чтеній въ Общ. ист. и древн., стр. 15.

Другое изданіе, съ предисловіемъ А. Герцена, въ Лондонѣ 1860 г.

цемъ. Изъ его объясненій и признаній видно, что масонство имѣло для него религіозно-нравственный характеръ, и Лопухинъ не увлекался тѣми алхимическими бреднями розенкрейцеровъ, которыя излагались во множествѣ масонскихъ книгъ. Онъ удивляется, какъ мало даже самые разумные люди занимаются тѣмъ, что необходимо нужно для ихъ вѣчнаго благополучія и для истиннаго блага въ здѣшней жизни. Это необходимое есть духъ Христовъ, духъ чистой любви къ Богу и ближнему, источникъ настоящей добродѣтели. „Въ школахъ и на каеэдрахъ твердятъ, говоритъ Лопухинъ: люби Бога, люби ближняго, но не воспитываютъ той натуры, коей любовь сія свойственна, какъ бы разслабленнаго больного, не выдѣлывъ и не укрѣпивъ, заставляли ходить и работать“. Человеку нужно переродиться нравственно, и это перерожденіе достигалось въ масонствѣ. „Тогда евангельская нравственность будетъ ему возможна и природна. тогда онъ будетъ любовію къ Богу любить ближняго“. Что слова эти о любви къ ближнему не были для Лопухина ничего не значащими фразами, а вошли въ содержаніе всей его жизни, сдѣлались твердыми убѣжденіями его ума, свидѣлствуютъ многія стороны его жизни. Въ томъ же 1782 году, когда Лопухинъ вступилъ въ общество масоновъ, онъ сдѣлался совѣтникомъ Московской уголовной палаты, а въ 1784 году председателемъ ея. Стоитъ только вспомнить общую грубость и жестокость нравовъ того времени, то презрѣніе къ человѣчеству, которымъ было проникнуто тогда общество, чтобъ убѣдиться, сколько человекъ съ нравственно-чистыми взглядами и христіанскою любовью къ ближнему, какую высказывалъ Лопухинъ, могъ сдѣлать добра людямъ по мѣсту своего служенія. „Въ должности сей принялъ я за правило наблюдать, говоритъ онъ, чтобъ какъ невинной не былъ никогда осужденъ, такъ бы и виноватой не избѣжалъ наказанія, но по человѣколюбію сколько можно больше умѣреннаго, не удаляясь, однакожъ, отъ силы законовъ“. Лопухинъ считалъ цѣлью наказанія—исправленіе преступника. Онъ возставалъ противъ жестокости въ наказаніяхъ, которую называлъ „плодомъ злобнаго презрѣнія къ человѣчеству“ и „безполезнымъ тиранствомъ“. Лопухинъ былъ, конечно, самый гуманный судья въ тотъ желѣзный вѣкъ; это человѣколюбіе было въ немъ воспитано не „Наказомъ“ Екатерины, а масонскими книгами; съ ихъ помощью ему легче было понять нравственное ученіе христіанства. У Лопухина это была единственная точка зрѣнія. Въ ту пору, въ уголовной палатѣ, очень часто шла рѣчь о количествѣ ударовъ кнутомъ преступнику, и Лопухинъ всегда стоялъ за меньшее число ихъ и входилъ по этому въ споры съ своими сослуживцами и московскими

генераль-губернаторами, смотрѣвшими на такую мягкость, какъ на нарушение строгости законовъ. Надобно думать, что сила убѣжденія и искренность чувства не разъ давали перевѣсъ словамъ и доводамъ Лопухина, о чемъ онъ и самъ говоритъ. Свой взглядъ на человѣколюбиваго судью Лопухинъ высказалъ въ слѣдующихъ словахъ: „Какъ странно видѣть, когда люди напрягаютъ всѣ силы свои, чтобъ найти виноватаго, для того только, чтобъ его наказать, и безъ совершеннаго увѣренія въ его винѣ, спѣшать осудить его, и сіе часто изъ мнимаго правосудія и усердія къ сохраненію порядка, какъ будто безъ того онъ совершенно бы возмущился, и остановилось бы дѣйствіе невидимо, но всегда и вездѣ безпогрѣшно дѣйствующаго источника его. Страннѣе еще иногда видѣть, съ какимъ рвеніемъ нѣсколько грабителей и издоимцевъ, при чувствахъ, самой видѣ добраго усердія имѣющихъ, стараются натянуть доказательства къ обвиненію каковаго-нибудь бѣдняка, впадшаго и въ неважное преступленіе, и по какому нибудь, можетъ быть, особливо несчастному стеченію обстоятельствъ“<sup>1)</sup>. Смертную казнь Лопухинъ называетъ бесполезною и возстаеъ противъ нея изъ христіанскаго чувства. И впослѣдствіи, когда Лопухинъ, уже при Александрѣ, сдѣлался сенаторомъ въ Москвѣ, онъ не измѣнялъ своимъ прежнимъ взглядамъ и человѣколюбію. „Большаго труда стоило мнѣ, говорить онъ, успѣвать въ пощадѣ человѣчества, по причинѣ того несчастнаго предубѣжденія, коимъ исполнены были мои товарищи, что государю будто угоденъ судъ самый строгій“<sup>2)</sup>. И тутъ много разъ приходилось ему защищать человѣчество передъ сенаторами, которые, по его выраженію, часто не могутъ разглядѣть „мелкое человѣчество въ людяхъ породы незнатной или скудной благами земли“. Лопухинъ умѣлъ объяснять преступления тою средою, къ которой принадлежалъ преступникъ; онъ не смотрѣлъ безусловно и допускалъ многія извиняющія обстоятельства. Онъ позволялъ себѣ ставить на одни вѣсы, съ одной стороны судью-сенатора съ его привилегированною обстановкою, а съ другой „какого нибудь крестьянскаго сына, въ грубомъ невѣжествѣ выросшаго, развращеннаго пьянствомъ, который, заворовавшись, укрывается въ лѣсахъ и рѣжетъ людей для того, чтобъ чрезъ нихъ не быть пойманнымъ и сосланнымъ на каторгу“....<sup>3)</sup>. Но въ Сенатѣ Лопухину было гораздо труднѣе дѣйствовать, чѣмъ прежде въ уголовной палатѣ. Сенаторы рѣдко поддавались его убѣжденіямъ, особенно когда прошли лучшіе годы

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 4—5.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 71.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 82.

царствованія Александра. Консерваторы приободрились и явились строгими защитниками и исполнителями законовъ. „Были голоса, чтобъ сѣчь по жеребью десятаго“—говорить Лопухинъ. Его называли „мартинистомъ и спорщикомъ“. „На ихъ языкѣ мартинистомъ называется тотъ, говоритъ онъ, кто вѣритъ Христу и Евангелію, а спорщикомъ—кто не соглашается на все изъ угожденія Двору и имъ не притавиваетъ“<sup>1)</sup>.

Такъ практическое пониманіе христіанства въ масонствѣ привело Лопухина къ дѣятельному человѣколюбію, къ желанію видѣть ближняго и въ преступникѣ. Съ другой стороны, тотъ же образъ масонскихъ мыслей развилъ въ Лопухинѣ вѣротерпимость, конечно, рѣдкую въ томъ обществѣ, потому что въ устахъ Екатерины, преслѣдовавшей раскольниковъ, она была только фразою. Въ 1801 году, Лопухинъ, въ качествѣ сенатора, съ товарищемъ своимъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ, ревизовалъ Слободско-Украинскую губернію. Тамъ встрѣтился онъ въ первый разъ съ сектою *духоборцевъ*. Въ мѣстномъ архіерей онъ нашелъ только строгаго для нихъ судью. Земскій исправникъ называлъ ихъ „злодѣями“, потому что они не похожи на христіанъ: „кровинки въ лицѣ нѣтъ“. Лопухинъ захотѣлъ познакомиться съ тѣми изъ нихъ, которые въ началѣ воцаренія Александра были возвращены изъ каторги и поселенія, куда они были сосланы указами Екатерины и Павла. Ихъ велѣно было водворить на прежнихъ мѣстахъ жительства и наставлять ихъ, въ случаѣ нужды, безъ принужденія. Но архіерей послалъ тотчасъ же для увѣщанія духоборцевъ двухъ, по его словамъ, ученѣйшихъ священниковъ, и при нихъ отправился засѣдатель земскаго суда съ командою—по распоряженію губернатора. Слѣдствіемъ этихъ дѣйствій было непослушаніе раскольниковъ, названное бунтомъ; они отказались отъ уплаты податей и отъ рекрутъ, а засѣдатель прислалъ ихъ религиозные стихи, какъ доказательство безбожія. Лопухинъ взялся поправить дѣло и представилъ Александру особый докладъ о духоборцахъ, послужившій поводомъ человѣколюбивыхъ для нихъ мѣръ. Кротость отношеній къ сектѣ и стремленіе какъ можно менѣе насиловать совѣсть сектантовъ—вотъ что рекомендуетъ Лопухинъ, какъ главный образъ дѣйствій въ сношеніяхъ съ духоборцами. Любопытенъ отзывъ Лопухина о нихъ въ донесеніи къ императору, свидѣтельствующій о томъ, что масоны видѣли во всякой сектѣ искреннюю вѣру и за нее прощали увлеченія: „Кромѣ безмѣрныхъ, фанатическихъ, можно сказать, предразсудковъ противъ всякой наружности и скептическаго особничества и предпочтенія себя, нашелъ я въ нихъ понятія о

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 125.



христіанствѣ самыя коренныя и правильныя. Сила вѣры въ нихъ весьма замѣчательная и общая. Никто почти изъ нихъ грамотѣ не знаетъ хорошенько, писать изъ многихъ, бывшихъ тогда у насъ, худо умѣлъ только одинъ, а всякой о законѣ говорить какъ книга“<sup>1)</sup>. По представленію Лопухина, всѣ харьковскіе духоворцы избѣгли дальнѣйшихъ преслѣдованій и были переселены въ особую мѣстность, извѣстную подъ именемъ „Молочныя Воды“, съ щедрымъ пособіемъ отъ правительства. Защита Лопухинимъ духоворцевъ, полное любви и чуждое фанатизма отношеніе къ нимъ возбудили противъ него недовольство высшаго духовенства, что было совершенно естественно, такъ какъ послѣднее не понимало широкаго взгляда его и не могло отказаться отъ своихъ узкихъ обличеній и преслѣдованій. Противъ Лопухина кричали, его называли покровителемъ раскольниковъ и даже раскольниковъ. Первенствующій членъ синода въ письмѣ своемъ прямо обвинялъ Лопухина, что отъ его именно дѣйствій увеличивается число духоворцевъ. По словамъ Лопухина, за духоворцевъ возстало противъ него большинство общества, что и свидѣлствуетъ, на какомъ низкомъ уровнѣ развитія оно стояло. „Бранили меня нѣсколько ученыхъ монаховъ, говоритъ онъ, которые думаютъ, что все, касающееся религіи, есть ихъ монополія, и что безъ рясъ и клобука не можно имѣть истиннаго просвѣщенія въ сей религіи, коея начало и конецъ есть сый вездѣ и вся исполняй“. Эта замѣтка Лопухина, къ великому несчастію русскаго общества, гдѣ религія существуетъ только какъ внѣшняя обрядность, употребляемая въ извѣстныхъ обстоятельствахъ жизни, и до сихъ поръ не утратила своей свѣжести. Люди безъ клобука и рясъ у насъ не могутъ писать о религіи. Извѣстный Хомяковъ, для котораго религіозные вопросы составляли потребность духа, долженъ былъ первоначально печатать статьи свои въ защиту православія за границею и по-французски, а когда ихъ напечатали по-русски, то книга была недопущена цензурою къ обращенію въ русское общество. Естественно, Лопухинъ долженъ былъ вызвать осужденіе этого общества своимъ гуманнымъ обращеніемъ съ духоворцами. „Бранили меня благочестивыми слышущіе старцы, кои не пропускаютъ обѣдней и прилежно разбираютъ, рыба ли вязига и можно ли въ постные дни чай пить съ сахаромъ, потому что въ него-де кладется кровь, и которые готовы безъ разбора подписывать людямъ ссылку, и всякую неправду для пріятели, особливо для вельможи придворнаго“<sup>2)</sup>. Лопухинъ принужденъ былъ оправдывать свой образъ мыслей и дѣйствій въ особой книжкѣ,

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 98.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 105—106.

оставшейся въ рукописи, „Отзывъ искренности“, любопытной потому, что въ ней раскрывается взглядъ масона на секты. Между масонами было въ большомъ уваженіи извѣстное сочиненіе протестанта Арнольда „Исторія ересей и расколовъ“. Оно воспитало ихъ вѣротерпимость и ихъ уваженіе къ ересямъ, въ которыхъ они замѣчали присутствіе живой вѣры. За эту вѣру Лопухинъ и защищалъ духовъ борцевъ. Для насъ важно то, что эта вѣротерпимость, уваженіе къ чужому вѣрованію воспитаны въ немъ масонствомъ. Точно также и дѣятельная помощь неимущимъ составляла отличительную черту нравственного характера Лопухина, также воспитанную въ немъ масонствомъ. Правительство смотрѣло даже на милостыню, раздаваемую Лопухинимъ, подозрительно. Онъ раздавалъ ее въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что московскій главнокомандующій при Екатеринѣ, князь Прозоровскій, думалъ, не дѣлаетъ ли онъ фальшивыхъ денегъ. Въ своихъ „Запискахъ“ Лопухинъ безусловно стоитъ за милостыню изъ чувства человеколюбія. Что за бѣда, если иной пропьетъ нѣсколько поданныхъ копѣекъ? Лопухинъ роздалъ все свое имѣніе неимущимъ. Карамзинъ называетъ его „нищелюбивымъ“. Его дворъ былъ полонъ всегда нищими и ни одинъ не уходилъ отъ него безъ помощи — говорить о немъ Н. И. Тургеневъ.

## ЛЕКЦІЯ XXXVII.

Лопухинъ въ царствованіе Павла и Александра.—Эккартсгаузенъ.

Въ разныхъ сторонахъ характера и общественной дѣятельности Лопухина, какъ мы видѣли, отразилось сильное нравственное вліяніе масонства, котораго онъ былъ дѣятельнымъ членомъ, принимая участіе во всѣхъ издательскихъ, педагогическихъ и благотворительныхъ предпріятіяхъ Новикова. Мы уже видѣли, какую цѣль искалъ Лопухинъ въ масонствѣ: это было нравственное совершенствованіе человѣка, какъ онъ самъ высказывалъ; средства для этой цѣли давались религіознымъ, въ духѣ масонства, воспитаніемъ. На эту сторону масонской дѣятельности больше всего обращалъ вниманіе Лопухинъ и жертвовалъ для нея своимъ состояніемъ. Онъ имѣлъ даже своихъ собственныхъ воспитанниковъ, имъ самимъ выбранныхъ. Такъ онъ отправилъ на свой счетъ за границу учиться медицинѣ двухъ молодыхъ воспитанниковъ Новиковской семинаріи, Невзорова и Колокольникова, изъ которыхъ первый сдѣлался въ Александровское время весьма дѣятельнымъ мистическимъ писателемъ и въ своихъ изданіяхъ отзывался самымъ восторженнымъ образомъ о благодѣлѣ

своемъ Лопухинѣ. Въ исторіи масонства, кромѣ того, Лопухинъ извѣстенъ своимъ усердіемъ къ распространенію новыхъ ложъ въ провинціи и завербованію членовъ въ братство, чему способствовали его богатство, связи, частыя поѣздки въ имѣнія и общительный характеръ. вмѣстѣ съ прочими мартинистами и онъ подвергнулся допросамъ и преслѣдованіямъ, но избѣжалъ, однако, ссылки. Его оставили въ Москвѣ, кажется, изъ уваженія къ престарѣлому отцу его, заслуженному генералу, когда-то очень любимому прусскимъ королемъ Фридрихомъ В. Онъ и жилъ въ Москвѣ до самой смерти Екатерины, впрочемъ, окруженный шпионами.

Царствованіе Павла, отмѣнявшаго всѣ распоряженія своей матери, выдвинуло впередъ Лопухина, но на короткое время. Вскорѣ послѣ вступленія Павла на престолъ, Лопухинъ получилъ письмо отъ своего пріятеля, близкаго къ новому императору—Плещеева, тоже масона, съ увѣдомленіемъ, что Павелъ желаетъ поступленія на службу Лопухина. Это было вскорѣ послѣ освобожденія Новикова. Затѣмъ Лопухинъ получилъ уже именное повелѣніе императора ѣхать въ Петербургъ и лично явиться къ нему. Павелъ давно зналъ о дружбѣ Лопухина съ Плещеевымъ и извѣстнымъ масономъ, княземъ Н. В. Репнинымъ, которыхъ уважалъ. Онъ настоятельно требовалъ къ себѣ Лопухина и торопилъ его, принялъ его въ высшей степени ласково и сдѣлалъ тотчасъ же статсъ-секретаремъ. Довѣріе Павла къ Лопухину, согласно свойствамъ его увлекающейся натуры, на первыхъ порахъ было безгранично, но Лопухинъ, лишенный всякаго честолюбія и изъ христіанскаго смиренія, не воспользовался своимъ положеніемъ, не искалъ ни почестей, ни наградъ. Зная челоувѣколюбіе Лопухина, Павелъ поручилъ ему, конечно, пріятное для него дѣло. Въ его вѣдѣніе перешли всѣ дѣла по тайной канцеляріи, ему открытъ былъ свободный доступъ ко всѣмъ заключеннымъ и дано право присутствовать при всѣхъ слѣдствіяхъ. Но Лопухину, не имѣвшему свойствъ придворнаго челоувѣка, нельзя было долго удержаться въ милости при Павлѣ.

Близость къ императору возбудила сначала зависть, но завистники, по словамъ Лопухина, успокоились вскорѣ, видя неспособность его характера для придворной жизни. Вскорѣ Павелъ, дѣйствительно, сталъ выказывать холодность Лопухину; объясниться откровенно и положить конецъ недоразумѣніямъ было невозможно, да и друзья Лопухина не совѣтовали. Притомъ, несмотря на свою холодность къ Лопухину, самъ Павелъ долго не рѣшался отпустить его отъ себя. Наконецъ придворная служба его кончилась благополучно и, конечно, къ полному удовольствію Лопухина. Онъ былъ произведенъ въ тайные совѣтники и назначенъ сенаторомъ въ

Москву. Онъ вынесъ, какъ и слѣдовало ожидать, не совсѣмъ благоприятное представленіе о придворной жизни. „Картина ея, говоритъ онъ, весьма извѣстна и всегда та же, только съ нѣкоторою переменною въ тѣняхъ. Корысть — идолъ и душа всѣхъ ея дѣйствій. Угодничество и притворство составляютъ въ ней весь разумъ, а острое словцо въ толчокъ ближнему — верхъ его“<sup>1)</sup>).

Мы уже говорили, что служебная дѣятельность Лопухина въ Москвѣ происходила по уголовному департаменту, гдѣ онъ старался по возможности смягчать тяжесть наказаній и облегчать участь преступниковъ. Въ послѣдній годъ царствованія Павла Лопухинъ, вмѣстѣ съ другимъ сенаторомъ, Спиридовымъ, отправленъ былъ для ревизіи Вятской губерніи. Памятникомъ этой ревизіи осталась небольшая книжка, напечатанная Лопухинымъ въ 1800 году, „Выписка наставленій и приказаній, данныхъ гг. сенаторами при осмотрѣ Вятской губерніи“. Она представляетъ первый, хотя, конечно, довольно ограниченный, опытъ примѣненія гласности къ дѣламъ административнымъ и судебнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное изображеніе губерніи въ этихъ отношеніяхъ. Лопухинъ очень подробно обревизовалъ ее, нашелъ въ ней множество злоупотребленій, и послѣдствіемъ ревизіи, уже при Александрѣ, было строгое наказаніе виновныхъ. Въ губерніи было много взяточничества, и вотъ какъ Лопухинъ, съ своей точки зрѣнія, смотритъ на эту язву: „Кажется, справедливо сказать можно, что едва ли не тщетны почти всѣ старанія о искорененіи взятокъ. Надобно сдѣлать прежде, если можно, чтобъ въ людяхъ лакомства не было, чтобъ они нужды и прихотей не имѣли, чтобъ наконецъ боялись Бога, какъ свидѣтеля всего, или бы страстно любили правду, что безъ любви къ небесному ея источнику невозможно, или весьма ненадежно“. Это былъ идеальный, масонскій взглядъ.

По вступленіи на престолъ Александра, Лопухинъ исполнялъ, въ качествѣ сенатора, тоже нѣсколько порученій императора. О его поѣздкѣ въ Харьковскую губернію и о его отношеніи къ духовоборцамъ мы уже говорили. По окончаніи этой ревизіи, Лопухинъ былъ выбранъ въ Москвѣ въ совѣстные судьи, но Александръ почему-то не утвердилъ этого выбора и, неожиданно для Лопухина, назначилъ его предсѣдателемъ комиссіи для разбора споровъ и опредѣленія повинностей на Крымскомъ полуостровѣ. Это удалило его на нѣсколько лѣтъ на неизвѣстный ему югъ Россіи и заставило изучать также совершенно неизвѣстныя ему отношенія края. Несмотря на успѣхи предпринятыхъ имъ мѣръ, Лопухину не правилась эта слу-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 70.

жебная дѣтельность. Ему хотѣлось отставки, которую онъ и получилъ въ 1805 году, воротившись снова къ сенаторскимъ обязанностямъ. Въ концѣ 1806 года Лопухинъ снова выступаетъ, однако, на государственную дѣтельность. Въ это время, по поводу войны съ Наполеономъ, была учреждена въ Россіи милиція. Нѣсколько сенаторовъ было послано въ разныя губерніи для наблюденія за сохраненіемъ порядка и тишины. Надзору Лопухина ввѣрены были губерніи: Тульская, Калужская, Владимірская и Рязанская. Изъ донесеній его къ государю, писанныхъ имъ въ это время и включенныхъ въ „Записки“, видно, что Лопухинъ не раздѣлялъ общаго восторженнаго взгляда правительства на милицію и видѣлъ въ ней чрезвычайную тягость для народа.

„Нѣтъ никого, кромѣ видимыхъ личными видами выгодъ, пишетъ онъ, кто бы не находилъ учрежденіе милиціи тягостнымъ и могущимъ разстроить общее хозяйство и мирность поселянскою особливо жизни. Кто скажетъ Вамъ иное, Государь, тотъ обманщикъ“. Точно также Лопухинъ возстаетъ и противъ возбужденія къ денежнымъ пожертвованіямъ, которыми выказывалось тогдашнее патріотическое увлеченіе. Такъ онъ былъ свидѣтелемъ громаднаго приношенія московскаго купечества посредствомъ общей раскладки по гильдіямъ. „Видѣлъ я отъ того ропотъ даже не между бѣднымъ купечествомъ, говоритъ Лопухинъ, а у послѣдняго видѣлъ я и слезы отчаянія. Впрочемъ, они же за это наложатъ на товары, и возвышеніемъ цѣнъ усугубится общественная трата“<sup>1)</sup>. Такая откровенность Лопухина, впрочемъ, не понравилась Александру и онъ далъ ему это замѣтить. Къ этому времени относятся также нѣсколько мыслей Лопухина по поводу крѣпостного вопроса, изложенныхъ въ донесеніяхъ къ государю. Лопухинъ былъ противникомъ освобожденія помѣщичьихъ крестьянъ, и такой взглядъ на вещи кажется весьма страннымъ и необъяснимымъ въ человѣкѣ, столь гуманномъ и воспитанномъ по масонскимъ идеаламъ. Объяснить такой взглядъ можно, кажется, только преувеличенною боязнью Лопухина за спокойствіе государства при общемъ недовольствѣ тяжелымъ бременемъ милиціи. „Усердствуя именно о спокойствіи“, по его словамъ, Лопухинъ представляетъ государю о томъ, чтобъ „не возобновлялся указъ, раздѣляющій время работъ крестьянскихъ на себя и на помѣщиковъ, ограничивающій власть послѣднихъ, несходно съ общою пользою,—указъ, котораго памятенъ слѣдствіи при изданіи его, и который, смѣю сказать, хорошо, что оставался какъ бы безъ исполненія“<sup>2)</sup>. Ло-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 136.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 137.

Лопухинъ былъ человѣкъ осторожный; онъ близко видѣлъ положеніе вещей въ губерніяхъ и, можетъ быть, причина его страха была нѣсколько основательна въ то время; до взглядовъ настоящаго государственнаго человѣка онъ не могъ возвыситься, но онъ старается отстранить отъ себя всякое подозрѣніе въ чисто личныхъ, эгоистическихъ, помѣщичьихъ разчетахъ: „Въ Россіи ослабленіе связей подчиненности крестьянъ помѣщикамъ, говоритъ онъ, опаснѣе самаго нашествія непріятельскаго, и не въ настоящемъ положеніи вещей. Я могу о семъ говорить безпристрастно, никогда истинно не дороживъ правами господства, стыдись даже выговаривать слово холопъ, до слабости можетъ быть снисходителенъ будучи къ своимъ крестьянамъ. Первый, можетъ быть, желаю, чтобъ не было на русской землѣ ни одного несвободнаго человѣка, еслибъ только то безъ вреда для нея возможно было; и наконецъ, будучи навагунѣ, по извѣстнымъ Вашему Величеству обстоятельствамъ долговъ моихъ, не имѣть, можетъ быть, ни одной деревни“ <sup>1)</sup>). Въ другомъ мѣстѣ Лопухинъ высказываетъ свою боязнь мятежей и волненій, которые ему были также страшны, какъ и „ложное просвѣщеніе, на безвѣріи основанное“. Последнее онъ не любилъ, какъ масонъ. Эти мысли и убѣжденія привели Лопухина къ консерватизму и къ нелюбви вообще европейскаго просвѣщенія, въ которомъ онъ видѣлъ ни болѣе ни менѣе, какъ заразу для своей родины: „Главное искусство Россійской политики должно состоять въ томъ, говоритъ онъ, чтобъ сколько можно не только меньше зависѣть отъ Европы, но и меньше связей съ нею имѣть, какъ политическими сношеніями, такъ и нравственными. Подъ именемъ послѣднихъ разумѣю я обычаи, коихъ заразительная гнилость снѣдаетъ древнее здравіе душъ и тѣлъ Россійскихъ“ <sup>2)</sup>). Мысль объ освобожденіи помѣщичьихъ крестьянъ, по его мнѣнію, принадлежитъ также къ этой европейской заразѣ и Россіи она можетъ принести только вредъ. Когда въ московскомъ сенатѣ, гдѣ Лопухинъ присутствовалъ, разбирались дѣла крѣпостныхъ, ищущихъ вольности отъ помѣщиковъ, какихъ дѣлъ во время существованія крѣпостнаго права было у насъ вообще много, и когда прочіе сенаторы, въ угоду мысли объ освобожденіи, которая никогда не покидала Александра, старались угодить государю, поддерживая, иногда съ натяжками, права ищущихъ вольность, то Лопухинъ, „никогда не соглашался удовлетворять просьбамъ такихъ ищущихъ вольности, безъ совершеннаго, по законамъ, ихъ на то права“. Вообще въ мысляхъ о крѣпостномъ состояніи Лопухинъ сходилъ во

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 137—138.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 153.

взглядъ на тотъ же предметъ съ Карамзинымъ. Дѣйствительно, можно сказать, что идея освобожденія не была у насъ въ то время глубоко сознаваема лучшими представителями русскаго общества, не была воспитана собственнымъ развитіемъ, а существовала только какъ общая идея, была плодомъ свободной европейской философіи прошлаго вѣка. Лопухинъ боялся освобожденія въ видахъ государственной пользы.

„Еще скажу, что я первой, можетъ быть желаю, говорить онъ, чтобъ не было на русской землѣ ни одного несвободнаго человѣка, еслибъ только то безъ вреда для нея возможно было. Но народъ требуетъ обузданія и для собственной его пользы. Для сохраненія же общаго благоустройства нѣтъ надежнѣе полиціи, какъ управленіе помѣщиковъ (то же говорилъ и Карамзинъ). Тираны изъ нихъ должны быть обузданы, но сіе должно быть такъ расположено, чтобъ начальники губерній, при обузданіи тиранства, столько же бы страшились наказанія за малѣйшее при томъ излишество или пристрастіе, и столькожъ бы увѣрены были не избѣжать того наказанія, сколько тираны за тиранство“.

„И еще скажу, что по сіе время въ Россіи ослабленіе связей подчиненности помѣщикамъ опаснѣе нашествія непріятельскаго. Свойственно мягкосердечію жалѣть и о томъ, когда не совсѣмъ еще отъ болѣзней оправившіеся могутъ только прогуливаться въ больничномъ саду и ѣсть только то, что имъ велятъ лекари, свойственно доброму сердцу желать, чтобъ они какъ можно скорѣе воспользовались полною для всѣхъ свободою; но дѣтъ ее имъ прежде времени, было бы ихъ же уморить“ <sup>1)</sup>. Изъ приведенныхъ мыслей и словъ Лопухина очевидно, что масоны никогда не думали о совершеніи какихъ-нибудь реформъ въ государственномъ строѣ страны, хотя бы эти реформы совершенно соотвѣтствовали нравственнымъ цѣлямъ масонства. Они, какъ это извѣстно, примирялись съ государственными формами всякаго рода, со всякимъ правительствомъ, что и доказываетъ, какъ бессмысленно было преслѣдованіе ихъ со стороны власти. Масоны хлопотали только о нравственномъ и религіозномъ совершенствованіи внутренняго человѣка. Такова была вся масонско-мистическая литература; такова, въ особенности, и замѣчательная литературная дѣятельность Лопухина. Она очень цѣнилась мистическими писателями Александровскаго времени.

Мы уже говорили, что писательская дѣятельность Лопухина началась нападкама съ его стороны на матеріальныя ученія француз-

---

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 158—159.

скихъ философовъ. Самое масонство отчасти возникло изъ противо-  
дѣйствія этому матеріализму, а потому Лопухинъ, еще не будучи  
масономъ, уже раздѣлялъ мысли масоновъ. Дальнѣйшая его литера-  
турная дѣятельность развилась въ особенности во время преслѣдо-  
ванія масоновъ. Его возмущало невѣжественное недоувѣріе власти къ  
тѣмъ мыслямъ, которыя занимали масоновъ. Въ разговорахъ съ ми-  
трополитомъ Платономъ, который также не одобрялъ масоновъ, воз-  
никла, по словамъ Лопухина, первая мысль небольшого сочиненія,  
въ которомъ онъ выступилъ на защиту ученія своихъ единомышлен-  
никовъ и гдѣ хотѣлъ „представить въ самыхъ истинныхъ и крат-  
кихъ чертахъ всѣ начала науки и нравственности нашего общества“.  
То былъ „Нравоучительный Катихизисъ истинныхъ франкъ-масоновъ“,  
сочиненіе, переведенное Лопухинымъ по французски и анонимно на-  
печатанное въ компанейской типографіи, а потомъ пущенное въ про-  
дажу будто книга, присланная изъ-за границы. Въ этомъ катихизисѣ  
Лопухинъ старается доказать, что въ масонствѣ и заключается истин-  
ное пониманіе христіанства и что оба понятія равнозначущи. Онъ  
доказываетъ, что масоны отличаются духомъ братства, одинаковымъ  
съ христіанствомъ, что цѣли ихъ одинаковы, что истинный масонъ  
долженъ также любить Бога больше всего и ближняго, какъ самого  
себя, подобно христіанину, что главное упражненіе масоновъ есть  
послѣдованіе Іисусу Христу. Далѣе слѣдуетъ уже собственное уче-  
ніе масоновъ и ихъ представленія, выраженные на не совсѣмъ по-  
нятномъ языкѣ. Искусство франкъ-масоновъ состоитъ въ наукѣ въ-  
дѣть тайны царствія Божія; живутъ они въ обновленномъ Эдемѣ и  
таинство ордена приобрѣтается *возрожденіемъ*. Это таинство открыва-  
етъ „то, чего око не видѣло и ухо не слышало, и на сердце че-  
ловѣку не всходило“. Затѣмъ идутъ опредѣленія, какихъ нравствен-  
ныхъ свойствъ долженъ быть настоящій франкъ-масонъ, въ чемъ  
заключаются его обязанности къ государю, къ властямъ, къ прави-  
тельственной церкви, къ подвластнымъ, къ людямъ вообще, къ вра-  
гамъ и проч., затѣмъ къ роднымъ, къ женѣ, дѣтямъ и къ самому  
себѣ, — правила, которыя легко могутъ найти мѣсто и во всякомъ  
катихизисѣ, изданномъ официальною церковью. Дѣятельность масо-  
новъ опять излагается языкомъ мистическимъ, понятнымъ только  
для однихъ посвященныхъ. Истинная работа въ нравственности на-  
чинается тогда, когда человѣкъ начнетъ „совлекаться ветхаго Адама,  
а оканчивается, когда ветхій Адамъ совлеченъ совершенно. Всякой  
трудъ и работа (т.-е. дѣло масонства) перестанутъ тогда, „когда не  
останется на землѣ ни единой воли, которая бы не совершенно  
предалась Богу; когда золотой вѣкъ, который Богъ хочетъ прежде  
внутренне возстановить, въ маломъ своемъ избранномъ народѣ, рас-



пространится вездѣ и явится внѣшне, и когда царство самой натуры освободится отъ проклятій и возвратится въ средоточіе солнца". Такими неопредѣленными, широкими фразами, повидимому, удовлетворялись масонскіе братья; подъ ними можно было разумѣть какое угодно содержаніе. А въ заключеніе они говорили: „Могій вмѣстити да вмѣститъ“. Впрочемъ, всѣ эти опредѣленія „Нравственнаго Катихизиса франкъ-масоновъ“ были поддержаны текстами, почерпнутыми Лопухинымъ изъ Св. Писанія, такъ что, присоединяя это сочиненіе къ другому, нѣсколько позднѣе вышедшему, „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“, Лопухинъ могъ справедливо назвать этотъ катихизисъ, составленный въ вопросахъ и отвѣтахъ, „Краткое изображеніе качествъ и должностей истиннаго христіанина, почерпнутое изъ Слова Божія“. Небольшое сочиненіе это, какъ апологію масоновъ, Лопухинъ считалъ очень важнымъ. Онъ присоединилъ его и къ другому сочиненію, вышедшему также въ 1791 году, подъ названіемъ „Духовный рыцарь или ищущій премудрости“, подъ которымъ разумѣется также масонъ. Сочиненіе это написано тѣмъ непонятнымъ и туманнымъ языкомъ, которымъ привыкли писать масоны, и потому даетъ, къ сожалѣнію, самое неопредѣленное представленіе о догматической сторонѣ масонскаго ученія. По словамъ самого Лопухина, въ этой книгѣ представлены имъ „главные пункты герметической науки, образъ ея святилища, ходъ внутренняго обновленія чловѣка и начала самопознанія и глубокой морали“<sup>1)</sup>. Все это изложено туманнымъ мистическимъ языкомъ, и читатель, конечно, не пойметъ изъ этой книги, что такое герметическая или тайная наука. Лопухинъ, повидимому, нападаетъ на тайную науку. Онъ называетъ въ этомъ сочиненіи членами Антихристовой церкви тѣхъ „духовныхъ сластолюбцевъ“, которые „прилежатъ къ тайнымъ наукамъ не по любви къ истинѣ, но для удовлетворенія самолюбію своему“, которые „прилѣпляются къ златодѣланію, къ продолженію грѣховной своей жизни, къ упражненію въ буквѣхъ теософіи, каббалы, алхиміи“. Отсюда однако легко вывести заключеніе, что Лопухинъ не причисляетъ къ Антихристовой церкви тѣхъ, кто занимается этими предметами не изъ самолюбія, а по любви къ истинѣ. Слѣдовательно, въ ту пору, и Лопухинъ вѣрилъ въ возможность тайныхъ наукъ и, подобно Новикову, былъ зараженъ вздоромъ нѣмецкаго розенкрейцества. Общія правила „духовнаго рыцаря“ — тѣ же, что и въ катихизисѣ. Очень любопытно постановленіе, что масонами могутъ быть только христіане.

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 30.

Самымъ важнымъ для масонства и мистицизма сочиненіемъ Лопухина, весьма уважаемымъ мистиками нашими, были „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, о единомъ пути истины и о различныхъ путяхъ заблужденія и гибели“. Сочиненіе это напечатано было въ первый разъ уже въ царствованіе Павла (СПБ., 1798), когда прекратились преслѣдованія масоновъ, но написано оно было, по разсказу Лопухина, еще въ 1791 году, вмѣстѣ съ другими сочиненіями, посвященными защитѣ и объясненію масонства. Книгѣ этой вообще посчастливилось между мистиками. Въ 1799 году она была переведена на французскій языкъ, подѣ наблюденіемъ самого Лопухина и напечатана въ Петербургѣ; въ 1801 году въ Парижѣ была сдѣлана перепечатка этого перевода, и вышло второе русское изданіе. Въ 1803 и 1804 годахъ оно было переведено Эвальдомъ на языкъ нѣмецкій и напечатано въ его духовномъ журналѣ „Christliche Monatschrift“, а потомъ отдѣльно (Нюренбергъ, 1809 г.). Самъ Лопухинъ считаетъ это свое сочиненіе лучшимъ и важнѣйшимъ. Сочиненіе этой книги будетъ для Лопухина, по его словамъ, всегдашнимъ утѣшеніемъ, онъ увѣренъ въ пользѣ ея и убѣжденъ, что помощь Божія присутствовала при сочиненіи этой книги. И ученики Лопухина, напр., Невзоровъ, не находили словъ для похвалы этой книги. „Необходимымъ долгомъ почитаю, говоритъ Невзоровъ, единственную въ своемъ родѣ въ нынѣшнія времена сію книгу совѣтовать читать всѣмъ, кто не хочетъ довольствоваться одною поверхностью и наружностью христіанства, а желаетъ быть участникомъ внутреннихъ сокровищъ“ <sup>1)</sup>. Но для Невзорова и въ особенности Лопухина, чрезвычайно важна была похвала этому сочиненію, сдѣланная Эккартсгаузеномъ, величайшимъ авторитетомъ для мистиковъ Александровскаго времени, котораго всѣ сочиненія были переведены тогда ими и котораго самъ Лопухинъ считаетъ однимъ изъ „величайшихъ свѣтилъ божественнаго просвѣщенія, извѣстныхъ въ нашемъ времени“ <sup>2)</sup>. Лопухинъ съ этого времени сталъ съ нимъ переписываться. Здѣсь стоитъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ забытомъ теперь и не упоминаемомъ въ курсахъ исторіи нѣмецкой литературы имени. Вся его дѣятельность принадлежитъ XVIII вѣку, но его теософическія и мистическія сочиненія, изложенныя туманнымъ и дикимъ языкомъ, были писаны имъ подѣ конецъ жизни и сдѣлались у насъ извѣстны преимущественно въ переводахъ Лабзина и другихъ мистиковъ Карлъ Эккартсгаузенъ, баварецъ, былъ побочнымъ сыномъ какого-то

<sup>1)</sup> Др. Юн. 1811 г. Мартъ, стр. 112.

<sup>2)</sup> Зап. стр. 31.

графа, родился въ 1752 году и получилъ сначала блестящее домашнее воспитаніе, которое развило въ немъ духовныя стремленія и жажду знанія. Потомъ изучалъ онъ въ Мюнхенѣ и Ингольштадтѣ юридическія науки, поступилъ на службу и до самой смерти своей, въ 1803 году, жилъ въ Мюнхенѣ въ довольно скромной должности перваго архивариуса двора баварскаго курфюрста. Экартсгаузенъ оставилъ послѣ себя множество литературныхъ произведеній и его справедливо называютъ самымъ плодовитымъ писателемъ Баваріи. Извѣстность литературную и уваженіе общества Экартсгаузенъ приобрѣлъ своими первыми сочиненіями, посвященными распространенію чистой нравственности и вообще просвѣщенію. Въ нихъ старался онъ опредѣлить отношеніе религіи и науки между собою, не нарушая правъ ни той ни другой. Сочиненія эти проникнуты любовью къ человѣчеству. Въ особенности имѣли успѣхъ посвященные защитѣ оскорбленныхъ правъ человѣчества „Судейскія исторіи“ (Rittergeschichten, Münch., 1782), написанныя для молодыхъ юристовъ. Потомъ написаны были имъ „Нравственное ученіе для всѣхъ сословій“ (1784), „Рѣчи о благѣ человѣчества“ (1784), посвященные общей нравственности; въ томъ же духѣ издавалъ онъ еженедѣльный журналъ „Sittenblatt“. Но самымъ извѣстнымъ его сочиненіемъ, переведеннымъ на нѣсколько языковъ, было сочиненіе, напечатанное въ Мюнхенѣ въ 1790 году, „Gott ist die reinste Liebe“ („Богъ есть любовь чистѣйшая“. Перев. Як. Уткинъ, СПб., 1817). Уже въ этихъ сочиненіяхъ Экартсгаузена проглядываетъ мистицизмъ, но въ болѣе чистомъ видѣ; за то въ послѣдніе годы своей жизни онъ отдался ему съ особеннымъ увлеченіемъ и сталъ писать и издавать множество сочиненій, посвященныхъ магіи и теософско-алхимическимъ бреднямъ. Онъ сдѣлался авторитетомъ въ тайныхъ наукахъ и думалъ, что ему раскрыты тайнства природы. Сочиненія его въ этомъ родѣ отрицали всякую возможность мысли, были въ постоянномъ спорѣ съ разумомъ, распространяли самый туманный и вредный мистицизмъ и между тѣмъ эти-то именно сочиненія Экартсгаузена пользовались у насъ величайшимъ уваженіемъ, переводились и распространялись въ обществѣ нашими мистиками. Они даже вѣрили въ дѣйствительность его видѣній, о которыхъ онъ печаталъ, и старались объяснить ихъ разумнымъ образомъ, а не какъ галлюцинаціи. Вообще у Экартсгаузена, какъ у всѣхъ мистиковъ, преобладало сердце надъ головою и оказывался недостатокъ положительныхъ знаній.

## ЛЕКЦІЯ XXXVIII.

Соч. Лопухина «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви». — Драма «Торжество правосудія и добродѣтели». — «Отрывки».

Сочиненіе Лопухина „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“, столь уважаемое мистиками, было написано имъ въ защиту и объясненіе масонства, подобно упомянутому нами прежде сочиненію его, „*O Zηλωσος, Искатель премудрости или духовный рыцарь*“. По словамъ Лопухина, сочиненіе это навлекло ему много несправедливостей, особенно со стороны духовенства, и только похвала Экартсгаузена ободрила его. Оно очень важно и любопытно для знакомства съ тѣмъ понятіемъ о масонствѣ, которое имѣли Новиковъ и его друзья. Къ сожалѣнію, въ немъ, какъ и въ прочихъ писаніяхъ нашихъ масоновъ, мистическія и теософическія увлеченія смѣшаны съ дикими представленіями объ алхиміи, магіи и каббалѣ, такъ что понятіе о „внутренней церкви“ дается слишкомъ смутное и нисколько не ео<sup>1</sup> отвѣтствующее христіанству. Очень вѣрно рецензентъ по богословію въ *Goetting. gelehrte Anzeigen* 1804 г., когда вышелъ нѣмецкій переводъ книги Лопухина, замѣтилъ, что она написана въ духѣ и языкомъ Арндта и что всѣ подобныя слова, какъ „возрожденіе, вѣчная любовь, распинаніе плоти, совлечь съ себя ветхаго Адама“ и т. п. заимствованы у Арндта,—замѣчаніе не понравившееся поклонникамъ Лопухина <sup>1)</sup>. Для насъ любопытно познакомиться съ общимъ очеркомъ и главнымъ содержаніемъ книги Лопухина, чтобъ понять, какъ смутны вообще представленія мистиковъ, нашихъ въ особенности, и какъ неопредѣленъ и фантастиченъ ихъ языкъ, въ которомъ люди увлеченные видѣли что-то чрезвычайно глубокое. Глава I говоритъ „О началѣ и продолженіи внутренней церкви“. Тутъ общія христіанскія представленія о грѣхопадѣніи, о перво-родномъ грѣхѣ и пр. выражаются мистическими образами и языкомъ. Начало идетъ съ Адама, съ его блаженнаго состоянія въ раю. „Злоупотребленіе воли, преслушаніе Адамово, изгнало его изъ рая, погасило въ умѣ его свѣтильникъ небесной Премудрости, и низринуло его и въ немъ весь человѣческій родъ въ царство болѣзней, труда и смерти—на землю, покрытую терніемъ и волчцами“ (§ 4). Но „вѣчная любовь“ въ самую минуту паденія Адама, уже думала о его возстановленіи и „премудростію своею уготовляла средство возжечь въ душѣ его искру того свѣтильника, который освѣщаль его до паденія“ (§ 5). „Первый

<sup>1)</sup> Др. Юн. 1811 г. Мартъ, стр. 105, сл.

вздохъ покаянія Адамова былъ, можно сказать, первый лучъ возсіянія въ немъ онаго Свѣта (онъ же и Слово), и первая точка основанія *внутренней церкви* Божіей на землѣ. Эту церковь составляютъ патріархи, праведники, души благочестивыя. Въ ней Богъ творитъ великое дѣло обновленія. Съ другой стороны создалась на землѣ *церковь Антихристова*; ее составляютъ „воспаленные духомъ Каиновымъ“ (§ 7). Главное содержаніе книги Лопухина составляетъ изложеніе противоположныхъ свойствъ двухъ этихъ церквей. Церковь Христова описывается мистически въ видѣ Соломонова храма. Это и есть масонство, въ которомъ сохраняется лучшее пониманіе христіанства. Церковь Антихристову составляютъ главнымъ образомъ: „духовные сластолюбцы, прилежащіе къ тайнымъ наукамъ *не по любви къ истинѣ*, но для удовлетворенія самолюбію своему“. Они ищутъ познаній изъ любопытства, корысти и эгоизма, стремятся къ дѣланію золота, ищутъ средствъ для продолженія грѣховной жизни своей, упражняются въ теософіи, каббалѣ, алхиміи, тайной медицинѣ и магнетизмѣ. Изъ этого видно, что Лопухинъ не вводилъ всѣ эти такъ называемыя тайныя науки въ область предметовъ занятій настоящихъ масоновъ, а между тѣмъ, какъ извѣстно, они не только писали объ этихъ предметахъ, но дѣйствительно занимались ими: разница та только, что масоны думали заниматься этимъ не для удовлетворенія самолюбія или изъ эгоистическихъ расчетовъ, а по любви къ истинѣ, упражняться „не въ буквахъ только, а въ самой сущности“, какъ говорилъ Лопухинъ. Тутъ же онъ придаетъ большое значеніе какой-то *истинной* химіи для высшаго просвѣтленія человѣка, но всякому понятно, что такое была эта истинная химія у масоновъ, для которыхъ вовсе не существовало положительной науки; они были врагами ея <sup>1)</sup>.

Главные орудія въ Антихристовой церкви, по Лопухину, суть *духовные фарисеи* (III, § 3), а дѣйствительными орудіями и проповѣдниками ея являются *модные философы*, старающіеся доказать, что душа смертна, что основаніе всѣхъ дѣйствій человѣческихъ—самолюбіе, что христіанство есть фанатизмъ (III, § 4). Подъ этими словами Лопухинъ разумѣлъ просвѣтительную философію вѣка. Эти же *пустословы* „содѣйствовали къ порожденію буйнаго стремленія ко мнимому равенству и своеволію, въ противность порядка небеснаго и земнаго благоустройства... Сей духъ круженія воцарился въ погибающей Франціи“ (III, § 6). Изъ этого видно, въ какомъ отношеніи находился масонскій мистицизмъ къ современной мысли и къ современному политическому движенію, которое было антипатично ему.

<sup>1)</sup> Ешевскій, Соч. III, стр. 427.

Въ главѣ IV Лопухинъ разсуждаетъ „О знакахъ“ (т.-е. признакахъ) истинной церкви Божіей и членовъ ея. Всѣ свойства, которыя можно бы было назвать свойствами истинной натуры христіанской, напр., вѣра, молитва, постъ, видѣнія, чудеса, могутъ являться и безъ нея. Дѣйствительный признакъ настоящаго члена церкви Христовой составляетъ только одна любовь, начальное свойство божественной натуры. Посредствомъ любви человѣкъ возрождается или обновляется въ Иисусѣ Христѣ и посредствомъ этого возрожденія освобождается отъ преобладанія Антихристовой церкви. Главный факторъ этого возрожденія есть глубокое самоотверженіе, гдѣ должно быть совершенно забыто свое Я, и здѣсь Лопухинъ пускается въ такую глубину мистицизма и выражается такъ темно, что дѣлается рѣшительно непонятнымъ. Путь возрожденія человѣка есть путь Христовъ въ душѣ, состоящій въ подражаніи Иисусу Христу, образу и ученію его, которые открыты въ Евангеліи. „На семъ пути должно упражнять волю свою въ насилуваніи *всѣхъ естественныхъ свойствъ* и силъ своихъ на исполненіе заповѣдей Христовыхъ, на подражаніе внутренне и внѣшне его примѣру“ (VII, § 1). Совершающій этотъ путь къ Христу долженъ искренно любить добро. „Наипаче должно упражняться въ любленіи ближняго“, говоритъ Лопухинъ, выдвигая такимъ образомъ впередъ практическую сторону масонскаго мистицизма (§ 4). На пути къ божественной жизни или на пути къ началу возрожденія во Христѣ, рекомендуются слѣдующія упражненія: а) насилуваніе своей воли, б) молитва, в) воздержаніе, д) дѣла любви и е) поученіе въ познаніи натуры и самого себя (VIII, § 1). Изъ этого очевидно, что мистицизмъ Лопухина граничитъ близко съ монашескимъ аскетизмомъ. Таково, напр., предписаніе относительно разума: „Разумъ должно воздерживать не только отъ упражненія въ томъ, что явно вредно; но и отъ всякихъ размышленій бесполезныхъ и отъ изученія того, что токмо служить къ удовлетворенію любопытства, а не нужно для преуспѣянія въ жизни христіанской и для отправленія должностей человѣка, живущаго въ обществѣ, гражданина или подданнаго“ (VIII, § 15). Съ этимъ легко было дойти до отрицанія всякой науки, кромѣ мистической. За то въ возможность послѣдней Лопухинъ вполнѣ вѣритъ. Онъ убѣжденъ, что „сотворшая премудрость“ открыла избраннымъ тайну творенія, что имъ доступенъ „внутреннѣйшій составъ и различныя дѣйствія глубоко сокровеннаго духа натуры“, но что такое „истинное, живое познаніе тайны творенія“ открывается только при свѣтѣ благодати, озаряющей душу въ новой жизни возрожденія“ (VIII, § 21, 22). Наука эта, слѣдовательно, не похожа на общепринятую и идетъ совершенно инымъ путемъ. Весьма немногимъ избранныкамъ дано было это по-

знаніе тайнъ природы: „Многимъ и святымъ, и угодникамъ Божиимъ, не опредѣлено было созерцать сіяніе онаго свѣта въ натурѣ“. Посредствомъ этой науки люди ея просвѣщенные „раздѣляютъ, разрушаютъ существа, развиваютъ ихъ составъ и возвращаютъ въ истинныя (первоначальныя) ихъ стихіи; и при семъ дѣйствіи собственными очами своими созерцаютъ таинства Іисуса Христа, послѣдствіе страданія Его, и въ сокращеніи и въ химическихъ явленіяхъ видятъ все происшествіе и слѣдствія Его воплощенія!“ (VIII, § 24). Наука, преподаваемая въ обыкновенныхъ школахъ, напр., математика, физика, химія и пр. даютъ познаніе только самыхъ, такъ сказать, наружныхъ нитей грубой, стихійной одежды природы. Если и это познаніе полезно, „то koliko уже полезно для ищущихъ царства Божія должно быть изученіе теоріи познанія природы, происходящаго изъ училища небеснаго?“ Не всѣмъ дано упражняться въ этомъ изученіи таинствъ природы. Эта наука есть только средство къ пути въ царствіе Божіе. Съ этою наукою нужно обращаться осторожно и не обращать ее на нечистые виды собственности. „Да страшатся даже и для удовлетворенія только любопытству своему, или для забавы, упражняться въ таинственномъ семъ ученіи!“ (VIII, § 27). Оно только для избранныхъ, а для массы довольно познаніе самого себя, которое постепенно открывается человѣку, при совлеченіи ветхаго Адама.

Вотъ положительное ученіе нашихъ масонскихъ мистиковъ, проповѣдуемое ими съ такимъ убѣжденіемъ, съ такою вѣрою въ дѣйствительность и глубину содержанія ихъ туманныхъ фразъ и находившее такъ много вѣрующихъ прозелитовъ. Лопухинъ только намекнулъ, только указалъ на это высшее знаніе, которымъ, путемъ благодатнаго осіянія свыше, открывается счастливому избраннику познаніе глубочайшихъ тайнъ природы, закрытыхъ для глазъ непосвященныхъ. Другіе пошли дальше и увѣровали въ тайныя науки, посредствомъ которыхъ открывается „первое то вещество, нетлѣнная та персть, изъ коея все сотворено“. Мысли Лопухина и его понятіе о таинственномъ знаніи—не новостъ въ исторіи человѣческихъ заблужденій и не представляютъ ничего оригинальнаго, сколько-нибудь характеризующаго наше русское общество масоновъ и мистиковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ христіанская мистика, даже еще раньше, въ теософическихъ экстазахъ неоплатониковъ, мы найдемъ тѣ же самыя представленія. Въ особенности много ихъ въ сочиненіяхъ нѣмецкихъ протестантскихъ мистиковъ, начиная съ эпохи Возрожденія. Въ XVIII вѣкѣ въ Германіи мистицизмъ этотъ былъ въ большомъ развитіи, онъ такъ былъ силенъ, что даже философія природы Шеллинга заразилась довольно сильно этими мистическими представленіями. Изъ Германіи они перешли и къ намъ. Понятно,

какой вредъ они должны были приносить нашему неразвитому и лишенному всякихъ положительныхъ знаній обществу и какъ много, можетъ быть, хорошихъ и дѣятельныхъ натуръ погибло въ этихъ туманныхъ, недѣльныхъ стремленіяхъ, которыми самообольщались наши наивные масоны. Выдается, однако, во всѣхъ этихъ неопредѣленныхъ фразахъ Лопухина, напоминающихъ таинственные изреченія древнихъ гіерофантовъ, одна, хотя и не оригинальная, особенность, которую мы встрѣтимъ и у позднѣйшихъ мистиковъ нашихъ,—это частое употребленіе чисто христіанскихъ образовъ и представленій въ смѣшеніи съ неопредѣленными масонскими понятіями. Примѣры этого смѣшенія можно было видѣть изъ нѣкоторыхъ приведенныхъ мною мѣстъ Лопухинской книги. Это служитъ намъ доказательствомъ, что увлеченія нашихъ масоновъ и бредни нашихъ мистиковъ вытекали изъ чистаго источника — изъ желанія объяснить себѣ праотеческую вѣру, изъ стремленія придать наивному вѣрованію болѣе глубокой смыслъ, уяснить его до такой степени, чтобъ оно могло удовлетворять умъ. Но, лишенные настоящаго философскаго и богословскаго образованія, которое боится мистическихъ толкованій, они запутались въ собственныхъ представленіяхъ, встали въ противорѣчіе и съ официальною церковью и съ положительною наукою, возбудили недовѣріе и той и другой, и сами презрительно относились и къ той и къ другой, не имѣя на то никакого права. Этотъ мистицизмъ не могъ принести русскому обществу ничего иного, кромѣ вреда. Онъ сталъ въ отрицательное положеніе къ политическимъ теоріямъ времени.

Сочиненій Лопухина, написанныхъ противъ этихъ теорій и въ особенности противъ французской революціи, — нѣсколько. Они напечатаны въ 1794—1796 годахъ и не заслуживали бы вовсе упоминанія — такъ мало въ нихъ достоинства мысли и изложенія, еслибъ не доказывали ту мысль, что мистицизмъ дѣлалъ человѣка совершенно не способнымъ къ пониманію положительной стороны жизни. „Изліяніе сердца, чувствующаго благодать единоначалія и ужасающагося, взирая на пагубные плоды мечтанія, равенства и буйной свободы“ и пр. (Калуга, 1794), или „Описаніе нѣсколькихъ картинъ и списковъ съ нѣкоторыхъ отрывковъ, находящихся въ магазинѣ дивнаго смотрѣнія на внутреннія причины дѣйствій и на слѣпоту развращенныхъ французовъ“ (Москва, 1796), какъ показываютъ сами длинные названія ихъ, суть не что иное, какъ небольшія статейки въ родѣ риторическихъ упражненій. „Равенство! Свобода буйная! мечты, порожденныя чадомъ тусклаго свѣтильника лжемудрія, распложденныя безумными писаніями нечестивыхъ татей философскаго имени, адскимъ пламенемъ стремящихся отвращать взоръ человѣче-



скій даже отъ тѣни пресвѣтлаго Софіина лица“ <sup>1)</sup>. Таковъ слогъ и тонъ этого рода статей Лопухина. Ненависть къ французской революціи и фантастическое преувеличеніе ея злодѣйствъ—полныя. „Безначаліе и своеволіе Франціи—исчадіе папистическаго изувѣрія и новой философіи“. Лопухинъ старается доказать, что единоначаліе самый лучшій образъ правленія. Ни одна страна въ мірѣ больше счастливой Россіи не „насладилась отъ рѣвъ милосердія Монаршаго“ <sup>2)</sup>. Французовъ Лопухинъ пугаетъ гнѣвомъ Екатерины: „А вы, варвары, расторгшіе узы законной священной власти и покорившіе себя нечестивому самовластію многоглавнаго чудовища звѣрскихъ тирановъ,—трениците побѣдительнаго Екатериннина скипетра. Несчастные! тренищите“... <sup>3)</sup>. Лопухинъ доказываетъ, что въ природѣ и въ жизни нѣтъ и не можетъ быть равенства, что это только буйная мечта, что на землѣ не можетъ быть и ничего похожаго на золотой вѣкъ. Какъ мистикъ онъ не цѣнилъ дѣйствительность, съ презрѣніемъ относился къ міру. „Что есть міръ сей? Зеркало тѣнноти и смерти. Сонъ немощей и внезапно подсѣваемой силы, здравія, какъ сельный цвѣтъ увядающаго, и скорбей ежедневныхъ, смѣховъ мгновенныя радости, которыя съ болью изъ груди вылетая, въ туманѣ печалей исчезаютъ, и горестей, многіе годы душу терзающихъ“ <sup>4)</sup>. Мистика доводила именно до этого мрачнаго аскетическаго взгляда на міръ, и понятно, что всякое въ немъ движеніе на ея глаза казалось подозрительнымъ и грѣховнымъ.

Юридическіе вопросы, въ особенности по уголовному праву, сильно занимали Лопухина. Лопухинъ не былъ однако настоящимъ юристомъ; для этого недоставало у него ни образованія, ни свѣдѣній. Его интересовали не частные случаи, а общая внутренняя нравственная сторона дѣла. Не имѣя никакого литературнаго таланта, Лопухинъ написалъ драму въ пяти дѣйствіяхъ: „Торжество правосудія и добродѣтели или доброй судьи“. (М. 1798 г.) Она не была вовсе представлена на сценѣ, да вѣроятно, и не имѣла бы сценическаго успѣха. Цѣль этой драмы была совершенно дидактическая. Русскому обществу, воспитанному на безправіи, на незаконности отношеній, привыкшему къ тайному суду и взяткамъ, авторъ желалъ показать идеаль безкорыстнаго и честнаго судьи, неподкупнаго и строгаго, жертвующаго даже собственными выгодами, даже счастіемъ своего сына, только для того,

<sup>1)</sup> Др. Юв. 1809 г. Апрѣль, стр. 32.

<sup>2)</sup> Ibid., Мартъ, стр. 38.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 45.

<sup>4)</sup> Ib., Апр., стр. 40.

чтоб торжествовала истина. Лопухинъ самъ говоритъ въ своемъ послѣсловіи въ драмѣ, что у него была эта нравственная поучительная цѣль, и нисколько не претендуетъ на драматическій талантъ: „Говорятъ, что драма сія неудобна для театра, что много въ ней противнаго его правиламъ и пр., но если чтение ея можетъ принести хотя малую пользу, то весьма награжденъ будетъ трудъ автора, который никогда не занимался театромъ и его правилами, и который всегда думалъ, что если не единственный, то, по крайней мѣрѣ, главный предметъ всѣхъ книгъ долженъ быть *польза* или умноженіе способовъ распространяться добродѣтели“ <sup>1)</sup>. Къ пользѣ необходимо, однако, долженъ присоединяться талантъ, чтобы литературное произведеніе дѣйствовало на массу, а его не было у Лопухина, и драма его совершенно забыта. Честный судья, выведенный имъ на сцену, чрезвычайно далекъ отъ дѣйствительности; его рѣчи, въ которыхъ онъ непрерывно говоритъ о правосудіи, законности и любви къ истинѣ и людямъ, похожи на сухую мораль, легко наскучивающую; дѣйствіе и развитіе въ драмѣ совершенно ничтожно, а изъ лицъ ни одно не возбуждаетъ къ себѣ сочувствія живостію изображенія и характеромъ.

То же желаніе представить въ настоящемъ свѣтѣ достоинство судьи въ томъ обществѣ, которое не могло его цѣнить и уважать, видно въ небольшомъ сочиненіи Лопухина „Отрывки. Сочиненіе одного стариннаго судьи“ (М. 1809. 12°) <sup>2)</sup>, посвященномъ имъ юношеству. Онъ предлагаетъ ему въ этихъ „Отрывкахъ“, написанныхъ въ видѣ небольшихъ афоризмовъ, „нѣчто, могущее не бесполезно занять размышленіе о гражданскомъ званіи“. Этому юношеству, которое тогда, въ XVIII и началѣ XIX вѣка, все стремилось въ военную службу, пренебрегая должностію и званіемъ судьи, Лопухинъ говоритъ о достоинствѣ этого званія: „Добродѣтели судьи, блюстителя земскаго устройства, законоискусника, правосудіе однимъ предметомъ имѣющаго, не меньше для отечества нужны, не меньше почтенны, какъ и доблести воинскія“. Для строгаго, настоящаго исполненія этой обязанности нужно не меньше мужества, какъ и для войны съ врагами внѣшними. „Тысячами считаемъ мы людей, неустрашимо жертвующихъ своею жизнію на битвахъ съ непріятелями, и сколь не часты тѣ, кои бы не только ею, но какими нибудь выгодами собственной корысти жертвовали правдѣ въ судахъ“. „Отрывки“ говорятъ въ общихъ словахъ объ обязанностяхъ судьи, повторяютъ то, что въ своихъ „Запискахъ“ Лопухинъ показалъ жиз-

<sup>1)</sup> Изд. 1798 г., стр. 131.

<sup>2)</sup> Др. Юн. 1808 г. Октябрь, стр. 9—30.

неннымъ примѣромъ. И въ нихъ нашелъ онъ случай напасть на политическія теоріи вѣка; онъ возстаетъ противъ „Contrat social“ Руссо и совѣтуетъ подданнымъ пассивное подчиненіе всякой власти, какъ бы жестока и тяжела ни была она. „Не только зло, во всякомъ правленіи человѣческомъ неотвратимое, терпѣливо сносить должно, говорить онъ; но лучше терпѣть величайшее притѣсненіе и тиранство, нежели возмущаться и частнымъ людямъ предпринимать перемѣну правленія“. Такія скромныя правила гражданскихъ отношеній требовало масонство отъ своихъ членовъ. Старость, кажется, прекратила служебную дѣятельность Лопухина, но онъ считался на службѣ до самой смерти своей. По словамъ его „Записокъ“, послѣдніе годы онъ жилъ въ Москвѣ, какъ въ пустынѣ. „Лучшіе друзья мои почти всѣ разлучены со мною смертью или отсутствіемъ“. Но литературное движеніе мистицизма при Александрѣ было не чуждо ему; напротивъ, онъ принималъ въ немъ самое дѣятельное участіе, вызывалъ его, возбуждалъ его. Съ новымъ заграничнымъ оракуломъ мистицизма — Юнгомъ Штиллингомъ, котораго сочиненія были переведены тогда на русскій языкъ, Лопухинъ даже вступилъ въ переписку. Онъ, кажется, гордился нѣсколько этою перепискою и называлъ Штиллинга „сей небомъ просвѣщенный проповѣдникъ истины и предвѣстникъ явленій ея царства“ <sup>1)</sup>. Мы дадимъ понятіе объ этомъ теософѣ, когда будемъ говорить о русскихъ переводахъ его сочиненій. Для мистиковъ нашихъ онъ стоялъ выше Эккартсгаузена. Когда въ началѣ царствованія Александра стали заводиться и въ Москвѣ масонскія ложи, то Лопухинъ смотрѣлъ на это неблагоосклонно и не желалъ имѣть никакого сношенія съ этими новыми ложами. Его примѣру слѣдовали и его ученики. Они считали ложи въ это болѣе свободное время ненужными. „Люди, представлявшіе себя правителями ихъ здѣсь (въ Москвѣ), по репутаціи своей не могли быть для меня приманкою для вступленія съ ними въ масонскій союзъ“, говоритъ Невзоровъ <sup>2)</sup>. „Это были не Иванъ Владиміровичъ (Лопухинъ) и подобные ему свободные каменщики“. Главное вниманіе Лопухина и его единомышленниковъ было обращено на мистицизмъ, на распространеніе мистическихъ сочиненій, которыхъ тогда выходило много. Любопытно, что Лопухинъ желалъ даже посвятить въ мистическую литературу Сперанскаго, съ которымъ находился въ перепискѣ и по дѣламъ службы и по своимъ собственнымъ о долгахъ по имѣнію, хлопоча о нихъ у государя. Изъ снисходительности ли или изъ научнаго любопытства интересовался Сперанскій мистическою литературою, мы не знаемъ, но онъ просилъ

<sup>1)</sup> Зап., стр. 169.

<sup>2)</sup> Библ. Зап., т. I, 1858 г., стр. 658.

у Лопухина о доставленіи ему разныхъ книгъ и указаній. Лопухинъ посылалъ ему множество книгъ съ своими о нихъ заключеніями. „Тому вкусу въ чтеніи, который вы, любезный другъ, описываете, пишетъ онъ въ Сперанскому, надобно радоваться... Главное искусство, если можно такъ сказать, въ этомъ дѣлѣ не знать стараться о свѣтѣ и истинѣ, но умѣть стараться о соединеніи съ ними или о способахъ давать имъ въ насъ раскрываться и дѣйствовать, не имѣя только имъ“ <sup>1)</sup>. Лопухинъ хлопоталъ у Сперанскаго о помощи въ его разстроенныхъ дѣлахъ. Причиною этого разстройства была собственно его благотворительность: онъ нажилъ долги, которые лежали на его имѣніи, и сталъ тягаться объ этихъ долгахъ, желая, вѣроятно, сохранить свое имѣніе. До насъ дошло одно очень жесткое письмо Сперанскаго къ Лопухину по поводу этихъ хлопотъ его. Оно наполнено горькими истинами: „Быть богатымъ и употреблять богатство на благотворенія, конечно, хорошо, пишетъ Сперанскій, но дѣлать долги и потомъ тягаться о долгахъ, какое бы ни было впрочемъ ихъ начало, сіе и въ обыкновенномъ человѣкѣ есть дѣло непохвальное, а въ васъ оно и совсѣмъ непонятно... Развѣ все дѣло наше состоитъ въ томъ, чтобы исповѣдовать словами имя Христово и услаждаться въ кабинетѣ размышленіемъ о семъ великомъ имени, а внѣшнія дѣла попускать идти такъ, какъ бы они шли и безъ него, по внѣшнему движенію страстей? Развѣ на крестъ надобно смотрѣть съ умиленіемъ, а несть его не наше дѣло? Развѣ словами только надобно намъ здѣсь считать себя изгнанниками и пришельцами, а на дѣлѣ за каждый кусокъ земли воевать съ цѣлымъ свѣтомъ и всѣхъ, съ нами разномыслящихъ, считать за беззаконниковъ?“ <sup>2)</sup>. Мы не знаемъ хорошо обстоятельствъ жалобъ Лопухина на его кредиторовъ, но нельзя не признать справедливости словъ Сперанскаго, хотя съ другой стороны намъ извѣстно, что въ жизни Лопухина не было замѣтно противорѣчія между словомъ и дѣломъ.

Послѣдніе годы своей жизни Лопухинъ дѣятельно заботился о распространеніи мистическихъ сочиненій и изданій, которыя стали тогда появляться. Онъ самъ писалъ очень много въ этомъ родѣ и печаталъ преимущественно въ журналѣ Невзорова „Другъ Юношества“. Въ статьяхъ его замѣтно что-то дѣтское; о прежнемъ масонствѣ не было и помину, и все содержаніе ихъ какой-то добродушный, старческій религіозный мистицизмъ. Онъ вѣритъ въ возможность распространенія и пользу „благодатнаго свѣта“ и совершенно

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1870 г., стр. 610—611.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 623—625.

чуждъ дѣйствительности. „Надобно пользоваться модою на благочестіе“, пишетъ онъ къ Руничу. „Она, конечно, подвержена переменѣ; но непрочно быть не можетъ. Чтѣ издаю, то издаю. А чтеніе такое — тинктура, которая непримѣтными капельками дѣлаетъ спасительныя превращенія въ тысячахъ, и многіе годы“... <sup>1)</sup>.

## ЛЕКЦІИ XXXIX и XL.

Ковальковъ. — Невзоровъ. — Лабзинъ.

Мистики Александровскаго времени и во главѣ ихъ старикъ Лопухинъ вели такую-то почти монастырскую жизнь, вдали отъ волненій свѣта, и чуждаясь совершенно вопросовъ общественныхъ. Крѣпостное владѣніе и его удобства помогли обставить Лопухину свое деревенское уединеніе разными художественными вѣщами въ мистическомъ родѣ. Было въ этомъ что-то добродушное и даже забавное на глаза современнаго человѣка, но мистикамъ правилась эта обстановка, они приходили отъ нея въ умиленіе, и въ журналахъ того времени встрѣчались описанія жизни Лопухина въ его деревнѣ. „Живучи въ глубокомъ уединеніи, пишетъ онъ къ другу своему Руничу, утѣшаюсь только упражненіями въ своей *маленькой домашней церкви*, которая продолжаетъ заниматься сочиненіями и переводами“ <sup>2)</sup>. Сюда, въ эту „маленькую церковь“, въ изысканное уединеніе Лопухина, недалеко отъ Москвы, являлись молодые мистическіе писатели на поклонъ къ нему, жили у него, пользуясь гостепріимствомъ и бесѣдами его въ извѣстномъ родѣ. Тутъ сообщались, по выраженію Лопухина, разныя деревенскія проповѣди. Самымъ дѣятельнымъ и плодовитымъ писателемъ этой домашней Лопухинской церкви былъ его воспитанникъ, дитя его сердца, племянникъ жены его, Александръ *Ковальковъ*, который сталъ писать подъ руководствомъ Лопухина чуть-ли не съ дѣтскаго возраста и писалъ изумительно много. „Онъ написалъ тысячи листовъ, пишетъ о немъ Лопухинъ, и всякій день пишетъ или, лучше сказать, выливаетъ“. Для него онъ былъ „чудо въ своемъ родѣ“. Его первое печатное произведеніе „Плодъ сердца, полюбившаго истину, или собраніе краткихъ разсужденій о ея сущности, написанныхъ пламенною къ ней любовью“ (М. 1811 г.) появилось въ печати на счетъ Лопухина и съ портретомъ автора, когда ему было только 17 лѣтъ. Оно было встрѣ-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1870 г., стр. 1219.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1870 г., стр. 1233.

чено восторгомъ со стороны мистиковъ. Невзоровъ говорилъ, что эта книга „принесла бы честь и самому почтенному старцу писателю“<sup>1)</sup>. Содержаніе ея, по словамъ ея издателя Лопухина, есть „сущность христіанства, которую составляютъ: любовь къ Богу и смерть самолюбію“. Въ дѣйствительности, это какая-то аскетическая проповѣдь, весьма печальная для юноши 17-ти лѣтъ, говорящая о покаяніи, о принесеніи въ жертву воли, о вѣрствѣ, объ умерщвленіи ветхости, т.-е. плоти и пр.. Ковальковъ былъ слабый, болѣзненный юноша, подвергнувшійся вполне вліянію Лопухина. Онъ писалъ очень много и все въ одномъ и томъ же родѣ. Въ кругу мистиковъ впрочемъ сочиненія его находили и порицаніе, а не одни хвалебные отзывы. Изъ словъ самого Лопухина видно, что нѣкоторые изъ того же круга, разумѣется, письменно, нападали на непонятность, кудреватость, темноту его сочиненій, а одинъ пріятель Лопухина даже писалъ къ нему: „сдѣлайте милость, запретите ему писать!“ такъ что послѣдній, въ защиту своего воспитанника, долженъ былъ напечатать большую статью: „Нѣсть пророкъ во отечествіи своемъ“<sup>2)</sup>, доказывающую способности и талантъ Ковалькова и нападающую на несправедливыхъ критиковъ, которые осуждали въ Ковальковѣ его молодость. Въ 1815 году Лопухинъ напечаталъ въ Орлѣ мистическія сочиненія своего воспитанника въ двухъ томахъ, писанныя имъ на 18 и 19 году жизни: „Созиданіе церкви внутренней и царства свѣта Божія“, „Иисусъ пастырь добрый своего стада, свѣтъ и камень, глава, жрецъ и жертва своей церкви“ и „Мысли о мистикѣ и ея писателяхъ“. Сочиненія эти, по словамъ издателя, заключаютъ въ себѣ внутреннюю сущность христіанства и ни слова не говорятъ о его внѣшности, о его обрядахъ. Конечно, этимъ никто не долженъ соблазняться, говорить Лопухинъ. „Описаніе путей духа и внутренняго поклоненія души не отвергаетъ пользу только нужныхъ средствъ внѣшняго и образовъ; но нѣтъ надобности всегда писать вмѣстѣ о томъ и о другомъ“. Для насъ любопытно въ этихъ твореніяхъ Ковалькова, которыя ведутъ ожесточенную войну съ разумомъ и его свободною дѣятельностію, то представленіе о мистикѣ, которое онъ самъ высказываетъ. „Мистика или изліаніе духа языкомъ человѣческимъ должна имѣть своимъ непремѣннымъ закономъ любовь чистую, отдаленную отъ корыстей и собственности, дабы изреченіе ея не смѣсилось съ *плотскимъ естественнымъ мудрованіемъ*, и гласъ бы ея чистѣйшій проникалъ въ самый мракъ нечистоты и заустѣнія и *заглушалъ бы всякой гласъ ума соб-*

<sup>1)</sup> Др. Юн. 1811 г., Авг., стр. 111.

<sup>2)</sup> Др. Юн. 1812 г., Ноябрь, стр. 88—136.

ственнаго“<sup>1)</sup>. Умъ даетъ одну только теорію, а мистика есть вмѣстѣ съ тѣмъ и практика. Эта практика есть соединеніе съ вѣчнымъ Словомъ, съ Иисусомъ. „Философія міра сего и собственнаго ума есть самая жесткая, гнилая, противная, вредная пища душъ и изліаніе духа нечистоты“<sup>2)</sup>. Разумъ, эта игра чувствъ и воображенія, нуженъ только тому, кто не имѣетъ истиннаго свѣта. Познанія, исходящія отъ тварей, исполнены мертвенности и слабости ученія<sup>3)</sup>, потому что они произведенія собственнаго разума; для мистическаго познанія нуженъ разумъ человѣка возрожденнаго, тогда онъ дѣлается премудростію<sup>4)</sup>. Все, что разумъ производитъ отъ самого себя и въ самомъ себѣ, безъ помощи премудрости Иисуса, — чуждо истины, есть буйство, заблужденіе и одна мертвенность, злобныя идеи. Сущность ихъ заключается въ слабости или пустотѣ и въ ядовитости<sup>5)</sup>. Ученіе такого ума есть пища плоти<sup>6)</sup>. Три свойства заключаются въ этомъ ученіи: 1) буйство, исполненное невѣрія, матеріализма или атеизма: тогда разумъ есть эхидна<sup>7)</sup>; 2) ученіе страстей, совѣтъ слѣдовать ихъ наклонностямъ и ни въ чемъ не противиться побужденіямъ натуры, называя ее матерью, которой слѣдуетъ повиноваться; такое ученіе есть похоть очесъ и похоть плоти и гордость житейская<sup>8)</sup>; 3) неполное понятіе истины, потому что ученіе основывается на одномъ собственномъ умозрѣніи; такое ученіе учитъ добродѣтелямъ не христіанскимъ, а фарисейскимъ<sup>9)</sup>. Всего этого нечистаго дѣла разума стоитъ неизмѣримо выше мистика, опредѣленію сущности которой авторъ посвящаетъ большую часть своихъ разсужденій. Руководителями его являются Бемъ, Дютуа и „божественная“ Гіонша (Гіонъ де ла Мотъ—мистическая писательница). Мистика эта даетъ совершенное познаніе существъ движущихся и вещей бездыханныхъ и сокровенныхъ, но оно невозможно безъ содѣйствія той *maim*, которою они сотворены; она открываетъ ихъ истинную квинтъ-эссенцію, ихъ тинктуру. Познать эту силу можетъ только человѣкъ свѣше просвѣщенный<sup>10)</sup>. Ему дается настоящее познаніе не только натуры нижней, но и высшей — натуры ангеловъ и всей небесной іерархіи и даже духа Иисусова или „тинктуры всей

<sup>1)</sup> Мысли о мистикѣ, стр. 5—6.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 20.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 36.

<sup>4)</sup> Ibid., стр. 42.

<sup>5)</sup> Ibid., стр. 57.

<sup>6)</sup> Ibid., стр. 58.

<sup>7)</sup> Ibid., стр. 62.

<sup>8)</sup> Ibid., стр. 65.

<sup>9)</sup> Ibid., стр. 74.

<sup>10)</sup> Ibid., стр. 130—131.

вѣчной натуры“<sup>1)</sup>. До такихъ неясныхъ опредѣленій договорилась наша мистика, объявивъ непримиримую вражду наукѣ и разуму. И это писалъ юноша едва двадцати лѣтъ. Мы не знаемъ, что вышло изъ него впоследствии. Умирая въ 1816 году, Лопухинъ поручилъ его извѣстному покровителю мистиковъ въ Александровское время, человѣку, увлекавшемуся всякимъ религіознымъ движеніемъ, А. Н. Голицину; о Ковальковѣ хлопоталъ также Жуковскій, изъ уваженія къ Лопухину<sup>2)</sup>. Кажется впрочемъ, что Ковальковъ умеръ въ молодыхъ годахъ, а то изъ него вышелъ бы непременно такой же гонитель просвѣщенія и науки, какимъ былъ Магницкій и другіе ему подобные.

Для того, чтобы погружаться въ эти волны мистическаго познанія, надобно было имѣть совершенно спокойное существованіе, безъ заботъ внѣшнихъ. Способы для этого, какъ мы сказали, давало тогда крѣпостное право. Лопухинъ былъ большой охотникъ до садовъ и разводилъ ихъ съ помощію своихъ крестьянъ дешевымъ способомъ въ своихъ имѣніяхъ. И въ стихахъ и въ прозѣ описывали его друзья и поклонники эти сады, украшенные мистическими символами и посвященные мистическимъ удовольствіямъ. Таково „прово-поэмическое твореніе“ того же Ковалькова: „Мирное уединеніе въ садахъ сельца Савинскаго, во время нашествія враговъ“<sup>3)</sup>. Тутъ былъ знаменитый Юнговъ островъ, о которомъ часто упоминали друзья и поклонники, съ памятниками, сооруженными тѣмъ героямъ, кои „отличались терпѣніемъ на крестномъ пути своемъ во слѣдъ крестоносцу Иисусу“: Гюншѣ, Фенелону и Дютуа. Подъ памятниками этими хранились волосы ихъ. На холмѣ, окруженномъ сосновымъ кустарникомъ, стоялъ крестъ съ мистическими фигурами, поставленный въ честь знаменитаго теософа Беа, а бюстъ его находился у подножія креста. Оттуда идетъ дорожка къ холму, на которомъ опять стоитъ урна въ честь Гюнши, Дютуа и Фенелона; далѣе хижина, посвященная имени Ж. Ж. Руссо; затѣмъ большой мраморный столбъ съ урною и съ надписью: „памяти мудраго“, посвященный Экартсгаузену. Тутъ же памятникъ и извѣстному протестантскому мистіку XVII вѣка Квирину Кульману, который, по настоянію пасторовъ и ортодоксовъ протестантизма, былъ сожженъ въ Москвѣ въ 1689 году. Рядомъ *пустынька*, посвященная уединенію и мистическому размышленію. На стѣнѣ ея крестъ съ надписью: „крестъ дражайшій! вождь вѣрный мой!“ На столѣ въ пустынькѣ *письмо*, содержащее въ себѣ „правила душамъ, желающимъ побѣдить

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 148.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 804, 807.

<sup>3)</sup> Др. Юн. 1813 г., Февраль, стр. 1—127.



міръ со всѣми его прелестями“. *Колоколъ* на верху пустыньки, конечно, напоминаетъ „спасительную силу божественнаго гласа, возбуждающаго отъ сна грѣховнаго ко бдѣнію во храмъ истины и любви“. Въ гротѣ два памятника: одинъ Тихону Задонскому, незадолго передъ тѣмъ признанному святымъ, другой—мистикъ Краевичу, другу Лопухина. Въ такомъ же родѣ была и „Орлиная пустынь“, англійскій садъ, устроенный и описанный самимъ Лопухинымъ<sup>1)</sup>. Эта пустынь находилась въ другомъ имѣніи Лопухина, въ селѣ Воскресенскомъ или Ретязи, Орловской губерніи, Кромскаго уѣзда. Эта пустынь была устроена какъ *памятникъ* страданіямъ какаго-то *Андрея*, „знаменитаго твердостію духа въ послѣдней половинѣ прошлаго вѣка“. По всей вѣроятности, это былъ Арсеній Мацѣвичъ, митрополитъ Ростовскій, знаменитый своимъ энергическимъ отпоромъ только что вступившей на престолъ Екаторинѣ, послѣдній защитникъ старыхъ правъ духовенства, разрушенныхъ регламентомъ Петра В. Извѣстно, что въ мартѣ 1763 года онъ послалъ въ синодъ пространный протестъ противъ распоряженія Екаторины, которымъ учреждался надзоръ за доходомъ съ имѣній духовенства; въ этомъ протестѣ онъ нападалъ также очень рѣзко на современное равнодушіе къ религіи. Въ апрѣлѣ того же года Арсеній былъ лишенъ архіерейства и сосланъ въ Никольскій Корельскій монастырь подъ Архангельскомъ. Здѣсь онъ сдѣлался въ мнѣніи народа мученикомъ и пророкомъ; его пророчества были направлены всѣ противъ Екаторины, которую онъ ненавидѣлъ. Черезъ четыре года какаго-то монахъ подалъ донесъ на Мацѣвича; было произведено слѣдствіе и его лишили монашества и по собственному распоряженію Екаторины переодѣли въ простое крестьянское платье и подъ нарочно-придуманномъ императрицею именемъ *Андрея Вралы*, заперли въ Ревельскую крѣпость, гдѣ онъ и умеръ въ 1772 году, до самой смерти своей не видя при себѣ ни одного живого существа. Эта чрезвычайная жестокость окружила Арсенія вѣнцемъ мученичества и святости; о немъ сложилась легенда, и въ представленіяхъ народа онъ является страдальцемъ за правду, хотя въ сущности защищалъ неправое дѣло. Какимъ образомъ этотъ представитель прерогативъ духовенства, котораго сочиненія имѣютъ чисто церковный характеръ, сдѣлался достойнымъ особаго уваженія и поклоненія со стороны масона и мистика Лопухина? Повидимому, въ характерѣ и дѣятельности Арсенія не было для Лопухина ничего сочувственнаго; всего вѣроятнѣе, онъ видѣлъ въ немъ поборника независимости церкви отъ государства и религіознаго человѣка, искренно преданнаго церкви, и сверхъ того врага современнаго просвѣщенія.

<sup>1)</sup> Др. Юв. 1814 г., Мартъ, стр. 20—38 и Августъ, стр. 113—128.

Но главнымъ образомъ, страданія Мацѣвича, жестокое обращеніе съ нимъ власти и его христіанское смиреніе влекли къ себѣ Лопухина. Въ его тюрьмѣ остались написанными углемъ на стѣнѣ слова: „благо мнѣ, яко смирилъ мя еси“, и эти слова повторены Лопухинымъ на его памятникѣ Андрею <sup>1)</sup>. Лопухинъ въ своемъ памятникѣ Арсенію Мацѣвичу сдѣлалъ его какимъ-то розенкрейцеромъ: изъ мертвой головы вырастаетъ роза; на стѣнахъ изображеніе розоваго креста, по угламъ гіероглифическія изображенія: оковы, переломленный посохъ, закрытая книга и горящій трисвѣчникъ. Вверху надпись: „вѣрному до смерти, вѣнецъ живота“. Эта Андреева пустынь была любимымъ мѣстомъ для прогулокъ Лопухина: въ ней все символически изображало страданія Мацѣвича. Вообще у Лопухина была особая какая-то любовь къ памятникамъ и монументамъ, которые онъ ставилъ по разнымъ случаямъ. Такъ въ томъ же Орловскомъ имѣніи были памятники въ честь русскихъ побѣдъ въ 1812 году, въ память убитыхъ на этой войнѣ воиновъ изъ окрестныхъ жителей; въ память взятія Парижа въ 1814 году и проч. Вообще Лопухинъ незадолго до своей смерти впалъ въ дѣтство. Въ письмѣ къ Руничу онъ передаетъ, какъ онъ праздновалъ у себя торжественно похороны славы Бонапартовой, дѣтъ за семь до настоящей смерти Наполеона, созывая на этотъ праздникъ своихъ деревенскихъ сосѣдей особыми для того приготовленными пригласительными билетами. Лопухинъ самъ является на этомъ торжествѣ какимъ-то первосвященникомъ. Онъ громко провозглашаетъ слова: „И память вражія погibe съ шумомъ“, велитъ стрѣлять изъ домашнихъ пушекъ и раздаетъ крестьянамъ 500 крестиковъ для обыкновеннаго ношенія въ память торжества о побѣдѣ и одолѣніи врага <sup>2)</sup>. Такъ забавлялись наши мистики.

Самымъ пылкимъ и восторженнымъ поклонникомъ Лопухина былъ дѣйствительно многимъ ему обязанный Максимъ Ивановичъ *Невзоровъ*; изъ своей преданности Лопухину онъ сдѣлалъ какъ бы особый культъ, которому оставался вѣренъ до самой смерти своей. Онъ не былъ ревностнымъ мистическимъ писателемъ, мало вообще пускался въ мистическій туманъ, былъ скорѣе практическимъ человѣкомъ и честнымъ дѣятелемъ, довольно полезнымъ по времени журналистомъ и оригинальною личностью, всѣмъ хорошо знакомою въ Москвѣ, но тѣмъ не менѣе, его можно считать распространителемъ мистическихъ убѣжденій и врагомъ свободнаго просвѣщенія, основаннаго не на исключительно религіозныхъ началахъ. Воейковъ въ

<sup>1)</sup> Лонгиновъ. День, 1862 г., № 19.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1770 г., стр. 1226—1227.

своемъ знаменитомъ „Сумасшедшемъ Домѣ“ съ насмѣшливой ироніей отозвался о немъ слѣдующимъ четверостишіемъ:

Я взглянулъ: Максимъ Невзоровъ  
Углемъ пишетъ на стѣнѣ.  
Если-бъ такъ, какъ на Вольтера,  
Былъ на мой журналъ расходъ,  
Пострадала-бъ горько вѣра:  
Я вреднѣй чѣмъ Дидеротъ.

Боейковъ становится какъ-бы на сторону официальной церкви, враждебной мистикѣ.

Невзоровъ родился въ 1762 или 1763 году, слѣдовательно, онъ принадлежалъ уже къ молодому поколѣнію масоновъ и мистиковъ Новиковскаго кружка, да и вся его дѣятельность принадлежитъ къ Александровскому времени. Происходилъ онъ изъ духовнаго званія, былъ сыномъ священника изъ окрестностей Рязани и первое образованіе получилъ въ семинаріи этого города. Какъ самый лучшій ученикъ ея, онъ былъ присланъ епархіальнымъ начальствомъ въ 1779 году въ Москву по вызову „Дружескаго общества“ Новикова; на его счетъ и подъ его надзоромъ поступилъ онъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, а потомъ перешелъ на медицинскій, такъ что въ университетѣ онъ пробылъ около десяти лѣтъ. Безъ сомнѣнія, въ эти годы Невзоровъ слушалъ вліятельныя лекціи Шварца, вербовавашаго членовъ въ масонское общество: отрывки этихъ лекцій были помѣщены потомъ Невзоровымъ въ его журналъ. Безъ сомнѣнія, онъ былъ также участникомъ въ собраніяхъ масонскихъ ложъ. Въ своемъ „убѣдительномъ“ посланіи къ Поздѣеву, своему товарищу и также масону, Невзоровъ положительно говоритъ о своемъ масонскомъ воспитаніи. Масонство и И. В. Лопухинъ—вотъ два источника, отъ которыхъ Невзоровъ, по его словамъ, получилъ все: „отъ незабвеннаго и одного Ивана Владиміровича получилъ все наружное свое состояніе, такъ какъ отъ свободнаго каменщичества внутреннее, гдѣ также всего главнымъ и для меня, можно сказать, единственнымъ орудіемъ былъ тотъ же Иванъ Владиміровичъ“ <sup>1)</sup>. Посланіе это писано черезъ много лѣтъ послѣ его масонскаго воспитанія; въ немъ сохранились его прежнія воспоминанія и для насъ любопытны слова его о томъ, чѣмъ онъ обязанъ масонству. „Мое исповѣданіе объ ордени свободнаго каменщичества, говоритъ онъ, въ которомъ мнѣ по волѣ Бога милосердаго посчастливилось учиться, есть таковое, что я его собственно для себя почитаю истинною женою, облеченною въ солнце,

<sup>1)</sup> Библ. Зап. I, стр. 645.

о коей упоминается въ 22 главѣ Апокалипсиса, и породившею во мнѣ чадо истины“... Это, конечно, мистическое и неопредѣленное выраженіе. „Болѣе же всего къ таковому рожденію во мнѣ истины служилъ поводомъ бывшій мой великій мастеръ въ ложѣ Блισταющей Звѣзды, неподражаемый мой благодѣтель во всемъ И. В. Лопухинъ, который истинно одинъ изъ не послѣднихъ, и, можно сказать, изъ первыхъ драгоценныхъ камней, украшающихъ корону вышеозначенной жены“... Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „послѣ Бога и простыхъ бѣдной матери моей наставленій, ежели есть во мнѣ что хорошаго, я всѣмъ обязанъ ему“<sup>1)</sup>. Гораздо положительнѣе говоритъ Невзоровъ о значеніи для него масонства въ слѣдующихъ словахъ: „Орденъ свободныхъ каменщиковъ, въ которомъ я былъ членомъ, для меня былъ лучшимъ училищемъ христіанскимъ, и я по милости Бога не хотѣлъ иначе понимать его“<sup>2)</sup>. Каноническою книгою масонства Невзоровъ считаетъ „Пастырское Посланіе“ (СПБ., 1806). Ученіе и обязанность масона должны состоять въ подражаніи Христу... Затѣмъ говоритъ онъ съ полнымъ одобреніемъ о практической или филантропической сторонѣ масонства и о его литературѣ, которой призваніе есть борьба съ философскимъ невѣріемъ въка. „Самая же лучшая услуга тогдашнихъ членовъ свободного каменничества российскому отечеству въ особенности, а христіанству вообще, состояла въ изданіи безчисленныхъ душевспасительныхъ книгъ, которыхъ цѣлое море на российскомъ и другихъ языкахъ противопоставили они адской водѣ вольнодумческихъ и безбожныхъ книгъ, прорвавшейся тогда со всѣхъ сторонъ. Словомъ сказать, Богъ явилъ тогдашнихъ свободныхъ каменщиковъ въ Россіи точно въ самое нужное время, дабы противопоставить ихъ антихристовскому племени, со всѣхъ сторонъ начавшему воевать противъ истинной церкви Христовой“<sup>3)</sup>. Эту же цѣль предполагаетъ онъ и для своей литературной дѣятельности.

Въ 1788 году, будучи такимъ образомъ увлеченнымъ поклонникомъ масонства, Невзоровъ, вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Колбокольниковымъ, также воспитанникомъ Дружескаго общества, былъ отправленъ за границу на счетъ общества, какъ для усовершенствованія въ наукахъ, такъ, по всей вѣроятности, и для специальныхъ цѣлей масонства. Цѣлью ихъ путешествія былъ знаменитый тогда Лейденскій университетъ, гдѣ оба они выслушали полный курсъ наукъ и получили степень доктора медицины. Довольно долго про-

<sup>1)</sup> Др. Юн., 1812 г., Авг.

<sup>2)</sup> Библ. Зап. т. I, стр. 646.

<sup>3)</sup> Библ. Зап., т. I, стр. 649.

жилъ Невзоровъ въ Германіи и познакомился со многими нѣмецкими университетами, въ которыхъ остался недоволенъ анти-христіанскимъ духомъ и направленіемъ науки. Конечно, человѣку, воспитанному въ школѣ Новикова, нечего было дѣлать въ нѣмецкихъ университетахъ, гдѣ преподавалась свободная протестантская наука; онъ явился туда уже съ сложившимися убѣжденіями, и московское вліяніе было сильнѣе заграничнаго, тѣмъ болѣе, что Невзоровъ не былъ хорошо знакомъ съ языкомъ нѣмецкимъ. Отсюда постоянная ненависть его къ профессорамъ и къ наукѣ нѣмецкихъ университетовъ, которая такъ часто проглядываетъ въ его сочиненіяхъ, особенно въ его журналѣ. Точно также и въ политическомъ отношеніи масонскія вліянія остались преобладающими. Осенью 1790 года былъ онъ вмѣстѣ съ Колокольниковымъ въ Страсбургѣ. Весь Эльзасъ былъ полонъ тогда революціоннымъ движеніемъ. Въ Страсбургѣ образовалось патріотическое общество для революціонной пропаганды, и нашихъ масоновъ приглашали посѣтить его не только нѣкоторые жители Страсбурга, но и бывшіе тогда въ немъ русскіе путешественники, но они рѣшительно отъ того отказались, почитая, по словамъ Невзорова, „всѣ таковыя заведенія плодомъ мятежнаго буйства“, и не поѣхали въ Парижъ, куда имъ слѣдовало ѣхать, потому что тамъ господствовала революція <sup>1)</sup>. У нихъ были масонскія цѣли и порученія. Въ чемъ они состояли однако, кромѣ продажи и покупки книгъ, намъ неизвѣстно. Находясь подъ вліяніемъ московскихъ масоновъ, даже наслаждаясь чтеніемъ масонскихъ книгъ за границею, Невзоровъ однако не сближался съ заграничными масонами и, по совѣту Лопухина, избѣгалъ посѣщенія тамошнихъ ложъ. Въ 1791 году его приглашали посѣтить дожу въ Геттингенъ, но онъ отказался и потомъ высказывалъ свою радость, что отказался, потому что въ собраніи этой ложи великій мастеръ, профессоръ Бюргеръ, говорилъ похвалу французскому равенству. Нѣмецкіе университеты и въ особенности Геттингенскій, по словамъ Невзорова, „сіе молодое, но слишкомъ далѣе другихъ забѣжавшее въ новомъ безуміи дитя Германіи (замѣтимъ, что въ немъ учились нѣкоторые лучшіе люди царствованія Александра) были первѣйшими орудіями, разсадниками и распространителями всякаго разврата и безбожія и послѣдовавшаго оттого несчастія своего отечества“. Все это Невзоровъ писалъ въ спокойное время, въ частномъ письмѣ, въ полномъ убѣжденіи, а не изъ боязни преслѣдованія.

Не смотря, однако, на такой безвредный образъ мыслей молодыхъ масоновъ, ихъ пребываніе за границею во время революціоннаго

<sup>1)</sup> Библ. Зап., I, стр. 650.

движенія, напугавшаго уже правительство Екатерины, ихъ связи съ мартинистами, противъ которыхъ начались тогда преслѣдованія, сдѣлали ихъ людьми подозрительными для власти. По приѣздѣ Невзорова и Колокольниковъ въ февралѣ 1792 года въ Ригу, ихъ тотчасъ взяли подъ стражу и повезли въ Петербургъ въ Невскій монастырь, подъ именемъ якобинцевъ, а оттуда въ Петропавловскую крѣпость. Началось слѣдствіе, веденное пресловутымъ Шешковскимъ. Въ его допросахъ было много забавнаго, напр., онъ спрашивалъ у Невзорова: „отчего произошла французская революція?“ Невзоровъ доказывалъ, что революція, „сіе чудовищное произведеніе кровопролитственной философіи просвѣщенной политики“, не имѣетъ ничего общаго съ масонствомъ, что напротивъ того всѣ дѣйствія масонства имѣютъ цѣлью борьбу съ нею. На слѣдствіи Невзоровъ показалъ большую твердость духа и достоинство характера, даже тогда, когда Шешковский грозилъ пыткою; онъ ничего не хотѣлъ отвѣчать безъ депутата отъ университета, къ которому принадлежалъ, ссылаясь на законъ. Слѣдствіе, однако, несмотря на то, что не привело ни къ какимъ результатамъ, произвело такое сильное впечатлѣніе на умъ молодыхъ людей, что оба они изъ крѣпости переведены были въ домъ сумасшедшихъ при Обуховской больницѣ, гдѣ Колокольниковъ вскорѣ и умеръ, а Невзоровъ подъ тяжестію душевной болѣзни оставался нѣсколько лѣтъ, до самаго воцаренія Павла и одновременнаго освобожденія Новикова. Невзоровъ рассказываетъ, что Павелъ самъ посѣтилъ его въ больницѣ пять разъ и однажды съ императрицею и наследникомъ <sup>1)</sup> Только въ 1798 году можно было взять Невзорова изъ больницы, и по Высочайшему повелѣнію онъ былъ отправленъ въ Москву на попеченіе прежняго его воспитателя—Лопухина. Онъ жилъ въ его домѣ, какъ родственникъ. Это пребываніе его въ домѣ Лопухина напоминало ему прежнее время: Невзоровъ жилъ въ обществѣ масоновъ и мистиковъ, которыхъ давно привыкъ уважать,—слѣдовательно, онъ не разрывалъ связей съ прошедшимъ, не могъ понять новаго времени, и никакая другая дѣятельность не могла замѣнить той, которая ему была такъ хорошо знакома. Литературная дѣятельность Невзорова (до тѣхъ поръ онъ ничего не печаталъ) началась стихотвореніями, которыя были собраны имъ потомъ въ одну книжку (М., 1804). Это были обычныя оды на разныя событія или въ честь лицъ, которыхъ особенно уважалъ Невзоровъ, но поэтическаго таланта въ немъ не было.

Невзоровъ, нигдѣ не служившій и не имѣвшій никакихъ средствъ къ существованію, жилъ въ домѣ Лопухина и на его счетъ. Въ

<sup>1)</sup> Библ. Зап. I, стр. 653—654.

1800 году Лопухинъ взялъ его съ собою въ качествѣ секретаря во время ревизіи имъ Вятской губерніи. Плодомъ этого путешествія съ Лопухинимъ было описаніе его, изданное въ 1803 году: „Путешествіе въ Казань, въ Вятку и Оренбургъ въ 1800 году“, въ формѣ писемъ, въ подражаніе Карамзину и В. Измайлову, но безъ сентиментальнаго направленія, господствовавшаго у нихъ. По плану Невзорова должно было появиться пять частей этого описанія, но все дѣло ограничилось первой. Авторъ остановился на описаніи Казани. Описаніе его путешествія отличается преобладаніемъ въ немъ фактической стороны; Невзоровъ сообщаетъ факты по исторіи, географіи и статистикѣ, но весьма кратко. Почему не продолжалось изданіе — намъ неизвѣстно.

По возвращеніи изъ этой поѣздки, Невзоровъ по ходатайству Лопухина опредѣленъ былъ въ канцелярію Московскаго университета, съ употребленіемъ по ученой части, и съ тѣхъ поръ служилъ этому университету въ разныхъ должностяхъ, особенно въ качествѣ начальника типографіи, шестнадцать лѣтъ, до самой отставки своей въ 1816 году. На этой службѣ Невзоровъ отличался рѣдкимъ въ нашемъ обществѣ безкорыстіемъ и презрѣніемъ къ матеріальнымъ выгодамъ. Два раза жертвовалъ онъ значительныя суммы изъ денегъ, слѣдовавшихъ ему по закону съ доходовъ университетской типографіи: разъ въ пользу университета, а въ другой бѣднымъ чиновникамъ и наборщикамъ типографіи, потерпѣвшимъ отъ непріятельскаго нашествія въ 1812 году, 6.000 р. Въ это время онъ до самой послѣдней крайности въ виду непріятеля оставался при типографіи и своими заботами спасъ ее отъ разоренія, хотя и съ трудомъ выбрался изъ Москвы. Свои испытанія и волненія этого времени Невзоровъ описалъ въ замѣчательной статьѣ „Исходъ мой изъ Москвы во время нашествія французовъ“ <sup>1)</sup>. По возвращеніи въ Москву онъ съ тѣмъ же рвеніемъ отдался своей службѣ, жертвуя собственными средствами на устройство и приведеніе въ порядокъ типографіи послѣ непріятельскаго нашествія. Личный характеръ Невзорова отличался прямою, соединенною съ нѣкоторою раздражительностію, что приводило его нерѣдко въ непріятныя столкновенія съ разными лицами и въ особенности съ начальниками. Непріятности эти увеличивались съ годами и повели къ тому, что онъ долженъ былъ покинуть службу въ 1816 году, оставивъ по себѣ память вполне честнаго человѣка.

Почти вся литературная дѣятельность Невзорова, почти все дѣло его жизни, на которое онъ употреблялъ всѣ свои способности и

<sup>1)</sup> Др. Юн., 1812 г., Октябрь.

всѣ свои познанія, соединены съ изданіемъ журнала „Другъ Юношества“, къ чему въ послѣдствіи онъ прибавилъ: „и всякихъ лѣтъ“. Большую помощь въ основаніи и распространеніи этого журнала оказалъ Невзорову извѣстный тогдашній попечитель Московскаго университета Муравьевъ, который именно желалъ, чтобъ университетъ имѣлъ свое педагогическое изданіе. Съ 1807 года Невзоровъ и сталъ издавать свой журналъ, посвященный М. Н. Муравьеву, котораго онъ называетъ „другомъ юношества“. По разсказу Невзорова, онъ пригласилъ къ себѣ въ сотрудники „двухъ старинныхъ своихъ почтенныхъ пріятелей“, но именъ ихъ назвать не желаетъ<sup>1)</sup>. Это были Багрянскій и Дмитріевскій. Кромѣ нихъ былъ Лопухинъ, всегда и во всемъ помогавшій Невзорову. Изданіе, впрочемъ, шло не вполне удачно. Въ первый годъ помогалъ деньгами Лопухинъ, да и въ остальные годы число подписчиковъ было незначительно. Невзоровъ говоритъ, что онъ вовсе не ищетъ выгодъ и прибылей отъ журнала, а желалъ бы только, чтобъ онъ окупался, но и этого едва ли всегда достигалъ: журналъ былъ слишкомъ серьезенъ, отвлеченъ, не по-плечу тогдашней публикѣ и совершенно чуждъ современнымъ вопросамъ. Сначала въ первые годы онъ былъ исключительно посвященъ вопросамъ и предметамъ воспитанія, но многіе ли тогда могли интересоваться этимъ? „Хотя съ большимъ сожалѣніемъ, однако должно сказать, говоритъ издатель, что у насъ многіе называютъ воспитаніемъ дѣтей то, когда они отдадутъ сына въ какую школу или пенсіонъ, или наймутъ въ домъ учителя, и особенно иностранца, и заплатя деньги, сами никогда не хотятъ болѣе имъ заниматься“<sup>2)</sup>. По смерти Муравьева, въ 1813 году журналъ былъ посвященъ Лопухину и сталъ называться „Другъ юношества и всякихъ лѣтъ“. Еще прежде измѣнился исключительно педагогическій характеръ изданія и стали помѣщаться статьи мистическаго содержанія, въ особенности принадлежащія Лопухину. Самъ Невзоровъ сталъ писать въ этомъ родѣ, не забывая, однако, первоначальной цѣли изданія. Онъ былъ глубоко преданъ этому дѣлу. Въ 1814 году, по собственному его признанію, онъ былъ такъ утомленъ препятствіями, встрѣчавшимися при изданіи журнала, что желалъ совсѣмъ прекратить его, какъ вдругъ въ Августѣ мѣсяцѣ того года вышелъ указъ Александра въ комиссію духовныхъ училищъ, въ которомъ уже проглядывалъ правительственный мистицизмъ, и Невзоровъ счелъ своимъ долгомъ продолжать изданіе.

Поддержку своему журналу, какъ нравственную, такъ и матеріальную—въ подписчикахъ, Невзоровъ находилъ преимущественно въ лю-

<sup>1)</sup> Др. Юн., 1809 г., Январь.

<sup>2)</sup> Ibid. V—VI.



дахъ одного съ нимъ направленія, частію въ тѣхъ, которые принадлежали къ старому кругу Новикова, частію въ ихъ послѣдователяхъ и воспитанникахъ. Это было понятно потому, что „Другъ Юношества“ былъ совершенно чуждъ современности, и, имѣя задачей сначала улучшеніе воспитанія, распространеніе пригодныхъ для юношества свѣдѣній и чисто нравственно-христіанское направленіе, склонился потомъ къ содержанію масонскому и высказывалъ постоянно на страницахъ своихъ недовѣріе къ современной наукѣ и просвѣщенію. Общество уходило впередъ въ своемъ развитіи, а Невзоровъ не думалъ удовлетворять его потребностямъ. Никто изъ сколько-нибудь извѣстныхъ тогда литературныхъ талантовъ не принималъ участія въ журналѣ, и Невзоровъ принужденъ былъ довольствоваться писателями только что начинающими, неизвѣстными. Весь трудъ изданія лежалъ на одномъ издателѣ, но у него не было вовсе художественнаго таланта, а научныя статьи его писаны были исключительно съ педагогическими цѣлями. Въ объявленіяхъ своихъ о журналѣ Невзоровъ постоянно повторялъ, что не принимаетъ къ напечатанію эпиграммы, сатиры, комедіи, романы, ссылаясь въ этомъ случаѣ на нравственный долгъ свой и говорилъ, что не намѣренъ служить вкусу. Можно сказать положительно, что онъ боролся въ своемъ журналѣ со вкусомъ времени, съ духомъ вѣка, презиралъ ихъ, какъ и человѣческую науку, основанную на доводахъ и доказательствахъ, а не на мистикѣ, а потому и былъ все время изданія своего журнала цѣлю насмѣшекъ и эпиграммъ.

Невзоровъ былъ человѣкъ ученый, воспитанный въ строгой классической школѣ, а потому въ журналѣ его встрѣчается много статей, посвященныхъ древнему міру, міеологіи, исторіи и проч., но правильному и свободному взгляду на этотъ предметъ мѣшала исключительно религіозная точка зрѣнія, которая вела его къ поученію, да и статьи его не были самостоятельны, а составлялись по французскимъ переводамъ. На исторію всемірную Невзоровъ также смотрѣлъ съ нравственной точки зрѣнія, выдѣляя изъ нея только тѣ лица, которыя по содержанію своему сколько нибудь соответствовали его масонско-мистическому воспитанію въ школѣ Новикова и Шварца: таковы были вообще реформаторы и протестантскіе мистики, о которыхъ онъ говоритъ съ особеннымъ уваженіемъ. Но вся исторія новой Европы казалась ему только приготовленіемъ къ французской революціи, которую онъ ненавидѣлъ всѣми силами души своей. Постоянная война идетъ въ его журналѣ противъ энциклопедистовъ и вообще французской философіи XVIII вѣка. Здѣсь онъ высказывалъ свои собственныя сужденія, обязанныя существованіемъ масонскому воспитанію его. Статей, написанныхъ имъ противъ знаменитыхъ пред-

ставителей мысли въ XVIII вѣкѣ и противъ нѣмецкой науки, зараженной, по мнѣнію Невзорова, тѣмъ же нехристіанскимъ направленіемъ,—въ журналѣ много. Нападенія его на западную науку особенно сильны въ статьѣ: „Все ли хорошо, что въ чужихъ земляхъ водится?“<sup>1)</sup> Съ своей точки зрѣнія онъ нападалъ на чрезвычайное развитіе преподаванія въ университетахъ и гимназіяхъ классическихъ писателей и почти совѣтовалъ замѣнить изученіе древнихъ поэтовъ изученіемъ псалмовъ Давида и другихъ священныѣхъ пѣсенъ, которыя, конечно, были гораздо нравственнѣе произведеній древней музы.

Современное развитіе естественныхъ наукъ въ Германіи было также не по вкусу Невзорову. Онъ не могъ примириться съ чисто опытнымъ ихъ направленіемъ и совѣтовалъ лучше вѣрить, чѣмъ прибѣгать къ какимъ-нибудь научнымъ гипотезамъ. Также своеобразно смотрѣлъ онъ на созданія нѣмецкой литературы. Шиллера бранилъ за то, что разбойниковъ сдѣлалъ героями, Гёте за его „безнравственнаго“ Вертера и за подобострастіе къ Наполеону. Онъ пророчилъ умственное паденіе Германіи. „Германія! говорилъ Невзоровъ. Я гласомъ соотича твоего, сочинителя предлагаемой здѣсь статьи, реку тебѣ и всему бѣдотворною мудростію міра упоенному Вавилону, что ежели не престануть въ васъ толикія безумства и ослѣпленія поражать горестныя плоды свои, то вся мнимо-великая громада Вавилона, какъ брошенный въ море тяжелый жерновъ, погрязнетъ въ немъ и во всемъ пространствѣ владѣній его дживныя хитрости и изящества исчезнутъ, цвѣты поблекнутъ, свѣтъ погаснетъ и не будетъ слышно ни веселаго пѣнія, ни гласа жениха и невѣсты; възыщется кровь всѣхъ истинныхъ учителей, учащихъ словомъ и дѣломъ, избіенныхъ и избиваемыхъ мнимо—мудрыми вашими философами—мудрецами“<sup>2)</sup> А для Германіи начиналось тогда только что время политическаго возрожденія. Яркій лучъ свѣта истиннаго просвѣщенія Невзоровъ общалъ Европѣ отъ Сѣвера, только что побѣдившаго втораго Навуходоносора. Отсюда и славянофильство Невзорова и постоянныя совѣты презрѣть западную наукою и западнымъ образованіемъ, остерегаться слѣпотаго подражанія. Онъ убѣжденъ, что иностранцы принесли намъ больше вреда, чѣмъ пользы. „Любезныя юноши! говоритъ Невзоровъ. Уважайте просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ иностранцевъ, но не перенимайте всего того, что водится, дѣлается и славится въ чужихъ краяхъ, а слѣдуйте во многомъ простодушнымъ своимъ предкамъ, подражайте имъ особливо въ томъ, что надлежитъ до Богопочитанія и будьте по

<sup>1)</sup> Другъ Юношества. 1811 г., Ноябрь.

<sup>2)</sup> Ibid., 1819 г., Апрель.

примѣру ихъ привержены къ вѣрѣ, закону и религіи“<sup>1)</sup>. Эти убѣжденія и мысли особенно усилились въ Невзоровѣ со времени отечественной войны. Въ 1813 году онъ взялъ на свою отвѣтственность, кромѣ „Друга Юношества“, еще изданіе „Политическаго журнала“. Онъ издавался отъ московскаго университета, но издатель его, профессоръ Гавриловъ во время Наполеонова нашествія уѣхалъ изъ Москвы, и журналъ прекратился. По изгнаніи французовъ онъ отказался отъ продолженія изданія, и дѣло это добровольно и безвозмездно взялъ на себя Невзоровъ, по словамъ его, „для сохраненія чести университета и не желая лишить удовольствія читателей прерваніемъ столькихъ лѣтъ современной исторіи“. Невзоровъ продолжалъ изданіе журнала полтора года и наполнялъ его статьями противъ Наполеона, французовъ и „философіи міра сего“. Лучшія статьи его въ этомъ родѣ составили потомъ особое сочиненіе: „Наполеонова политика или царство гибели народной и состояніе Европейскихъ государствъ до войны 1812 года“. (М. 1813).

Въ „Другѣ Юношества“ Невзоровъ является и сатирикомъ-памфлетистомъ, рѣзко нападающимъ на современные нравы и на то, что казалось ему уклоненіемъ отъ настоящей нравственности. Въ журналѣ его встрѣчается множество мелкихъ замѣтокъ, высказанныхъ имъ по разнымъ поводамъ, нападеній на разныхъ мелкихъ слабости окружавшей жизни. Нападенія эти, впрочемъ, рѣдко попадали въ цѣль и едва ли могли имѣть какое-либо вліяніе на читателей по недостатку таланта въ ихъ авторѣ. Ихъ, конечно, любопытно изучить тому, кто желалъ бы всестороннимъ образомъ познакомиться съ тогдашней эпохой, но вообще примѣръ Невзорова и его журнала, несмотря на твердость и честность его убѣжденій, несмотря порою даже на оригинальность его мысли, служить намъ доказательствомъ бесплодности масонско-мистическаго направленія въ литературѣ. Невзоровъ не понималъ современности, и, оставаясь вѣренъ полученному имъ направленію, онъ является какою-то аномаліей въ эпохѣ, какъ и вся мистика.

Вполнѣ мистическимъ писателемъ Невзоровъ не былъ; онъ не употреблялъ даже туманный и вычурный языкъ мистики, но, конечно, уважалъ ее и даже писалъ о ея значеніи и содержаніи. Такъ въ статьѣ своей, заключающей разборъ задачи, данной Геттингенскимъ ученымъ обществомъ, написать разсужденіе объ исторіи мистицизма, гдѣ мистицизмъ называется *родомъ философствованія*, Невзоровъ опровергаетъ это, говоритъ о сочиненіяхъ Таулера, Парацельза, Арндта и доказываетъ, что мистика есть „не что иное, какъ христіанское

<sup>1)</sup> Ibid., 1808 г., Ноябрь.

ученіе о дѣятельномъ послѣдованіи Іисусу Христу, или, что одно и то же, о любви къ Богу и ближнему“ <sup>1)</sup>). Такимъ образомъ, Невзоровъ желалъ какъ бы практическаго христіанства, но вмѣстѣ съ тѣмъ мистика, по его словамъ, должна учить не прямому, а таинственному смыслу св. Писанія, а это давало естественно широкое поприще личному произволу. Впрочемъ, чисто мистическихъ статей, гдѣ бы простой смыслъ христіанства смѣшивался съ мистическими выраженіями, и опредѣленнаго мистическаго направленія въ журналѣ Невзорова не было, и это спасло его отъ цензурныхъ преслѣдованій въ началѣ царствованія Александра, когда императоръ самъ еще не любилъ мистики, и она строго преслѣдовалась нашимъ духовенствомъ.

Бартеневъ, въ своей большой статьѣ, посвященной М. И. Невзорову <sup>2)</sup>, дѣлаетъ изъ него какого-то героя, исполненнаго высокой доблести и глубокаго сознанія своего долга не только въ жизненныхъ его отношеніяхъ, но и во всей литературной его дѣятельности. Въ жизни своей Невзоровъ былъ дѣйствительно глубоко честный человѣкъ, исполненный сознанія долга, безкорыстный и прямой, чуждый эгоистическихъ цѣлей, человѣкъ, какихъ вообще было очень мало въ нашемъ обществѣ, съ нѣсколькими оригинальными особенностями, какъ у многихъ старыхъ масоновъ,—лицо типическое въ своемъ родѣ. Въ запискахъ современнаго московскаго студента (Жихарева) сохранилось нѣсколько воспоминаній объ этой оригинальной личности, которая влекла къ себѣ даже вѣтренаго молодого человѣка: „Что за умный и добрый человѣкъ этотъ Максимъ Ивановичъ! какихъ гоненій онъ не перенѣлъ за свою рѣзкую правду и вѣрность въ дружбѣ, какъ искренно прощаетъ онъ врагамъ своимъ и какъ легко переноситъ свое положеніе! При всей своей бѣдности онъ не ищетъ ничьей помощи, хоть многіе старинные сотоварищи его (масоны) принимаютъ въ немъ живое участіе и желали бы пособить ему. Ходитъ себѣ въ холодной шинелишкѣ по знакомымъ своимъ, большею частію изъ почетнаго духовенства, и не думаетъ о будущемъ. Говоритъ: *довольтъ днѣви злоба его*“ <sup>3)</sup>). Въ такомъ же родѣ, какимъ-то стойкомъ является Невзоровъ и въ замѣткахъ о немъ Лопухина <sup>4)</sup>). По выходѣ въ отставку, получая пенсію по университетской службѣ, Невзоровъ постоянно однако нуждался, потому что всѣ деньги свои раздавалъ бѣднымъ. Изъ этихъ послѣднихъ лѣтъ жизни сохранилось о немъ нѣсколько анекдотовъ, рису-

<sup>1)</sup> Ibid., 1812 г., Янв., стр. 132.

<sup>2)</sup> Русск. Вѣст. 1856 г., III.

<sup>3)</sup> Записки Жихарева, стр. 21.

<sup>4)</sup> Др. Юн. 1812, Ноябрь.

щихъ его какъ оригинала. Рассказываютъ, что онъ каждый день ходилъ къ обѣднѣ и послѣ словъ „оглашенніи изыдите“ всегда спѣшилъ выйти изъ церкви, считая себя недостойнымъ быть при окончаніи обѣдни. Невзоровъ дожилъ до 1827 года и умеръ въ крайней бѣдности, такъ что при смерти нашлось у него нѣсколько копѣекъ, и друзья похоронили его на свой счетъ.

Что касается до значенія литературной дѣятельности Невзорова, то мы уже отчасти говорили о ней. Еслибъ онъ былъ вполне мистическимъ писателемъ, то мы и имѣли бы съ нимъ дѣло, какъ съ представителемъ этого рода идей, и смотрѣли бы на его сочиненія, какъ на извѣстное заблужденіе ума человѣческаго, подъ вліяніемъ разныхъ историческихъ и общественныхъ обстоятельствъ. Но Невзоровъ желалъ быть публицистомъ, думалъ статьями своего журнала дѣйствовать на развитіе общества и вести его къ опредѣленной цѣли. Для этого не достало у него ни таланта, ни знаній, ни достаточнаго знакомства съ духомъ времени. Положимъ, что онъ хотѣлъ бороться съ послѣднимъ, но во имя чего? Цѣль у него была неясна. Воспитанный европейскою наукою, всѣмъ обязанный ей, Невзоровъ сдѣлался потомъ недоволенъ ею и нападалъ на нее при всякомъ удобномъ случаѣ. За что же онъ не любилъ ее, были ли у него какія нибудь для того основанія? А не любилъ онъ науку за то, что она была наука и противорѣчила его сердечнымъ вѣрованіямъ. Примирить эти два противорѣчія онъ былъ не въ состояніи. Нападая на западное образованіе, онъ не сознавалъ однакожъ ясно, въ чемъ заключаются коренныя русскія основы, потому что не зналъ ихъ и не вдумывался въ нихъ. Источникомъ всѣхъ его сатирическихъ выводовъ было масонско-мистическое воспитаніе, но мы знаемъ, какъ неопредѣленно было содержаніе его. Однимъ словомъ, во всей литературной дѣятельности Невзорова было что-то недосказанное; вся она имѣетъ какой-то неопредѣленный и вмѣстѣ съ тѣмъ несимпатичный характеръ и о ней не стоило бы долго говорить въ исторіи русской литературы, еслибъ не нужно было на этомъ оригинальномъ публицистѣ показать, какъ бесплодно было вліяніе на общество масонско-мистическихъ началъ.

Съ гораздо болѣе опредѣленными чертами дѣятельности и стремленія является передъ нами въ Александровское время другой воспитанникъ стараго московскаго общества масоновъ, глава петербургскихъ мистиковъ, дѣйствовавшій чрезвычайно энергически и плодovitо въ мистической литературѣ во все время царствованія Александра—А. *Θ. Лабзинъ*. Человѣкъ большого ума и значительнаго образованія, отличавшійся, по рассказамъ современниковъ, силою воли, энергіею характера и практическою дѣятельностію, Лабзинъ образо-

валъ вокругъ себя довольно значительный кружокъ единомышленниковъ въ мистическомъ направленіи, изъ которыхъ сдѣлалъ своихъ сотрудниковъ, какъ въ журналѣ имъ издаваемомъ, такъ и въ многочисленныхъ переводахъ нѣмецкихъ мистическихъ сочиненій. Обладая значительною духовною силою, Лабзинъ господствовалъ въ этомъ кружкѣ деспотически и всѣ подчинялись его власти. Онъ давалъ тонъ и направленіе; онъ имѣлъ вліяніе. Лабзинъ пережилъ при Александрѣ гоненіе, торжество и снова гоненіе мистицизма. Когда онъ палъ и долженъ былъ отправиться въ ссылку, то извѣстный представитель ортодоксальной партіи духовенства, архимандритъ Фотій, словившій министра духовныхъ дѣлъ кн. А. Н. Голицина, называлъ его „гордый Лабзинъ, отецъ и ересіархъ“<sup>1)</sup>. Съ этой стороны и съ другихъ Лабзинъ нажилъ себѣ много враговъ, но онъ былъ истинно увлеченный человѣкъ и глубоко преданный своему дѣлу — своеобразному пониманію христіанства. Его дѣятельность въ этомъ отношеніи, конечно, должна была возбуждать разные толки въ обществѣ, тѣмъ болѣе, что Лабзинъ вездѣ, не разбирая источниковъ, искалъ удовлетворенія своей духовной потребности. „Писатель, который въ теченіе двадцати лѣтъ непрестанно занимается изданіемъ христіанскихъ книгъ, по необходимости долженъ быть ненавидимъ и злословимъ, пишетъ о немъ Сперанскій къ Столыпину; для меня сіе не новость и сіе злословіе именно составляетъ его достоинство. Люди безъ религіи никакъ не понимаютъ, какъ можно ея заниматься постоянно, не бывъ сумасшедшимъ или лицемеромъ“<sup>2)</sup> Александръ Ѳеодоровичъ Лабзинъ происходилъ изъ дворянъ и родился въ Москвѣ въ 1766 году. Первоначальное образованіе получилъ онъ дома и, по разсказу его воспоминаній, съ дѣтства любилъ ариметику, что сдѣлало его потомъ хорошо знакомымъ вообще съ математикою. Изъ дѣтства же, въ которомъ пробудилось въ немъ религіозное чувство, Лабзинъ вынесъ любопытное воспоминаніе о томъ, въ какомъ положеніи находилось тогда, да и теперь находится, въ образованныхъ русскихъ семействахъ чтеніе книгъ Св. Писанія, сравнительно не только съ протестантскими, но и съ католическими семействами. „Библію, если кто и не презиралъ вовсе, разсказываетъ Лабзинъ, то по крайней мѣрѣ почиталъ книгою, для церквей только потребною, для поповъ однихъ годною... Никто къ чтенію Библии не увѣщевался, и никто не предполагалъ, что Библія служитъ даже и къ просвѣщенію разума; напротивъ того, самые набожные люди имѣли тогда несчастную мысль,

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1363 г. I, стр. 851.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1870 г., стр. 1152.

что отъ чтенія священной сей книги люди съ ума сходятъ. Въ малолѣтствѣ моемъ я разъ наказанъ былъ отъ матери моей *изъ набожности* (?) за то, что читалъ Библию и предлагалъ въ стихи плачь Іереминъ“ <sup>1)</sup>. Воспоминаніе очень любопытное и весьма характерное.

Лѣтъ десяти Лабзинъ поступилъ въ гимназію, находившуюся при университетѣ, а въ 1780 г. сдѣлался уже студентомъ (четырнадцати лѣтъ). По разсказу самого Лабзина, въ университетѣ онъ занимался больше древними писателями, но изучалъ ихъ не для содержанія, а для языка и по выходѣ изъ университета, разумѣется, забылъ ихъ и не принимался за нихъ. Потомъ, впрочемъ, случайно прочитавъ сочиненіе Цицерона „О должностяхъ“ (*de officiis*), пораженный его чистыми понятіями о нравственности, Лабзинъ сталъ читать и другихъ древнихъ писателей и убѣдился, что „древніе вообще были ближе къ понятіямъ и истинамъ христіанскимъ, нежели мы, имѣющіе писанное евангеліе и называющіеся христіанами“. Лабзинъ сравниваетъ мысли Цицерона съ мыслями Бенетама и ставитъ послѣдняго, конечно, гораздо ниже <sup>2)</sup>. Очень рано, еще въ университетѣ, Лабзинъ подчинился нравственному вліянію кружка московскихъ масоновъ, которое воспитало его и на всю жизнь дало направленіе его духовной дѣятельности, сдѣлало его тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, — мистикомъ. Вѣроятно, его способности и успѣхи обратили на него вниманіе со стороны профессора Шварца, набиравшаго умныхъ молодыхъ людей для масонскихъ цѣлей. Вліянію Шварца Лабзинъ обязанъ всѣмъ внутреннимъ содержаніемъ своимъ и съ глубокимъ чувствомъ передавалъ онъ потомъ, по воспоминаніямъ, какимъ образомъ Шварцъ спасъ его отъ современной философіи. „Издатель имѣлъ счастье, говоритъ Лабзинъ о себѣ, бывъ еще 15 лѣтъ, предостереженъ быть отъ такихъ преткновеній благодареніемъ одного просвѣщеннаго мужа, который въ самое то время, когда модные писатели поглощались съ жадностью незрѣлыми умами, принялъ на себя благородный трудъ разсѣять сіи возстающіе мраки, и безъ всякаго иного призыва, по сему единственно возбужденію, въ партикулярномъ домѣ, открылъ лекціи новаго рода для всѣхъ желающихъ. Съ ними разбиралъ онъ Гельвеція, Руссо, Спинозу, Ламетри и пр., сличалъ ихъ съ противными имъ философиями, и показывая разность между ними, училъ находить и достоинство каждаго. Какъ будто новый свѣтъ просіялъ тогда слушателямъ! Какое направленіе и умамъ и сердцамъ далъ сей благодѣтельный мужъ! Издатель съ благодарными

<sup>1)</sup> Сіонск. Вѣстн. VII, стр. 223—224.

<sup>2)</sup> Сіон. Вѣст. I, стр. 22—23.

чувствованіями воспоминаетъ сію счастливую эпоху, составляющую и понынѣ первое благо въ его жизни. Главное, и для тогдашняго времени поразительное, явленіе было то, съ какою силою простое слово его исторгло изъ рукъ многихъ соблазнительны и безбожныя книги, въ которыхъ, казалось тогда, весь умъ заключался, и помѣстило на мѣсто ихъ святую библію“... <sup>1)</sup>). Лекціи Шварца читались сначала у него на квартирѣ, а потомъ въ болѣе обширномъ помѣщеніи, въ домѣ Новикова. Они служили приготовительнымъ курсомъ для масонства. Нѣкоторые отрывки ихъ были напечатаны Невзоровымъ, тоже его слушателемъ, въ журналѣ „Другъ Юношества“. Эти лекціи возбудили недовѣріе университетскаго начальства и московскаго духовенства и были прекращены, но вліяніе ихъ на мистиковъ осталось на всю жизнь.

## ЛЕКЦІЯ ХІ.

Литературная дѣятельность Лабзина — Юнгъ Штиллингъ.

Литературную дѣятельность свою Лабзинъ началъ подѣ вліяніемъ того же Новиковскаго кружка, которому былъ обязанъ своимъ нравственно-религіознымъ направленіемъ и отчужденіемъ отъ идей современной философіи. Первые студенческія произведенія его были напечатаны въ періодическомъ изданіи Новикова „Вечерняя Заря“ съ нравственно-религіознымъ содержаніемъ (М. 1782 г., 3 ч.), въ которомъ участвовали всѣ воспитанники Новиковской семинаріи. Одно изъ стихотвореній Лабзина, напечатанное въ этомъ журналѣ, именно „Французская Лавка“ <sup>2)</sup>), удостоилось даже перепечатки въ „Собесѣдникѣ“, издававшемся подѣ покровительствомъ Екатерины <sup>3)</sup>). Оно замѣчательно въ томъ отношеніи, что показываетъ направленіе мысли Лабзина въ эту пору, выражающее нелюбовь къ французскому вліянію на русскіе нравы. Содержаніе этой небольшой пьесы то же, что и комедіи Крылова „Модная Лавка“, и осмѣиваетъ тѣхъ, которые покупаютъ за дорогую цѣну гнилой французскій товаръ. Смерть Шварца, оплакиваемая всѣми почитателями и учениками его, была почтена торжественнымъ собраніемъ единомышленниковъ, на которомъ произносились рѣчи и читались стихи въ честь его. И Лабзинъ написалъ также по этому поводу стихи,

<sup>1)</sup> Сіон. Вѣст. VII, стр. 222.

<sup>2)</sup> Вечерн. Заря, ч. II, стр. 230.

<sup>3)</sup> Собесѣдникъ, XI, стр. 23—26.



въ которыхъ говорить объ общемъ и своемъ собственномъ горестномъ чувствѣ. Такимъ образомъ, Лабзинъ, подобно многимъ другимъ, началъ свою литературную дѣятельность стихотвореніями. Одно изъ нихъ обратило даже на него вниманіе власти. Это была „Торжественная Пѣсь Екатеринаѣ II“, написанная Лабзинымъ и поднесенная вмѣстѣ съ другими подобными одами отъ Университета, отъ благороднаго университетскаго пансіона, отъ Духовной Академіи по случаю пріѣзда императрицы въ Москву изъ ея извѣстнаго путешествія въ Крымъ (М. 1787). За эту оду Лабзинъ получилъ награду. Лабзинъ и потомъ часто употреблялъ стихи въ своихъ сочиненіяхъ, но случайно, не стараясь писать много. Тогда же для типографіи Новикова, а всего вѣроятнѣе для денегъ, онъ сдѣлалъ два перевода, въ которыхъ, однако, не было ничего общаго съ послѣдующею его литературною дѣятельностью мистическаго содержанія. То были „Фигарова женьитба“ комедія Бомарше (М. 1787) и „Судья“ комедія Мерсье (М. 1788). Лабзинъ былъ еще очень молодъ, не писалъ ничего въ масонско-мистическомъ направленіи, повидимому, не былъ въ близкихъ дружескихъ связяхъ ни съ кѣмъ изъ старыхъ мартинистовъ, когда разразилось надъ ними преслѣдованіе власти, такъ что оно нисколько не коснулось его, даже имя Лабзина не встрѣчается въ процессѣ. Лабзинъ въ теченіе долгихъ лѣтъ, до самой ссылки своей, служилъ по разнымъ вѣдомствамъ и былъ очень усерднымъ и исполнительнымъ чиновникомъ. Его служебной дѣятельности не мѣшали, однако, литературные труды, его изданія и переводы въ мистическомъ родѣ, которые онъ предпринималъ въ очень значительномъ количествѣ. Это соединеніе двухъ жизненныхъ работъ, изъ которыхъ одна не мѣшала другой, можно объяснить, мы думаемъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что мистико-литературная дѣятельность Лабзина, несмотря на то, что она удовлетворяла его сердечному влеченію и соотвѣтствовала его вкусамъ и направленію, не была, однако-жъ, оригинальною, а потому и не могла всецѣло поглотить его.

Познакомившись въ университетѣ, а всего болѣе въ Новиковской семинаріи съ языками французскимъ и нѣмецкимъ, Лабзинъ, по выходѣ изъ университета, поступилъ на службу переводчикомъ въ Московское губернское правленіе, черезъ три года перешелъ къ той же должности въ конференцію Московскаго университета, а въ 1789 году перешелъ на службу въ Петербургъ, изъ котораго и не выѣзжалъ до самой ссылки своей. Здѣсь служилъ онъ сначала въ секретной экспедиціи С.-Петербургскаго почтамта (т.-е. онъ долженъ былъ слѣдить за иностранными газетами, чтобъ не проскользнуло въ русскую публику что-нибудь для нея непригодное, и, безъ сомнѣнія, перечитывать подозрительныя письма). Царствованіе Павла нѣсколько вы-

двинуло его впередъ. Въ 1799 году онъ перемѣщенъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ и назначенъ исторіографомъ ордена Іоанна Іерусалимскаго, т.-е. мальтійскихъ рыцарей, гротмейстеромъ которыхъ, къ полному своему удовольствію, сдѣлался тогда императоръ Павелъ. Въ качествѣ исторіографа ордена, Лабзинъ надалъ, вмѣстѣ съ А. Вахрушевымъ, исторію ордена (С.-ПБ. 1799—1801, 5 ч.), за что получилъ значительные подарки отъ Павла, хотя и эта исторія не была самостоятельнымъ трудомъ Лабзина, а переводомъ сочиненія Верто. Императоръ Александръ также обратилъ на него вниманіе, и Лабзинъ быстро возвышался по службѣ, получая чины, ордена и высочайшіе подарки. Въ 1804 году Лабзинъ былъ уже дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и сдѣлался директоромъ департамента военныхъ морскихъ силъ. Еще прежде, при Павлѣ, по Высочайшему повелѣнію онъ сдѣлался конференцъ-секретаремъ Академіи художествъ и по этому званію часто приводилось ему произносить рѣчи на торжественныхъ собраніяхъ академіи. Эту должность Лабзинъ не оставлялъ до конца своей дѣятельности, а впослѣдствіи былъ даже вице-президентомъ Академіи. До 1804 года, когда служебное положеніе Лабзина упрочилось, когда онъ сталъ пользоваться уваженіемъ и извѣстностью въ соединеніи съ достаточнымъ жалованьемъ, когда онъ завелъ знакомства и литературныя связи, мы не видимъ въ дѣятельности его, какъ писателя, ничего особеннаго. Онъ не выказывалъ ни литературнаго таланта, ни направленія, которое пріобрѣло ему потомъ такую извѣстность. Въ 1804 году Лабзинъ напечаталъ переводъ съ французскаго „Диенрамбъ на безсмертіе души“ Делиля, въ которомъ не было ничего, кромѣ обыкновенныхъ поэтическихъ фразъ. Но тогда уже началась усиленная литературная дѣятельность Лабзина въ мистическомъ направленіи, состоявшая во множествѣ переводовъ съ нѣмецкаго и въ оригинальномъ собственномъ изданіи, — дѣятельность, которая сдѣлала имя Лабзина всѣмъ извѣстнымъ, пріобрѣла ему враговъ и поклонниковъ, вызвала то преслѣдованіе, то сочувствіе со стороны власти, а главное представила нѣсколько любопытныхъ страницъ изъ исторіи русскаго общества. На новыхъ переводахъ и изданіяхъ Лабзина мы не встрѣчаемъ даже его имени; оно скромно замѣняется буквами: У. М.

Литературная дѣятельность Лабзина въ мистическомъ направленіи удовлетворяла прежде всего его самого, человѣка, воспитаннаго и едшеествовавшимъ масонствомъ, искренне преданнаго христіанству и искавшему разными способами, не разбирая ихъ сущности и содержания, удовлетворить своему религіозному исканію истины. Такъ, въ послѣдствіи, когда послѣ великихъ всемірныхъ событій, которыя шло пережить и русскому обществу, оно, потрясенное этими со-

бытіями, невольно впало въ мистическое состояніе, думало видѣть воочию Бога посреди громаднѣхъ волненій времени и склонялось естественно къ мистическому міросозерцанію, когда Александръ, на верху возможной человѣческой славы, сталъ прислушиваться къ голосу разныхъ пророковъ и пророчищъ, всегда появляющихся посреди великихъ историческихъ переворотовъ, когда большинство, чуждое крѣпкаго умственнаго образованія и лишенное положительныхъ знаній, бросилось въ экстатическую молитву и религіозный восторгъ— и Лабзинъ сталъ искать удовлетворенія своей религіозной потребности въ пророческихъ собраніяхъ г-жи Татариновой <sup>2)</sup> Эти колебанія и эти заблужденія были совершенно естественны при сильно возбужденномъ религіозномъ чувствѣ. У Лабзина не было богословскаго образованія, да и никакое богословіе не въ состояніи удовлетворить сердечному чувству вѣры; въ официальной церкви, въ сношеніяхъ съ ея представителями, всего менѣе могло быть удовлетворено это чувство, а между тѣмъ масонское воспитаніе постоянно твердило ему о таинственномъ смыслѣ христіанства, о „внутренней“ церкви, такъ не похожей на наружную, приготовило его къ туманнымъ представленіямъ, къ неопредѣленнымъ, но говорящимъ неясному чувству символамъ и фигурамъ. и онъ нашелъ удовлетвореніе въ современныхъ ему мистическихъ писателяхъ Германіи, въ которыхъ такъ же, какъ и въ немъ, господствовало броженіе религіозной мысли, произведенное масонствомъ и иллюминатствомъ прошлаго вѣка. Эти писатели, въ противоположность ортодоксальному протестантскому богословію, обращались не къ наукѣ, а къ простому чувству народа и умѣли заинтересовать его содержаніемъ своихъ сочиненій, въ которыхъ весьма часто неподдѣльное поэтическое чувство соединялось съ экстатическими видѣніями о загробной жизни, всегда интересовавшими народное воображеніе. Къ этому содержанію произведеній тогдашнихъ нѣмецкихъ мистиковъ надобно присоединить еще свойственное имъ мистическое представление о современномъ революціонномъ переворотѣ, только что пережитымъ европейскимъ міромъ, представление о тяжелой бурѣ, въ видѣ гнѣва Божія разразившейся надъ человѣчествомъ, но произведенной *буйствомъ разума*, вышедшаго изъ опредѣленій религіи. Эта мистическая ненависть къ французской революціи, весьма ясно высказываемая въ каждомъ сочиненіи нѣмецкихъ мистиковъ, сдѣлала ихъ весьма любезными для тогдашнихъ потентатовъ Европы, и въ годы начинавшейся реакціи мистицизмъ сдѣлался однимъ изъ дѣйствительныхъ полицейскихъ средствъ для вышшаго усыпленія „мир-

<sup>2)</sup> Тр. Кіев. Дух. Ак. 1863 г., III, стр. 175—176.

ныхъ народовъ“. Вотъ почему онъ и у насъ пользовался покровительствомъ правительства. Лабзинъ и нѣсколько писателей одного съ нимъ направленія, людей имъ возбужденныхъ, были главными проводниками этого рода мистическихъ идей въ нашу литературу. Оригинальная дѣятельность ихъ была крайне ничтожна. Весь трудъ этихъ людей заключался главнымъ образомъ въ переводахъ съ нѣмецкаго двухъ прославленныхъ и возвеличенныхъ ими мистиковъ, Эккартсгаузена и Юнга Штиллинга. Эти переводы наводняли русскую литературу съ первыхъ годовъ нашего вѣка до послѣднихъ годовъ царствованія Александра и представляютъ, посреди другихъ болѣе жизненныхъ теченій и явленій, какой-то мутный источникъ, ни съ чѣмъ не соприкасавшійся, но въ которомъ тонули умы, въ сожалѣнію, не малаго числа читателей. Эта переводная мистическая литература изъ вліятельной и преобладающей очень скоро перешла на толкучіе рынки или хранилась какъ драгоценность въ бібліотекахъ старыхъ мистиковъ, пережившихъ ея рожденіе, процвѣтаніе и смерть. Но въ свое время она шумѣла, имѣла большое общественное значеніе, а потому вполнѣ заслуживаетъ нѣсколькихъ страницъ въ исторіи умственнаго движенія нашего общества.

Эккартсгаузенъ и Юнгъ Штилингъ—вотъ два авторитета нашихъ мистиковъ, которымъ они слѣпо подчинялись, два вдохновенные небесною силою мыслителя, два христіанскіе пророка, которыхъ каждое слово было драгоценно для нихъ. О первомъ и его значеніи въ умственномъ развитіи Германіи мы уже имѣли случай говорить. Юнгъ Штилингъ гораздо болѣе оригинальная и талантливая личность; его сочиненія имѣли въ свое время большое вліяніе на читателей, а его разнообразная, исполненная самыхъ пестрыхъ приключеній жизнь, чрезъ которую постоянно проходитъ религіозно-мистическое, страстное увлеченіе, невольно приковывала къ себѣ вниманіе лучшихъ людей времени. Объ этой личности необходимо сказать нѣсколько словъ, хотя бы для того, чтобъ сравнить богатство нѣмецкой духовной жизни съ чрезвычайною бѣдностью нашей, для доказательства существенной разности между волненіями мысли въ Германіи и неподвижностію ея у насъ. Жизнь Штиллинга описана довольно подробно имъ самимъ и друзьями его по смерти; она занимательна какъ романъ <sup>1)</sup>.

Юнгъ Штилингъ былъ сынъ народа и вышелъ изъ среды его, но было бы весьма ошибочно представлять поэтому, что онъ внесъ въ литературу здоровое, крѣпкое содержаніе. Нѣмецкій народъ въ

<sup>1)</sup> Русский переводъ — Лабзина, части 1—3. Спб. 1816—1818 г., 12°.

своей долгой исторической жизни подчинялся такому разнообразному влиянію, что въ немъ трудно искать непосредственной простоты и естественности, да и духовная сфера всякаго простаго народа окружена такимъ суевѣріемъ и такими нездоровыми влияніями, что только сильные умы выбиваются изъ нея и то тогда, когда они попадутъ на настоящій путь развитія. Они стремятся вырваться изъ этихъ жалкихъ отношеній, возбужденные случайнымъ чтеніемъ, которое остается для нихъ на половину понятнымъ и даетъ очень смутный идеалъ для жизни и дѣятельности. Почти вездѣ религіозное чувство или пѣтизмъ является посредствующимъ звеномъ между бѣдною грубою жизнію и образованіемъ. Ремесленники, крестьяне въ земляхъ протестантскихъ недовольны проповѣдью пастора, которая не раскрываетъ передъ ними глубокихъ божественныхъ тайнъ и не удовлетворяетъ ихъ возбужденнаго религіознаго чувства. Библия дѣлается ихъ любимымъ предметомъ чтенія, по своему истолковываютъ они ея изреченія и приходятъ въ мистическій восторгъ. Почти то же происходитъ и въ нашемъ такъ называемомъ расколѣ. Это даетъ возможность такимъ людямъ говорить о религіи съ извѣстнымъ отбѣномъ поэзіи и не безъ нѣкотораго образованія—слѣдствія начитанности. Немногу приучаются они говорить, разсуждать и спорить о предметахъ религіозныхъ, получаютъ авторитетъ и слушателей. Такая духовная жизнь распространена почти во всей Германіи; въ ней суевѣріе, пѣтизмъ и шарлатанизмъ всякаго рода соединяются въ одно смутное цѣлое. Такая жизнь господствовала и въ той мѣстности, гдѣ родился Юнгъ Штиллингъ (деревня Грундъ, Нассау Зигенскаго великаго герцогства, въ Вестфалии). Юнгъ родился въ 1740 году въ простой семьѣ, въ которой уже давно господствовалъ такого рода мистицизмъ. Его дѣдъ съ отцовской стороны былъ угольщикъ, но былъ начитанъ и въ библии и въ народныхъ книгахъ и любилъ богословскіе споры; къ тому-жъ онъ былъ духовидцемъ; другой дѣдъ со стороны матери занимался алхиміей; дядя мечталъ о квадратурѣ круга, а отецъ, болѣзненный, робкій портной, съ ранней юности былъ знакомъ съ послѣдователями Бема и Парацельза. Такимъ образомъ Юнгъ Штиллингъ стоялъ какъ бы на распутьи между пѣтистами и свободными умами, чьихъ мысли проникали и въ мастерскую его отца. Но онъ рѣшительно всталъ на сторону пѣтизма. Движенія свободной мысли и просвѣщенія, которое наполняло Германію въ XVIII вѣкѣ, какъ бы не существовало для него, влияние среды и семейныхъ преданій было гораздо могущественнѣе, и Штиллингъ сдѣлался мистикомъ. Чажоточная мать Штиллинга умерла очень скоро; онъ почти не помнилъ ея, и заботы о его воспитаніи легли на отца, дѣда и бабу. Строгость отцовская приучила мальчика ко лжи, а дѣдъ познакомилъ его съ

богословскими вопросами, такъ что пасторъ, экзаменовавшій его на девятомъ году, пораженный знакомствомъ Штиллинга съ библейскими текстами, принужденъ былъ сказать семьѣ: „Сынъ вашъ перещеголяетъ всѣхъ своихъ предковъ, продолжайте только держать его подъ розгою, и онъ будетъ великимъ человекомъ“. Была рѣчь и о томъ, чтобъ учить Штиллинга, но бѣдность семьи и опасенія отца и пастора, чтобъ это не было бесполезно, разрушили это намѣреніе. Пришлось ему учиться портняжному ремеслу отца, къ которому онъ не чувствовалъ никакой охоты, сознавая въ душѣ другія наклонности и стремленія и жалуясь на провидѣніе, что оно не давало возможности удовлетворить ихъ. Его беспорядочное и разнообразное чтеніе, состоявшее изъ библіи, средневѣковыхъ романовъ, Фенелона, Гомера, Оомы Кемпійскаго, сильно возбуждало его воображеніе; Штиллингъ представлялъ себя героемъ чудесныхъ приключеній, а бѣдная мастерская портного наполнялась странными, фантастическими образами. Міръ внѣшній за ея предѣлами лежалъ въ неясныхъ смутныхъ очеркахъ для его представленія. Этотъ міръ былъ ему вовсе неизвѣстенъ; онъ казался ему нехристіанскимъ, языческимъ, — особенно большой свѣтъ.

Попалъ, наконецъ, Штиллингъ и въ сельскую школу, выучился латинскому языку по собственному методу, безъ грамматики, но все ученіе его, какъ и чтеніе книгъ, шло беспорядочно. На 17 году доставили Штиллингу по сосѣдству мѣсто школьнаго учителя; это былъ первый опытъ его практической дѣятельности; онъ возобновлялъ его нѣсколько разъ, но всегда безъ успѣха. То не нравилось сельской общинѣ, что онъ училъ дѣтей азбукѣ по игральнымъ картамъ, то пасторъ приходилъ въ негодованіе, что онъ посвящаетъ учениковъ въ таинства ариметики. Нѣсколько разъ лишали его должности школьнаго учителя, и Штиллингъ принужденъ былъ возвращаться снова въ отцовскую мастерскую; пребываніе въ которой сдѣлалось ему невыносимо, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ отецъ его женился во второй разъ. Въ душѣ его затаилась глубокая печаль; ему казалось, что онъ живетъ въ чужой землѣ, оставленный всѣми. Его душевное состояніе въ ту пору, по его собственному изображенію, было чрезвычайно оригинально: когда свѣтило солнце, Штиллингъ чувствовалъ, что его страданія удваивались; переměна свѣта и тѣни осенью возбуждала въ немъ самое горькое чувство; когда же, напротивъ, была ненастная, бурная погода, ему чувствовалось лучше; ему казалось, что онъ сидитъ въ глубокой горной пещерѣ, и хорошо ему было въ сознаніи полной безопасности. Такое настроеніе духа выразилъ онъ въ пѣсняхъ своихъ, въ которыхъ находилъ полное утѣшеніе. Разъ встрѣтилъ онъ умнаго пастора, который ему дока-

залъ, что его страданія суть испытанія, ниспосланныя Богомъ, котораго онъ оскорбилъ своею гордостію и честолюбіемъ. Въ полномъ душевномъ сокрушеніи воскликнулъ тогда Юнгъ: „Ахъ! сердце мое есть самое живое созданіе на землѣ, созданной Богомъ. Я всегда думалъ, что у меня есть искреннее желаніе служить своими познаніями Богу и высшимъ интересамъ, но въ дѣйствительности выходить это неправда: я хочу сдѣлаться только великимъ человѣкомъ“.

Послѣ разныхъ неудачныхъ опытовъ на родинѣ, Юнгъ весною 1761 года, когда ему исполнилось 21 годъ, пустился въ странствіе, безъ всякой опредѣленной цѣли, просто искать счастья. Одинъ богатый человѣкъ сдѣлалъ его у себя домашнимъ учителемъ дѣтей, но въ его домѣ Юнгъ чувствовалъ себя вполнѣ несчастнымъ человѣкомъ и черезъ годъ, послѣ разныхъ колебаній и нерѣшительности, бѣжалъ изъ этого дома. Разъ, во время странствованія, Юнгъ зашелъ въ семью портного и тамъ услышалъ, какъ хозяинъ объяснялъ ученикамъ своимъ, что отъ собственной воли человѣческой зависитъ главнымъ образомъ возможность непосредственнаго дѣйствія Спасителя на душу. Глубокая радость, по разсказу Штиллинга, наполнила его душу, онъ узналъ, что находится посреди набожныхъ людей, онъ не могъ болѣе удерживаться и началъ плакать, безпрестанно восклицая: „Господи! я дома, я дома!“ Разъ на прогулкѣ посѣтила его благодать свыше. Онъ шелъ задумавшись и, нечаянно взглянувъ вверхъ, увидѣлъ легкое облако прямо надъ своею головою. Съ этимъ вмѣстѣ какая-то непонятная для него сила проникла въ его душу, ему сдѣлалось необыкновенно хорошо; онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ и едва могъ удержаться, чтобъ не упасть. Съ этой минуты Штилингъ почувствовалъ въ себѣ непобѣдимое стремленіе посвятить всю жизнь свою для прославленія Бога и для блага людей. Любовь его къ Отцу всѣхъ людей и къ божественному Искупителю, какъ и вообще ко всѣмъ людямъ, въ эту минуту была такъ велика, что онъ охотно пожертвовалъ бы своею жизнію, еслибъ то было нужно. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ощущалъ непреоборимое стремленіе — наблюдать за своими мыслями, дѣлами и словами, чтобъ они, соотвѣтствуя божественной волѣ, были пріятны и полезны. Тотчасъ же заключилъ Штилингъ твердый и неразрывный союзъ съ Богомъ и далъ обѣтъ подчиняться съ этихъ поръ единственно его руководству, не имѣть въ душѣ никакихъ пустыхъ желаній, но, если Богу будетъ угодно, чтобъ онъ на всю жизнь остался ремесленникомъ, то онъ долженъ подчиниться этому охотно и съ полною радостію.

Въ другой разъ Штилингъ очутился въ лѣсу, безъ копѣйки въ карманѣ. „Пришелъ часъ, восклицаетъ онъ, когда великое слово Спасителя должно исполниться надо мною: „ни одинъ волосъ съ

главы вашей не упадетъ безъ воли моей“. Если это правда, то ко мнѣ должна явиться скорая помощь, ибо я до сихъ поръ на нее надѣялся и вѣрилъ этому слову. „Я такое же созданіе Божіе, какъ та птичка, которая поетъ на деревьяхъ и находитъ себѣ пищу, когда въ ней нуждается“. Богъ, въ самомъ дѣлѣ, помогъ Штиллиngu. Черезъ нѣсколько времени онъ поселяется у богатаго купца и этому приходитъ въ голову однажды, что настоящее призваніе Штиллинга быть врачомъ. Это открытіе поражаетъ Штиллинга какъ молнія; онъ падаетъ въ обморокъ. „Да, восклицаетъ онъ, я чувствую въ душѣ своей, что это и есть то великое дѣло, которое постоянно было скрыто для меня, которое я такъ долго искалъ и не могъ найти. Для него небесный отецъ приготавлиалъ меня тяжелыми испытаніями. Да прославится имя премилосерднаго Бога, что онъ открылъ наконецъ мнѣ волю свою; смѣло пойду я теперь впередъ по его указанію“.

Это „божеское указаніе“ подкрѣпляется еще тѣмъ обстоятельствомъ для ума Штиллинга, что какой-то чахоточный старикъ заѣмаетъ ему рецептъ противъ глазныхъ болѣзней. Другое божеское указаніе такого же рода приводитъ Штиллинга довольно неожиданнымъ образомъ къ браку съ болѣзненною дочерью одного купца. Теперь рѣшается онъ изучать науку на тридцатомъ году жизни. Онъ не выбралъ еще мѣста, гдѣ учиться, и ждетъ для того указаній отъ небеснаго Отца; ибо, если онъ вздумалъ учиться изъ „искренней вѣры“, то уже ни въ чемъ не долженъ слушаться своей воли. О средствахъ онъ не заботится.

Штиллингъ разсуждаетъ такимъ образомъ: „Богъ ничего не начинаетъ, а если начнетъ, то приводитъ къ концу какъ слѣдуетъ; истина въ томъ, что онъ устроилъ мое настоящее положеніе, безъ всякаго содѣйствія моей воли, а слѣдовательно, справедливо, что онъ доведетъ до конца мое призваніе... Тотъ, кто тотчасъ же выслушиваетъ молитву человѣческую и видимымъ образомъ и чудесно руководитъ судьбою человѣческою, долженъ быть бесспорно настоящимъ Богомъ, и ученіе его есть слово Божіе. Отъ самаго дѣтства я поклонялся Иисусу Христу, какъ моему Богу и Спасителю, и молился ему; онъ слышалъ меня въ моихъ нуждахъ и чудеснымъ образомъ помогалъ мнѣ. Слѣдовательно Иисусъ Христосъ бесспорно есть истинный Богъ, его ученіе есть слово Божіе и его религія — истинная.“ Издатель автобіографіи Штиллинга, знаменитый Гете, совершенно справедливо замѣчаетъ по поводу этихъ мыслей: „Я охотно предоставляю каждому устраивать его жизнь, какъ ему кажется лучше, но все доброе, что встрѣчается намъ на дорогѣ жизни посреди различныхъ приключеній, приписывать непосредственному божественному вліянію, кажется мнѣ



довольно дерзкимъ и притязательнымъ, а представленіе—всѣ тяжелыя и дурныя послѣдствія, вытекающія изъ нашего легкомыслія и заблужденія, считать за божественное воспитательное средство, никакъ не примиряется, съ моею мыслию“.

Съ такими убѣжденіями и съ такимъ приготовленіемъ въ 1769 году Юнгъ Штиллингъ явился въ Страсбургъ изучать медицину.

Легкомысліе, съ какимъ онъ дѣлалъ здѣсь долги въ томъ убѣжденіи, что назначаемъ у него Богъ, является весьма страннымъ въ человѣкѣ тридцати лѣтъ, въ нѣмцѣ, конечно, а не въ русскомъ. Здѣсь Штиллингъ познакомился съ Гете и Гердеромъ, которые приняли въ немъ дружеское участіе. Первый рельефно нарисовалъ его фигуру на двухъ страницахъ въ своихъ „Dichtung und Wahrheit;“ ему нравились наивные рассказы Штиллинга, и онъ побудилъ его описать свою жизнь. Въ 1772 году Штиллингъ окончилъ свой экзаменъ и поселился въ Эльберфельдѣ въ качествѣ врача. Мѣсто это не приносило доходовъ; но Штиллингъ приобрѣлъ себѣ нѣкоторую извѣстность, какъ глазной врачъ, и это дало поводъ одному богатому франкфуртскому купцу въ началѣ 1775 г. пригласить его за значительное вознагражденіе сдѣлать ему операцію. Операція эта не удалась, и Гете, у котораго онъ жилъ тогда, очень наглядно описываетъ тѣ совершенно естественныя упреки совѣсти, которые мучили Штиллинга, когда онъ понималъ, какъ легкомысленно взялся безъ всякаго приготовленія за трудное дѣло. Онъ узналъ, что пребываніе его въ Эльберфельдѣ не можетъ быть продолжительно, и Богъ снова выручилъ его изъ бѣды. Чтобы поправить свое стѣсненное положеніе, Штиллингъ издалъ нѣсколько сочиненій по технологіи, по сельскому хозяйству и по лѣсоводству. На основаніи этихъ сочиненій въ 1778 году правительство Пфальца пригласило его въ качествѣ профессора камеральныхъ наукъ въ Кайзерслаутернъ: новую науку онъ зналъ такъ же мало, какъ и прежнюю. Здѣсь началась его литературная дѣятельность.

## ЛЕКЦІЯ XII.

Сочиненія Штиллинга.—Журналъ «Сіонскій Вѣстникъ».—Заключеніе.

Литературная дѣятельность Юнга Штиллинга, кромѣ довольно значительнаго числа руководствъ, которыя онъ составлялъ для своихъ слушателей въ качествѣ преподавателя по лѣсоводству, сельскому хозяйству, фабричному дѣлу, наукъ о торговлѣ, ветеринарному искусству, полицейскому праву, камеральнымъ наукамъ, а также множества статей по вопросамъ экономическимъ и статистическимъ, находилась въ довольно близкомъ отношеніи къ духовнымъ волне-

ніямъ въ Германіи, которыя онъ самъ пережилъ. Какъ спеціалистъ по камеральнымъ наукамъ, Штиллингъ не получилъ никакой извѣстности. То, о чемъ писалъ онъ, узналъ онъ самоучкою и случайно. Другія его сочиненія, которыя находились въ близкомъ отношеніи къ тому, что онъ пережилъ внутри себя, нашли ему много поклонниковъ, особенно тѣ, которыя были имъ писаны впоследствии, когда онъ сталъ самоувѣреннѣе въ своихъ убѣжденіяхъ; почти всѣ они были переведены у насъ Лабзиннымъ и кружкомъ его поклонниковъ и печатались каждое по нѣскольку разъ.

Штиллингъ, несмотря на свою добродушную натуру, началъ полемику. Къ такого рода литературной дѣятельности побудили его извѣстные піетисты прошлаго вѣка—братья Якоби, и онъ выступилъ защитникомъ піетизма противъ очень извѣстнаго тогда рационалиста въ Берлинѣ, Николаи, котораго вся литературная дѣятельность посвящена была борьбѣ съ піетизмомъ. Въ этой полемикѣ противъ Николаи Штиллингъ борется съ невѣріемъ и рационализмомъ не логикою, не разумными доводами, а ссылается на чудесныя событія своей жизни, на то, что Іисусъ Христосъ видимо услышалъ его вздохи. Это было для него важнѣе всевозможныхъ доказательствъ; живая вѣра присутствовала въ его сердцѣ и онъ утверждалъ, что христіанство основывается только на историческихъ фактахъ и на собственномъ душевномъ опытѣ, а потому изъ всѣхъ доказательствъ не выдѣлеть ничего, кромѣ язычески-морально-философскаго христіанства, которое будетъ нисколько не лучше религіи Магомета, Конфуція и т. п. Это, конечно, удовлетворяло вполне нашихъ мистиковъ.

Штиллингъ не допускалъ голоса разума въ предметахъ вѣры, и вся полемика его противъ современнаго рационализма служить тому доказательствомъ: она выразилась во многихъ статьяхъ и въ особенности въ извѣстной „Великой панацеей противъ болѣзни невѣрія“ (1776). Штиллингъ писалъ очень легко и много; сочиненія его съ этимъ содержаніемъ, которое онъ сталъ считать теперь призваніемъ своей жизни, быстро слѣдовали одно за другимъ. Формою для своихъ произведеній онъ выбралъ теперь романъ. Основою этихъ романовъ всегда былъ нравственно-религіозный интересъ; въ нихъ является онъ ожесточеннымъ противникомъ философскаго атеизма, хотя самъ онъ, страннымъ образомъ, послѣ изданія своей автобіографіи былъ подозрѣваемъ жителями Эльберфельда въ свободомысліи. Для оправданія себя въ такомъ обвиненіи онъ напечаталъ „Исторію господина Моргентау“ (1779), романъ, въ которомъ онъ упрекаетъ и піетистовъ за ихъ удаленіе отъ міра и за недостатокъ общественнаго смысла. За нимъ слѣдовалъ „Флорентинъ фонъ Фаллендорнъ“ (1781—1783),—сочиненіе, во многомъ напоминающее его жизнеописаніе, которое онъ

вообще любилъ повторять, но, по выраженію Гервинуса, тутъ была только капля его прежней наивности, разведенная уже въ ведрѣ воды; тенденціозность становится на первомъ планѣ. Также точно изъ жизненнаго своего опыта Штиллингъ взялъ содержаніе для своего новаго, болѣе другихъ замѣчательнаго романа: „Оеобальдъ или мечтатели, истинная повѣсть“ (1784—1785) съ эпиграфомъ: „По срединѣ дороги идти всего безопаснѣе“ (русскій переводъ Ѳ. Лубяновскаго, 4 ч. М. 1819. 8<sup>о</sup>). Цѣль этого сочиненія, по словамъ Штиллинга, заключается въ томъ, чтобъ „показать соотечественникамъ моимъ, что путь къ временному и истинному благополучію проходитъ посрединѣ между невѣріемъ и мечтаніемъ“. Разсматривая произведеніе это съ художественной стороны, мы не найдемъ въ немъ ничего, кромѣ безсвязнаго матеріала, взятаго изъ жизненнаго опыта самого автора; онъ не далъ ему почти вовсе обработки. Ему казалось, что и не стоитъ труда обрабатывать содержаніе, интересное само по себѣ. Все содержаніе „Оеобальда“ направлено, казалось, противъ злоупотребленій піэтизма, а между тѣмъ Штиллингъ защищаетъ здѣсь піэтизмъ, какъ поэзію жизни. „Вѣрить въ библію, со всѣмъ чудеснымъ ея содержаніемъ, говорить по поводу этого романа Гервинусъ, есть уже требованіе не критической, совершенно неспособной къ сравнительному мышленію головы, и такую бесполезную жизнь, какъ жизнь піэтиста — называть хорошою, — свидѣтельствуетъ объ умѣ, который недалеко ушелъ въ политической экономіи“. „Затѣмъ, спрашиваетъ Юнгъ, вы считаете великимъ геніемъ того человѣка, котораго душа постоянно носится въ царствѣ фантазіи и выводитъ оттуда поэтическія созданія? Его вы не порицаете; напротивъ, если богатая фантазіей голова считаетъ религію за предметъ, достойный себя, и имѣетъ о ней *романтическія* представленія—вы осуждаете такого человѣка“. Едва ли, однако, можно согласиться съ Штиллингомъ, даже примиряясь съ поэтическою стороною піэтизма, что въ представленіи, напр., близкаго Страшнаго Суда заключается какое-то сладкое чувство.

Въ Кайзерслаутернѣ, гдѣ Штиллингъ никакъ не могъ освободиться отъ долговъ, онъ потерялъ первую свою жену, постоянно больную, но нѣжно имъ любимую. Не прошло, однако, года послѣ ея смерти, какъ онъ женился на другой; впоследствии Штиллингъ былъ женатъ и въ третій разъ. Въ 1787 году рескриптомъ Гессенскаго ландграфа Штиллингъ былъ переведенъ профессоромъ экономіи, финансовъ и камеральныхъ наукъ въ Марбургскій университетъ. Здѣсь сталъ онъ получать жалованье въ 1200 тал. и съ помощью второй жены своей успѣлъ выпутаться изъ долговъ и привести дѣла свои въ порядокъ. Въ Марбургѣ Штиллингъ былъ почти исключительно занятъ препода-

ваніємъ и читаль много лекцій. Здѣсь посѣтилъ его старый отецъ, попрежнему портной, который теперь съ уваженіемъ смотрѣлъ на своего ученаго сына, сдѣлавшагося между тѣмъ уже гофратомъ. Въ это же время Штиллингъ познакомился съ „Критикою чистаго разума“. Философія для нѣмцевъ въ то время была второю религіею; каждый изъ нихъ подчинялся какой-нибудь системѣ, которая навсегда опредѣляла не только образъ мыслей его, но даже и образъ жизни. Философія Канта освободила Штиллинга отъ оковъ детерминизма, господствовавшего въ Лейбнице-Вольфіанской системѣ. Въ ученіи Канта, что человѣческій разумъ за предѣлами чувственнаго міра ничего не знаетъ и что въ сужденіяхъ о предметахъ сверхъ чувственныхъ онъ всегда впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою, онъ думалъ видѣть комментарий къ словамъ Ап. Павла: „Душевный человѣкъ не понимаетъ яже суть духа Божія“ и пр. Но другія сочиненія Канта: „Критика практическаго разума“ и „Религія въ предѣлахъ разума“ не удовлетворили, однако, Штиллинга, потому что Кантъ „источника сверхъ чувственныхъ истинъ искалъ не въ Евангеліи, а въ моральномъ чувствѣ“. Штиллингъ даже переписывался съ Кантомъ по поводу христіанства.

Между тѣмъ съ Штиллингомъ произошелъ новый, по его словамъ, важнѣйшій и послѣдній нравственный переворотъ, который далъ ему новое направленіе и приготовилъ къ истинному его назначенію. Этотъ нравственный переворотъ въ немъ произвели политическія событія времени, волненія французской революціи, которыя онъ близко могъ наблюдать, живы на границѣ Франціи. Эти великія событія, по нашему мнѣнію, скорѣе сбили съ толку его мысль, и безъ того болѣзненно направленную. По его словамъ, онъ давно уже замѣчалъ существованіе какого-то тайнаго союза, цѣлью котораго было ниспровергнуть откровенную религію и монархическое правленіе. Когда началась революція, онъ сталъ сравнивать событія настоящаго времени съ библейскими пророчествами; его мысль постепенно стала наполняться апокалиптическими образами и онъ издалека предчувствовалъ приготовленіе царства „человѣка беззаконія“. Съ этихъ поръ задачею литературной дѣятельности Штиллинга сдѣлалась борьба съ этою разразившеюся грозой. Явилось нѣсколько сочиненій его въ этомъ направленіи, сочиненій, которыя одинъ историкъ нѣмецкой литературы справедливо называлъ „Verdummungsschriften“, свидѣтельствующихъ о крайней болѣзненности мысли Штиллинга и наполненныхъ туманомъ мистицизма. Сочиненія эти очень помогли послѣдующей реакціи; они имѣли чрезвычайный успѣхъ, и къ Штиллингу за нихъ со всѣхъ сторонъ, отъ престола до сохи, шли письма, выражавшія искреннюю за нихъ благодарность. Замѣча-

тельно, что эти именно сочиненія и удостоились перевода со стороны Лабзина.

Первое изъ этихъ произведеній было „Heimweh—Тоска по отчизнѣ“, съ включенъ въ нему (1794—1796). Русскій переводъ этого сочиненія сдѣланъ былъ въ 1807 году Ѳ. П. Лубяновскимъ, и первыя двѣ части уже были напечатаны. Но въ то время мистицизмъ и Штиллингъ не были еще у насъ въ модѣ, за переводы подобныхъ сочиненій не давались ордена и, по воспоминаніямъ переводчика<sup>1)</sup>, министр, графъ Кочубей, у котораго онъ служилъ, нѣсколько разъ не былъ принятъ государемъ съ докладомъ по поводу этого перевода. Александръ говорилъ, что за эту книгу переводчику мѣсто въ Якутскѣ, и все напечатанное въ типографіи было истреблено. Впослѣдствіи переводъ Лубяновскаго былъ напечатанъ весь (5 ч., М., 1818).

Это сочиненіе Штиллинга по своему содержанію носитъ на себѣ слѣды вліянія тайныхъ обществъ масоновъ, иллюминатовъ, розенкрейцеровъ и пр., которыми была полна Германія во второй половинѣ XVIII вѣка, и организація которыхъ интересовала многихъ. Въ ней видѣли что-то поэтическое и чудесное. Множество современныхъ литературныхъ произведеній, особенно романовъ, имѣютъ въ основѣ своей подобныя таинственныя братства. Такъ и въ „Тоскѣ по отчизнѣ“ являются таинственные рыцари, составляющіе братство. Каждый изъ рыцарей совершаетъ путь покаянія, обращенія и освященія истиннаго христіанина. Все это заканчивается въ храмѣ Іерусалимскомъ, при чемъ рыцари подвергаются различнымъ испытаніямъ. Штиллингъ говоритъ, что на сочиненіе этого романа имѣли большое вліяніе, во первыхъ, „Жизнь Тристрама Шанди“—извѣстное сатирическое произведеніе Стерна и сочиненіе англійскаго піетиста XVII вѣка Буньяна „Путешествіе христіанина къ вѣчности“. Приключенія этихъ христіанскихъ рыцарей, тоскующихъ по отчизнѣ, такъ однообразны, что естественно думать, что и здѣсь въ основу разсказа положена собственная жизнь автора, но все это закрыто такимъ густымъ аллегорическимъ покровомъ, что чтеніе этого романа утомляетъ до крайности. Аллегорія такъ подробна, такъ мелочна, что Штиллингъ нашелъ даже необходимымъ написать къ ней объяснительный ключъ, но до того запутался, что самъ не понималъ уже себя.

„Тоска по отчизнѣ“ написана противъ современнаго просвѣщенія и пробужденнаго тогда духа свободы. Штиллингъ выставляетъ себя въ ней какимъ-то пророкомъ и борцемъ за христіанство. „Духъ ложнаго просвѣщенія, какъ въ Апокалипсисѣ лже-пророкъ, говоритъ онъ, слугитель звѣря, началъ собирать воинство подъ знамена его

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1872 г., стр. 489—490.

чудовища“. „Чувства мои и чувства всѣхъ истинныхъ христіанъ въ дни наши весьма схожи съ естественною тоскою по родинѣ: желалось бы тотчасъ идти въ путь и возвратиться во-свояси. И поистинѣ! тяжело становится жить въ землѣ чуждой, гдѣ общая склонность, общій долгъ есть терпимость ко всему и ко всѣмъ, но только не къ христіанамъ; гдѣ каждый можетъ громко поносить Христа, но никто уже не смѣетъ явно исповѣдывать его передъ людьми, гдѣ проповѣдуются вольность, равенство, братство, и одни только христіане исключаются изъ числа братій“<sup>1)</sup>). Какъ съ невѣріемъ времени, такъ очень легко раздѣлялся здѣсь Штиллингъ и съ Кантовой философій: онъ представилъ ее въ видѣ подземнаго лабиринта: „Кто не возьметъ туда съ собою масла посвященныхъ и свѣта не будетъ сохранять бережно—тотъ погибнетъ“.—„Тоска по отчизнѣ“ имѣла чрезвычайный успѣхъ и была переведена на всѣ европейскіе языки. По его словамъ, даже ученые невѣрующіе были обращены ею въ христіанство. Штиллингъ сталъ выставять себя защитникомъ христіанства посреди господствующаго невѣрія, и сочиненія его въ этомъ направленіи слѣдовали одно за другимъ. Не упоминая о всѣхъ его сочиненіяхъ, изъ которыхъ многія и не были переведены по-русски, мы укажемъ на „Побѣдную повѣсть христіанской религіи“ (1799), которая появилась въ русскомъ переводѣ и считалась у насъ самымъ важнымъ сочиненіемъ Штиллинга. „Побѣдная повѣсть“ представляетъ апокалиптическіе взгляды на революцію, которые развились тогда въ мистически настроенныхъ умахъ. Многіе, какъ у насъ Державинъ, примѣняли мечтанія Апокалипсиса къ современности; многіе думали, что „звѣрь изъ бездны“ уже вышелъ и „человѣкъ грѣха“ уже явился, считали французскую трехцвѣтную кокарду за „знаменіе звѣря“ и т. п. Въ особенности большую извѣстность и распространеніе въ обществѣ приобрѣли его „Сцены изъ царства духовъ“ (1797—1801) и его „Теорія познанія духовъ“ (1808). Первое изъ этихъ произведеній переведено было Лабзиннымъ, подъ названіемъ „Приключенія по смерти“ (Спб. 1805, 3 ч.). „Русскій издатель перемѣнилъ сей титулъ по обстоятельствамъ того времени, говоритъ Лабзинъ въ 1817 году, неблагопріятствовавшаго духамъ и духовному, и дававшаго всему такому удивительно страннымъ толки, до того страннымъ, что, напримѣръ, одна весьма значущая особа не постыдилась и не посовѣстилась сдѣлать представленіе противъ „Угроза“<sup>2)</sup>, чтобы взять на замѣчаніе и книгу сію и издателя оной, у котораго есть-де какіе-то злые умыслы, ибо де самое названіе „Угрозы“ показываетъ, что онъ стращать хо-

<sup>1)</sup> Ч. V, стр. XVI—XVII.

<sup>2)</sup> Угрозы—одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тоскѣ по отчизнѣ“.

четь" <sup>1)</sup>. „Приключенія по смерти“ написаны тоже противъ господствующаго невѣрія, съ полною вѣрою въ загробную жизнь, которую Штиллингъ изображаетъ сообразно своей собственной фантазіи. Главная мысль сочиненія заключается въ томъ, чтобъ доказать необходимость для гражданскаго общества ученія о наградахъ и наказаніяхъ по смерти и опровергнуть свободную мысль, что быть добродѣтельнымъ должно не изъ страха наказаній и не въ надеждѣ наградъ. Приключенія, придуманныя Штиллингомъ, не имѣютъ поэтическаго достоинства; но онъ убѣжденъ, что они не противорѣчатъ ни разуму, ни Св. Писанію, хотя въ сущности они противорѣчатъ и тому и другому. Штиллингъ говоритъ, что душа по выходѣ изъ тѣла, до дня воскресенія, носится надъ своимъ тѣломъ, какъ бы привлекаемая магнитомъ, а если тѣло раздроблено на части, то надъ зародышемъ или сѣменемъ будущаго тѣла, и носится до тѣхъ поръ, пока при воскресеніи не соединится съ новымъ тѣломъ — къ вѣчной жизни или къ вѣчной смерти. Штиллингъ совершенно убѣжденъ въ этомъ; онъ говоритъ, что у него есть на то даже чувственные доказательства. На книгу свою онъ смотритъ какъ на нравственную поэмъ, которая ничего не можетъ принести людямъ кромѣ добра и пользы. Въ „Теоріи познанія о духовъ“, для которой со всѣхъ сторонъ Штиллингъ собиралъ рассказы о чудесахъ и видѣніяхъ, онъ является непреложно убѣжденнымъ. Онъ снова возвращается къ той „вѣрѣ угольщика“, къ тому народному суевѣрію, которое окружало его дѣтство. Творческой фантазіи, какъ у Парацельза, нѣтъ у Штиллинга, но за то сочиненіе полно какою-то досадою и духомъ оппозиціи противъ философіи и просвѣщенія времени, которыхъ онъ не былъ въ состояніи понять.

Революціонныя войны отозвались на границахъ Германіи большими бѣдствіями и опустошеніями. Разореніе народа, которымъ сопровождалось нашествіе французовъ, возбуждало къ нимъ сильную ненависть, идеи, проповѣдуемыя революціей, въ виду дѣйствительныхъ несчастій, производимыхъ ею, скоро потеряли для многихъ свое обаяніе. Этимъ обстоятельствомъ можно объяснить чрезвычайный успѣхъ періодическаго изданія Штиллинга, писаннаго имъ для народа и посвященнаго имъ борьбѣ съ началами французской революціи и съ духомъ времени. Сочиненіе это носило названіе „Der graue Mann“—сѣрый человѣкъ, сѣрокафтаникъ (1795—1815). Въ русскомъ переводѣ (1806—1815), который имѣлъ и второе изданіе (Спб. 1815. 12°), сочиненію этому дано было переводчикомъ его Лабзинимъ названіе „Угрозъ Свѣтовостоковъ“. „Der graue Mann“, т.-е.

<sup>1)</sup> Жизнь Штиллинга, II, стр. 245—246.

сѣрый, суровый и грозный человекъ есть одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тоскѣ по отчизнѣ“. Это, конечно, аллегорія. Страшное и благотворное, оно наводитъ ужасъ, но помогаетъ страствующимъ въ отчизну достигать ее. Вѣроятно въ немъ Штиллингъ желалъ олицетворить совѣсть. Все сочиненіе идетъ какъ бы отъ его лица. Русское названіе, данное этому лицу, Лабзинъ объясняетъ такимъ образомъ: Угрозы—по главному его качеству, а Свѣтостоковъ—по его происхожденію. Мы не знаемъ изъ словъ Штиллинга, какой успѣхъ имѣло это популярное изданіе въ народѣ, для котораго собственно оно писалось, но что оно понравилось различнымъ владѣтельнымъ особамъ Германіи и знатымъ лицамъ, которыя желали бы держать народъ въ рукахъ посредствомъ мыслей, проповѣдуемыхъ Штиллингомъ,—это вѣрно. И у насъ эта книга имѣла чрезвычайный успѣхъ. Говорятъ, что Лабзинъ доходы отъ нея назначалъ на благотворительныя цѣли <sup>1)</sup>. Весьма вѣроятно, что нападенія на революцію и французовъ здѣсь совпадали съ патріотическимъ настроеніемъ общества и способствовали успѣху изданія. У Штиллинга не было этого патріотическаго настроенія, его занимали болѣе общіе вопросы, но во всякомъ случаѣ книга эта весьма замѣчательна, какъ выраженіе духа того времени. Она имѣла большое вліяніе на духовные вопросы, на содержаніе духовныхъ стремленій реакціонныхъ годовъ и удовлетворяла той страсти ко всему таинственному и мистическому, которая наполняла душу современниковъ, потрясенную великими тогдашними событіями. Образы и выраженія Апокалипсиса играли въ ней главную роль, какъ и въ „Побѣдной повѣсти христіанства“.

Но между тѣмъ въ Марбургѣ Штиллингу становилось трудно жить. Студенты университета, которые шли за временемъ, проникнутые современнымъ скептицизмомъ и либерализмомъ, перестали уважать своего профессора, но мѣрѣ того, какъ въ его сочиненіяхъ высказывалась упорная борьба со временемъ и его надеждами. На него нашло раздумье, и онъ наконецъ отказался отъ профессорства и въ 1803 году переселился на службу къ новому покровителю своему, тогдашнему курфюрсту, а потомъ великому герцогу Баденскому въ Гейдельбергъ. Ему дано было здѣсь приличное содержаніе, какъ главному оператору, но Штиллингъ обязанъ былъ только продолжать свое дѣло—т.-е. начатую борьбу съ духомъ вѣка. Великій герцогъ въ 1806 году взялъ съ собою Штиллинга въ Карлсруэ; онъ долженъ былъ жить въ его дворцѣ и обѣдать съ нимъ. Какъ поборникъ престоловъ и алтарей, онъ едѣлся теперь важною личностію и въ своихъ запискахъ тщеславится постепеннымъ увеличеніемъ числа своихъ

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1866 г., стр. 827.



знакомыхъ въ знатныхъ кругахъ. До глубокой старости Штиллингъ пользовался завиднымъ здоровьемъ, продолжалъ издавать своего „Угроза Свѣтовостокова“ и велъ обширную корреспонденцію съ многочисленными поклонниками своими въ различныхъ частяхъ свѣта. Великій герцогъ баденскій, полюбившій Штиллинга и пріютившій его въ своемъ дворцѣ, былъ дѣдомъ тогдашней нашей императрицы Елисаветы Алексѣевны. Когда императоръ Александръ посѣтилъ въ Карлсруэ герцога, то онъ чрезвычайно благосклонно обращался съ Штиллингомъ и потомъ посылалъ ему значительные подарки. Съ этихъ поръ снято было запрещеніе съ его сочиненій, и они вошли у насъ въ моду. Больше и больше принималъ на себя Штиллингъ пророческій тонъ и употреблялъ въ своихъ сочиненіяхъ апокалиптическія выраженія, особенно въ томъ, что писалось имъ противъ революціоннаго духа. Онъ умеръ въ 1817 году въ полномъ убѣжденіи, что въ позднѣйшіе годы его жизни въ немъ воплотился Христосъ. Но намъ въ оригинальномъ жизненномъ поприщѣ Штиллинга гораздо привлекательнѣе личность его, когда онъ является передъ нами легкомысленнымъ и добродушнымъ подмастерьемъ портного и школьнымъ учителемъ, чѣмъ въ образѣ полного умиленія и святости придворнаго тайнаго совѣтника, официального пророка и любимца государей.

Такова была личность этого человѣка, который выставлялся у насъ за какого-то просвѣтленнаго пророка и учителя христіанскаго, и таковы были сочиненія этого новаго апостола, появлявшіяся у насъ въ переводахъ, выдерживавшихъ по нѣскольку изданій и распространявшихся въ обществѣ всѣми возможными средствами. Всякій легко можетъ составить себѣ сужденіе, здоровая ли это была пища, такъ усердно заимствуемая изъ больной среды нѣмецкаго мистицизма и піетизма, которую обогналъ духъ времени, и годилась ли она для русскаго общества, только что сдѣлавшаго первые робкіе шаги на пути реформъ? Мы нарочно нѣсколько подробно остановились на Юнгѣ Штиллингѣ, чтобъ не ограничиваться одними именами и общими фразами, а познакомиться съ самою сущностью предмета, мало знакомаго вообще и теперь почти забытаго, а между тѣмъ этотъ кругъ идей и эти сочиненія, съ тѣхъ поръ какъ они получили у насъ официальное одобреніе, вошли въ духовную исторію нашего общества. Мы не будемъ говорить о многочисленныхъ переводахъ сочиненій Эккартсгаузена, который раздѣлялъ вмѣстѣ съ Штиллингомъ почетъ и уваженіе нашихъ мистиковъ, потому что и они имѣли такое же общее содержаніе, какъ и сочиненія Штиллинга. Названія множества его странныхъ сочиненій не прибавятъ ничего къ уразумѣнію нашего мистицизма. Притомъ вообще о нихъ можно сказать, что по тяжелому

изложенію своему они не пользовались такою распространенностью и популярностью, какъ сочиненія Штилинга, хотя Лабзинъ и отда-етъ имъ преимущество за глубину мыслей.

Сравнительно съ богатствомъ у насъ переводной мистической литературы въ первую половину царствованія Александра, оригинальная дѣятельность нашихъ мистиковъ была, конечно, весьма незначительна. Единственнымъ почти или, по крайней мѣрѣ, самымъ виднымъ въ ряду этихъ явленій былъ журналъ Лабзина „Сіонскій Вѣстникъ“, издававшійся имъ въ 1806 году; его появилось тогда только девять книжекъ. Но и въ немъ, главнымъ образомъ, вниманіе обращалось на западные духовныя явленія, потому что въ русскомъ обществѣ этихъ духовныхъ стремленій не оказывалось, помѣщались переводы нѣмецкихъ мистическихъ статей, а изъ оригинальныхъ вошли незначительные отрывки изъ сочиненій Рѣпина, Лопухина, Сковороды и самого Лабзина. Журналъ желалъ удовлетворить своимъ содержаніемъ религіозной потребности самого издателя, который говоритъ, что у насъ не было еще подобнаго христіанскаго изданія; но едва ли онъ находилъ большое распространеніе въ русскомъ обществѣ: читали его и были имъ довольны преимущественно лица духовныя. Митрополитъ Евгений въ частномъ письмѣ къ кому-то, нападая на догматическіе промахи издателя, несоотвѣтствующіе православію, очень, однако, хвалитъ „Сіонскій Вѣстникъ“: „Онъ многихъ обратилъ, если не отъ развращенія жизни, то по крайней мѣрѣ отъ развращенія мыслей, бунтующихъ противъ религіи, и это уже великое благодѣяніе человечеству“ <sup>1)</sup>. Кажется, это преувеличено. Въ нѣсколько мѣсяцевъ не могъ оказать вліянія журналъ, имѣвшій главной задачей борьбу съ философіей міра сего и по направленію совсѣмъ не соотвѣтствовавшій духу времени. Притомъ „Сіонскій Вѣстникъ“ былъ вскорѣ запрещенъ тѣмъ самымъ оберъ-прокуроромъ Синода, который впоследствии, когда мистицизмъ сдѣлался у насъ правительственнымъ орудіемъ борьбы съ либерализмомъ, стоялъ во главѣ самыхъ дикихъ, религіозныхъ стремленій — вк. А. Н. Голицынымъ. Тогда и „Сіонскій Вѣстникъ“ возродился къ жизни и не съ тою уже робостію и зауганностью мысли, какая отличала его въ первый годъ изданія. Объ этомъ самоувѣренномъ мистицизмѣ другого времени мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ, а теперь мы оканчиваемъ изложеніе этого явленія въ первые годы царствованія Александра.

Россіи пришлось въ 1812 году выдержать много тяжелыхъ испытаній, изъ которыхъ она возродилась къ новой жизни и дѣятельности.

<sup>1)</sup> Москвитинъ 1848 г., № 8.

Величайшимъ плодомъ этихъ испытаній народныхъ было измѣненіе отношеній между двумя факторами развитія, изъ которыхъ сложилась наша умственная и гражданская жизнь, отношеній между властію и обществомъ. До сихъ поръ правительство шло впереди развитія, тянуло общество, какъ бы на буксирѣ; теперь само общество, потрясенное великими событіями своей исторіи, пробудилось къ жизни, болѣе сознательной, стало въ болѣе близкія отношенія къ западному развитію и заимствовало изъ него болѣе свѣжее содержаніе, а правительство заподозрило это движеніе, стало сдерживать его, противодействовать ему. Глухая борьба этихъ двухъ началъ происходитъ во всю вторую половину царствованія Александра.



## О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТРАН.
ЛЕКЦІЯ I. Значеніе литературы въ обществѣ. — Отношеніе ея къ жизни. — Зависимое положеніе нашей литературы. — Причина непрочности литературной славы нашихъ писателей. — Взгляды славянофиловъ . . .	3
ЛЕКЦІЯ II. Вступленіе на престолъ Александра I. — Отношеніе къ нему общества. — Воспитаніе Александра. — Замѣтки Протасова. — Лагарпъ. Его юность. . . . .	9
ЛЕКЦІЯ III. Прибытіе Лагарпа въ Россію. — Дальнѣйшая судьба его — Уроки Лагарпа. — Вліяніе ихъ на Александра. — Воспоминанія Адама Чарторыскаго. — Стольновеніе Александра съ жизнью . . . . .	18
ЛЕКЦІЯ IV. Двойственность характера Александра. — Борьба принциповъ на Западѣ. — Отраженіе этой борьбы въ Россіи. — Направленіе нашего общественнаго движенія. — Приближенные Александра . . . . .	25
ЛЕКЦІЯ V. Роль императора Александра I въ „комитетѣ“. — Планъ организаціи народнаго образованія. — Учрежденіе Министерства Народнаго Просвѣщенія и Главнаго Правленія Училищъ. — Первый по времени министр Народнаго Просвѣщенія графъ П. В. Завадовскій и его сотрудники . . . . .	32
ЛЕКЦІЯ VI. Заботы Главнаго Правленія Училищъ о развитіи просвѣщенія въ Россіи. — Уставы Университетовъ 1804 г. — Студенты и русскіе профессора въ Университетахъ Московскомъ, Харьковскомъ и Казанскомъ . . . . .	41
ЛЕКЦІЯ VII. Недостатокъ въ профессорахъ. — Профессора иностранцы и ихъ просвѣтительное вліяніе. — Значеніе нѣмецкой философіи въ то время. — Отношеніе русскихъ университетовъ начала XIX в. къ обществу и народному образованію. — Характеристика профессорской среды. . . . .	49
ЛЕКЦІЯ VIII. Цензура и ея значеніе въ русской литературѣ. — Пушкинъ о цензорѣ Александровскаго времени. — Цензура при Екатеринѣ II и отзывъ о ней Радищева. . . . .	57
ЛЕКЦІЯ IX. Проектъ Бакларевича. — С.-Петербургскій журналъ. — Начало литературной дѣятельности Карамзина . . . . .	65
ЛЕКЦІЯ X. Вѣстникъ Европы . . . . .	74
ЛЕКЦІЯ XI. Пнинъ. — „Петербургскій Журналъ“. — „Вольное Общество любителей словесности, наукъ и художествъ“. — „Опытъ о просвѣщеніи относительно къ Россіи“. . . . .	82
ЛЕКЦІЯ XII. Цензурное дѣло Пнина. — Смерть Пнина. — С.-Петербургскій журналъ. — Мартыновъ. — Сѣверный Вѣстникъ . . . . .	91

ЛЕКЦІЯ XIII. Журналы: „Лицей“, „Журналъ Россійской Словесности“, „Журналъ для пользы и удовольствія“. — Макаровъ и его журналъ . . . . .	100
ЛЕКЦІЯ XIV. Безплодность сентиментальнаго направленія. — Князь Шаликовъ. — В. В. Измайловъ. — Его педагогическія идеи. — Журналъ „Патріотъ“. . . . .	110
ЛЕКЦІЯ XV. Споръ о старомъ и новомъ слоgъ. — Принципіальное значеніе этого спора. — П. И. Голенищевъ-Кутузовъ. — Его доносъ на Карамзина. — Шишковъ . . . . .	119
ЛЕКЦІЯ XVI. Взгляды Шишкова на русскій языкъ. — Полемика противъ Шишкова. — П. И. Макаровъ. — Каченовскій . . . . .	128
ЛЕКЦІИ XVII и XVIII. Отвѣтъ Шишкова на критики. — И. И. Дмитриевъ. — Его литературная дѣятельность . . . . .	137
ЛЕКЦІЯ XIX. Державинъ. — Его отношенія къ царствованію Александра . . . . .	155
ЛЕКЦІЯ XX. Отношеніе общественнаго мнѣнія къ западно-европейскимъ событіямъ. — Первая война съ Наполеономъ. — Аустерлицкое пораженіе. — Разгромъ Пруссіи и Тильзитскій миръ . . . . .	165
ЛЕКЦІЯ XXI. Впечатлѣніе отъ Тильзитскаго мира. — Удаленіе Чарторыскаго, Новосильцева и Кочубея. — Аракчеевъ. — Сперанскій. — Патріотическая литература. — „Геній времени“. — Ѳ. В. Растопчинъ. — Его дѣтство. — Служба. . . . .	174
ЛЕКЦІЯ XXII. Растопчинъ при Павлѣ. — Отставка Растопчина. — Занятія сельскимъ хозяйствомъ. — Брошюра „Плугъ и соха“. — „Мысли вслухъ“ . . . . .	182
ЛЕКЦІЯ XXIII. Вліяніе Растопчина на литературу. — Повѣсть „Охъ, французы“. — Комедія „Вѣсти или убитой живой“. — Отношеніе Растопчина къ Сперанскому. . . . .	192
ЛЕКЦІЯ XXIV. С. Н. Глинка. — Его дѣтство, пребываніе въ корпусѣ и служба. — Первые произведенія Глинки. — Пережѣна въ убѣжденіяхъ Глинки. — Программа „Русскаго Вѣстника“ . . . . .	201
ЛЕКЦІЯ XXV. Сотрудники Глинки: Растопчинъ, княгиня Дашкова. — Отношеніе публики и правительства къ „Русскому Вѣстнику“. — Содержаніе журнала. — Отношеніе къ нему журналистики. — Эпиграммы на Глинку . . . . .	210
ЛЕКЦІЯ XXVI. Новыя нападки Шишкова на современную литературу. — Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа. — Д. В. Дашковъ и его критика на сочиненія Шишкова. — Отвѣтъ Шишкова . . . . .	220
ЛЕКЦІЯ XXVII. Книга Дашкова „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“. — „Разговоры о словесности“ Шишкова. — Критика Каченовскаго на первый разговоръ. — „Бесѣда“ . . . . .	229
ЛЕКЦІИ XXVIII и XXIX. Крыловъ. — Комедіи его „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. — Озеровъ и его трагедіи „Ярополъ и Олегъ“, „Эдишъ въ Аѳинахъ“, „Фингалъ“ . . . . .	239
ЛЕКЦІЯ XXX. „Димитрій Донской“. — Служебныя непріятности Озерова. — Намѣреніе писать трагедію изъ русской исторіи. — „Поликсена“. — Неуспѣхъ пьесы. — Его причины. — Кн. А. А. Шаховской . . . . .	258
ЛЕКЦІЯ XXXI. Интриги Шаховскаго противъ Озерова. — Сумасшествіе Озерова. — Отзывъ Сперанскаго объ Озеровѣ. — Трагедіи Крыковскаго. — Записка Карамзина „о древней и новой Россіи“ . . . . .	267

	СТРАН.
ЛЕКЦІИ XXXII, XXXIII и XXXIV. Содержаніе „Записки“ Ка- рамзина . . . . .	277
ЛЕКЦІЯ XXXV. Масонство и мистицизмъ.—Новиковъ . . . . .	303
ЛЕКЦІЯ XXXVI. Мистическая литература при Александрѣ I.— Судьба старыхъ масоновъ.—Лопухинъ.—Его „Разсужденіе о злоупотре- бленіи разума“.—Записки Лопухина.—Защита духоборцевъ . . . . .	312
ЛЕКЦІЯ XXXVII. Лопухинъ въ царствованіе Павла и Александра.— Эккартсгаузенъ . . . . .	321
ЛЕКЦІЯ XXXVIII. Соч. Лопухина „Нѣкоторыя черты о внутрен- ней церкви“. — Драма „Торжество правосудія и добродѣтели“. — „Отрывки“ . . . . .	331
ЛЕКЦІИ XXXIX и XL. Ковальковъ.—Невзоровъ.—Лабзинъ . . . . .	340
ЛЕКЦІЯ XLI. Литературная дѣятельность Лабзина.—Юнгъ Штил- лингъ . . . . .	359
ЛЕКЦІЯ XLII. Сочиненія Штиллинга. — Журналъ „Сіонскій Вѣст- никъ“.—Заключеніе . . . . .	368







**Въ книжномъ складѣ при типографіи М. М. СТАСЮЛЕВИЧА**

(Спб., В. О., 5 линія, д. 28)

имѣются въ продажѣ изданія Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ:

1. „Историческое Обзорѣніе“, издаваемое подъ редакціей *Н. И. Карьева*. Цѣна I тома 2 р. 50 к.; II, III, IV, V, VI и XI по 2 р.; VII, VIII, IX, X и XII — по 1 р. 50. к.

2. **Личные мемуары г-жи Роланъ**. Переводъ Н. Г. Вернадской. Цѣна 1 р.

3. **С. И. Носовичъ**. Крестьянская реформа въ Новгородской губерніи (1861 — 1863). Съ предисловіемъ В. И. Семевского. Цѣна 1 р. 50 к.

---

Изданіе помѣщается въ книжн. складѣ тип. М. М. Стасюлевича.  
(Спб., Вас. Остр., 5 л., д. 28).

RECEIVED  
JUL 17 1924

~~P. Slav 25.2.0~~

Library of  
University of Petrograd

ИСТОРИЧЕСКОЕ

# ОБОЗРѢНІЕ

СБОРНИКЪ

Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Н. И. КАРѢВА.

(1904 г.).

13

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1904.



# ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

---

СБОРНИКЪ

Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Н. И. КАРѢВА.

(1904 г.).

---

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1904.

PSlav 381.60

Slav 25.20

MASSACHUSETTS  
JUL 17 1924

Library of  
University of Petrograd



3347

Печатается по постановленію Комитета Историческаго Общества при  
Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ. Спб., 16 мая 1904 года.

Предсѣдатель *Н. Кареевъ*.

Н. Н. БУЛИЧЪ.

О Ч Е Р К И

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И

ПРОСВѢЩЕНІЯ

СЪ НАЧАЛА XIX ВѢКА.

---

ТОМЪ II.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

1904.



8348

## ЛЕКЦІЯ I.

1812 годъ. — Патріотическое направленіе литературы.—С. Глинка. — Растопчинъ.—Его афиши.

Въ половинѣ царствованія Александра Россіи суждено было вынести тяжелое испытаніе, которое значительно повліяло на историческія судьбы ея, на духъ общества и поставило власть въ другія отношенія къ народу. Мы говоримъ о 12-мъ годѣ и объ исполинской борьбѣ съ Наполеономъ, взволновавшей государство и общество до самаго основанія и сильно, хотя и не надолго, поднявшей общественное сознаніе. Тяжелый ударъ упалъ на безмолвную до тѣхъ поръ страну и возбудилъ вдругъ всѣ ея силы и въ особенности чувство національнаго достоинства и оскорбленной народной гордости, которая потомъ вполне удовлетворилась нашими побѣдами и политическимъ преобладаніемъ въ Европѣ. Не могли эти великія событія, переживаемыя съ трепетнымъ волненіемъ современниками, не отразиться на идеяхъ, и на умственной дѣятельности, какъ бы ни была незначительна эта послѣдняя. Въ эту замѣчательную эпоху общаго народнаго напряженія мы видимъ какъ бы поворотную точку, съ которой начинается измѣненіе и въ направленіи власти и въ направленіи общества. Нельзя отрицать вліянія войны 1812 года на народное сознаніе, потому что война эта была народная, потому что въ ней ставился вопросъ о существованіи. Съ голоса патріотической литературы, которая начала имѣть вліяніе на наше общественное мнѣніе съ первыхъ неудачныхъ встрѣчъ съ Наполеономъ, въ массу народа проникла глубокая ненависть къ врагу. Это чувство было общимъ и господствовавшимъ въ то время. Нашествіе французовъ, наши потери, занятіе Москвы и пожаръ ея произвели глубокое впечатлѣніе на сознаніе народа; оно не вдругъ прошло и не вдругъ уступило мѣсто ходу событій. Изгнаніе врага и побѣды подняли и возбудили родную гордость, тѣшили народное самолюбіе. Но утверждать, что эпоха



12-го года имѣла другое, болѣе рѣшительное и глубокое вліяніе на всю нашу исторію и наше развитіе, что съ нея измѣнился самый ходъ послѣдняго и вмѣсто прежней подражательности и прежнихъ заимствованій изъ Европы начинается пора самостоятельнаго развитія и въ жизни и въ мысли и въ литературѣ—будетъ не сомнѣнъ справедливо. Порывъ чувства былъ слишкомъ силенъ и стремителенъ; но онъ прошелъ такъ же скоро, какъ и пришелъ. Самостоятельнаго и глубоко-національнаго развитія въ жизни мы не увидимъ, но увидимъ, что самая жизнь эта стала глубже и многостороннѣе; вліянія европейскія сдѣлались гораздо сильнѣе; болѣе тѣсное сближеніе и знакомство съ Европою, въ томъ обновленномъ и полномъ движеніи видѣ, въ какомъ она вышла изъ революціонной борьбы, еще болѣе распространили у насъ эти вліянія. Съ помощію ихъ и въ нашей мысли началось болѣе глубокое движеніе; она съ болѣе рѣшительною смѣлостію принялась за разработку внутреннихъ общественныхъ вопросовъ, получила 'оттѣнокъ' политическій и пыталась даже выступить на практическое поприще.

Съ этимъ ходомъ нашего общественнаго развитія въ эпоху тяжелой борьбы съ Наполеономъ сообразовалась и литература наша. На ней отражался ходъ событій и знаменія времени, не смотря на всю ея слабость и подцензурное безсиліе. Мы довольно подробно говорили о нашемъ литературномъ движеніи въ замѣчательную эпоху начала царствованія Александра. Мы видѣли слабыя несвободныя и неумѣлыя попытки литературы въ эпоху первыхъ надеждъ на лучшее устройство,—во время первыхъ преобразованій, о которыхъ мечталъ Александръ и его молодые и либеральные совѣтники. Требовать отъ этой литературы больше, чѣмъ дала она при общей незрѣлости мысли, при совершенной непривычкѣ общества заниматься вопросами дѣйствительной жизни—мы не имѣемъ права. Явившись въ эпоху реформы Петра, эта литература служила только дѣлу реформы; ея главное вниманіе обращено было на Европу, художественнымъ явленіямъ которой она должна была по необходимости подражать, усваивая своей странѣ общія начала цивилизаціи. Необходимо должна она была находиться подъ вліяніемъ явленій болѣе могущественныхъ и даже съ чужой точки зрѣнія смотрѣть на свою собственную, народную жизнь. Въ такомъ положеніи, за самыми ничтожными исключеніями, литература наша находилась въ теченіе всего XVIII вѣка. Въ концѣ этого вѣка и началѣ XIX мы познакомились съ крупнымъ литературнымъ явленіемъ—произведеніями Карамзина, въ которыхъ уже замѣтенъ нѣкоторый успѣхъ, сравнительно съ предшествовавшимъ временемъ, успѣхъ, заключающийся въ томъ, что онъ проще и естественнѣе взглянулъ на жизнь, что онъ ближе подвинулся къ

дѣйствительности, чѣмъ его предшественники, хотя все содержаніе его литературной дѣятельности разрабатывало вялый сентиментализмъ, тупую привязанность къ неподвижнымъ формамъ государственной жизни и ненависть къ реформамъ, задуманнымъ лучшими людьми въ началѣ царствованія Александра. Эти реформы дали нѣкоторое оживленіе русской мысли, особенно въ журналистикѣ, чему способствовали, разумѣется, самыя взгляды правительства и желаніе дать относительный просторъ мысли. Но это кратковременное оживленіе не составляло еще значительнаго успѣха, литература не понимала народной жизни, потому что не изъ нея и вытекала она; правда жизни, какъ и дѣйствительныя потребности ея были далеки отъ нея. При томъ прежній тонъ литературной похвалы и самовосхваленія, тонъ напыщенной оды, представителемъ которой была Державинская поэзія, продолжалъ господствовать по-прежнему. Немногіе понимали его безсодержательность, и критика не смѣла еще возставать на прославленные авторитеты. У Державина было много послѣдователей и тонъ его поэзіи, состоящій въ восхваленіи самодержавія, побѣдъ и героевъ, не смотря на пробужденіе въ русской жизни болѣе высокихъ потребностей, продолжалъ господствовать и въ первую половину царствованія Александра. При преобладаніи такого тона и такихъ идеаловъ, которые совершенно приходились по плечу большинству общества, слабый голосъ журнальной литературы, касавшейся вопросовъ общественныхъ и робко трактовавшей о задуманныхъ реформахъ, былъ едва слышенъ въ обществѣ. Эта литература была слишкомъ незрѣла, долго шла на помочахъ у власти и была слишкомъ запугана, чтобъ имѣть независимый голосъ и говорить свободно, именно о томъ, что составляетъ главное содержаніе литературы—о вопросахъ общественныхъ—и тѣмъ служить развитію страны.

Прежняя литературная рутина была такъ сильна, что пробудившійся голосъ новыхъ идей былъ совершенно заглушенъ *патріотическимъ направленіемъ*, усилившимся во время неудачныхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ. Въ ряду другихъ литературныхъ явленій того времени: художественной поэзіи, мистицизма и журналистики, патріотическое направленіе стало самымъ сильнымъ и тонъ его проникъ во всѣ литературныя области. Мы познакомились уже отчасти съ дѣятельностію представителей патріотической литературы передъ самою войною 12-го года: съ Шишковымъ, Растопчинымъ и Глинкою. Всѣ трое въ эпоху 12-го года являются во главѣ движенія.

Мы довольно подробно говорили о борьбѣ Шишкова съ Карамзинистами, гдѣ выступаетъ тоже это патріотическое направленіе, гдѣ, повидимому, дѣло шло о словахъ и формахъ языка, но въ сущности происходила борьба стараго съ новымъ. Шишковъ былъ представи-

телемъ старыхъ Ломоносовскихъ и Сумароковскихъ преданій въ языкѣ; въ языкѣ Карамзина были видны новыя, свѣжія силы, въ немъ замѣтно французское вліяніе, а этого было довольно Шишкову, чтобъ видѣть въ Карамзинѣ и въ его школѣ революціонеровъ и вредныхъ людей, обвинять ихъ въ вольнодумствѣ и даже въ измѣнѣ отечеству, тогда какъ въ дѣйствительности между идеями Шишкова и идеями Карамзина, по отношенію къ государственной жизни, не было существенной разницы. И тотъ и другой говорили одинаково въ пользу консервативныхъ идей и уваженія къ старинѣ, какова бы она ни была. Съ голоса Шишкова наша литература наполнилась выходами противъ всего французскаго, противъ нашихъ французскихъ учителей, въ рукахъ которыхъ, по необходимости, было такъ долго воспитаніе русскаго юношества. Теперь, подѣ вліяніемъ неудачъ и поражений, подѣ вліяніемъ нелюбви къ преобразованіямъ и новой жизни, нелюбви, которая въ каждомъ французѣ заставляла видѣть революціонера и царевубійцу, раздраженіе противъ всего французскаго достигло высшей степени, хотя въ немъ и замѣтно было много дѣтскаго и недѣлаго.

Но Шишковъ, какъ личность, въ своихъ увлеченіяхъ и нападеніяхъ на все французское былъ искрененъ, хотя и недѣленъ; таково было его воспитаніе и таковъ былъ складъ его ума. Едва ли можно говорить объ искренности убѣжденія въ литературно-патріотической дѣятельности Растопчина, хотя онъ по таланту стоялъ выше Шишкова. Простодушнѣе и наивнѣе Шишкова былъ С. Глинка съ своимъ дѣтски патріотическимъ журналомъ „Русскій Вѣстникъ“. Журналъ этотъ, который онъ сталъ издавать въ одно время съ патріотическими брошюрами Растопчина и подѣ его вліяніемъ, былъ и задуманъ имъ для пробужденія въ русскомъ обществѣ національнаго чувства и патріотизма, посвященъ прославленію старинныхъ добродѣтелей и достоинствъ русскаго народа, желанію поднять во что бы то ни стало людей древней Руси, при чемъ Глинка, въ наивномъ увлеченіи своемъ, иногда чрезвычайно забавно сравнивалъ мысли древнихъ русскихъ людей съ европейскою наукою, которую онъ зналъ гораздо лучше, чѣмъ древнюю Русь. Промахи Глинки не замѣчались тогдашнимъ неразвитымъ русскимъ обществомъ; оно безраздѣльно подчинилось его пылкому увлеченію, и въ эпоху борьбы съ Наполеономъ онъ имѣлъ большое значеніе и нравственный авторитетъ. Онъ даже пожалованъ былъ орденомъ „за любовь къ родинѣ“, какъ сказано въ рескриптѣ. Это былъ вполнѣ цѣльный и честный характеръ, чѣмъ и объясняется его вліяніе даже на молодое поколѣніе. Произведенія Растопчина въ ту пору пользовались также большою популярностію, хотя подѣ слоемъ патріотизма въ нихъ выступало наружу

личное честолюбіе, а не искреннее и глубоко убѣжденное чувство. Теперь, когда прошло уже много времени, легко замѣтить даже въ самомъ слогѣ его что-то натянутое и придуманное. Растопчинъ былъ человѣкъ вовсе не воспитанный по-русски; народъ и его положеніе были не близки ему; онъ тупо и упорно стоялъ за старыя формы жизни и защищалъ крѣпостное право, видя въ освобожденіи вредъ для государства. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ скорѣе поддавался подъ народный тонъ, чѣмъ понималъ его.

Съ такимъ общимъ характеромъ представляется намъ русская литература въ первую половину царствованія Александра I. Она была слабымъ выраженіемъ слабаго и неопредѣленнаго общественнаго мнѣнія. Въ этомъ обществѣ только самая ничтожная часть его, и то поддерживаемая сначала, правительствомъ, думала о лучшемъ будущемъ, о реформахъ, необходимыхъ для государства и народа. Но само правительство, по личному характеру Александра, колебалось и выражало постоянно нерѣшительность; оттого мнѣнія меньшинства не имѣли ни твердости, ни возможности дѣйствовать на жизнь. Приверженцы стараго порядка, удалившіеся было отъ дѣлъ въ началѣ царствованія, недовольные новыми людьми, окружавшими молодого императора, и новыми идеями, грозившими измѣнить старину, отчаявались недолго и скоро опять подняли голову. 12-й годъ помогъ имъ очень много.

Съ этого времени правительство покидаетъ путь реформъ и улучшеній, и представители стараго порядка снова управляютъ дѣлами. Посреди тревожныхъ ожиданій общественнаго мнѣнія, въ виду близящагося нашествія Наполеона, правительство должно было уступить напору консервативной партіи; оно испугалось; идеи Карамзина, которыми онъ грозилъ власти въ своей знаменитой „Запискѣ“ и которыя были приняты сначала неблагосклонно, теперь восторжествовали и сдѣлались руководящими. Создатель всѣхъ реформъ и преобразованій въ администраціи—Сперанскій, на голову котораго сыпалось столько проклятій, палъ къ общей радости консерваторовъ; его реформы и конституціонные планы заслужили теперь ему названіе „измѣнника“, съ которымъ соглашался и самъ Александръ, принесяшій его въ жертву всеобщему раздраженію. „Не знаю, смерть лютаго тирана могла ли бы произвестъ такую всеобщую радость“, говоритъ современникъ о паденіи и ссылкѣ Сперанскаго<sup>1)</sup>. Изъ этого уже можно видѣть, какъ настроено было тогда общественное мнѣніе въ Россіи, хотя оно не имѣло ни голоса, ни выраженія и ничтожныя газеты того времени не смѣли даже напечатать извѣстія о такой перемѣнѣ.

<sup>1)</sup> Записки Ф. Ф. Вигеля, вып. IV, стр. 33.

Въ самую эпоху 12-го года, въ это время порывовъ и патриотическаго увлеченія, ненависть къ иностранцамъ и въ особенности къ французамъ достигаетъ своего полного развитія и естественно ожидать, что знакомое намъ патриотическое направленіе должно торжествовать въ литературѣ. Извѣстенъ чрезвычайный успѣхъ новаго журнала, появившагося въ 1812 году и посвященнаго возбужденію патриотизма и описанію подвиговъ русскихъ въ отечественную войну. Редакторомъ его былъ въ то время еще молодой и мало кому знакомый литераторъ Н. И. Гречъ. Журналъ этотъ— „Сынъ отечества“, самое названіе котораго уже достаточно показываетъ его направленіе. Хотя впоследствии онъ много разъ измѣнялъ этому направленію, но въ ту пору все оно состояло въ ожесточенномъ преслѣдованіи Наполеона и французовъ, въ дивихъ насмѣшкахъ надъ побѣжденнымъ врагомъ. Ненависть къ завоевателю и французамъ перешла въ ненависть къ идеямъ, созданнымъ французскою литературою XVIII вѣка, и къ принципамъ, которые создала революція. И то и другое смѣшивалось.

Такимъ же успѣхомъ, вслѣдствіе всеобщаго возбужденія въ разныхъ слояхъ общества, пользовались знаменитыя *Теребневскія* карикатуры (по имени художника ихъ исполнявшаго, хотя у него были и другіе помощники). Это были политическія карикатуры того времени во всей своей грубой непосредственности. Подняться выше онѣ не могли, потому что настоящая политическая карикатура развивается только въ странахъ съ свободною государственною жизнью и немыслима при существованіи цензуры. Теребневскія карикатуры издавались съ разрѣшенія цензуры и все ихъ немудреное содержаніе заключалось въ грубой насмѣхѣ надъ побѣжденнымъ врагомъ, въ желаніи возбудить къ нему ненависть. Тутъ была лезть животнымъ инстинктамъ народа, а въ подписяхъ подъ карикатурами мы встрѣчаемъ поддѣлку подъ народный селядъ языка, на манеръ Растопчина. Правительство поддерживало подобныя литературныя и художественныя явленія, потому что старалось и съ своей стороны о возбужденіи народнаго чувства. Патриотическая ненависть къ французамъ и Наполеону достигла высшей степени въ пресловутыхъ *афишахъ* или печатныхъ объявленіяхъ графа Растопчина, въ которыхъ онъ разговаривалъ съ московскими жителями о приближающемся къ столицѣ врагѣ. Мы говорили уже о предшествовавшей литературной дѣятельности Растопчина, возникшей во время первыхъ несчастныхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ, подъ влияніемъ внутренняго недовольства преобразованиями и неудовлетвореннаго честолюбія, такъ какъ Растопчинъ не пользовался милостію Александра. Растопчинъ находился въ оппозиціи, и въ обществѣ московскомъ разноси-

лись его остроумныя выраженія, которыя не могли нравиться правительству. Его личный характеръ тоже не располагалъ къ нему. Чрезвычайно впечатлительная, желчная и раздражительная натура его во многомъ напоминала императора Павла, любимцемъ котораго онъ былъ и которому онъ обязанъ былъ какъ своимъ возвышеніемъ въ служебной іерархіи, такъ и жалованнымъ богатствомъ.

Александръ сблизился съ нимъ незадолго до войны 12-го года. Въ этомъ сближеніи, какъ это было и по отношенію къ Карамзину, принимала участіе В. К. Екатерина Павловна, недовольная Сперанскимъ и преобразованіями, сдѣланными имъ. Родство и дружба Растопчина съ Карамзинымъ, одинаковость ихъ взглядовъ и убѣжденій обратили на него вниманіе Великой Княгини, а въ началѣ 12-го года, когда все общественное мнѣніе было встревожено близящимся грознымъ нашествіемъ Наполеона, когда послѣдовало неожиданное паденіе Сперанскаго, всѣ указывали на Растопчина, какъ на главу консервативной партіи, какъ на будущаго спасителя отечества. Всѣ приписывали ему извѣстное подложное письмо къ императору, весьма грубое по формѣ и выраженію, гдѣ Сперанскій выставлялся главою заговора, желавшаго предать Россію въ руки Наполеона и лишить ее всякихъ средствъ къ оборонѣ. Какъ бы то ни было, Растопчинъ, если не прямо, то своими словами и дѣйствіями много способствовалъ паденію Сперанскаго. Въ ту тяжелую пору всеобщаго страха и недоумѣнія, когда напуганное мнѣніе вездѣ и во всемъ видѣло измѣну, когда, уступая подозрѣніямъ подобнаго рода, Александръ назначилъ, противъ своего желанія, Кутузова главнокомандующимъ вмѣсто Барклая де-Толли, почитаемаго измѣнникомъ, назначеніе Растопчина на важный постъ московскаго главнокомандующаго было встрѣчено всеобщимъ одобреніемъ. Онъ былъ дѣйствительно въ то время на своемъ мѣстѣ. Страстный по своей впечатлительной натурѣ и деспотъ въ душѣ, Растопчинъ сжалъ первопрестольную столицу въ своихъ крѣпкихъ рукахъ и распоряжался въ ней самовластно; это былъ диктаторъ, которому обстоятельства придавали силу. Къ этому времени, именно къ 12-му году, къ двумъ или тремъ мѣсяцамъ передъ тѣмъ, какъ Наполеонъ занялъ Москву, относятся его *Афиши* или объявленія къ народу, которыя въ нашихъ исторіяхъ литературы обыкновенно считаются за образцовыя произведенія. Онѣ, дѣйствительно, были тогда замѣчательнымъ явленіемъ въ нашей жизни: появленіе ихъ доказываетъ, какъ необходимо для правительства и власти печатное слово, и надобно только сожалѣть, что такъ рѣдко и то только въ затруднительныхъ обстоятельствахъ прибѣгаютъ къ этому средству.

Всѣхъ афишъ 10 или 12. Болѣе полное ихъ изданіе находится у

Богдановича <sup>1)</sup>). Содержаніе этихъ объявленій къ народу заключается въ увѣдомленіи москвичей о движеніи нашихъ и непріятельскихъ войскъ, о числѣ ихъ, при чемъ, конечно, главная цѣль Растопчина была воодушевить и ободрить народъ и въ особенности успокоить его, такъ какъ Москва въ то время была полна волненіемъ въ виду приближавшагося нашествія. Изъ Москвы Растопчинскія афишки переходили и въ ближайшія губерніи и вездѣ читались съ жадностію. Растопчинъ находился въ довольно затруднительномъ положеніи. Не смотря на то, что онъ старался въ своихъ афишахъ удержать москвичей отъ выселенія изъ города, смѣялся надъ тѣми, которые выѣзжали, какъ надъ трусами, „жизнію отвѣчалъ, по его выраженію, что злодѣи въ Москву не будутъ“, выселеніе людей достаточныхъ, дворянъ, купцовъ и чиновниковъ было очень значительно, да и само правительство выводило и вывозило изъ Москвы государственныя драгоценности, присутственныя мѣста, воспитательныя заведенія, монаховъ, монахинь и пр. Все это раздражало народъ и противорѣчило утвержденіямъ Растопчина. Тѣ, которые вѣрили его увѣреніямъ, раскаялись жестоко потомъ, что остались въ Москвѣ, и въ этомъ въ особенности надобно искать причину того, что Растопчинъ такъ скоро потерялъ свою популярность. Часто эти афиши приводили народъ въ недоумѣніе: онъ не зналъ, чему вѣрить — словамъ ли главнокомандующаго или тому, что онъ зналъ изъ другихъ источниковъ. Надобно думать, что самъ Растопчинъ, какъ онъ и говоритъ въ своемъ рапортѣ Сенату <sup>2)</sup>), былъ вполне убѣжденъ, что русская армія отстоитъ Москву и не допустить въ нее непріятеля, и полагался на утвержденія Кутузова въ этомъ смыслѣ: „моя цѣль, говоритъ онъ, состояла единственно въ томъ, чтобъ спокойствіемъ Москвы сохранить спокойствіе и во всей Россіи, спасти жителей столицы и оставить ее на погибель непріятеля безъ людей и безъ пищи: въ чемъ, благодареніе Всевышнему! успѣлъ совершенно!“ Въ противоположность Кутузову, Растопчинъ видѣлъ въ паденіи Москвы погибель всей Россіи. „Каждый теперь изъ русскихъ, писалъ онъ къ Кутузову, полагаетъ всю силу въ столицѣ и справедливо почитаетъ ее оплотомъ царства; но съ ея впаденіемъ въ руки злодѣя, цѣпь, связывающая все мнѣніе и укрѣпленная къ престолу государей нашихъ, разорвется, и общее рвеніе, раздѣляясь на части, останется бездѣйственно“. Онъ воображалъ, что Наполеонъ, утвердившись въ Москвѣ, будетъ безпрепятственно править Россіею <sup>3)</sup>). И Растопчинъ хотѣлъ отстоять Москву, возбуждая ея населеніе къ

<sup>1)</sup> „Исторія Александра I. т. III, Прил., стр. 69—73“.

<sup>2)</sup> „Русск. Арх.“ 1868 г., стр. 884.

<sup>3)</sup> „Русск. Стар.“ 1870 г., II, стр. 305.

оборонѣ, унижая въ его глазахъ врага шутками, въ которыхъ поддѣлывался подъ грубый тонъ народа. „Какъ! Къ намъ? — говоритъ Растопчинъ устами московскаго мѣщанина Карюшки Чихирина, выпившаго лишній кружекъ на тычекъ, „милости просимъ, хоть на святахъ, хоть на масленицу; да и тутъ жгутами дѣвки такъ припопонять, что спина вздуется горой. Полно демономъ-то наряжаться; молитву сотворимъ, такъ до пѣтуховъ сгинешь! Сиди-ка дома, да играй въ жмурки, либо въ гулячки. Полно тебѣ фиглярить; вить солдаты-то твои карлики да щегольки: ни трупа, ни рукавицъ, ни малахая, ни онучъ не надѣнуть. Ну гдѣ имъ русское житье-бытье вынести? Отъ капусты раздуются, отъ каши перелопачуются, отъ щей задохнутся, а которые въ зиму-то и останутся, такъ крещенскіе морозы поморятъ, будутъ у воротъ замерзать, на дворѣ околѣвать, съ сѣняхъ зазывать, въ избѣ задыхаться, на печи обжигаться“... <sup>1)</sup>).

Онъ увѣрялъ народъ, что легко побѣдить французовъ, даже однимъ москвичамъ: „И выйдемъ сто тысячъ молодцевъ, возьмемъ Иверскую Божию Матерь, да 150 пушекъ и кончимъ дѣло всѣмъ вмѣстѣ. У непріятеля же своихъ и сволочи 150 т. человекъ, кормятся пареною рожью и лошадинымъ мясомъ“... „Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуемъ; все перемелется, мука будетъ“... „Мы своимъ судомъ съ злодѣемъ разберемся! Когда до чего дойдетъ, мнѣ надобно молодцевъ и городскихъ и деревенскихъ; я кличъ кликну дни за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо съ топоромъ, не дурно съ рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки; французъ не тяжеле снопа ржаного“... <sup>2)</sup>).

Изъ этихъ отрывковъ Растопчинскихъ воззваній видно, что національное чувство, имъ возбуждаемое, походило скорѣе на раздражительность и ненужное хвастовство, напоминающее извѣстное выраженіе: „шапками закидаемъ“! Въ афишахъ не было уваженія ни къ врагу, ни къ русскимъ. Народа и не могъ уважать Растопчинъ по всему складу своихъ убѣжденій и по характеру. Онъ смотрѣлъ на него, какъ на бессмысленную толпу, которую можно обманывать бойкими фразами въ псевдо-народномъ духѣ и ложными извѣстіями.

<sup>1)</sup> Соч. Растопчина, изд. Смирдина, стр. 163—164.

<sup>2)</sup> Богдановичъ, т. III, прил., стр. 69—73.



## ЛЕКЦІЯ II.

„La vérité sur l'incendie de Moscou“.—Казнь Верещагина.—Общая характеристика личности Растопчина.—Шишковъ. „Опытъ славенскаго словаря“. „Разсужденіе о любви къ отечеству“.—Назначеніе Шипкова государственнымъ секретаремъ.

Двѣнадцатымъ годомъ и прославленною историческою дѣятельностію въ Москвѣ въ званіи генераль-губернатора заканчивается собственно литературная слава Растопчина, какъ и вообще его роль въ русской исторіи, ему современной. Скоро онъ удаляется отъ дѣлъ и событій и если не покидаетъ своего пера, то написанное имъ, болѣею частію не по-русски, не имѣетъ уже прямого отношенія къ времени и касается только его одного. Въ заревѣ всемірно-историческаго пожара Москвы, который можно считать скорѣе случайнымъ произведеніемъ народнаго грабежа и обстоятельствъ, чѣмъ сознательнымъ и обдуманымъ патріотическимъ подвигомъ, мрачная и желчная фигура Растопчина освѣщена какимъ-то зловѣщимъ блескомъ. Этотъ пожаръ Москвы, который обыкновенно приписываютъ патріотической дѣятельности и распоряженіямъ Растопчина, сдѣлался потомъ причиною всеобщаго неудовольствія на него, особенно со стороны многочисленнаго населенія москвичей, разоренныхъ пожаромъ и принужденныхъ возвращаться на груды развалинъ. Манифесты 12-го года приписывали пожаръ Москвы поджогамъ французовъ. Патріотическое значеніе его выступило въ сознаніи гораздо позже; на первыхъ порахъ онъ возбуждалъ только ненависть и раздраженіе, признаніе пожара какъ подвига даже сдѣлано было не русскими, а иностранцами. И самъ Растопчинъ, уже гораздо позже, въ 1823 году, когда толки объ этомъ событіи и вопросы, поднимаемые имъ, стали часто встрѣчаться въ иностранной печати и когда усилились обвиненія его со стороны русскихъ, почелъ своею обязанностію издать въ Парижѣ книжку „La vérité sur l'incendie de Moscou“, въ которой онъ отрицалъ фактъ своихъ распоряженій и снималъ съ себя всякую отвѣтственность за пожаръ. Поклонники Растопчина думаютъ, что эта странная книжка была написана имъ изъ уваженія къ русскому народу <sup>1)</sup>, что въ ней Растопчинъ не желалъ приписывать себѣ одному честь высокаго патріотическаго самопожертвованія, а хотѣлъ ее раздѣлить съ народомъ русскимъ... Но мы знаемъ, что онъ не уважалъ этотъ народъ. Скорѣе можно думать, что Растопчинъ, жившій тогда

<sup>1)</sup> „Русск. Арх.“, 1869 г., стр. 1443.

въ Парижѣ и читавшій французскіе газеты и журналы, въ которыхъ московскій пожаръ выставлялся какъ величайшее варварское дѣло, недостойное XIX вѣка, желалъ снять съ себя общія обвиненія.

Другое обстоятельство того же 12-го года еще болѣе въ злобѣщемъ свѣтѣ выставляетъ мрачную личность Растопчина. Это трагическая смерть Верещагина, несчастнаго молодого человѣка, попавшаго въ руки раздраженной московской черни съ рукописнымъ переводомъ Наполеоновской прокламаціи, сдѣланнымъ имъ изъ празднаго любопытства. Обстоятельства этого дѣла, много разъ изложеннаго въ нашей печати въ воспоминаніяхъ современниковъ, не дѣлаютъ вовсе чести Растопчину. Послѣ кратковременныхъ и недостаточныхъ вопросовъ онъ выставилъ Верещагина передъ разъяренною чернью измѣнникомъ и шпиономъ французовъ (это было наканунѣ входа французовъ въ Москву) и выдалъ его на растерзаніе народу. Это былъ необдуманный поступокъ, произвола, который составлялъ существенную черту характера Растопчина, и нельзя поэтому согласиться съ Фарнгагеномъ фонъ-Энзе, представившимъ замѣчательную характеристику Растопчина, что онъ рѣшился на казнь Верещагина обдуманно и сознательно „для усиленія народнаго негодованія“. Казнь Верещагина, безъ суда и слѣдствія, была произведеніемъ только дикаго разгула власти, до котораго дошелъ Растопчинъ съ своими инстинктами, чисто татарскаго свойства. Современники рассказывали, что эта казнь Верещагина стояла грознымъ призракомъ въ памяти Растопчина до самой смерти его, что тѣнь убитаго являлась ему въ сонныхъ видѣніяхъ и мучила его совѣсть, наводя по временамъ на его далеко не чувствительную натуру неописанный ужасъ <sup>1)</sup>. Говорятъ также, что отецъ несчастнаго Верещагина, какой-то капитанъ, уже въ 1813 году, бросился къ ногамъ императора Александра и просилъ суда и слѣдствія, желая оправдать память невиннаго сына, и это было между прочимъ причиною усилившагося нерасположенія Александра къ Растопчину. Но главный источникъ неудовольствія заключался въ московскомъ пожарѣ, на который смотрѣли тогда, какъ на совершенно бесполезную жертву, какъ на страшное дѣло, погубившее столько имущества и богатствъ и разорившее такъ много народа. Александръ и прежде не любилъ Растопчина; теперь эта нелюбовь усилилась и Растопчинъ былъ уволенъ отъ званія московскаго главнокомандующаго 30 августа 1814 года. На другой годъ онъ поѣхалъ за границу какъ для лѣченія, такъ и для воспитанія своихъ дѣтей и оставался тамъ лѣтъ восемь. Его сыномъ изданы

<sup>1)</sup> *Свербеевъ*, Записки, т. I, стр. 464—8; Ф. ф.-Энзе.—„Моск. Вѣд.“, 1859 г., № 234.

отрывки изъ его „путевыхъ замѣтокъ“ <sup>1)</sup>), которыя, какъ кажется, были первоначально писаны на языкѣ французскомъ. Въ нихъ по-прежнему виденъ живой и наблюдательный умъ его и удивительная легкость выраженія. Недовольство и желчь, которыя составляли существенную черту этихъ записокъ, не мѣшали однако высказывать ему очень мѣткія наблюденія, гдѣ рядомъ съ признаками неудовлетвореннаго честолюбія заключалось много замѣтокъ весьма вѣрныхъ, какъ о нѣкоторыхъ людяхъ, такъ и объ обстоятельствахъ времени. То же можно сказать о собраніи его писемъ къ извѣстному кавказскому герою, его другу — Циціанову, писанныхъ еще до начала его авторства<sup>2)</sup>). Въ нихъ очень много любопытнаго, какъ для характеристики самого Растопчина, такъ и для характеристики времени и общества, разумѣется, подъ условіемъ личнаго его взгляда.

Большую часть своей заграничной жизни Растопчинъ естественно провелъ въ Парижѣ, гдѣ слава его имени, значительное богатство, умъ, превосходное умѣнье владѣть французскимъ языкомъ и выражаться на немъ съ замѣчательнымъ остроуміемъ, приобрѣли ему всеобщую извѣстность и знакомства въ различныхъ слояхъ общества. Его нарочно приходили смотрѣть, какъ личность чрезвычайно оригинальную, и потому очень много замѣтокъ о немъ и его характерѣ встрѣчается въ запискахъ иностранцевъ. Къ сожалѣнію, нельзя ничего сказать похвальнаго о нравственномъ характерѣ послѣднихъ годовъ его жизни. Снѣдаемый оскорбленнымъ самолюбіемъ, при пылости, дикихъ и грубыхъ инстинктахъ своего татарскаго характера, Растопчинъ пускался въ увлеченія, несвойственныя ни его лѣтамъ, ни его положенію. Онъ скрывалъ однако то чувство, которое грызло его, и распорядился выгравировать свой портретъ съ характеристическою надписью: „Безъ дѣла и безъ скуки—сиджу, поджавши руки“. Вигель оставилъ въ своихъ „Воспоминаяхъ“ нѣсколько непривлекательныхъ намековъ о томъ, какъ этотъ старикъ „оставивъ неохотно бремя государственныхъ дѣлъ, чувственными наслажденіями хотѣлъ заглушить сожалѣнія о потерянной власти“ <sup>3)</sup>). Вигеля подтверждаетъ и Ф. фонъ-Энзе, рассказывая объ увлеченіяхъ Растопчина штутгардскою актрисою Бреде <sup>4)</sup>). Дикій баринъ, испорченный крѣпостнымъ правомъ, хотя и съ лоскомъ парижанина, выходилъ наружу. Въ 1823 году Растопчинъ воротился въ Москву, гдѣ прожилъ недолго. Онъ умеръ 18-го января 1826 года. Послѣднее впечатлѣніе его и

---

<sup>1)</sup> Деятели. Вѣст., II, стр. 121—140.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 1—113.

<sup>3)</sup> Записки, вып. V, стр. 126.

<sup>4)</sup> „Моск. Вѣд.“, 1859 г., № 234.

последнія остроумныя слова его относились къ людямъ извѣстнаго петербургскаго событія 14 декабря 1825 года, которыхъ онъ судилъ съ своей точки зрѣнія: „Обыкновенно сапожники дѣлають революціи, чтобы сдѣлаться господами, а у насъ господа захотѣли сдѣлаться сапожниками“ <sup>1)</sup>. Растопчинъ жилъ довольно долго и стоялъ часто на самомъ верху событій, любилъ наблюдать и умно наблюдалъ, писалъ много и было о чемъ ему писать, а потому трудно предположить, чтобы послѣ него не осталось подробныхъ воспоминаній о пержитомъ имъ. Сынъ его свидѣтельствуетъ <sup>2)</sup>, что всѣ его бумаги, тотчасъ по смерти, взяты были въ Петербургъ.

Надобно замѣтить, что славу Растопчина составили сначала главнымъ образомъ иностранцы. Ихъ интересовала въ высшей степени эта во всякомъ случаѣ оригинальная и замѣчательная личность и роль ея въ московскомъ пожарѣ 12 года. Конечно, французы въ то время и долго спустя смотрѣли на этотъ пожаръ, какъ на поступокъ вполнѣ варварскій, свойственный только дикарямъ, а не образованному народу; но другіе иностранцы, воспитанные въ ненависти къ Наполеону, видѣли въ Растопчинѣ героя. Многіе изъ нихъ разглядѣли однако въ немъ „неумолимую жестокость башкира съ любовью француза нашего вѣка“, сужденіе, повторенное и Ф. фонъ Энзе, который имѣлъ случай говорить съ нимъ въ 1817 году. И онъ замѣтилъ въ немъ также эти характерныя черты: произволь и сильную волю, прикрытыя виѣшнимъ лоскомъ, и неудовлетворенное честолюбіе. Когда Растопчинъ говорилъ, что отечество было неблагодарно къ нему, то, по словамъ Фарнгагена, его страшно было слушать. Онъ замѣтилъ въ немъ и дикую основу характера. По его характеристикѣ извѣстный англійскій историкъ Карлейль составилъ о Растопчинѣ понятіе, какъ о фигурѣ въ родѣ Микель-Анджеловскихъ <sup>3)</sup>. Естественно, что для нѣмцевъ временъ освобожденія изъ-подъ власти Наполеона Растопчинъ являлся величайшимъ патриотомъ и героемъ въ духѣ древней Греціи или Рима. Въ замѣткахъ извѣстнаго нѣмецкаго патриота Арндта, бывшаго въ Россіи въ 1812 году вмѣстѣ съ барономъ Штейномъ, онъ и представляется такимъ, а пожаръ Москвы величайшимъ патриотическимъ подвигомъ <sup>4)</sup>. Эти взгляды перешли и къ нашимъ историкамъ Отечественной войны и сдѣлались общимъ достояніемъ. Что касается до литературной дѣятельности Растопчина и до значенія ея въ исторіи нашего развитія, то, не отнимая у него

<sup>1)</sup> „Русск. Арх.“, 1868 г., стр. 1675.

<sup>2)</sup> Дев. Вѣкъ, II, стр. 114.

<sup>3)</sup> „Русск. Арх.“, 1866 г., стр. 509.

<sup>4)</sup> „Русск. Арх.“, 1871 г., стр. 940.

блестящаго таланта и замѣчательной легкости выраженія, мы далеки отъ того однакожъ, чтобъ приписывать его сочиненіямъ безукоризненно народный характеръ. Сознаніе и въ наукѣ и въ обществѣ растетъ съ годами, и увлеченія прежнихъ сужденій уступаютъ мѣсто взглядамъ болѣе строгимъ и обдуманнѣмъ. Всѣ произведенія Растопчина имѣли значеніе временное, а слѣдовательно, одностороннее. Видѣть въ нихъ что-нибудь больше—будетъ преувеличеніе. Онъ сдѣлалъ свое дѣло въ свое время, но не былъ народнымъ писателемъ, потому что не любилъ народа, не уважалъ ни его ума, ни сердца, а смотрѣлъ на народъ, какъ на грубую и темную массу, съ которою можно поступать деспотически и произвольно. Растопчина выдвинули впередъ обстоятельства; вмѣстѣ съ ними онъ сошелъ съ исторической сцены.

Та же знаменательная эпоха 12 года выдвинула на новый родъ дѣятельности и Шишкова. И онъ, подобно Растопчину, да и вообще большинству своихъ современниковъ, страдалъ служебнымъ честолюбіемъ. Его огорчало удаленіе отъ государя, которому нужны были новые люди съ новымъ взглядомъ на вещи. Его мѣсто заступилъ молодой, чрезвычайно образованный, либеральный и лично любимый Александромъ — Чичаговъ, которому потомъ пришлось въ 12 году сыграть довольно двусмысленную и до сихъ поръ не вполне выясненную роль при извѣстной переправѣ Наполеона чрезъ Березину, за что тяжело обрушилось на него тогдашнее общественное мнѣніе Россіи. И Чичаговъ и Шишковъ не терпѣли другъ друга и недовольный Шишковъ весь отдался своимъ полемическимъ трудамъ, *cornerstien*, какъ называли тогда, и борьбѣ противъ новаго слога, въ которомъ онъ видѣлъ развращеніе вѣка. Мы видѣли, какой дѣльный и рѣзкій отпоръ получилъ онъ отъ карамзинистовъ, которые потрудились отвѣчать на каждое изъ полемическихъ сочиненій Шишкова. Но его преслѣдовала и въ другомъ мѣстѣ неудача, гдѣ онъ, повидимому, не могъ бы ожидать ее. Въ качествѣ члена Россійской Академіи, въ которой засѣдали всѣ старики тогдашней литературы, на ряду съ членами высшаго духовнаго сана, Шишковъ въ 1808 году представилъ въ нее для напечатанія „Опытъ славенскаго словаря“, гдѣ ему „вздумалось собирать и толковать не всѣмъ вообще извѣстныя слова, часто весьма сильныя и для высокаго слога необходимо нужныя, но забытыя или незнаемыя, по причинѣ малаго употребленія оныхъ въ просторѣчій“ <sup>1)</sup>. Академія рѣшила напечатать подобный словарь, но послѣ напечатанія нѣсколькихъ листовъ, продолженіе было приостановлено, вслѣдствіе замѣчаній двухъ членовъ—епископовъ, которые,

<sup>1)</sup> Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлинъ, 1870 года, т. II, стр. 1. (Быль, достойная нѣкотораго любопытства):

разбирая нѣкоторыя слова, требовали все сочиненіе подвергнуть особой духовной цензурѣ, не смотря на то, что Академія имѣла право печатать безъ всякой цензуры. Обиженный Шишковъ потребовалъ объясненій и получилъ довольно объемистую тетрадь примѣчаній на свой „Словарь“, которыя онъ, разумѣется, призналъ неосновательными, тѣмъ болѣе, что его заподозривали въ неправославныхъ мнѣніяхъ и въ незнаніи церковно-славянскаго языка. Шишковъ не преминулъ вступить въ рукописную полемику съ двумя духовными сочленами по Академіи, своими критиками, при чемъ „не могъ воздержаться отъ удивленія и печали, видя людей, которые въ почтенномъ архипастырскомъ санѣ, напрягаясь желаніемъ очернить трудъ чело-вѣка, ищущаго принести пользу языку своему, начинаютъ съ важностію обвинять его“<sup>1)</sup>. Полемика эта не привела ни къ чему и словарь былъ напечатанъ лѣтъ восемь спустя. Изъ нея Шишковъ, въ своемъ увлеченіи, вынесъ только слѣдующее убѣжденіе: „Доселѣ Теофаны, Платоны и другіе наши церковные пастыри, говорили поученія свои языкомъ священныхъ книгъ; свѣтскіе же писатели—Ломоносовы и имъ подобные, почерпали изъ нихъ важность слога и красоту выраженій. Нынѣ, напротивъ, не токмо свѣтскіе журналисты, не читая ничего истинно высокаго и краснорѣчиваго, отстаютъ отъ великолѣпія и силы языка своего, но и духовныя особы въ томъ имъ послѣдуютъ“<sup>2)</sup>. Всю эту полемику Шишковъ подробно записалъ въ своихъ „Домашнихъ запискахъ“<sup>3)</sup>.

Неудачи по службѣ, самолюбіе, немолодыя лѣта и воспитаніе, имъ полученное, сдѣлали его консерваторомъ, врагомъ людей и преобразованій, задуманныхъ въ первую половину царствованія Александра. Мы знаемъ, что подобныхъ ему было много. Онъ отличался, однако, выгодно отъ другихъ своимъ простодушіемъ и искренностію, дѣйствительною любовью къ языку нашихъ богослужебныхъ книгъ, уваженіемъ народныхъ преданій и наивною враждою ко всему чужеземному, въ чемъ видѣлъ, по обыкновенію, развращеніе нравовъ и слѣды ненавистной ему французской революціи. Самодержавію, подобно Державину, онъ былъ преданъ вполнѣ, всею душою и видѣлъ въ немъ единственный якорь спасенія. Въ его сердцѣ самымъ искреннимъ образомъ, хотя и безсознательно, въ неопредѣленномъ видѣ, жила та формула, которую извѣстный министръ, графъ Уваровъ, въ глухую пору нашей внутренней исторіи старался положить въ основу всего народнаго просвѣщенія Россіи: православіе, самодержавіе и на-

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 15.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 25.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 1—42.

родность. Я говорилъ уже о томъ, какъ, при главномъ участіи Шишкова и Державина, образовалась въ Петербургѣ, по преимуществу изъ старыхъ литераторовъ съ Ломоносовскими преданіями и консервативными убѣжденіями, такъ называемая „Бесѣда любителей русскаго слова“, какъ противоѣдствіе новому слогу и новому направленію въ словесности. Это литературное общество, котораго торжественныя собранія съ большою внѣшнею помпою происходили въ нарочно для того устроенной залѣ дома Державина и привлекали лицъ высшаго общества, всегда консервативнаго и въ пору старавшагося выказать свой патріотизмъ, было Высочайше утверждено въ началѣ 1811 года. „Бесѣда“ была открыта вступительною рѣчью Шишкова о красотахъ нашихъ стихотворцевъ. Въ декабрѣ этого года, когда отношенія наши къ Наполеону достаточно опредѣлились и когда для многихъ стала ясною неизбѣжность новой и рѣшительной борьбы съ нимъ, Шишковъ читалъ въ „Бесѣдѣ“ свое извѣстное „Разсужденіе о любви къ отечеству“<sup>1)</sup>. Онъ написалъ его ранѣе, но читать долго не рѣшался по политическимъ обстоятельствамъ. Шишковъ самъ объясняетъ, почему онъ не смѣлъ читать своего разсужденія. „Времена казались мнѣ такіа, что я, наслышась о преобладаніи надъ нами французскаго двора и чванствѣ посланника его, Коленкура, а при томъ зная и неблаговоленіе ко мнѣ государя императора, опасался, чтобъ не поставили мнѣ это въ какое-нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народную“<sup>2)</sup>. Слова замѣчательныя! Они показываютъ, какъ принижена мысль у нашихъ писателей, которые не смѣютъ, безъ воли правительства, говорить о народной гордости. Для огражденія себя отъ нападеній, Шишковъ потребовалъ, чтобы публичное чтеніе его разсужденія было опредѣлено всѣми отдѣлами „Бесѣды“. Собраніе, въ которомъ читалъ Шишковъ, было очень многочисленно. Все высшее общество столицы и представители духовенства, болѣе 400 человекъ, привлеченные содержаніемъ рѣчи и ея отношеніемъ къ времени, собрались сюда. Успѣхъ чтенія былъ чрезвычайный; самъ Шишковъ, какъ онъ передаетъ это въ письмѣ къ своему пріятелю Бардовскому, не ожидалъ ничего подобнаго<sup>3)</sup>.

„Тутъ увидѣлъ я, говоритъ онъ, что какъ бы правы ни были повреждены, однакожь правда не престаётъ жить въ сердцахъ чело-вѣческихъ“. Слѣдовательно причину успѣха разсужденія Шишкова надобно искать въ обстоятельствахъ времени. Это было полное тор-

<sup>1)</sup> Соч. т. IV, стр. 147 сл.

<sup>2)</sup> Записки I, стр. 117—118.

<sup>3)</sup> Ibidem II, стр. 321—322.

жество „Вестѣй“ и ея идей; тогда были лучшіе дни ея, какихъ не случилось уже болѣе пережить ей. Намъ нѣтъ надобности входить въ разборъ этого разсужденія Шишкова, напоминавшаго по своему содержанію такое же разсужденіе Карамзина; это были общія мѣста, проникнутыя, однако, неподдѣльнымъ чувствомъ, что и составляетъ главное достоинство всѣхъ сочиненій Шишкова: тутъ было повтореніе всего того, что Шишковъ прежде высказывалъ въ своихъ сочиненіяхъ, въ болѣе общей формѣ и въ извѣстныхъ рамкахъ ораторской рѣчи. Онъ говорилъ о народной гордости и развивалъ тѣ основныя начала, которыя составляютъ народность: языкъ, воспитаніе, вѣра. Но повторяемъ: разсужденію придавали значеніе обстоятельства времени; ихъ величіе, трепетное чувство ожиданія—усиливали впечатлѣніе. Разсужденіе это не прошло даромъ; оно выдвинуло Шишкова на новый родъ государственной и авторской дѣятельности, который доставилъ ему почетную извѣстность въ 12 году и за который Пушкинъ почтилъ Шишкова двумя извѣстными стихами своими. Вскорѣ послѣ паденія Сперанскаго, обязанностію котораго было сочинять всѣ манифесты, выходящіе отъ Высочайшаго имени, императоръ Александръ позвалъ къ себѣ Шишкова, котораго не видалъ лѣтъ десять. Онъ сказалъ Шишкову, что читалъ его „разсужденіе о любви къ отечеству“, что чувства, высказанныя въ немъ, ему нравятся, что онъ можетъ быть полезенъ, и предложилъ ему написать первый манифестъ о рекрутскомъ наборѣ по поводу предстоящей войны съ французами. Манифестъ былъ скоро готовъ, государь остался доволенъ его выраженіями и, не смотря на свое личное чувство нелюбви къ составителю, послѣ нѣкоторыхъ колебаній (выборъ могъ еще остановиться на Карамзинѣ, но, вѣроятно, неблагопріятное впечатлѣніе его „записки“ не совсѣмъ еще изгладилось) назначилъ Шишкова государственнымъ секретаремъ и предложилъ ему ѣхать съ собою въ армію. Два года провелъ Шишковъ при особѣ государя, въ обществѣ Аракчеева и Балашева; эти три новыя приближенныя лица очень не походили на прежнихъ любимцевъ Александра. Обстоятельства времени требовали другихъ, болѣе подходящихъ къ нимъ, людей. Реформаторы не годились.

Съ этого времени, съ самаго начала войны, съ первыхъ неудачъ нашихъ, которыя произвели общій испугъ, и до торжественныхъ извѣщеній объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества, о нашихъ побѣдахъ на поляхъ Германіи и Франціи, о *мишестои* въ Парижѣ и объ общемъ умиротвореніи народовъ по заключеніи Священнаго Союза, которымъ, казалось тогда, навсегда упрочивались сноихствіе и счастье государствъ—всѣ манифесты, рескрипты, указы, извѣщенія и проч., касавшіеся великихъ событій исполинской борьбы, писаны



были Шишковымъ. Конечно, не прямо выливались они изъ головы его; большая доля участія въ нихъ принадлежитъ самому императору, который давалъ тонъ и направленіе мысли Шихкова, испрвлялъ выраженія, но въ этихъ памятникахъ государственнаго краснорѣчія въ великую эпоху Шихкову открывался полный просторъ всенародно высказывать любимыя свои убѣжденія. Это была самая лучшая пора литературной дѣятельности Шихкова, когда имя его, какъ государственнаго секретаря и автора манифестовъ, сдѣлалось извѣстнымъ всей Россіи. Современники оставили намъ любопытныя воспоминанія о томъ сильномъ впечатлѣніи на умы и сердца, которое производили тогда Шихковскіе манифесты. Почти изъ нихъ только однихъ глухая страна получала понятіе о смыслѣ всего переживаемаго ею. Впервые выступилъ на сцену и забытый народъ въ рѣчахъ царя, впервые пришелъ на память и историческія воспоминанія. „Мы уже возвали къ первопрестольному граду нашему Москвѣ, говорится въ извѣстномъ манифестѣ изъ Полоцка отъ 6 Іюля, а нынѣ взываемъ ко всѣмъ нашимъ вѣрнопопдааннымъ, ко всѣмъ сословіямъ и состояніямъ, духовнымъ и мірскимъ, приглашая ихъ вмѣстѣ съ нами единодушнымъ и общимъ возстаніемъ содѣйствовать противу всѣхъ вражескихъ замысловъ и покушеній. Да найдетъ онъ на каждомъ шагѣ вѣрныхъ сыновъ Россіи, поражающихъ его всѣми средствами и силами, не внимая никакимъ его лувкаствамъ и обманамъ. Да встрѣтитъ онъ въ каждомъ дворняинѣ—Пожарскаго, въ каждомъ духовномъ—Палицина, въ каждомъ гражданинѣ—Минина. Благородное дворянское сословіе! ты во всѣ времена было спасителемъ отечества; Святѣйшій Синодъ и духовенство! вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу Россіи; народъ Русской! храброе потомство храбрыхъ славянъ! ты неоднократно сокрушалъ зубы устремлявшихся на тебя львовъ и тигровъ; соединитесь всѣ: со крестомъ въ сердцѣ и съ оружіемъ въ рукахъ, никакія силы человѣческія васъ не одолѣютъ!“<sup>1)</sup> Мы не знаемъ—Шихкову или Александру принадлежатъ знаменитыя слова рескрипта графу Салтыкову: „Я не положу оружія доколѣ ни единого непріятельскаго воина не останется въ царствѣ моемъ“<sup>2)</sup>. Всѣ нападенія, направленные противъ французовъ, какъ народа, принадлежатъ, разумѣется, самому Шихкову. „Могъ ли бы онъ (Наполеонъ) духъ ярости и злостія своего вдохнуть въ миллионы сердецъ, если бы сердца сіи сами собою не были развращены и не дышали зловраіемъ?—говорится въ официальномъ извѣстіи изъ Москвы послѣ бѣгства фран-

<sup>1)</sup> Полн. Собр. Зак., т. XXXII, стр. 388.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 354.]

дузовъ. „Хотя конечно во всякомъ и благочестивомъ народѣ могутъ быть изверги, однакоже когда сихъ изверговъ, грабителей, зажига- телей, убійцъ невинности, оскорбителей человѣчества, поругателей и осквернителей самой святыни, появится въ цѣломъ воинствѣ почти всаеъ и каждый, то невозможно, чтобъ въ народѣ такой державы были благіе нравы. Человѣческая душа не дѣлается вдругъ злою и безбожною; она становится таковою мало-по-малу, отъ примѣровъ, отъ соблазна, отъ общаго и долговременно разливающагося яда без- вѣрія и развращенія. Сами французскіе писатели изображали нравъ народа своего сліяніемъ тигра съ обезьяною; и когда же не былъ онъ таковъ? Гдѣ, въ какой землѣ весь царскій домъ казнень на плахѣ? Гдѣ, въ какой землѣ столько поругана была вѣра и самъ Богъ? Гдѣ, въ какой землѣ самыя гнусныя преступленія позволя- лись обычаями и законами? Взглянемъ на адскія изрыгнутыя въ книгахъ ихъ лжеумудрованія, на распутство жизни, на ужасы рево- люціи, на кровь, пролитую ими въ своей и чужихъ земляхъ: слы- хано ли когда, чтобъ столѣтніе старцы и нерожденные еще мла- денцы осуждались на казнь и мученіе? Гдѣ человѣчество? Гдѣ при- знаки добрыхъ нравовъ? Вотъ съ какимъ народомъ имѣемъ мы дѣло! И посему должны разсуждать, можетъ ли прекращена быть вражда между безбожіемъ и благочестіемъ, между порокомъ и добродѣтелію? Долго мы заблуждались, почитая народъ сей достойнымъ нашей пріязни, содружества и даже подражанія. Мы любовались и прижи- мали къ груди нашей змѣю, которая, терзая собственную утробу свою, проливала къ намъ ядъ свой, и наконецъ насъ же, за нашу къ ней привязанность и любовь всезлобнымъ жаломъ своимъ уязвляетъ“ <sup>1)</sup>. Это были уже личныя увлеченія Шишкова. Онъ какъ бы торжество- валь, что все имъ прежде высказываемое подтверждалось событіями.

Пожаръ Москвы долженъ открыть намъ глаза, убить нашу подра- жательность. О своихъ литературныхъ противникахъ онъ говорить: „Теперь я бы ткнулъ ихъ носомъ въ пепелъ Москвы, и громко имъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли!“ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Записки А. С. Шишкова, т. I. Приложенія, стр. 441—44.

<sup>2)</sup> Записки II, стр. 327, письмо къ Я. I. Бардовскому отъ 4 мая 1813 г.

### ЛЕКЦІЯ III.

Шишковъ за границей.—Отставка.—Положеніе и направленіе общественнаго мнѣнія во время послѣдней борьбы съ Наполеономъ.—Басни Крылова, какъ отголосокъ патріотическаго настроенія общества.—Зарожденіе мистицизма въ обществѣ.—Манифестъ 1816 года.

Въ своихъ „Запискахъ“ <sup>1)</sup>, какъ и въ „Письмахъ къ женѣ во время похода“ <sup>2)</sup> Шишковъ оставилъ подробныя воспоминанія о своемъ пребываніи при лицѣ государя и въ главной квартирѣ, о всѣхъ тѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ, по поводу которыхъ были писаны его манифесты. Эти воспоминанія раскрываютъ передъ нами ту же знаковую намъ личность, исполненную оригинальныхъ, преувеличенныхъ, но совершенно искреннихъ чувствъ. Его неподатливая натура была неспособна къ придворной жизни, а потому, несмотря на близость его къ императору Александру, несмотря на частыя свиданія съ нимъ и ежедневный обмѣнъ мыслей, Шишковъ нисколько не выигралъ въ благорасположеніи государя. Очевидно, что Александръ только терпѣлъ его, понуждаемый силою обстоятельствъ, и выслушивалъ славянофильскія, архипатріотическія тирады своего государственнаго секретаря, не убѣждаясь ими. Вліяніе Шипкова выразилось въ убѣжденіи Александра оставить армию, не мѣшая своимъ присутствіемъ распоряженіямъ главнокомандующаго и уѣхать сначала въ Москву, а потомъ въ Петербургъ, но и здѣсь доводы Шипкова были подкрѣплены авторитетомъ Балашева и Аракчеева. Шипковъ, не надѣясь словами убѣдить Александра, рѣшился обратиться къ нему письменно; бумагу эту, подписанную имъ и другими двумя приближенными лицами, хранили въ тайнѣ, но Шипковъ сообщилъ о томъ, какъ онъ самъ признается, изъ авторскаго самолюбія, сестрѣ государя — Еватеринѣ Павловнѣ; Александръ узналъ объ этомъ обстоятельстве и оно было причиною еще большаго охлажденія къ Шипкову и наконецъ удаленія его отъ должности государственнаго секретаря.

12-й годъ усилилъ въ Шипковѣ тѣ убѣжденія, которыя потомъ развивались въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ славянофиловъ. Бѣдствію того времени онъ приписывалъ несамостоятельности нашей и духъ подражанія. Не разъ онъ развивалъ эту любимую свою тему передъ Александромъ. „Государь! не вы тому причиною, говорилъ онъ ему и едва ли въ царствованіе ваше могли отвратить сіе слишкомъ ус-

<sup>1)</sup> I, стр. 123—309.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 313—419.

лившееся зло, котораго начало идетъ отъ великаго впрочемъ, но въ семь случаѣ не предусмотрѣннаго послѣдствій, прародителя вашего, Петра Перваго. Онъ, виѣстъ съ полезными искусствами и науками, допустилъ войти мелочнымъ подражаніямъ, поколебавшимъ коренные обычаи и нравы. Прочіе цари не останавливали сего рождавшагося въ насъ пристрастія ко всему чужеземному, а особливо французскому. Великая Екатерина, бабка ваша, на послѣдокъ почувствовала сіе и старалась обращать насъ къ отечественнымъ доблестямъ, но то уже было поздно и требовало немалыхъ и долговременныхъ усилій“<sup>1)</sup>). Шишковъ самъ признается, что подобныя разсужденія весьма не правились тѣмъ, которые уже заразились новизною, т. е. стояли за прогрессъ и просвѣщеніе.

Вслѣдъ за бѣгущею арміею Наполеона Александръ поѣхалъ въ Вильно въ сопровожденіи Шишкова, въ декабрѣ 1812 года. Русское войско должно было идти въ Европу. Шишковъ, подобно Кутузову, не желалъ европейскаго похода; онъ ожидалъ, хотя и ошибочно, поражения, и совѣтовалъ довольствоваться сдѣланными уже успѣхами и изгнаніемъ врага изъ предѣловъ Россіи. Убѣжденія Шишкова не подействовали, и онъ долженъ былъ сопровождать государя при главной квартирѣ. Быстрое путешествіе для больного старика было очень утомительно; ему не разъ случалось отставать, и онъ просился домой, но государь не отпускалъ его. Болѣзнь помѣшала ему быть вслѣдъ за нашими войсками во Франціи и въ ненавистномъ ему Парижѣ. Все это время онъ пробылъ въ Карльсруэ, гдѣ жила у родныхъ и наша императрица Елисавета Алексѣевна. Но онъ слѣдилъ за событіями, радовался окончательному пораженію французовъ на ихъ же почвѣ, съ мистическимъ чувствомъ подбиралъ библейскіе тексты, приравнявъ ихъ къ современнымъ событіямъ и, привыкнувъ писать манифесты и воззванія, онъ для собственнаго своего удовольствія, вообразивъ себя, какъ онъ самъ признается весьма наивно, фельдмаршаломъ соединенныхъ армій, сочиняетъ воззваніе къ французскому народу, гдѣ ему достается такъ, какъ недоставалось ни въ одномъ печатномъ манифестѣ, и гдѣ онъ старается вылить все лѣтами накопившееся въ сердцѣ его огорченіе и желчь. Это воззваніе отзывается, по словамъ его, „тѣмъ отвращеніемъ или, лучше сказать, омерзениемъ, какое чувствовалъ я всегда ко многимъ издаваемымъ французскими писателями злочестивымъ сочиненіямъ, распространившимъ между ими безвѣріе и безнравственность, за которыми послѣдовали гнусныя, Гомеровскія дѣла ихъ“<sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 160—161.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 269—277.

Изъ заграничныхъ воспоминаній Шишкова любопытны тѣ встрѣчи съ западными славянами, которыя его радовали, какъ филолога, и пребываніе его въ Прагѣ, гдѣ онъ познакомился съ извѣстнымъ Добровскимъ, съ которымъ потомъ, какъ и съ другими славянскими учеными, велъ дѣятельную переписку въ званіи президента Россійской Академіи. Но вообще Шишковъ тосковалъ за границею и сильно желалъ воротиться домой. Это возвращеніе послѣдовало почти одновременно съ государемъ, въ іюлѣ 1814 года. Нѣсколько манифестовъ и очень важныхъ, особенно тѣхъ, гдѣ, подъ вліяніемъ пережитыхъ событій, высказывалось новое, уже сложившееся воззрѣніе, съ примѣсомъ мистицизма, развивавшагося въ душѣ Александра, пришлось еще написать Шишкову, но все менѣе и менѣе онъ пользовался расположеніемъ и вскорѣ былъ уволенъ отъ званія государственнаго секретаря. Съ этихъ поръ онъ снова обратился къ литературнымъ трудамъ, которые приняты теперь чисто филологическое направленіе, къ Россійской Академіи, гдѣ онъ дѣятельно предсѣдательствовалъ, и къ „Бесѣдѣ“, которая теперь доживала послѣдніе дни свои, не возбуждая уже никакого участія въ обществѣ и сдѣлавшись постоянною цѣлью насмѣшекъ и юмористическихъ выходокъ болѣе молодого литературнаго общества „Арзамасъ“. Къ сожалѣнію, записки Шишкова прерываются по возвращеніи его въ Петербургъ въ 1814 году и такимъ образомъ теряется возможность уяснить его дальнѣйшія жизненные отношенія. Въ качествѣ сенатора, онъ не разъ еще подавалъ мнѣнія по разнымъ дѣламъ, но мнѣнія эти, выражая собою личный, давно сложившійся и хорошо всѣмъ извѣстный взглядъ стараго адмирала, не представляютъ государственнаго интереса.

Только въ концѣ царствованія Александра, уже въ очень преклонныхъ лѣтахъ, по паденіи мистическаго министерства князя Голицына, Шишковъ снова является государственнымъ человѣкомъ, въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія, и оказываетъ свое вліяніе на духовную жизнь страны. Тогда мы встрѣтимся съ нимъ.

Если бы мы захотѣли судить о положеніи общественнаго мнѣнія и о его направленіи по тѣмъ литературнымъ явленіямъ, которыя относятся ко времени послѣдней и рѣшительной борьбы нашей съ Наполеономъ, по газетнымъ извѣстіямъ, по толкамъ немногихъ тогдашнихъ журналовъ, то мы должны были бы положительно сказать, что передъ нами общество, глубоко проникнутое національными стремленіями, сознательно понимающее себя и свои отношенія и ненасытающее подражательность.

Переворотъ въ мнѣніяхъ и въ характерѣ жизни былъ поразительный. Люди становились неузнаваемыми, и современники часто говорятъ, какъ многіе изъ легкомысленныхъ и пустыхъ людей ста-

новились серьезными и мыслящими. Слова патриотизма и самопожертвованія были на устахъ у всѣхъ. Всѣ, казалось, хотѣли быть русскими, никому и ни въ чемъ не подражая, стараясь не говорить по французски въ высшемъ обществѣ, презирая французскія моды, французскую литературу и т. п. Это направленіе представляется однако ничѣмъ инымъ, какъ скоропреходящимъ порывомъ; люди ходили въ какомъ то чаду отъ событій; вѣтеръ развѣялъ этотъ чадъ и все стало по-прежнему.

Въ эту эпоху, какъ и во всякую другую, когда въ жизни народа по какой-либо причинѣ совершается историческій переломъ, подняты были снова и властію и литературою толки о воспитаніи, такъ какъ оно оказываетъ самое сильное вліяніе на народную жизнь и ея направленіе. Мѣры, принятыя правительствомъ въ первые годы царствованія Александра, оказались недостаточными. За малымъ развитіемъ у насъ науки, русскихъ воспитателей не находилось или было чрезвычайно мало, а потому попрежнему воспитателями у насъ были иностранцы; они, какъ люди гораздо болѣе приготовленные къ педагогическому дѣлу, чѣмъ русскіе, заняли даже главныя мѣста во вновь учрежденныхъ училищахъ. Это признавала сама власть и еще за годъ до войны 12-го года указывала на такое положеніе вещей, какъ на зло.

„Въ отечествѣ нашемъ давно простерло корни свои воспитаніе, иноземцами сообщаемое, говоритъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Разумовскій въ докладѣ своемъ отъ 25 мая 1811 года. Дворянство, подпора государства, возрастаетъ нерѣдко подъ надзоромъ людей, одною собственною корыстію занятыхъ, презирающихъ все не иностранное, не имѣющихъ ни чистыхъ правилъ нравственности, ни познаній. Слѣдуя дворянству, и другія состоянія готовятъ медленную пагубу обществу воспитаніемъ дѣтей своихъ въ рукахъ иностранцевъ. Любя отечество, не можно безъ прискорбія взирать на зло столь глубоко въ ономъ внѣдрившееся“ <sup>1)</sup>, и министръ указываетъ на средства, которыя могутъ, если не уничтожить, то, по крайней мѣрѣ, ослабить это зло. Если уже правительство признавало зло и съ своей стороны собиралось бороться съ нимъ, то естественно ожидать, что литература того времени и въ особенности журналы должны были, подъ вліяніемъ усилившагося патриотизма воевать съ этимъ зломъ. Дѣйствительно—нападенія на иностранныхъ воспитателей и въ особенности на французовъ, какъ педагоговъ—составляютъ любимую тему въ тогдашней литературѣ. Ихъ усиливали ненависть къ врагу и факты, которые возмущали тогдашнихъ патриотовъ. Множество

<sup>1)</sup> Полн. Собр. Зак., XXXI.

плѣнныхъ французовъ было разослано партіями по всѣмъ русскимъ губерніямъ. Журналы, настроенные на одинъ ладъ, сообщали съ чувствомъ негодованія извѣстія, что эти плѣнные, сосланные французы, скоро сдѣлались любимыми гостями въ дворянскихъ домахъ провинцій, что въ нихъ скоро были забыты недавніе враги, что ихъ берутъ въ учителя къ дѣтямъ, что нѣсколько дворянскихъ дѣвицъ вышло замужъ за тѣхъ, на рукахъ которыхъ не успѣла еще обсохнуть кровь ихъ родственниковъ и ближнихъ.

„Вотъ достойная награда родителямъ, говорить „Сынъ Отечества“<sup>1)</sup>, столь много пекущимся о томъ только, чтобы дѣти ихъ болтали по-французски! вотъ плоды воспитанія, введеннаго у насъ въ XVIII столѣтіи, воспитанія, въ которомъ отцы и матери, отрешившись отъ священной обязанности своей, отъ должнаго присмотра за своими дѣтьми, „слѣпо“ ихъ передаютъ въ руки иноплеменныхъ, ибо безъ сего коварнаго условія ни одинъ французскій губернёръ или гувернантка въ русскій домъ не вступаетъ. Нерѣдко случается, что въ провинціяхъ парижская судомойка становится наставницею молодыхъ благородныхъ дѣвицъ. И чему тутъ удивляться, когда здѣсь, въ столицѣ мы часто видимъ французскую горничную дѣву, вдругъ возведенную въ почтенное достоинство наставницы“. Почти то же самое говорилось Гнѣдичемъ и Оленинымъ въ рѣчахъ ихъ при открытіи Императорской Публичной Библіотекъ. Это были чувства, возбужденныя войною и нашими бѣдствіями. Самое понятіе о французскомъ народѣ измѣнилось. „Нынѣшнее слово „француз“ есть синонимъ чудовищу, извергу, варвару“ и пр.<sup>2)</sup> Безнравственность Наполеоновскихъ солдатъ приписывалась безнравственности ихъ воспитанія; нравственныя основы въ характерѣ французскаго народа по словамъ нашихъ журналовъ были разрушены энциклопедистами. Отъ французовъ отнимали всякое гражданское достоинство; ихъ называли подлымъ, низкимъ народомъ, націею комедіантовъ и пр. Все это повторялось непрерывно и въ стихахъ и въ прозѣ. Патриотическое настроеніе въ литературѣ дошло до крайностей. Нечего и говорить, что, начиная отъ старика Державина, написавшаго свой вѣлый, длинный, полный старческаго безсилія и мистицизма „Гимнъ лироэпическій на прогнаніе французовъ изъ отечества“<sup>3)</sup>, всѣ и всякій считали обязанностію изъяснить свое негодованіе на враговъ отечества и прославить ихъ изгнаніе и наши побѣды. Цѣлый сборникъ

<sup>1)</sup> 1813 г., № 26, стр. 301—305.

<sup>2)</sup> Сынъ Отеч., 1812 г., ч. 8, стр. 90.

<sup>3)</sup> Сочиненія Державина, т. III, стр. 137—164.

„Собрание стихотворений, относящихся къ незабвенному 1812 году“<sup>1)</sup>, свидѣтельствуешь объ усиліяхъ нашихъ поэтовъ въ этомъ патриотическомъ настроеніи. Не имѣя никакихъ основаній говорить о подобныхъ эфемерныхъ произведеніяхъ, мы упомянемъ здѣсь о литературной дѣятельности Крылова въ этомъ направленіи; онъ стоялъ выше другихъ по таланту, и его басни сдѣлались также отголоскомъ тогдашняго общественнаго мнѣнія.

Крыловъ писалъ свои басни и до 1812 года<sup>2)</sup>, но лишь къ этому времени опредѣлился вполне талантъ его, нашедшій самое удобное выраженіе въ баснѣ. Она доставила ему вдругъ громкую извѣстность. На чтеніяхъ „Бесѣды“, членомъ которой онъ состоялъ, каждая новая басня его встрѣчалась общимъ восторгомъ. Тогда же опредѣлилось и служебное положеніе Крылова. Въ 1812 году открылась Имп. Публичная Библіотека и директоръ ея, Оленинъ, большой любитель искусствъ и литературы, пригласилъ въ числѣ другихъ писателей и Крылова на должность бібліотекаря. Въ этой должности онъ и оставался лѣтъ 30, до послѣдней отставки своей. Знаменательная эпоха отечественной войны не могла не отразиться въ басняхъ Крылова. Талантъ его былъ весьма чутокъ къ явленіямъ жизни и современности; только надобно разглядѣть эти черты въ басняхъ, гдѣ онѣ скрыты подъ условною формою выраженія. Крыловъ вторилъ общему направленію литературы. Еще гораздо раньше, когда онъ издавалъ сатирическіе журналы, ему не разъ случалось писать статьи противъ увлеченія всѣмъ иностраннымъ и въ особенности французскимъ. То же самое онъ высказывалъ и въ своихъ комедіяхъ „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Послѣ событій 12-го года это направленіе Крылова усилилось. Такова его басня „Червонецъ“, очевидно вызванная современными разсужденіями о необходимости народнаго воспитанія, гдѣ онъ доказываетъ, что

„Просвѣщеніемъ зовемъ  
Мы часто роскоши прельщенье,  
И даже нравовъ развращенье“.

Безъ сомнѣнія, Крыловъ имѣлъ въ виду просвѣщеніе, заимствованное у французовъ, модное, гдѣ, по его выраженію, сдирая кору грубости съ людей, можно растерять и добрыя свойства ихъ. Фран-

<sup>1)</sup> 2 ч., М., 1814 г.

<sup>2)</sup> Теперь доказано, что первыя басни Крылова помѣщены были въ „Утреннихъ Часахъ“ 1788 года. См. Ѳ. А. Витбергъ. Первыя басни И. А. Крылова. Извѣстія отдѣленія русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н., т. V, 1900 г., кн. 1-ая, стр. 204—259.

Прим. ред.



цускій учитель въ баснѣ „Крестьянинъ и Змѣя“ представленъ въ образѣ змѣи, которая просится у крестьянина въ домъ и, чтобъ не жить безъ дѣла, обѣщается нанять у него дѣтей. Хоть крестьянинъ и согласенъ, что именно эта змѣя добрая, но

„Когда примѣръ такой  
У насъ полюбятъ,  
Тогда вползутъ сюда за доброю змѣей  
Одной,  
Сто злыхъ, и всѣхъ дѣтей адѣсь перегубятъ“.

Крыловъ самъ указываетъ на смыслъ этой басни въ заключительномъ стихѣ:

„Отцы, понятно-ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?“

Подобно многимъ своимъ современникамъ, Крыловъ приписывалъ бѣдствія революціи и слѣдовавшихъ за нею войнъ ученію французскихъ философовъ. Этихъ „мнимыхъ мудрецовъ кощунства толки смѣлы“ вооружили народъ противъ божества и приблизили часъ его гибели. Такъ и въ баснѣ „Водолазы“ онъ былъ противъ смѣлости и дерзости ума, бросающагося въ пучину знанія.

„Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,—  
говоритъ онъ,—

Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину  
И свой погибельный конецъ,  
Лишь съ разницею тою,  
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою“.

Въ баснѣ „Бочка“, написанной около того же времени, Крыловъ снова обращается къ отцамъ, представляя имъ примѣръ бочки, навсегда пропитавшейся виннымъ запахомъ: стоитъ только разъ заразиться „вреднымъ ученіемъ“ съ юности и влияние его будетъ отзываться во всѣхъ поступкахъ и дѣлахъ. Хотя толкователи Крылова понимаютъ подъ „вредными ученіями“—мистическіе толки, но вѣрнѣе и ближе къ правдѣ будетъ видѣть въ нихъ—французскую философію XVIII вѣка и государственные идеалы революціи, кредитъ которыхъ сильно палъ тогда въ мнѣніи русскаго общества.

За шумомъ событій, сначала столько бѣдственныхъ, а потомъ столько славныхъ для Россіи, за громкими восклицаніями поэтовъ и патріотическими возгласами газетъ трудно, конечно, было разслышать голосъ дѣйствительной жизни; едва ли кому приходила въ голову обратная сторона дѣла, едва ли кто сомнѣвался во всеобщности и дѣйствительности патріотическаго увлеченія. Газеты, разумѣется, не смѣли указывать на темныя стороны современности; можетъ быть,

даже извѣстія о нихъ не доходили до тогдашнихъ журналистовъ, а въ стихахъ одъ того времени, конечно, ничего подобнаго и предполагать было нельзя. Тѣмъ не менѣе, проявленія высокаго патріотизма, стояли, какъ всегда бываетъ въ жизни, рядомъ съ эгоистическими, корыстными расчетами. Едва ли не на эту сторону тогдашнихъ обстоятельствъ указываетъ басня Крылова „Раздѣлъ“, написанная въ 1812 году и оканчивающаяся слѣдующимъ правоученіемъ:

„Въ дѣлахъ, которыя гораздо поважнѣй,  
Нерѣдко отъ того погибель всѣмъ бываетъ,  
Что чѣмъ бы общую бѣду встрѣчать дружнѣй,  
Всякъ споры затѣваетъ  
О выгодѣ своей?“

Въ этомъ смыслѣ смотреть на басню и толкователи. Извѣстно, что въ отечественную войну всѣ бѣдствія, всѣ тягости, все разоренье пали на простой народъ. Ни одно сословіе тогда не принесло столько жертвъ и человѣческими жизнями и достоинствомъ, какъ этотъ до того неизвѣстный народъ. Онъ вынесъ на плечахъ свою родину изъ пожара. Много говорятъ о самоотверженіи и жертвахъ дворянства и купечества, но первому легко было быть великодушнымъ, опираясь на крѣпостное право, а купечеству всегда представляется столько средствъ для наживы. Конечно, слѣдующій отзывъ современника о дворянствѣ нашемъ въ то время представляется какъ бы съ умысломъ преувеличеннымъ—въ такой рѣзкой противоположности онъ находится со всѣмъ, что мы привыкли слышать: „Въ годину испытанія, т. е. 12-го года, не покрыло ли оно себя всѣми красками чудовищнѣйшаго корыстолюбія и безчеловѣчія, расхищая, какъ и теперь, все, что расхитить можно было, даже одежду, даже пищу, и ратниковъ и рекрутъ и плѣнныхъ,—не смотря на прославленный газетами патріотизмъ, котораго дѣйствительно не было ни искры, что бы ни говорили о нѣкоторыхъ утѣшительныхъ исключеніяхъ“... <sup>1)</sup> Вигель тоже приводитъ въ своихъ запискахъ нѣсколько фактовъ подобнаго грабительства, но вообще эта сторона того времени сравнительно мало извѣстна.

Крыловъ въ своихъ басняхъ обрисовывалъ не только общій характеръ времени и идеи, возбужденныя событіями, но самыя эти событія историческія. Такъ басня „Волкъ на псарнѣ“ относится прямо ко времени послѣ Бородинскаго сраженія, когда Наполеонъ старался завязать съ Кутузовымъ переговоры о мирѣ. Въ своемъ ловчьемъ этой басни Крыловъ выставилъ Кутузова, въ которомъ онъ всего болѣе, выѣстъ со многими современниками, цѣнилъ хитрость. „Ты сѣрѣ, а

<sup>1)</sup> „Вѣстн. Евр.“ 1867 г., кн. 2, стр. 197.

я, пріятель, сѣдь“—говорить этотъ ловчій волкъ—Наполеону. Кутузовъ вообще былъ любимымъ героемъ Крылова. Извѣстно, что послѣ Бородина и послѣ оставленія Москвы безъ боя непріятелю государь, нѣкоторые изъ его приближенныхъ и даже значительная часть общества стали упрекать Кутузова въ медленности и нерѣшительности. Ропотъ былъ значительный, потому что никто не зналъ Кутузовскаго плана. Крыловъ защищалъ своего героя въ баснѣ „Обозъ“, гдѣ Кутузовъ сравнивается съ добрымъ конемъ, который спокойно, не обращая вниманія на насмѣшки молодой лошади, повесѣлъ подѣ гору на крестцѣ свой тяжелый возъ. Планъ Кутузова указывается Крыловымъ въ современной баснѣ „Ворона и Курица“, гдѣ выставленъ голодъ французской арміи:

„Когда Смоленскій князь,  
Противу дерзости искусствомъ вооружась,  
Вандаламъ новымъ сѣтъ поставилъ,  
И на погибель имъ Москву оставилъ“—

тогда начались ихъ бѣдствія.

„Какъ голодомъ морить Смоленскій сталъ гостей  
Она сама (ворона) къ нимъ въ сунѣ попалась“.

Къ 12 году также относится Крыловская басня „Щука и Котъ“, поводъ къ которой данъ былъ извѣстною неудачею адмирала Чичагова подѣ Березиной, гдѣ онъ долженъ былъ остановить и окончательно истребить бѣгущую армію Наполеона. Эта неудача возбудила сильно противъ Чичагова общественное мнѣніе; всѣ называли его измѣнникомъ, и Крыловъ въ своей баснѣ сдѣлался выразителемъ общественнаго мнѣнія, хотя онъ и не говоритъ въ ней объ измѣнѣ, а приписываетъ неудачу неумѣнью морского генерала распорядиться на сушѣ:

„Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,  
А сапоги точать пирожникъ:  
И дѣлю не пойдетъ на ладъ,  
Да и примѣчено стократъ,  
Что кто за ремесло чужое браться любитъ,  
Тотъ завсегда другихъ упрямѣи и вадоритѣи.“

Въ баснѣ разсказываются даже подробности Чичаговской неудачи. При его отступленіи потеряны многіе изъ полковыхъ обозовъ, канцелярія главнокомандующаго, много экипажей, наши больные и раненные. Когда котъ, наѣввшись пойманной рыбой, пошелъ провѣдать кумушку—Щуку на ея ловлѣ:

„А щука чуть жива, лежитъ разинувъ ротъ,  
И крысы хвостъ у ней отъѣли“.

Въ этомъ случаѣ басня Крылова шла за современными событіями, подобно карриатурѣ, и дѣлала то же дѣло. Попадаютъся и другіе намеки въ ней на лица и случаи того времени, но они не такъ важны.

Между тѣмъ счастливый исходъ тяжелой борьбы съ Наполеономъ, истребленіе его арміи въ Россіи, перенесеніе борьбы съ всемірнымъ завоевателемъ сначала въ Германію, а потомъ въ самое сердце Франціи, возбуждившей всеобщую ненависть народовъ, успѣхи нашего оружія и оружія союзниковъ, окончательное паденіе Наполеона, взятіе Парижа, восстановленіе на французскомъ престолѣ династіи Бурбоновъ и умиротвореніе Европы, — событія великія и неожиданныя, быстро слѣдовавшія другъ за другомъ, въ которыхъ главное участіе принималъ русскій народъ и въ главѣ его царь, окруженный славой побѣдъ, царь „вождь народовъ“, по единогласному выраженію всѣхъ поэтовъ, — все это, полное восторга и удовлетвореннаго чувства народной гордости, должно было мало-по-малу измѣнить общественное мнѣніе и замѣнить чувства ненависти и раздраженія, возникшія въ волненіяхъ борьбы, другими, болѣе благородными и спокойными. Для большинства этого общества счастливый исходъ исполинской борьбы, послѣ тяжелыхъ потерь и пораженій, отозвавшихся въ цѣлой странѣ, казался какимъ-то чудомъ, ниспосланнымъ свыше; въ величіи событій, въ ихъ роковой послѣдовательности, стали видѣть перстъ Божій, правящій судьбами народовъ и царствъ, волю Провидѣнія, и для многихъ, умственное развитіе которыхъ было не очень сильно, именно теперь начинался періодъ мистической вѣры. Здѣсь надобно искать начала мистицизма и въ государѣ, и въ его приближенныхъ, мистицизма, который сдѣлался даже правительственною системою. Паденіе Наполеона казалось торжествомъ охранительныхъ началъ. Тѣ, для кого ненавистна была революція, а они составляли тогда большинство, думали, что время волненій и бѣдствій кончилось, что революція, со всѣми ея ужасами прошла и не воротится вновь, что „миръ мірови дарованъ“ и что источникъ этой благодати идетъ изъ нашего отечества, отъ народа, который своею кровью искупилъ свободу и счастье другихъ народовъ. Онъ, въ сознаніи многихъ, сталъ являться теперь избраннымъ сосудомъ Божиимъ, а царь его — непосредственнымъ исполнителемъ воли Божіей. На той парижской площади, гдѣ было пролито столько крови въ революціонные дни, гдѣ скатилась голова Людовика XVI, въ день Пасхи, по повелѣнію Александра, русское духовенство, окруженное войсками и множествомъ зрителей, служило торжественный молебенъ на языкъ нашей церкви. Православіе являлось такимъ образомъ носителемъ мира и любви въ самомъ страшномъ мѣстѣ революціи. Было отъ чего приходить въ радостный восторгъ русскимъ. Люди, пережившіе впечатлѣнія того времени, навсегда

сохранили о нихъ воспоминаніе. Но не человѣческое дѣло, не волю и умъ человѣка видѣли въ этихъ событіяхъ современники, а волю Провидѣнія. „Рука Господня, ему единому извѣстными, но явными очамъ смертнаго путами, веда ихъ (событія), сорасполагала, сплѣтала, устрояла,—говоритъ манифестъ 1816 года,<sup>1)</sup>—да исправитъ людскія неустройства, да утѣшитъ колеблющіеся волны умовъ и сердець, и да изъ нѣдръ смѣси и боренія изведетъ порядокъ и покой. Богъ сильный низложилъ гордость; Премудрый разогналъ тьму; Источникъ милосердія и благодати не допустилъ людямъ во мракѣ страстей своихъ погибнуть“. Возвѣщая русскому народу событія съ самаго начала революціи, царскій манифестъ говоритъ: „Да прочтетъ онъ дѣла и судъ Божій; да воспалится къ нему любовію, и вмѣстѣ съ Царемъ своимъ во глубинѣ сердца и души своей воскликнетъ: „Не намъ, не намъ Господи, но имени Твоему;“—слова эти были отчеканены на медали 12-го года.

## ЛЕКЦІЯ IV и V.

Жуковский.—Его первые литературные опыты. — „Сельское кладбище“.—Редактированіе „Вѣстника Европы“.—„Людмила“.

Манифестъ всю исторію времени представляетъ въ мистическихъ образахъ, видитъ въ ней на каждомъ шагѣ чуда, непонятныя для обыкновеннаго человѣческаго разсудка. „Начало и причины сей войны, безпрестанно тлѣвшей, многократно вновь и вновь возгаравшейся, потухавшей иногда, но для того токмо, дабы съ новою силою и лютою воспылать, возвеличиться, усилиться и скоро потомъ изъ величайшей силы упасть, сокрушиться, опять возстать и опять низринуться,—являютъ нѣчто непостижимое и чудесное“. Многолѣтняя, только что прекратившаяся война не была простою войною царствъ и народовъ между собою. „Нѣтъ—она есть порожденное злочестьемъ нравственное чудовище, въ отпадшихъ отъ Бога сердцахъ людскихъ угнѣздившееся, млекою лжемудрости воспитанное, тайнствомъ злоухитренія и лжи облеченное, долго подъ личиною ума и просвѣщенія изъ страны въ страну скитавшееся и медоточными устами въ неопытныя сердца и нравы сѣмена разврата и пагубы сѣявшее“. Разсказавъ съ этой точки зрѣнія французскую революцію, возвышеніе Наполеона, его завоеванія и потомъ гибель его въ русскихъ предѣлахъ, манифестъ съ особенною силою останавливается на томъ призваніи, которое выпало на долю русскимъ въ этихъ великихъ событіяхъ, когда

<sup>1)</sup> 1 Января 1816 г.

„россійскіе, какъ бы крылатые воины, изъ-подъ стѣнъ Москвы, съ окомъ Провидѣнія на груди и со крестомъ въ сердцѣ, являются подѣ стѣнами злочестиваго Парижа... Тамъ—о чудное зрѣлище!—тамъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ изрыгнутое адомъ злочеіііе свирѣпствовало и ругалось надѣ вѣроу, надѣ властію царей, надѣ духовенствомъ, надѣ добродѣтелью и человѣчествомъ, гдѣ оно воздвигало жертвен- ники и курило фиміамъ злодѣйству, гдѣ несчастный король Людо- вика XVI былъ жертвою буйства и безначалія, гдѣ въ страхѣ добро- правію и въ ободреніе неистовству повсюду лилась кровь невинности, тамъ, на той самой площади, посреди покрывавшихъ ону въ благо- устройствѣ различныхъ державъ войскъ и при стеченіи безчисленнаго множества народа, россійскими священнослужителями, на россійскомъ языкѣ по обрядамъ православной нашей вѣры, приносится торже- ственное пѣснопѣніе Богу, и тѣ самыя, которые оказали себя явными отъ него отступниками, вмѣстѣ съ благочестивыми сынами церкви, преклоняють предъ нимъ свои колѣна, во изъявленіе благодарности за посрамленіе дѣлъ ихъ и низверженіе ихъ власти“. Это дѣло ка- жется выше средствъ и способовъ людскихъ: „Кто человѣкъ, или кто люди могли совершить сіе высшее силъ человѣческихъ дѣло? Не явленъ ли здѣсь Промыселъ Божій? Ему единому слава!“ „Вѣчная правда Божія допустила возрасти оному (чудовищу), да накажется родъ человѣческій за преступленіе свое, до постраждетъ и научится изъ сего ужаснаго примѣра, что *въ единомъ страхѣ Господнемъ состоитъ благоденствіе и безопасность людей*“. Что же этотъ манифестъ пре- доставляетъ народу русскому, котораго, по его же словамъ, „Богъ избралъ совершить великое дѣло“? Молитву и смиреніе. „Падемъ предъ Всевышнимъ; повергнемъ предъ нимъ сердца свои, дѣла и мысли“!.. Вся сила подвига, весь успѣхъ событій принадлежитъ намъ; „но самая великость дѣла сихъ показываетъ, что не мы то сдѣлали. Богъ, для совершенія сего нашими руками, далъ слабости нашей Свою силу, простотѣ нашей Свою мудрость, слѣпотѣ нашей Свое все- видающее око“. Отсюда русскому народу необходимо избрать не гор- дость, а смиреніе; не земной награды слѣдуетъ ждать ему за претер- пѣнныя бѣдствія и совершенные подвиги, а небесной. „Кто, кромѣ Бога, кто изъ владыкъ земныхъ и что можетъ ему воздать?“ Такимъ образомъ въ манифестѣ этомъ высказывалась не необходимость улуч- шеній, въ которыхъ нуждалась жизнь народа и которая, кажется, онъ заслужилъ пролитію кровью и вынесенными бѣдствіями,—они откла- дывались на неопредѣленное время и туманъ мистицизма, какъ вы- раженіе власти, сталъ покрывать страну.

Въ самомъ характерѣ Александра, отъ котораго зависѣла судьба нашего отечества, послѣдовала значительная перемѣна, и въ испы-

таніяхъ 12-го года и въ неожиданной славѣ европейскихъ походовъ и всеобщаго умиротворенія надобно искать начала той набожности и того мистицизма, которые наполняли его душу до самой смерти. Столкновеніе идеаловъ его молодости съ тяжелою дѣйствительностію глубоко потрясло его духъ. Всѣ надежды, которыя онъ носилъ въ груди своей при началѣ царствованія, разлетѣлись; планы преобразованій были оставлены; кругомъ его не было прежнихъ людей, любимыхъ сподвижниковъ его; кругомъ его были теперь люди, имъ нелюбимые, которыхъ навязала ему сила обстоятельствъ; кругомъ его была пустыня и, вмѣсто полезной и необходимой для государства внутренней дѣятельности, являлась кипучая и трудная дѣятельность внѣшняя, гдѣ на каждомъ шагѣ приходилось встрѣчаться съ людскою злобою и эгоистическими стремленіями. Вмѣстѣ съ мистицизмомъ, въ душѣ его развилось глубокое презрѣніе къ людямъ и привязанность къ такимъ личностямъ, которыя вовсе не стоили его довѣрія. Этимъ можно объяснить и деспотизмъ его и вспышки произвола, которыя заставляли забывать первую, гуманную пору его царствованія. Страшное напряженіе во время французскаго нашествія было поводомъ физическаго и духовнаго измѣненія его натуры. Говорятъ, что во время занятія Москвы французами, у него посѣдѣли волосы; онъ быстро сталъ старѣть. Пожару московскому онъ самъ приписывалъ просвѣтленіе души своей. Съ этихъ поръ религіозная пустота, оставленная въ сердцѣ его французскимъ воспитаніемъ, стала наполняться. Въ событіяхъ войны онъ видѣлъ персть Божій и освобожденіе Европы сталъ считать своимъ собственнымъ освобожденіемъ <sup>1)</sup>. „Пожаръ Москвы просвѣтилъ мою душу, говорилъ онъ самъ въ 1818 году, и судъ Божій на ледяныхъ поляхъ наполнилъ мое сердце теплотою вѣры, какой я до тѣхъ поръ не чувствовалъ“ <sup>2)</sup>. Съ этихъ поръ онъ часто искалъ уединенія, часто прибѣгалъ къ чтенію Священнаго Писанія. Въ этой книгѣ онъ находилъ множество намековъ на свою жизнь и на свою судьбу. Когда Шишковъ въ Германіи составилъ для него изъ библейскихъ текстовъ всю исторію современныхъ событій и войны, онъ плакалъ надъ нею, а изъ темныхъ главъ пророка Даниила онъ почерпнулъ первую идею „Священнаго Союза“. Изъ чувства смиренія, изъ убѣжденія, что онъ только слѣпое орудіе Промысла, онъ отказался отъ монумента въ честь его и отъ названія „благословеннаго“, которое поднесъ ему сенатъ Имперіи. Указомъ Синода запрещено было священникамъ говорить въ церквахъ въ словахъ проповѣди похвалы Императору. Но куда вся эта внутрен-

<sup>1)</sup> Gervinus. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. II, S. 716--717.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1869 г., стр. 75.

ная переменна въ характерѣ и образѣ мыслей Александра не выходила наружу и не проявлялась въ дѣйствіи. Въ сознаниі русскаго народа и общества, какъ и въ Европѣ, онъ стоялъ на недоступной высотѣ величія, какъ побѣдитель всеобщаго врага, какъ умиротворитель Европы. Въ обществѣ господствовалъ полный энтузіазмъ, жажда жизни и наслажденія, полнота ощущеній и впечатлѣній. Какое-то молодое, свѣжее, беззаботное чувство наполняло сердца всѣхъ, и старыхъ и молодыхъ. Всѣ были довольны временемъ и событіями, не думая о будущемъ и не заглядывая въ него. Никогда прежде Россія, даже въ лучшіе годы Екатерины, не стояла на такой высотѣ въ сознаниі общества какъ своего, такъ и европейскаго. Не было конца восторгамъ и упоенію. Когда Александръ въ іюлѣ 1814 года, покрытый славой, изъ Парижа пріѣхалъ въ Петербургъ, его окружила любовь народная и всеобщій восторгъ. Не было русскаго поэта, который не привѣтствовалъ бы его въ эту пору вполне искренно. „Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ — говоритъ Пушкинъ своимъ товарищамъ — въ своей послѣдней Лицейской годовщинѣ

Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался;  
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!  
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ Онъ,  
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!“ <sup>1)</sup>

Казалось, начиналась новая эра русской исторіи: впереди открывалась безконечная будущность развитія; навстрѣчу ему неслись горячія желанія, раскрывались молодые сердца и никто не могъ ожидать, что эти свѣтлыя надежды смѣнятся, и очень скоро, общимъ недовольствомъ лучшихъ людей времени, и восторгъ замѣнится разочарованіемъ и скукою.

Къ этому времени общественнаго одушевленія и восторга относится громкая извѣстность и слава поэзіи Жуковскаго, человѣка новаго поколѣнія, сочувствующаго новому. Онъ въ стихахъ своихъ, имѣвшихъ прямое отношеніе къ времени и событіямъ, явился выразителемъ того, что чувствовали всѣ; отсюда успѣхъ его и извѣстность. Эти четыре или пять лѣтъ, слѣдующіе за отечественною войною, принадлежать къ лучшей порѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго. Никогда, ни прежде, ни послѣ, онъ не стоялъ такъ близко къ событіямъ дѣйствительности, какъ въ эту пору. Правда, Жуковский вообще не былъ поэтомъ дѣйствительности, но замѣчательный талантъ его, удивительная красота выраженія, до которой прежде него никогда не достигалъ русскій стихъ, вся его жизнь и множество произведеній, имъ

<sup>1)</sup> „19 окт. 1836 г.“



написанныхъ, выдвигаютъ его впередъ между писателями. Вокругъ него, какъ около центра, сосредоточивается поэтическая и вообще литературная дѣятельность многихъ, съ нимъ вмѣстѣ мы входимъ въ кругъ литературныхъ идей и стремленій, которыя могли существовать при условіяхъ того времени, и знакомимся съ фигурою поэта, какъ она сложилась при этихъ условіяхъ. Его долгая жизнь видѣла разные фазисы и разныя направленія въ нашей исторіи и въ нашемъ общественномъ развитіи. По своему положенію, таланту, по общему уваженію, которымъ вездѣ пользовался Жуковский, его мнѣнія и убѣжденія должны были имѣть вліяніе. Въ ту пору его жизни, о которой говоримъ мы, когда онъ вдругъ приобрѣлъ извѣстность и славу, Жуковский не былъ уже начинающимъ писателемъ, ему уже было тридцать лѣтъ, внутренне онъ развился вполне и писалъ съ опредѣленною цѣлю, совершенно сознавая свой талантъ, свои идеалы и будущія цѣли свои.

Послѣ сочиненія доктора Зейдлица, который зналъ Жуковского болѣе сорока лѣтъ, и біографія его и факты литературной дѣятельности, въ связи съ жизнію, достаточно оцѣнены <sup>1)</sup>, а довольно значительное собраніе писемъ поэта, къ сожалѣнію, однако, изъ болѣе поздняго времени его жизни, позволяютъ намъ взглянуть и въ интимный міръ души его, познакомиться съ нимъ такимъ, какимъ былъ онъ не въ однихъ стихахъ его, писанныхъ для свѣта. Жуковский родился 29 января 1783 года; слѣдовательно, по отношенію къ Карамзину, онъ принадлежалъ къ молодому поколѣнію, которое пережило другія событія и другія впечатлѣнія. Жуковский былъ побочнымъ сыномъ богатаго Бѣлевскаго помѣщика (Тульской губерніи) Аванасія Ивановича Бунина, въ пору рожденія Жуковского уже старика. Отъ законной жены своей, которая была жива при рожденіи Жуковского, у Бунина было одиннадцать человѣкъ дѣтей и между ними былъ только одинъ сынъ, умершій въ Лейпцигскомъ университетѣ за два года до рожденія Жуковского. Матерью Жуковского была красивая, плѣнная турчанка, привезенная въ домъ Бунина его крестьянами, бывшими маркитантами въ арміи Румянцева, фамилію же свою Жуковский получилъ отъ крестнаго отца, бѣднаго кіевскаго дворянина, жившаго въ домѣ Буниныхъ и потомъ законно усыновившаго мальчика. Такое положеніе мальчика, при нашихъ общественныхъ понятіяхъ, должно было довольно грустно отозваться на внутреннемъ настроеніи Жуковского, когда онъ выросъ и понялъ себя. Впослѣдствіи онъ жаловался въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу, на „двухъ тѣхъ (т. е. отца и мать), ко-

<sup>1)</sup> Опубликованные къ 50-лѣтію со дня смерти Жуковского матеріалы дали много новаго и вызвали обширное изслѣдованіе академика А. Н. Веселовскаго.

Прим. ред.

торые такъ много и такъ мало на меня дѣйствовали" <sup>1)</sup>). Отецъ его умеръ, когда ему было только восемь лѣтъ, а мать, простая и не-образованная, хотя и добрая женщина, не могла имѣть никакого вліянія на него. Объ отцѣ Жуковскій никогда не говорилъ. Мальчикъ въ семьѣ, гдѣ были все женщины, скоро сдѣлался общимъ любимцемъ. Старикъ Бунинъ сталъ заботиться о воспитаніи сына, написалъ для него какаго-то нѣмца, но скоро прогналъ его за жестокое обращеніе съ мальчикомъ. Затѣмъ зимою, когда все семейство переселилось въ Тулу, Жуковского посылали въ пансіонъ другого нѣмца Роде, но и здѣсь пребываніе его было непродолжительно и едва ли вынесъ онъ оттуда что-нибудь, будучи 8-ми лѣтъ.

Старикъ Бунинъ умеръ въ 1791 году. Онъ не желалъ передать Жуковскому населеннаго имѣнія, но однако позаботился о сынѣ, оставивъ его на попеченіе жены и дочерей, изъ которыхъ каждая должна была изъ приданаго, ей назначеннаго, удѣлить 2500 р. въ его пользу. По смерти старика, вся семья переѣхала въ Мишенское, куда она переѣзжала обыкновенно на лѣтніе мѣсяцы, по зимамъ возвращаясь въ Тулу. Ученіе не могло идти успѣшно при такихъ перерывахъ. Старшія, законныя сестры Жуковского давно повыходили замужъ; съ ихъ уже дѣтьми, которыя почти всѣ были дѣвочки, росъ Жуковскій, какъ сверстникъ. Въ домѣ одной изъ старшихъ сестеръ своихъ, Юшковой, у которой было довольно дѣтей и воспитывались племянницы Вельяминовы, поселился въ Тулѣ и Жуковскій. Отсюда сталъ онъ ходить въ народное училище, но и тутъ ученіе шло плохо и неудачно; главный учитель Покровский принужденъ былъ уволить Жуковского „за неспособность“. Пришлось ограничиться домашними средствами воспитанія, и прибѣгнуть къ иностраннымъ гувернанткамъ, которыхъ было много, но онѣ не отличались должными качествами. Надобно замѣтить, однако, что домъ Юшковыхъ былъ весьма образованный домъ по тому времени въ Тулѣ. Сама Варвара Аеанасьевна Юшкова, хозяйка дома, читала много, любила музыку и литературу. Она устраивала у себя музыкальныя и литературныя вечера, на которые собирался весь городъ и гдѣ читались всѣ новыя русскія произведенія. Юшкова управляла даже тульскимъ театромъ, куда вся семья, разумѣется, ѣдила часто. Въ этой семьѣ, посреди такихъ вліяній духовныхъ, могли развернуться первые литературныя вкусы и наклонности Жуковского. Двѣ сверстницы — племянницы Жуковского, дочери Юшковой: Зонтагъ и Елагина, потомъ тоже выступали въ литературѣ. На 12-мъ году, при такихъ вліяніяхъ, Жуковскій написалъ трагедію, которая и была разыграна съ успѣхомъ его моло-

<sup>1)</sup> „Русск. Арх.“, 1867 г., стр. 794.

денькими соученицами. Онъ началъ писать въ томъ родѣ, который былъ чуждъ его таланту. Біографъ рассказываетъ<sup>1)</sup>, что вторая его рукописная трагедія, также разыгранная домашними, потерпѣла полную неудачу и съ тѣхъ поръ Жуковский не писалъ трагедій.

Таковы были первыя литературныя попытки Жуковского въ семействѣ его старшей сестры и крестной матери Юшковой. На его долю выпало семейное воспитаніе, со всѣхъ сторонъ онъ окруженъ былъ женщинами и выросъ на ихъ рукахъ. Отсюда въ его характерѣ замѣчаются много чисто женскихъ сторонъ, которыя невозможны въ публичной школѣ, посреди мальчиковъ. Робость, застѣнчивость, привычка къ мягкимъ, женскимъ формамъ обращенія, рано развили въ немъ какую-то мечтательность и нѣжность характера, которыя отличали его въ жизни и сдѣлались существенными чертами и его поэзіи. Біографъ говоритъ<sup>2)</sup>, что уже здѣсь, въ этомъ семейномъ кружкѣ, Жуковский привыкъ отдавать на судъ близкихъ ему людей первыя свои произведенія, и это сдѣлалось потомъ его потребностію. Впослѣдствіи свои стихотворенія онъ любилъ подвергать обсужденію друзей молодости: Тургенева, Блудова, Дашкова, Вяземскаго, Батюшкова и др. Что касается положительныхъ свѣдѣній, которыя онъ могъ вынести изъ этого семейнаго воспитанія, то едва ли они были значительны и имѣли какой-либо порядокъ и систему. Одно только можно сказать вѣрно: Жуковский познакомился хорошо съ языками французскимъ и нѣмецкимъ, которыми преимущественно ограничивался кругъ стараго дворянскаго образованія, и любилъ чтеніе. Все это имѣло значеніе для дальнѣйшаго его развитія и направленія.

Между тѣмъ года уходили. Жуковский дошелъ уже до того возраста, когда надобно было подумать о дальнѣйшей судьбѣ его и когда оставаться ему одному посреди дѣвочекъ въ семьѣ было уже не совсѣмъ ловко. Сначала, по старинному обычаю, думали было его опредѣлить въ службу. Одинъ знакомый семейства Юшковыхъ повесѣлъ его въ полкъ, расположенный въ Финляндіи, но вернулся съ нимъ обратно. Съ восшествіемъ на престолъ императора Павла запрещено было принимать въ военную службу малолѣтнихъ. Тогда рѣшено было вести Жуковского въ Москву и старуха Бунина въ началѣ 1797 года помѣстила его въ благородный пансіонъ при московскомъ университетѣ, гдѣ онъ оставался три года. Это было почти закрытое заведеніе, но находившееся въ связи съ университетомъ и отъ него зависѣвшее. Оно было учреждено собственно для дѣтей дво-

<sup>1)</sup> Зейдлицъ. Изд. 1883 г., стр. 15.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 15—16.

ранских и долго пользовалось большою извѣстностію, въ особенности за то, что ученики его получали свѣтское, чуждое педантизма воспитаніе, но такъ какъ преподаватели въ пансіонѣ были тѣ же, что и въ университетѣ, то и учебная сторона не отставала, разумѣется, сообразно съ временемъ.

Главные предметы преподаванія, впрочемъ, заключались въ словесности, т. е. въ упражненіи воспитанниковъ въ сочиненіяхъ, въ стихахъ и прозѣ, и въ изученіи иностранныхъ, то-есть живыхъ языковъ, безъ которыхъ немислимы были образованный человѣкъ тогдашняго общества, такъ какъ при бѣдности нашей науки и литературы, дальнѣйшее развитіе могло происходить только съ помощью чужого языка. Литературныя упражненія составляли главное. Преподавателями словесности въ пансіонѣ были два профессора: Сохацкій и Подшиваловъ, большіе, разумѣется, поклонники литературнаго таланта и направленія Карамзина, которому все стремилось подражать тогда, считая каждую строчку его образцовою. Сохацкій и Подшиваловъ вмѣстѣ были издатели литературныхъ журналовъ: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“<sup>1)</sup> и „Иппокрена или утѣхи любословія“<sup>2)</sup>, въ которыхъ помѣщались статьи воспитанниковъ пансіона, конечно, исправленныя учителями, и гдѣ напечатаны также и первые опыты въ стихахъ и прозѣ Жуковскаго. Въ то время литературныя требованія были невелики; писателемъ сдѣлаться было легко, и вотъ причина, почему многіе изъ замѣчательныхъ впоследствии государственныхъ людей нашихъ, воспитывавшихся въ этомъ пансіонѣ, начинали съ литературныхъ трудовъ, которые потомъ постепенно оставляли, по мѣрѣ успѣховъ въ служебномъ поприщѣ. Изъ такихъ людей товарищами Жуковскому по пансіону были два брата Тургеневы, Андрей и Александръ, изъ которыхъ первый умеръ очень рано, Блудовъ, Дашковъ, Уваровъ, послѣдніе три—министры при императорѣ Николаѣ Павловичѣ. Эти люди остались навсегда самыми близкими друзьями Жуковскаго, который умѣлъ какъ-то пріобрѣтать и поддерживать дружбу. Особенно былъ онъ друженъ съ дѣтьми И. П. Тургенева, замѣчательнаго человѣка предшествовавшей эпохи, одного изъ основателей „дружескаго ученаго общества“ и „типографической компаніи“, друга Новикова, человѣка, которому многимъ былъ обязанъ и Карамзинъ. Съ воцареніемъ Павла Тургеневъ сдѣланъ былъ директоромъ университета; Юшковы и Бунины были близки съ его семействомъ и въ его домѣ молодой Жуковскій имѣлъ случай встрѣчать тѣхъ представителей литературы, которымъ онъ издали поклонялся и которымъ

<sup>1)</sup> 20 частей. М. 1794—1798 г.

<sup>2)</sup> 11 частей. М. 1799—1801 г.

подражалъ въ первыхъ своихъ деревенскихъ и пансіонскихъ опытахъ—Карамзина и Дмитріева. Старикъ Тургеневъ, сыновья котораго сдѣлались друзьями его, остался навсегда въ его воспоминаніяхъ личностью чрезвычайно привлекательною и симпатичною:

„Бывало, онъ (Андрей), съ отцемъ рука съ рукой,  
Входилъ въ нашъ кругъ—и радость съ нимъ являлась;  
Старикъ при немъ былъ юноша живой;  
Его сѣдинъ свобода не чуждалась...  
О вѣтъ! Онъ былъ милѣйшій намъ собрать,  
Онъ отдыхалъ отъ жизни между нами,  
Отъ сердца даръ—его былъ каждый взглядъ,  
И онъ друзей не рознилъ съ сыновьями“ <sup>1)</sup>.

Съ сыномъ его, Александромъ, Жуковскій велъ до конца жизни самую интимную, сердечную переписку.

Первые литературные опыты Жуковского въ стихахъ и прозѣ, помѣщенные въ журналахъ Сохацкаго и Подшивалова, несмотря на свою юношескую слабость, сентиментальное направленіе, въ которомъ онъ видимо подражалъ Карамзину, любопытны однакожъ въ томъ отношеніи, что выборъ предметовъ въ нихъ имѣетъ общее соотвѣтствіе съ тѣмъ, что было имъ написано потомъ.

Общій тонъ направленія сказывался и здѣсь. Для насъ страннымъ кажется это болѣзненное направленіе, эта тоска не по жизни и ея наслажденіямъ, какъ бы слѣдовало ожидать, а по смерти, это недовольство жизнью въ молодомъ человѣкѣ, которому едва минуло 16 лѣтъ:

„Жизнь, другъ мой, бездна  
Слезъ и страданій...  
Счастливы стократъ  
Тотъ, кто, достигнувъ  
Мирнаго брега,  
Вѣчнымъ спитъ сномъ“ <sup>2)</sup>.

Смерть, кладбище, могилы, надгробные памятники,—вотъ предметы, на которыхъ съ какою-то любовью останавливается воображеніе молодого поэта. То же самое можно сказать и о прозаическихъ статьяхъ Жуковского въ лирическомъ тонѣ, безъ сомнѣнія—переводахъ нѣмецкихъ или французскихъ стихотвореній. Первое прозаическое сочиненіе Жуковского озаглавлено „Мысли при гробницѣ“ (1797 г.). Конечно, страннымъ должно было казаться такое направленіе и такіе темы стихотвореній въ молодомъ поэтѣ и пришлось

<sup>1)</sup> „А. И. Тургеневу въ отвѣтъ на его письмо“.

<sup>2)</sup> „Майское утро“.

бы искать источникъ этого въ жизни его, еслибъ мы не знали, что тогда господствовало сентиментальное направленіе, что предметы такого рода были тогда въ модѣ, и что избѣгнуть подражательности Жуковскому было нельзя. Что онъ началъ подражаніемъ, это доказываетъ и его стихотвореніе „Могущество, слава и благоденствіе Россіи“ (1799), написанное по поводу побѣдъ Суворова въ Италіи.

Все оно проникнуто духомъ Державина и Дмитріева, ихъ образами и выраженіями. Достаточно одной строфы:

„На тронѣ свѣтломъ, лучезарномъ,  
Что полвселенной на столпахъ  
Ванесенъ, неизбежно поставленъ,  
Россія въ славѣ воссѣдять.  
Златый шеломъ, огнепернатый  
Блится на главѣ ея;  
Вѣнецъ лавровый осыпаетъ  
Ея высокое чело;  
Лежитъ на шуйцѣ  
Щитъ алмазный;  
Разширивши крикъ свой,  
У ногъ ея орелъ полночный  
Почіетъ—громъ его молчить“.

Эти подражательные опыты, которые самъ Жуковский считалъ недостойными перепечатки въ собраніяхъ своихъ стихотвореній, даже значительность числа ихъ показываетъ, что онъ полюбилъ занятія литературою; вскорѣ, въ противоположность всѣмъ своимъ товарищамъ, онъ сталъ считать ихъ главнымъ призваніемъ своей жизни, источникомъ средствъ для существованія. Еще въ пансіонѣ, какъ это было въ ту пору въ обычаѣ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, Жуковский образовалъ изъ товарищей литературное общество и составилъ его уставъ. Кончивъ курсъ въ 1801 году, онъ тогда же поступилъ на службу въ Московскую соляную контору, но службою онъ жертвовалъ литературѣ. Общество, имъ основанное, увеличилось числомъ членовъ, его собранія сдѣлались чаще. Въ немъ, кромѣ Жуковского и Тургеневыхъ, участвовалъ впослѣдствіи столь извѣстный профессоръ словесности московскаго университета Мерзляковъ и др.

Извѣстные писатели, конечно, не бывали въ немъ, но Жуковский посѣщалъ ихъ кружокъ, и Карамзинъ такъ полюбилъ его, что по смерти первой жены своей пригласилъ его къ себѣ и жилъ съ нимъ цѣлое лѣто на дачѣ.

Служба, какъ видно, не давала Жуковскому достаточнаго содержанія; родные тоже присылали ему мало и тогда онъ принялся за переводы для книгопродавцевъ. Первымъ такимъ переводомъ былъ

романъ Коцебу „Мальчикъ у ручья“ <sup>1)</sup>, а за нимъ послѣдовали и другіе, изъ которыхъ въ особенности замѣчательнъ по языку переводъ Донъ-Кихота (1802—1804) съ французскаго перевода Флоріана. Въ стихахъ переводилъ онъ тогда не однѣ элегіи, а и басни изъ Лафонтена и Флоріана, писалъ эпиграммы, но ни тѣмъ, ни другимъ недостаетъ главныхъ свойствъ, составляющихъ ихъ принадлежность: легкости разсказа, ироніи, насмѣшливости. Все это было чуждо таланту Жуковскаго и надобно отдать справедливость его художественному такту, что онъ не перепечатывалъ такихъ произведеній. Только для одной пьесы не въ элегическомъ родѣ Жуковский сдѣлалъ исключеніе. Это была „Пѣснь надъ гробомъ Славянъ-побѣдителей“, написанная въ 1806 году въ пору пробужденія въ нашей литературѣ патріотическаго направленія. Ее Жуковский считалъ достойною перепечатки, слѣдовательно придавалъ ей цѣну, вѣроятно потому, что она была одинаковаго содержанія съ „Пѣвцомъ въ станѣ“, доставившимъ ему такую славу. Въ „Пѣснѣ барда“ Жуковский въ первый разъ становился ближе къ дѣйствительности; пьеса написана подъ впечатлѣніями Аустерлица; содержаніе ея говоритъ о мести за пораженіе, но какъ далека эта пьеса отъ настоящей исторической дѣйствительности, которую поэтъ, повидимому, вовсе не понималъ. Сцена дѣйствія, образы, обстановка—все заимствовано у Оссіана. Русскіе солдаты сражаются мечами, умираютъ на щитахъ, на головахъ ихъ племы и т. п. Все стихотвореніе отличается высокопарностію и надутостію и Державинъ легко бы могъ подписаться подъ нимъ, но Жуковский и сюда внесъ свою элегическую струю, которая еще дальше отводитъ отъ дѣйствительности. На могилу воина приходитъ „краса славянскихъ дѣвъ“ и въ ея душѣ воскресаютъ воспоминанія

„О благахъ прежнихъ лѣтъ,  
О дняхъ очарованья,  
О дняхъ любви святой“.

Служба Жуковскаго въ соляной конторѣ, надъ которою онъ потомъ смѣялся, продолжалась недолго. Онъ вышелъ въ отставку въ 1802 году и уѣхалъ на родину, въ село Мишенское, гдѣ жила его мать, гдѣ у него было такъ много родныхъ, куда онъ ѣздилъ изъ Москвы на вакаціи и куда манили его воспоминанія дѣтства. Онъ ѣхалъ въ деревню работать, готовить себя къ литературной дѣятельности, развивать себя, образовывать. Онъ увезъ съ собой много книгъ. Здѣсь и въ Бѣлевѣ, гдѣ онъ выстроилъ домъ для своей ма-

<sup>1)</sup> М. 1801 г. 4 части.

тери, онъ прожилъ до 1808 года, здѣсь были написаны его лучшія, молодыя стихотворенія, полныя искренняго чувства и любви къ незамысловатой, но дорогой ему по воспоминаніямъ сельской природѣ. Его привязанность къ деревнѣ отзывается искренностью и сердечностью:

„Ты помнишь ли, какъ подъ горою—

пишетъ онъ въ поэтическомъ посланіи къ одной изъ подругъ своего дѣтства —

Осеребренный росой,  
Свѣтился лугъ вечернею порою  
И тишина слетала въ гдѣсь  
Съ небесъ?

Ты помнишь ли нашъ прудъ спокойный,  
И тѣнь отъ ивъ въ часъ полдня знойный,  
И надъ водой отъ стада гуль нестройный,  
И въ лонѣ водъ, какъ сквозь стекло,  
Село?“ <sup>1)</sup>

Образы сельской природы не разъ встрѣчаются въ стихотвореніяхъ Жуковского. Первое произведеніе его, написанное въ деревнѣ и встрѣченное общими похвалами тогдашнихъ писателей, былъ переводъ Греевой элегіи „Сельское кладбище“, напечатанный въ послѣднемъ № „Вѣстника Европы“ за 1802 годъ.

Поэтическіе переводы Жуковского, которые составляютъ главное его право на славу, замѣчательны тѣмъ, особенно въ первую и лучшую пору его дѣятельности, что каждая пьеса, имъ переведенная, не была чуждою душѣ поэта, а выражала его внутреннее настроеніе, не говоря уже о томъ, что въ каждую изъ переводныхъ его пьесъ, не смотря на удивительную близость перевода къ подлиннику, онъ всегда вносилъ что-то личное, субъективное, исключительно ему принадлежащее. Такъ и знаменитая элегія англійскаго поэта, написанная въ половинѣ прошлаго вѣка и пользовавшаяся извѣстностію въ европейскихъ литературахъ за новое задушевное, полное меланхолическое чувство, соотвѣтствовала знакомой уже намъ болѣзненности внутренняго настроенія Жуковского. Послѣдніе заключительные стихи „Сельскаго Кладбища“ нѣсколько отступаютъ отъ подлинника и выражаютъ личное чувство Жуковского, любимые образы его:

„А ты, почившихъ другъ, пѣвецъ уединенный,  
И твой ударить часъ, послѣдній, роковой,  
И къ гробу твоему, мечтой сопровождаемый,

<sup>1)</sup> Вольное подражаніе романсу Шатобриана: „Combien j'ai douce souvenance“.



Чувствительный придетъ услышать жребій твой.  
Быть можетъ, селянинъ съ почтенной сѣдиною,  
Такъ будетъ о тебѣ пришельцу говорить:  
Онъ часто по утрамъ встрѣчался здѣсь со мною,  
Когда спѣшилъ на холмъ зарю предупредить;  
Тамъ въ полдень онъ сидѣлъ подъ дремлющею ивой,  
Поднявшей изъ земли косматый корень свой;  
Тамъ часто въ горести безпечной, молчаливой  
Лежалъ, задумавшись, надъ свѣтлою рѣкой...  
Прискорбный, сумрачный, съ главою наклоненной,  
Онъ часто уходилъ въ дубраву слезы лить,  
Какъ странникъ, родины, друзей, всего лишенный,  
Которому ничѣмъ души не усладить“.

Биографъ Жуковского говоритъ <sup>1)</sup>, что въ подобномъ меланхолическомъ настроеніи души Жуковского, кромѣ подражанія господствующему тону тогдашней европейской поэзіи, надобно видѣть и слѣды общественнаго положенія Жуковского. Несмотря на то, что средства позволяли молодому человѣку жить въ деревнѣ независимо, безъ службы, свободно пользуясь поэтическимъ вдохновеніемъ и работая собственно для себя, для своего внутренняго развитія, несмотря на общую любовь къ нему семьи, особенно между младшими членами ея, все же Жуковский чувствовалъ себя пріемышемъ въ этой семьѣ, гдѣ бѣдная, простая мать его должна была стоя принимать отъ господъ приказанія. Скоро это грустное чувство усилилось еще несчастною любовью, которая длилась долго и имѣла рѣшительное вліяніе на судьбу и поэзію Жуковского.

Въ исторіи русской поэзіи „Сельское кладбище“ очень замѣчательно. Тутъ не было еще того романтизма, о которомъ привыкли говорить, разбирая поэтическія произведенія Жуковского; это было выраженіе той же сентиментальности, которую внесъ въ нашу литературу Карамзинъ и которая составляла болъшую сторону европейскаго общества въ концѣ XVIII вѣка, неудовлетвореннаго въ своемъ духовномъ развитіи лишеніемъ практической дѣятельности. Но „Сельское кладбище“ важно для насъ въ томъ отношеніи, что теперь всякій читатель получалъ уже право требовать отъ поэта естественности выраженія, простоты чувствъ и простоты обстановки. Весь ненужный и надобѣвший всѣмъ аппаратъ миеологическаго Парнасса долженъ былъ исчезнуть безвозвратно. Помѣщеніе „Сельскаго кладбища“ въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзиннымъ еще болѣе сблизило Жуковского съ нимъ, и съ этихъ поръ онъ сдѣлался сотрудникомъ Карамзина и еще больше подчинился его вліянію. Въ 1803 году онъ помѣ-

<sup>1)</sup> Зейдлицъ, изд. 1883 г. стр. 26—27.

стиль въ „Вѣстникѣ Европы“ прозаическую повѣсть свою „Вадимъ Новгородскій“—подражаніе подобнымъ произведеніямъ французскаго писателя Флоріана или „Мареѣ Посадницѣ“. Еще больше подражанія Карамзину сказались въ позднѣйшей его повѣсти „Марьяна Роша“ (1808 г.).

Меланхолическое настроеніе поэзіи Жуковскаго увеличилось еще болѣе отъ смерти друга его Андрея Тургенева, ровесника ему и товарища по пансіону, неожиданно умершаго на службѣ въ Петербургѣ. Повидимому, ихъ связывала нѣжная, поэтическая дружба, примѣры которой были нѣредки въ прошломъ вѣкѣ. Впрочемъ, по отзыву всѣхъ знавшихъ его, Андрей Тургеневъ былъ человекъ съ необыкновенными дарованіями и возбуждалъ къ себѣ общее чувство любви. Такъ же сильно, какъ и на Жуковскаго, подѣйствовала смерть Тургенева на Мералякова, человека четырьмя годами старше его, друга обоихъ. Съ этихъ поръ воспоминанія о потерянномъ другѣ, скорбь о его утратѣ часто встрѣчаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. Печаль, разочарованіе, мысль о смерти—любимыя его представленія:

„О, дней моихъ весна, какъ быстро скрылась ты  
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!  
Гдѣ вы, мои друзья, вы, спутники мои?  
Ужели никогда не зрѣть соединенья?  
Ужель изсякнули всѣхъ радостей струи?  
О, вы, погибши наслажденья!...  
Мнѣ рокъ судилъ брести невѣдомой стезей,  
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы,  
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишины,  
И взоръ склонивъ на пѣны воды,  
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать...  
Такъ, пѣть есть мой удѣлъ... но долго-ль?... Какъ узнать?...  
Ахъ! скоро, можетъ быть, съ Минваною унылой,  
Придетъ сюда Альпинъ въ часъ вечера мечтать,  
Надъ тихой юноши могилой!“<sup>1)</sup>

Самымъ любопытнымъ произведеніемъ для знакомства съ тою неопредѣленною тоскою, которая наполняла душу Жуковскаго въ это время, является посланіе его „Къ Филалету“ (Тургеневу). Его разочарованіе доходитъ здѣсь до крайняго выраженія и вмѣстѣ съ тѣмъ въ стихахъ слышится искренность и задушевность:

„Придешь ли ты назадъ,  
О время прежнее, о время незабвенно?  
Пли веселіе навѣки отцвѣло,  
И счастье мое съ протекшимъ протекло?...

<sup>1)</sup> „Вечеръ“.

Какъ часто о часахъ минувшихъ я мечтаю!  
 Но чаще съ сладостью конецъ воображаю;  
 Конецъ всему—души покой,  
 Конецъ желаніямъ, конецъ воспоминаваніямъ,  
 Конецъ бореию и съ жизнью и съ собой“.

Мысль о смерти—любимая мечта Жуковского:

„...кончины сладкій часъ  
 Моей любимой мечтою становится;  
 Унылость тихая въ душѣ моей хранится;  
 Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.  
 Зоветь меня... зоветь... куда зоветь?... не знаю;  
 Но я зовущему съ волненіемъ внимаю;  
 Я сердцемъ сопряженъ съ сей тайною страной,  
 Куда насъ вѣхъ влечетъ судьба неодолима;  
 Томящейся душѣ невидимая зрима—  
 Повсюду вѣстники могилы предо мной“...

Нельзя не видѣть въ стихахъ этихъ замѣчательнаго таланта, красоты выраженія, какой не было ни у одного изъ живущихъ тогда русскихъ поэтовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ искренности чувства. Но откуда это болезненное, неудовлетворенное жизнію чувство? Какимъ образомъ оно могло зародиться въ душѣ молодого человѣка, почти юноши? Такое неестественное направленіе въ Жуковскомъ объясняется между прочимъ господствовавшими въ эту эпоху литературными вкусами, крайнимъ развитіемъ сентиментальнаго направленія, внесеннаго въ нашу литературу предшественникомъ и учителемъ Жуковского—Карамзинымъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ большой надорванный сентиментализмъ вытекалъ также изъ воспитанія исключительно литературнаго и лишеннаго всякой реальной основы. Не было и не передавалось никакихъ знаній, кромѣ литературныхъ, и потому у человѣка отнималась всякая возможность жить въ ладу съ дѣйствительностію и имѣть на нее вліяніе. Жуковский любилъ въ своей жизни повторять фразу, казавшуюся ему аксіомою: „жизнь и поэзія — одно“; фраза вѣрна можетъ быть по отношенію къ личному чувству поэта, но между поэзіею Жуковского и русскою жизнію, его окружавшею, не было ничего общаго. Последняя, безъ сомнѣнія, не могла удовлетворить ни въ какомъ отношеніи сколько-нибудь развитого человѣка; она не давала ничего для развитія; она не допускала даже возможности дѣйствовать въ ней такъ, чтобъ находить въ дѣйствіи удовлетвореніе, не подрывая въ развитомъ человѣкѣ дорогихъ ему убѣжденій. Оттого люди, подобные Жуковскому, т. е. лучшіе люди тогдашняго общества, жили не въ дѣйствительности, а въ мірѣ любимой мечты, въ мірѣ завѣтномъ и доро-

гомъ для нихъ, но міръ фантастическомъ, который былъ имъ дороже дѣйствительности. Тутъ - то совершалось саморазвитіе, но не для жизни, а для себя; тутъ-то развивалось то „прекраснодушіе“, которыми эти люди отличались отъ простыхъ людей времени. О поэзіи, какъ выраженіи дѣйствительности, не могло быть и помину тогда. Отсюда такое сильное вліяніе на талантъ господствовавшего литературнаго вкуса, отъ котораго онъ никакъ не можетъ освободиться; отсюда недовольство жизнью и разочарованіе, толки о пустотѣ и „грязи дѣйствительности“, повторяемые нѣсколькими поколѣніями нашихъ поэтовъ. Жуковскій ничего не ждетъ отъ жизни:

„Мнѣ ужасовъ могила не являетъ;  
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,  
Чтобъ промисла рука обратно то взяла,  
Чѣмъ я безрадостно въ семь міръ бременился,  
Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился,  
Которую давно надежда не златить.  
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,  
Считаю ль радости минувшаго—какъ мало!  
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не приучало;  
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ“... <sup>1)</sup>

Времени отъ 1802 до 1808 года Жуковскій провелъ большею частью въ деревнѣ, уѣзжая оттуда по временамъ въ Москву, гдѣ у него было много друзей и литературныя связи и предпріятія. Около 1805 года у него явилось еще занятіе, которое было ему особенно дорого. Одна изъ сестеръ его, Екатерина Аванасьевна Протасова, овдовѣла и, имѣя разстроенное состояніе, поселилась въ Бѣлевѣ, гдѣ и Жуковскій выстроилъ домъ для матери. Съ нею были двѣ дочери: Марья Андреевна—12 лѣтъ и Александра—10 лѣтъ. Жуковскій самъ вызвался быть учителемъ этихъ дѣвочекъ; занятія эти продолжались около трехъ лѣтъ. Планъ образованія, составленный Жуковскимъ, былъ очень широкъ и выполнялся имъ усердно. Жуковскій и своими занятіями, и своими ученицамъ отдался всею душою. Старшая, съ годами, стала для Жуковского самымъ дорогимъ существомъ; онъ питалъ къ ней глубокую, продолжительную, но несчастную привязанность, которая, какъ мы уже говорили, имѣла большое вліяніе на его жизнь и придавала еще болѣе элегическаго чувства его стихотвореніямъ.

Но покуда литературная дѣятельность побѣдила въ немъ зародившееся чувство. Друзья, въ особенности Мерзляковъ, давно звали его въ Москву на разныя литературныя предпріятія. Вѣроятно, не безъ участія Карамзина, которому былъ дорогъ имъ основанный журналъ, съ 1808 г. Жуковскій сдѣлался редакторомъ

<sup>1)</sup> „Къ Филалету“.

„Вѣстника Европы“ и издавалъ его вмѣстѣ съ Каченовскимъ, завѣдывавшимъ политическимъ отдѣломъ въ теченіе трехъ лѣтъ. Это время было временемъ самой усиленной литературной дѣятельности Жуковскаго. Обязанности редактора были тогда гораздо труднѣе, чѣмъ теперь; ему одному приходилось работать за многихъ. Но и въ журналистикѣ, какъ и въ направленіи своей поэзіи, Жуковский шелъ только по слѣдамъ Карамзина и считалъ его программу единственно возможною. Конечно, о современномъ намъ, политическомъ значеніи журналистики Жуковский не имѣлъ тогда понятія. Его задачею было доставить своимъ подписчикамъ запасъ пріятнаго и полезнаго чтенія. Программа Жуковскаго высказывается имъ довольно опредѣлительно въ вступительной статьѣ журнала <sup>1)</sup>. „Письмо изъ уѣзда къ издателю“, гдѣ заключено то же, что говорилъ и Карамзинъ при началѣ своего журнала. Значеніе журнала—образовательное для публики. „Существенная польза журнала,—не говоря уже о пріятности минутнаго занятія,—состоитъ въ томъ, что онъ скорѣе всякой другой книги распространяетъ полезныя идеи, образуетъ разборчивость вкуса, и—главное—приманкою новости, разнообразія, легкости, нечувствительно привлекаетъ къ занятіямъ болѣе труднымъ, усиливаетъ охоту читать, и читать съ цѣлью, съ выборомъ, для пользы“. „Обязанность журналиста: подъ маскою занимательнаго и пріятнаго скрывать полезное и наставительное“. Главное содержаніе журнала должно заключаться въ словесныхъ произведеніяхъ, какъ своихъ, такъ и чужихъ. Въ этомъ сказывается и вкусъ тогдашней публики и то исключительно литературное направленіе, которое получилъ Жуковский при своемъ образованіи. Политическій и критическій отдѣлы, самые существенные въ современномъ журналѣ, являлись у Жуковскаго чѣмъ-то почти ненужнымъ. „Политика въ такой землѣ, говоритъ онъ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особенной привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ; она питаетъ одно любопытство“. Жуковский хочетъ поэтому сообщать въ журналѣ только о самыхъ важныхъ и о самыхъ новыхъ случаяхъ міра. Какъ политику, такъ и критику Жуковский считаетъ почти бесполезною для своего журнала. „Критика, но, государи мои, какую пользу можетъ приносить въ Россіи критика?—спрашиваетъ онъ. Что прикажете критиковать? посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь—дочери богатства; а мы еще не Крезы въ литературѣ! Замѣтно ли у насъ сіе дѣятельное, повсемѣстное усиліе умовъ, желающихъ производить или пріобрѣтать, которое бы требовало вѣр-

<sup>1)</sup> Вѣстн. Евр. 1808 г. № 1.

наго направленія, которое надлежало бы подчинить законамъ разборчивой критики? Уроки морали ничто безъ опытовъ, и критика самая тонкая—ничто безъ образцовъ“. Критикѣ предоставляется только право „обращать вниманіе читателя на нѣкоторыя новыя, замѣчательныя—и потому самому рѣдкія явленія словесности“. Что касается до произведеній современной русской литературы, то въ этомъ письмѣ высказывается полное сочувствіе къ представителю тогдашняго патріотическаго направленія—Растопчину; монологи старика Силы Андреевича Богатырева письмо желало бы видѣть въ журналѣ.

Узкіе идеалы Карамзина, его взгляды на просвѣщеніе, на значеніе писателя и его отношеніе къ обществу повторяются и Жуковскимъ. Значеніе просвѣщенія и дѣйствіе его онъ видитъ не въ массѣ дѣлаго развивающагося народа, у котораго совершенствуется матеріальная и духовная сторона быта, а въ семействѣ. Когда разольется вездѣ просвѣщеніе, „тогда увидите людей менѣе разсѣянныхъ въ шумномъ, обширномъ кругу свѣта, всему предпочитающихъ мирный и тѣсный кругъ семейства“<sup>1)</sup>. Семейное счастье, о которомъ часто и много говорилъ Жуковский, было для него выше всякаго другого. Въ статьѣ „Кто истинно добрый и счастливый человекъ“<sup>2)</sup>, добрымъ и счастливымъ человекомъ рисуется только тотъ, кто способенъ наслаждаться семейственною жизнью. Все счастье только въ семействѣ; оно выше счастья человека-гражданина. Въ семьѣ только совершаются самые благородные, самые безкорыстные подвиги и просвѣщеніе должно работать для семьи же. Эти мысли, очевидно, развиты воспитаніемъ въ школѣ Карамзина, составили неизмѣняемый кодексъ нѣнціи Жуковского, повторялись имъ всегда. Это программа для всей жизни, для каждого.

Но въ біографическомъ отношеніи любопытно, что мечта о семейномъ счастьи сдѣлалась самою дорогою личною мечтою Жуковского; онъ сталъ повторять ее съ этого времени очень часто и въ стихахъ и въ прозѣ: его ученицѣ-племянницѣ Протасовой минуло 15 лѣтъ, и онъ уѣхалъ въ Москву чтобъ составить себѣ прочное литературное положеніе съ мечтою о семейномъ счастьи, именно съ нею. Разсуждая о томъ положеніи, которое имѣетъ въ обществѣ писатель, въ статьѣ подъ этимъ заглавіемъ, говоря, что писатель не можетъ играть дѣятельной роли въ большомъ свѣтѣ, ни по своимъ занятіямъ, ни по ограниченному состоянію своему, и не жалѣя о томъ, Жуковский развиваетъ слѣдующее мнѣніе: „Для писателя, болѣе нежели для кого-нибудь, необходимы семейственныя связи; привязанный къ одному

<sup>1)</sup> Письмо изъ уѣзда къ издателю „Вѣстника Европы“.

<sup>2)</sup> Вѣстн. Евр. 1808 г. № 12.

мѣсту своими упражненіями, онъ долженъ около себя находить тѣ удовольствія, которыя природа сдѣлала необходимыми для души человѣческой; въ уединенномъ жилищѣ своемъ, послѣ продолжительнаго умственнаго труда, онъ долженъ слышать трогательный голосъ своихъ любезныхъ; онъ долженъ въ кругу ихъ отдыхать, въ кругу ихъ находить новыя силы для новой работы; *не имѣя вдали ничего достойнаго исканія*, онъ долженъ вблизи, около себя, соединить все драгоценнѣйшее для его сердца; вселенная со всеми ея радостями должна быть заключена въ той мирной обители, гдѣ онъ мыслить и гдѣ онъ любить". Такимъ образомъ Жуковскій свои личныя надежды и стремленія вводилъ въ общее правило для всѣхъ писателей.

Какъ журналистъ и издатель, Жуковскій былъ очень дѣятеленъ. Почти вся работа журнала въ первый годъ лежала на немъ одномъ; только на слѣдующій 1809 годъ, онъ пригласилъ къ себѣ въ сотрудники профессора Каченовскаго, имя котораго въ 1810 году стоитъ на заглавномъ листѣ журнала въ качествѣ соредактора и ему же съ 1811 года Жуковскій передалъ уже все изданіе. Статей въ разномъ родѣ, написанныхъ Жуковскимъ, было довольно. Несмотря на то, что въ программѣ журнала, высказанной въ „Письмѣ изъ уѣзда“, критикѣ отдавалось мало мѣста, Жуковскій, подобно Карамзину, писалъ критическія статьи въ томъ же духѣ и направленіи, съ тою же эстетическою осторожностью. О критикѣ онъ имѣлъ тогдашнее современное понятіе. „Критика, говорилъ онъ, есть сужденіе, *основанное на правилахъ образованнаго вкуса*, безпристрастное и свободное“ <sup>1)</sup>. Польза критики „состоитъ въ распространеніи вкуса“. Вкусъ этотъ есть „чувство и знаніе красоты въ произведеніяхъ искусства, имѣющаго цѣлю подражаніе природѣ нравственной и физической“. Распространяя истинныя понятія вкуса, критика „образуетъ въ то же время и самое моральное чувство“. Такая именно критика, называемая эстетическою, была въ ходу тогда. Съ этой точки зрѣнія написаны были Жуковскимъ три статьи критическія: „О баснѣ и басняхъ Крылова“ (1809 г.), „О сатирѣ и сатирахъ Кантемира“ (1809 годъ) и разборъ трагедіи Кребиллона „Радамистъ и Зенобія“, переведенной Висковатовымъ (1810). Что касается до первыхъ двухъ, то онѣ даютъ ясное понятіе о томъ, какъ нужно было писать критику въ то время. Методъ, употребленный Жуковскимъ, господствовалъ очень долго. Онъ начинается съ теоріи, т.-е. сначала излагаетъ тѣ теоретическія требованія, которыя обыкновенно дѣлаютъ извѣстному роду произведеній, затѣмъ показываетъ исторически образцовыя произведенія въ томъ же родѣ и наконецъ

<sup>1)</sup> „О критикѣ“.

уже сравниваетъ съ ними разбираемое имъ произведеніе. О томъ, что теперь называется историческою критикою, Жуковскій не имѣлъ понятія, но онъ хорошо былъ знакомъ съ современными эстетическими теоріями. Въ исторіи нашей критики онъ занимаетъ довольно видное мѣсто; онъ первый старался утвердить ее на точныхъ, научныхъ началахъ.

Уже въ то время имя Жуковского пользовалось извѣстностью, какъ превосходнаго переводчика чужихъ поэтическихъ произведеній. Оригинальнаго у него очень немного и въ исторіи нашего литературнаго развитія Жуковскій занимаетъ почетное мѣсто именно какъ поэтъ-переводчикъ за то, что онъ познакомилъ насъ со многими великими созданіями всемірной литературы. Поэтому намъ любопытно будетъ познакомиться съ тѣми мнѣніями, которыя Жуковскій высказывалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ объ этомъ призваніи своемъ. „Переводчикъ стихотворца, говоритъ онъ, есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный“. Конечно, творецъ стоитъ выше, потому что ему принадлежитъ идея, планъ созданія, но „переводчикъ остается творцемъ выраженія, ибо для выраженія имѣетъ онъ уже собственные матеріалы, которыми пользоваться долженъ самъ, безъ всякаго руководства и безъ всякаго пособія посторонняго“. Выразенія оригинальнаго автора онъ долженъ сотворить. „А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда наполнившись идеаломъ, представляющимъ ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его такъ сказать въ созданіе собственнаго воображенія: когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторить съ начала до конца работу его гения“<sup>1)</sup>, это уже сама по себѣ есть творческая способность. Переводчика въ стихахъ Жуковскій ставитъ гораздо выше переводчика въ прозѣ.

„Не опасаясь никакого возраженія, говоритъ онъ, мы позволяемъ себѣ утверждать рѣшительно, что подражатель-стихотворецъ можетъ быть авторомъ *оригинальнымъ*, хотя бы онъ не написалъ ничего собственнаго. Переводчикъ *въ прозѣ* есть рабъ; переводчикъ *въ стихахъ*—соперникъ... Поэтъ оригинальный воспламеняется идеаломъ, который находитъ у себя *въ воображеніи*; поэтъ-подражатель въ такой же степени воспламеняется образцомъ своимъ, который заступаетъ для него тогда мѣсто идеала собственнаго: слѣдственно переводчикъ, уступая образцу своему пальму первенства, долженъ необходимо имѣть почти одинакое съ нимъ воображеніе, одинакое искусство слога, одинакую силу въ умѣ и чувствахъ... Находитъ у себя въ во-

<sup>1)</sup> Разборъ траг. Кребиллона „Радамистъ и Зенобія“, переведенной Висковатовымъ.



ображеніи такіа красоты, которыя бы могли служить *замѣною*, слѣдовательно производить *собственное*, равно и превосходное: не значить ли это быть творцомъ?"<sup>1)</sup> Такъ смотрѣлъ въ то время, да вѣроятно и послѣ Жуковский на главное содержаніе своей поэтической дѣятельности. Но это требованіе самостоятельности и нѣкотораго рода творчества отъ переводчика въ стихахъ, чѣмъ Жуковский хотѣлъ какъ бы поднять свое призваніе, по отношенію къ его собственнымъ переводамъ имѣло и свои невыгодныя стороны. Извѣстно, что Жуковский, по крайней мѣрѣ въ пору своей молодой и лучшей дѣятельности, бралъ для перевода изъ европейскихъ литературъ такіа произведенія, которыя отиѣчали всего болѣе его личнымъ вкусомъ, его направленію и сентиментальнымъ наклонностямъ, въ которыхъ онъ воспитался. Отъ этого все переведенное Жуковскимъ носитъ на себѣ печать его собственныхъ взглядовъ и убѣжденій и скорѣе выражаетъ его самого, его личное чувство, чѣмъ сущность и духъ чужихъ произведеній. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ передѣлывалъ по своему до неузнаваемости. Нѣсколько поэтическихъ произведеній, болѣею частію переводныхъ, напечатанныхъ имъ въ „Вѣстникѣ Европы“, отличаются общимъ тономъ элегіи, въ которомъ попрежнему слышится скорбь о минувшемъ, жалобы на утраченное счастье любви и желаніе смерти...

Самымъ любопытнымъ поэтическимъ произведеніемъ Жуковского во время редактированія имъ „Вѣстника Европы“ былъ не переводъ, а скорѣе передѣлка баллады Бюргера „Ленора“, которую Жуковский называлъ „Людмила“—русская баллада<sup>2)</sup>. Этимъ произведеніемъ, которое имѣло чрезвычайный успѣхъ въ тогдашнемъ обществѣ, открывается въ нашей поэзіи новый и неизвѣстный до тѣхъ поръ рядъ явленій, называемыхъ балладами, за которыя самъ Жуковский въ литературныхъ кружкахъ и въ критикѣ получилъ названіе „балладника“. Впечатлѣніе этой знаменитой „Людмилы“ на читающую публику равнялось впечатлѣнію „Вѣдной Лиры“—Карамзина. Восторгамъ и подражанію не было конца. Особенное значеніе балладѣ придавало нѣкоторое отношеніе къ современности; она переносила читателя на поля тогдашнихъ сраженій и выражала сердечныя утраты, которыхъ было немало. Съ нею вторгся въ русскую литературу новый незнакомый ей прежде міръ, міръ балладъ, міръ мертвецовъ, видѣній, фантастическихъ чудесъ, міръ соприкосновенія жизни дѣйствительной съ загробною, то, однимъ словомъ, что Жуковский называлъ романтизмомъ. Остановимся на этомъ понятіи.

<sup>1)</sup> О баснѣ и басняхъ Крылова.

<sup>2)</sup> „Вѣстн. Евр.“, 1808 г., № 9.

## ЛЕКЦІЯ VI и VII.

Романтизмъ на западѣ и романтизмъ Жуковскаго. — „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“. — „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“. — Отношенія Жуковскаго къ Протасовой. — „Долбинскія“ стихотворенія. — Посланіе къ имп. Александру.

Съ передѣлкою нѣмецкой Леноры поэта Бюргера въ русскую „Людмилу“, которая такъ понравилась тогдашнему обществу, въ русской литературѣ въ первый разъ появляется то направленіе, которое извѣстно у насъ во всѣхъ учебникахъ подъ названіемъ *романтизма*. Это движеніе, вступивъ въ ожесточенную борьбу съ господствовавшимъ прежде классицизмомъ, вытѣснило его и овладѣло полемъ. Вводителемъ этого новаго направленія у насъ называютъ обыкновенно Жуковскаго и съ него начинается исторія нашего романтизма, представлявшаго главнымъ образомъ въ двадцатые и тридцатые годы. Самъ Жуковскій признаетъ это: „я во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ“ — пишетъ онъ къ Стурдзѣ <sup>1)</sup>). Говорить о романтизмѣ и соединять съ этимъ понятіемъ имя Жуковскаго, мы давно привыкли, особенно со времени критики Бѣлинскаго. Это былъ любимый терминъ его, хотя онъ далъ самое неопредѣленное понятіе о романтизмѣ, слишкомъ узкое съ одной и слишкомъ широкое съ другой стороны.

Нѣтъ ничего неопредѣленнѣе и туманнѣе того понятія о литературномъ движеніи, извѣстномъ у насъ подъ именемъ романтизма, какое вообще мы встрѣчаемъ въ нашихъ курсахъ и критическихъ обзорѣніяхъ литературы. Причина этого заключалась обыкновенно въ томъ, что о романтизмѣ мы привыкли судить по тѣмъ явленіямъ его, какія были въ нашей литературѣ, а въ нее попадали только жалкіе, оборванные лоскутки европейскаго умственнаго движенія. Но и это движеніе, извѣстное подъ именемъ романтизма, захватывающее собою весьма длинный періодъ времени, почти всѣ сферы жизни, начиная политикой и кончая искусствомъ, заключало въ себѣ столько сложнаго, столько разнообразнаго, столько противорѣчиваго, было такъ непохоже само на себя въ теченіе своего развитія, что его невозможно опредѣлить въ немногихъ, точныхъ словахъ. Считать романтизмъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ, однимъ противодѣйствіемъ господствовавшему до него въ литературѣ и искусствѣ классицизму или смотрѣть на него, какъ на особенное поклоненіе идеаламъ и формамъ среднихъ вѣковъ, значитъ имѣть о немъ недостаточное понятіе.

<sup>1)</sup> Письмо отъ 10 марта н. ст. 1849 г.

Романтизмъ не былъ только эстетическою теоріею; нѣтъ, онъ обнималъ собою всю жизнь, проникалъ всѣ ея сферы.

Человѣческій духъ, начиная со второй половины XVIII вѣка до конца его, представляетъ намъ такую общую, дѣятельную, глубокую критическую работу мысли, какую едва ли можетъ представить другой историческій періодъ, за исключеніемъ эпохи Возрожденія. Результатомъ этой усиленной, смѣлой и радикальной работы (напр. въ философахъ Франціи и въ Кантѣ), и въ сферѣ государства и практики, и въ религіи, и въ нравственности былъ рѣшительный пересмотръ прошедшаго. Человѣчеству пришлось выбросить за бортъ, какъ ненужный баластъ, массу такого содержанія, которое создавалось вѣками, къ которому люди привыкли длиннымъ путемъ развитія историческаго. Въ этомъ разрѣженномъ критикою воздухѣ, на высотѣ побѣдившей мысли, было ужъ слишкомъ просторно, не за что было держаться руками. За работою мысли, въ послѣдніе годы XVIII и въ первые годы XIX вѣка, произошелъ тотъ могущественный историческій катаклизмъ, волненія котораго не вдругъ могли стихнуть. Падали старыя формы жизни, падали, вызывая въ душѣ то восторженные крики освобожденія, то боль и страданіе. Мѣнялись съ чрезвычайною быстротою границы государствъ и народностей, отстраняя старыя изжившія явленія, выдвигая новыя и непривычныя. Когда успокоивалось волненіе, мысль естественно должна была обращаться назадъ: она видѣла предъ собою развалины и броженіе. Многаго не досчитывалась она, обо многомъ жалѣла, доходила до ненависти къ недавнимъ увлеченіямъ, до неисторическаго, до нелогичнаго, но часто страстнаго желанія возстановить невозвратное прошедшее. Она пугалась добытой борьбою свободы, боялась крайнихъ выводовъ, робко пряталась отъ самой себя. Скорбь и раздвоеніе, раздраженіе и разочарованіе наполняли сердце у романтика, изъ котораго вѣтеръ критики выдулъ вѣковыя иллюзіи. Ему страшно идти впередъ, не оглядываясь, а старая вѣра подорвана. Онъ стоитъ въ тяжеломъ раздумьи на распутии двухъ міровъ: назадъ его манятъ волшебные образы прошедшаго, гдѣ живутъ его воспоминанія, а впереди страшно свободно развертываются — безграничныя дали будущаго, ему незнакомыя. Это-то и была общая болѣзнь вѣка, сказавшаяся въ Европѣ въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ философіи, литературы, искусства, что было совершенно естественно при ея богатой и сложной исторической жизни.

Что-то больное и раздвоенное всегда присутствуетъ въ романтизмѣ. Мы увидимъ потомъ, какъ это общее историческое недовольство Европы преобразилось въ наше внутреннее недовольство, когда правительство Александра пошло по дорогѣ крайней реакціи, не

оправдавъ надеждѣ и стремленіи развитого меньшинства. То была лучшая пора нашего романтизма.

Съ романтизмомъ европейскимъ соединяются самыя разнообразныя идеи и порывы духа. Подъ этимъ знаменемъ мы видимъ и свободную мысль и рабское поклоненіе авторитету; отъ романтизма вѣетъ и вольнымъ воздухомъ новаго времени и спертую атмосферу кельи средне-вѣковаго монастыря. Въ „Фаустѣ“ Гёте и въ „Манфредѣ“ Байрона выражено самое глубокое пониманіе романтическихъ стремленій; но сколько въ этихъ величавыхъ фигурахъ раздвоенности, страданія и вѣчной неудовлетворенности! Ихъ скорбь—скорбь цѣлаго вѣка. Эти два типа, созданные двумя величайшими поэтами, какъ выраженіе времени, сдѣлались любимыми типами и находили себѣ подражателей и въ литературѣ, и въ жизни. Поэтъ въ понятіяхъ романтизма не былъ обыкновеннымъ человекомъ, онъ былъ не отъ міра сего, стоялъ высоко надъ толпою, отъ ея жизни, отъ ея стремленій былъ отдѣленъ непроходимомъ бездною. Это была избранная натура, но ея удѣлъ на землѣ были страданіе и гибель. Въ подражаніе поэту и обыкновенные люди силились подняться надъ массою и явиться тоже избранными натурами. Всякій желалъ явить изъ себя героя. Воображеніе господствовало надъ разсудкомъ; реальнаго пониманія жизни почти вовсе не существовало, и въ романтизмѣ возникло множество заблужденій и нелѣпостей, невозможныхъ въ здоровую пору жизни. Въ романтизмѣ, котораго начало надобно искать въ мистическихъ увлеченіяхъ XVIII вѣка, въ недовольствѣ слишкомъ смѣлою и отрицающею мыслию французскихъ философовъ того времени, сильно было развито недовѣріе къ „сухой разсудочности“, по выраженію Гегеля, и отсюда легко объясняется такъ называемая *романтическая тѣра*, полная сердечности, мистики, піэтизма, а такъ какъ такая вѣра господствовала преимущественно въ католицизмѣ и въ эпоху среднихъ вѣковъ, то идеалы этихъ послѣднихъ и въ религіи, и въ искусствѣ, и въ литературѣ особенно нравились романтикамъ. Старая вѣра въ чудесное, сверхъестественное, въ возможность сообщеній міра земного съ міромъ загробнымъ снова оживала въ романтизмѣ. Если въ вѣрѣ было такое обращеніе къ отжившей старинѣ среднихъ вѣковъ, то подобная же реакція существовала и въ практическихъ вопросахъ жизни и государства.

Но какими образомъ произошло, что духъ человѣческій, передъ которымъ была такая широкая, свободная дорога, послѣ усилій своей крѣпкой мысли въ XVIII вѣкѣ, снова повернулъ съ тоскою къ мечтательнымъ образамъ прошедшаго, казалось навсегда исчезнувшаго? Какъ въ исторической жизни народовъ, такъ и въ царствѣ духа, за революціонными, слишкомъ смѣлыми попытками, является трудъ ре-

акции и реставрации, но добытое прежде не гибнет; напротив, вследствие противодѣйствія, его значеніе становится глубже и яснѣе.

И друзья, и враги романтизма пытались опредѣлить его значеніе и приходили къ различнымъ результатамъ, потому что не въ состояніи были найти корни этого сложнаго явленія. Романтизмомъ опредѣляли мечтательную любовь къ природѣ и страстное религіозное влеченіе души, и тоскливую привязанность къ нравамъ и формамъ прошедшаго, и сердечное стремленіе въ даль, къ неизвѣстному, къ очарованному *тамъ*. Подъ знаменемъ романтизма дѣйствовали и консервативные и либеральные умы, ~~и~~ стремленіе къ лучшимъ формамъ жизни, и боязливая запуганность передъ движеніемъ, и демократическій энтузіазмъ съ мечтами о народной свободѣ, и озлобленіе и вражда къ настоящему. Романтизмъ похожъ на неуловимый образъ Протея. Но эта неуловимость происходитъ отъ того, что романтизмомъ привыкли называть то или другое явленіе въ области духовной или жизненной, ту или другую партію въ литературѣ или искусствѣ, тогда какъ подъ романтизмомъ надобно разумѣть цѣлую историческую форму духовной жизни европейскихъ народовъ, цѣлую и длинную эпоху. Романтизмъ, какъ эпоха, похожъ на голову древняго Януса съ двойнымъ лицомъ; одна сторона смотритъ назадъ, въ прошедшее, другая—впередъ, въ будущее. Съ одной стороны въ туманной дали голубыя горы съ волшебными замками и съ волшебными садами прошедшаго, съ другой—свободныя, широкія поля будущаго. Человѣка, уже тронутаго духомъ новаго времени, но который вздумалъ бы средствами новаго образованія возстановлять старину и отжившее въ литературѣ или искусствѣ, въ религіи или наукѣ, въ жизни или политикѣ, который захотѣлъ бы на изжившейся жизненной почвѣ новаго времени возстановлять міръ прошедшаго,—мы называемъ обыкновенно романтикомъ. Не первоначальное романтическое міросозерцаніе (въ духѣ среднихъ вѣковъ), когда человѣческое сознаніе наполнялось всецѣло міромъ сверхъчужденнаго, который не былъ еще ни подрытъ сомнѣніемъ, ни разогнанъ рефлексіей,—потому что таковой сверхъчужденный міръ, при совершенномъ незнакомствѣ съ законами міра чувственнаго, одинъ только имѣлъ дѣйствительность и значеніе,—не эту давно исчезнувшую ступень развитія называемъ мы романтизмомъ, какъ историческое явленіе, но сознательное, преднамѣренное возстановленіе прошедшаго, посреди вѣка, по внутреннему содержанию своему вполне чуждаго этой давно исчезнувшей формѣ развитія. Міровоззрѣніе среднихъ вѣковъ было романтическое. Но отцы церкви и схоластики среднихъ вѣковъ, мистики и реформаторы, для которыхъ это мировоззрѣніе составляло убѣжденіе сердечное и которые доказывали его научнымъ образомъ, вовсе не были романтиками.

Они были убѣждены въ томъ, во что вѣрили. Начавшееся съ XVI вѣка въ Европѣ, подъ вліяніемъ древней мысли, изученіе природы и развитіе естественныхъ наукъ, затѣмъ свободное движеніе духа въ просвѣтительную эпоху въ XVII и XVIII вѣкахъ разсѣяли это романтическое воззрѣніе, въ оковахъ котораго такъ долго находилось европейское человѣчество, а критическая философія Канта, какъ послѣднее звено свободного движенія ума, казалось, ясно опредѣлила границы человѣческаго разума. Духъ освободился отъ чуждаго ему содержанія; міръ сверхчувственный онъ понялъ теперь, какъ свое собственное созданіе. Это уже окончательно разрушало романтическое мировоззрѣніе. Но сердце, которое не умѣло уяснить себѣ свои потребности, и фантазія, вырвавшаяся изъ-подъ власти разсудка, пытались въ новое время возстановить и удержать это исчезнувшее мировоззрѣніе въ сознаніи новаго человѣчества, снова ввести и въ науку и въ различныя сферы духовной жизни этотъ старый балластъ, но въ новой одеждѣ. Это и былъ европейскій романтизмъ новаго времени.

При чрезвычайной сложности процесса историческаго движенія новаго европейскаго романтизма, весьма трудно опредѣлить и начало его и исходъ, поставить въ особенности пограничныя столбы тамъ, гдѣ кончается романтизмъ и начинается реализмъ. Человѣческое развитіе происходитъ не вдругъ; отъ сознающаго меньшинства мысль постепенно переходитъ къ массѣ и что для одного является уже пройденною пережитою ступенью, съ того для другого начинается только развитіе. Вообще приблизительно можно опредѣлить начало романтизма съ первымъ реакціоннымъ движеніемъ въ ходѣ французской революціи XVIII вѣка, но зачатки романтизма можно видѣть и въ мистицизмѣ этого вѣка и въ сочиненіяхъ Руссо съ его идеализмомъ и тоскою по природѣ. Не нужно забывать, что въ каждой европейской странѣ, подъ вліяніемъ обстоятельствъ и историческихъ условій ея, романтизмъ принялъ особую форму, особый оттѣнокъ. Страною, однакожъ, гдѣ романтизмъ больше и полнѣе всего господствовалъ, была Германія, въ особенности въ сферахъ поэзіи и литературы, а потомъ и въ философіи. Фантазія заступила мѣсто здраваго разсудка, сердце вало преобладаніе надъ умомъ. Жизнь среднихъ вѣковъ сдѣлалась любимымъ представленіемъ нѣмецкихъ романтиковъ. Въ ней только одной была свѣжесть, сила и непосредственность. Поэзію Гёте обвиняли въ матеріализмѣ, требовали, чтобы искусство удалось отъ „пошлой“ дѣйствительности. Старые законы нравственности презирались всеміи; чувство и страсть получили оправданіе, создались новые законы морали. Фантазія явилась разнузданною, и личность, которая сама только ставила себѣ законы, стала презирать дѣйствительность и всѣ ея права.

Печальныя политическія отношенія времени, сначала господство французовъ въ Германіи, а потомъ общая правительственная реакція невольно увлекали мысль и фантазію отъ настоящаго, отъ очень некрасивой дѣйствительности.

Духъ, недовольный настоящимъ, уходилъ въ прошедшее, которое казалось и лучше, и дороже. На это прошедшее смотрѣли безъ всякой критики, въ ложномъ свѣтѣ идеала; оно должно было замѣнить собою пустоту настоящаго. Правда, потомъ и это обольщеніе принесло свою пользу для науки о прошедшемъ и въ этомъ же чувствѣ начались попытки изученія старины и народности у Гриммовъ. Романтизмъ служилъ и наукѣ, и противникамъ ея, какъ служилъ онъ свободѣ и репрессивнымъ мѣрамъ правительствъ.

Таковъ былъ романтизмъ на европейской почвѣ; посмотримъ, какія стороны его перешли къ намъ, въ нашу жизнь.

Съ самой реформы Петра Вел. наша историческая задача заключалась въ усвоеніи европейскихъ началъ цивилизаціи и духовной жизни. Съ каждымъ десятилѣтіемъ нашего развитія задача эта понималась все глубже и шире, тѣмъ болѣе, что и самая жизнь европейская не стояла на одномъ мѣстѣ, а развивалась, а потому одно европейское вліяніе шло послѣдовательно къ намъ за другимъ; мы переживали у себя разныя фазы чужой внутренней жизни, пережили псевдо-классицизмъ, философію Вольфа, скептическую мысль XVIII вѣка и вольнодумство, затѣмъ масонство и какъ противодѣйствіе скептицизму и отрицанію — мечтательность и сентиментальность, съ которыми въ близкомъ отношеніи находится только-что вступившій на нашу почву романтизмъ. Это былъ необходимый и естественный ходъ впередъ нашего русскаго развитія, но на фонѣ европейской жизни. Понемногу къ этому движенію присоединяется наконецъ стремленіе къ самостоятельности. Мы долго жили такимъ образомъ заимствованіемъ и подражаніемъ, но мы развивались, мы воспитывались, мы шли тѣмъ же путемъ внутренняго развитія, какъ и европейскія націи, мы логически и послѣдовательно шли съ ними одинаковымъ путемъ.

Къ сожалѣнію, условія нашей политической и вообще общественной жизни были таковы, что этотъ прямой путь развитія безпрестанно нарушался, переходъ европейскихъ вліяній затруднялся, да и сами они очень часто суживались въ своихъ размѣрахъ, а иногда входили къ намъ просто контрабандою. Европейское вліяніе и наше умственное развитіе были бы гораздо глубже, и конечно прочнѣе, еслибъ пользовались болѣею свободою и болѣшимъ уваженіемъ со стороны власти. Но еще больше препятствій заключалось въ невѣжествѣ общества, для котораго вовсе не дороги были умственные инте-

реш. Что же касается до народа, то онъ оставался внѣ всего этого движенія и развитія. Понятно, что при такихъ невыгодныхъ условіяхъ европейскія вліянія переходили къ намъ клочками, обрывками. Мы воспитывались на европейскихъ идеяхъ, но и эти идеи доходили къ намъ также не въ цѣломъ видѣ, и часто случалось, что мы начинали переживать ту фазу, которая была давно уже пройдена Европою.

Такъ и европейскій романтизмъ, который появился у насъ при Карамзинѣ, подъ именемъ сентиментализма и подъ видомъ мечтательности, а при Жуковскомъ сталъ называться у насъ собственнымъ именемъ, былъ на нашей почвѣ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ въ Европѣ. У насъ, какъ извѣстно, долго понимали подъ словомъ романтизмъ только противоположность классицизму, всѣмъ надѣвшему. Той широкой исторической основы, какая была у европейскаго романтизма, у насъ не существовало. Мы заимствовать могли изъ него только то, что приходилось намъ по плечу (и больше худыхъ его сторонъ, чѣмъ хорошихъ).

Первымъ вводителемъ у насъ элементовъ романтизма былъ, какъ мы сказали уже, Карамзинъ, хотя при немъ не существовало еще самаго названія. Въ сентиментальности его надобно видѣть зародыши романтизма. Несмотря на малое развитіе тогдашняго современнаго общества, несмотря на то, что въ массѣ этого общества было самое ничтожное число не только людей образованныхъ, но и читающихъ вообще, сочиненія Карамзина, въ нравственномъ, но не политическомъ отношеніи, имѣли образовательное или воспитательное значеніе для тогдашняго общества. Какъ моралистъ, какъ проповѣдникъ свободы страстей, какъ распространитель, хотя и въ узкихъ границахъ, идей Руссо, Карамзинъ былъ передовымъ человекомъ въ нашемъ обществѣ того времени и Жуковскій въ этомъ отношеніи не пошелъ дальше его и является только продолжателемъ Карамзина. Но Жуковскій былъ болѣе, чѣмъ Карамзинъ, знакомъ съ нѣмецкою романтическою школою, явленіемъ новымъ для Карамзина въ литературѣ, обязаннаго своимъ воспитаніемъ болѣе французамъ. Вліянію этой нѣмецкой романтической школы и подчинился Жуковскій. Переводомъ ея произведеній, усвоеніемъ ихъ намъ, при удивительной художественности своего стиха и изыскности выраженія, Жуковскій зносилъ въ нашу литературу новое романтическое содержаніе, дѣлался популяризаторомъ его.

Но цвѣты романтической поэзіи не были, несмотря на всю свою наружную прелесть, произведеніемъ здороваго развитія. Почва, ихъ воспитавшая, была нездоровая почва. Эти цвѣты похожи на тѣ весьма красивые цвѣты-паразиты, которые развиваются на гнію-



шихъ остаткахъ растительнаго царства: подъ ними трупы. И Жуковский вынесъ изъ этого больного міра только то, что подходило къ его личной настроенности: меланхолическое, но весьма неопредѣленное по содержанию своему чувство, вѣчную жалобу о непрочности всего земнаго, вѣчное порываніе куда-то, въ туманную даль, поэтическую вѣру, со всею ея обстановкою, съ сердечнымъ убѣжденіемъ въ существованіе призраковъ, привидѣній и другихъ явленій загробнаго міра, между которыми и землею, казалось, не существовало границъ. Съ привычкою къ этому содержанию, Жуковский, касаясь русской народности, умѣлъ понять въ ней поэтически только одно суевѣріе въ „Свѣтланѣ“. Увлекался сочувствіемъ къ исчезнувшей старинѣ, напр. среднихъ вѣковъ, воспроизводя въ поэзіи ея образы; романтики невольно подчинялись обаянію и исчезнувшихъ понятій, и предразсудковъ, бесплодныхъ вѣрованій и даже монастырскаго аскетизма. Все это, какъ видите, находилось въ глубокомъ разладѣ съ дѣйствительною жизнью, которая какъ бы не существовала для поэта. Напротивъ, онъ шеголялъ равнодушіемъ къ этой жизни, онъ презиралъ ея интересы. Такая поэзія, такая была у Жуковского, конечно ничего здороваго не внесла въ общественную жизнь; она растлѣвала умы, дѣлала человѣка тряпкою, но ея содержаніе удивительно приходилось по сердцу тому больному, разочарованному поколѣнію русскихъ людей, которое, послѣ потрясающихъ событій, послѣ великихъ жертвъ и напряженій, очутилось въ тискахъ реакціи. Только сильные и практическіе умы старались освободиться изъ нихъ и не поддавались дѣйствительности, боролись съ этою одуряющею поэзіею. Среднимъ же людямъ, большинству поколѣнія, оставалась только надежда на „очарованное тамъ“. Таковъ былъ романтизмъ, который ввелъ къ намъ Жуковский; съ другимъ родомъ его, но тоже обязательнымъ началомъ своимъ Европѣ, мы познакомимся въ поэзіи Пушкина.

Передѣлывая „Ленору“ на русскіе нравы, подъ именемъ „Людмила“, Жуковский сгладилъ въ этомъ произведеніи всѣ народныя черты, но и своей „Людмилѣ“ не далъ опредѣленнаго очерка. Самое характеристическое въ этой балладѣ, что, вѣроятно, соотвѣствовало личному настроенію поэта—это выраженіе скорби разлуки. Распотъ Людмилы на Провидѣніе за смерть своего возлюбленнаго называется тотчасъ же въ русской балладѣ, но этотъ сворный судъ вредитъ ея поэтическому впечатлѣнію. Зато вѣра въ чудесное вполнѣ удовлетворялась и описаніе скачки Людмилы съ мертвецомъ на дѣдовское кладбище производило въ современникахъ и въ особенности современницахъ трепетъ и замираніе сердца. Успѣхъ „Людмилы“ какъ будто воодушевилъ Жуковского къ поэтическимъ переводамъ и передѣлкамъ. Рядомъ съ незначительными, впрочемъ, собственными

его произведеніями стали съ 1809 года одинъ за другимъ являться переводы нѣмецкихъ поэтовъ, изъ которыхъ замѣчательнѣе то, что переводилось изъ Гёте и Шиллера.

Между тѣмъ, несмотря на свои литературные успѣхи и редакторство журнала, который отнималъ много времени, Жуковский порывался опять въ деревню къ своимъ роднымъ. По всей вѣроятности, теперь влекло его туда реальное чувство любви къ ученицѣ его—старшей Протасовой. Уже на другой годъ изданія „Вѣстника Европы“ онъ взялъ въ помощники себѣ Каченовскаго; въ концѣ 1810 года мы находимъ уже Жуковского на родинѣ, въ Мишенскомъ, въ усиленныхъ занятіяхъ поэзіей, которую онъ считалъ теперь своимъ призваніемъ, и въ стремленіяхъ приобрести побольше свѣдѣній и тѣмъ восполнить пробѣлы, оставленные школой. Въ письмѣ къ А. Тургеневу Жуковский раскрываетъ всѣ тогдашніе свои планы и наміренія. Онъ хочетъ много учиться, чтобъ сдѣлаться славнымъ авторомъ, и общается „дѣлать только минутные набѣги на парнасскую область, съ тѣмъ однако, чтобы со временемъ занять въ ней выгодное мѣсто, поближе къ храму славы. Три года будутъ посвящены труду приготовительному, необходимому, тягелому, но услаждаемому высокою мыслию быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ, но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя надѣяться достигнуть до перваго“ <sup>1)</sup>. Серьезно смотря на свое призваніе, Жуковский хочетъ серьезно приготовиться къ нему. Въ то время (1810 г.) его особенно занимала исторія. Тургеневу, который любилъ исторію и занимался ею, Жуковский признается, что въ ней онъ совершенный невяжда. „Но я хочу, пишетъ онъ, получить объ исторіи хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но приобрести философическій взглядъ на происшествія въ связи“. И онъ совѣтуется съ Тургеневымъ о выборѣ книгъ историческихъ и сообщаетъ, какъ онъ читаетъ Герена и Гаттерера, входитъ въ подробности. На занятія русской исторіей, съ которою онъ вовсе не знакомъ, Жуковский смотритъ иначе. „Тутъ уже нечего думать о классикахъ и надобно добираться самому до источниковъ“.

Въ это время, да и нѣсколько лѣтъ послѣ, Жуковский мечталъ о большой эпической поэмѣ „Владимиръ“, для которой онъ даже хотѣлъ ѣхать въ Кіевъ. „Владимиръ“—говоритъ онъ, будетъ мой фarosомъ (въ мѣрѣ русской исторіи); но чтобы плыть прямо и безопасно при свѣтѣ этого фароса, надобно научиться искусству море-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 796.

плаванія. Вотъ что я теперь и дѣлаю“. Жуковский весь въ трудѣ— для собственнаго образованія, а ему уже было 27 лѣтъ. „Я нахожу удовольствіе, пишетъ онъ, даже и въ томъ, чтобы учить нанявшаго примѣры изъ латинскаго синтаксиса, воображая, что со временемъ буду читать Virgilia и Tacita“. Онъ проситъ Тургенева безъ отлагательства прислать ему латинскую и греческую грамматики, проситъ и другихъ книгъ. Часы занятій его распредѣлены „со всею точностью трудолюбиваго нѣнца. Для каждого есть особенное, непремѣнное занятіе“; даже „восхищенію стихотворному назначенъ часъ особый, свой“. Повидимому, онъ совершенно доволенъ своею обстановкою и началомъ трудолюбивой и дѣятельной жизни. „Я всегда говорю себѣ: настоящая минута труда уже сама по себѣ есть плодъ прекрасный. Такъ, милый другъ, дѣятельность и предметъ ея польза— вотъ что меня теперь одушевляетъ“. Но эта преданность и увлеченіе трудомъ вдругъ нарушается сомнѣніемъ: „Что, если предпринимаемая мною дѣятельность будетъ безплодна?“ Жуковский жалѣетъ о томъ, что онъ не умѣлъ воспользоваться временемъ: „Ахъ, братъ и другъ, сколько погубло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна“ <sup>1)</sup>).

Причина недѣятельности, на которую жалуется Жуковский въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу, заключалась въ любви къ Протасовой: „Если романтическая любовь, говоритъ онъ, можетъ спасти душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ какъ царь сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время“ <sup>2)</sup>. Мы видѣли, какъ онъ желалъ всѣми силами избавиться отъ своей бездѣятельности, какъ онъ хлопоталъ о своемъ самообразованіи, какъ распредѣлялъ планы своихъ занятій и собиралъ со всѣхъ сторонъ матеріалы. Кажется, это было самое бодрое время въ жизни Жуковского. Онъ надѣялся на будущее, смотрѣлъ на него съ довѣріемъ. Успѣхъ „Людмилы“ побудилъ его продолжать въ томъ же направленіи. Въ 1810 году была имъ написана первая часть повѣсти „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, подъ особеннымъ названіемъ „Громобой“. Баллада эта, основанная на распространенной у всѣхъ народовъ средневѣковой легендѣ о грѣшникѣ, продавшемъ свою душу сатанѣ за земныя наслажденія, была заимствована Жуковскимъ не прямо изъ народныхъ преданій, а изъ нѣмецкаго современнаго ро-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 790—799.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 794.

мана Шписа „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, произведенія самаго романтическаго свойства. Жуковский перенесъ, впрочемъ, дѣйствіе въ Россію, на берега Днѣпра, хотя сдѣлано это весьма неопредѣленно.

Съ задушевными миромъ поэта баллада эта была связана главнымъ героемъ ея. „Вадимъ“ (это вторая часть повѣсти, написанная лѣтъ черезъ шесть послѣ первой) — искупитель спящихъ дѣвъ, — идеаль Жуковского:

...„Тотъ, кто чистъ душою,  
Кто, ихъ не зрѣвши, распаленъ  
Одной изъ нихъ красотою,  
Придетъ, *житейское призрѣтъ*,  
Въ забвенну ихъ обитель,  
Есть обреченный спящихъ дѣвъ  
Отъ неба искупитель“.

Въ Вадимѣ заключено все, что нравилось Жуковскому въ то время, что составляло для него призваніе человѣка:

...„скорбь о неизвѣстномъ,  
Стремленіе вдаль, любви тоска,  
Томленіе разлуки“.

Это фигура романтическая; это образъ средневѣковаго рыцаря изъ круга бретонскихъ романовъ о Граалѣ. Этотъ идеаль выражалъ сердечное стремленіе Жуковского, его романтическую любовь, о которой онъ много говорилъ въ неясныхъ стихахъ, хотя у него уже созрѣло желаніе жениться на предметѣ своей любви:

„Есть *одна* во всей вселенной,  
Къ *ней* душа, и мысль объ *ней*;  
Къ *ней* стремлю, забывшись, руки—  
Милый призракъ прочь летить“ <sup>1)</sup>

Вотъ то чувство, которое наполняло душу Жуковского, рядомъ съ занятіями наукой и переводами нѣмецкихъ балладъ, преимущественно изъ Шиллера и Гете,—по личному его выбору. Однообразіе таланта Жуковского доказывается и тѣмъ, что, передѣлавъ „Ленору“ въ Людмилу, онъ снова повторилъ ее въ своей „Свѣтланѣ“, прибавивъ только описаніе русскихъ гаданій на свѣткахъ.

Что касается до матеріальныхъ условій жизни до 1812 года, то Жуковский не могъ пожаловаться на судьбу. Обстановка его была вполне благопріятна. Онъ купилъ себѣ имѣніе недалеко отъ родныхъ; у него было много сосѣдей; жизнь была веселая, довольная,

<sup>1)</sup> „Жалоба“.

въ которой удовлетворялись даже эстетическіе вкусы. Всему этому средства давались конечно крѣпостнымъ правомъ. Какъ самодовольна была эта жизнь, видно изъ разсказа біографа Жуковского Зейдлица <sup>1)</sup> объ отношеніяхъ поэта къ сосѣду своему и Протасовыхъ—помѣщику Плещееву. Этотъ Плещеевъ, родственникъ и сынъ друга Карамзина, человѣкъ съ значительнымъ состояніемъ, былъ большой любитель искусствъ, въ особенности музыки и театра. Онъ самъ прекрасно игралъ на віолончели и писалъ музыку, не только на романсы Жуковского, но и цѣлыя оперы. Кромѣ того, онъ былъ превосходнымъ актеромъ и отлично читалъ по-русски и по-французски, славясь вообще умѣньемъ подражать разнымъ лицамъ и разнымъ голосамъ. Это умѣнье доставило ему впоследствии мѣсто чтеца при императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. У Плещеева была своя труппа актеровъ, свои крѣпостные музыканты, — такъ что эстетическія наслажденія стоили недорого. Къ нему, какъ человѣку богатому, веселому и гостеприимному, съѣзжалось множество сосѣдей и Жуковскій часто бывалъ въ ихъ числѣ. Съ Плещеевымъ велъ онъ дружескую переписку въ стихахъ; Жуковскій писалъ по-русски, а другъ его по-французски. Стихи Жуковского, согласно воспоминаніямъ князя Вяземскаго <sup>2)</sup> и судя по образцамъ нѣсколько позднѣйшаго времени, не заключали въ себѣ ничего меланхолическаго; напротивъ, они отличались полнымъ, свободнымъ юморомъ, конечно не широкаго свойства, юморомъ, выросшимъ въ домашней обстановкѣ. На домашнемъ театрѣ Плещеева ставились и забавныя драматическія произведенія Жуковского, которыя, впрочемъ, не дошли до насъ. Эта веселая жизнь такъ занимала тогда все общество помѣщиковъ, собиравшееся у Плещеевыхъ, что еще 3 Августа 1812 года, въ то время, когда войско Наполеона шло по большой московской дорогѣ слѣдомъ за отступавшею русскою арміею, у Плещеева, въ Орловской губерніи, гдѣ праздновался день рожденія хозяина, собрались веселые сосѣди на концертъ и театральное представленіе на домашней сценѣ. Такъ мало было въ этихъ людяхъ сознательнаго чувства, такъ полна была по своему ихъ жизнь, что буря не была имъ страшною, что она шумѣла, казалось, далеко. Здѣсь, на этомъ праздникѣ, Жуковскій пѣлъ свое стихотвореніе „Пловецъ“, положенное на музыку другомъ его Плещеевымъ. Въ этомъ романсѣ выражалась скорбь—личное чувство поэта, вѣроятно, понятное и извѣстное въ кругу знакомыхъ и родныхъ. Не задолго до того времени его ученицѣ исполнилось 19 лѣтъ и Жуковскій рѣшился просить у ея матери согласія на бракъ, но получилъ рѣшительный и

<sup>1)</sup> Зейдлицъ, изд. 1883 г., стр. 44.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1866 г., стр. 875—876.

суровый отказъ. Причина отказа, со стороны Протасовой, представлялась та, что Жуковский приходится роднымъ дядею ея дочерямъ.

Въ томъ же августѣ 1812 года Жуковский, вѣроятно подь влияніемъ полученнаго отказа, а не патріотическаго чувства, какъ призывали говорить его біографы, вступилъ въ московское ополченіе. Онъ присутствовалъ при Бородинѣ и Тарутинѣ, но издала и не принималъ никакого участія въ сраженіяхъ. Черезъ товарища своего по пансіону—Кайсарова, директора типографіи при главной квартирѣ Кутузова, Жуковский попалъ въ штатъ фельдмаршала и работалъ въ его канцеляріи; помогалъ ли онъ писать реляціи Скобелеву (?)<sup>1)</sup> или нѣтъ — неизвѣстно. Еще до Тарутинскаго сраженія Жуковский успѣлъ побывать на нѣсколько дней въ Муратовѣ у Протасовой и снова вернуться въ армію. Подъ Тарутинимъ, подь влияніемъ тогдашняго настроенія войска и общественнаго мнѣнія, былъ задуманъ имъ планъ „Пѣвца въ станѣ“ и тогда же вѣроятно написаны первыя строфы. Жуковский пошелъ вмѣстѣ съ арміей за отступающими французами, но въ Вильнѣ захворалъ горячкою, пролежалъ тамъ въ госпиталѣ и только въ январѣ 1813 года вернулся на родину, къ роднымъ и друзьямъ. Этимъ кончилась его военная карьера, продолжавшаяся такимъ образомъ менѣе полугода.

„Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, написанный, по словамъ Жуковского, въ лагерѣ подь Тарутинимъ, выражаетъ собою то патріотическое настроеніе, ту ненависть къ врагу, жажду мщенія и надежду на побѣду, которыя послѣ отчаянія были теперь въ сердцахъ у большинства. Одушевленіе и вѣра въ побѣду проникаетъ все это довольно длинное стихотвореніе, которое и появилось въ печати въ концѣ 12-го года; встрѣченное общимъ восторгомъ, оно было выучено наизусть тогдашнимъ поколѣніемъ.

„Сокровищъ нѣтъ у насъ въ домахъ;  
Тамъ стрѣлы и кольчуги;  
Мы села въ пепелъ; грады въ прахъ;  
Въ мечи—серпы и плуги“.

Это были чувства всѣхъ въ то время. Впереди уже видѣлись избавленіе и побѣда:

Веди-жъ своихъ царей-рабовъ,

обращается поэтъ къ Наполеону,

Съ ихъ стаей въ область хлада;  
Пробей трону среди снѣговъ  
Во срѣтеніе глада....

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1863 г., стр. 857; 1866 г., стр. 1348.

Зима, союзникъ нашъ, гряди!  
Имъ запертъ путь возвратный;  
Пустыни въ пеплѣ позади;  
Предъ ними сонмы ратны.  
Отвѣдай, хищникъ, что сильнѣй:  
Духъ алчности, иль мщенья?  
Пришлецъ, мы въ родинѣ своей;  
За правыхъ Провидѣнье“.

Пѣвецъ въ станѣ, окруженный товарищами, подымая кубокъ, возглашаетъ одинъ за другимъ разные тосты: въ честь историческихъ воспоминаній, за родину, за царя, за побѣдителей-героевъ, за падшихъ въ сраженіи, перечисляя ихъ по именамъ и указывая на главные ихъ подвиги; затѣмъ слѣдуютъ тосты: мщенью, братству, любви, музамъ, пѣвцамъ и, наконецъ—прощанью передъ сраженіемъ. Современники были не строги въ своихъ требованіяхъ и въ общемъ восторгъ отъ событій, къ которымъ относились звучные стихи, не замѣтили разныхъ недостатковъ ихъ. Какъ въ прежней патриотической пьесѣ своей, такъ и здѣсь, Жуковский вставилъ дѣйствительность въ чуждыя рамки, которые требовались поэтической теоріей времени. Снова передъ нами щиты, копья, кольчуги, стрѣлы и т. п. вмѣсто современной военной обстановки. Воспоминанія Оссіана попрежнему не покидаютъ поэта: „по мифологіи сѣверныхъ народовъ, говоритъ онъ въ примѣчаніи, витязи, сраженные во браняхъ, переселялись въ Валгаллу, къ отцу своему Одну. Стихотворецъ замѣнилъ здѣсь баснословнаго Одена безсмертнымъ Суворовымъ..... Герой Италійскій съ отеческою нѣжностію приѣмлетъ въ жилища небесныя вождей, запечатлѣвшихъ кровію своею одержанныя побѣды“... Говорить ли о томъ, что Жуковский ни разу не вспомнилъ о русскомъ народѣ, какъ будто война эта была не народная, какъ будто не народъ этотъ вынесъ на плечахъ своихъ всѣ ея бѣдствія? Но вспоминалъ ли тогда кто-нибудь о народѣ? Самое понятіе объ отечествѣ, родинѣ не отличается широкимъ чувствомъ, а сужено до личныхъ воспоминаній:

„Отчизнѣ кубокъ сей, друзья!  
Страна, гдѣ мы впервые  
Вкусили сладость бытія,  
Поля, холмы родные,  
Родного неба милый свѣтъ,  
Знакомые потоки,  
Златыя игры первыхъ лѣтъ  
И первыхъ лѣтъ уроки,  
Что вашу прелесть замѣнить?  
О, родина святая,  
Какое сердце не дрожить,  
Тебя благословляя?“

Это была дань сентиментальному направленію. Какъ-то плохо выжутся съ торжественнымъ тономъ „Пѣвца“ и представленія романтической любви, любопытныя для біографіи Жуковскаго:

„Кому здѣсь жребій удѣленъ  
Знать тайну страсти милой,  
Кто сердцемъ сердцу обрученъ:  
Тотъ смѣло, съ бодрой силой  
На все великое летитъ;  
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;  
Чего, чего ни совершитъ  
Для сладостной награды....  
Ахъ! мысль о той, кто все для насъ,  
Намъ спутникъ неизмѣнный,  
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,  
Зримъ образъ незабвенный;  
*Она* на бранныхъ знаменахъ;  
*Она* въ пылу сраженья;  
И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ  
Веселыхъ сновидѣній.  
Отвѣдай, врагъ, исторгнуть щить,  
Рукою данный милой;  
Святой обѣтъ на немъ горитъ:  
*Твоя и за могилой!....*  
О, сладость тайныя мечты!  
Тамъ, тамъ за синей далью  
Твой ангелъ, двѣ красоты,  
Одна съ своей печалью,  
Грустить; о другѣ слезы леть;  
Душа ея въ молитвѣ,  
Бойся вѣсти, вѣсти ждеть;  
„Увы! не палъ ли въ битвѣ?“  
И мыслить: „Скоро ль дружнѣй гласъ,  
Твой мнѣ слышать звуки?  
Легь, лети, свиданья часъ,  
Смѣнить тоску разлуки“.

Это было рыцарское чувство, возрожденное тогдашнимъ романтическимъ направленіемъ, но въ немъ заключалось и личное настроеніе Жуковскаго. „Пѣвецъ въ станѣ“, появившійся въ печати въ концѣ 1812 или январѣ 1813 года, былъ причиною и первой извѣстности Жуковскаго при дворѣ, что въ ту пору имѣло большое значеніе. Императрица Марія Ѳеодоровна расхвалила Дмитріеву эту пьесу и поручила ему достать отъ Жуковскаго экземпляръ его рукописи, съ тѣмъ чтобъ сдѣлать на свой счетъ великолѣпное изданіе; кромѣ того она подарила ему драгоценный перстень, но отказала въ позволеніи напечатать при второмъ изданіи особое ей посвященіе Жуковскаго. Поэтъ, какъ мы увидимъ, любилъ покровительство.



Между тѣмъ, по возвращеніи на родину изъ похода, Жуковский исключительно и тревожно былъ занятъ своими сердечными дѣлами, которыя не подвигались впередъ, хотя предметъ его страсти Марья Андреевна и узнала о чувствахъ его. Она подчинялась совершенно волѣ матери, но это еще болѣе затруднительными сдѣлало взаимныя отношенія. Чтобъ подѣйствовать на мать, Жуковский прибѣгалъ къ такимъ авторитетамъ, какъ И. В. Лопухинъ и Филаретъ, впоследствии митрополитъ московскій; но все было напрасно. Жизнь Жуковского въ этомъ семействѣ сдѣлалась чрезвычайно затруднительною, особенно когда въ немъ появилось новое лицо въ качествѣ жениха младшей Протасовой — Александры. Это былъ товарищъ Жуковского по пансіону Алекс. Фед. Воейковъ, впоследствии профессоръ русской словесности въ Дерптскомъ университетѣ, переводчикъ Делиля и Виргилія, издатель разныхъ журналовъ и остроумный сатирикъ. Тогда онъ ничѣмъ еще не былъ извѣстенъ въ литературѣ, кромѣ изданія хрестоматіи прозаической изъ русскихъ писателей,<sup>1)</sup> которая появилась около того же времени, когда Жуковский, въ тѣхъ же размѣрахъ, издалъ хрестоматію поэтическую<sup>2)</sup>. Воейковъ случайно заѣхалъ къ Жуковскому на пути съ Кавказа; тотъ познакомилъ его съ родными и сосѣдами, открылъ ему свою сердечную печаль, но Воейковъ, сдѣлавшись вскорѣ женихомъ меньшей Протасовой, сталъ на сторону матери и измѣнилъ дружбѣ. По собственнымъ признаніямъ Жуковского, то было для него самое тяжелое время, полное даже оскорбленій со стороны близкихъ родныхъ. „Одно холодное жестоко-сердіе въ монашеской рясѣ, говоритъ онъ, съ кровавою надписью на лбу: *должность* (выправленною весьма неискусно изъ словъ *суеты*), сидѣло противъ меня и страшно сверкало на меня глазами“...<sup>3)</sup> Оскорбленія дошли до того, что Жуковский долженъ былъ уѣхать изъ сосѣдства Протасовыхъ въ Калужскую губернію, но его привязанность къ роднымъ была такъ сильна, что когда свадьба Воейкова замедлилась по недостатку приданого у неvěсты, онъ продалъ свою деревню въ сосѣдствѣ Протасовыхъ и всѣ полученные деньги 11 т. отдалъ на приданое. Теперь у него не было ничего и нужно было работать и писать.

Жуковский уѣхалъ въ концѣ 1814 года къ родственникамъ своимъ Юшковымъ, которыя покровительствовали его сердечной привязанности. Одна изъ нихъ Авдотья Петровна, тогда уже овдовѣвшая,

<sup>1)</sup> Собраніе образцовыхъ сочиненій въ прозѣ 5 ч. М. 1811.

<sup>2)</sup> Собраніе русск. стихотвореній, изд. В. Жуковскимъ въ 5 част. М. 1810—1811. Дополненіе къ собр. (6-ой томъ) вышло въ Москвѣ въ 1815 г.

<sup>3)</sup> Зейдлицъ, стр. 61—62.

была замужем за Кирѣевскимъ, отцемъ писателя, и въ имѣніи ея Долбинѣ, Калужской губерніи, Лихвинскаго уѣзда, Жуковский прожилъ два года.

Долбино было недалеко однакожъ отъ Бѣлева и Муратова, имѣнія Протасовыхъ, и Жуковский ѣздилъ туда. Существуетъ цѣлый рядъ такъ называемыхъ *Долбинскихъ* стихотвореній его, въ которыхъ вполне раскрывается веселая сторона характера поэта, его радостное отношеніе къ жизни. Здѣсь онъ какъ будто совсѣмъ забылъ свою тоску и страданія; жизнь улыбается ему; онъ доволенъ собою и всѣмъ окружающимъ и такъ добродушно смотритъ на всѣхъ.

Долбинскія стихотворенія носятъ интимный характеръ; поэтъ не печаталъ ихъ при жизни и они дороги были преимущественно по воспоминаніямъ его роднымъ и друзьямъ. Даже къ Воейкову, который, по разсказу Зейдлица <sup>1)</sup>, надѣлялъ ему незадолго до того столько неприятностей, Жуковский пишетъ самыя веселыя и добродушныя посланія, наполняя ихъ насмѣшками надъ литературными друзьями Шишкова—членами „Бесѣды“. Уединеніе и дружба какъ-будто возстановили упавшія нравственныя силы Жуковского и онъ благословлялъ „Долбинскій уголокъ“ за то спокойное вдохновеніе, которое онъ испыталъ въ немъ.

„Мои уединенны дни—

пишетъ онъ въ стихахъ къ Плещееву,

Довольно сладко протекаютъ!  
Меня и музы посѣщаютъ  
И Аполлонъ доволенъ мной!  
И подъ перстомъ моимъ наложъ  
Трепещитъ,—и планъ и мысли есть,  
И мнѣ осталось лишь присѣсть,  
Да и писать къ царю посланье!  
Жди славнаго, мой милый другъ,  
И не обманетъ ожиданье!  
Присыпало все къ сердцу вдругъ!  
И напередъ я, въ восхищеньи,  
Предчувствую то наслажденье,  
Съ какимъ безъ лести, въ простотѣ,  
Я буду говорить стихами  
О той небесной красотѣ,  
Которая въ вѣнцѣхъ предъ нами“...

Эти послѣднія строки въ дружеской перепискѣ, никогда не предназначавшейся въ печать, доказываютъ, съ какимъ искреннимъ чув-

<sup>1)</sup> Ibidem., стр. 62.

ствомъ Жуковскій писалъ свое знаменитое „Посланіе къ императору Александру“. Мы уже говорили, почему современники были полны восторга и почему имя царя произносилось тогда всѣми съ энтузіазмомъ.

Посланіе это, которое онъ писалъ довольно долго, Жуковскій посылалъ въ рукописи на просмотръ къ своимъ друзьямъ въ Петербургъ. Батюшковъ и кн. Вяземскій сдѣлали нѣсколько критическихъ замѣчаній; Жуковскій написалъ по этому поводу большую стихотворную пьесу „Ареопагу“, въ которой одни изъ замѣчаній опровергалъ шутливо, другія же принималъ. Въ письмѣ къ Тургеневу Жуковскій говорить, что это „Посланіе“ было „написано съ искреннимъ, безкорыстнымъ чувствомъ, безъ всякой другой побудительной причины, кромѣ удовольствія писать“<sup>1)</sup>.

„Сохрани Богъ, продолжаетъ онъ, мою чистую, посвященную благороднымъ друзьямъ мою лиру отъ всякой заразы корысти!“ Намъ надобно вѣрить этимъ словамъ Жуковского, тѣмъ болѣе, что „Посланіе“ выражало собою общія тогдашнія чувства Европы и Россіи, восторгъ при имени Александра, о которомъ мы уже говорили. Поэтъ соединилъ свой голосъ съ общимъ голосомъ и въ первый и въ послѣдній разъ выражалъ дѣйствительность:

Когда летящіе отсюду шумны клики,  
Въ одинъ сливался гласъ, Тебя зовутъ: Великій!  
Что скажетъ лирою незнаемый пѣвецъ?  
Дерзнетъ ли свой листокъ онъ въ тотъ влести вѣнецъ,  
Который для тебя вселенная сплетаетъ?..

Все „Посланіе“ старается выразить величіе исторической роли, которая выпала на долю Александра, смотритъ на него, какъ на орудіе Промысла:

„Съ благоговѣніемъ смотрю на высоту,  
Которой ты достигъ по тернамъ испытанья...  
Намъ обреченный вождь ко счастью и славы“...

Когда въ страшный годъ погибъ на поляхъ Россіи Наполеонъ, и Александръ впереди своего войска двинулся на освобожденіе Европы,—тогда

„Какъ къ возвѣстителю небесной благодати  
Во срѣтеніе тебѣ народы потекли,  
И вѣями твой путь *смиранный* облекли“...

Среди рукоплесканій народныхъ онъ былъ

„... не гордый побѣдитель,  
Но воли Промысла смиренный совершитель“...

---

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 802.

Жуковский представляет его молящимся Богу такою молитвою,—  
за Россію и свой народъ:

„Творецъ, всѣ блага имъ!  
Не за величіе, не за вѣнецъ ужасный—  
За власть благотворить, удѣлъ царей прекрасный,  
Склоняю, царь земли, колѣна предъ тобой,  
Безстрашный подъ твоей невидимою рукой,  
Твоихъ намѣреній надъ ними совершитель!..“

„Послание“ Жуковского есть торжественный гимнъ самодержавію; никогда потомъ въ русской поэзіи не говорилось о царѣ съ такимъ неподдѣльнымъ увлеченіемъ и съ такою красотою выраженія. Самое время удивительно способствовало этому увлеченію, никогда Россія не стояла на такой высотѣ, какъ въ ту пору, и никогда любимый ею царь не могъ такъ много сдѣлать для ея счастья, какъ въ то время. Жуковский былъ вполне увѣренъ, что онъ говоритъ правду, а не обычную лесть царю:

„О, дивный вѣкъ, когда пѣвецъ царя—не льстецъ,  
Когда хвала—восторгъ, гласъ лиры—гласъ народа,  
Когда все сладкое для сердца: честь, свобода,  
Великость, слава, миръ, отечество, алтарь,  
Все, все слилось въ одно святое слово: царь!“..

Но это поклоненіе царю есть уваженъе, свободная дань сердца:

„Не власти, не вѣнцу, но человѣку дань“.

Это было общее чувство минуты, общій голосъ:

„Въ чертогѣ, въ жилищѣ, вездѣ одинъ языкъ:  
На праздникахъ семей, украшенный твой ликъ,—  
Ликующихъ родныхъ родной благотворитель—  
Стоитъ на пиршескомъ столѣ веселья зритель,  
И чаша первая, и первый гимнъ тебѣ“..

Разсказавъ въ очень звучныхъ стихахъ и въ образахъ, которые были почти повторены многозначительнымъ манифестомъ 1816 года, нами упомянутымъ—новое доказательство, что „Послание“ нашло отголосокъ въ современныхъ умахъ—начало революціи, возвышеніе Наполеона, его завоеванія и самовластительство, исполненное глубокаго пренебреженія къ народамъ,—Жуковский изображаетъ общее состояніе Европы въ лучшую пору владычества Наполеона:

„Погибло все,—окрестъ одинъ лишь стукъ оковъ  
Смушаль угрюмое молчаніе гробовъ  
Да ратей изрѣдка шумѣли переходы  
Спящихъ истребить еще пріютъ свободы;  
Унылость на сердца народовъ налегла“..

Но вотъ насталь 12-й годъ и съ нимъ всемірное владычество Наполеона пало.

Орудіемъ Промысла явился русскій народъ и Жуковскій впервые заговорилъ о немъ, хотя и съ своей точки зрѣнія:

„За сей могилою народовъ цвѣлъ народъ—  
О царь нашъ, твой народъ—могущій и смиренный,  
Не крѣпостью твердынь громовыхъ огражденный,  
Но вѣрностью къ царю и въ славѣ тишиной“...  
„Тогда явилось все величіе народа,  
Спасающаго тронъ и святость алтарей  
И тихій гробъ отцевъ и колыбель дѣтей“...

Александръ въ этомъ „Посланіи“ является благовѣстникомъ свободы міра.

Понятно, что „Посланіе“, въ которомъ такими прекрасными стихами былъ возвеличенъ Александръ и его историческое призваніе въ то время, должно было имѣть чрезвычайный успѣхъ при дворѣ въ ту пору общихъ восторговъ.

Самъ императоръ былъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, но друзья Жуковского поднесли экземпляръ этого стихотворенія императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. А Тургеневъ, въ письмѣ своемъ къ поэту, передаетъ подробно о томъ, какъ происходило чтеніе „Посланія“ при дворѣ <sup>1)</sup>. Восторгъ царской семьи былъ полный. Императрица пожаловала Жуковскому перстень, сама вызвалась послать къ сыну это стихотвореніе, приказала сдѣлать великолѣпное изданіе „Посланія“ все въ пользу Жуковского и назначила его своимъ лекторомъ, требуя непременно пріѣзда его въ Петербургъ.

Этимъ собственно началась придворная служба Жуковского. Самъ онъ конечно былъ чрезвычайно доволенъ своимъ успѣхомъ и сообщая о немъ своимъ роднымъ, переписалъ все письмо Тургенева.

Въ томъ же настроеніи духа онъ написалъ тогда же столь извѣстное „Воже Царя храни!“ и началъ большую лирическую пьесу „Пѣвецъ въ Кремлѣ“, которую впрочемъ онъ кончилъ нескоро. Въ ней онъ хотѣлъ представить пѣвца, поющаго славу и торжество Россіи послѣ минувшихъ испытаній, но у него не достало вдохновенія и пьеса, по его собственному сознанію, вышла слабою <sup>2)</sup>. Это было явное повтореніе прежняго. Воспѣвая славу Россіи, онъ говоритъ и о ея будущемъ, но чрезвычайно сентиментально:

„Да на святыхъ ея поляхъ  
Сіяетъ миръ веселый;

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1864 г., стр. 884—888.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 801.

Да правовъ *древнихъ* чистотой  
Союзъ семей хранится;  
Да въ нихъ съ *невинной простотой*  
Свѣтъ знаній водворится“

Русскому народу онъ рекомендуетъ „умѣренность, покорность“ ...

„Ты, мудрость смертныхъ, усмирись  
Предъ мудростію Бога“...

Это собственно значило соединеніе знаній съ невинною простотою. Съ этихъ поръ Жуковский чаще и чаще развиваетъ въ стихахъ программу и желанія „Записки“ Карамзина.

Императрица и друзья требовали непремѣнно, чтобъ Жуковский ѣхалъ въ Петербургъ. Основываясь на своихъ успѣхахъ, онъ еще разъ попытался уговорить Протасову-мать дать согласіе и опять не имѣлъ успѣха. Воейковы, а съ ними и Протасова съ дочерью поѣхали въ Дерптъ и Жуковский насилу выпросилъ у нея позволеніе проводить ихъ, но Протасова поспѣшила выпроводить его изъ Дерпта въ Петербургъ и съ этихъ поръ прежняя, спокойная и свободная жизнь Жуковского кончилась. О деревнѣ не было уже и рѣчи. Въ маѣ 1815 года онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и Уваровъ тотчасъ же представилъ его Маріи Θεодоровнѣ, нетерпѣливо желавшей его видѣть. Это представленіе въ первый разъ ко двору Жуковский описалъ въ письмѣ къ роднымъ <sup>1)</sup>).

## ЛЕКЦІЯ VIII.

Жуковский въ Петербургѣ и Дерптѣ.—Придворная жизнь.

Представившись ко двору въ маѣ 1815 года, Жуковский тотчасъ же воротился въ Дерптъ, гдѣ жили Протасовы въ домѣ Воейкова, уже профессора. Петербургскіе друзья его, особенно Уваровъ и Тургеневъ, привыкшіе къ придворной жизни и искавшіе всего въ ней, были недовольны Жуковскимъ за его пренебреженіе къ земнымъ благамъ, звали его воротиться въ Петербургъ и хлопотали очень усердно, чтобы пристроить его при дворѣ.

„Лови день“—пишетъ ему тогда очень ловкій придворный Уваровъ, переводя Горациево правило, а Тургеневъ прибавляетъ: „лови день тамъ, гдѣ твое солнце. Здѣсь, въ потемкахъ мы за тебя ловить будемъ. Мы привыкли играть въ жмурки. Будь увѣренъ, что я и за

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1865 г., стр. 1297 сл. Письмо отъ 11 іюня 1815 г.

тебя и для тебя ловить буду; этотъ разъ постараюсь быть проворнѣе <sup>1)</sup>“. Но Жуковский въ то время, сдаваясь на милостивое предложеніе императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая велѣла ему сообщить, что у нея въ головѣ *des grands projets* на счетъ Жуковского, колебался, опасаясь придворной жизни и боялся за свою независимость. „Боюсь я этихъ *grands projets*,—пишетъ онъ къ А. Тургеневу. Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ все“... <sup>2)</sup> Свои тогдашнія желанія, онъ формулируетъ опредѣленно, разумѣется, не отказываясь отъ помощи двора, но даже разсчитывая на нее:

„Тебѣ кажется не нужно имѣть отъ меня комментарія на то, что мнѣ надобно. Независимость да и только. Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что и гдѣ и когда писать—мнѣ на волю. Я не буду жильцемъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непременно... Если писать сдѣлается для меня обязанностью непременно, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ“... <sup>3)</sup> Мысли его по прежнему заняты будущею поэмою—„Владимиръ“; онъ думаетъ о ней много.

„Мнѣ бы хотѣлось въ половинѣ будущаго года сдѣлать путешествіе въ Кіевъ и Крымъ. Это нужно для Владимира. Первые полгода я употребилъ бы на приготовленіе, а послѣдніе на путешествіе; но еще уговоръ, чтобы не давать чувствовать, что я пишу Владимира, ишу покровительства для Владимира“ <sup>4)</sup>.

Тѣмъ не менѣе осенью того же 1815 года Жуковский сдался на убѣжденія друзей своихъ, снова пріѣхалъ въ Петербургъ и явился при дворѣ, но столица и жизнь въ ней сильно были не по сердцу ему, сколько можно судить по интимному письму его къ роднымъ (Юшковымъ) въ Бѣлевъ. „Неужели намъ никогда на томъ мѣстѣ не будетъ хорошо, на которомъ мы находимся! Неужели вѣчно намъ бѣжать за этимъ недостижимымъ *тамъ*, которое никогда *здѣсь* не будетъ!..“ „Мое *теперь* хуже прежняго. Здѣшняя жизнь мнѣ тяжела и я не знаю, когда отсюда вырвусь... Работать безъ всякаго разсѣянія въ кругу *своихъ*, отдѣляясь отъ прошедшаго и будущаго (слѣдовательно и отъ жизни и дѣйствительности)—вотъ чего мнѣ хочется“... Родные просили Жуковского писать къ нимъ о его петербургскихъ впечатлѣніяхъ, увѣряя, что все его окружающее интересно...

Жуковский опровергаетъ эти взгляды на предѣлы и интересы

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1871 г., стр. 165—166.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1864 г., стр. 891.

<sup>3)</sup> Ibidem.

<sup>4)</sup> Ibidem, стр. 891—892.

Петербурга: „Или *все*, меня окружающее ничтожно; или я самъ ничто, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не подымается взяться за перо, чтобы описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло—такъ пишетъ ко мнѣ и Батюшковъ. Поэзія отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянетъ. Думаю, что она бродитъ теперь или около Васьковой горы, или у Гремячаго, или въ какой нибудь Долбинской рощѣ, несмотря на снѣгъ и холодъ! Когда-то я начну ее тамъ отыскивать! А здѣсь она отделивается рѣдко, да и то осиплымъ голосомъ“ <sup>1)</sup>...

Онъ жалуется на разсѣянность, которой у него много, несмотря на уединенную жизнь, на неспособность заниматься, которая его „давить“ и отъ которой онъ не можетъ отдѣлаться. „О рожи, о друзья, когда увижу васъ!“ Всѣ желанія и всѣ исканія Жуковского заключались въ томъ, чтобы добиться независимаго положенія въ жизни, для того, чтобы имѣть средства писать. Положеніе писателя въ обществѣ было въ ту пору незавидно, хотя оно немногимъ возвысилось и въ наше время; жить доходами съ стихотвореній нельзя было и думать (тогда писали больше для славы и для высочайшихъ подарковъ; служить—службою, чуждою убѣжденіямъ ума и сердца развитому человѣку не слишкомъ хотѣлось: вотъ источникъ заботъ и огорченій Жуковского въ то время: „Что же, если не удастся сгородить себѣ кадаго нибудь состояніи? Если надобно будетъ рѣшиться здѣсь оставаться и служить для того, чтобы чѣмъ нибудь жить, тогда прощай поэзія и все! Авось!“ <sup>2)</sup>). Такая жизнь въ высшей степени тяжела для Жуковского: „О, Петербургъ, проклятый Петербургъ съ своими мелкими, убійственными разсѣянностями! Здѣсь право нельзя имѣть души! Здѣшняя жизнь давитъ меня и душитъ! Радъ бы все бросить и убѣжать къ вамъ, чтобы приняться за *доброе будущее*, котораго у меня здѣсь нѣтъ и быть не можетъ... Здѣсь у меня нѣтъ настоящаго, но возвратись къ вамъ, я буду имѣть его“ <sup>3)</sup>)... Только очень рѣдко слетаетъ на него вдохновеніе.

Противодѣйствіемъ пустой и разсѣянной петербургской жизни, на которую такъ жаловался Жуковский, была для него жизнь въ Дерптѣ, гдѣ онъ находился вблизи къ предмету любви своей и въ хорошей умственной атмосферѣ небольшого, чисто нѣмецкаго университетскаго города. Этотъ уголокъ въ то время характеромъ жизни, правами лицъ, принадлежавшихъ къ университету, умственными, литературными и художественными интересами, совершенно напоминалъ собою Гер-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 893—894.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 896.

<sup>3)</sup> Ibid., стр. 899—900.



манію, и Жуковскій, хорошо знакомый съ нѣмецкимъ языкомъ и литературою, какъ человѣкъ образованный и умный, совершенно освоился съ этими интересами и всею душою вошелъ въ новый, вполне удовлетворявшій его кругъ общества. Скоро стало у него много знакомыхъ между нѣмецкими дворянами, профессорами, студентами. Вліяніе нѣмецкой науки и поэзіи стало сказываться на него еще сильнѣе; знакомство съ ними сдѣлалось еще глубже. Это общество и эти духовные интересы тѣмъ болѣе удовлетворяли Жуковского, что въ нихъ въ ту пору не было ничего политическаго; всѣ стремленія носили вполне идеальный характеръ. Жуковскій поэтому искренно радовался, „вступая въ кругъ счастливыхъ молодыхъ“, т.-е. студентовъ и смотрѣлъ съ глубокимъ уваженіемъ на 80-лѣтнаго профессора богословія Эверса, который на студенческомъ праздникѣ, пилъ съ нимъ на *ты*. Жуковскій написалъ ему поэтическое привѣтствіе <sup>1)</sup>. Онъ явился даже защитникомъ университета, когда въ Петербургѣ, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія разсердились на весь университетъ за неправильности, допущенныя при выдачѣ дипломовъ въ юридическомъ факультетѣ: „Если можно спасти честныхъ людей отъ тяжкаго незаслуженнаго поношенія, не нарушая справедливости, то ты это сдѣлать долженъ—пишетъ онъ къ А. Тургеневу. Обвиняй профессоровъ (виноватыхъ), называя ихъ какъ хочешь, но чтобы эта анаѣма не падала на всѣхъ безъ изыятія и на весь университетъ. Здѣсь есть прекрасные люди (онъ называетъ Паррота, Эверса историка, Мойера и др.)... Самъ университетъ долженъ быть для васъ святымъ: за что разрушать его?“ <sup>2)</sup>.

Подъ вліяніемъ нѣмецкой науки и зародившагося тогда въ ней стремленія къ старинѣ и народности, Жуковскій въ Дерптѣ узналъ, что такое народная поэзія и ея значеніе. Съ этою цѣлью онъ предлагалъ Долбинскимъ роднымъ своимъ собирать народные русскія сказки и русскія преданія. Дѣло это и самому ему казалось слишкомъ новымъ. „Не смѣйтесь—пишетъ онъ. Это—національная поэзія, которая у насъ пропадаетъ, потому что никто не обращаетъ на нее вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мѣткія; суевѣрные преданія даютъ понятіе о нравахъ ихъ и степени просвѣщенія и о старинѣ“ <sup>3)</sup>. Можно полагать, что это предложеніе Жуковского дало первый толчокъ Кирѣевскому.

Два года прожилъ Жуковскій въ Дерптѣ, уѣзжая на короткое время въ Петербургъ. Конечно не одни только занятія нѣмецкой

---

<sup>1)</sup> „Старцу Эверсу“.

<sup>2)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 809—810.

<sup>3)</sup> Русск. Арх., 1864 г., стр. 902.

наукой и литературой и не одно общество профессоровъ были причиною жизни Жуковского въ Дерптѣ. Его влекла сюда и привязанность, попрежнему безнадежная. Протасова мать не была однако довольна близостью Жуковского къ дочери, она не довѣряла обоимъ; Воейковъ, за котораго Жуковский всегда являлся ходатаемъ и прежде и послѣ, поддерживалъ подозрѣнія Протасовой. Напрасно увѣрялъ Жуковский въ своихъ братскихъ чувствахъ; ему не вѣрили; отношенія были натянуты; жизнь казалась въ высшей степени невыносимою. Жуковский приходилъ въ полное отчаяніе.

„О себѣ ничего не пишу, сообщать онъ изъ этого времени. Старое все миновалось, а новое нигде не годится. Съ тѣхъ поръ какъ мы разстались (съ Тургеневымъ), я не оживалъ. Душа какъ будто деревянная! Что изъ меня будетъ, не знаю! А часто, часто хотѣлось бы и совсѣмъ не быть. Поэзія молчитъ! Для нея еще нѣтъ у меня души. Препяная вси истрепалась, а новой я еще не нажилъ. Мыкаюсь, какъ кегля“<sup>1)</sup>.

Это душевное состояніе Жуковского отразилось и на его произведеніяхъ изъ этого времени. „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ вышелъ очень слабъ. Другія поэтическія произведенія его, переводы, сдѣланные большею частью въ эти три года, не велики числомъ и объемомъ и незначительны по содержанію. Жуковский, уѣзжая изъ Дерпта въ Петербургъ, твердо рѣшился не возвращаться туда болѣе, но это было выше нравственныхъ его силъ. „Тамъ быть невозможно“. Но судьба его, послѣ непрерывно возрождающейся надежды и отчаянія, слѣдующаго за нею, рѣшилась наконецъ. Съ Протасовыми сблизился недавній дерптскій знакомецъ Жуковского—профессоръ Мойеръ, ихъ домашній врачъ, которому Жуковский поручилъ это семейство и откровенно рассказалъ всѣ свои отношенія. Этотъ Мойеръ, человѣкъ съ рѣшительнымъ характеромъ и большими научными свѣдѣніями въ своей специальности—хирургіи, очень скоро посватался за Протасову; мать дала полное согласіе, но молодая невѣста рѣшила еще посоветоваться съ Жуковскимъ и написала ему письмо въ Петербургъ о сватовствѣ Мойера и о своемъ намѣреніи выйти за него замужъ, находя въ этомъ замужествѣ единственный и спокойный исходъ изъ того неопредѣленнаго и тяжелаго положенія, въ которомъ оба они находились. Она рассчитывала теперь только на одно спокойствіе и тихую дружбу съ Жуковскимъ. Получивъ письмо, Жуковский не вѣрилъ искренности словъ молодой Протасовой, думалъ, что на нее дѣйствовали принудительно, старался разузнать ея, молилъ объ

<sup>1)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 813.

отсрочки на годъ и пр. Между ними по этому поводу завязалась дѣятельная переписка, которой біографъ <sup>1)</sup> приписываетъ высокое художественное значеніе. Только воротившись въ Дерптъ, Жуковскій убѣдился, что намѣреніе невѣсты вполне обдуманно и неизмѣнно, что свадьба необходима для счастья ихъ обоихъ. Онъ вполне и даже радостно примирился съ этою необходимостью. „У меня теперь прекрасная дѣль въ жизни, пишетъ онъ къ невѣстѣ. У меня руки развязаны дѣлать все, что отъ меня зависитъ, для Машина счастья. Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы намъ непремѣнно вѣстѣ состряпать твое счастье, тогда и все прекрасно“ <sup>2)</sup>. Съ матерью Протасовой Жуковскій совершенно и искренно помирился; на Мойера смотрѣлъ, какъ на друга и товарища. Всякое личное желаніе онъ, казалось, побѣдилъ въ себѣ, хотя конечно не безъ горечи. „Тяжелыя минуты были и будутъ, говорить онъ, но славное чувство пропасть не можетъ“ <sup>3)</sup>. Глубокое примиреніе онъ находилъ въ просвѣтленномъ, спокойномъ взглядѣ на жизнь, въ томъ греческомъ міросозерпаніи, которое онъ выразилъ въ слѣдующихъ стихахъ изъ баллады Шиллера:

Все въ жизни къ великому средство!  
И горестъ, и радость—все къ цѣли одной!  
Хвала живопаду Зевесу!“ <sup>4)</sup>

а также и въ поэзіи. „Поэзія—славный громовой отводъ, говорить онъ. Теперь мнѣ будетъ легче бесѣдовать съ моею музою. Даже и все, что есть печальнаго въ моей судьбѣ, теперь не убійственно и близко своею порою къ безсмертной музѣ. Поэзія, идущая рядомъ съ жизнью, — товарищъ несравненный! Вотъ мое расположеніе!“ <sup>5)</sup>.. Когда наконецъ прошелъ и срокъ свадьбы, Жуковскій долженъ былъ успокоиться: „Вокругъ меня все устроено,—пишетъ онъ къ А. Тургеневу.—Свадьба кончена (14 января 1817 г.) и душа совсѣмъ утихла. Думаю только объ одной работѣ. Благослови Господи!“ <sup>6)</sup>.

Такъ кончилась эта долголѣтняя романическая привязанность, которой самъ Жуковскій приписывалъ большое вліяніе на свою жизнь и которая находится въ непосредственной связи, какъ съ направленіемъ его поэзіи, такъ и съ ея содержаніемъ. Она, по своей неудовлетворенности, еще болѣе способствовала развитію въ немъ сентиментальнаго чувства, еще больше удаляла его отъ дѣйствительности.

<sup>1)</sup> Зейдлицъ, стр. 98.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 99.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 102.

<sup>4)</sup> „Теонъ и Эсхинъ“.

<sup>5)</sup> Зейдлицъ, стр. 103.

<sup>6)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 816.

Между тѣмъ его матеріальное положеніе значительно улучшилось: съ помощію своихъ дѣятельныхъ и преданныхъ друзей, Жуковский, пристроившись къ двору, добился того, чего желалъ — и средствъ, и независимости. Въ 1815 г. онъ сблизился съ царскимъ семействомъ. Пробывъ три дня въ Павловскѣ, у императрицы Маріи Ѳеодоровны, Жуковский вернулся оттуда „съ сердечною къ ней привязанностію“. Онъ повѣрилъ на слово придворной любезности и былъ въ восторгѣ отъ вниманія и высочайшихъ ласкъ. Надобно замѣтить, что Марія Ѳеодоровна любила русскую литературу или, по крайней мѣрѣ, покровительствовала писателямъ и собирала вокругъ себя въ Павловскѣ тѣхъ изъ нихъ, конечно, которые, сверхъ литературнаго имени, имѣли положеніе въ свѣтѣ и отличались благонамѣренностію.

Ея главнымъ приближеннымъ лицомъ и чтецомъ былъ Нелединскій-Мелецкій, извѣстный своими пѣснями и чувствительными романами въ концѣ прошлаго вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и статсъ-секретарь. Она приглашала къ себѣ Дмитріева—министра, Карамзина—офіціального исторіографа, Крылова, Гнѣдича. Разумѣется, въ этотъ кругъ не допускались люди, жившіе журнальною критикою, на которую въ аристократическомъ кругу смотрѣли съ презрѣніемъ и разныя нечесанные поэты, какихъ тогда было довольно между мелкими чиновниками.

Жуковский, попавъ въ придворный кругъ, скоро получилъ офіціальное положеніе: онъ былъ назначенъ чтецомъ при императрицѣ. Мы видѣли однако, что онъ жаловался роднымъ на свою петербургскую жизнь и тосковалъ по деревенскимъ роцамъ: причина этихъ жалобъ вѣроятно заключалась въ послѣдней борьбѣ за независимость поэта и въ томъ, что, несмотря на полученіе званія лектора, положеніе его не было упрочено. Вскорѣ однако и этотъ вопросъ былъ рѣшенъ. По совѣту своихъ вліятельныхъ друзей Жуковский издалъ въ двухъ томахъ (Спб. 1815) лучшія свои произведенія, до того имъ написанныя.

Это изданіе сопровождалось письмомъ Жуковского къ императору Александру, въ которомъ заключался очень тонкій намекъ о необходимости одобренія, означеніи для писателя высочайшаго покровительства:

„Смѣю думать, всемилостивѣйшій государь, что писатель, уважающій свое званіе, есть такъ же полезный слуга своего отечества, какъ и воинъ, его защищающій, какъ и судья, блюститель закона. Одобреніе государя освящаетъ трудъ его: быть достойнымъ сей награды есть добродѣтель писателя; стремиться къ сей прекрасной цѣли есть обязанность. Въ священномъ одобреніи государя заключено одобреніе отечества: оно даетъ право на уваженіе современниковъ и потомства“ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 801.

Слова любопытныя для насъ и въ высшей степени замѣчательныя. Они даютъ понятіе о положеніи писателя въ тогдашнемъ обществѣ, объ отношеніи его къ правительству и къ обществу и къ народу и вмѣстѣ съ тѣмъ знакомятъ насъ съ тѣмъ взглядомъ, какой имѣлъ самъ Жуковскій на свое поэтическое призваніе.

Это первое собраніе стихотвореній Жуковского было поднесено, при настойчивомъ ходатайствѣ друга его А. Тургенева, чрезъ министра народнаго просвѣщенія князя Голицина — императору Александру. Въ концѣ 1816 г. Жуковскому назначена пенсія по смерти въ 4.000 рублей, что давало ему возможность не служить и писать стихи, когда ему вздумается. Еще не задолго до полученія этой милости, онъ жаловался на свое положеніе, на то, что его „странническая жизньъ еще не кончилась“; теперь онъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ и сознательно смотритъ на свое призваніе. „Вниманіе государя есть святое дѣло“ — пишетъ онъ въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу. „Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часъ отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія! Этимъ она можетъ быть только для петербургскаго свѣта. Но она должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе, если поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію. И дай Богъ въ теченіе жизни сдѣлать хоть шагъ къ этой прекрасной цѣли. Имѣть ее позволено, а стремиться къ ней, значить заслуживать одобреніе государя. Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей. Работать съ такою цѣлью — есть счастье, а друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль — вотъ награда!“<sup>1)</sup>

Таково было понятіе Жуковского о своемъ призваніи. Что такое поэзія, какъ народное воспитаніе и къ какой цѣли ведетъ это воспитаніе? Жуковскій высказывается неясно, но для насъ очевидно, что онъ стоитъ на нравственной точкѣ зрѣнія; для него поэзія, по его собственному выраженію, есть добродѣтель. Въ этихъ словахъ высказывается вліяніе сентиментальной, отвлеченной морали Карамзина. Жуковскій никогда не выходилъ изъ круга идей послѣдняго; для него Карамзинъ былъ предметомъ сердечнаго поклоненія. Въ это время, въ 1816 году, историкъ государства русскаго пріѣхалъ въ Петербургъ съ 8-ю томами исторіи — хлопотать о ихъ напечатаніи. Неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное на умъ Александра нѣсколько лѣтъ тому назадъ его „Запискою“, теперь изгладилось. Императоръ Александръ

<sup>1)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 803—804.

смотрѣлъ теперь на русскую жизнь, на свое призваніе и на свой народъ—его глазами.

Карамзинъ былъ обласканъ дворомъ, между нимъ и государемъ начиналась сердечная дружба, основанная на одинаковости убѣжденій. И для Жуковского вліяніе Карамзина какъ будто обновилось; о немъ онъ не можетъ говорить безъ особеннаго чувства любви и pietas.

„Карамзинъ тебя любить—мудрено ли?—пишетъ онъ въ Тургеневу. Но любовь его есть счастье. И для меня она также нужна, какъ счастье. Скажи ему при первомъ случаѣ, что я, сколько могъ, сдержалъ свое обѣщаніе, что мнѣ будетъ можно спокойно показаться на его глаза и пожать отъ всей души ему руку. Время, которое мы провели разнѣ съ послѣдняго нашего разставанія, не оставило на мнѣ пятна. Я бывалъ недоволенъ собою; но поступки и побудительныя ихъ причины были чисты. Теперь все устроилось. Дай Богъ *чистаго* будущаго! Кажется, что оно теперь для меня вѣрнѣе. Писать какъ можно лучше, съ доброю цѣлью, и жить какъ пишешь—вотъ и все!“ <sup>1)</sup>).

„Мнѣ весело необыкновенно объ немъ (Карамзинѣ) говорить и думать—сообщаетъ Жуковский въ то же время И. И. Дмитріеву.—Я благодаренъ ему за счастье особеннаго рода: за счастье знать и (что еще болѣе) чувствовать настоящую ему цѣну. Это болѣе, нежели чтонибудь, дружить меня съ самимъ собою. И можно сказать, что у меня въ душѣ есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзинимъ*: тутъ соединено все, что есть во мнѣ добраго и лучшаго <sup>2)</sup>). Я желаю быть ему подобнымъ въ стремленіи къ хорошему. Во мнѣ живо желаніе произвести что-нибудь такое, что бы осталось памятникомъ доброй жизни. По сію пору ни дѣятельность, ни обстоятельства не соотвѣтствовали желанію; но оно не умирало, а только иногда засыпало“ <sup>3)</sup>).

Къ работѣ, по его словамъ, обязываетъ его и полученный имъ пенсіонъ.

„Я принялся за работу и шутить не хочу... Я чувствую новую необходимость дѣятельности, а это побужденіе святое: благодарность къ государю, который далъ мнѣ лучшее благо — независимость и имѣетъ на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно! Я теперь въ службѣ и долженъ служить по совѣсти!“ <sup>4)</sup>).

Но поэтическіе планы и намѣренія Жуковского не должны были

<sup>1)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 806—807.

<sup>2)</sup> Русск. Арх., 1866 г., стр. 1630.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 1631.

<sup>4)</sup> Русск. Арх., 1867 г., стр. 815—816.

осуществиться: онъ не писалъ ничего болѣе самостоятельнаго, ничего имѣвшаго отношеніе къ дѣйствительности, ничего такого, что бы, по его собственнымъ словамъ, имѣло воспитательное вліяніе на народъ. Общество восхищалось его „Вадимомъ“, т.-е. второю частью „Дѣнадцати спящихъ дѣвъ“, который написанъ былъ имъ въ 1817 году. Это было высшее выраженіе той туманной романтической поэзіи, которую перенесъ къ намъ Жуковскій, и за которую онъ едва ли заслуживалъ имя воспитателя народа. Съ другой стороны онъ начиналъ въ это время рядъ художественныхъ переводовъ, въ которыхъ для общества тоже ничего, кромѣ художественности, не давалось. Таковъ былъ знаменитый „Овсяный кисель“, которымъ самъ Жуковскій былъ чрезвычайно доволенъ:

„Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ не извѣстнаго поэта,—пишетъ онъ Тургеневу,—ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и для поселянъ. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“<sup>1)</sup>.

Но скоро и эти художественные переводы должны были прекратиться; Жуковскій надолго забылъ поэзію, возвращаясь къ ней только въ дни семейной радости или семейнаго горя двора и до 1840 года, когда онъ освободился отъ своихъ обязанностей, выпуская весьма немногіе и то незначительные стихотворные переводы. Въ концѣ 1817 г. онъ сдѣланъ былъ учителемъ русскаго языка при великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, сначала невѣстѣ, а потомъ супругѣ Николая Павловича. Своимъ новымъ обязанностямъ онъ отдался съ полнымъ увлеченіемъ; имъ посвящаетъ онъ свое время, не жалѣя даже о своей независимости и свободѣ.

„Должность, мнѣ теперь порученная, есть счастливая должность,—пишетъ онъ къ И. И. Дмитріеву,—счастливая не по тѣмъ выгодамъ, которыя могутъ быть соединены съ нею, но по той необыкновенно пріятной дѣятельности, которой она меня подчиняетъ. Для поэта это главное. Имѣю передъ собою цѣль прекрасную, къ которой буду идти безъ всякихъ постороннихъ безпокойныхъ видовъ, могу быть обезпеченъ насчетъ всего, кромѣ моего долга, а этотъ долгъ привлекательный“<sup>2)</sup>.

Мечты о уединенной жизни въ деревнѣ, — навсегда покинули его. Жуковскій дѣлается членомъ царской семьи и вездѣ сопровождаетъ ее. Только изрѣдка въ стихахъ его попрежнему слы-

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 805.

<sup>2)</sup> Русск. Арх., 1870 г., стр. 1704.

шится скорбь о минувшемъ; воспоминанія о друзьяхъ, ихъ образы воскресаютъ въ его сердцахъ и какъ живые стоятъ передъ нимъ:

И всѣхъ друзей душа моя узнала...  
 Но гдѣ-жъ они? На мигъ съ путей земныхъ  
 На сѣверъ мой мечта васъ привлекала  
 Сопутниковъ младенчества родныхъ...  
 Васъ жадная рука не удержала  
 И голосъ вашъ, плѣнивъ меня, затихъ.  
 О, будь же вамъ замѣною свиданья  
 Мой сѣверный цвѣтокъ воспоминанья <sup>1)</sup>.

Это были минутныя воспоминанія; они не надолго нарушали довольство настоящимъ у Жуковского. Настоящее казалось ему теперь тѣмъ „очарованнымъ тамъ“, о которомъ онъ мечталъ въ годы своей молодости:

„Изъ сѣверной, любовію избранный,  
 И промысломъ указанной страны,  
 Къ вамъ нынѣ шлю мой даръ обѣтованный;  
 Да скажетъ онъ друзьямъ моей весны,  
 Что выпалъ мнѣ на часть удѣлъ желанный;  
 Что младости мечты совершены;  
 Что не вотще довѣренность къ надеждѣ,  
 И что *теперь* плѣнительно какъ *прежде*“ <sup>2)</sup>.

Стихи эти, которые Жуковский влагаетъ въ уста своей высокой ученицы, могутъ быть отнесены къ нему. Жуковский сталъ писать теперь „для немногихъ“, какъ назывались книжки его стихотворныхъ переводовъ, печатаемые въ немногихъ экземплярахъ для царской семьи и высокыхъ придворныхъ лицъ. Самый выборъ прежнихъ переводныхъ пьесъ не имѣетъ уже прежняго близкаго отношенія къ внутреннему міру поэта, хотя онъ и выражаетъ характеръ его. Зато переводъ дѣлается точнѣе и художественнѣе, и Жуковский не позволяетъ уже себѣ въ чужую пьесу вводить стихи съ чисто личнымъ свойствомъ, личные намеки.

Внѣшняя сторона его стиха достигаетъ удивительнаго совершенства; въ этомъ онъ оказываетъ сильное вліяніе на русскую поэзію того времени и въ особенности на молодого Пушкина, который смотритъ на него съ глубокимъ уваженіемъ и часто называетъ его, за участіе въ бурной судьбѣ своей, своимъ гениемъ-хранителемъ. Но для сохранения русской поэзіи Жуковский уже ничего болѣе не сдѣлалъ;

<sup>1)</sup> „Цвѣтъ завѣта“.

<sup>2)</sup> Ibidem.



его историческая роль, выѣстъ съ началомъ придворной жизни, кончилась. Поэзія стала являться Жуковскому въ видѣ „Лалла Рукъ“, т.-е. великой княгини Александры Ѳеодоровны, которая изображала лицо этой героини поэмы Т. Мура въ берлинскомъ придворномъ маскарадѣ. Онъ сталъ писать стихи вродѣ „Посланія о Лунѣ“ къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, гдѣ перечисляетъ, когда и въ какомъ видѣ является луна въ его произведеніяхъ или, подчиняясь господствующему тогда мистицизму, переводить такіа пьесы, какъ „Смерть Іисуса“—Рамлера, въ которой уже виденъ мрачный піэтизмъ послѣднихъ дней его жизни.

## ЛЕКЦІЯ IX.

Отношеніе къ Жуковскому его друзей. — Батюшковъ. — Его дѣтскіе и юношескіе годы.

Какъ ни слабо было развито въ тогдашнихъ нашихъ писателяхъ чувство самостоятельности и независимости, какъ ни неопредѣленно смотрѣли они на свое литературное призваніе, на отношеніе его къ власти, къ обществу, къ народу, приче́мъ каждый изъ нихъ конечно съ охотою промѣнялъ бы свое жалкое бумагомарательство, не дававшее ни извѣстности, ни денегъ, на блестящее придворное положеніе Жуковского—все же, хотя главнымъ образомъ въ кругу друзей его, этотъ переходъ къ придворной жизни и къ званію учителя казался измѣною поэзіи. Дѣло ограничивалось, впрочемъ, одною шуткою. Жуковского называютъ „эксъ-балладникомъ“, смѣются надъ тѣмъ, что онъ учитъ грамотѣ принцессъ, а самъ учится придворному искусству <sup>1)</sup>.

Дмитріевъ жалуется, что Жуковскій, пріѣхавъ въ Москву съ дворомъ, въ началѣ 1818 года, рѣдко посѣщаетъ его. „Ревность друзей его почти достигла своей цѣли—пишетъ онъ: кажется, поэтъ мало по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новостъ въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его. Увидимъ, въ чемъ найдетъ болѣе выгоды“ <sup>2)</sup>. Все время первоначальныхъ занятій его съ великою княгинею посвящено было грамматикѣ и составленію „грамматическихъ таблицъ“ для облегченія ея изученія; ихъ Жуковскій ставилъ очень высоко. Онъ даже написалъ для этой цѣли по-французски русскую грамматику, которая была напечатана только въ десяти экземплярахъ. „Трудно повѣрить, чтобъ въ грамматиче-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1866 г., стр. 1653, 1657.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 1092.

скихъ его таблицахъ было много поэзи<sup>1)</sup> — съ ироніей говорить Дашковъ<sup>2)</sup>. Даже Карамзинъ насмѣшливо отзывается о новомъ положеніи Жуковскаго: „Жуковский не можетъ нахвалиться своею Августѣйшею ученицею — сообщаетъ онъ Дмитріеву; но между тѣмъ пишетъ однѣ грамматическія таблицы“<sup>3)</sup> или „Жуковский пишетъ стихи къ фрейлинамъ“<sup>4)</sup>. Самое опредѣленное выраженіе этого недовольства придворною жизнью Жуковскаго, забывшаго поэзію, находится въ эпиграмѣ А. Вестужева, приписанной Пушкину, который только въ дружескихъ письмахъ называлъ его „покойникомъ“. Вестужевъ принадлежалъ къ либеральному кружку, который мало видѣлъ значенія въ произведеніяхъ Жуковскаго:

„Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею,  
На ленту промѣнялъ лавровый свой вѣнецъ,  
Не подражая больше Грею,  
Съ указкой втерся во дворецъ—  
И что же вышло наконецъ?  
Предъ знатыми сгибая шею,  
Онъ руку жметъ камеръ-лакею,  
Бѣдный пѣвецъ“.

Но Жуковский, впрочемъ, и не подавалъ либеральныхъ надеждъ; не имъ измѣнилъ онъ, а поэзію. Другіе люди, чуждые литературы, искренно жалѣли его. „Какъ живо я чувствую всѣ неудобства его положенія, пишетъ Сперанскій къ своей дочери, когда та сообщила отцу о свиданіи съ Жуковскимъ, всю страдательность его жизни. Я слишкомъ близко видѣлъ сей родъ неволи, чтобъ не сострадать, и что всего хуже, нѣтъ почти средства пособить ему“<sup>4)</sup>. Но всѣ эти сожалѣнія и друзей и людей постороннихъ относились больше къ тому обстоятельству, что Жуковский, сдѣлавшись придворнымъ и взявъ на себя обязанности, которыя отвлекали его отъ поэзіи, долженъ былъ забыть послѣднюю, составлявшую его истинное призваніе. О самомъ содержаніи и направленіи его поэтическихъ произведеній, о томъ, что давалъ онъ ими современности и русскому обществу и много ли потери въ томъ, что онъ сталъ менѣе писать — объ этомъ не говорили; о немъ сожалѣли, какъ о поэтѣ, поэзіей котораго наслаждались. „Его стиховъ плѣнительная сладость пройдетъ вѣковъ завистливую даль“ повторяли всѣ съ увлеченіемъ слова Пушкина<sup>5)</sup>. Отъ поэзіи тогда и не тре-

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1868 г., стр. 593.

<sup>2)</sup> Письма Карамзина къ Дмитріеву. Спб. 1866 г., стр. 253.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 269.

<sup>4)</sup> „Русск. Арх.“, 1868 г., стр. 1699—1700.

<sup>5)</sup> „Къ портрету Жуковскаго“.

бовали ничего другого, кромѣ художественности выраженія, а ея было довольно у Жуковского. Какъ писатель, обязанный по своему таланту, внести новую мысль въ общественное развитіе своей страны, Жуковский ничего не сдѣлалъ въ этомъ отношеніи. Онъ не пошелъ дальше Карамзина, пожалуй сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ. Его міросозерцаніе было слишкомъ узко, слишкомъ несвободно; его мораль не выходила изъ догматическихъ рамокъ. Этого не могли разглядѣть современники и друзья его. Только въ лагерѣ такъ называемыхъ „либералистовъ“ того времени составилось уже тогда правильное понятіе о значеніи поэзіи Жуковского. „Не совсѣмъ правъ ты и во мнѣніи о Жуковскомъ—пишешь къ Пушкину Рылѣевъ.—Неоспоримо, что Жуковский принесъ важныя пользы языку нашему; онъ имѣлъ рѣшительное вліяніе на стихотворный слогъ нашъ—и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за „вліяніе его на духъ нашей словесности“, какъ пишешь ты. Къ несчастію, вліяніе это было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣлали. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ. Это болѣе можетъ упрочить славу его“ <sup>1)</sup>).

Въ то самое время, какъ Жуковский уходилъ постепенно отъ дѣйствительности въ придворную жизнь, которая мало-помалу сдѣлала его глухимъ къ требованіямъ русской жизни и общества, совершенно скрыла отъ него ихъ стремленія и желанія,—другой поэтъ, его современникъ, человѣкъ съ замѣчательнымъ талантомъ вѣшняго выраженія, съ болѣе обработанною формою по точности и опредѣленности, чѣмъ даже у Жуковского, уходилъ тоже отъ дѣйствительности и погибалъ для русской жизни, но не добровольно, какъ Жуковский, а вслѣдствіе душевнаго недуга, который былъ удѣломъ его жалкаго существованія болѣе тридцати лѣтъ. Мы говоримъ о Батюшковѣ, человѣкѣ того же поколѣнія, что и Жуковский, даже нѣсколько моложе его. Его трагическая печальная судьба, эта темная долгая ночь сумасшествія, которая постигла его въ цвѣтъ лѣтъ и развитія,—невольно приковываютъ къ нему вниманіе. Но и въ исторіи русской поэзіи Батюшковъ занимаетъ видное мѣсто; для современниковъ, для ближайшихъ поэтическихъ потомковъ онъ былъ классическимъ писателемъ; ему подражали; его стихъ имѣлъ вліяніе; безъ него не могъ бы сформироваться легкій и чрезвычайно опредѣ-

<sup>1)</sup> Соч. К. Рылѣева, стр. 234.

ленный стихъ молодого Пушкина, который еще на лицейской скамьѣ подражалъ ему. Батюшкова въ нашихъ курсахъ исторіи литературы обыкновенно выставляютъ по способу и формѣ выраженія, какъ противоположность Жуковскому. Если послѣдняго называютъ романтикомъ, то Батюшковъ является классикомъ, представителемъ яснаго, спокойнаго и умѣющаго наслаждаться жизнью міросозерцанія древнихъ. Ему приписываютъ возрожденіе древне-греческой поэзіи въ нашей литературѣ „во всей ея художественной простотѣ, съ ея пластическимъ представленіемъ жизни и природы“, ему приписываютъ самостоятельное творчество въ духѣ древней греческой поэзіи. Пушкинъ, въ своемъ лицейскомъ посланіи къ нему (1814 г.) считаетъ необходимою употреблять имена классическихъ боговъ и древнихъ поэтовъ, хотя и называетъ его „Парни Россійскій“. „Муза Батюшкова была сродни древней музѣ“, говоритъ о поэзіи Батюшкова Бѣлинскій. Жаль только, что духъ времени и французская эстетика лишили этого поэта свободнаго и самобытнаго развитія. До Пушкина не было у насъ ни одного поэта съ такимъ классическимъ тактомъ, съ такою пластичною образностью въ выраженіи, съ такою скульптурною музыкальностью, если можно такъ выразиться, какъ Батюшковъ „... Съ своею искреннею, даже слишкомъ горячею любовью къ русской литературѣ, Бѣлинскій, особенно въ позднѣйшихъ статьяхъ своихъ, напр., въ обширномъ введеніи къ разбору Пушкина, приписывалъ Батюшкову слишкомъ большое художественное значеніе, забывая вполне, что при всемъ реализмѣ, при всей естественности и простотѣ чувства, выражаемаго въ его поэзіи, эта послѣдняя была совершенно чужда жизни и дѣйствительности и что Батюшковъ, несмотря на классическіе образы и предметы, на имена мифологическихъ боговъ, богинь, нимфъ и геніевъ и пластичность выраженія, не былъ однако знакомъ съ классическимъ міромъ непосредственно, а черезъ французскихъ поэтовъ, которые давно уже подражали древнему міру, и это подражаніе въ концѣ XVIII вѣка и началѣ XIX еще болѣе усилилось, вслѣдствіе того, что французская революція пародировала внѣшнія формы древнихъ республикъ. Но Батюшковъ, несмотря на то, что онъ ничего не подарилъ русской жизни, все-таки крупная личность въ нашей литературѣ. На ней и его произведеніяхъ стоитъ остановиться, чтобъ познакомиться съ тѣмъ, какимъ образомъ могъ развиваться такой классическій поэтъ посреди русской дѣйствительности.

Батюшковъ происходилъ изъ довольно стариннаго дворянскаго рода, который жилъ въ Новгородской и Вологодской губерніи. Отецъ его былъ образованный по тогдашнему времени человекъ, т. е. воспитанный на французскихъ классикахъ прошлаго вѣка и знакомый, ко-

нечно поверхностно, съ свободною мыслию энциклопедистовъ и другихъ философовъ того времени. Но на нравственное и духовное развитие своего сына онъ не имѣлъ никакого вліянія. Мать писателя умерла, когда ему было только десять лѣтъ, но сынъ еще раньше былъ лишенъ ея: она умерла въ сумашествіи. Надобно замѣтить, что, вѣроятно, психическая болѣзнь была наследственною въ семьѣ: кромѣ матери и самого писателя, одна изъ сестеръ его, наиболѣе любимая имъ—Александра—умерла въ дѣвцахъ, тоже въ помѣшательствѣ. Поэтому очень можетъ быть, что сумасшествіе самого Батюшкова, представляемое чрезвычайно таинственно въ нашихъ литературныхъ воспоминаніяхъ и объясняемое самыми разнообразными причинами, такъ что нѣкоторые сравнивали судьбу его даже съ судьбою любимого имъ поэта — Тасса, — объясняется очень просто и естественно.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился въ Вологдѣ 18 мая 1787 года, слѣдовательно онъ былъ четырьмя или пятью годами моложе Жуковскаго, но онъ не воспитывался и не росъ подобно ему въ домашней обстановкѣ. Отецъ его, вслѣдствіе упомѣшательства жены, еще до ея смерти, отвезъ четырехъ дочерей и единственнаго сына въ петербургскіе пансіоны, а самъ по смерти жены, женился въ другой разъ, что еще болѣе сдѣлало его чуждымъ дѣтямъ отъ перваго брака. Сынъ попалъ въ пансіонъ француза Жакино, у котораго воспитывались дѣти богатыхъ и знатныхъ семействъ; содержаніе и обстановка соответствовали ихъ положенію въ обществѣ, такъ что Батюшкова можно назвать въ этомъ отношеніи баловнемъ; школа жизни у него была вовсе не трудная. Воспитаніе, конечно, было во французскомъ духѣ; ученіе тоже происходило на языкѣ французскомъ, такъ что даже первый печатный литературный опытъ Батюшкова, изданный во время пребыванія его въ пансіонѣ Жакино, когда ему было только четырнадцать лѣтъ, былъ французскій переводъ извѣстной рѣчи митрополита Платона на коронацію императора Александра <sup>1)</sup>).

Въ пансіонѣ Жакино, кромѣ французскаго языка, какъ видно изъ письма его къ отцу, онъ занимался также итальянскимъ языкомъ или по крайней мѣрѣ училъ его грамматику. Ученіе, разумѣется, носило общій характеръ и приготавлило богатаго мальчика только къ свѣтской жизни и ничего не давало серьезнаго. То же самое повторилось и въ другомъ пансіонѣ учителя морского училища Триполи, куда Батюшковъ перешелъ, будучи уже четырнадцати лѣтъ,—не извѣстно, по какой причинѣ. Онъ занимался и геометріей, и рисованіемъ, и игрою на гитарѣ; сталъ знакомиться и съ нѣмецкимъ языкомъ; но

) Спб. 1801.

въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ не подчинился нисколько вліанію нѣмецкой романтической поэзіи, какъ Жуковский. Въ качествѣ коренного русскаго, Батюшковъ высказывалъ какую-то слѣпую даже ненависть къ нѣмцамъ: „Хозяинъ мой нѣмецъ, не поколотитъ ли его?“—пишетъ онъ въ дружескомъ письмѣ къ Гнѣдичу съ похода изъ Риги. Или въ другомъ мѣстѣ: „Я теперь въ Ригѣ, царствѣ табака и чудаковъ,—нѣмцевъ иначе называть и не можно... Я нѣмцевъ болѣе еще возненавидѣлъ: ни души, ни ума у этихъ тварей нѣтъ“<sup>1)</sup>.

Говорятъ, что въ пансіонѣ у Триполи онъ узналъ и латинскій языкъ, но едва ли познанія его въ этомъ языкѣ были значительны; переводы Тибулловыхъ элегій ничего не доказываютъ; они могли быть сдѣланы и съ французскаго языка, а какъ мало онъ былъ знакомъ съ латынью, доказываетъ трижды повторенный имъ Гнѣдичу уже въ 1809 году въ письмѣ вопросъ: „Что значить ex fulgore?“<sup>2)</sup>.

Стихотворные русскіе опыты свои Батюшковъ началъ очень рано, еще будучи въ пансіонѣ. Стремленіе къ писательству было возбуждено въ немъ безъ всякаго сомнѣнія родственною близостію и частымъ посѣщеніемъ имъ дома и семейства двоюроднаго брата его отца, извѣстнаго писателя и преподавателя русскаго языка великому князю Александру Павловичу—Михаила Никитича Муравьева, человѣка весьма замѣчательнаго по своему уму, образованію, доброму сердцу и авторскому таланту, напоминающему собою чрезвычайно манеру и талантъ Карамзина. Батюшковъ въ письмѣ къ другому родственнику своему И. М. Муравьеву-Апостолу, извѣстному въ нашей литературѣ своимъ дѣйствительнымъ знакомствомъ съ классическимъ міромъ и своими переводами съ греческаго, говоря о сочиненіяхъ своего двоюроднаго дяди, самъ сознается, какъ онъ много обязанъ ему и что память этого человѣка будетъ ему драгоценна „до позднихъ дней жизни и украсить ихъ горестнымъ и вмѣстѣ сладкимъ воспоминаніемъ протекшаго!“<sup>3)</sup>

Батюшковъ выражается о немъ съ глубокимъ уваженіемъ: „Кто зналъ сего мужа въ гражданской и семейственной его жизни, тотъ могъ легко угадывать самыя тайныя помысленія его души. Они клонились къ пользѣ общественной, къ любви изящнаго во всѣхъ родахъ, и особенно къ успѣхамъ отечественной словесности. Онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ; онъ любилъ добродѣтель, какъ пламенный ея любовникъ, и всегда, во всѣхъ случаяхъ жизни, оставался вѣренъ своей благородной страсти“<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> „Русск. Стар.“, 1870 г., I, стр. 549—550.

<sup>2)</sup> „Русск. Стар.“ 1871 г., III, стр. 219—220.

<sup>3)</sup> Письмо къ И. М. М.-А. о сочиненіяхъ Г. Муравьева, стр. 123.

<sup>4)</sup> Ibidem, стр. 104—105.

Муравьевъ является такимъ образомъ воспитателемъ Батюшкова въ литературѣ; отъ него, говорятъ, перешла къ нему любовь къ произведеніямъ классической и итальянской поэзіи. Отъ Муравьева Батюшковъ заимствовалъ, по словамъ Бартенева, лучшіе свои гражданскіе и литературные идеалы <sup>1)</sup>).

Въ домѣ Муравьева сначала, пока онъ не переехалъ въ Москву, развились литературные вкусы Батюшкова и въ немъ же онъ познакомился съ литературными представителями того времени. Жена Муравьева любила Батюшкова какъ сына и въ ихъ семействѣ онъ забывалъ свое сиротское положеніе.

Семнадцати лѣтъ Батюшковъ кончилъ курсъ своего пансіонскаго ученія. Онъ вынесъ изъ него немного свѣдѣній, кое-какія знанія въ языкахъ и въ особенности французскомъ, которымъ владѣлъ въ одинаковой степени съ русскимъ, и любовь къ литературнымъ занятіямъ, развиваемую всѣми тогдашними учебными заведеніями. Кончивъ ученіе, Батюшковъ началъ служить, но въ противность господствующему обычаю, не въ военной, а гражданской службѣ. Служба эта была, однако, только номинальная, она не требовала отъ Батюшкова труда и оставляла ему полную свободу и много времени для литературныхъ занятій и для собственнаго дальнѣйшаго образованія. Батюшковъ, по протекціи дяди своего Муравьева, поступилъ на службу въ канцелярію тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, графа Завадовскаго, а оттуда уже прямо къ дядѣ—письмоводителемъ. Тотчасъ же по поступленіи на службу, Батюшковъ сталъ печатать въ 1805 г. свои первые поэтическіе опыты. Не безъ вліяній на развитіе классическихъ вкусовъ Батюшкова остался И. И. Мартыновъ, извѣстный впослѣдствіи переводчикъ греческихъ классиковъ, а тогда директоръ канцеляріи министра народнаго просвѣщенія, гдѣ служилъ Батюшковъ, и издатель журнала „Сѣверный Вѣстникъ“, гдѣ сталъ печатать свои стихи молодой поэтъ. Самостоятельнаго въ нихъ было мало. Первымъ французскимъ поэтомъ, въ особенности любимымъ Батюшковымъ, изъ котораго онъ много переводилъ и любовь къ которому онъ передалъ молодому Пушкину, былъ Парни (1753 — 1814). Это былъ поэтъ переходнаго времени, съ замѣчательнымъ талантомъ и красотою стиха. Въ немъ уже слышатся звуки новаго времени; элегическое настроеніе дѣлало его любимцемъ людей молодого поколѣнія—онъ ближе подходилъ къ нимъ; Парни можно бы, пожалуй, назвать и романтикомъ, еслибъ въ его поэзіи было побольше мечтательныхъ элементовъ и, еслибъ свойственная французамъ любовь къ опредѣленной формѣ и чувственность не удерживали его на землѣ. Въ

<sup>1)</sup> „Русск. Арх.“, 1867 г., стр. 1350.

Парни осталось много слѣдовъ скептицизма прошлаго вѣка; это былъ прямой наслѣдникъ Вольтера и его насмѣшки надъ мифологіями всѣхъ странъ, а также надъ христіанствомъ, въ духѣ своего учителя, отличаются рѣзкою насмѣшливостью и весьма нескромными выраженіями, хотя и заключенными въ изящный стихъ. Въ особенности Парни былъ большой мастеръ на сладострастныя картины изъ жизни боговъ и богинь классическаго міра. Картины эти сильно нравились нашимъ поэтамъ и переводились ими, хотя и съ большими пропусками, сдѣланными русскою цензурою. Первая переводная пьеса, сдѣланная Батюшковымъ изъ Парни въ 1805 году, была элегія. Въ ней выражается полное разочарованіе жизни, говорится о ея утратахъ и пр. Но Батюшковъ не поддался этому направленію, подобно Жуковскому. Рядомъ съ элегическимъ настроеніемъ, въ немъ сказалось и сатирическое. Въ „Посланіи къ моимъ сочиненіямъ“ онъ смѣется надъ множествомъ расплодившихся у насъ поэтовъ, надъ ихъ одами, посланіями, пѣснями, драмами и т. п., надъ всею этою стихотворною страпнею, въ которой не было вовсе дѣйствительнаго содержанія. Не безъ вліянія на эту сатиру былъ „Чужой толкъ“ — Дмитріева. Кромѣ „Сѣвернаго Вѣстника“ первые стихотворные опыты Батюшкова помѣщались и въ другомъ журналѣ его начальника Мартынова „Лицей“ въ 1806 году. Связи Батюшкова ограничивались тогда петербургскими литераторами. Онъ былъ знакомъ, напр., съ Пнинымъ, рано умершимъ, и напечаталъ по поводу его смерти стихи, въ которыхъ отзывается о немъ съ большимъ уваженіемъ, какъ и другіе знавшіе его люди.

Въ 1807 году и начавшаяся служба Батюшкова и его поэтические опыты были вдругъ прерваны по собственному его желанію. Когда въ ноябрѣ 1806 года манифестомъ была объявлена милиція, дворянское сердце Батюшкова не выдержало, и онъ поступилъ въ стрѣлковый батальонъ петербургскаго ополченія, а въ началѣ 1807 года выступилъ въ походъ въ западный край. Батюшковъ отдался тревогамъ военной жизни со всѣмъ пыломъ молодости; ему было только двадцать лѣтъ; онъ былъ полонъ силъ и здоровья. Его письма, которыя онъ писалъ съ этого похода къ другу своему и сослуживцу Гнѣдичу, оказавшему значительное вліяніе на классическое образованіе Батюшкова, и къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ, письма, исполненные веселости, юмора и молодого задора, свидѣтельствуютъ, что молодой Батюшковъ былъ въ эту пору вполне доволенъ собой и своимъ положеніемъ. „Мнѣ очень нравится военное ремесло—пишетъ онъ Гнѣдичу. Что будетъ впередъ, Богъ вѣсть. Брани меня, а я штатскую службу ненавижу, чернила надобли, а стихи все люблю, хотя они меня не любятъ“<sup>1)</sup>... Ему хочется соединить ремесло воина

<sup>1)</sup> Русск. Стар. 1870 г. т. I, стр. 550.



съ ремесломъ поэта; въ эту пору онъ только что познакомился съ поэмою Торевато Тассо, которая вообще была любимымъ его произведеніемъ. Отрывки изъ нея, и прозой и стихами, онъ печаталъ часто и хотѣлъ издать полный переводъ. Поэма Тасса была съ нимъ въ походѣ. „Вообрази себѣ меня ѣдущаго на рыжакѣ—сообщаетъ онъ Гнѣдичу, по чистымъ полямъ, и я счастливей всѣхъ, всѣхъ королей; ибо дорогою читаю Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и съ словомъ „о доблесть дивная, о подвиги геройски“! прямо на бокъ и съ лошади долой. Но это не бѣда! лучше упасть съ буцефала, нежели падать, подобно Боброву—съ пегаса“<sup>1)</sup>. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „вздѣлъ кафтанъ Ареевъ“ невзначай. Главные интересы его въ письмахъ сосредоточены почти исключительно на литературѣ и въ особенности на современныхъ ея явленіяхъ въ Россіи. На походѣ онъ непремѣнно хочетъ знать, что дѣлается въ этомъ мірѣ въ Петербургѣ. Онъ спрашиваетъ объ Озеровѣ, о врагахъ его, о представленіи Донского, о Капнистѣ, о переводѣ Гнѣдичемъ Гомера, проситъ о присылкѣ новыхъ русскихъ книгъ, посылаетъ поклонны, кромѣ упомянутыхъ лицъ, Крылову, Шаховскому и др. Видно, что у него были уже значительныя литературныя связи. Но съ другой стороны, въ этихъ же письмахъ, совершенно откровенныхъ и дружескихъ, высказывается Батюшковымъ полный восторгъ при впечатлѣніяхъ военной и бивачной жизни; поэтическіе отрывки, сообщаемые въ этихъ письмахъ, говорятъ только о ней. Напрасно стали бы искать въ этихъ письмахъ Батюшкова какихъ-нибудь политическихъ чувствъ, болѣе глубокихъ наблюденій надъ положеніемъ тогдашнихъ дѣлъ, свѣдѣній о краѣ, которымъ онъ шелъ походомъ, и т. п. Ничего подобного не найдемъ мы здѣсь. Батюшковъ былъ слишкомъ молодъ и съ самозабвеніемъ отдавался тревогамъ войны; она вполне удовлетворяла его. Только мимоходомъ можно найти у него свѣдѣнія о незавидномъ положеніи нашей арміи, о томъ, какъ нерасположены къ намъ поляки въ своемъ краю и пр. Письма пересыпаны поэтическими отрывками, въ которыхъ иногда случайно проскользнетъ картина дѣйствительности, напр. это изображеніе несчастнаго финна около Нарвы:

„Тамъ финна бѣднаго сума  
Съ усталыхъ плечъ валится;  
Несчастный къ уголку садится  
И, слезы утеревъ раздраннѣмъ рукавомъ,  
Догадываетъ хлѣбъ мякиной и голодной...  
Несчастный сынъ страны холодной!  
Онъ съ голодомъ, войной и русскими знакомъ“<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 551.

<sup>2)</sup> Ibidem.

Скоро однакожь къ пріятностямъ переходовъ и бивачной жизни, радовавшей Батюшкова, присоединились и трудности и невыгодныя стороны войны. Въ сраженіи подъ Гейльсбергомъ, въ Сѣверо-Восточной Пруссіи, въ маѣ 1807 года, Батюшковъ былъ тяжело раненъ пулею на вылетъ въ ногу. Надобно вспомнить тогдашнее устройство медицины въ нашей арміи, чтобъ представить себѣ какія страданія долженъ былъ вынести Батюшковъ вслѣдствіе этой раны. Его привезли въ Ригу. „Что могъ вытерпѣть дорогою, лежа на телѣгахъ, того и понать не могу“<sup>1)</sup>. Голодъ, боль и ни гроша денегъ въ карманѣ—должны были разочаровать Батюшкова въ прелестяхъ военной жизни, но онъ былъ молодъ и здоровъ, а потому легко переносилъ невзгоды. Что онъ вытерпѣлъ, легко составить себѣ представленіе по его собственному разсказу о другѣ его Петинѣ, которому посвящено имъ нѣсколько лучшихъ стихотвореній и цѣлая статья воспоминаній, свидѣтельствующая о томъ нѣжномъ чувствѣ, которое соединяло обоихъ, не смотря на всю противоположность ихъ наклонностей и вкусовъ. Петинъ учился въ Московскомъ благородномъ пансіонѣ при университетѣ, а потомъ въ Пажескомъ корпусѣ. Его занятія направлены были къ изученію наукъ математическихъ, и Батюшковъ говоритъ, что въ нихъ онъ показывалъ рѣдкую гибкость ума. Онъ служилъ въ гвардейскомъ егерскомъ полку и вмѣстѣ съ Батюшковымъ выступилъ въ походъ. Въ одно почти время оба они были ранены. „Въ тѣсной лачугѣ, на берегахъ Нѣмана, безъ денегъ, безъ помощи, безъ хлѣба (это не вымыселъ), въ жестокихъ мученіяхъ, я лежалъ на соломѣ и глядѣлъ на Петина, которому перевязывали рану... Кругомъ хижинъ толпились раненые солдаты, пришедшіе съ полей несчастнаго Фридланда, и съ ними множество илѣнныхъ... Весь берегъ покрытъ ранеными; множество русскихъ валяется на сыромъ песку, на дождѣ, многіе товарищи умираютъ безъ помощи, ибо всѣ дома наполнены“<sup>2)</sup>. Батюшковъ скоро поправился отъ своей раны при хорошемъ уходѣ, который онъ нашелъ въ Ригѣ. „Меня принимаютъ въ прекрасныхъ покояхъ, кормятъ, поятъ изъ прекрасныхъ рукъ, я на розахъ!.. Я пью изъ чаши радостей и наслаждаюсь“—пишетъ онъ Гнѣдичу<sup>3)</sup>. При такой обстановкѣ легко было вылѣчиться скоро молодому и крѣпкому Батюшкову. Совершенно автобіографическимъ интересомъ проникнуто стихотвореніе „Воспоминаніе“, написанное въ 1807 году, въ которомъ, разсказавъ о Гейльсбергскомъ сраженіи, о ранѣ, о восторгѣ, съ какимъ онъ переплылъ на родную границу

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 552.

<sup>2)</sup> Воспоминанія мѣстъ, сраженій и путешествій, Москвитанинъ 1851 г. № 5 стр. 13—14.

<sup>3)</sup> Русск. Стар. 1870 г., т. I, стр. 553.

чрезъ Нѣманъ, Батюшковъ воспоминаеть тотъ мирный и гостепріимный кровъ, который пріютилъ его въ Ригѣ:

Семейство мирное! ужель тебя забуду,  
И дружбѣ и любви неблагодаренъ буду?...  
Ахъ, мнѣ ли позабыть гостепріимный кровъ,  
Въ сѣни домашнихъ гдѣ боговъ  
Усердный Эскулапъ божественной наукой  
Исторгъ изъ-подъ косы и дивно исцѣлилъ  
Меня, борющагося уже съ смертельной мукой“...

Въ этомъ гостепріимномъ пріютѣ ждала его и молодая любовь, которая оставила довольно продолжительное впечатлѣніе на его сердце:

„Ужели я тебя, красавица, забуду,  
Тебя, которую я зрѣлъ передъ собою  
У ложа горькихъ мукъ, отчаянья и слезъ,  
Какъ утѣшителя, какъ вѣстника небесъ,  
Ты, Геба юная, лилейною рукою  
Сосудъ мнѣ подала: пей здравье и любовь“!

И въ послѣдующіе годы Батюшкову были дороги эти воспоминанія:

„Воспоминанія!  
Лишь вами окрыленный,  
Къ ней мыслію лечу  
И въ часъ полуночи туманной  
Мечтой очарованной,  
Я слышу въ вѣтеркѣ, принесшемъ на крылахъ  
Цвѣтовъ благоуханье—  
Эмилин дыханье“... и пр.

Впрочемъ любовь эта, повидимому, недолго задержала Батюшкова въ Ригѣ; еще въ 1807 году онъ воротился въ Петербургъ; не всѣмъ оправившись отъ раны, онъ долженъ былъ снова лѣчиться. Муравьевы въ это время были въ Москвѣ, но Батюшковъ нашелъ другой совершенно родной пріютъ въ семьѣ Олениныхъ.

## ЛЕКЦІЯ X.

Батюшковъ въ Финляндіи. — Отставка и жизнь въ деревнѣ. — Увлеченіе Торквато Тассо. — Отношеніе къ спору о слоgъ и патриотическому направленію въ литературѣ. — „Видѣніе на берегахъ Леты“. — Переѣздъ въ Москву. — Сближеніе съ литературными кружками.

По возвращеніи въ Петербургъ изъ похода 1807 года, Батюшковъ не оставлялъ военной службы; напротивъ, онъ сдѣлался настоящимъ гвардейскимъ офицеромъ, будучи переведенъ въ тотъ полкъ, гдѣ служилъ другъ его Петинъ и получивъ награды за свою рану. Недолго, однако, онъ жилъ въ Петербургѣ на покоѣ; началась финляндская

война, и Батюшковъ снова долженъ былъ выступить въ походъ. Это было весной 1808 года, и въ Финляндіи Батюшковъ оставался до лѣта слѣдующаго года. Въ войнѣ этой онъ не отличился ничѣмъ и кажется, насколько можно судить по его дружескимъ письмамъ къ Гнѣдичу, война эта порядочно надоѣла ему, и съ самаго ея начала онъ сталъ думать объ отставкѣ. „Мнѣ такъ грустно, такъ я собой недоволенъ и окружающими меня,—пишетъ онъ,—что не знаю, куда дѣваться. Повѣришь ли? Дни такъ единообразны, такъ длинны, что самая вѣчность едва ли скучнѣе. А вы, баловни, жалуетесь на свое состояніе“<sup>1)</sup>. Повидимому, онъ былъ боленъ и физически и нравственно и скоро подалъ въ отставку. „Такъ нездоровъ,—жалуется онъ,—что къ службѣ вовсе не гоюсь, хотя и желалъ бы продолжать“... Съ другой стороны и „люди мнѣ такъ надоѣли и все такъ наскучило, а сердце такъ пусто, надежды такъ мало, что я желалъ бы уничтожиться, уменьшиться, сдѣлаться атомомъ“<sup>2)</sup>... Онъ мечталъ и стремился въ эти минуты грусти и тоски поскорѣе въ деревню; тогда же онъ просилъ сестеръ спить ему „щеголеватый халатъ на ватѣ“. Даже вопросы его о явленіяхъ петербургской литературы и просьбы къ Гнѣдичу о присылкѣ новыхъ книгъ встрѣчаются гораздо рѣже и лишены прежней энергіи.

Природа Финляндіи, довольно грандіозная, но бѣдная, не произвела повидимому никакого впечатлѣнія на Батюшкова. „Ужасное единообразіе!—пишетъ онъ къ Оленину:—Скука стелется по снѣгу, и безъ затѣй сказать, такъ грустно въ сей дикой, бесплодной пустынѣ, безъ книгъ, безъ общества и часто безъ вина, что мы середи съ воскресеньемъ различить не умѣемъ“<sup>3)</sup>. Какъ объяснить послѣ этого его восторженное описаніе природы Финляндіи, которое онъ назвалъ отрывкомъ изъ писемъ русскаго офицера. Оказывается, что отрывокъ этотъ, напечатанный Батюшковымъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1810 года, есть не что иное, какъ переводъ изъ описанія „общей физіогноміи Скандинавскаго Сѣвера“, сдѣланнаго французскимъ естествоиспытателемъ Ласепедомъ въ его „Ages de la Nature“. Батюшковъ все, что говорится здѣсь о Скандинавіи, о характерѣ природы и ея жителей, о поэзіи скальдовъ и міеологіи Одина—отнесъ къ Финляндіи. Невзыскательные современники не замѣтили этого наивнаго подлога и твердили наизусть знаменитое описаніе Финляндіи: „Я видѣлъ страну, близкую къ полюсу, сосѣдную Гиперборейскому морю, гдѣ природа бѣдна и угрюма“,—вошедшее потомъ во всѣ риторики.

<sup>1)</sup> „Русск. Стар.“, 1871 г., т. III. стр. 211.

<sup>2)</sup> *Иб.*, стр. 212—213..

<sup>3)</sup> „Русск. Арх.“ 1867 г., стр. 1444.

Отъ себя Батюшковъ прибавилъ только нѣсколько строкъ, какъ общее воспоминаніе о трудностяхъ финляндской войны, о рядахъ русскихъ могилъ, обозначенныхъ крестами, которые тянутся вдоль дороги или вдоль песчаного морского берега. Самая война потеряла для Батюшкова всѣ свои пріятности; въ его стихотвореніяхъ почти нѣтъ о ней воспоминаній:

„Помнишь ли, питомецъ славы,  
Индесальми страшну ночь?  
Не люблю такой забавы,  
Молвилъ я, и съ музой прочь!  
Между тѣмъ, какъ ты штыками  
Шведовъ за гѣсъ провожалъ,  
Я геройскими руками...  
Ужинъ вамъ приготовлялъ“ <sup>1)</sup>...

Но и здѣсь, въ этой негостепріимной Финляндіи, которая ему такъ не нравится,

„Средь дебрей каменныхъ, средь ужасовъ природы,  
Гдѣ плещутъ о скалы ботническія воды,  
Въ краяхъ изгнанниковъ“ <sup>2)</sup>...

Батюшковъ вспоминаетъ, что онъ былъ вполне счастливъ мечтой, т.-е. поэзіей. Тассо и Петрарка сопровождали его.

Вышедши въ отставку, изъ Финляндіи Батюшковъ уѣхалъ въ вологодскую деревню къ отцу. Здѣсь пробылъ онъ мѣсяцевъ пять, весь конецъ 1809 года, въ большомъ уединеніи, радуясь только письмамъ, которыя получалъ по временамъ. Сначала, повидимому, онъ былъ доволенъ своею жизнію

„Въ странѣ безвѣстной,  
Въ тѣни лѣсовъ густыхъ“ <sup>3)</sup>,

доволенъ „безвѣстностью въ сабинскомъ домикѣ своемъ, посреди глиняныхъ пенатовъ“ <sup>4)</sup>; онъ приглашалъ сюда пріятеля своего Гнѣдича:

„Тебя и нимфы ждуть, объята простирая,  
И фавны дикіе, кроталами играя,  
Придешь—и всѣ къ тебѣ навстрѣчу прибѣгутъ  
Изъ дровъ гамадριάды,  
Изъ рѣкъ обмытыя наяды,  
И даже сельскій попъ, сатиръ и пьяный плутъ“ <sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> „Къ П. А. Петину“.

<sup>2)</sup> „Мечта“.

<sup>3)</sup> „Мои пенаты. Посланіе къ М. и В.“.

<sup>4)</sup> Отвѣтъ Н. И. Гнѣдичу“.

<sup>5)</sup> Русск. Стар. 1877, т. III, стр. 214.

Но мало-по-малу деревенская жизнь одолевала его скукой и однообразием своимъ, а онъ не могъ изъ нея вырваться, ожидая, какъ кажется, оброка съ крестьянъ. Онъ проситъ о присылкѣ ему книги о псовой охотѣ. Онъ жалуется на то, что не знаетъ чѣмъ наполнить свое время въ деревнѣ: „Если бъ зналъ, что здѣсь время за вещь? Что крылья его—свинцовыя? Что убить нечѣмъ? Ужъ я принужденъ читать *трянки* Долгорукова, за неимѣніемъ лучшаго“ <sup>1)</sup>. Въ деревнѣ онъ перечитываетъ старыхъ писателей: „Я читалъ все это время Бняжнина сочиненія. Сколько хорошаго, сколько ума и соли!—и какое холодное, мерзлое дарованіе!“ <sup>2)</sup>. Чтеніе иныхъ произведеній приводитъ Батюшкова иногда въ полное довольство: „Я иногда веселъ, веселъ, какъ царь... Недавно читалъ Державина „Описаніе Потемкинскаго праздника“. Тишина, безмолвіе ночи, сильное устремленіе мыслей, пораженное воображеніе, все это произвело чудесное дѣйствіе. Я вдругъ увидѣлъ передъ собой людей, толпу людей, свѣчки, апельсины, брильянты, царицу, Потемкина, рыбъ, и Богъ знаетъ чего не увидѣлъ, такъ былъ пораженъ мною прочитаннымъ. Виѣ себя побѣждалъ въ сестрѣ... Что съ тобой?.. Оно! Они! Перекрестись голубчикъ! Тутъ-то я насилу опомнился. Но это описаніе сильно врѣзалось въ мою память. Какіе стихи! Прочитай, прочитай, Бога ради, со вниманіемъ. Ничѣмъ никогда я такъ пораженъ не былъ...“ <sup>3)</sup>. Не смотря на бездѣйствіе и скуку, на которыя жалуется Батюшковъ въ деревнѣ, съ этого именно времени начинается болѣе плодотворная дѣятельность его и въ стихахъ и въ прозѣ. Изъ деревни посылаетъ онъ свои произведенія для помѣщенія въ два журнала: „Двѣтникъ“ и „Вѣстникъ Европы“. Торквато Тассъ, — попрежнему любимый поэтъ Батюшкова. Онъ помѣщаетъ въ журналахъ отрывки въ прозѣ и стихахъ своего перевода его поэмы. Несчастія и слава Тасса преслѣдуютъ его воображеніе. Въ своемъ Посланіи „Къ Тассу“ онъ рассказываетъ эту судьбу:

„Торквато! Кто испилъ всѣ горькія отравы  
Печалей и любви, и въ храмъ безсмертной славы,  
Ведомый музами, въ дни юности проникъ,  
Тотъ преждевременно несчастливъ и великъ“.

Повидимому онъ доволенъ, этою дѣятельностью: „Я весь итальянецъ, т.-е. перевожу Тасса въ прозу,—пишетъ онъ къ Гнѣдичу (хотя онъ переводилъ отрывки и стихами).—Хочу учиться и дѣлаю испанскіе успѣхи. Стихи свои переправилъ такъ, что самому люблю.

<sup>1)</sup> Ib., стр. 218.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 219.

<sup>3)</sup> Ib., стр. 225.

Право, лучший судья, послѣ двухъ или трехъ лѣтъ, самъ сочинитель, если онъ не зараженъ величайшимъ порокомъ и величайшею добродѣтелью—самолюбіемъ“<sup>1)</sup>. Но было и въ эту пору какое-то раздвое-  
ніе въ натурѣ Батюшкова, не позволявшее ему надолго оставаться довольнымъ и собою и своими трудами. Такъ было и съ переводомъ Тасса. Болѣе скромный въ своихъ желаніяхъ, болѣе ограниченный въ жиз-  
ненныхъ требованіяхъ, пріятель его Гнѣдичъ нѣсколько лѣтъ си-  
дѣлъ надъ переводомъ Иліады, продолжая сначала трудъ Кострова  
александрійскими стихами, а потомъ уже перевода самостоятель-  
но — гекзаметрами и былъ вполне доволенъ своей работой. Не та-  
ковъ былъ Батюшковъ; самолюбіе его, повидимому, было всегда раз-  
вито въ высшей степени. Онъ скоро разочаровался въ достоин-  
ствѣ и значеніи своего перевода и отзывался о немъ уже саркасти-  
чески. „Ты мнѣ твердишь объ Тассѣ или Тазѣ, — пишетъ онъ къ  
Гнѣдичу, — какъ-будто я сотворенъ по образу и подобию Вожьему за-  
тѣмъ, чтобъ переводить Тасса. Какая слава, какая польза отъ этого?  
Никакой. Только время потерянное, золотое время для сна и лѣни“<sup>2)</sup>...  
Чѣмъ былъ недоволенъ Батюшковъ—мы не знаемъ: такъ неопредѣ-  
ленны его жалобы, хотя въ основѣ ихъ, вѣроятно, заключено силь-  
но развитое самолюбіе. Но чѣмъ было задѣто оно—тоже не извѣстно.  
„И я могъ думать, что у насъ дарованіе безъ интригъ, безъ по-  
занья, безъ какой-то разсчетливости, можетъ быть полезно! И я могъ  
еще дѣлать на воздухѣ замки и ловить дымъ“<sup>3)</sup>.. „А ты мнѣ совѣ-  
туешь переводить Тасса въ этомъ состояніи! Я не знаю, но и этотъ  
Тассъ меня огорчаетъ... Знаю и то, что мой Тассъ или Тазъ не  
такъ хорошъ, какъ ты думаешь... Но, если онъ и хорошъ, то какая  
мнѣ отъ него польза? Лучше ли пойдутъ мои дѣла (о которыхъ  
мнѣ не только говорить, но и слышать гадко), болѣе или менѣе я  
буду счастливъ“<sup>3)</sup>.. Впослѣдствіи Батюшковъ однако снова обра-  
тился къ прежнему любимцу своему Тассу и въ своей знаменитой  
элегіи „Умиравшій Тассъ“ (1817 г.), написанной превосходными сти-  
хами, изобразилъ блестящую, глубоко прочувствованную его апотеозу.

Принадлежа къ молодому поколѣнію, Батюшковъ конечно не могъ  
остаться вдали отъ того литературнаго спора, который именно въ  
это время съ болѣею ожесточенностью происходилъ между пред-  
ставителями древняго и новаго слога. Между Карамзинистами были у  
него пріятели, хотя самъ онъ въ то время вовсе не былъ такимъ  
набожнымъ поклонникомъ Карамзина, какъ Жуковский, и въ друже-

<sup>1)</sup> Ib., стр. 219.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 230.

<sup>3)</sup> Ib., стр. 231.

сихъ писмахъ зло сѣялся надъ его манеромъ. Впрочемъ не видно, чтобъ онъ уважалъ и высоко ставилъ современную русскую словесность — и справедливо. Батюшковъ очень хорошо понималъ всю ея мелочность, всю ея ничтожность, и извѣстность, пріобрѣтенная въ этой области, вовсе не казалась ему завидною. Но особенно не расположенъ онъ былъ конечно къ представителямъ стараго слога, которые въ то время не собирались еще въ „Бесѣду“, а были только членами Россійской Академіи. „У меня есть сосѣдъ, который пишетъ, читаетъ церковную подъ титулами и гражданскую печать, не принуть ли его въ академію? Знаешь ли какія этимъ членамъ надобны кресла? Стулъчаки. О варвары, о Крашенинниковы, о Тредіаковскіе!.. Эта академія не всегда была запакошена, въ ней были, сіяли люди, истинно съ дарованіями“ <sup>1)</sup>. Съ какою заботою Батюшковъ старается удалить Гнѣдича отъ этихъ людей, литературные вкусы которыхъ должны, по его мнѣнію, вредно повліять на переводъ Иліады: „Разстанься, удались (отъ писателей. Повѣрь мнѣ, это нужно. Я знаю этихъ людей; они вблизи гораздо болѣе завидуютъ. Хорошо съ ними водиться тому, кто ищетъ одной извѣстности, а не славы... Я думаю, что вечеръ проведенный у Самариной, или съ умными людьми, наставитъ болѣе въ искусство писать, нежели чтеніе нашихъ варваровъ... Я не знаю, поймешь ли меня, но мнѣ кажется, что лучше прочесть страницу стихотворной прозы изъ Марѣ Посадницы, нежели Шишкова холодныя творенія <sup>2)</sup>... Я слогъ ихъ сравниваю съ рѣкой, въ которую нельзя погрузиться, не омочивъ себя... Мнѣ кажется, что гораздо полезнѣе чтеніе Библіи, нежели всѣхъ нашихъ академическихъ сочиненій, ибо въ первой есть поэзія“ <sup>3)</sup>... Въ эту пору господствовало въ литературѣ патріотическое направленіе. РаSTOPчинъ печаталъ свои „Мысли на Красномъ Крыльцѣ“; С. Глинка шумѣлъ съ своимъ журналомъ. Батюшковъ очень хорошо разглядѣлъ всю фальшь этого направленія. Вотъ что онъ пишетъ Гнѣдичу: „Любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками, и что еще болѣе — цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое? Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю, что и ты умѣешь, и такъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы — не любятъ, или не умѣютъ любить русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести

<sup>1)</sup> Ib., стр. 220.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 221.

<sup>3)</sup> Ibidem.



жизнь на жертву отечеству... Да дѣло не о томъ: Глинка называетъ Вѣстникъ свой „Русскимъ“, какъ будто пишетъ въ Китаѣ, для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжать, нашептываютъ: русское, русское, русское... а я потерялъ вовсе терпѣніе“ <sup>1)</sup>... Естественно, что при такомъ разладѣ съ господствовавшимъ въ тогдашней литературѣ патріотическимъ направленіемъ, Батюшковъ и на всю русскую исторію смотрѣлъ не ихъ глазами. Она начиналась для него только съ вѣка нашего просвѣщенія. „Невозможно читать русской исторіи хладнокровно, т.-е. съ разсужденіемъ,—говоритъ онъ.—Я сто разъ принимался; все напрасно. Она дѣлается интересной только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ; читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, литвы и пр. и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человекъ. Нѣтъ середины. *Великій*, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу, *мелкій*, ибо занимаешься пустяками“ <sup>2)</sup>... Батюшковъ смѣется надъ такими любителями исторіи, какъ тогдашній литераторъ Писаревъ, издатель сборника „Калужскіе Вечера“, который „пишетъ себѣ, что такой-то царь, такой-то князь игралъ на *скомонѣхъ*, былъ лицомъ бѣлымъ, съѣлъ рынду батогами и пр.“ <sup>3)</sup>.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Батюшковъ имѣлъ свои опредѣленные политическія убѣжденія, былъ вообще человекъ очень развитой и относился ко многому вовсе не равнодушно, не предпочитая всему свой стихотворный талантъ; напротивъ, онъ много разъ высказывалъ, какъ онъ мало цѣнитъ этотъ талантъ свой. Что же мѣшало Батюшкову, человеку съ умомъ и литературнымъ талантомъ, какъ мы видѣли, излагать свои мнѣнія и убѣжденія тамъ, гдѣ они могли сдѣлаться достояніемъ цѣлаго общества, а не беречь ихъ про себя или для интимной бесѣды вдвоемъ? Въ литературѣ онъ являлся только какъ поэтъ-проповѣдникъ эпикурейскаго наслажденія жизнью или въ прозѣ высказывалъ незначительныя общія мѣста и разсуждалъ о вопросахъ, не имѣющихъ вовсе прямого отношенія къ русской жизни; ее онъ почти игнорировалъ. Причина такого обстоятельства заключалась конечно во-первыхъ, въ томъ, что литература наша не привыкла сколько-нибудь съ участіемъ обращаться къ дѣйствитель-

<sup>1)</sup> Ib., стр. 228—229.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 227.

<sup>3)</sup> Ibidem.

ности и къ вопросам общественной жизни, что она преимущественно занята была формальною стороною, что она только тогда обращалась къ дѣйствительности и къ общественнымъ вопросамъ, когда на нихъ указывала власть, а при молчаніи власти литературѣ не было никакого дѣла до жизни. Съ другой стороны, это происходило и отъ того постоянного стѣсненія русской мысли, которое она испытывала отъ цензуры. Подъ ея парализующимъ вліяніемъ мысль въ печати являлась совершенно безучастною къ жизни, приличною, но безсодержательною; ея энергія и сила сохранялись только для интимной бесѣды съ друзьями и здѣсь надобно искать происхожденіе и необходимость существованія тѣхъ кружковъ, которые поддерживали свободныя преданія мысли нашей и не дозволяли ей совсѣмъ заглухнуть. Такъ и Батюшковъ жилъ въ кружкѣ лучшихъ умственныхъ представителей того поколѣнія, къ которому принадлежалъ онъ. Конечно не одна формальная сторона литературы, не отдѣлка стиха соединяла въ одинъ кружокъ съ Батюшковымъ и Жуковскимъ такихъ людей, какъ Блудовъ, Дашковъ, Вяземскій и др., которые слѣдили за духовнымъ развитіемъ Европы и были въ ней, какъ дома. Если бъ они оставались при однихъ вопросахъ литературы, то нѣкоторые изъ нихъ не могли бы сдѣлаться такими замѣчательными государственными людьми, какими они были. Къ сожалѣнію, въ печати отъ этой умственной жизни кружка остался ничтожный слѣдъ.

Батюшковъ поэтому цѣнилъ свободную мысль, которой впрочемъ не давали хода. Однимъ изъ издателей журнала „Цвѣтникъ“, въ которомъ онъ помѣстидъ нѣсколько эпиграммъ, въ то время былъ Беницкій, молодой человекъ съ большимъ дарованіемъ, умершій въ 1809 г. отъ чахотки. Получивъ извѣстіе о его смерти, Батюшковъ искренно пожалѣлъ его: „Больно жаль Беницкаго!—пишетъ онъ Гнѣдичу. Жильбертъ въ немъ воскресъ и умеръ. Большія дарованія, рѣдкій, свѣтлый умъ; жаль, что залилось желчью; а его болѣзнь, я думаю, превратилась въ нервическую; я на себѣ испыталъ это ужасное положеніе: чувствовать все гораздо сильнѣе, но съ меньшими тѣлесными силами!“<sup>1)</sup> „Я читалъ нынѣ „умнаго и дурака“ въ „Талии“. Онъ какъ предвидѣлъ конецъ свой. Все, что ни написано, сильно, даже ужасно, слишкомъ сильно, написано желчью.“<sup>2)</sup> „Талия“, о которой говоритъ Батюшковъ, былъ сборникъ въ стихахъ и прозѣ, котораго первую часть Беницкій издалъ въ 1807 году; вторая часть была отпечатана, незадолго до смерти издателя, въ 1809 году, но задержана цензурой.

<sup>1)</sup> Ib., стр. 210.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 222.

Естественно, что при такомъ взглядѣ на литературу, Батюшковъ смѣялся надъ современными ея представителями, особенно надъ тѣми, которые принадлежали къ отживающему поколѣнію, къ партіи Шишкова. Кромѣ эпиграммъ на нихъ, Батюшковъ написалъ тогда въ деревнѣ довольно большое стихотвореніе „Видѣніе на берегахъ Леты“, которое не было тогда напечатано, вѣроятно, по цензурнымъ условіямъ и сдѣлалось извѣстно въ полномъ видѣ только въ 1861 году. <sup>1)</sup> Батюшковъ переслалъ его къ Гнѣдичу изъ деревни и тотъ распространилъ его въ петербургскомъ кружкѣ литераторовъ. Авторъ рассказываетъ свой фантастическій сонъ, который тяжело спустился на него вслѣдствіе утомленія отъ чтенія поэмъ Боброва. Ему мерещится, что внезапная смерть постигла нашихъ писателей, вѣсть объ этой смерти Меркурій приноситъ въ Олимпу, гдѣ находятся тѣни нашихъ писателей прошлаго вѣка и говорить, что всѣ они сейчасъ вридутъ на берега тихой Леты и будутъ погружать въ ея волны свои сочиненія:

„Они въ рѣкѣ сей погружатъ  
Себя и вмѣстѣ юныхъ чадъ.  
Здѣсь опытъ будетъ правосуденъ:  
Стихи и проза безразсудны  
Потонутъ въ мигъ“...

Всѣ они собираются на встрѣчу своихъ новыхъ сотоварищей:

„Вотъ они

говоритъ Батюшковъ, пародируя рассказъ о тѣняхъ изъ VI пѣсни Энеиды:

„Подобно, какъ въ осенніи дни,  
Поблѣвши листія древесны  
Что буря въ долахъ разнесла,  
Такъ тѣнямъ симъ не вѣсть числа!  
Идутъ толпой въ ущелья тѣсны  
Къ рѣкѣ забвенія стиховъ;  
Идутъ подъ бременемъ трудовъ,  
Безгласны, блѣдны приступаютъ,  
Любезныхъ дѣтищей купаютъ  
И богѣ не зрятъ въ волнахъ...“

Изъ массы этихъ тѣней выдѣляются: Мерзляковъ, какъ переводчикъ Виргилія („Эклоги“ 1807 г.), Захаровъ, Князь Шаликовъ и Макаровъ, какъ представители карамзинской сентиментальности:

„Какія странныя обновы!  
Отъ самыхъ ногъ до головы

<sup>1)</sup> Библиографическія Записки 1861 г., стр. 638—643.

Обшиты плаття ихъ листами.  
Гдѣ провой дѣтской и стихами  
Иной кладбище, мавзолей,  
Другой журналъ души своей,  
Другой Меланію, Зюльмису,  
Глафиру, Хлою, Милитрису,  
Луну, Веспера, голубковъ,  
Барановъ, кошекъ и котовъ  
Воспѣлъ въ стихахъ своихъ уявленныхъ  
На всякій ладъ, для женщинъ *милыхъ*“.

Затѣмъ выступаетъ С. Глинка съ своимъ хвастливымъ патриотизмомъ, потомъ три женщины-писательницы, изъ которыхъ одна Буннина, потомъ Бобровъ „виноносный гений“. За нимъ

„Призракъ чудесный и великій  
Въ обширномъ дѣдовскомъ возкѣ  
Тимонько тянется къ рѣкѣ.  
На мѣсто клячей запряжены  
Тамъ люди, въ хомуты вложенны,  
И тянутъ кое-какъ гужомъ“

На вопросъ адскаго судьи: кто они—

„Мы академіи поэты русски“—

отвѣчаетъ главная тѣнь, а несчастные, превращенные въ клячей

„Сочлены юные мои (т.-е. Шишкова):  
Любовью къ славѣ воспаленны,  
Они Печарскаго поютъ  
И топятъ старца Гермогена.  
Ихъ мысль на небеса вперенна,  
Слова жъ изъ Библіи берутъ.  
Стихи ихъ хоть немного жестки,  
Но истинно варяго-русски“.

Самъ Шишковъ говорить о себѣ:

„Я также членъ;  
Кургановымъ писать учень,  
Извѣстенъ сталъ не пустяками,  
Терпѣньемъ, потомъ и трудами.  
Я есмь вѣло Славенофилъ  
Сказалъ и книгу растворилъ“...

Изъ всѣхъ сочиненій не утонули въ рѣкѣ забвенія только сочиненія Крылова, личность котораго выставилъ Батюшковъ очень забавно, зная его хорошо и часто встрѣчая его у Олениныхъ:

„Тутъ тѣнь къ Миносу подошла  
Неряхой и въ нарядѣ странномъ:

Въ широкомъ шафорѣ издранномъ,  
Въ пуху, съ нечесаной главой,  
Съ салфеткой, съ книгой подъ рукой;  
„Меня врасплохъ, она сказала,  
Въ обѣдъ нарочно смерть застала;  
Но съ вами я опять готовъ  
Еще хотѣ съизнова отвѣдать  
Вина и адскихъ пироговъ;  
Теперь же часъ, друзья, обѣдать,  
Я вамъ знакомый, я Крыловъ!“.

Васнописецъ прямо пошелъ обѣдать въ рай. На это шуточное произведение, которое должно было рассердить многихъ, Батюшковъ и смотрѣлъ какъ на шутку. „Этакіе стихи слишкомъ легко писать и чести большой не приносятъ“—говорилъ онъ <sup>1)</sup>. Но онъ интересовался тѣмъ впечатлѣніемъ, которое должно было произвести „Видѣніе“ между петербургскими литераторами и спрашивалъ о томъ Гнѣдича. „Замѣть, кто всѣхъ глупѣе, тотъ болѣе и прогнѣвается“ <sup>2)</sup>. Онъ собирался помѣстить въ „Видѣніи“ Висковатого, Станевича, Захарова, Шаховскаго и др., „но Карамзина, писалъ онъ, я топить не смѣю, ибо его почитаю...“ <sup>3)</sup> Я бы могъ написать все гораздо злѣе..., но убоился, ибо тогда не было бы смѣшно“ <sup>3)</sup>.

Естественно, что Батюшковъ не могъ высоко ставить свое литературное призваніе, именно потому, что оно было безцвѣтно и не могло приносить пользы обществу, которому вовсе не нужны были стихи въ классическомъ вкусѣ: „Я гривны не дамъ за то, чтобы быть славнымъ писателемъ, ниже Расиномъ, а хочу быть счастливымъ“ <sup>4)</sup>. Оттого, что литературная дѣятельность не имѣла у Батюшкова опредѣленной цѣли, на него находять сомнѣніе и тоска: „Я теперь-то чувствую, что дарованію нужно побужденіе и одобреніе; бѣда, если самолюбіе заснетъ, а у меня вздремало. Я становлюсь въ тягость себѣ и ни къ чему не способенъ. Не знаю, въ прокъ ли то раннія несчастія и опытность? Бѣда, когда разсудка не прибавятъ, а сердце высушатъ. Я пилъ горести, пью и буду пить. Если бъ ты зналъ, какъ мнѣ скучно“ <sup>5)</sup>. Въ выборѣ дѣятельности онъ не знаетъ на чемъ остановиться, а ему только 22 года. Служить онъ считаетъ необходимою, ибо безъ службы у него вѣтъ средствъ для жизни; но гдѣ и какъ? Просить и хлопотать о себѣ претяствуетъ гордость. То ему хочется въ иностранную миссію, въ Италію, то просто путе-

<sup>1)</sup> Ib., стр. 227.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 230.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 230.

<sup>4)</sup> Ib., стр. 234.

<sup>5)</sup> Ib., стр. 220.

шествовать, то снова свѣтается онъ надъ своими планами и намѣреніями. „Съ моею *дѣятельностію* и лѣнью, говоритъ Батюшковъ, я буду совершенно несчастливъ въ деревнѣ, и въ Москвѣ и вездѣ“... <sup>1)</sup> Онъ жалуется, что предъ этимъ служилъ онъ несчастливо, служилъ изъ за креста и того не получилъ. „Если я проживу еще десять лѣтъ, то сойду съ ума. Право жизнь скучна, ничего не утѣшаетъ. Время летитъ то скоро, то тихо, зла болѣе, нежели добра; глупости болѣе, нежели ума; да что и въ умѣ?.. Въ домѣ у меня такъ тихо, собака дремлетъ у ногъ моихъ, глядя на огонь въ печкѣ; сестра въ другихъ комнатахъ пересчитываетъ, я думаю, старыя письма... Я сто разъ бралъ книгу и книга падала изъ рукъ. Мнѣ не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что дѣлать?..“ <sup>2)</sup> Холодомъ грусти и безотраднымъ отчаяніемъ вѣетъ отъ этой небольшой картинки въ русскомъ вкусѣ, гдѣ изображается тоска души, неудовлетворяемой дѣйствительностію. А еще говорятъ, что Батюшковъ былъ поэтомъ изящнаго довольства и наслажденія жизнию. Скорѣе передъ нами крупный образчикъ представителя тоскующихъ поколѣній, какихъ немало выработывала русская жизнь. Это полная неудовлетворенность: ни дѣятельности, ни цѣли, ни намѣреній. Батюшковъ, отъ скуки, начинаетъ читать метафизику. Онъ собирается въ Москву, затѣмъ на Кавказскія минеральныя воды. „Путешествіе слѣдилось потребностью души моею“,—пишетъ онъ къ Гнѣдичу <sup>3)</sup>. Это убѣжище отъ скуки.

Получивъ, какъ кажется, деревенскій оброкъ, что давало ему средства и освобождало отъ необходимости жить въ глуши, Батюшковъ въ декабрѣ 1809 года поѣхалъ въ Москву, гдѣ жило родственное ему семейство Муравьевыхъ: вдова его дяди съ дѣтьми. Муравьева давно вызывала его изъ деревенскаго бездѣйствія; дѣти ея были еще малы и Батюшковъ, въ качествѣ родственника былъ необходимъ въ семьѣ, къ которой привязывала его благодарность за заботы о дѣтствѣ его. На К. Θ. Муравьеву онъ смотрѣлъ, какъ любящій сынъ, а письма его къ ней изъ послѣдующаго времени свидѣтельствуютъ о той глубокой привязанности, какую питалъ онъ къ ней и ея дѣтямъ. Священнымъ долгомъ считалъ онъ изданіе сочиненій своего дяди, которое и выполнилъ потомъ. Кромѣ Муравьевой, Батюшковъ нашелъ въ Москвѣ въ эту пору Жуковского, Вяземскаго, которые потомъ познакомили его съ Дашковымъ, Блудовымъ, ввели къ Карамзину и Дмитріеву.

<sup>1)</sup> Ibidem. стр. 223.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 227.

<sup>3)</sup> Ib., стр. 234.

## ЛЕКЦІЯ XI.

Батюшковъ въ Москвѣ. — Поступленіе въ военную службу. — Посланіе къ Дашкову. — Походъ въ Европу.

Съ годъ прожилъ Батюшковъ въ Москвѣ и это время считалъ счастливѣйшимъ въ своей жизни, всегда вспоминая его и сожалѣя о немъ: „Какъ мы переѣздили съ онаго счастливаго времени, пишетъ онъ въ 1814 году къ Жуковскому, когда у Дѣвичьяго монастыря ты жилъ съ музами въ сладкой бесѣдѣ! Не узнаю, былъ ли ты тогда счастливъ, но я думаю, что это время моей жизни было счастливѣйшее: ни заботъ, ни попеченій, ни предвидѣній! Всегда съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени“...<sup>1)</sup> Въ самомъ дѣлѣ, послѣ однообразія и скуки деревенской жизни, съ достаточными средствами въ карманѣ, Батюшковъ, очутившись въ тогдашней веселой Москвѣ, а ему было только 23 года! Его ждали здѣсь новыя литературныя связи и дружба. Въ домѣ Муравьевой онъ познакомился съ Карамзиннымъ, который смотрѣлъ на эту замѣчательную женщину, мать трехъ братьевъ декабристовъ, съ чувствомъ глубокаго уваженія, какъ на жену своего благодѣтеля. Карамзинъ познакомилъ его съ Дмитріевымъ, Жуковскій и Вяземскій — съ Блудовымъ и Дашковымъ. Составился такимъ образомъ близкій и тѣсный кружокъ писателей-друзей, вдали однако отъ другихъ представителей литературы, кружокъ съ болѣе возвышенными стремленіями людей единомысленныхъ. Этотъ кружокъ людей мыслящихъ и преданныхъ литературѣ былъ дороже всѣхъ удовольствій Москвы для Батюшкова,

„Который посреди разсѣяній столицы  
Тихонько замѣчалъ характеры и лица  
Забавныхъ москвичей,  
Который съ годъ зѣвалъ на балахъ богачей.  
Зѣвалъ въ концертѣ и въ собраніи,  
Зѣвалъ на скачкѣ, на гуляньи,  
Вездѣ равно зѣвалъ,  
Но дружбы и тебя нигдѣ не забывалъ“<sup>2)</sup>.

И съ прежнимъ петербургскимъ другомъ своимъ и товарищемъ походовъ — Петинимъ, который лѣчился отъ ранъ, встрѣтился Батюшковъ въ Москвѣ<sup>3)</sup>. Плодомъ этого пребыванія Батюшкова въ Москвѣ,

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1867 г. стр. 1468.

<sup>2)</sup> „Прогулка по Москвѣ“.

<sup>3)</sup> Москвитянинъ 1851 г., № 5, стр. 14.

может служить небольшое произведение, не вошедшее въ собраніе его сочиненій и найденное впоследствии въ бумагахъ, оставшихся послѣ Оленина. „Прогулка по Москвѣ“<sup>1)</sup> По всей вѣроятности это было письмо къ Гнѣдичу, который и передать его Оленину.

Умъ и наблюдательность, съ замѣчательнымъ искусствомъ представившіе контрасты Москвы и ея общества, которыми она всегда отличалась, сквозятъ здѣсь въ каждой строчкѣ, не смотря на то, что Батюшковъ вовсе не думалъ объ описаніи Москвы, и сообщилъ другу въ письмѣ нѣсколько отрывочныхъ наблюдений. Онъ оправдывается тѣмъ, что не имѣетъ никакихъ свѣдѣній для подробнаго описанія Москвы и притомъ странно лѣнивъ для этого дѣла: „И такъ, мимоходомъ, страиваю изъ дома въ домъ, съ гулянья на гулянье, съ ужина на ужинъ, я напишу нѣсколько замѣчаній о городѣ и о нравахъ жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку“... Но сколько въ этихъ наброскахъ ума и таланта! Въ такихъ-то именно сочиненіяхъ и въ письмахъ въ особенности надобно искать Батюшкова настоящаго; а не въ стихотворныхъ наліяніяхъ классическаго эпикуреизма, въ которыхъ не было ничего общаго съ окружающею его русскою жизнію.

Москва, какъ всегда, представляла и въ то время для Батюшкова, странное смѣшеніе противоположностей. Мѣстное наблюденіе ихъ составляетъ всю сущность характеристики. „Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людскости и варварства. Не удивляйся, мой другъ. Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества... Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ“. Съ удивительною наблюдательностію, Батюшковъ подмѣтилъ ту общую подражательность Европѣ, которою страдало тогдашнее русское общество и выставилъ нѣсколько типовъ этихъ подражателей англичанамъ нѣмцамъ, французамъ... „Отчего же они всѣ хотятъ прослыть иностранцами, спрашиваетъ онъ, картавятъ и кривляются? — отчего? Я на это буду отвѣчать послѣ“... Къ сожалѣнію этого отвѣта нѣтъ въ сочиненіяхъ Батюшкова, а очевидно, что онъ могъ бы дать его. „Вотъ большая карета, которую насилу тянетъ четверня: въ ней чудотворный образъ, передъ нимъ монахъ съ большою свѣчей. Вотъ старинная Москва и остатокъ древняго обряда прародителей... Посторонись! Этотъ ландо насъ задавитъ: въ немъ сидитъ щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера — все въ послѣднемъ вкусѣ.

<sup>1)</sup> Рус. Арх. 1869 г. стр. 1191—1208.



Вотъ и новая Москва, новѣйшіе обычаи!.. Москва до пожара 12 года представляла много оригинальныхъ типовъ, теперь давно исчезнувшихъ. Сюда прїѣзжали на отдыхъ послѣ честолобивой карьеры въ Петербургѣ, которая вдругъ почему либо прекратилась; сюда прїѣзжали наслаждаться жизни послѣ широкаго и безнаказаннаго грабительства въ провинціи. „Здѣсь мы видимъ тѣни великихъ людей, говоритъ Батюшковъ, которые, отыгравъ важныя роли въ свѣтѣ, запросто прогуливаются въ Москвѣ. Многие изъ нихъ пережили свою славу. Eheu fugaces“!.. Вотъ изображеніе одного изъ этихъ великихъ людей, проживающаго громадное состояніе: „Здѣсь предъ нами огромныя палаты, съ высокими, мраморными столбами, съ большими подъѣздами. Этотъ домъ открытъ для всякаго... Хозяинъ цѣлый день звѣкаетъ у камина, между тѣмъ, какъ вокругъ его все въ движеніи, роговая музыка гремитъ на хорахъ, вся челядь въ галлунахъ, и роскошь опрокинула на столъ полный рогъ изобилія. Въ этомъ человѣкѣ всѣ страсти исчезли, его сердце, его умъ и душа износились и обветшали“... Или вотъ еще картина изъ жизни старинныхъ москвичей: „Большой дворъ, заваленный соромъ и дровами, позади огородъ съ простыми овощами, а подъ домомъ большой подъѣздъ съ перилами, какъ водилось у нашихъ дѣдовъ. Войдя въ домъ, мы могли бы увидать въ прихожей слугъ оборванныхъ, грубыхъ и пьяныхъ, которые отъ утра до ночи играютъ въ карты. Комнаты безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, на одной стѣнѣ большіе портреты въ ростъ царей русскихъ, а напротивъ Юдией, держащая окровавленную голову Олоферна надъ большимъ серебрянымъ блюдомъ, и обнаженная Клеопатра съ большой змѣей—чудесныя произведенія кисти домашняго маляра. Сквозь окна мы можемъ видѣть столъ, на которомъ стоятъ щи, каша въ горшкахъ, грибы и бутылки съ квасомъ. Хозяинъ въ тулупѣ, хозяйка въ салопѣ, по правую сторону приходской попѣ, приходской учитель и шутъ, а по лѣвую толпа дѣтей, старука колдунья, мадамъ и гувернеръ изъ нѣмцевъ. О! Это домъ стараго москвича, богомольнаго князя, который помнитъ страхъ Божій и воеводство“... Или вотъ еще старинный московскій типъ: „Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу кумъ-болтунѣ—спорищѣ, пожилой бригадиршѣ, жарко наруманенной, набѣленной и закутанной въ черную мантилью. Посторонитесь, вы господа, и вы, молодые дѣвушки! Она вашъ Аргусъ неусыпный, ваша совѣсть, все знаетъ, все замѣчаетъ и завтра же пойдетъ рассказывать по монастырямъ“... Еще нѣсколько подобныхъ типовъ замѣчаетъ Батюшковъ; ихъ было конечно множество: „Самый Лондонъ бѣдѣе Москвы по части нравственныхъ каррикатуръ—замѣчаетъ онъ. Здѣсь всякій можетъ дурачиться, какъ хочетъ, жить и умереть чудачкомъ“... Москва



назвать великою пружиною: она поясняет много странных обстоятельств". Батюшковъ говоритъ, что недавно прїѣзжавшая въ Москву знаменитая трагическая актриса, госпожа Жоржъ, очень скоро накутила большому московскому свѣту. „Сію холодность къ дарованію издатель Русскаго Вѣстника готовъ приписать къ патріотизму; онъ весьма грубо ошибается“...

Надобно согласиться, что эти очерки Москвы, сдѣланные Батюшковымъ, даютъ намъ довольно ясное представленіе о его талантѣ и показываютъ, какъ могъ бы онъ обращаться съ дѣйствительностію и изображать ее, если бъ не мѣшали тому условія тогдашней литературы. Но не смотря на недовольство Москвою, не смотря на томившую его скуку, Батюшковъ былъ доволенъ своимъ пребываніемъ въ Москвѣ. Большая часть его прозаическихъ и стихотворныхъ переводовъ были напечатаны въ московскомъ журналѣ „Вѣстникъ Европы“ 1810 года. Но, вѣроятно, онъ не могъ найти въ Москвѣ приличной для себя дѣятельности и съ намѣреніемъ служить перѣхалъ въ Петербургъ въ январѣ 1812 года. По старой связи своей съ Оленинымъ, который былъ директоромъ Публичной бібліотеки, Батюшковъ скоро получилъ въ ней мѣсто бібліотекаря и сдѣлался товарищемъ по службѣ друга своего Гнѣдича и Крылова. Служба эта конечно была номинальная, что было легко при покровительствѣ Оленина. Нельзя же предположить, что Батюшковъ усердно занимался составленіемъ каталоговъ и разстановкою книгъ по полкамъ. Въ домѣ Олениныхъ, гдѣ собиралась та часть высшаго петербургскаго общества, которая интересовалась словесностію и искусствами, Батюшковъ сблизился, особенно при посредствѣ московскихъ друзей своихъ, съ Влудовымъ, Тургеневыми и Уваровымъ. Въ этомъ же домѣ онъ встрѣтилъ небогатую дѣвицу Фурманъ, которая скоро сдѣлалась предметомъ его сердечнаго влеченія. Последнее осталось неудовлетвореннымъ, намъ не извѣстно по какой причинѣ, и эта неудовлетворенность въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ имѣла свое невыгодное вліяніе на душу Батюшкова и бесполезно только раздражала его. Не былъ доволенъ Батюшковъ также и своею службою. Повидимому, она не удовлетворяла его дѣятельности и недостаточно обезпечивала его, такъ какъ его отецъ, управляя материнскимъ имѣніемъ, немного вообще давалъ дѣтямъ отъ перваго брака.

Долго ли онъ служилъ въ бібліотекѣ и когда вышелъ въ отставку—мы не знаемъ; извѣстно только, что въ августѣ 1812 года, незадолго до занятія Москвы французами, Батюшковъ былъ въ этомъ городѣ, вѣроятно для того, чтобъ быть при Муравьевой и оказать ей и ея семейству помощь, столь необходимую въ то трудное время, которое переживала Россія. Его друзей ужъ не было въ

Москвѣ. Батюшкову, что совершенно понятно, очень хотѣлось ска-  
зать въ ту горячую пору въ армію, но ему нельзя было бросить на  
произволь судьбы Муравьеву, какъ онъ писалъ вскорѣ послѣ Боро-  
дина въ князю Вяземскому, который въ это время уѣхалъ съ своею  
семьею отъ французовъ въ Вологду <sup>1)</sup>). Батюшкову пришлось прово-  
жать Муравьеву изъ Москвы до Нижняго. Въ этомъ городѣ онъ про-  
жилъ недолго, порываясь въ армію, гдѣ онъ, по словамъ его „хо-  
тѣлъ жить физически“, гдѣ онъ надѣялся „забыть на время соб-  
ственныя горести и горести друзей“ <sup>2)</sup>).

Паденіе Москвы сильно отозвалось въ его сердцѣ. Подъ вліяніемъ  
этого впечатлѣнія, онъ становился даже несправедливымъ: „Москвы  
нѣтъ. Потери невозвратны! Гибель друзей, святыни, мирное убѣ-  
жище наукъ, все осквернено шайкою варваровъ. Вотъ плоды просвѣ-  
щенія или, лучше сказать, разврата остроумнѣйшаго народа, кото-  
рый гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда бу-  
детъ ему конецъ? На чемъ основать надежды? Чѣмъ насла-  
ждаться“? <sup>3)</sup>). Оставивъ и устроивъ Муравьеву и семейство ея въ Ниж-  
немъ, Батюшковъ поѣхалъ въ Вологду, вѣроятно для свиданія съ  
отцемъ и сестрами и для полученія денегъ, съ которыми надобно  
было ѣхать въ армію. Ему довольно долго пришлось тогда по воз-  
вратѣ прожить въ Нижнемъ, гдѣ собрались московскіе эмигранты.  
Скука мучила его; его бездѣйствіе объясняется тѣмъ, что, поступивъ  
снова въ военную службу, Батюшковъ назначенъ былъ адъютантомъ  
къ генералу Бахметеву и долженъ былъ ждать, пока онъ вылѣчится  
отъ ранъ, полученныхъ имъ въ Бородинскомъ сраженіи. Въ это время  
написано было Батюшковымъ знаменитое посланіе къ Дашкову, въ  
которомъ яркими красками выражается дѣйствительность и глубокое  
чувство любви къ родинѣ, жившее въ груди поэта и стоявшее для  
него тогда выше наслажденія и поэзіи:

„Мой другъ! Я видѣлъ море зла  
И неба мстительнаго кары;  
Враговъ неистовыхъ дѣла,  
Войну и гибельны пожары;  
Я видѣлъ сонмы богачей,  
Бѣгущихъ въ рубищахъ издранныхъ;  
Я видѣлъ бѣдныхъ матерей,  
Изъ милой родины изгнанныхъ!  
Я на распутьи видѣлъ ихъ,

<sup>1)</sup> Русс. Арх. 1866 г., стр. 222.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 223.

<sup>3)</sup> Ibidem.

Какъ, къ персямъ чады прижавъ грудныхъ,  
Онъ въ отчаяньи рыдалъ,  
И съ новымъ трепетомъ взирали  
На небо рдяное кругомъ“...

Разсказавъ свои ужасныя московскія впечатлѣнія, когда онъ уви-  
дѣлъ Москву, опустошенную, разоренную, обгорѣлую, и тамъ, гдѣ  
прежде было величіе, роскошь и торжествующая святыня —

„Лишь угли, прахъ и кампей горы,  
Лишь груды тѣлъ кругомъ рѣки,  
Лишь нищихъ блѣдныя полки  
Вездѣ мои встрѣчали взоры!“...

Батюшковъ обращается съ упрекомъ къ своему другу за то, что  
онъ велитъ ему

...„пѣть любовь и радость,  
Безпечность, счастье и покой  
И шумную за чашей младость;  
Среди военныхъ непогодъ,  
При страшномъ заревѣ столицы  
На голосъ мирныя цѣвницы  
Сзывать пастушекъ хороводъ“...

Подобный совѣтъ, если онъ дѣйствительно былъ данъ поэту Даш-  
ковымъ въ ту тяжелую пору, вовсе не рекомендуетъ послѣдняго и  
его развитіе. Дашковъ не понималъ Батюшкова, и поэтъ имѣлъ пол-  
ное право презрительно отнестись къ его совѣту:

„Мнѣ пѣть коварныя забавы —

говорить онъ съ глубокимъ чувствомъ —

Армидѣ и вѣтреныхъ цирцей  
Среди могилъ моихъ друзей,  
Утраченныхъ на полѣ славы!...  
Нѣтъ, нѣтъ! талантъ погибни мой  
И лира, дружбѣ драгоцѣнна,  
Когда ты будешь мной забвенна,  
Москва, отчизны край влатой!  
Нѣтъ, нѣтъ! пока на полѣ чести  
За древній градъ моихъ отцовъ  
Не понесу я въ жертву мести  
И жизнь и къ родинѣ любовь;  
Пока съ израненнымъ героемъ,  
Кому извѣстенъ къ славы путь,  
Три раза не поставлю грудь  
Передъ враговъ сомкнутымъ строемъ  
— Мой другъ, дотолѣ будутъ мнѣ  
Всѣ чужды музы и Хариты,  
Вѣнки, рукой любви свиты,  
И радость шумная въ винѣ!“

Но „изранный герой“, съ которымъ Батюшковъ долженъ былъ ѣхать въ армію, т. е. Бахметевъ, не поправлялся; бездѣйствіе томило его и, по согласію съ своимъ начальникомъ, получивъ отъ него письмо, Батюшковъ рѣшился ѣхать къ извѣстному въ войну 1812 года генералу Раевскому, котораго и нагналъ въ Германію. Остальную часть похода онъ сдѣлалъ при немъ, въ качествѣ его адъютанта. Ему пришлось участвовать въ сраженіи подъ Кульмомъ и при Лейпцигѣ. Въ послѣднемъ онъ потерялъ друга своей молодости Петина, который былъ убитъ на 26 году жизни. Эта смерть глубоко поразила его. Какъ нашелъ Батюшковъ мертвое тѣло своего друга и какъ онъ похоронилъ его въ небольшой нѣмецкой деревнѣ, по близости Лейпцига, обо всемъ этомъ онъ разсказалъ подробно въ своемъ „воспоминаніи о Петинѣ“<sup>1)</sup>. Петинъ былъ дорогъ для Батюшкова „памятью сердца“; съ нимъ связанъ онъ былъ не литературными и художественными интересами, а молодостью и воспоминаніями былой жизни. Его молодая смерть правилась Батюшкову. „Что терпимъ мы, умирая въ полнотѣ жизни, на полѣ чести, славы, въ виду тысячи людей, раздѣляющихъ съ нами опасность? спрашиваетъ онъ. Нѣсколько наслажденій краткихъ, но зато лишаемся съ ними и терзаній честолюбія, и сей опытности, которая встрѣчаетъ насъ на срединѣ пути, подобно страшному призраку. Мы умираемъ; но зато память о насъ долго живетъ въ сердцахъ друзей, не помраченная ни однимъ облакомъ, чистая, свѣтлая, какъ розовое утро майскаго дня“...

Воспоминаніе о немъ осталось на всю жизнь. На кораблѣ, когда онъ плылъ на родину изъ Англіи, онъ вспомнилъ о немъ въ прекрасной элегіи „Тѣнь друга“, которая явилась ему въ мечтахъ:

„Но видъ не страшень былъ:  
Чело глубокихъ ранъ не сохраняло,  
Какъ утро майское веселіемъ цвѣло  
И все небесное душѣ напоминало“...

Онъ вспомнилъ, какъ онъ хоронилъ Петина „съ мольбой, рыданьемъ и слезами“...

„Я ношу сей образъ въ душѣ, какъ залогъ священный; онъ будетъ путеводителемъ къ добру — говорилъ Батюшковъ впослѣдствіи; съ нимъ неразлучный, я не стану блѣднѣть подъ ядрами, не измѣню чести, не оставлю ея знамени; здѣсь мнѣ осталось одно воспоминаніе о другѣ: воспоминаніе — прелестный цвѣтъ посреди пустыней, могилъ и развалинъ жизни“.

<sup>1)</sup> Москв. 1851 г., № 5 стр. 11—20.

Еслибы не скорбь о потерѣ друга, Батюшковъ былъ бы вполне доволенъ и окружающимъ его міромъ и своими впечатлѣніями и своею службою, въ которой онъ видѣлъ тогда высокое призваніе. Онъ шелъ за арміею, идущею освобождать Европу отъ рабства и отмстить кровную народную обиду. Передъ его глазами развертывались картины новыхъ, никогда не виданныхъ странъ, въ ушахъ звенѣлъ народный восторгъ. Съ какими чувствами онъ говоритъ о томъ, какъ поилъ своего боевого коня историческою волною Рейна въ торжественной элегіи „Переходъ черезъ Рейнъ“; передъ нимъ возникаютъ вѣковыя историческія воспоминанія:

„О, радости! Я стою при Рейнскихъ водахъ!  
И жадные съ холмовъ въ окрестность броса взоры,  
Привѣтствую поля и горы  
И замки рыцарей въ туманныхъ облакахъ,  
И всю страну, обильну славой,  
Воспоминаньемъ древнихъ дней,  
Гдѣ съ Альповъ вѣчною струей  
Ты льешься Рейнъ величавый!“

Человѣку однообразныхъ равнинъ и пустынныхъ пространствъ, который не натѣкается въ нихъ ни на какія историческія воспоминанія, были особенно дороги эти берега и волны Рейна, полные широкою жизнію прошедшаго. И передъ его жадными взорами мелькаютъ тѣни этого прошлаго: и римскіе легіоны, переходящіе, съ Цезаремъ во главѣ, его волны, и суровые рыцари подъ знаменемъ креста, и турниры, и пѣсни трубадуровъ въ нагорныхъ замкахъ. Все, на этихъ берегахъ

„И видъ полей, и видъ священныхъ водъ...  
Для чувствъ и мыслей дерзновенныхъ,  
И силу новую и крылья придастъ“...

Но все это прошлое исчезаетъ для Батюшкова въ величіи настоящаго, того, что онъ самъ съ такою радостію переживаетъ въ душѣ:

„Мы здѣсь, сыны сѣтговъ,  
Подъ знаменемъ Москвы съ свободой и громами  
Стеклись съ морей, покрытыхъ льдами,  
Отъ струй полуденныхъ, отъ Каспія валовъ,  
Отъ волнъ Улеи и Байкала,  
Отъ Волги, Дона и Днѣпра,  
Отъ града нашего Петра,  
Съ вершинъ Кавказа и Урала!  
Стеклись, нагрянули за честь твоихъ гражданъ,  
За честь твердынь и сѣть и нивъ опустошенныхъ  
И береговъ благословенныхъ“...

Надобно замѣтить, что для Батюшкова, да и вообще для того молодого поколѣнія, походъ этотъ, кровавый и торжественный, имѣлъ много образовательныхъ свойствъ. Люди сражались и учились въ Европѣ. Европейскій міръ дѣйствовалъ на побѣдителей своими политическими и образовательными началами, какъ порабощенная Греція на древнихъ Римлянъ. „Знаешь ли новую страсть? — пишетъ Батюшковъ къ сестрѣ — нѣмецкій языкъ. Я нынѣ, живучи въ Германіи, выучился говорить по-нѣмецки, и читаю все нѣмецкія книги; не удивляйся тому: Веймаръ есть отчизна Гёте — сочинителя Вертера, славнаго Шиллера и Виланда“. Точно такъ же, едва войско вступило въ Шампаню, какъ Батюшковъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пріятелями, отдѣлился отъ отряда и поскакалъ въ замокъ Сирей, гдѣ когда-то у Маркизы Шатле жилъ Вольтеръ, занимаясь Ньютоновой философіей и поэзіей подъ покровительствомъ дружбы своей прекрасной хозяйки, „чтобъ поклониться тѣнямъ Вольтера и его пріятельницы“. Имена ихъ „отъ дѣтства намъ драгоцѣнны“ — говоритъ Батюшковъ. Столовая Вольтера, гдѣ обѣдали русскіе офицеры, была украшена русскими знаменами. „Но мы утѣшили пугливую тѣни сирейской нимфы и ея друга — говоритъ Батюшковъ, прочитавъ нѣсколько стиховъ изъ „Альзиры“. Послѣ обѣда они читали письма Вольтера, гдѣ онъ говоритъ о маркизѣ. Такимъ образомъ на исторической почвѣ Европы они находили дорогое ихъ духу — воспоминанія своего образованія и идеалы молодости. Еще больше впечатлѣній доставилъ Батюшкову Парижъ, куда въ теченіе двухъ вѣковъ, со времени Петровской реформы, стремились мысли всѣхъ образованныхъ нашихъ людей. Въ Парижѣ вступилъ онъ торжественно съ войсками союзниковъ, на которыхъ сыпались тогда благословенія вѣтренныхъ Парижанъ, измѣнившихъ побѣжденному и развѣнчанному корсиканцу, когда русскій генералъ былъ губернаторомъ Парижа и когда по бульварамъ его, по выраженію Батюшкова, „леталъ съ нагайкою козакъ“. Русскимъ французы невольно отдавали преимущество и ласкали ихъ, какъ побѣдителей: „Я, вашъ маленькій Тибуллъ, или проще капитанъ русской императорской службы, пишетъ Батюшковъ къ пріятелю своему Дашкову, что въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывший кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертваго льва“) <sup>1)</sup>... Эти люди, восторгаясь Парижемъ, гуляя по его бульварамъ, садамъ и площадямъ, посѣщая театры и музеи, куда Наполеонъ во время своего могущества свезъ всѣ лучшія художественныя произведенія всѣхъ завоеванныхъ странъ, присутствуя на засѣданіяхъ академій, эти люди, слѣпыя орудія исторической Немезиды, сами хорошенько не по-

<sup>1)</sup> Р. Архивъ 1867 г., стр. 1459.



нимали, что происходитъ передъ ними; они были какъ бы въ чадѣ. „Повѣрите-ли, пишетъ Батюшковъ, мы, которые участвовали во всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, мы едва ли до сихъ поръ вѣримъ, что Наполеонъ исчезъ, что Парижъ нашъ, что Лудовикъ на тронѣ и что сумашедшіе соотечественники Монтескье, Расина, Фенелова, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона, поютъ по улицамъ: „Vive Henry quatre, vive le roi vaillant!“ Такія чудеса превосходятъ всякое понятіе. И въ какое короткое время, и съ какими странными подробностями, съ какимъ кровопролитіемъ, съ какою легкостію и легкомысліемъ! Чудны дѣла твоя, Господи!“ <sup>1)</sup> Событія слѣдовали быстро другъ за другомъ и не давали опомниться. Батюшковъ жаловался на усталость, но жизнь его была полна и онъ доволенъ ею: „Ни одного дня истинно покойнаго не имѣлъ, пишетъ онъ Вяземскому. Безпрестанные марши, биваки, сраженія, ретирары,... однимъ словомъ вѣчное безпокойство: вотъ моя исторія“ <sup>2)</sup>... Изъ Парижа Батюшковъ проѣхалъ въ Англію, гдѣ пробылъ недолго, успѣвъ однако замѣтить консерватизмъ страны, которая „заваленная богатствами всего міра, иначе не можетъ поддерживать себя, какъ совершеннымъ почитаніемъ нравовъ, законовъ гражданскихъ и божественныхъ“ <sup>3)</sup>. И въ Англіи, и на кораблѣ его чествовали, какъ русскаго. На морѣ онъ читалъ Гомера и Тасса „вѣрныхъ спутниковъ воина“. Попавъ на берегъ Швеціи, онъ проѣхалъ по странѣ (тогда написалъ Батюшковъ элегію „На развалинахъ замка въ Швеціи“) и изъ Стокгольма, вмѣстѣ съ Блудовымъ, воротился въ іюль 1814 года въ Петербургъ.

## ЛЕКЦІЯ XII.

Причины душевной тоски Батюшкова.—Выходъ въ отставку.—Арзамасъ.—  
Сближеніе съ Уваровымъ.—Поѣздка въ Италію.

Едва только Батюшковъ, послѣ участія въ мировыхъ событіяхъ и послѣ европейской жизни, столь полной для него новыми и глубокими впечатлѣніями, воротился въ Петербургъ, какъ имъ снова овладѣла та душевная тоска, которая его мучила въ деревнѣ, и томительная пустота жизни. Не думаю, чтобъ Батюшковъ относился сознательно и понималъ то реакціонное движеніе, которое начиналось тогда въ обществѣ и поддерживалось властію. Оно явилось нѣсколько

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 1457.

<sup>2)</sup> Ibidem 1866 г., стр. 859—860.

<sup>3)</sup> Письмо къ С. изъ Готенбурга отъ 19 іюня 1814 г.

позднѣе и не имѣло никакого отношенія къ литературной дѣятельности Батюшкова. Последнюю, какъ мы знаемъ, онъ почти вовсе не цѣнилъ, и не былъ доволенъ вообще своими литературными успѣхами, считая ихъ ничтожными. Его недовольство жизнію и обстановкою имѣло чисто личную причину. „Меня здѣсь (въ С.-Петербургѣ) ласкаютъ добрые люди, пишетъ онъ къ кому-то, а на розахъ, какъ авторъ, и на шипахъ, какъ человѣкъ. Успѣхи словесности ни къ чему не ведутъ, и ими восхищаться не должно. Тѣ, которые хвалятъ, завтра бранить будутъ. Ничего вѣрнаго не имѣю, кромѣ 400 р. дохода“ <sup>1)</sup>. Онъ числился все еще въ военной службѣ, но не имѣлъ никакихъ опредѣленныхъ занятій, а потому конечно тосковалъ, не удовлетворяясь своимъ положеніемъ. „Развѣ ты не знаешь, что мнѣ не посидится на мѣстѣ, что я сдѣлался совершеннымъ Калмыкомъ съ нѣкотораго времени,—пишетъ онъ къ Жуковскому,—и что пріятелю твоему нуженъ *остдлокъ*, какъ говоритъ Шишковъ, пристанище, гдѣ онъ могъ бы дышать свободнѣе, въ кругу такихъ людей, какъ ты, напримѣръ. И много ли мнѣ надобно?“ <sup>2)</sup> Между тѣмъ Батюшковъ жалуется, что у него и этого немногого нѣтъ и что на долю его выпали „однѣ заботы житейскія и горести душевныя, которыя лишаютъ всѣхъ силъ и способовъ быть полезнымъ себѣ и другимъ“ <sup>3)</sup>... Недавно пережитое представляется ему неизмѣримо великимъ по сравненію съ тѣмъ, что его теперь окружаетъ: „Въ Парижѣ я вошелъ съ мечемъ въ рукѣ, говоритъ онъ. Славная минута Она стоитъ цѣлой жизни“ <sup>4)</sup>... Батюшковъ сравниваетъ судьбу лицъ, участвовавшихъ въ великихъ событіяхъ того времени, съ судьбою героевъ Гомера, постигшихъ ихъ послѣ покоренія Трои: „По истинѣ Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣянными по лицу земному. Каждого изъ насъ гонитъ какой-нибудь мститель-богъ. Кого Марсъ, кого Аполлонъ, кого Венера, кого Фуриі, а меня Скука. Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня судьба, конечно въ гнѣвъ своемъ, сдѣлалось моимъ мучителемъ. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что въ немъ, мой милый другъ? И чѣмъ замѣню утраченное время?“ <sup>5)</sup>... Онъ проситъ совѣта для жизни у Жуковского: „Скажи мнѣ, къ чему прибѣгнуть, чѣмъ занять пустоту душевную; скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ?“ <sup>6)</sup>. Удивительное и печальное

<sup>1)</sup> Р. Архивъ 1867 г., стр. 1467.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>3)</sup> Ibidem.

<sup>4)</sup> Ibidem, стр. 1468.

<sup>5)</sup> Ibidem.

<sup>6)</sup> Ibidem, стр. 1469

время, когда человѣкъ съ умомъ, съ талантомъ, съ образованіемъ, не знаетъ, какую пользу онъ можетъ принести обществу, на какое полезное дѣло употребить свои духовныя силы. „Я оставляю службу по многимъ важнымъ для меня причинамъ, и не останусь въ Петербургѣ. Къ гражданской службѣ я не способенъ. Плутархъ не стыдился считать кирпичи въ маленькой Херонѣ: я не Плутархъ, къ несчастію, и не имѣю довольно философіи, чтобъ заняться бездѣлками. Что жъ дѣлать? Писать стихи? Но для того нужна сила душевная, спокойствіе, тысяча надеждъ, тысяча очарозаній и въ себѣ, и кругомъ себя“ <sup>1)</sup>... Самое дорогое, по его словамъ, для него дѣло, были хлопоты объ изданіи сочиненій его дяди и благодѣтеля Муравьева, котораго онъ ставилъ очень высоко и какъ писателя и какъ человѣка, называя его Фенелономъ. Онъ приглашалъ настойчиво къ этому дѣлу друга своего Жуковского. Не могли же удовлетворять его такіе стихи, какъ написанные имъ въ 1812 году, по заказу Нелединскаго-Мелецкаго „На выпускъ воспитанницъ Смольнаго монастыря“. Деревня, гдѣ жили его сестры и отецъ, также не могла наполнить той душевной тоски, которой страдалъ Батюшковъ. А между тѣмъ ему необходимо нужно было служить для того только, чтобъ имѣть средства. Въ Петербургѣ оставаться ему не хотѣлось, тѣмъ болѣе, что онъ сталъ жаловаться на испорченное здоровье, да и нужно было отказаться отъ женитьбы на любимой дѣвушкѣ, потому что, по собственному сознанію Батюшкова, онъ не могъ сдѣлать ее счастливою и по своему характеру, и по небольшому состоянію своему. Тотъ знакомый ему генералъ, съ которымъ онъ намѣревался въ 1812 году ѣхать изъ Нижняго въ армію, Бахметевъ, былъ въ это время генералъ-губернаторомъ на югѣ Россіи, въ Каменецъ-Подольскѣ. Батюшковъ поѣхалъ къ нему въ качествѣ адъютанта и уже съ начала іюля 1815 года былъ въ городѣ совершенно для него новымъ, но и здѣсь онъ даже на первыхъ порахъ не былъ доволенъ своимъ положеніемъ и повторялъ прежнія жалобы въ письмахъ къ близкимъ. Сначала, по европейскимъ привычкамъ, Батюшковъ и здѣсь обратилъ было вниманіе на мѣстность города, ея характеръ, на историческія воспоминанія, которыми довольно богатъ тотъ край: „Здѣсь, въ Каменцѣ, я вижу развалины замка и укрѣпленій турецкихъ, польскихъ и русскихъ; прогуливаюсь по ветхимъ бастионамъ и замѣчаю ихъ живописныя стороны. Виды развалинъ старой крѣпости и новыхъ укрѣпленій прелестны. ...Сколько воспоминаній историческихкихъ!“ <sup>2)</sup> говорить Батюшковъ, но они не удовлетворяютъ его,

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>2)</sup> Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій.

и онъ переходитъ отъ нихъ къ болѣе свѣжимъ и къ болѣе дорогимъ ему воспоминаніямъ о недавнемъ европейскомъ походѣ. Скука начинается его мучить снова; онъ жалуется, что „тянетъ день за днемъ, что читаетъ очень рѣдко, что тѣ книги, которыя онъ привезъ съ собою, составляютъ для него только тягость, что онъ всѣ перечиталъ ихъ, а въ Каменцѣ ничего, кромѣ календаря, достать нельзя. Онъ жалуется на недостатокъ общества, на то, что онъ въ теченіе шести недѣль не говорилъ ни съ одною женщиной.

„Всѣ мои радости и удовольствія въ воспоминаніи“—пишетъ онъ къ Муравьевой. „Настоящее скучно, будущее Богу извѣстно, а прошлое наше“<sup>1)</sup>. А тоска по любимой дѣвушкѣ, которую онъ покинулъ добровольно, еще болѣе подливала горечи въ его сердце. Недовольный всѣмъ, онъ подалъ въ отставку и въ началѣ 1816 года выѣхалъ изъ Каменца. „Горестно я провелъ этотъ годъ“<sup>2)</sup>—говоритъ онъ. Служебныя неудачи мучили его, а онъ самъ сознается и въ честолюбіи и въ суетности. Служить онъ хотѣлъ непремѣнно, но не умѣлъ ни на что рѣшиться и откровенно признавался, что самъ не знаетъ что будетъ дѣлать<sup>3)</sup>.

Въ этотъ пріѣздъ въ Петербургъ, случайное счастье, казалось улыбнулось ему; онъ получилъ награду за походъ и былъ зачисленъ въ гвардейскій Измайловскій полкъ; говорили даже, что онъ будетъ назначенъ адъютантомъ къ в. к. Николаю Павловичу, но это не состоялось почему-то и снова въ письмахъ Батюшкова, единственномъ источникѣ для его біографіи, появляются непрерывныя, однообразныя жалобы на судьбу и на службу и нерѣшительныя заботы о томъ, чтобъ какъ-нибудь устроиться. Если судить по этимъ письмамъ, то у него не было въ эту пору никакого другого интереса, кромѣ совершенно личнаго. Продолжать военную службу Батюшковъ не желаетъ: „По всѣмъ моимъ расчетамъ я долженъ оставить службу, если захочу сохранить кусокъ насущнаго хлѣба и искру здоровья“<sup>4)</sup>... Это было понятно: съ раненою ногою онъ насилу могъ ходить. Служить на войнѣ онъ еще согласенъ, но „въ мирное время лучше заниматься своимъ дѣломъ, нежели безпрестанными бездѣльями“<sup>5)</sup>... Онъ желалъ отставки, чтобъ „заниматься книгами и марапаніемъ бумагъ“<sup>6)</sup>. Его главное затрудненіе заключалось въ необеспеченности состоянія. Вышедши въ отставку изъ военной службы и получивъ

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1867, стр. 1480.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 1485.

<sup>3)</sup> Ibidem.

<sup>4)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 1486.

<sup>5)</sup> Ibidem, стр. 1488.

<sup>6)</sup> Ibidem, стр. 1489.

мѣсто почетнаго библіотекаря Публичной библіотеки, Батюшковъ сдѣлался совершенно свободенъ для литературныхъ занятій, но не обезпеченъ въ денежномъ отношеніи. Въ это время онъ сталъ собирать свои стихи и прозу, которые и были изданы въ 1817 году подъ редакціей Гнѣдича, подъ названіемъ „Опыты“ — 2 т. Въ 1817 году Батюшковъ довольно долго прожилъ въ своей Вологодской деревнѣ. Онъ намѣревался тамъ писать и много писать: „Авось напишу что-нибудь путное и достойное людей, которые меня любятъ“ <sup>1)</sup>, но планы остались безъ исполненія. У него умеръ отецъ, оставившій разстроенныя дѣла; нужны были хлопоты, не имѣвшіе ничего общаго съ поэзіей; необходимо было устроить наследство сестеръ. „До стиховъ ли?“ — спрашиваетъ Батюшковъ. Издавши свои „Опыты“, онъ интересовался мнѣніемъ Жуковского о нихъ и спрашивалъ его о томъ или другомъ произведеніи: „Повревался ли мой Тассъ? Я желалъ бы этого. Я писалъ его стораща, исполненный всѣмъ, что прочелъ объ этомъ великомъ человѣкѣ. А Рейнъ?“ <sup>2)</sup>. Очевидно, онъ считалъ эти поэтическія произведенія лучшими и въ самомъ дѣлѣ они были таковы. Впрочемъ, вообще онъ былъ правильнаго мнѣнія о своихъ произведеніяхъ и не обольщался ихъ достоинствами. „Что скажешь о моей прозѣ? спрашиваетъ онъ Жуковского. Съ ужасомъ дѣлаю этотъ вопросъ. Зачѣмъ я вздумалъ это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мнѣ стоили столько, меня мучать. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я велъ для стиховъ! Три войны, все на конѣ, и въ мирѣ на большой дорогѣ. Спрашиваю себя: въ такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совѣсть отвѣчаетъ: нѣтъ. Такъ зачѣмъ же печатать? Бѣда, конечно, не ведика: побраныя и забудутъ. Но эта мысль для меня убійственна; убійственна, ибо я люблю славу и желалъ бы заслужить ее, вырвать изъ рукъ Фортуны. Не великую славу, нѣтъ, а ту маленькую, которую доставляютъ намъ и бездѣлки, когда онѣ совершенны. Если Богъ позволить предпринять другое изданіе, то я все переправлю; можетъ быть напишу что-нибудь новое. Мнѣ хотѣлось бы дать новое направленіе моей крохотной Музѣ и область элегіи расширить“ <sup>3)</sup>... Скоро однакожь заботы о здоровьи и желаніе убѣжать какъ можно дальше отъ всего окружающаго стали преобладать въ намѣреніяхъ Батюшкова. Постоянно жалуется онъ на свои болѣзни: то на грудь, то на ногу; говоритъ, что сѣверная зима убиваетъ его, и собирается лѣчиться на югъ Россіи: или на кавказскихъ водахъ или въ Крыму, а потомъ

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 1494.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1870, стр. 1712.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 1713.

мечтаетъ о путешествіи по Италіи. „Здѣсь, право, холодно во всѣхъ отношеніяхъ“—пишетъ онъ. Мысль объ Италіи стала въ особенности занимать его и, приѣхавъ въ концѣ 1817 года въ Петербургъ, Батюшковъ началъ черезъ друзей своихъ хлопотать о томъ, чтобъ пристроиться къ какой-нибудь итальянской миссіи. Дѣло это, впрочемъ, не скоро было приведено къ желанному концу.

Въ Петербургѣ Батюшкова снова окружили литературные интересы. Въ это время туда переселился уже Карамзинъ, собиравшій вокругъ себя писателей однихъ съ нимъ убѣждений. Арзамасское общество, куда приняли Батюшкова съ распростертыми объятіями, подъ именемъ Ахилла, было въ полномъ разгарѣ своей шутилой дѣятельности. У Жуковского тоже собирались по субботамъ друзья писатели и Батюшковъ познакомился на этихъ собраніяхъ съ новою, возникающею славою Пушкина, который писалъ тогда свою поэму „Русланъ и Людмила“ и читалъ изъ нея отрывки. Батюшковъ скоро замѣтилъ въ немъ поэтическій талантъ и, говорить, съ досадою слушалъ пьесы его, написанныя въ антологическомъ родѣ, томъ самомъ, въ которомъ и онъ былъ первымъ мастеромъ. Батюшковъ разглядѣлъ и всю вѣтренность Пушкина, и весь недостатокъ того пустого образованія, которое онъ вынесъ изъ Лицея и его увлеченіе разсѣянною жизнію въ свѣтѣ. „Сверчокъ что дѣлаетъ, спрашиваетъ онъ у Н. Тургенева. Кончилъ ли свою поэму? Не худо бы его запереть въ Геттингенъ и кормить года три молочнымъ супомъ и логикою. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ. Потомство не отличить его отъ двухъ однофамильцевъ, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство... Какъ ни великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если... Но да спасутъ его Музы и молитвы наши!“<sup>1)</sup> Къ этому же времени относится сближеніе Батюшкова съ Уваровымъ по одинаковости вкусовъ и любви къ изящной формѣ древняго классическаго, въ особенности греческаго міра. Уваровъ былъ дѣятельнымъ членомъ Арзамаса и въ его домѣ собирались его члены. Въ этихъ собраніяхъ, посреди своихъ товарищей и друзей молодости, онъ забывалъ свое высокое положеніе въ свѣтѣ и оставилъ о нихъ живыя и теплыя, хотя, въ сожалѣнію, краткія воспоминанія. Между Арзамасцами Уваровъ былъ безспорно самый блестящій, самый ученый и самый богатый членъ, для котораго жизнь вполнѣ улыбалась: онъ съ дѣтства былъ ея баловнемъ. Говоря объ его учености, Батюшковъ въ стихотворномъ посланіи къ Уварову, пишетъ:

„Отъ древней Спарты до Аѳинъ,  
Отъ гордыхъ памятниковъ Рима

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 1534—35.

До стѣвъ Пальмиры и Солима  
Умомъ ты міра гражданинъ“...

а о счастиі въ жизни:

„Тебѣ легко, ты награжденъ,  
Благословенъ, взлелѣянъ Фебомъ;  
Подъ сумрачнымъ родился небомъ,  
Но будто въ Аттикѣ рожденъ“...

Этотъ въ послѣдствіи столь извѣстный въ царствованіе Николая Павловича министръ народнаго просвѣщенія, первый вводителемъ у насъ системы классическаго образованія, въ широкомъ и благороднѣйшемъ ея значеніи, былъ и въ то время лицомъ важнымъ, сановникомъ, не смотря на свою молодость. Счастіе, казалось, стало улыбаться ему съ колыбели.

Происходя изъ не очень знатной, но богатой фамиліи, Сергѣй Семеновичъ Уваровъ имѣлъ дальнимъ родственникомъ своимъ любимца императоровъ Павла и Александра—О. П. Уварова и съ его помощію очень рано сдѣлалъ чрезвычайно блестящую карьеру. Уваровъ родился въ Петербургѣ, въ 1786 году и былъ воспитанъ дома, на французскій манеръ, аббатомъ Мангенемъ, собственно для жизни въ высшемъ кругу общества, къ которому принадлежалъ по рожденію. Красивый по наружности, ловкій въ обращеніи, онъ славился умѣньемъ владѣть французскимъ языкомъ и писалъ на немъ съ удивительною легкостью и прозу и блестящіе стихи. Уваровъ вообще былъ одаренъ способностію къ изученію языковъ, но, владѣя обширнымъ умомъ, онъ рано понялъ, что изученіе языковъ даетъ прекрасныя средства для цѣлей болѣе широкихъ. Его любимымъ предметомъ сдѣлалась исторія, понимаемая вовсе не въ узкомъ смыслѣ, а какъ полная картина разносторонней цивилизаціи народовъ. Въ такомъ широкомъ смыслѣ онъ и изучалъ исторію. Не знаемъ, какими путями и какими средствами его молодое вниманіе остановилось на языкахъ классическихъ, которые, какъ средство для изученія древняго міра, сдѣлались его любимымъ занятіемъ. Новые языки, французскій, нѣмецкій, Уваровъ усвоилъ легко, съ дѣтства, въ домашнемъ воспитаніи. На нихъ онъ писалъ съ одинаковою легкостью; древніе языки пришлось изучать уже съ большимъ трудомъ и не вдругъ.

Свое служебное поприще Уваровъ началъ пятнадцати лѣтъ въ иностранной коллегіи. Въ 1806 году онъ былъ уже чиновникомъ по сольства въ Вѣнѣ, а въ 1809 году секретаремъ при миссіи въ Парижѣ. Богатый, умный, образованный Уваровъ вездѣ за границею старался сближаться съ представителями науки и литературы, съ писателями, съ академиками. Какъ зналъ онъ современныя требова-

нія науки и на какой политической высотѣ стоялъ онъ, доказывается тѣмъ, что, подъ вліяніемъ тогдашняго стремленія филологіи къ Востоку, Уваровъ, понимая вмѣстѣ съ тѣмъ цивилизирующее призваніе Россіи на Востока, мадавъ въ 1810 году по-французски: „*Essai d'une académie asiatique*“, мысли котораго онъ постоянно потомъ, будучи министромъ народнаго просвѣщенія, приводилъ въ исполненіе, основывая въ нашихъ университетахъ кафедръ восточныхъ языковъ и литературъ и поощряя занятія ими въ молодыхъ людяхъ. Сочиненіе это обратило на него вниманіе европейскихъ ученыхъ обществъ.

Въ русскомъ высшемъ обществѣ и по службѣ онъ сталъ выигрывать чрезвычайно выгодною женитьбою на дочери тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, графа Разумовскаго, которая принесла ему, вмѣстѣ съ громаднымъ богатствомъ, блестящее положеніе въ служебной карьерѣ. Двадцати пяти лѣтъ отъ роду онъ былъ назначенъ попечителемъ Петербургскаго университета, въ 1811 году Петербургская академія наукъ выбрала его въ почетные члены свои, а въ 1818 году онъ получилъ званіе ея президента.

Сближеніе съ Академіей Наукъ, въ качествѣ ея почетнаго члена съ начала, а потомъ въ званіи президента, еще болѣе увеличили въ Уваровѣ любовь къ научнымъ занятіямъ и желаніе составить себѣ имя въ наукѣ. Всестороннее изученіе классическаго міра сдѣлалось любимымъ его занятіемъ. Издавая въ 1812 году свое новое сочиненіе, „Объ Элевзинскихъ таинствахъ“, Уваровъ высказалъ слѣдующій взглядъ свой на изученіе классическихъ языковъ, взглядъ, замѣчательный по глубинѣ своей и по широкому содержанію. „Изученіе древности, говоритъ онъ, не есть занятіе отдѣленное отъ другихъ: всякій разъ, когда оно поднимается выше мертвой буквы, это благородное изученіе становится исторіею ума человѣческаго. Оно не только уместно во всѣхъ возрастахъ и во всѣхъ положеніяхъ жизни, но еще открываетъ уму столь обширное поле, что мысль съ удовольствіемъ тутъ останавливается, и хоть на короткое время забываетъ дѣйствія, неразлучныя съ великими переворотами политическими и нравственными“ <sup>1)</sup>. Въ Петербургскомъ университетѣ и въ Академіи Уваровъ сблизился съ профессоромъ греческаго языка и словесности Грефе, вызваннымъ имъ изъ-за границы. Плодомъ занятій Уварова съ нимъ явилось новое его сочиненіе въ 1817 году на нѣмецкомъ языкѣ „*Nonnos von Parospolis der Dichter*“, посвященное Гёте. Это было историко-критическое изслѣдованіе объ александрійскомъ поэтѣ V вѣка, послѣднемъ греческомъ поэтѣ, въ которомъ умерла греческая поэзія въ избыткѣ силы и выраженія, а не въ старческомъ безсиліи. Сочиненіе это было на-

<sup>1)</sup> Essai sur les mystères d'Eleusis. S.-Petersbourg 1812, Préface XI.



писано съ большою ученостію и прекраснымъ языкомъ. На другой годъ Уваровъ назначенъ былъ президентомъ Академіи Наукъ, — званіе чрезвычайно важное въ его лѣта, когда ему было только 32 года. Понятно, что человѣкъ съ такимъ пониманіемъ формъ классическаго міра и съ такимъ умомъ долженъ былъ обратить вниманіе на талантъ Батюшкова, именно съ его художественной стороны и подмѣтить въ Батюшковѣ особенное умѣнье выражать изящную, пластическую форму древней Греціи. Батюшковъ и Уваровъ встрѣтились въ домѣ Оленина, а сблизились на веселыхъ собраніяхъ Арзамаса. Плодомъ этого сближенія обоихъ была статья „О греческой Антологіи“, предназначавшаяся, по словамъ Уварова, для журнала предполагаемаго Арзамасомъ къ изданію, которое впрочемъ, не состоялось<sup>1)</sup>. Статья вышла однако въ 1820 году отдѣльною брошюрою и потомъ стала помѣщаться въ изданіяхъ сочиненій Батюшкова, хотя текстъ въ ней, заключающій въ себѣ глубокое пониманіе мелкой антологической поэзіи древнихъ грековъ, — принадлежитъ Уварову. Батюшковъ собственно перевелъ 12 небольшихъ антологическихъ стихотвореній — съ французскаго; въ нихъ стихъ его и сочувствіе къ изящной греческой формѣ достигаетъ самаго блестящаго выраженія. Между тѣмъ Батюшковъ собирался въ Италію, надѣясь, что хлопоты друзей его доставятъ ему тамъ мѣсто при посольствѣ, хотя и смотрѣлъ на эту страну разочарованными глазами: „Я знаю Италію, не побывавъ въ ней — пишетъ онъ въ концѣ 1818 года къ Муравьевой. Тамъ не найду счастья: его нигдѣ нѣтъ; увѣренъ даже, что буду грустить о снѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ... Но первое условіе жить, а здѣсь холодно, и я умираю ежедневно“<sup>2)</sup>. Лѣтомъ этого года, по смерти отца своего, Батюшковъ весь занятъ былъ устройствомъ своихъ дѣлъ передъ предполагаемою поѣздкою. Она все-таки была отрадна для него. Но пока согласился на его опредѣленіе тогдашній министръ иностранныхъ дѣлъ, графъ Капо д'Истрія, пока это опредѣленіе было утверждено государемъ, время уходило и Батюшковъ, больной и тревожимый ожиданіями, рѣшился воспользоваться лѣтомъ для поѣздки въ Крымъ съ цѣлію излѣченія болѣзни. Эту поѣздку онъ сдѣлалъ съ Сергѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ, который провожалъ его до Одессы. Батюшкова, кромѣ климата и возможности вылѣчиться, манили въ Крымъ и на берега Чернаго моря воспоминанія исчезнувшихъ греческихъ городовъ, памятники древности, которые онъ надѣялся найти тамъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что развитію въ немъ любви къ классическому міру и пониманія его много содѣй-

<sup>1)</sup> Современ. 1851 г., № 6, стр. 38.

<sup>2)</sup> Рус. Арх. 1867 г., стр. 532.

ствовалъ своими разговорами Уваровъ. Батюшковъ самъ сознаетъ это: „Поклонитесь Уварову—пишетъ онъ къ А. Тургеневу изъ Полтавы.— Не могу утаить передъ вами, сколько я ему благодаренъ! Сколько я ему обязанъ за его вниманіе и снисхожденіе! Онъ ободрялъ меня, какъ поэта и человѣка, хвалилъ меня прежде чѣмъ узналъ, и узнавъ, конечно, полюбилъ. Ему обязанъ я лучшими минутами въ моемъ Питерѣ, и воспоминаніе о нихъ сохраню долго въ умѣ и сердцѣ“<sup>1)</sup>. Въ Крымѣ, впрочемъ, Батюшковъ не поѣхалъ и ограничился только купаньемъ въ морѣ въ Одессѣ, гдѣ ему было весело, и гдѣ у него было много знакомыхъ. Но и въ окрестностяхъ Одессы онъ нашелъ много классическихъ воспоминаній и древностей, о которыхъ пишетъ съ большимъ увлеченіемъ: „Здѣсь недавно я бродилъ по развалинамъ Ольвіи: сколько воспоминаній! Если успѣю, то спущу сіи священные останки, сію могилу города, и покажу вамъ въ Петербургѣ... Я срисовалъ все, что могъ и успѣлъ. Жалѣю, что нашъ Карамзинъ не былъ въ этомъ краю. Какая для него пища! Можно гулять съ мѣста на мѣсто съ однимъ Геродотомъ въ рукахъ. Я невѣжда, и мнѣ весело. Что же должны чувствовать люди ученые на землѣ классической? Угадываю ихъ наслажденія“<sup>2)</sup>... Въ другомъ письмѣ Батюшковъ сообщаетъ Муравьевой: „Я недавно былъ на могилѣ Ольвіи; нашелъ множество медалей, вазъ, обломковъ и дышалъ тѣмъ воздухомъ, которымъ дышали Мелезійцы, Аонійцы Азіи“<sup>3)</sup>. Оленину Батюшковъ предлагаетъ покупать для бібліотеки вазы, медали и пр. Когда пришло, наконецъ, столь долго ожидаемое имъ опредѣленіе его при неаполитанскомъ посольствѣ, Батюшковъ поспѣшилъ оставить Одессу и, захвативъ на короткое время въ деревню, чтобы проститься съ сестрами, пріѣхалъ въ Петербургъ. Къ Италіи и къ новой службѣ своей Батюшковъ готовился весьма добросовѣстно. Онъ покупалъ книги по географіи, исторіи, литературѣ Италіи, просилъ о помощи въ этомъ отношеніи у Н. Тургенева и у чрезвычайно развитого молодого родственника своего, Никиты Муравьева. Въ ноябрѣ того же года онъ уѣхалъ въ Неаполь.

О трехлѣтнемъ почти пребываніи Батюшкова въ Неаполѣ, о томъ, что онъ могъ написать тамъ, мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній. Съ отъѣздомъ его въ Неаполь, повидимому, прекратилась его литературная дѣятельность. Передъ нами только три короткія письма его къ А. Тургеневу, Уварову и Жуковскому, написанныя еще въ 1819 году, т.-е. первомъ году неаполитанской жизни Батюшкова; далѣе уже недостаетъ извѣстій.

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 1518.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 1519—20.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 1523

Изъ писемъ этихъ видно, что Батюшковъ, кажется, былъ доволенъ своею неаполитанскою жизнью, хотя ни слова не говорилъ о своей службѣ и о своихъ занятіяхъ. Письма главнымъ образомъ наполнены вопросами о томъ, что дѣлается съ друзьями его на родинѣ, и о русской словесности. Батюшковъ жалѣеть, что не можетъ слѣдить за нею. Онъ проситъ Тургенева прислать „чего-нибудь русскаго, новейшей книжныхъ, стиховъ и прозы“ <sup>1)</sup>... Онъ интересуется узнать, вышла ли въ свѣтъ поэма Пушкина, съ которою онъ познакомился въ отрывкахъ. Симпатіи его все направлены въ сторону родины и ея литературы. „Въ общества я заглядываю, какъ въ маскарадъ; живу дома, съ книгами; посѣщаю Помпею и берега залива, наставительные, какъ книга; страшусь только забыть русскую грамоту“—пишетъ Батюшковъ къ Уварову <sup>2)</sup>. „Я здѣсь, милый другъ, въ страхѣ забыть языкъ отечественный—пишетъ онъ то же самое къ Жуковскому.—совершенно безъ книгъ русскихъ, и по нынѣшнему образу занятій моихъ, не часто заглядываю въ двѣ или три книги русскія, которыя ненарокомъ взялъ съ собою“ <sup>3)</sup>... Описывая Жуковскому красоты неаполитанскихъ видовъ, которыя приводятъ его въ восхищеніе, Батюшковъ жалуется, что талантъ его слишкомъ слабъ, чтобы достойно описать эти великія зрѣлища. „Посреди сихъ чудесъ удивись перемѣнѣ, которая во мнѣ сдѣлалась: я вовсе не могу писать стиховъ!“ <sup>4)</sup> Сохранился, но только въ памяти друзей, однако, отрывокъ, писанный въ 1819 году, гдѣ Батюшковъ поэтически обращается къ развалинамъ Байи, на берегу Неаполитанскаго залива <sup>5)</sup>. За то онъ рассказываетъ, что пишетъ „записки о древностяхъ окрестностей Неаполя“. „Мнѣ когда-нибудь послужить этотъ трудъ,—говоритъ онъ, ибо трудъ, я увѣренъ въ этомъ, никогда не потерянь“ <sup>6)</sup>... Здоровье его не поправляется, не смотря на климатъ Италіи. Въ ней жалуется онъ на холодъ, но, повидимому, доволенъ собою и окружающимъ его. „Если прибавить, что я совершенно доволенъ моею участью, безъ роскоши, но выше нужды, ничего не желаю въ мірѣ; имѣю или питаю по крайней мѣрѣ надежду возвратиться въ отечество, обнять васъ и быть еще полезнымъ гражданиномъ, и это меня поддерживаетъ въ часы унынія“ <sup>7)</sup>...

<sup>1)</sup> Соч. Батюшкова. Изд. 1850 г. т. I, стр. 358.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 361—362.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 364.

<sup>4)</sup> Ibidem, стр. 365.

<sup>5)</sup> Лонгиновъ. Библ. Зап. XXXV. Соврем. 1857 г., № 3, стр. 823.

<sup>6)</sup> Соч. Батюшкова, изд. 1850 г., т. I, стр. 367.

<sup>7)</sup> Ibidem.

### ЛЕКЦІЯ XIII.

Душевная болѣзнь Батюшкова.—Причины ея.—Арзамасъ.—Шаховской и полемика противъ него.

Съ отъѣздомъ Батюшкова въ Италію въ 1818 году, т.-е. одновременно съ тѣмъ, какъ Жуковский вступилъ въ свои придворныя обязанности, литературная дѣятельность его прекращается, и если что-нибудь и было имъ написано въ Италіи, то не дошло до насъ. Какъ извѣстно, скоро постигла его душевная болѣзнь, наследственная въ семьѣ, но, вѣроятно, были къ ней и ближайшіе поводы, и объ этихъ-то поводахъ существуютъ разнорѣчивыя показанія. Мы не знаемъ даже опредѣленно, сколько времени прожилъ Батюшковъ въ Неаполѣ. Въ половинѣ 1820 года въ Неаполѣ, вслѣдствіе усилій карбонаровъ, произошло возстаніе. Король Фердинандъ I, изъ дома Бурбоновъ, возстановленный чужеземными штыками въ своемъ достоинствѣ въ 1815 году, послѣ казни Мюрата, долженъ былъ уступить теперь народному движенію и выдать либеральную конституцію. Но это не могло быть терпимо тѣми великими державами, которыя составляли Священный Союзъ. На конгрессахъ въ Троппау и Лайбахѣ, собравшихся именно по поводу революціи въ Неаполѣ, рѣшено было вооруженное вмѣшательство въ дѣла этого королевства. Короля пригласили въ Лайбахъ и въ мартѣ 1821 года онъ вступилъ, поддерживаемый австрійскими войсками въ свое королевство. Народное движеніе было подавлено, либеральная конституція уничтожена и началась самая сильная реакція, съ казнями и прочими ужасами, обыкновенно ее сопровождающими. Это время неаполитанской революціи было, конечно, весьма любопытнымъ временемъ для жизни и наблюденій. Но Батюшковъ въ началѣ 1821 года былъ уже въ Римѣ, выѣхавъ туда вѣроятно съ миссіей. „Батюшковъ пишетъ изъ Рима, сообщаетъ Карамзинъ Дмитріеву, что революція *мучая* надоѣла ему до крайности. Хорошо, что онъ убрался изъ Неаполя бурнаго, гдѣ уже было, какъ сказываютъ, рѣзанье“ <sup>1)</sup>...

Италія не поправила его здоровья и, выѣхавъ въ началѣ 1821 г. изъ нея, онъ долженъ былъ лѣчиться на божескихъ водахъ и вѣроятно не возвращался болѣе въ Неаполь. Съ водъ онъ переѣхалъ въ Дрезденъ, гдѣ прожилъ всю зиму, занимаясь мистикой и астрономіей и перевода трагедію Шиллера „Мессинскую невѣсту“, изъ которой въ его сочиненіяхъ напечатанъ только отрывокъ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 304.

<sup>2)</sup> König. H. Literarische Bilder aus Russland. 1837, S. 125.

Въ началѣ 1822 года онъ явился въ Петербургъ, полный болѣзненнаго раздраженія, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству, подозрѣвая вездѣ враговъ, составившихъ противъ него союзъ, чтобъ уронить его славу. Онъ говорилъ, что ѣдетъ на Кавказъ или Крымъ. „Странный и жалкій меланхоликъ Батюшковъ ѣдетъ на Кавказъ“ — пишетъ къ Дмитріеву Карамзинъ въ маѣ 1822 г. <sup>1)</sup>. Въ петербургскомъ обществѣ говорили тогда, что помѣшательство Батюшкова произошло вслѣдствіе служебныхъ непріятностей; въ чемъ они состояли—неизвѣстно. „Недавно возвратился сюда изъ чужихъ краевъ К. Н. Батюшковъ, — пишетъ А. Е. Измайловъ 6 апрѣля 1822 года къ Дмитріеву въ Москву. Съ нимъ случилось величайшее несчастіе. Онъ, какъ говорятъ, почти помѣшался и даже не узнаетъ коротко знакомыхъ. Это слѣдствіе полученныхъ имъ по послѣднему мѣсту непріятностей отъ начальства. Его упрекали тѣмъ, что онъ писалъ стихи, и потому считали неспособнымъ къ дипломатической службѣ“... <sup>2)</sup>. Это извѣстіе подкрѣпляется и послѣднею запискою Батюшкова къ Жуковскому, написанною, очевидно, уже въ болѣзненномъ состояніи, если подобная записка можетъ служить доказательствомъ. Въ ней Батюшковъ называетъ Нессельроде, тогда управляющаго министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, т.-е. своего главнаго начальника—своимъ убійцею. „Я ему никогда не прощу,—ни я, ни Богъ правосудный, ни люди добрые и честные“ <sup>3)</sup>. Въ такомъ душевномъ состояніи Батюшковъ въ маѣ 1822 года вмѣсто Кавказа поѣхалъ въ Крымъ, гдѣ пробылъ около года. Что онъ тамъ дѣлалъ — намъ неизвѣстно. Есть извѣстія, что именно въ Крыму сумашествіе его достигло полнаго развитія, такъ что онъ нѣсколько разъ покушался на свою жизнь; но есть и другія противоположныя извѣстія. Пушкинъ пишетъ въ 1823 году брату своему изъ Кишинева: „Батюшковъ въ Крыму. Орловъ съ нимъ видался часто. Кажется мнѣ онъ изъ ума шутитъ“ <sup>4)</sup>. Какъ бы то ни было изъ Крыма вернулся онъ въ безнадѣжномъ состояніи. Говорятъ, что употребляли много усилій для его излѣченія; пробовали музыку, но при ея звукахъ онъ приходилъ въ бѣшенство; возили его въ Парну, въ извѣстное заведеніе для умалишенныхъ Зонненштейна, и все напрасно. Какъ извѣстно онъ прожилъ до 1855 года въ тихомъ помѣшательствѣ въ Вологдѣ у родныхъ. Пенсіонъ, назначенный ему государемъ Николаемъ Павловичемъ обезпечивалъ его положеніе.

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 329.

<sup>2)</sup> Русск. Арх., 1871, 7 и 8, стр. 970—971.

<sup>3)</sup> Ibidem, 1870 г., стр. 1718.

<sup>4)</sup> Библиогр. Зап., I, стр. 14.

Существуютъ въ разсказахъ и чисто нравственные поводы къ его помѣшательству. Говорать, что онъ узналъ о существованіи заговора, который разразился черезъ нѣсколько лѣтъ катастрофою 14 декабря. Въ тайномъ обществѣ участвовали всѣ дѣти К. Θ. Муравьевой, на которую онъ смотрѣлъ какъ на родную мать и благодѣтельницу и всѣ дѣти И. М. Муравьева-Апостола, котораго онъ уважалъ и какъ человѣка и какъ писателя. Всѣхъ этихъ молодыхъ людей, которые выросли на глазахъ его, ближайшихъ родственниковъ своихъ, Батюшковъ любилъ какъ родныхъ братьевъ, хотя они были нѣсколько моложе его. Его положеніе было затруднительно. Повидимому онъ не раздѣлялъ либеральныхъ стремленій своихъ родственниковъ, а выдать ихъ не могъ и по чувствамъ къ нимъ и по благородству своего характера <sup>1)</sup>. Впрочемъ въ такомъ разладѣ съ самими собою и съ убѣжденіями находились тогда многіе. Батюшковъ принадлежалъ, какъ мы знаемъ къ впечатлительнымъ и раздражительнымъ натурамъ; онъ и прежде пророчилъ себѣ сумашествіе, да и во времени, и въ обстоятельствахъ было такъ много элементовъ для того, чтобы помѣшательство казалось естественнымъ.

Какъ бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что такая несчастная судьба постигла Батюшкова въ то время, когда ему было только 34 года и когда при лучшихъ, болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, онъ могъ бы многое еще сдѣлать для русской поэзіи и русской литературы. Мы нарочно останавливались на разнообразныхъ обстоятельствахъ его жизни, которые тогда никому не казались странными въ обществѣ, останавливались для того, чтобъ показать, какъ отъ этихъ обстоятельствъ зависѣлъ и талантъ его, и самое содержаніе его произведеній. Званіе писателя еще не пользовалось почетомъ и уваженіемъ въ обществѣ. Оно не давало собственно говоря ничего существеннаго человѣку, кромѣ развѣ уваженія и привязанности въ томъ интимномъ кругу друзей, одинаково настроенныхъ, который любилъ искусство и литературу. Человѣку-писателю нужно было искать другую какую-либо профессію, чтобы получить средства для жизни, но какую найти, чтобъ она удовлетворяла писателя, чтобъ онъ былъ доволенъ ею? Вопросъ затруднительный и мы видимъ, что Батюшковъ нѣсколько лѣтъ жизни посвящаетъ его разрѣшенію и все напрасно. Отсюда его постоянныя колебанія, недовольство собою и окружающимъ. Мы видѣли, что въ немъ былъ сильный, самобытный талантъ, что нельзя отказать ему ни въ умѣ, ни въ пониманіи дѣйствительности. Но различныя обстоятельства, житейскія и общественныя, мѣшали ему въ спокойномъ созерцаніи жизни, дѣлали это со-

<sup>1)</sup> Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 149.

зерцаніе порывистымъ, неустановившимся. Обстоятельства житейскія еще больше имѣли вліяніе на Батюшкова, чѣмъ положеніе дѣлъ общественныхъ, въ которое онъ, повидимому, не вдумывался. Вѣчно беспокойная жизнь съ волненіями, происходящими то отъ болѣзни, то отъ неудовлетвореннаго честолюбія, выпала на его долю и помѣшала полному развитію его таланта. Онъ растратилъ свой талантъ то въ тревогахъ бивачной жизни, которая давала ему только мимолетныя впечатлѣнія, то въ кибиткѣ, скача изъ одного конца Россіи въ другой противоположный. Отъ того въ стихахъ Батюшкова, во всемъ направленіи его таланта замѣчается что-то недодѣланное, недосказанное. Сочувствіе его къ классическимъ формамъ и образамъ было случайное; оно вытекало не изъ его собственного непосредственнаго знакомства съ классическимъ міромъ, а подъ вліяніемъ личностей, близко знакомыхъ съ нимъ, съ которыми Батюшковъ сближался: Гнѣдича, И. М. Муравьева-Апостола, Уварова. Наслажденіе любовью и паеосъ сладострастія, которые обыкновенно считаютъ признаками „классической Музы“ Батюшкова, заимствованы имъ не изъ классическихъ, а изъ французскихъ поэтовъ, въ родѣ Парни, и какъ-то плохо выжутся со всѣмъ знакомымъ намъ содержаніемъ его жизни. Образованіе его вообще было незавидно, какъ и у прочихъ нашихъ писателей. Саморазвитіемъ сдѣлаешь вообще мало, если школа не дала никакихъ идеаловъ, ни умственныхъ, ни нравственныхъ, ни политическихъ, а Батюшкову учиться приходилось или въ лагерѣ или въ кибиткѣ. Отъ этого въ его прозѣ, тамъ гдѣ онъ начинаетъ разсуждать о предметахъ общихъ, сколько-нибудь отвлеченныхъ, его рѣчь страдаетъ ограниченностію и пониманіемъ и сужденіемъ. Онъ обязанъ своими идеалами Карамзину, хотя и менѣе чѣмъ Жуковский. Въ то время, какъ молодой его родственникъ Никита Муравьевъ благородно и смѣло разбиралъ политическія тенденціи „исторіи государства російскаго“, Батюшковъ сравниваетъ свое впечатлѣніе при чтеніи исторіи Карамзина съ впечатлѣніемъ Фукидида, слушавшаго на Олімпійскихъ играхъ—Геродота:

„И я такъ плакалъ въ восхищеніи,  
Когда скрижалъ твою читалъ,  
И геній твой благословлялъ  
Въ глубокомъ сладкомъ умиленіи“<sup>1)</sup>.

Собственные понятія о поэзіи у Батюшкова удаляли его отъ дѣйствительности: „Удались отъ общества, окружи себя природою, совѣтуетъ онъ поэту: въ тишинѣ сельской, посреди грубыхъ, неисторическихъ правовъ, читай исторію временъ протекшихъ, поучайся

<sup>1)</sup> „Карамзину“.

въ печальныхъ лѣтописяхъ міра, узнавая человѣка и страсти его, но исполнись любви и благоволенія ко всему человѣчеству: да будутъ мысли твои важны и величественны, движенія души твоей нѣжны и страстны, но всегда покорены разсудку, спокойному властелину ихъ"...<sup>1)</sup>). Самое значеніе писателя у него только художественное; онъ пишетъ не для народа, не для общества. „Мы прибѣгаемъ къ искусству выражать мысли свои, говорить онъ, въ сладостной надеждѣ, что есть на землѣ сердца добрыя, умы образованные, для которыхъ сильное и благородное чувство, счастливое выраженіе, прекрасный стихъ и страница живой, краснорѣчивой прозы—суть сокровища истинныя"...<sup>2)</sup>). Такое убѣжденіе было общимъ, господствовавшимъ между лучшими образованными людьми нашими въ то время, между талантливыми, передовыми писателями.

Лучшимъ примѣромъ этой мысли и пустоты того содержанія, которое разрабатывала тогдашняя литература, совершенно чуждавшаяся общественныхъ вопросовъ, можетъ служить литературное общество „Арзамасъ“, о которомъ мы уже не разъ упоминали. Его обыкновенно связываютъ съ дѣятельностію Жуковского, и дѣйствительно, на сколько можно судить по печатнымъ документамъ, Жуковский былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ въ этомъ обществѣ, хотя первая мысль о немъ и оригинальное устройство принадлежать Блудову. Происхожденіе этого общества надобно искать въ тѣхъ литературно-критическихъ спорахъ, которые давно велись по поводу нападеній Шишкова на слогъ Карамзина; Арзамасъ былъ продолженіемъ этихъ споровъ и возникъ тогда, когда нападеніе противной стороны, къ которой принадлежали всѣ члены Шишковской и Державинской „Бесѣды“, приняли личный характеръ. Самый Арзамасъ вслѣдствіе этого получилъ также личный характеръ, а потому преобладающими свойствами его были насмѣшливость и пародія. Напрасно поэты современники, участвовавшіе въ этомъ обществѣ, стараются придать ему какое-то научное значеніе, сдѣлать его выраженіемъ строгой критики и пр. „Направленіе этого общества или, лучше сказать, этихъ пріятельскихъ бесѣдъ, было преимущественно критическое, говоритъ графъ Уваровъ. Лица, составлявшія его, занимались: строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка и пр.<sup>3)</sup> Такое представленіе о трудахъ

<sup>1)</sup> „Нѣчто о поэтѣ и поэзіи“.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>3)</sup> Современ. 1851 г. № 6, II, стр. 38.



этого дружескаго общества, которое сохранилось въ памяти одного изъ вліятельнѣйшихъ членовъ его, преувеличено значительно. Конечно, большинство участниковъ Арзамаса были люди умные и образованные, но серьезной цѣли они не имѣли.

Арзамасское общество образовалось, какъ противодѣйствіе „Бесѣдъ любителей русскаго слова“, въ то время, когда послѣдняя оканчивала уже свое существованіе и образовалось въ средѣ поклонниковъ Карамзина, котораго выбрали какъ бы невидимымъ вождемъ своимъ. Слѣдовательно, это было продолженіе прежняго спора между двумя литературными партіями старой и новой. Ближайшимъ поводомъ къ возникновенію самаго общества и къ выбору для него оригинальнаго названія „Арзамасъ“ послужили слѣдующія обстоятельства.

Между писателями, принадлежавшими къ партіи Шишкова и „Бесѣды“ — самымъ оригинальнымъ и самымъ живымъ лицомъ былъ князь Шаховскій, чрезвычайно плодовитый драматическій писатель, дѣйствовавшій на этомъ поприщѣ около полулѣта. О немъ намъ уже случалось говорить нѣсколько прежде. И Шаховскій воспитывался въ томъ же благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, гдѣ учился и Жуковский, но былъ нѣсколько старше его (род. въ 1777 г.). Вѣроятно, и онъ въ пансіонѣ получилъ любовь къ литературнымъ занятіямъ, подобно прочимъ, хотя и вышелъ изъ него для поступленія въ военную службу на шестнадцатомъ году. Въ гвардейскомъ полку, гдѣ Шаховскій служилъ, онъ продолжалъ образовывать себя, по его собственнымъ признаніямъ. Тогда уже онъ полюбилъ театръ и эта страсть заставила его оставить военную службу и поступить въ другую, которая вполнѣ удовлетворяла его наклонностямъ — въ театральную дирекцію по репертуарной части. Русскій театръ и труппа въ Петербургѣ были тогда въ незавидномъ положеніи. Главное вниманіе театральнаго начальства, конечно, въ угоду большинства образованнаго общества, было обращено на французскій театръ, улучшить и устроить который заботились сильно. Эти заботы дирекціи дали возможность князю Шаховскому въ 1801 и 1803 годахъ сѣздить на казенный счетъ за границу, съ цѣлью приглашенія нѣкоторыхъ французскихъ актеровъ для пополненія труппы; это путешествіе развило и укрѣпило театральные вкусы князя Шаховскаго. Онъ видѣлъ лучшихъ представителей театральнаго искусства и съ тѣхъ поръ приобрѣлъ авторитетность въ этомъ дѣлѣ. Съ этихъ поръ онъ съ большою энергіею отдался усовершенствованію русскаго театра, который дѣйствительно любилъ. Имъ была задумана и устроена театральная школа, которая должна была готовить молодые таланты. Въ 1812 году Шаховскій снова поступилъ въ военную службу — въ ополченіе, но заграничныхъ походовъ не дѣлалъ и вскорѣ снова за-

чалъ прежнее мѣсто. Къ русскому театру онъ былъ привязанъ службою до 1826 года, но, и вышедши тогда въ отставку, до самой смерти своей въ 1846 году не охладѣвалъ къ драматической литературѣ и къ театральному искусству. Его литературная дѣятельность въ драмѣ, начавшаяся въ 1807 году, продолжалась почти до самой смерти его. Онъ писалъ много комедій и драмъ, число которыхъ доходить до ста и хотя эти театральныя пьесы Шаховскаго потеряли теперь всякое значеніе, въ виду, какъ измѣнившихся вкусовъ, такъ и самаго общества, но онѣ долго давались на сценѣ и были любимы. Не имѣя большихъ художественныхъ достоинствъ, всѣ онѣ служатъ, однако, доказательствомъ какъ прекраснаго знанія условій театра, такъ и значительной наблюдательности со стороны Шаховскаго. Всѣ они любопытны для исторіи общества.

Имя Шаховскаго, который сталъ писать въ самый разгаръ литературной и полемической борьбы между Шишковымъ и Карамзинистами, будучи членомъ Шишковскихъ собраний, а потомъ „Весѣды“, сдѣлалось въ первый разъ извѣстнымъ въ литературѣ шуточною эпико-комическою поэмою „Расхищенные Шубы“, написанною довольно легкими стихами и не безъ одушевленной веселости. Такихъ пародій на эпическія поэмы писалось довольно въ XVIII вѣкѣ. Въ началѣ нашего вѣка появленіе ихъ у насъ, какъ и настоящей поэмы Шаховскаго объясняется вообще бѣдностью литературнаго содержанія. Содержаніе поэмы высказывается въ заглавіи. Это шуточный рассказъ о происшествіи, бывшемъ въ нѣмецкомъ клубѣ вслѣдствіе ссоры старшинъ между собою. По своему содержанію, поэма эта могла быть только прочитана и забыта, но нѣкоторую долговѣчность ей придали находящіеся въ ней выходки Шаховскаго противъ Карамзинистовъ и пародированіе стиховъ В. Пушкина въ посланіи его къ Жуковскому, что, конечно, не могло понравиться противной партіи, которая мстила за себя также эпиграммами и насмѣшливыми намеками на Шаховскаго въ своихъ стихотвореніяхъ. Въ эпиграммахъ князь Шаховскій сталъ называться „злымъ Гашпаромъ“, по имени главнаго дѣйствующаго лица его поэмы, но общее его названіе было обыкновенно Шutowской.

Еще болѣе нерасположенія къ себѣ возбудилъ Шаховскій свою комедію „Новый Стернь“ (1805 г), въ которой онъ старался осмѣять не столько самого Карамзина, сколько малоталантливыхъ подражателей его чувствительности, именно родъ „сентиментальныхъ вояжеровъ“ и въ особенности князя Шаликова. Слабая сторона карамзинскаго направленія, даже вычурный слогъ писателей этой школы, ихъ любимыя выраженія осмѣяны были довольно удачно. Конечно, въ сентиментальности, господствовавшей тогда въ литературѣ, былъ

дальнѣйшій шагъ въ развитіи гуманности, общество дѣлало нравственный успѣхъ и съ этой точки зрѣнія и записались совершенно справедливо Карамзинисты, но здравый смыслъ не могъ не видѣть въ немъ и слабыхъ сторонъ.

Полемика послѣдователей Карамзина съ Шишковымъ прекратилась на время войны и великихъ событій, слѣдовавшихъ за 1812 годомъ, когда самъ основатель „Бесѣды“, первый врагъ Карамзина былъ занятъ не тѣмъ. Но она неминуемо должна была возобновиться снова, такъ какъ порядокъ вещей остался все тотъ же и литературѣ не откуда было взять болѣе живое и глубокое содержаніе. Взаимные нападки продолжались, но остроуміе и настоящая насмѣшливость были на сторонѣ Карамзинистовъ, къ лагерю которыхъ невольно и естественно приставало все, что было талантливо и смотрѣло впередъ. Въ этомъ же лагерѣ появилось теперь два лица, получившія вдругъ большую извѣстность въ литературѣ: Батюшковъ и Жуковский, которые должны были скоро присоединить и свой голосъ къ прежней полемикѣ, потому что и образованіе ихъ и литературные вкусы — дѣлали ихъ сторонниками реформы, произведенной Карамзинымъ. Мы познакомились уже съ тѣми горячими нападками, которые въ дружескихъ письмахъ высказывалъ Батюшковъ на счетъ Шишкова и членовъ тогдашней Россійской Академіи. Въ его „Видѣніи на берегахъ Леты“ Шишковъ съ своею свитою игралъ главную роль. Конечно во всемъ этомъ не высказывалось полной приверженности къ манерѣ Карамзина, надъ преувеличеніями которой Батюшковъ смѣялся довольно зло, но за то очевидно было, что онъ вовсе не былъ на сторонѣ „Бесѣды“. Съ другой стороны и Жуковский, до своего пріѣзда въ Петербургъ и до распространенія своей славы, воспитанный вмѣстѣ съ сторонниками Карамзина—Блудовымъ, Дашковымъ, А. Тургеневымъ, и самъ привыкшій смотрѣть съ глубокимъ уваженіемъ на главу и вводителя у насъ сентиментальнаго направленія, съ которымъ его собственная мечтательность была въ непосредственной связи, необходимо долженъ былъ пристать къ противникамъ Шишкова и смѣяться надъ членами „Бесѣды“ и ихъ сочиненіями. Онъ былъ соединенъ дружескими связями съ В. Пушкинымъ, который одновременно съ полемикою Дашкова въ журналѣ „Цвѣтникъ“ принималъ печатное участіе въ общемъ спорѣ своими двумя стихотвореніями „Посланіями“ (къ Жуковскому, 1810 г. и къ Дашкову—1811 года) и съ Вяземскимъ, зятемъ Карамзина, преслѣдовавшимъ враговъ его эпитафиями; въ своихъ дружескихъ посланіяхъ онъ и самъ не отказывалъ себѣ дѣлать злыя выходки противъ враждебной партіи. Шишковъ и въ его воображеніи представлялся противникомъ всего новаго и безсмысленнымъ приверженцемъ старины. Въ шутливомъ посланіи

съ Воейкову, написанномъ имъ въ 1814 году въ Долбинѣ, Жуковский, разсказывая свои литературные сны и изображая въ забавномъ видѣ всю старую литературную партію, дольше всего останавливается на Шишковѣ и на его членахъ „Бесѣды“:

„Зрѣлъ въ ночи, какъ въ высотѣ,  
Кто-то грозный и унылый,  
Избоясь на котѣ,  
Ѣхалъ рысью — въ шуйцѣ вилы,  
А въ десницѣ грозный Икѣ.  
По-славянски котъ мяукалъ,  
А внимающій старикъ,  
Въ тактъ съ усмѣшкой Икомъ стучалъ!“ <sup>1)</sup>

Парнасъ забавно представленъ въ русскомъ вкусѣ и въ русской обстановкѣ:

„Фебъ въ ужасныхъ рукавицахъ,  
Въ русской панѣ и котахъ,  
Кичи на его сестрицахъ (т.-е. музахъ)!“

Амуры—въ стихарахъ, хариты—въ черевикахъ; рядомъ съ старикомъ въ овчинѣ (т.-е. Шишковымъ) стоитъ Вкусъ съ бѣльмомъ, Фебъ играетъ въ гудокъ, а Мельпомена и Купидонъ пляшутъ голубца... Въ престолу старика... „подошли стихотворцы для присяги (все изъ „Бесѣды“):

Тѣ подъ мышками несли  
Расписныя съ квасомъ фляги;  
Тотъ тащилъ кису морщинъ,  
Тотъ прабабушкину мушку,  
Тотъ старинныхъ словъ кувшинъ,  
Тотъ кавыкъ и юсовъ кружку,  
Тотъ перину изъ бородъ,  
Древле бритыхъ въ Петроградѣ,  
Тотъ славянскій переводъ  
Басенъ Дмитрева въ окладѣ.  
Всѣ возрѣвъ на старину,  
Персты въ верхъ и ставши рядомъ,  
„Брань и смерть Карамзину!“  
Грязнули, сверкая взглядомъ.  
„Зубы грѣшнику порвемъ;  
Осрамимъ хребетъ строитивый,  
Задъ во утро избѣмъ,  
Намъ обиды сотворивый!“ <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Русск. Арх. 1864 г. стр. 920.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 919—922.

Насмѣшки эти доходили разумѣется до тѣхъ, къ кому онѣ относились и безъ сомнѣнія возбуждали въ врагахъ ненависть къ насмѣшнику.

Самое направленіе Жуковскаго въ поэзіи, которое принесло ему извѣстность, — мечтательность и такъ называемый романтизмъ не могли нравиться тѣмъ, которые нападали уже на Карамзина. Они справедливо видѣли въ Жуковскомъ не только сторонника Карамзина, но и продолжатели его направленія. Для друзей же своихъ Жуковский сдѣлался новымъ кумиромъ, и они поклонялись ему.

Въ то время, когда Жуковский, послѣ чрезвычайнаго успѣха своего „Пѣвца въ станѣ“ и патріотическаго „Посланія къ императору Александру“, явился окруженный извѣстностію въ Петербургѣ, вызванный друзьями для придворной карьеры и обласканный дворомъ, у него было много тайныхъ и явныхъ враговъ. Жуковский по внѣшнему виду и по характеру своего обращенія представлялъ изъ себя чрезвычайно скромную, даже запуганную натуру. Къ ней шло мечтательное содержаніе его поэзіи, и все это невольно вызывало насмѣшку въ тѣхъ, которые смѣялись надъ чувствительностію Карамзина. Самый злой ударъ нанесъ князь Шаховской въ своей комедіи „Урокъ кокеткамъ или Липецкія Воды“ (1815 г.), написанной и поставленной на сцену въ то самое время, когда Жуковский наслаждался первою своею славою въ Петербургѣ. Поэтъ выставленъ въ смѣшной, хотя нѣсколько утрированной, какъ всякая пародія, фигурѣ жалкаго *балладника* Фіалкина, бесполезно ухаживающаго за петербургскою графиней — кокеткою и являющагося на сцену всегда со вздохами, стихами и гитарою за плечами. „Я выбралъ модный родъ балладъ“, говоритъ онъ графинѣ, желая прочесть посвященное ей свое стихотвореніе. Онъ даже поетъ на сценѣ балладу, очень напоминающую „Ахилла“ Жуковскаго и по размѣру и по выраженіямъ. Довольно близко изложено и то, что нужно автору, по понятіямъ Карамзина и Жуковскаго. Для поэта мало таланта, воображенія, познаній:

„Въ немъ сердце быть должно, которо бъ изливало  
Слезу горячую въ грудь друга своего;  
Чтобы онъ чувствовалъ, чтобъ чувствовалъ—какъ бьется  
Любовью вѣщее; чтобы въ природѣ всей  
Онъ видѣлъ милую, чтобъ жилъ одною ей,  
Чтобъ тонкій вкусъ имѣлъ...  
Чтобъ въ скромной хижинѣ виѣщалъ онъ дѣльный міръ;  
И утро бы ему наивно улыбалось,  
И веселилъ его одной природы пиръ“...

Баллады, родъ поэтическихъ произведеній, введенный въ нашу

поэзію Жуковскимъ, были жестоко осмѣяны. Фіалкинъ говорить про баллады:

„Ими я свой нѣжный вкусъ питаю;  
И полночь и пѣтухъ, и звонъ костей въ гробахъ,  
И чу! все страшно въ нихъ, но милымъ все пріятно,  
Все восхитительно, хотя невѣроятно“...

„И въ сказкахъ тоже гиль“—говоритъ на это слуга Семенъ. Это нападеніе было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ.

Содержаніе новой комедіи Шаховскаго, примѣчательной, какъ многія изъ его драматическихъ произведеній и по языку и по характерамъ лицъ и по сценическому искусству, вѣроятно, было извѣстно въ литературныхъ кружкахъ. И Жуковский и друзья его рѣшились встрѣтить ударъ противника, какъ рыцари, лицомъ къ лицу. Вигель, въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ рассказываетъ, что всѣ они собрались въ театръ на первое представленіе, что положеніе Жуковскаго было весьма незавидно <sup>1)</sup>. Онъ старался казаться равнодушнымъ. Въ письмѣ къ роднымъ тогда же онъ пишетъ: „Здѣсь есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И онъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнасѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и всѣ молчали—городъ раздѣлился на двѣ партіи, и французскія волненія забыты при шумѣ парнасской бури“ <sup>2)</sup>...

## ЛЕКЦІЯ XIV.

Возникновеніе и занятія Арзамаса.—Члены его.

Комедія князя Шаховскаго „Липецкія Воды или урокъ кокеткамъ“, въ которой довольно остроумно, хотя и преувеличенно, задѣта была личность Жуковскаго и его баллады, произвела въ 1815 году, за неимѣніемъ другого, болѣе живого и дѣйствительнаго содержанія, цѣлую литературную бурю. Друзья Жуковскаго взяли себѣ отомстить за оскорбленнаго поэта, и личность комика въ свою очередь подверглась ихъ нападеніямъ. Такъ, князь Вяземскій въ одномъ изъ тогдашнихъ петербургскихъ журналовъ <sup>3)</sup> въ статьѣ подъ названіемъ: „Письмо съ Липецкихъ водъ“, рассказавши скучное, по мнѣнію автора, со-

<sup>1)</sup> Русск. Вѣстникъ, т. LIV, стр. 172—173.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1864 г., стр. 894.

<sup>3)</sup> *Россійскій Музеумъ*, 1815 года, № 12, стр. 257—265.

держаніе комедіи князя Шаховскаго, подѣ очень прозрачными намеками рисуетъ даже наружность комика, какъ лицо, пріѣхавшее вмѣстѣ съ прочими на воды, его плѣшивый лобъ, его толстую фигуру и глумится надъ его литературными трудами и надъ тѣмъ обществомъ писателей, къ которому онъ принадлежалъ, т.-е. „Бесѣдою“, называя ихъ гагарами. Дашковъ также написалъ статью, подѣ названіемъ „Письмо къ новѣйшему Аристофану“ <sup>1)</sup>, гдѣ онъ на Шаховскаго взводитъ общее обвиненіе въ зависти къ литературнымъ успѣхамъ и къ талантамъ, говоритъ, что эта зависть погубила Озерова, что Шаховской, по своему вліянію на управленіе театромъ, заставляетъ всего чаще играть свои пьесы и мѣшаетъ успѣху другихъ <sup>2)</sup>. Множество эпиграммъ посыпалось тогда на Шаховскаго, какъ водится въ этихъ случаяхъ, и остроумныхъ и пошлыхъ; нашлись и защитники у него. Даже молодой Пушкинъ, который не оставлялъ еще тогда Лицея, принялъ, вѣроятно, по существовавшимъ уже у него тогда литературнымъ связямъ съ Жуковскимъ и друзьями его, участіе въ этой чернильной войнѣ, но впослѣдствіи совершенно благоразумно отказался отъ этого увлеченія и раскаялся въ задорѣ <sup>3)</sup>.

Какъ бы то ни было, но изъ этой полемики, болѣе личной, чѣмъ общей, очевидно, что комедія Шаховскаго имѣла большой успѣхъ на сценѣ и давалась въ теченіе многихъ лѣтъ, хотя и потомъ возбуждала постоянно неблагопріятные отзывы молодыхъ литераторовъ <sup>4)</sup>. Друзья Жуковскаго даже, кажется, принудили Шаховскаго извиниться публично передъ оскорбленнымъ поэтомъ <sup>5)</sup>. Но Шаховской все-таки остался побѣдителемъ: публика была на его сторонѣ и наполняла театръ, когда давались „Липецкія воды“. „Бесѣда“ торжествовала.

Друзья Карамзина и Жуковскаго и сторонники новаго литературнаго направленія видѣли, что противники ихъ представляютъ компактное общество и дѣйствуютъ соединенными силами, въ которыхъ больше значенія, чѣмъ въ единичныхъ усиліяхъ. Тогда образовался „Арзамасъ“, названіе котораго произошло отъ шуточной статьи Блудова, которая не была напечатана: „Видѣніе во градѣ“; она была написана въ подражаніе пьесы аббата Мореле *La Vision*, направленной противъ комедіи Палиссо *Les philosophes*, гдѣ послѣдній осмѣивалъ личности и мнѣнія энциклопедистовъ. Вигель рассказываетъ, что Блудовъ ѣздилъ въ Оренбургскую губернію для полученія

<sup>1)</sup> *Сынъ Отеч.* 1815 г., № 42, стр. 140 и сл.

<sup>2)</sup> *Долгиновъ*, „Библ. Зап.“ XIX, *Современникъ* 1856 г., № 7, стр. 11—15.

<sup>3)</sup> *П. Анненковъ*. Матеріалы для біогра. Пушкина, т. I, стр. 22—23 и 56.

<sup>4)</sup> *А. Бестужевъ*, въ *Сынѣ Отеч.* 1819, № 6, стр. 252—273.

<sup>5)</sup> *Вяземскій*, „Мнѣніе посторонняго“. *Сынъ Отеч.* 1815 г., № 46, стр. 35.

наслѣдства и по дорогѣ, въ Арзамасѣ, гдѣ онъ остановился въ какомъ-то трактирѣ, въ смежной съ нимъ комнатѣ, собралось нѣсколько людей, и ему показалось, что они разсуждаютъ о литературѣ. Воспоминаніе объ этихъ разсужденіяхъ, конечно, забавныхъ, Арзамасскихъ, послужило содержаніемъ статьи. Она была написана библейскимъ слогомъ. Главное дѣйствующее лицо въ ней былъ князь Шаховской, рассказывающій въ магнетическомъ снѣ свои забавныя видѣнія о томъ, что происходило въ пустой залѣ дома Державина, т.-е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ собирались члены „Бесѣды“. Сочиненіе это быстро распространилось и разумѣется дошло по адресу, особенно при существованіи и въ обществѣ литераторовъ, какъ и вездѣ, сплетниковъ. Оно, вѣроятно, и дало названіе обществу друзей Карамзина и Жуковского. Усиленію въ немъ вражды къ Шаховскому послужила еще смерть Озерова въ сумашествіи, которое объяснили интригами противъ него Шаховского.

Весьма дѣятельнымъ лицомъ въ этомъ начинавшемся походѣ противъ представителей старой литературной партіи, несмотря на свои спеціальныя занятія и высокое тогда положеніе въ обществѣ, оказался Уваровъ, который и безъ того былъ близокъ съ карамзинистами. Онъ также былъ немного задѣтъ въ комедіи Шаховскаго и имѣлъ право считать себя обиженнымъ. При томъ, ему хотѣлось и здѣсь первенствовать. Онъ и сдѣлалъ начало. Въ его домѣ было первое засѣданіе общества, собравшееся по его приглашенію и состоявшее изъ немногихъ сначала членовъ — въ октябрѣ 1815 года. На немъ составленъ былъ уставъ общества, не писанный, но сохранявшійся въ памяти; уставъ этотъ, въ противоположность уставамъ многихъ существовавшихъ въ ту пору литературныхъ обществъ и въ столицахъ и въ провинціи, отличался шутствомъ и скорѣе походилъ на ихъ пародію. Прочія общества были утверждены властію; это, напротивъ, составляло свободное соединеніе людей, имѣвшихъ цѣлю позабавиться на счетъ литературныхъ своихъ противниковъ. Въ шутѣ и пародіи самое дѣятельное участіе принималъ Жуковский. Онъ придумывалъ забавные параграфы устава и онъ же былъ чаще всего избираемъ въ секретари. По словамъ друзей его, онъ „какъ бы нарочно сотворенъ для сего званія“ <sup>1)</sup>. Жуковский говорилъ, что „арзамасская критика должна ѣхать верхомъ на галиматьѣ“ <sup>2)</sup>, — это уже даетъ понятіе о характерѣ засѣданій дружескаго общества. Сохранился даже одинъ протоколъ засѣданія Арзамаса, написанный Жуковскимъ стихами, размѣромъ гекзаметра, по это было одно изъ послѣднихъ засѣданій <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Дашковъ, Русск. Арх. 1866 г., стр. 499.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 500.

<sup>3)</sup> Русск. Арх., 1868 г., стр. 830—838.



Другимъ, чаще прочихъ избираемымъ секретаремъ Арзамаса былъ главный виновникъ его Блудовъ. Что касается до предсѣдателя, то онъ выбирался по жребію въ каждое собраніе и не былъ безсмѣннымъ. Чаще всего имъ бывали Уваровъ и Блудовъ, въ квартирахъ которыхъ, какъ людей женатыхъ, и собирались члены. Для поступленія въ члены Арзамаса, требовались: рекомендація одного изъ принятыхъ уже членовъ, знакомства въ этомъ кружкѣ и, вѣроятно, главнымъ образомъ, литературный талантъ и убѣжденія, противоположныя „Бесѣдѣ“. Число членовъ увеличивалось постепенно; Лонгиновъ въ статьѣ своей объ этомъ обществѣ насчитываетъ ихъ 19 дѣйствительныхъ и 5 почетныхъ. Всѣ они принадлежали къ поклонникамъ Карамзина и Жуковского, къ среднему поколѣнію того времени, но между ними не было ни одного, который бы принадлежалъ къ болѣе молодому поколѣнію умовъ либеральныхъ, мечтавшихъ о преобразованіяхъ и о политической дѣятельности. Послѣдніе, правда, выступившіе нѣсколько позднѣе, не нашли бы предмета для своего вниманія въ собраніяхъ Арзамаса, которыя по характеру и по направленію всѣхъ своихъ членовъ, были совершенно чужды политическихъ тенденцій. Повидимому, Арзамасцы сознательно избѣгали послѣднихъ и занимались невинною пародіею и шутками. Самымъ младшимъ членомъ между Арзамасцами былъ А. С. Пушкинъ, принятый въ сообраніе по рекомендаціи Жуковского, тогда уже оцѣнившаго талантъ, и потому еще, что онъ былъ роднымъ племянникомъ В. Л. Пушкина, который носилъ названіе „старосты Арзамаса“. Впрочемъ, онъ успѣлъ уже и тогда напечатать много стиховъ, написанныхъ имъ въ Лицеѣ, и свою вступительную рѣчь въ собраніи Арзамаса онъ произнесъ также стихами. Всѣ члены Арзамаса носили имена, заимствованные изъ балладъ Жуковского. Самъ онъ, напр., назывался Свѣтланой, Блудовъ—Кассандрой, Дашковъ—чу! Уваровъ—старушкою и пр.

Арзамасское общество было пародіею на ученія академіи, на другія литературныя общества того времени, имѣвшія опредѣленный уставъ, пожалуй, какъ сообщаетъ Вигель, и на масонскія ложи и тайныя политическія общества, въ то время уже образовавшіяся. Изъ членовъ Арзамаса, Орловъ Михаилъ и Тургеневъ Николай перешли въ послѣднія, вѣроятно, сознавая всю бесплодность и однообразіе пародіи. Ближайшею цѣлю пародіи и насмѣшливыхъ выходовъ была Шишковская „Бесѣда“ и ея члены. Принято было, чтобы каждый новый членъ выбиралъ для первой рѣчи своей, какъ это заведено въ академіи французской, научныя и литературныя заслуги своего покойнаго предшественника, но такъ какъ въ Арзамасѣ всѣ члены были налицо и не умирали, то брали *живыхъ покойниковъ* „Бесѣды“ или Россійской Академіи „заимобразно и на прокатъ“ и говорили

ямъ похвальныя надгробныя рѣчи, разумѣется, въ насмѣшливомъ родѣ. Такъ Жуковскій говорилъ подобную рѣчь въ честь Хвостова, и современники были въ восторгѣ отъ его юмора. Какъ пародія тайныхъ обществъ, были введены въ Арзамасъ и испытанія и отбирание клятвеннаго обѣщанія со стороны вступающаго. Собраніе, полное шутокъ и веселости, потому что людямъ этимъ не было надъ чѣмъ задумываться (всѣ они были люди со средствами, часто даже очень большими, или имѣли на службѣ прекрасное содержаніе) обыкновенно оканчивалось хорошимъ ужиномъ, на которомъ непремѣнно требовался жаренный гусь, представитель города Арзамаса, славящагося этими птицами. Ясно, что все дѣло ограничивалось шуткою. „Съ каждымъ засѣданіемъ общество становилось веселѣе, рассказываетъ современникъ, за каждой шуткой слѣдовала новая, на каждое острое слово отвѣчало другое. Съ какою цѣлію составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, съ тѣмъ, чтобы проводить время пріятнымъ образомъ и про себя смѣяться глупостямъ человѣческимъ. Не совсѣмъ прошелъ еще вѣкъ, въ который молодые люди, какъ умныя дѣти, отъ души умѣли смѣяться, но конецъ его уже близился“ <sup>1)</sup>. Современникъ, повидимому, жалѣетъ объ этомъ „доброю старомъ времени“, но онъ забываетъ, что эта беззабѣтная веселость тогдашнихъ людей происходила отъ пустоты жизни и дѣйствительности. Самая веселая пародія, прочитанная въ собраніи Арзамаса, принадлежала Батюшкову. Намъ неизвѣстно, впрочемъ, какъ смотрѣлъ на нее Жуковскій, ибо это было пародія на его любимое и прославленное произведеніе „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“. Пародія называлась „Пѣвецъ въ бесѣдѣ Славянороссовъ“ и заключала въ себѣ обычную насмѣшку надъ Бесѣдою“. Ея куплеты, впрочемъ, не всѣ извѣстны <sup>2)</sup>. Остроуміе пародіи заключалось и въ томъ, что Батюшковъ подсмѣялся и надъ пафосомъ Жуковского. Его „Пѣвецъ“ въ Бесѣдѣ говоритъ, напр., такимъ образомъ:

„Сей кубокъ чадамъ древнихъ лѣтъ!  
Вамъ слава, наши дѣды!  
Друзья! уже покойныхъ нѣтъ  
Пѣвцовъ среди бѣдъ.  
Ихъ вирши сгнали въ кладовыхъ  
Иль съѣдены мышами,  
Иль продаютъ на рынкѣ въ нихъ  
Салакушку съ сельдями.  
Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ:

<sup>1)</sup> Вигель, Русск. Вѣстникъ, ч. LIV, стр. 177.

<sup>2)</sup> Лонгиновъ, Библ. Зап. Современ. 1856 г., № 5.

Мы всё для славы дышемъ,  
Равно здѣсь, въ прозѣ и стихахъ,  
Какъ Тредьяковскій, пишемъ\*.

Или слѣдующее мѣсто, гдѣ пародируются извѣстные стихи Жуковского о родинѣ:

Друзья! большой бокалъ отцовъ  
За лавку Глазунова!  
Тамъ царство вѣчное стиховъ  
Шахматова лихова.  
Роднаго крова милый свѣтъ,  
Знакомые подвалы,  
Златныя игры первыхъ лѣтъ—  
Невинныя мадригалы.  
Что вашу прелесть замѣнить?  
О, лавка дорогая!  
Какое сердце не дрожить,  
Тебя благославляя?“

и проч.

Но шутка, какъ ни бываетъ она остроумною, подъ конецъ надоедаетъ, какъ сладкое блюдо прѣдается и дѣлается приторнымъ. Вѣроятно, для многихъ членовъ Арзамасскаго общества, истина эта скоро уяснилась, особенно, когда стали въ него вступать новые члены, приготовленные послѣднимъ развитіемъ общества, для которыхъ въ жизни не все казалось шуткою, и которые смотрѣли на литературу не какъ на одно только забавное препровожденіе времени. Арзамасъ естественно не могъ долго просуществовать на прежнихъ началахъ, но былъ ли онъ въ состояніи принять въ себя новыя начала и идти впередъ вмѣстѣ съ требованіями времени? Уже самъ Жуковский, уѣхавшій въ Дерптъ, вскорѣ послѣ открытія общества, писалъ оттуда Арзамасскимъ друзьямъ своимъ упреки за ихъ неподвижность въ оказаніи помощи несчастному писателю; слѣдовательно, онъ сознавалъ, что у общества могла быть и благотворительная цѣль. „Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ!—пишетъ онъ.—Хвастайте, хвастайте, голубчики!... Но, милые друзья! Надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу. Мещевскій въ Сибири, а вы, друзья, очень весело проживаете въ Петербургѣ! (Мещевскій—поэтъ, который, кажется, былъ товарищемъ по пансіону Жуковскому и Воейкову; онъ печаталъ свои стихотворенія съ 1809 года, но мы знаемъ изъ нихъ только одно—1817 года, приведенное Шишковымъ въ своихъ запискахъ <sup>1)</sup>) подъ названіемъ „Посланіе къ артельнымъ друзьямъ“; Шишковъ разбираетъ его, какъ призывъ къ революціи и ищетъ въ немъ указаній

<sup>1)</sup> II, стр. 266—267.

на тайное общество; это стихотвореніе выставляется однако за написанное человѣкомъ, уже четыре года умершимъ <sup>1)</sup>). За что онъ былъ сосланъ въ Сибирь также намъ неизвѣстно). Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество! Если-жъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это... что это? Я не знаю, какъ назвать это! На что-жъ намъ толковать о добрѣ, объ общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими... Какъ не взбѣситься, подумавъ, что десять человѣкъ добрыхъ, имѣющихъ чувство и дружныхъ между собою, не могутъ найти свободной минуты, чтобы подумать о судьбѣ несчастнаго человѣка, ожидающаго отъ нихъ помощи и можетъ быть спасенія?" <sup>2)</sup>).

Арзамасцы дѣлали, какъ кажется, сборъ для изданія въ 1817 г. какой-то поэмы этого Мещевского, но она не явилась въ печати и чѣмъ кончились хлопоты Жуковского—не знаемъ. Жуковский же, какъ кажется, въ 1817 году думалъ пригласить Арзамасцевъ къ составленію періодическаго изданія, но предлагаемый имъ планъ изданія представлялъ что-то въ родѣ альманаха, съ содержаніемъ исключительно литературнымъ, и изданіе не состоялось. Этотъ 1817 годъ былъ, какъ кажется, послѣднимъ въ существованіи самаго Арзамасскаго общества. Забава не могла долго продолжаться въ прежнемъ своемъ видѣ, тѣмъ болѣе, что еще въ 1816 году, со смертію Державина, прекратила свои собранія и враждебная Арзамасу „Бесѣда“. Арзамасъ необходимо долженъ былъ или уступить новымъ требованіямъ вѣка, которыя приносились въ него вновь завербованными членами, и тѣмъ отказаться отъ первоначальной, вовсе не серьезной цѣли своихъ собраний, или разойтись. При томъ большинство первоначальныхъ основателей Арзамаса, все болѣе и болѣе успѣвавшее въ государственной службѣ, давно перестало смотрѣть на литературу, какъ на свое призваніе; она была вовсе не дорога ему. Эти основатели Арзамаса приходили въ его собранія для отдохновенія, для остроумной забавы, а вовсе не изъ участія къ литературѣ. Самъ Жуковский, членъ самый дѣятельный, обеспеченный теперь пенсіономъ и получившій придворныя обязанности, на которыя онъ смотрѣлъ серьезно, сталъ писать гораздо меньше прежняго и рѣже являлся на собранія. Съ другой стороны всѣ эти первоначальные члены Арзамаса, люди высшаго общества, старались вводить въ него своихъ друзей, изъ которыхъ нѣкоторые не имѣли почти никакого понятія о русской литературѣ и нисколько не интересовались ею, живя очень долго по служебнымъ обязанностямъ за границею, какъ

<sup>1)</sup> Русск. Арх., 1868 г., стр. 938—939.

<sup>2)</sup> Русск. Арх. 1867 г., стр. 511—513.

напр. два дипломата—Сѣверинъ и Полетика. Для нихъ, какъ и для другихъ, болѣе развитыхъ членовъ, плоскія шутки надъ В. Л. Пушкинымъ, который былъ въ Арзамасѣ чѣмъ-то въ родѣ шута, могли казаться вовсе не забавными. Новые члены, которыхъ, благодаря усиліямъ Жуковского, непрерывно прибывало, должны были поселить разладъ въ обществѣ. Кавелинъ, напр., впоследствии известный клеветникъ Магницкаго—человѣкъ, почти ничего не писавшій и принятый только потому, что былъ товарищемъ Жуковского въ пансіонѣ—что было общаго у него съ прежними членами Арзамаса? Но еще менѣе общаго можно было найти съ шутливыми тенденціями Арзамаса у новыхъ членовъ, которые были представителями тогдашней либеральной партіи, мечтавшей о реформахъ и практической дѣятельности. Подъ именемъ Варвика былъ введенъ въ общество молодой изъ братьевъ Тургеневыхъ, Николай, тотъ самый, котораго постигла бы жестокая судьба послѣ 14 декабря, еслибъ его не спасло пребываніе во время катастрофы и слѣдствія за границею. Это былъ человѣкъ съ серьезнымъ закаломъ мысли, съ очень солиднымъ образованіемъ, полученнымъ имъ въ Геттинггенскомъ университетѣ, направленнымъ болѣе къ вопросамъ экономическимъ и финансовымъ, что доказываетъ его считавшееся классическимъ сочиненіе „Опытъ теоріи налоговъ“<sup>1)</sup>.

Въ теченіе всей долгой жизни Николая Тургенева, его любимомъ мечтою, которую онъ разрабатывалъ въ теоріи, было освобожденіе крестьянъ и планъ конституціоннаго устройства государства. Онъ учился въ Германіи въ то тяжелое время, когда она стонала подъ игомъ Наполеона и когда мечты объ освобожденіи отечества проникали во всѣ сколько-нибудь чувствующія головы, когда профессора съ кафедръ, несмотря на преслѣдованія французской полиціи, призывали молодежь къ патріотической борьбѣ за свободу, а студенты образовывали съ тою же цѣлью тайныя общества. Нѣсколько лѣтъ въ этой экзальтированной сферѣ, вдали отъ ничтожныхъ интересовъ русской жизни, должны были оказать сильное вліяніе на умъ и убѣжденія Тургенева, а сближеніе его съ великимъ прусскимъ патріотомъ, впоследствии знаменитымъ министромъ Пруссіи и настоящимъ основателемъ этого государства, Штейномъ, съ которымъ Тургеневъ познакомился въ Германіи и при которомъ состоялъ официально въ 1813 году, когда Штейнъ былъ въ Россіи, открыло ему широкіе горизонты современнаго политическаго міра. Въ качествѣ дипломатическаго чиновника онъ сопровождалъ русскую армію въ ея освободительномъ походѣ по Европѣ и воротился въ Россію съ могучими впечатлѣніями и съ планами преобразованій. Тургеневъ

<sup>1)</sup> Спб., 1818.

отличался сильнымъ характеромъ и упорною волею; онъ имѣлъ большое вліяніе на людей, умѣлъ подчинять ихъ себѣ и управлять ими. Не будь онъ замѣшанъ въ дѣло, Россія вѣрно имѣла бы въ немъ блестящаго государственнаго человѣка, который оставилъ бы глубокій слѣдъ въ ея исторіи. Вступивши въ общество Арзамаса, въ которомъ былъ уже членомъ его старшій братъ и гдѣ было у него много близкихъ людей, Николай Тургеневъ, конечно, долженъ былъ смотрѣть на Арзамасъ, какъ на пустую забаву и не могъ ожидать отъ него ничего серьезнаго, сколько нибудь соответствовавшаго его тайнымъ планамъ и надеждамъ. Ихъ осуществленія онъ искалъ потомъ, подобно другимъ, въ тайномъ обществѣ.

Другой новый членъ, вступившій въ Арзамасъ виѣстъ съ Николаемъ Тургеневымъ и раздѣлявшій его убѣжденія, былъ блестящій гвардейскій полковникъ Михаилъ Орловъ; Это былъ любимецъ императора Александра, принимавшій уже довольно важное участіе въ событіяхъ нашего европейскаго похода, кончившагося взятіемъ Парижа. Въ Арзамасѣ его приняли подъ именемъ Рейна. Онъ былъ воспитанъ совершенно на европейскій ладъ, и мечталъ и о конституціонномъ устройствѣ, и о политической дѣятельности. Вступивъ въ Арзамасъ и найдя въ немъ довольно много талантливыхъ и, какъ казалось ему тогда, людей съ свободными убѣжденіями, Орловъ задумалъ придать этому безобидному и невинному обществу политическій характеръ. Вигель довольно подробно и какъ очевидецъ, рассказываетъ, какъ принялся Орловъ за осуществленіе своего плана <sup>1)</sup>. Его одушевленная рѣчь въ собраніи, бывшемъ на дачѣ Уварова, клонилась къ тому, чтобъ расширить число членовъ общества, чтобы предоставить также каждому члену право заводить тамъ, гдѣ онъ живетъ, новое общество, которое подчинено было бы главному, находящемуся въ столицѣ; разумѣется, съ этимъ расширеніемъ общество теряло уже первоначальный характеръ свой; оно превращалось въ систему распространенія свободныхъ идей и должно было возбуждать и готовить общественное мнѣніе. Съ этою же цѣлью приготовленія общественнаго мнѣнія, Орловъ предлагалъ издавать журналъ съ либеральнымъ направленіемъ. Но Орловъ ошибся; онъ не понималъ тѣхъ людей, къ которымъ обращался съ этими планами и естественно встрѣтилъ въ нихъ притиводѣйствіе. Его противникомъ явился Блудовъ, который не желалъ никакихъ преобразованій въ Арзамасѣ и упорно стоялъ за первоначальный характеръ этого общества, намекая даже на предосудительность, противозаконность намѣреній Орлова. „Когда вспомнишь это преніе, прибав-

<sup>1)</sup> „Русск. Вѣстн.“, т. LV, стр. 204—206.

вляеть Вигель, кажется, что будущій жребій сихъ людей былъ написанъ въ ихъ рѣчахъ“ <sup>1)</sup>). Въ самомъ дѣлѣ Блудовъ умеръ графомъ и всѣми уважаемымъ первымъ государственнымъ человѣкомъ Россіи, а Орловъ, котораго блестящая карьера была приостановлена въ 1826 году и который спасся отъ болѣе жестокой судьбы благодаря своему происхожденію, доживалъ дни свои въ Москвѣ, скучающій и больной. Неудача Орлова въ преобразованіи Арзамаса повела къ выходу его изъ членовъ. Съ этого засѣданія Арзамасъ сталъ быстро клониться къ упадку; его дни были сочтены. „Неистощимая веселость скоро прискучила тѣмъ, у коихъ голова полна была замысловъ,— говорить современникъ; тѣмъ же, кои шутя хотѣли заниматься литературой, странно показалось вдругъ перейти отъ нея къ чисто политическимъ вопросамъ“ <sup>2)</sup>). Само время и развивающееся общественное сознаніе должны были устранить Арзамасъ съ его шутивными литературными цѣлями, какъ это же время устранило рондо, трюлеты, мадригалы и тому подобныя литературныя забавы.

Къ этому послѣднему времени существованія Арзамасскаго общества, когда въ немъ происходили толки о журналѣ и о необходимости дѣйствовать на общественное мнѣніе, вѣроятно, относится „протоколъ двадцатаго засѣданія въ Арзамасѣ“, написанный стихами Жуковскимъ <sup>3)</sup>). Несмотря на образы имъ введенные, которые тогда друзьямъ членамъ казались можетъ быть весьма остроумными, а теперь кажутся только пошлыми, напр., брюхо толстаго Тургенева, съ котораго „какъ Моисей съ горы Синаѣ“, говоритъ свою рѣчь Блудовъ, прозванный Кассандрою, въ этомъ протоколѣ довольно опредѣленно выражается характеръ тогдашнихъ толковъ, а равно и безплодіе, какъ видно уже надѣвшею всѣмъ шутки. По протоколу однако видно, что мысль о журналѣ первоначально принадлежала Тургеневу. Вотъ какъ излагаетъ ее Блудовъ, въ качествѣ секретаря:

„Полно тебѣ, Арзамасъ, слоняться бездѣльникомъ! Полно Намъ, какъ портнымъ, сидѣть на ваткѣ и пить на халдеевъ, Сгорбясь, дурацкія шапки изъ пестрыхъ лоскутьевъ Бесѣдныхъ. Время проснуться!.. Время, время летить. Насъ доселѣ собирала безпечная шутка; Нѣсколько ясныхъ минутъ украла она у *безплодной* Жизни. Но что же? Ова ужъ устала, иль скоро устанетъ! *Смѣхъ безъ веселости* только кривлянье! Старыя шутки — Старыя дѣвки! Время прошло, когда по слѣдамъ ихъ Рой обожателей мчался!..“

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>3)</sup> Русск. Арх., 1868 г., стр. 829—838.

И ораторъ предсказываетъ такую же судьбу Арзамасу, если онъ останется при старой шуткѣ и не сочетается законнымъ бракомъ со славой, т.-е. не уступитъ новому времени и его требованіямъ. Повидимому, въ этой рѣчи высказывалась и необходимость расширенія общества для другой, лучшей и плодотворнѣйшей дѣятельности:

„О, Арзамасцы! Всѣ мы судьбу испытали. У всѣхъ насъ  
Въ сердцахъ хранится добра и прекраснаго тайна. Но каждый,  
Жизнью своей охлажденный, къ сей тайнѣ ужъ вѣру теряетъ.  
Въ каждомъ душа, какъ свѣтильникъ, горящій въ пустынь,  
Свѣтъ одинокій окрестныя мглы не освѣтитъ. Напрасно  
Намъ онъ горитъ; онъ лишь мрачность для нашихъ очей озаряетъ.  
Что за отрада намъ знать, что гдѣ-то, въ такой же пустынь,  
Также тускло и тщетно братскій пылаетъ свѣтильникъ?  
Намъ отъ того не свѣтлѣе“.

И онъ взываетъ къ соединенію разрозненныхъ силъ въ одно цѣлое. Превосходно рисуется безплодіе одиночныхъ усилій:

„Иной, самому себѣ незнакомецъ,  
Полный жизни мертвецъ, себя и свой даръ загвоздившій въ гробъ,  
Имъ самимъ сотворенный, бьется въ своемъ заточеньи:  
Силенъ свой гробъ разложить, но силъ не вѣрить — и гибнетъ.  
Тотъ, великимъ желаньемъ волнуемый, силой богатый,  
Радъ бы разлить по вселенной, въ сіяньи-ль, въ пожарѣ-ль, свой пламень,  
Къ смѣлому дѣлу свываетъ дружину, но... голосъ въ пустынь.  
Отзыва нѣтъ“...

Это голосъ дѣйствительности и чувствующихъ и мыслящихъ людей времени, когда было обмануто столько прекрасныхъ надеждъ, когда

„Предъ нами во дни упованья  
Жизнь необъятная, полная блеска, вдали разстилалась“...

И все покрылось туманомъ.

## ЛЕКЦІЯ XV.

Намѣреніе арзамасцевъ издавать журналъ.—Милонъ.

Судя по стихотворному протоколу этого послѣдняго Арзамасскаго засѣданія, составленному Жуковскимъ, планъ будущаго журнала изложенъ былъ Михайломъ Орловымъ. Это былъ только общій планъ, который въ протоколѣ называется воротами. На нихъ изъ звѣздъ сіяла надпись: „Журналъ Арзамасскій“.

„За ними (воротами) кипѣли  
Въ свѣтломъ хаосѣ призраки вѣковъ; какъ гиганты смотрѣли  
Лики славныхъ изъ сей оживленной тучи; надъ нею



Съ яркой виждой на главѣ гениемъ тихимъ неслоь,  
Въ свѣжемъ гражданскомъ вѣнѣ, божество: *Простите*  
Къ грозной и мирной богинѣ: *Свободѣ*“.

Протоколь говорить, что по поводу этого предложенія были споры въ собраніи:

„Совѣщанье начали члены.

Пріятно было послушать, какъ вмѣстѣ

Всѣ голоса слилися въ одну безтолковщину“.

Рѣшено было, быть Арзамасскому журналу. Могли ли, однако, члены этого по большой части шутилаго общества, каждый занятый своимъ дѣломъ, которое онъ считалъ гораздо важнѣе литературы, представляющей для него только минутную забаву, въ самомъ дѣлѣ издавать журналъ? На вопросъ этотъ приходится отвѣчать отрицательно. Немногіе изъ членовъ Арзамаса понимали настоящее значеніе журнала, какъ органа общественнаго развитія, какъ такое орудіе, которымъ создается общественное мнѣніе, но они очень хорошо понимали также, что журналъ съ подобнымъ направленіемъ и съ подобнымъ содержаніемъ, т.-е. въ европейскомъ смыслѣ этого слова, былъ невозможенъ въ то время въ Россіи, при характерѣ правительственной власти и при бессмысленной цензурѣ, которая тогда существовала. Большинство членовъ однако оставалось при старыхъ понятіяхъ; они не сходили съ точки зрѣнія Карамзина, слишкомъ общей, сентиментальной и неопредѣленной, и программа задумываемаго въ Арзамасѣ журнала, казалось, была повтореніемъ, только въ другихъ словахъ, программы Карамзинскаго „Вѣстника Европы“. Вотъ какъ одинъ изъ членовъ (А. Тургеневъ, тотъ самый, въ уста котораго Жуковский влагаетъ поэтическія рѣчи объ единеніи), говорилъ о содержаніи предполагаемаго журнала: „Я вижу ваше, наше будущее; я вижу Арзамасъ въ величественномъ собраніи. Онъ опредѣляетъ образъ занятій, общій для всѣхъ, но разнovidный, какъ различны вкусы и таланты. Единство и разнообразіе—вотъ девизъ Арзамаса и журнала его; единство въ правилахъ, ибо всѣ арзамасцы горятъ любовью къ добру и изящному... Все принадлежитъ намъ, пока можетъ принадлежать словесности и—не заблуждайтесь, друзья мои!—литератору открыто не тѣсное поле. Его область—мысли и чувства, а въ нихъ—мы сказали—весь нравственный міръ, и работа его есть не безплодная побѣда надъ трудностью. Нѣтъ! Нѣтъ! Кто объясняетъ и умножаетъ понятія, кто дѣйствуетъ на сердца умиленіемъ и восторгомъ, тотъ исправляетъ природу въ человѣкѣ, тотъ полезенъ не одному народу, не одному поколѣнію и такую да будетъ судьба Арзамаса... Наше скромное правило: *истина* и *справедливость* въ карти-

нахъ и сужденіяхъ, цѣль — удовольствіе современниковъ, и, можетъ быть, польза потомства“... Едва ли на этихъ неопредѣленныхъ и нѣсколько туманныхъ фразахъ можно было основать программу журнала? За журналъ брались и о журналѣ толковали въ Арзамасскихъ собраніяхъ, безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ убѣжденія, что собравшіе эти становились съ каждымъ днемъ безцвѣтнѣе и однообразнѣе, что нужно было создать себѣ какое-нибудь дѣло, но для журнальной цѣли едва ли были и способны эти члены Арзамаса, взысканные въ жизни счастіемъ и только забавлявшіеся литературой? Арзамасъ не могъ продолжать свое существованіе дальше на прежнихъ началахъ; онъ былъ живъ, когда была жива „Бесѣда“, и умеръ вмѣстѣ съ нею. Его призваніе—была борьба съ старыми литературными преданіями, съ представителями отживающаго поколѣнія литераторовъ, которые, не имѣя таланта, поддерживали всѣми способами эти старыя преданія. Какъ только сошли со сцены эти лица, новое должно было восторжествовать; борьба становилась ненужною. Но Арзамасъ въ два три года своего существованія успѣлъ однако пережить самого себя. Онъ понималъ, что вокругъ него, воспитаннаго мыслью и талантомъ Карамзина, зарождалось что то новое, чего онъ порядочно и не понималъ и чему онъ никакимъ образомъ не могъ сочувствовать. Рано ли поздно—этому новому было предоставлено будущее, и Арзамасъ въ пору разошелся подъ разѣдающимъ вліяніемъ времени. По своему интимному, исключительному характеру, по своей замкнутости, Арзамасъ не могъ имѣть вліянія на общество. Его настоящее мѣсто—въ литературныхъ преданіяхъ... Но для участвовавшихъ въ немъ онъ представлялъ самыя дорогія воспоминанія.

Лица, принадлежавшія къ обществу Арзамаса, были или высоко-даровитыя натуры, съ признаннымъ всѣми талантомъ или любители-дилетанты, обладающіе и наслѣдственными средствами къ жизни и общественными связями и такимъ выгоднымъ положеніемъ въ службѣ, что имъ ничего не стоило бросить для нея свои временныя занятія поэзіей и вообще литературнымъ дѣломъ. Это общество имѣло аристократическій характеръ; не даромъ же они сами себя въ шутку называли „ихъ превосходительства геніи Арзамаса“. Но какъ жили и къ чему стремились другіе люди, не осыпанные, подобно „геніямъ Арзамаса“, дарами фортуны и вмѣстѣ съ тѣмъ принадлежавшіе также къ литературѣ, писавшіе много и стихами и прозой, преимущественно стихами? Какое значеніе имѣло для нихъ литературное дѣло; было ли оно ихъ настоящимъ призваніемъ или тоже совершалось между другимъ, болѣе важнымъ жизненнымъ дѣломъ? А такихъ людей было много. Мы уже говорили, что въ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, съ конца прошлаго вѣка, господствовало пре-

имущественно литературное образованіе, причемъ обращалось большое вниманіе на искусство выражать свои мысли и писать стихами и прозой. Едва ли не каждый студентъ нашихъ университетовъ въ десятыхъ годахъ писалъ стихи, хотя послѣдніе не были ни потребностью души его, ни выраженіемъ его пониманія дѣйствительности. Вышняя фактура стиховъ была усвоена и писать можно было о чемъ угодно: поэзія была раздѣлена на извѣстные теоретическіе роды и виды; условія каждаго, требованія каждаго были заранѣе опредѣлены строго теоріей, и поэту стоило только присѣсть, чтобъ въ готовые уже рамки ввести болѣе или менѣе удачно придуманное имъ содержаніе. Отъ этого въ ту пору расплодилось у насъ такое множество поэтовъ во всѣхъ вѣдомствахъ. Надобно замѣтить, что литературные труды открывали молодому человѣку путь въ службѣ и способствовали нѣкоторымъ образомъ успѣхамъ въ ней, на что было много достаточныхъ причинъ. Съ примѣра императрицъ Елисаветы и Екатерины, въ нашемъ обществѣ господствовала покровительственная система по отношенію къ литературѣ; въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, она была еще въ значительной силѣ. Поэты еще подносили свои стихотворенія лицамъ знатымъ и высокимъ, писали въ стихахъ о гражданскихъ заслугахъ своихъ начальниковъ, прославляли ихъ доблести и т. п. Прдержавшія власти смотрѣли снисходительно на подобную невинную литературу, даже поощряли ее наградами и повышеніемъ по службѣ. Съ другой стороны и новыя преобразованія вызывали отчасти изобиліе литературныхъ талантовъ; именно въ это время Сперанскій въ своихъ реформахъ администраціи и вообще чиновничьяго міра требовалъ отъ вновь поступающихъ на службу образованія и свѣдѣній; ему хотѣлось истребить, вывести столько лѣтъ существовавшее „крапивное сѣмя“, существованіе котораго обусловливалось невѣжествомъ. Человѣкъ, окончившій курсъ въ тогдашнемъ университетѣ, очень скоро и охотно принимался на службу въ Петербургѣ, если онъ успѣлъ написать какое-нибудь, хоть даже плохонькое стихотвореніе, басню, идиллію или похвальное слово. Административныя реформы Сперанскаго требовали чиновниковъ, умѣющихъ излагать ясно и правильно свои мысли на бумагѣ; чего же лучше, если попался юноша, пишущій стихи, что считалось тогда труднымъ дѣломъ и вотъ стихи составляли юношѣ служебную карьеру. Случалось, что даже грубые, необразованные генералы обращали вниманіе на литературный талантъ молодого человѣка и приглашали его къ себѣ на службу, зная, что онъ напишетъ хорошимъ слогомъ, ясно и правильно, что требовалось въ тѣхъ высшихъ сферахъ власти, куда пойдетъ эта бумага. Только впоследствии, когда разлетѣлись всѣ эти иллюзіи Александровскаго времени и въ житейскихъ отношеніяхъ стала господство-

вать проза, на поэтовъ-чиновниковъ распространился другой, совершенно противоположный взглядъ: ихъ почти перестали терпѣть на службѣ. Но въ описываемое время произведеніи ихъ наполняли тогдашніе жалкіе журналы и газеты, они считались дюжинами, но изъ множества именъ ихъ немногіе, весьма немногіе, развѣ только для характеристики времени могутъ быть упомянуты въ исторіи.

Поэтомъ называли и какъ поэта помѣщали обыкновенно въ исторію русской литературы *Милонова*, дѣятельность котораго относится именно къ описываемому нами времени. Современники, но не тѣ, которые принадлежали къ Арзамасу, смотрѣли на него, какъ на настоящаго поэта и чрезвычайно уважали талантъ его. У него было довольно друзей въ литературныхъ кружкахъ, которые очень любили его и по поводу ранней смерти Милонова высказывали искреннее сожалѣніе о томъ, что обстоятельства его кратковременной жизни, „назначили слишкомъ ограниченные предѣлы его дѣйствіямъ“ <sup>1)</sup>. „Дружба была кумиромъ души его“ <sup>2)</sup>, говорятъ эти современники, но довольно ли дружбы для того, чтобъ получить названіе настоящаго поэта? Милонова обыкновенно причисляютъ къ нашимъ сатирическимъ поэтамъ. „Онъ привыкъ быть грозой порока, — говорили скоро послѣ смерти его, — и не можетъ говорить о немъ мало или равнодушно“ <sup>3)</sup>. Такое мнѣніе основано на томъ, что Милоновъ написалъ шесть сатиръ; всѣ онѣ суть только подражанія и отчасти передѣлки; но тогда находили, что онѣ передѣланы на наши нравы и видѣли въ нихъ черты современности. Такой взглядъ происходилъ отъ господства классической теоріи; на русскую словесность смотрѣли съ ея точки зрѣнія; мѣсто сатирика было вакантно и его предоставили Милонову. Въ сатирахъ Милоновъ является передъ нами человекомъ съ честнымъ характеромъ и умомъ, но едва ли найдемъ въ его сатирахъ живое негодованіе на современность, ту „злону дня“, которая составляетъ достоинство настоящаго сатирика. Всѣ они скорѣе похожи на безцвѣтныя общія мѣста. „Къ Рубеллію“, сатира, написанная въ подражаніе Персію <sup>4)</sup>, говорятъ, намекаетъ на Аракчеева. Но какое дѣло послѣднему, что когда-то въ Римѣ былъ

„Царя коварный льстецъ, вельможа напыщенный,  
Въ сердечной глубинѣ таящій злобы ядъ,  
Не доблестями души—пронырствомъ вознесенный“...

<sup>1)</sup> Благонамѣренный, 1821 г. XVI, стр. 207.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 212

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 233.

<sup>4)</sup> Соч., изд. Смирдина, стр. 15—18.

Подобныя явленія встрѣчались въ исторіи миллионы разъ и будутъ еще встрѣчаться; могъ ли Аракчеевъ принять слова эти на свой счетъ? Содержаніе второй сатиры „Къ Луказію“ <sup>1)</sup>, гдѣ Милоновъ говоритъ о множествѣ современныхъ риемотворцевъ и, разумѣется, смѣется надъ ними, было уже достаточно исчерпано сатирою Дмитріева и представляетъ только слабое подражаніе ему. Можетъ быть современники находили и здѣсь указанія на дѣйствительныя лица, но всѣ эти Валдусы, Вралевы, Бавин, Миндасы, Мевин и пр. были отвлеченными только аллегоріями и дѣлали сатиру Милонова весьма невинною. Что литературное покровительство было тогда въ нравахъ и существовало по прежнему, можно заключить изъ слѣдующихъ стиховъ Милонова:

„Съ огромною своей поэмою спѣши  
Въ домъ Клита, и ему усердно припиши:  
Онъ знатный господинъ, талантовъ покровитель,  
И просвѣщенія въ отечествѣ ревнитель.  
Страницей лести лишь пожертвуй — и твой трудъ  
На счетъ его казны тисненью предадутъ!  
Лишь книга добрая явится въ свѣтъ не смѣть!“ <sup>2)</sup>

Какъ и прежде, во время Дмитріева, было и теперь множество поэтовъ:

„У насъ кто захотѣлъ — въ поэты записался,  
Хоть новый рекрутъ сей съ грамматикой не знался,  
Нѣтъ нужды до того! отвѣта, дерзость, лести,  
Невѣждъ и подлецовъ нерѣдко вводятъ въ честь!“ <sup>3)</sup>

Но всѣ эти черты были высказываемы много разъ и многими. Это блѣдныя образы. При томъ самъ Милоновъ, какъ впрочемъ и всѣ сатирики, очень хорошо понималъ всю бесполезность этого ремесла.

„Сатира для людей худое наставленіе“...

— говоритъ онъ:

„Исправишь ли порокъ насмѣшкою одною?  
Стихи-ль подѣйствуютъ надъ звѣрскою душою?“... <sup>4)</sup>

Другіе предметы сатиры Милонова, напр. „На модныхъ болтуновъ“, „На женитьбу въ большомъ свѣтѣ“ — были еще безобиднѣе. Нѣтъ, тутъ нѣтъ ни русскихъ нравовъ, ни очерковъ современности, и сатирикомъ Милоновъ сдѣлался потому, что въ піитикахъ, по которымъ

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 23—29.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 24—25.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 25.

<sup>4)</sup> Къ моему разсудку (сатира третья), стр. 42.

онъ усердно учился, стояла рубрика: Сатира. Онъ и взялся за этотъ родъ, не имѣя къ нему вовсе призванія.

Выражалось ли въ стихахъ Милонова какое-нибудь личное чувство, ему принадлежащее? И на это надобно отвѣчать отрицательно. Въ его стихотвореніяхъ отражалась общая чувствительность, начало которой было положено Карамзинимъ, и Милоновъ весьма рѣдко могъ отдѣлаться отъ нея. Милоновъ подражалъ или переводилъ. Образцами ему были преимущественно мелкіе французскіе поэты того времени. Лучшими подражаніями его могутъ назваться пьесы: „Паденіе листьевъ“ изъ Мильвуа, которой подражалъ и Батюшковъ и которую мастерски перевелъ потомъ Баратынский, и „Бѣдный Поэтъ“ изъ Сень-Жильбера, самое удачное подражаніе его, потому что въ участіи французскаго поэта Милоновъ находилъ много общаго со своимъ. Есть у него переводы изъ Шиллера — доказательство, что онъ зналъ нѣмецкій языкъ, но его „Къ юности“, какъ онъ озаглавилъ извѣстную пьесу Шиллера „Die Ideale“—еще слабѣе слабаго перевода этого стихотворенія, сдѣланнаго Жуковскимъ. Большое стихотвореніе его „Монастырь“ <sup>1)</sup> есть очевидное подражаніе „Сельскому Кладбищу“ Жуковскаго. Болѣе задушевымъ чувствомъ проникнуто стихотвореніе Милонова „Къ сестрѣ моей“ <sup>2)</sup>, гдѣ онъ жалуется на судьбу свою и на погибшую молодость. Все остальное не стоитъ упоминанія. Талантъ Милонова былъ невеликъ и не разнообразенъ; не будь теоріи, съ которою онъ познакомился въ школѣ, не получи онъ общаго литературнаго образованія, о вліяніи котораго мы уже говорили, едва ли бы сталъ онъ писать стихи и воображать себя поэтомъ, а былъ бы простымъ и честнымъ дѣльцомъ-чиновникомъ. Разладъ, сознаваемый имъ между своимъ поэтическимъ талантомъ и дѣйствительностію, кажется и былъ причиною его житейскихъ неудачъ и ранней смерти, о которой жалѣли его друзья.

Милоновъ, Михаилъ Васильевичъ, родился въ 1792 году въ Задонскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи въ деревнѣ своего отца. Объ этой степной родинѣ Милоновъ вспоминалъ иногда въ стихахъ своихъ, писанныхъ среди невзгодъ петербургской служебной карьеры. Онъ мечталъ кончить жизнь свою на родныхъ берегахъ Дона <sup>3)</sup>, быть похороненнымъ въ монастырѣ, „среди обители отцовъ“ <sup>4)</sup>. Онъ вспоминалъ о томъ времени, когда съ любимою сестрою онъ шелъ

„На берегъ высокій и крутой,  
Гдѣ Донъ, вспоившій насъ, свѣтитъ,”

<sup>1)</sup> Сочиненія, стр. 80—83.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 67—69.

<sup>3)</sup> „Къ Н. О. Г. . . . . у“.

<sup>4)</sup> „Ночь на могилѣ друга“.

Растлавъ широко зыби водъ,  
Гдѣ жатвой нива богатѣеть,  
Родныхъ полей обильный плоды! <sup>1)</sup>

Учился Милоновъ въ благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, гдѣ кончилъ въ 1809 году курсъ со степенью кандидата. Товарищи его были Грамматинъ, Мещевскій, Родзянко, Петинъ— всѣ писавшіе стихи. Первый, бывший самымъ близкимъ другомъ Милонова, въ перепискѣ съ которымъ сохранилось нѣсколько біографическихкихъ свѣдѣній о Милоновѣ, занялся-было усердно литературою; въ 1809 году онъ издалъ „Разсужденіе о древней русской словесности“, а въ 1811 году первую часть собранія своихъ сочиненій, подъ названіемъ „Досуги“, но потомъ бросилъ литературное дѣло и поселился безвыѣздно въ деревнѣ, занимаясь только хозяйствомъ. Всѣ эти молодые люди своею любовью къ словесности и общимъ стремленіемъ къ авторству обязаны были урокамъ профессора Мерзлякова.

По окончаніи курса Милоновъ, который еще въ пансіонѣ сталъ печатать стихи свои въ „Утренней Зарѣ“ и „Вѣстникѣ Европы“, долженъ былъ служить и по желанію отца своего и потому, что у него не было другихъ средствъ для жизни. Съ этою цѣлію онъ и поѣхалъ въ Петербургъ въ томъ же 1809 году. Какъ кончившему курсъ въ университетѣ, и съ отличіемъ, Милонову было легко найти службу, но нелегко было ему со своимъ исключительно литературнымъ образованіемъ и съ претензіями на поэтическое призваніе, примириться съ нею. Разладъ съ дѣйствительностію сказался тотчасъ же. Милоновъ началъ свою службу въ какой-то экспедиціи министерства внутреннихъ дѣлъ и уже на первыхъ порахъ сталъ на нее жаловаться: „Я попрежнему хожу въ экспедицію, и счастливые дни, въ которые въ ней не бываю—весьма рѣдки. Братецъ твой открылъ недавно самую неоспоримую истину, „что служба дѣлаетъ людей пустыми и безсмысленными“—пишетъ Милоновъ къ Грамматину <sup>2)</sup>. Служба производила на него отталкивающее впечатлѣніе; сидѣть каждый день „между приказною челядью“ кажется Милонову убійственнымъ бездѣліемъ, „терять самое драгоцѣнное и лучшее въ жизни время“. Необходимость служить онъ называетъ „проклятыми предразсудками“. Департаментъ кажется ему „ненавистнымъ“, дежурство въ немъ „адскимъ“ <sup>3)</sup>. Служба для Милонова была невыносима и производила на него самое тягостное впечатлѣніе. „Рѣдкій день проходитъ, чтобы не было непріятностей, — пишетъ онъ къ Грамматину, — и я часъ отъ часу

<sup>1)</sup> „Къ сестрѣ моей“.

<sup>2)</sup> Библиогр. Записки, II, стр. 289.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 289—292.

деревенѣю. За всякій вздоръ оглушаются уши отъ брани. Что дѣлать! Если уже судьба не даетъ *жить*, то *доживать* надобно“ <sup>1)</sup>. Сослуживцевъ своихъ Милоновъ называетъ „мерзавцами“ и говоритъ, что онъ отыскалъ имъ въ своихъ стихахъ, которые, безъ сомнѣнія, остались только въ рукописи. Неудовольствія служебныя не прекратились и тогда, когда онъ, кажется по рекомендаціи Дашкова, поступилъ на службу къ И. И. Дмитріеву, бывшему тогда министромъ юстиціи и знавшему его еще въ Москвѣ, какъ писателя. Это видно изъ того, что Милоновъ скоро поссорился съ Дашковымъ изъ-за чего-то и, встрѣчаясь съ нимъ на службѣ, не кланялся ему. Онъ говоритъ, что ему противно видѣть „его обезображенную надменностью харю“ <sup>2)</sup>. Когда послѣ московскаго пожара, на Дмитріева, уже вышедшаго тогда въ отставку, возложено было раздавать пособія пострадавшимъ жителямъ, онъ взялъ къ себѣ въ правители канцеляріи этого комитета—Милонова. Передъ этимъ, въ 1812 году, Милоновъ, слѣдуя общему чувству, взялъ-было отпускъ и хотѣлъ поступить въ военную службу, считая, что „это необходимо для безопасности“ <sup>3)</sup>, но воротился въ Петербургъ. Въ московской комиссіи служба его продолжалась не долго; онъ вышелъ въ отставку въ 1815 году. Года черезъ три Милоновъ снова пріѣхалъ на службу въ Петербургъ; Дмитріевъ и Жуковскій принимали въ немъ и теперь участіе, и при ихъ посредствѣ въ концѣ 1819 года онъ поступилъ въ департаментъ духовныхъ исповѣданій, гдѣ директоромъ былъ А. Тургеневъ. Тогда же онъ издалъ свои стихотворенія. Но и въ этой службѣ Милоновъ оставался очень не долго. Тургеневъ опредѣлилъ его къ себѣ изъ сожалѣнія, но принужденъ былъ скоро прогнать его. Тогда поступилъ Милоновъ еще разъ и въ послѣдній къ генераль-провіантмейстеру Абакумову, который обходился съ нимъ не какъ начальникъ съ подчиненнымъ, а какъ отецъ съ сыномъ. „Человѣкъ простой и добрый, безъ дальнихъ общаній сдѣлалъ для меня больше, чѣмъ всѣ прежніе мои начальники, покровители, меценаты словесности, не исключая высокопревосходительнаго И. И. Дмитріева“ <sup>4)</sup>. Здѣсь служилъ Милоновъ недолго, однако уже не по своей винѣ. Онъ умеръ въ октябрѣ 1821 года.

Причина этихъ служебныхъ неудачъ заключалась не въ неуживчивости Милонова. По временамъ онъ очень здраво и разумно смотрѣлъ на свои служебныя обязанности. „Съ службою своею поми-

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 302.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 301.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 298.

<sup>4)</sup> Ibidem, стр. 303.



рился, пишетъ онъ въ Грамматику, потому что пересталъ искать въ ней химерныхъ отличій, а должно нести ее, какъ вещь полезную и нужную въ обществѣ. Нѣкоторыя неудовольствія и непріятности, въ ней встрѣчаемыя, переношу съ возможнымъ равнодушіемъ и хладнокровіемъ, почитая сіи качества настоящею мудростію жизни, въ которой необходимо должны быть разнообразія“ <sup>1)</sup>. Причина, которая мѣшала службѣ Милонова, несмотря на всю необходимость служить, и дѣлала въ ней такіе большіе перерывы, заключалась въ несчастной страсти къ вину. Милоновъ былъ горькій пьяница. Онъ самъ сознается, что любитъ выпить лишнюю чарку и за нею объятія жрицъ Венеринныхъ <sup>2)</sup>. Пьянство и развратъ были причиною его болѣзней, служебныхъ неудачъ и наконецъ смерти. „Онъ умеръ отъ невольнаго, — пишетъ о немъ хорошо и давно его знавшій Е. А. Измайловъ, — за два только часа передъ смертію, какъ пришелъ священникъ исповѣдывать его и приобщать, пересталъ онъ пить“. По свидѣтельству Измайлова, Милоновъ сдѣлался пьяницею еще въ училищѣ. Нѣсколько разъ онъ допивался до сумашествія, до религіозной маніи, „только молился да пилъ“,—говоритъ Измайловъ. Увѣщанія друзей и самыхъ близкихъ родныхъ на него не дѣйствовали <sup>3)</sup>. Такова была несчастная судьба этого человѣка, сдѣлавшагося поэтомъ случайно, только потому, что онъ получилъ исключительно литературное образованіе и привыкъ еще въ училищѣ писать стихи, не имѣя никакихъ положительныхъ знаній. Современники видѣли въ элегическомъ настроеніи нѣкоторыхъ стихотвореній Милонова отголоски его жизни. „Онъ страдаетъ, — говоритъ одинъ критикъ того времени, — отъ жизни, въ которой нѣтъ того, чего онъ искалъ“ <sup>4)</sup>. Это можно сказать развѣ объ общемъ направленіи, но самыя его стихотворенія были или переводы или подражанія. Какъ версификаторъ по слогу и выраженію, Милоновъ стоитъ ниже современниковъ своихъ, Вятшкова и Жуковского; онъ второстепенный поэтъ и его относительная извѣстность зависѣла отъ бѣдности нашей литературы.

Милоновъ не могъ принадлежать къ литературному кружку Арзамаса ни по таланту своему, ни по общественному положенію, ни, наконецъ, по безпорядочному образу своей жизни. У него однако былъ свой кружокъ литературный, даже цѣлое общество людей, занимавшихся словесностію и въ особенности поэзіей, общество, которое подъ разными названіями существовало съ самаго начала царствованія

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 294.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 291.

<sup>3)</sup> Русск. Арх. 1871 г., стр. 967—968.

<sup>4)</sup> Плетневъ, Соревнователь просв. 1822 г. XVII, стр. 45.

Александра и издавало даже свои журналы. И Милоновъ участвовалъ своими стихами въ этихъ журналахъ: „С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ“ и „Соревнователѣ Просвѣщенія“. Впрочемъ онъ считалъ небольшою честью быть членомъ этого общества: „Меня выбираютъ членомъ здѣшняго Императорскаго общества любителей наукъ и словесности,—писать онъ къ Грамматину,—хотя оно и пустое, но все лучше быть его членомъ, нежели засѣдателемъ какого-нибудь нижняго суда“<sup>1)</sup>. Не прошло и двухъ лѣтъ, какъ Милоновъ вышелъ изъ него неизвѣстно по какой причинѣ, и говорилъ, что хорошо сдѣлалъ. Изъ литераторовъ, кромѣ молодыхъ, совершенно неизвѣстныхъ, которыхъ стишки канули въ Лету, Милоновъ былъ знакомъ съ Измайловымъ, Воейковымъ и съ сыномъ извѣстнаго Радищева, который тоже писалъ. Онъ и жилъ, слѣдовательно, въ обществѣ второстепенныхъ литераторовъ. Намъ неизвѣстенъ даже образъ мыслей Милонова, его взгляды, то, чѣмъ онъ интересовался. Едва ли онъ интересовался многимъ. Пріятель просилъ его о сообщеніи новыхъ политическихъ извѣстій и Милоновъ отвѣчаетъ ему слогомъ Брюсова Календаря: „Политическія вѣсти такъ непріятны, что и писать объ нихъ больно: все еще войны, новые короли, наши сосѣди, отклоненіе мира; не желалъ бы этого и слышать“<sup>2)</sup>. Положимъ, что это шутка, но всѣ письма Милонова свидѣтельствуютъ, что его ничто не интересовало, кромѣ самого себя...

Если Милонову поэтический талантъ и умѣнье писать стихи не доставили дальнѣйшаго хода по служебной карьерѣ, въ чемъ онъ самъ былъ виноватъ, то были и такіе писатели, которые именно стихами составляли себѣ первоначальную служебную карьеру и выигрывали въ ней, несмотря на то, что ихъ поэтический талантъ былъ вполнѣ чуждъ жизни и дѣйствительности и также, какъ у Милонова, образовался только вслѣдствіе исключительнаго литературнаго образованія и усерднаго изученія теоріи. Въ примѣръ этого можно привести В. И. Панаева, который извѣстенъ былъ въ двадцатыхъ годахъ въ качествѣ идилика, какъ Милоновъ слытъ сатирикомъ. Его довольно любопытныя „Воспоминанія“, напечатанныя послѣ смерти его, позволяютъ познакомиться подробно съ типомъ подобнаго рода поэта. Панаевъ родился въ Тетюшахъ, Казанской губерніи, въ 1792 году. Отецъ его принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей XVIII вѣка; бывалъ въ кругу Новикова и въ дружескихъ отношеніяхъ ко всѣмъ замѣчательнымъ людямъ этого общества и ко многимъ профессорамъ Московскаго университета, хотя самъ не

<sup>1)</sup> Библиогр. Зап., II, стр. 296.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 293.

учился тамъ. По женѣ онъ сдѣлался родственникомъ Державина и черезъ него познакомился съ петербургскими литераторами. Когда онъ былъ прокуроромъ въ Перми, то въ народномъ училищѣ этого города отыскалъ даровитаго мальчика, пишущаго стихи и доставилъ ему возможность получить дальнѣйшее образованіе и извѣстность подъ именемъ профессора Мерзлякова. Отецъ Панаева, впрочемъ, умеръ, когда сыну его, идиллику, было только четыре года.

## ЛЕКЦІЯ XVI.

В. И. Панаевъ. — Казанское общество любителей отечественной словесности. — „Идиллія“ Панаева.

Панаевъ учился въ Казанской гимназіи. И здѣсь исключительно господствовало литературное образованіе, такъ что, будучи еще мальчикомъ, онъ сталъ писать стихи. Въ университетѣ это направленіе еще болѣе укрѣпилось. Университетъ не давалъ тогда никакихъ положительныхъ знаній, а одно только общее образованіе. „Все свободное время отъ классовъ и забавъ посвящали мы сужденіямъ о предметахъ высокихъ или изящныхъ, — говоритъ Панаевъ: — подвиги героевъ, черты самоотверженія, торжество добродѣтели, творенія великихъ писателей и поэтовъ, — вотъ что составляло преимущественно предметъ нашихъ разговоровъ, нашихъ помысленій, наполняло сердца наши и души...“ <sup>1)</sup> Другое любимое занятіе Панаева и его товарищей-студентовъ было собираніе растений, бабочекъ, букашекъ. Строго научной цѣли и тутъ не было, хотя таково было тогда направленіе естественныхъ наукъ въ Казанскомъ университетѣ. Все это располагало молодого человѣка къ идиллическому настроенію. Къ этому нужно присоединить сентиментальное направленіе, господствовавшее тогда въ литературѣ, которое развивало мечтательность и приторную чувствительность. Чтеніе Карамзина и переводныхъ сентиментальныхъ журналовъ Лафонтена, Жанлисъ было любимымъ чтеніемъ. Панаевъ самъ рассказываетъ, какъ подъ вліяніемъ такихъ произведеній возникла его первая платоническая любовь къ дочери профессора Яковина и какъ, вслѣдствіе ея, увеличилась склонность его къ поэзіи и сочувствіе къ природѣ. Тогда онъ сталъ писать *идилліи*. Но еще болѣе расположило Панаева къ этому неестественному роду

<sup>1)</sup> Вѣстн. Европы 1867 г., III, стр. 220—221.

поэзии существовавшее тогда въ Казанскомъ, какъ и въ другихъ университетахъ нашихъ, „общество любителей отечественной словесности“.

Общество это, которое вполне отвѣчало духу и направленію того времени и выражало собою стремленіе къ общенію, къ единенію силъ, которымъ было проникнуто все время царствованія Александра, образовалось скоро, на другой годъ существованія молодого университета. Тогда оно не было еще утверждено, но зато собиралось часто и работало на первыхъ порахъ больше, чѣмъ въ послѣдующіе официальные годы своей жизни, не смотря на весьма ограниченное число своихъ первыхъ сочленовъ, которыхъ тогда было всего пять членовъ. Въ числѣ этихъ пятерыхъ были и старшіе братья Панаева. Аксаковъ, какъ видно изъ его „Хроники“, былъ также въ ихъ числѣ и тогда уже получилъ любовь къ литературѣ <sup>1)</sup>.

Общество это приостановилось было въ своей закрытой дѣятельности во время отечественной войны, хотя съ 1811 года при университетѣ стали издаваться „Казанскія Извѣстія“, выходившія еженедѣльно и заключавшія въ себѣ и литературныя статьи, даже отчасти сатирическаго содержанія. Въ 1814 году послѣдовало преобразование университета и тогда же полученъ былъ отъ министра народнаго просвѣщенія уставъ общества, который давно былъ посланъ на утвержденіе, въ болѣе расширенномъ видѣ, такъ что въ немъ уже могли принимать участіе не одни только члены университета или гимназій, а и лица постороннія. Въ декабрѣ этого года было торжественное собраніе общества, которое привлекло въ университетскую залу много постороннихъ слушателей и на которомъ Панаевъ читалъ свое „Похвальное слово императору Александру“, отзывавшееся общимъ восторгомъ того времени. Въ отчетѣ секретаря общества и въ историческомъ обзорѣни его дѣйствій съ самаго начала до времени официально утвержденного устава перечисляются занятія общества, высчитываются всѣ засѣданія его и сколько въ какомъ году было прочитано сочиненій, но не говорится, въ чемъ они состояли, хотя и можно составить о нихъ представленіе по содержанію первой и единственной книги „Трудовъ Казанскаго общества любителей отечественной словесности“ <sup>2)</sup>. Самый характеръ общества хорошо выражается въ слѣдующихъ словахъ секретаря его: „Хотя общество наше и не принесло еще особенной пользы для публики, однако же оно многихъ любителей словесности соединяя дружественно бесѣдовать о своихъ

<sup>1)</sup> Изд. 1870 г., стр. 284.

<sup>2)</sup> Казань 1815—17 гг.

занятіяхъ, чрезъ то возбуждало въ нихъ большую любовь къ изящному и непримѣтно содѣйствовало къ распространенію *правильнаго и лучшаго вкуса*, равномерно поощряло нѣкоторыхъ молодыхъ людей къ дальнѣйшему себя усовершенію и старалось не быть бесполезнымъ для высшаго ученаго мѣста, при коемъ находится“<sup>1)</sup>).

Общество это, какъ видно изъ словъ его секретаря Кондырева, задавалось въ то время разнообразными цѣлями, изъ которыхъ главною было сближеніе университета съ публикою и развитіе „въ согражданахъ любви къ учености“.

Кругъ собственныхъ занятій общества любителей отечественной словесности былъ очерченъ очень широко; въ него входило и то, что не предоставлено было по уставу даже Россійской Академіи, т.-е. „изслѣдованіе россійскаго языка и касательно россійской грамматики, истолкованіе сослововъ или синонимовъ, значеній разныхъ словъ, изобрѣтеніе техническихъ терминовъ, переводы и разборъ твореній классическихъ древнихъ и новыхъ писателей, критическій разборъ примѣчательнѣйшихъ сочиненій, извѣстій о таковыхъ твореніяхъ, о знаменитыхъ писателяхъ, свѣдѣніи по части исторіи словесности нашей и иностранной, въ разсужденіи обществъ словесности (?), отечественная и часто чужеземная исторія, изслѣдованіе касательно древностей и изящныхъ искусствъ, славенскій языкъ и славенская словесность вообще“<sup>2)</sup>. Изъ этого видно, какъ много научныхъ цѣлей, которыя были бы въ пору и по силамъ любой академіи, брало на себя общество любителей россійской словесности въ Казани. Къ сожалѣнію, однако, уровень науки въ немъ самомъ былъ довольно низокъ, а въ окружающемъ его обществѣ еще ниже, такъ что оно нѣсколько лѣтъ могло пробавляться тѣми пустячками, которые напечатаны въ первой книгѣ его трудовъ. Когда поднялась повыше наука въ нашемъ отечествѣ, когда нѣсколько поняли ея настоящее значеніе и содержаніе, широкія цѣли, которыми задавалось казанское общество, оказались только претензіями.

Кромѣ этихъ общихъ цѣлей Казанское общество словесности мечтало и о специальныхъ; оно сознавало свое географическое положеніе и думало воспользоваться имъ для этнографическихъ изслѣдованій, самыхъ разнообразныхъ и широкихъ. „Мы живемъ между многими иноплеменными народами,—говорилось въ рѣчи секретаря,—въ древнемъ татарскомъ царствѣ, въ виду бывшей древней болгарской столицы. Татары, Чуваши, Черемисы, Мордва, Вотяки, Зыряне окружаютъ насъ. Армяне, Персіане, Башкирцы, Калмыки, Бухарцы и Китайцы

<sup>1)</sup> „Труды“ стр. 38.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 44.

ближе къ намъ, нежели къ другимъ обществамъ. Мы удобнѣе можемъ имѣть касательно языка или и словесности ихъ сношеніи и изъ онаго дѣлать употребленіе. Какъ полезно собирать различныя пѣсни сихъ народовъ, сказанія, записки, повѣсти, книги, надписи и т. п., и все сіе еще весьма ново. Въ Астрахани можно познакомиться болѣе съ древностями кавказскихъ горъ, съ грузинскою, армянскою и персидскою словесностью; въ Оренбургѣ — съ Бухарою и Хивою; въ Иркутскѣ и Троицко-Савской крѣпости — съ китайскою словесностью; въ первомъ городѣ — съ бурятскими и другихъ народовъ памятниками. Составленіе словарей сихъ языковъ, филологическое изслѣдованіе ихъ также не бесполезно<sup>1)</sup>. Выполненіе даже сотой доли этихъ широкихъ цѣлей было совершенно не по силамъ Казанскому обществу словесности. Съ его стороны это были только *pia desideria*, фразы безъ содержанія, никогда не получавшія осуществленія, такъ какъ общество не имѣло даже понятія о тѣхъ трудностяхъ и о тѣхъ требованіяхъ, которыя соединялись съ научными вопросами, такъ легко имъ выдвинутыми. Потому понятно, что главнымъ предметомъ занятій Казанскаго общества по необходимости должна была быть отечественная словесность, которою пробавлялись и другія современныя столичные общества.

„Отечественная словесность, — говорится въ этомъ отчетѣ, — есть весьма важный предметъ не для одной народной образованности, но и для нравственности“<sup>2)</sup>. Она ставится въ связь съ патріотизмомъ и авторъ въ особенности призываетъ къ занятію отечественной словесностью росіянокъ, образованіе которыхъ разумѣется было ничтожно. Общество приглашало быть членами и любителей, которые ничего не печатали еще и не рѣшались печатать своихъ произведеній. Имъ оно предлагало дружескій судъ, безпристрастную критику, которая „необходима для улучшенія таковыхъ умопроизведеній“. Но въ особенности общество хлопотало о молодыхъ людяхъ „съ дарованіями по части словесности отличными: часто, какъ прекрасный цвѣтокъ въ пустынѣ, дарованія сіи увядаютъ въ неизвѣстности“<sup>3)</sup>. Общество желало „цвѣтки сіи пересаживать въ свой садъ и воспитывать“. Тѣ же почти самыя мысли, но гораздо подробнѣе, повторялъ въ своей рѣчи „О вліяніи словесности *въ* нравственное образованіе человѣка“ адъюнктъ философіи Срезневскій, читавшій послѣ секретаря въ торжественномъ собраніи Казанскаго общества въ томъ же 1814 году. Замѣтимъ, что соединеніе слова *вліаніе* съ предлогомъ *въ* сдѣлано

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 45.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 47.

<sup>3)</sup> Ibidem, стр. 47.

было имъ согласно требованіямъ Шишкова, хотя самое содержаніе рѣчи напоминаетъ необходимыя тогда для всѣхъ Карамзинскія понятія. „Добродѣтель есть *единственная цѣль* всѣхъ произведеній истинно изящной словесности“ <sup>1)</sup>, говоритъ онъ. Науки словесныя способствуютъ нравственному образованію человѣка — вотъ тезисъ, доказываемый исторіею всѣхъ тогдашнихъ обществъ словесности, въ которой отражалось еще общее стремленіе къ гуманности въ предшествовавшую эпоху, когда словомъ думали поправить всякое зло, даже общественное. И Казанское общество, не смотря на свои этнографическія стремленія, могло остаться только на эстетической точкѣ зрѣнія. Торжественное собраніе общества, гдѣ прочитанъ былъ уставъ, рѣчь Срезневскаго и исторія общества, посвящено было исключительно Александру I, которому читались и оды и похвальное слово. Это было въ духѣ времени и императоръ, въ блескѣ тогдашней славы, былъ на устахъ у каждаго. Тогда еще можно было хвалить его либеральныя реформы... Послѣ того было еще нѣсколько засѣданій Казанскаго общества; одно изъ нихъ было посвящено памяти Державина, когда было получено извѣстіе о его смерти.

Въ литературѣ, однако, это общество замѣли себя немногимъ. Оно издало только одну книжку „трудовъ“ своихъ и на томъ покончило. Разсматривая эту книжку, составленную изъ статей мѣстныхъ членовъ и немногихъ писателей, завербованныхъ обществомъ въ свои сочлены изъ петербургскихъ литераторовъ, напр. графа Хвостова, Капниста, Воейкова, Анастасевича, мы видимъ, что общество осталось вѣрно своей эстетической или теоретической цѣли и взгляду на нравственное содержаніе словесности. Мы встрѣчаемъ здѣсь тѣ же общія разсужденія по словесности, напр. „Опытъ о средствахъ плѣнять воображеніе“ — В. Перевощикова или „О словесности“ — Анастасевича. Все остальное, кромѣ разбора синонимовъ или сослововъ русскаго языка, чѣмъ любили заниматься и общества словесности того времени и Россійская Академія, составляло стихотворную часть, распредѣленную по рубрикамъ теоріи. Тутъ были и оды, и отрывки дидактическихъ поэмъ, и идилліи, и сатиры, и посланія, и басни, и пѣсни. Все это было, конечно, не выше посредственности; мѣстные литераторы обрадовались случаю увидѣть свои произведенія въ печати, но все это, однако, свидѣтельствовало и о потребности духовной жизни въ нашей провинціи и выражало общія стремленія времени къ образованію. На Казанскомъ обществѣ, на его цѣляхъ, планахъ и намѣреніяхъ, отразилась лучшая пора царствованія Александра, хотя, конечно, въ слишкомъ слабой степени, согласно условіямъ провинціальной жизни.

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 67.

Долго, однакожъ, на прежнихъ основаніяхъ не могло существовать Казанское общество.—оно должно было бы уступить необходимому появленію и развитію научныхъ цѣлей, но въ дѣйствительности оно прекратилось и измѣнилось въ общество, не имѣвшее ничего общаго съ литературою подъ гнетомъ вскорѣ наступившей реакціи <sup>1)</sup>).

Панаевъ своею первою литературною извѣстностію обязанъ былъ этому обществу родного города. Его литературный талантъ не былъ потребностію для него необходимымъ, а развился, какъ и у Милонова, вслѣдствіе усерднаго занятія теоріей поэзіи и, конечно, чтенія такъ называемыхъ тогда образцовыхъ сочиненій въ разныхъ родахъ. Безъ сомнѣнія, на эти занятія и на любовь къ литературнымъ упражненіямъ долженъ былъ имѣть большое вліяніе также и профессоръ русской словесности въ университетѣ.

Панаевъ, мы сказали, читалъ на торжественномъ собраніи Казанскаго общества любителей словесности „Похвальное слово императору Александру“. Чтеніе это вызвало особенныя похвалы пріѣхавшаго въ Казань важнаго генерала Желтухина, который пригласилъ его къ себѣ въ адъютанты и послалъ сочиненіе къ разнымъ высокимъ лицамъ въ Петербургъ. Но опредѣленіе въ военную службу Панаева не состоялось. Онъ поѣхалъ въ Петербургъ. Конечно, онъ не могъ жить только для одной литературы, которая не давала ни чиновъ, ни почестей, а все русское общество ставило высоко одно служебное честолюбіе. И оно сдѣлалось цѣлью стремленій Панаева. Но между служебными обязанностями онъ занимался, однако, и литературою, которая въ свою очередь служила ему, при существованіи покровительственной системы. Весьма любопытный эпизодъ въ его „Воспоминаніяхъ“ представляетъ описаніе его перваго знакомства съ Державиннымъ, который приходился ему дальнимъ родственникомъ. Въ домѣ дяди своего Страхова Панаевъ привыкъ къ глубокому уваженію къ „казанскому барду“; Казанское общество любителей словесности носилось съ этимъ именемъ въ теченіе многихъ лѣтъ; первыя свои идилліи, чистенько переписанныя, Панаевъ при почтительномъ письмѣ послалъ въ Петербургъ къ Державину и удостоился получить отъ него отвѣтъ, въ которомъ онъ одобрилъ стихотворныя попытки Панаева въ идиллическомъ родѣ; называлъ талантъ его прекраснымъ, но давалъ и наставленія, которыя рисуютъ передъ нами доброе старое время и тотъ господствовавшій въ немъ взглядъ на литературное произведеніе, по которому оно являлось чѣмъ-то механическимъ. „Совѣтую дружески не торопиться,—писалъ Державинъ,—вычищать хорошенько слогъ, тѣмъ паче когда онъ въ свободныхъ (т.-е. безъ рیمъ)

<sup>1)</sup> Н. Поповъ, Русск. Вѣстникъ, XXIII, стр. 52—98.



стихахъ заключается. Въ семь родѣ у насъ мало писано. Возьмите образцы съ древнихъ, если вы знаете греческій и латинскій языки, а ежели въ нихъ неискусны, то нѣмецкія Геснера могутъ вамъ послужить достаточнымъ примѣромъ въ описаніи природы и невинности нравовъ. Хотя климатъ нашъ суровъ, но и въ немъ можно найти красоты и въ физикѣ и въ морали, которыя могутъ тронуть сердце" <sup>1)</sup>. Изъ писемъ Державина, изъ объясненія самого Панаева въ его предисловіи къ „Идилліямъ" <sup>2)</sup>, видно, что главное дѣло въ этомъ поэтическомъ родѣ заключалось въ „невинности нравовъ". Это требованіе удаляло идиллію вполне отъ современности, и сцена дѣйствія переносилась въ золотой вѣкъ человечества, въ поля Аркадіи и Сициліи; главнымъ содержаніемъ ихъ была чувствительность сердца. Отчего нельзя переселить идилліи въ наши времена? — спрашиваетъ Панаевъ. „Тогда она совершенно бы лишилась своего достоинства, — отвѣчаетъ онъ, — даже правдоподобія, а писатель увидѣлъ бы себя въ самомъ затруднительномъ положеніи. Извѣстно, каковы нынѣшніе пастухи и земледѣльцы: продолжительное рабство сдѣлало ихъ грубыми и лукавыми. Таковыми ли привыкли воображать счастливыхъ обитателей Аркадіи?" <sup>3)</sup>

Письмо Державина съ теоретическими наставленіями въ поэзіи къ молодому университетскому кандидату произвело чрезвычайный эффектъ. Нечего и говорить, что авторъ „цѣлую зимнюю ночь не могъ сомкнуть глазъ отъ пріятнаго волненія", но „и самый университет принялъ въ томъ участіе, профессора, товарищи, всѣ поздравляли" счастливца. „Такъ цѣнили тогда великихъ писателей, людей государственныхъ!" — прибавляетъ отъ себя Панаевъ въ поученіе непочтительному потомству <sup>4)</sup>. Любопытно въ „Воспоминаніяхъ" Панаева то мѣсто, гдѣ онъ описываетъ свое первое представленіе Державину и какъ онъ хотѣлъ поцѣловать его руку <sup>5)</sup>. Онъ былъ и на собраніяхъ „Бесѣды", и разумѣется, по убѣжденіямъ своимъ принадлежалъ къ ней. По смерти Державина, Панаевъ познакомился съ нѣкоторыми другими молодыми второстепенными литераторами, къ кругу которыхъ принадлежалъ и Милоновъ, и довольно подробно, хотя съ недѣляющею честію его уму и сердцу откровенностію останавливается въ „Воспоминаніяхъ" на своихъ отношеніяхъ къ Пономаревой, женщинѣ весьма образованной, молодой и энергичной, блестящей представительницѣ средняго круга петербургскаго общества, у которой въ ту поръ

<sup>1)</sup> Вѣстн. Европы, 1867 г., III, стр. 242—243.

<sup>2)</sup> СПб. 1820.

<sup>3)</sup> XIII—XIV.

<sup>4)</sup> Вѣстн. Европы 1867 г., III, стр. 242.

<sup>5)</sup> Ibidem, стр. 246.

собиралось много писателей, привлекаемых ея характеромъ и прелестью обращенія. О ней намъ придется еще сказать нѣсколько словъ, какъ и о тогдашнихъ литературныхъ кружкахъ столицы. Вся фальшь, однако, этихъ разсказовъ Панаева о Пономаревой была обнаружена современниками тотчасъ по выходѣ его записокъ.

Службою Панаевъ не пренебрегалъ такъ, какъ Милоновъ. „По обѣимъ частямъ (своихъ служебныхъ обязанностей) занимался я съ полнымъ усердіемъ,—говоритъ онъ,—являлся къ должности въ опредѣленный часъ, отправлялъ въ свою очередь ночное въ департаментѣ дежурство, ночевалъ тамъ съ клопами, утѣшаясь одобреніемъ и ласкою Деканскаго (главнаго регистратора), но не удостоиваясь никакого вниманія со стороны исправляющаго должность директора“<sup>1)</sup>. По переходѣ въ другую службу, Панаевъ не оставлялъ, однако, своихъ занятій литературою, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ устроился въ департаментѣ путей сообщенія и дана была ему „казенная квартира, чистенькая, просторная“. Панаевъ помѣщалъ свои стихи и прозу въ „Вѣстникъ Европы“, „Сынъ Отечества“, а больше всего въ „Благонамѣренномъ“, журналъ, издаваемомъ А. Е. Измайловымъ, который былъ съ нимъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. Онъ сдѣлался членомъ двухъ литературныхъ обществъ, существовавшихъ тогда въ Петербургѣ и судя по „Воспоминаніямъ“ составилъ себѣ обширный кругъ знакомыхъ между писателями. Онъ сблизился „съ нѣкоторыми, въ которыхъ находилъ болѣе простоты и менѣе самолюбія — довольно коротко, съ другими — только слегка. Литература и тогда дѣлилась на нѣсколько партій или приходовъ. Не любя этого, я не принадлежалъ ни къ одному...“<sup>2)</sup> Въ особенности Панаеву не нравились лицеисты, т. е. товарищи Пушкина, изъ которыхъ нѣсколько по окончаніи курса, тоже вслѣдствіе полученнаго ими образованія, взялись за литературу; къ нимъ применили другіе молодые люди одинаковыхъ съ ними лѣтъ. Это была либеральная партія и Панаевъ не благоволилъ къ ней. По его словамъ, „они были (оставляя въ сторонѣ гениальнаго Пушкина), по большей части, люди съ дарованіями, но и непомятымъ самолюбіемъ. Имъ хотѣлось поскорѣе войти въ кругъ писателей, поравняться съ ними“<sup>3)</sup>. Въ особенности Панаевъ разошелся съ ними по отношенію къ С. Д. Пономаревой.

Въ 1820 году Панаевъ издалъ книжку своихъ „идиллій“, съ историческимъ и теоретическимъ введеніемъ объ этомъ родѣ поэзіи. Всѣ его идилліи суть подражанія Геснеру и въ этомъ отношеніи Па-

<sup>1)</sup> Ibidem, стр. 259.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 264.

<sup>3)</sup> Ibidem.

наевъ послѣдовалъ совѣту, данному ему Державинимъ. Происхожденіе этихъ идиллій, конечно, надобно объяснять только теоріей; нужно было молодому писателю выбрать себѣ какой-нибудь родъ, какъ это дѣлалось тогда, тѣмъ болѣе, что, по словамъ Панаева, онъ видѣлъ недостатокъ этого рода въ нашей словесности, гдѣ со временъ Сумарокова мало писалось идиллій. Онъ думалъ, по взгляду того времени, принести существенную пользу нашей литературѣ и наполнить своими идилліями существующій пробѣлъ. Но выборъ идиллическаго рода Панаевъ объяснялъ и личными причинами, собственною склонностію, „образомъ первоначальнаго своего воспитанія, мирною семейственною жизнію и частымъ пребываніемъ въ деревнѣ“ <sup>1)</sup>. Нечего и говорить, что образы и нравы послѣдней не встрѣчаются въ его идилліяхъ и что всѣ картины, всѣ характеры, имъ изображаемые, не имѣютъ ничего общаго съ жизнію и совершенно искусственны. Не смотря на это, идилліи были торжествомъ для Панаева: „Лучшіе писатели и большая часть читающей публики, — говоритъ онъ съ самодовольствомъ, — приняли ихъ съ отраднымъ для меня одобреніемъ; журналы отзывались благосклонно; Россійская Академія наградила меня золотою медалью; императрица Елисавета Алексѣевна — золотыми часами“ <sup>2)</sup>. Все это не могло не содѣйствовать успѣху служебной карьеры Панаева. Въ 1823 году Панаевъ издалъ свое „Похвальное слово Кутузову“. И оно также послужило ему въ пользу, конечно не безъ хлопотъ со стороны автора. Оно облизало его съ Шишковымъ, который вскорѣ послѣ того былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія и взялъ автора къ себѣ на службу. Одинъ экземпляръ онъ послалъ къ статсъ-секретарю Лонгинову для поднесенія императрицѣ. „Спустя недѣлю, — рассказываетъ Панаевъ, — вижу сонъ, будто входитъ ко мнѣ придворный лакей и подаетъ красную сафьянную коробочку; раскрываю — три бриллантовые кружка. Въ это самое время (въ 8 часовъ утра) человекъ мой будитъ меня, говоря, что пріѣхалъ придворный ѣздовой. Надѣваю халатъ; выхожу — ѣздовой подаетъ мнѣ пакетъ; распечатываю — письмо отъ Лонгинова съ препровожденіемъ фермуара, пожалованнаго императрицею моею невѣстѣ!... Чѣмъ объяснить сей сонъ, такъ вѣрно и такъ быстро сбывшійся?“ — спрашиваетъ Панаевъ. Онъ отрицаетъ, что много думалъ о посланномъ государынѣ экземплярѣ и надѣялся на новую отъ нея милость. „Выходитъ, что сонъ этотъ принадлежитъ, — говоритъ авторъ, — къ числу многихъ подобныхъ неизъяснимыхъ явленій нашей жизни, гдѣ гордый, пытливый умъ человѣческій долженъ

<sup>1)</sup> Въмѣсто предисловія, XIX.

<sup>2)</sup> Русск. Арх., 1867 г., III, стр. 267.

умолкнуть и гдѣ начинается область одной вѣры“ <sup>1)</sup>. Но и государь подарилъ за то же похвальное слово Панаеву богатый брилліантовый перстень. „Судя по тогдашнимъ цѣнамъ и небольшому чину моему— коллежскаго ассесора,—говорить Панаевъ,—милость эта была всѣмъ признана значительною, даже неожиданно, тѣмъ болѣе, что сочиненіе мое заключало въ себѣ мѣста щекотливыя, именно тамъ, гдѣ говорилось о постигшей Кутузова опалѣ“ <sup>2)</sup>. Изъ этого видно, что литература была очень удачнымъ дѣломъ для Панаева и что онъ умѣлъ поступать такъ, чтобъ извлекать изъ нея всевозможныя выгоды, на что, конечно, не всякій способенъ. Литературные труды Панаева, при невзыскательности тогдашней критики и при существованіи системы покровительства, которая не умѣла хорошенько разобрать, за что слѣдуетъ наградить, составили служебную карьеру Панаева, положили основаніе его успѣхамъ по службѣ, но по мѣрѣ разширенія этихъ успѣховъ онъ постепенно охладѣвалъ къ литературному дѣлу, которое не могло уже приносить ему прежней пользы. Литература, которая въ Панаевѣ не была сознательнымъ служеніемъ обществу и необходимою потребностію души его, а только упражненіемъ въ томъ или другомъ родѣ или просто въ слогѣ, должна была быть скоро забыта имъ. Въ высокихъ чинахъ и звѣздахъ, онъ долженъ былъ смотрѣть на нее свысока, какъ на забаву молодости, и когда въ ту канцелярію, которой онъ былъ директоромъ, поступали молодые люди съ призваніемъ къ литературѣ, съ желаніемъ заниматься ею, онъ совѣтовалъ имъ бросить это занятіе и требовалъ отъ нихъ только службы, только одной службы. И этотъ типъ писателя, который уясняется намъ, благодаря собственнымъ запискамъ Панаева, приводитъ къ тому же нѣсколько разъ повторенному заключенію о бѣдности нашей литературы въ царствованіе Александра, о ея печальномъ удаленіи отъ жизни и дѣйствительности. Одобреніе властью литературныхъ трудовъ Панаева объясняется тѣмъ, что, по всей вѣроятности, цензура не вымарала изъ нихъ ни одной строчки.

## ЛЕКЦІИ XVII и XVIII.

Н. И. Гнѣдичъ. — Переводные романы. — Нарѣжный.

Между людьми, сдѣлавшимися поэтами и литераторами совершенно случайно, было весьма немногихъ людей, смотрѣвшихъ серьезно на литературное свое призваніе, искренно преданныхъ ему во всю жизнь и получившихъ такое солидное образованіе, которое выдвигало ихъ изъ

<sup>1)</sup> Вѣстн. Европы 1867 г., IV, стр. 90—91.

<sup>2)</sup> Ibidem.

ряда. Это образованіе, исключительно направленное въ одну сторону, отодвигало ихъ также отъ живыхъ интересовъ времени и общества, не давало имъ возможности хорошо понять ихъ, но за то позволило имъ оказывать дѣйствительныя услуги русской литературѣ внесеніемъ въ нее элементовъ, прежде неизвѣстныхъ. Къ числу такихъ рѣдкихъ исключеній принадлежалъ Гнѣдичъ, писатель, хотя и одаренный небольшимъ поэтическимъ талантомъ, но знакомый, и вслѣдствіе полученнаго имъ первоначально образованія и потомъ вслѣдствіе усиленнаго труда почти цѣлой жизни, съ классическимъ міромъ и съ древней греческой поэзіей, что позволило ему обогатить русскую литературу замѣчательнымъ переводомъ Илиады. Вдали отъ литературныхъ партій того времени, не принадлежа всецѣло ни къ представителямъ „Бесѣды“, ни къ и-  
*ніямъ* „Арзамаса“, Гнѣдичъ одинокій и большею частію болѣзненный, дѣлалъ свое дѣло, которое любилъ всею душою. Это не мѣшало ему находить искреннихъ и преданныхъ друзей въ разныхъ партіяхъ и поколѣніяхъ писателей того времени. Его любили за прекрасное, до-  
вѣрчивое сердце, за свѣтлый умъ, за страстныя и искреннія увле-  
ченія міромъ искусства, которое онъ цѣнилъ во всѣхъ формахъ и ви-  
дахъ его и за готовность служить при всякихъ обстоятельствахъ  
друзьямъ своимъ въ литературномъ мірѣ. Это заставляло смотрѣть  
всѣхъ снисходительно на его странную, педантическую фигуру, съ  
его классическими увлеченіями и вѣчнымъ Гомеромъ, напоминав-  
шую старика Тредьяковскаго. Гнѣдичъ былъ некрасивъ собой,  
но имѣлъ претензію нравиться; его лицо было изуродовано оспой,  
которая сдѣлала его кривымъ, но подъ этою невзрачною и от-  
талкивающимъ наружностію скрывалась прекрасная душа, которая  
заставляла всѣхъ любить его и забывать его наружность. Гнѣдичъ ни-  
сколько не былъ ослѣпленъ на счетъ размѣровъ своего поэтического  
таланта, онъ очень вѣрно опредѣлялъ стихи свои

„Дары небогатые строго-скупой моей музы“.

Но въ этихъ немногихъ стихахъ его, повторимъ его собственныя вы-  
раженія, всякій—

„Узнатъ изъ нихъ, что въ груди моей бьется, быть можетъ,  
Не общее сердце; что съ юности нѣжной оно трепетало  
При чувствѣ прекрасномъ, при помыслѣ важномъ или смѣломъ,  
Дрожало при имени славы или гордой свободы;  
Что съ юности нѣжной, любовію къ музамъ пылая,  
Оно сохраняло, во всѣхъ коловратностяхъ жизни,  
Сей жаръ, хоть не пламенный, но постоянный и чистый;  
Что не было видовъ, что не было мзды, для которыхъ  
Душой торговать я, что бывши не разъ искушаемъ

Могуществомъ гордимъ, изъ опытовъ вышелъ я чистымъ;  
Что жертвъ не куривъ, возжигаемыхъ идоламъ міра,  
Ни словомъ однимъ я безсмертной души не унижилъ“ <sup>1)</sup>.

Дѣйствительно Гнѣдичъ, былъ глубоко честною натурою. Біографъ его, впрочемъ представившій о Гнѣдичѣ самыя скудныя свѣдѣнія, приводитъ одну фразу его, которая можетъ служить его характеристикой: „Умомъ моимъ я не всегда доволенъ: онъ нерѣдко увлекается; но душею—всегда: она ни разу меня не обманула“ <sup>2)</sup>.

Николай Ивановичъ Гнѣдичъ былъ родомъ изъ Малороссіи. Онъ родился въ Полтавѣ въ 1784 году и происходилъ изъ очень небогатыхъ дворянъ того края. Первоначальное воспитаніе Гнѣдичъ получилъ въ Полтавской семинаріи, гдѣ, вѣроятно, положено было прочное основаніе для знакомства съ древними языками. Въ 1800 году онъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ прилежно продолжалъ заниматься древними языками и познакомился съ французскимъ и нѣмецкимъ. Современникъ рассказываетъ, что въ университетѣ и товарищи и профессеры любили добраго, умнаго и миролюбиваго Гнѣдича, хотя и подсмѣивались надъ его педантическимъ видомъ, надъ привычкою говорить свысока и придавать значеніе самымъ пустымъ обстоятельствамъ. Еще въ университетѣ онъ полюбилъ чтеніе гекзамеровъ въ Телемахидѣ Тредьяковскаго и выдерживалъ изъ-за нея споры съ своими товарищами, которые удивлялись его странному вкусу и не могли понять его. Тамъ же Гнѣдичъ приучился декламировать, что продолжалъ онъ дѣлать и потомъ, славясь мастерскимъ чтеніемъ и кромѣ того получилъ искреннюю страсть къ театру, которая не оставляла его до самой смерти. Гнѣдичъ полюбилъ Шекспира, хотя и не былъ знакомъ съ нимъ въ подлинникѣ, и Шиллера. Его страстью сдѣлалась трагедія. Первые литературные труды его, за которые онъ взялся еще въ университетѣ, чтобы получить деньги, были переводы трагедій: Дюссиса „Абюфаръ или Арабская семья“ <sup>3)</sup> и Шиллера „Заговоръ Фіеско въ Генуѣ“ <sup>4)</sup>. Тогда же онъ написалъ плохой подражательный романъ: „Донъ Коррадо де Геррера или Духъ мщенія и варварства испанцевъ“ <sup>5)</sup>. Преобладающею страстію его была однако трагедія. Основываясь на примѣрахъ мистерій среднихъ вѣковъ и Шекспировыхъ историческихъ хроникъ, которыя дѣлятся на нѣсколько частей, Гнѣдичъ задумалъ было самъ написать

<sup>1)</sup> Къ моимъ стихамъ.

<sup>2)</sup> Лобановъ, Біографія Н. И. Гнѣдича. „Сынъ Отеч.“, 1842, XI, стр. 26.

<sup>3)</sup> М. 1802.

<sup>4)</sup> М. 1803.

<sup>5)</sup> М. 1803.

драму въ 15 дѣйствіяхъ, но предпріятіе его осталось неоконченнымъ: нужно было ѣхать служить въ Петербургъ <sup>1)</sup>). На студенческомъ театрѣ Гнѣдичъ любилъ выбирать для себя трагическія роли.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, отыскивая мѣсто, Гнѣдичъ находился въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Рассказываютъ, что не имѣя денегъ, онъ принужденъ былъ обратиться за помощью къ графу Хвостову и написалъ ему стихотворное посланіе <sup>2)</sup>). Ему помогъ его соотечественникъ, тоже классикъ, извѣстный намъ И. И. Мартыновъ, давшій ему мѣсто подъ своимъ начальствомъ, въ департаментѣ народнаго просвѣщенія, гдѣ онъ оставался на службѣ до 1817 года. Съ этого времени онъ сталъ принимать дѣятельное участіе въ петербургской литературѣ и помѣщалъ свои стихи сначала въ журналахъ, издаваемыхъ Мартыновымъ: „Сѣверный Вѣстникъ“, „Лицей“, а потомъ и въ другихъ. Съ этихъ поръ онъ сближается съ разными писателями, и съ молодыми и съ старыми и живетъ постоянно въ литературномъ кругѣ. Мы уже видѣли, въ какой тѣсной дружбѣ находился онъ съ Батюшковымъ; вмѣстѣ съ нимъ онъ участвовалъ въ „Цвѣтникѣ“, издававшемся молодыми писателями. Онъ принадлежалъ къ обществу любителей русской словесности, которое подъ разными названіями существовало очень долго. Дружбу съ Батюшковымъ и поэтическія мечты съ нимъ Гнѣдичъ цѣнилъ очень высоко, какъ это видно изъ его стихотвореній <sup>3)</sup>). Но и со старыми писателями онъ сблизился съ самаго пріѣзда своего въ Петербургъ. Гнѣдичъ былъ знакомъ съ Капнистомъ, тоже малороссомъ и близкимъ другомъ и родственникомъ Державина. Когда образовалась „Бесѣда“ онъ сдѣлался ея членомъ, хотя на первыхъ порахъ чуть-было не разошелся съ Державинымъ. Послѣдній, какъ и многіе другіе, любилъ въ Гнѣдичѣ талантъ отличнаго чтеца и приглашалъ его читать въ собраніяхъ свои трагедіи. Но Гнѣдичъ смѣялся надъ „Бесѣдою“ и ея членами. „У насъ заводится названное съ начала Ликей, потомъ Аѳиней и наконецъ Бесѣда или общество любителей російской словесности“, пишетъ онъ къ Капнисту... Разсказавъ ея внѣшнее устройство въ домѣ Державина, Гнѣдичъ продолжаетъ: „Чтобы въ случаѣ пріѣзда вашего и посѣщенія Бесѣды не прійти вамъ въ конфузій, предувѣдомляю васъ, что слово проза называется у нихъ *говоръ*, билетъ—*значекъ*, номеръ—*число*, швейцаръ—*отстникъ*; другихъ словъ еще не вытвердилъ, ибо и самъ новичекъ. Въ залѣ Бесѣды будутъ публичныя чтенія, гдѣ *будутъ* совокупляться знатныя особы обоего пола—подлинное

<sup>1)</sup> Жихаревъ, Записки, стр. 158.

<sup>2)</sup> Вигель, Записки, ч. III, стр. 146.

<sup>3)</sup> Къ К. Н. Батюшкову и Дружба.

выраженіе одной статьи устава Бесѣды<sup>1)</sup>. Бесѣда задѣла и самолюбіе Гнѣдича. Члены различныхъ разрядовъ ея въ спискахъ, составленныхъ по выбору, были разставлены по старшинству чиновъ. Это не могло понравиться Гнѣдичу: „Отдавая всю справедливость и уваженіе заслугамъ по службѣ, писалъ онъ Державину, я тогда только позволю себѣ видѣть имя свое ниже нѣкоторыхъ господъ, послѣ какихъ внесенъ я въ списокъ, когда дѣло будетъ идти о чинахъ“<sup>2)</sup>. Несмотря на это недоразумѣніе, кажется, однако, что Гнѣдичъ участвовалъ въ засѣданіяхъ Бесѣды и читалъ въ нихъ до самаго конца ея существованія.

Существуетъ очень мало стихотвореній Гнѣдича, въ которыхъ выражалось бы личное чувство его. Человѣкъ скромный, тихій, одинокій, любившій уединеніе, онъ рѣдко высказывался, да едва ли и могъ. Какъ во всякомъ южно-русскѣ, и въ Гнѣдичѣ сильно развито было чувство любви къ своей родинѣ и въ особенности къ роднымъ. Впрочемъ, его семейныя отношенія намъ почти неизвѣстны. Изъ Петербурга онъ ѣздилъ нѣсколько разъ на родину. Такъ въ 1805 году, онъ посѣтилъ гробъ матери, которую, кажется, потерялъ еще въ дѣтствѣ:

„Отъ колыбели я остался  
Въ печальномъ мірѣ сиротой,  
На утрѣ дней моихъ разстался,  
О мать бездѣльная, съ тобой“.

Онъ жалуется на свою печальную судьбу: ...„Оставленный тобою, говоритъ онъ о матери, я отъ пеленъ усыновленъ суровой мачихой—судьбою“<sup>3)</sup>. Была у Гнѣдича сестра, которой онъ передалъ небольшое отцовское наслѣдство. Она умерла молодой женщиной и Гнѣдичъ перенесъ всѣ свои сердечныя привязанности на ея единственную маленькую дочь, которую онъ называетъ своей „последней земной привязанностію“.

„Тебя далекую, невиданную мною,

говоритъ онъ въ исполненномъ грусти стихотвореніи, написанномъ имъ по случаю смерти племянницы,

Любилъ, лелѣялъ я во глубинѣ души,  
Какъ лучшую мечту, какъ сладкую надежду“<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Соч. Державина, т. VI, стр. 375.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 203.

<sup>3)</sup> На гробъ матери.

<sup>4)</sup> На смерть дочери покойной сестры.



Не имѣя такимъ образомъ близкихъ людей, привязанность къ которымъ могла бы наполнить его сердечную пустоту, Гнѣдичъ постоянно жаловался на свое одиночество. Оно томило его. Въ стихотвореніи „Дума“ онъ высказываетъ свою личную жалобу:

„Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!  
Ничьей не ласкаемъ рукою,  
Отъ дѣтства я росъ одинокъ, сиротомъ;  
Въ путь жизни пошелъ одинокъ;  
Прошелъ одинокъ его—тощее поле,  
На коемъ, какъ въ знойной Ливійской юдоли,  
Не встрѣтились взору ни тѣнь, ни цвѣтокъ;  
Мой путь одинокъ я кончаю,  
И хилую старость встрѣчаю  
Въ домашнемъ быту одинокъ:  
Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!“

Всю жизнь Гнѣдичъ мечталъ о семейномъ счастьи. Свидѣтельствомъ желаній этихъ могутъ служить разные наброски, въ которыхъ онъ записывалъ мысли и чувства или собственныя или навѣянные чтеніемъ чужихъ произведеній. Нѣсколько такихъ афоризмовъ, изъ бумагъ Гнѣдича, напечаталъ Лобановъ въ своей статьѣ о немъ. „Долго испытывая, что такое счастье, или лучше сказать — на чемъ бы хотѣлъ я основать мое счастье, нахожу, что постоянство и однообразие жизни, спокойствіе духа и свобода, образованность сердца и раздѣленіе чувствъ его — вотъ источники счастья, мною воображаемаго. Только воображаемаго! Какъ я бѣденъ!... Главнѣйшій предметъ моихъ желаній—домашнее счастье... Но увы! я бездоменъ, я безроденъ. Кругъ семейственный есть благо, котораго я никогда не вѣдалъ. Чуждый всего, что могло бы меня развеселить, ободрить, я ничего не находилъ въ пустотѣ домашней, кромѣ хлопотъ, усталости, унынія. Меня обременяли всѣ заботы жизни домашней, безъ всякаго изъ нея наслажденій“... <sup>1)</sup>). Къ тому же и здоровье Гнѣдича было плохое; онъ часто хворалъ. Но за то въ этомъ невольномъ уединеніи и отчужденіи отъ всего внѣшняго міра, Гнѣдичъ тѣмъ съ большимъ увлеченіемъ и страстію погружался въ міръ поэзіи, преимущественно классической, и въ міръ искусства. Гнѣдичъ страстно любилъ и живопись и музыку и тѣмъ сильнѣе были его увлеченія, что рѣдко удавалось ему съ кѣмъ-нибудь раздѣлять ихъ. Изъ міра поэзіи и искусства Гнѣдичъ любилъ больше всего театръ, это была его страсть исключительная, и хотя самъ онъ не написалъ ни одной оригинальной пьесы, но мы видѣли, что, еще будучи московскимъ студентомъ, онъ переводилъ трагедіи.

<sup>1)</sup> „Сынъ Отеч.“, 1842, XI, стр. 28—29.

Эта страсть нашла еще больше удовлетворенія въ Петербургѣ. Какъ литераторъ, какъ знатокъ искусства, какъ отличный чтецъ и декламаторъ, Гнѣдичъ получилъ большую извѣстность въ литературныхъ и близкихъ къ театру кружкахъ. Его вкусъ и сужденія уважались. Изъ всѣхъ трагическихъ поэтовъ Гнѣдичъ нынѣ ставилъ Шекспира и приходилъ въ восторгъ отъ характера Гамлета, хотя онъ знакомъ былъ съ произведеніями англійскаго драматурга по французскому переводу Дюсиса <sup>1)</sup>. Мнѣнія Гнѣдича вообще были правильны въ этомъ вопросѣ.

Но классическая теорія, въ которой онъ былъ воспитанъ, брала, разумѣется, перевѣсъ, и съ ея точки зрѣнія Гнѣдичъ долженъ былъ смотрѣть и на Шекспира. Въ 1807 году онъ поставилъ на петербургскую сцену, а въ слѣдующемъ году напечаталъ свою трагедію „Леаръ“, „взятую изъ Шекспира“. Конечно, съ большимъ трудомъ можно узнать въ ней знаменитаго „Короля Лира“. Это не переводъ, а подражаніе или скорѣе передѣлка. Гнѣдичъ былъ недоволенъ ни Шекспиromъ, ни переводчикомъ его Дюсисомъ. Ему не нравится сумашествіе Лира въ Шекспировомъ оригиналѣ; ему не нравится, что Дюсисъ, въ своей передѣлкѣ, сдѣлалъ Лира „легкомысленнымъ, возмутительнымъ, властолюбивымъ“. Это заставило Гнѣдича, по его собственнымъ словамъ, „прибѣгнуть къ изобрѣтенію“; даже развязка трагедіи переименована у него <sup>2)</sup>. Публика, конечно, была такъ мало знакома съ настоящимъ Шекспиromъ, что Гнѣдичу не стоило и оправдываться въ своихъ передѣлкахъ; „Леаръ“ имѣлъ большой успѣхъ на сценѣ, точно такъ, какъ и другая переводная трагедія Гнѣдича, на этотъ разъ взятая изъ псевдоклассическаго театра „Танкредъ“—Вольтера <sup>3)</sup>. Къ этому времени литературныхъ успѣховъ Гнѣдича на театрѣ, относится сближеніе его съ знаменитой трагической актрисой того времени Семеновою, которая возбуждала восторгъ публики въ пьесахъ Озерова и въ „Лирѣ“, передѣланномъ Гнѣдичемъ,—въ роли Корделии. Скоро, впрочемъ, Семенова, сдѣлавшись благодаря своей классической красотѣ, княгиней Гагариною, оставила сцену. По словамъ современниковъ своимъ талантомъ, повиманіемъ трагическихъ сторонъ характеровъ, да и вообще своею славою Семенова обязана была исключительно Гнѣдичу. Съ глубокою преданностью, можетъ быть съ затаенною страстью къ прекрасной женщинѣ, Гнѣдичъ слѣдилъ за ея развитіемъ и проходилъ съ ней усердно главныя трагическія роли, въ которыхъ она появлялась на сценѣ. Труда и усердія

<sup>1)</sup> Жихаревъ, Записки, стр. 350.

<sup>2)</sup> Леаръ, траг. въ пяти дѣйствіяхъ. Спб. 1808. Предисловіе.

<sup>3)</sup> Спб. 1810.

на это любимое дѣло, въ которомъ удовлетворялась его страсть въ театру и любовь къ изящному, Гнѣдичъ положилъ очень много, за то и добился блестящихъ результатовъ. Говорятъ даже, что частая и усиленная декламация, чтеніе вслухъ и сильное напряженіе при этомъ положили въ немъ начало той болѣзни, которая свела его въ могилу — расширенію артерій сердца.

„Свершай путь начатый; онъ труденъ, но почтенъ,—

говорить Гнѣдичъ въ своемъ стихотворномъ посланіи къ Семеновой:

Дается свыше даръ, и всякій даръ священъ;  
Но ихъ природа намъ не вгунѣ посылаетъ:  
Природа даръ даетъ, а трудъ усовершенуетъ;  
Цѣни его и уважай,  
Искусствомъ, опытомъ, трудомъ обогащай,  
И шествуй гордо въ путь, въ прекрасный путь за славой.

Скоро, однако, другая могучая, уединенная страсть наполнила душу Гнѣдича и не оставляла его до самой смерти. Мы говоримъ о его замѣчательномъ переводѣ Иліады, трудѣ, которому онъ посвятилъ много лѣтъ своей жизни и который дѣйствительно составляетъ приобрѣтеніе нашей литературы. Переводъ этотъ, къ счастью самого Гнѣдича, даже на первыхъ порахъ, нашелъ одобреніе и матеріальную помощь, такъ что онъ безпрепятственно и спокойно могъ продолжать его. Писатели, любившіе Гнѣдича, также смотрѣли на трудъ его съ уваженіемъ и одобряли тѣ отрывки, которые появлялись въ тогдашнихъ журналахъ. А сначала Гнѣдичъ отчаявался. „Карабаться до столбовъ Гераклесовыхъ до тѣхъ поръ, пока отъ дороги и труда упаду ободраннѣе и изнеможеннѣе? Какіе усладительные виды, а особливо для старости!“ писалъ Гнѣдичъ къ Капнисту въ 1811 году <sup>1)</sup>. Онъ собирался было ѣхать при посольствѣ въ Сѣверную Америку, но „убоялся, говоритъ онъ, чтобъ при повтореніи Виргиліевой бури меня не замутило и не потерпѣть бы мнѣ судьбы Палинура“ <sup>2)</sup>. Гимны Гомера въ переводѣ онъ сталъ печатать съ 1808 года и тогда же принялся за продолженіе перевода Иліады, сдѣланнаго александрійскими стихами еще въ прошломъ вѣкѣ Костровымъ. Этотъ старый переводчикъ напечаталъ при жизни своей шесть пѣсенъ; трудъ его ставили очень высоко въ литературѣ и Гнѣдичъ, хорошо знакомый съ Гомеромъ еще въ университетѣ, по совѣту ли другихъ или по собственному убѣжденію, рѣшился продолжать его. До 1812 года онъ пере-

<sup>1)</sup> Соч. Державина, т. VI, стр. 375.

<sup>2)</sup> Ibidem, стр. 376.

велъ около пяти пѣсень, печатавъ отрывки ихъ въ журналахъ и читая ихъ въ разныхъ литературныхъ обществахъ, какъ вдругъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1811 года <sup>1)</sup> появилось случайно найденное продолженіе перевода Кострова, состоящее изъ 7-й, 8-й и 9-й части пѣсень Иліады. Гнѣдичъ сталъ отчаяваться, говорилъ, что начинаніе труда его было напрасно, жаловался, что онъ суетно потерялъ на этотъ трудъ шесть лѣтъ жизни <sup>2)</sup>. Незадолго до этого онъ получилъ новое служебное мѣсто и матеріальную помощь для перевода Гомера. Въ 1811 году Гнѣдичъ поступилъ на службу въ Публичную Библіотеку, не оставляя, однако, своей должности въ департаментѣ до 1817 года. Директоромъ Библіотеки былъ тогда графъ А. С. Строгановъ, большой любитель искусствъ. Онъ былъ искренно расположенъ къ Гнѣдичу и труду его и понималъ все его значеніе для русской литературы. Въ домѣ его Гнѣдичъ былъ принятъ съ истиннымъ радушіемъ. Мѣсто Строганова, скоро умершаго, занялъ Оленинъ, о которомъ намъ не разъ уже приходилось говорить. Въ его домѣ Гнѣдичъ былъ также принятъ какъ родной, вмѣстѣ съ Крыловымъ, своимъ сослуживцемъ; дружба ихъ завязалась тутъ и длилась до самой смерти Гнѣдича. Ласкамъ и радушію Оленина и жены его, извѣстной Елизаветы Марковны, Гнѣдичъ былъ многимъ обязанъ. Въ своемъ стихотвореніи „Пріютино“ (такъ называлось имѣніе Олениныхъ подъ Петербургомъ), посвященномъ имъ женѣ своего начальника, Гнѣдичъ рассказываетъ свои уединенныя прогулки по его лѣсамъ въ теченіе многихъ лѣтъ:

„Здѣсь часто по холмамъ бродилъ съ моею мечтою,  
И спящее въ глуши безжизненныхъ лѣсовъ  
Я эхо съвера вечернею порою  
Будилъ гармоніей Гомеровыхъ стиховъ“.

И тотъ и другой начальники Гнѣдича, говоритъ Лобановъ, не столько службы требовали отъ него, сколько Иліады. Безъ сомнѣнія, при ихъ посредствѣ предпринятый Гнѣдичемъ переводъ Иліады дошелъ до свѣдѣнія Высочайшихъ особъ. Покровительница Карамзина, великая княгиня Екатерина Павловна, назначила Гнѣдичу въ 1812 году пенсію въ 1000 рублей, которую онъ получалъ по самую смерть свою. Онъ удостоился приглашенія и къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и читалъ въ ея присутствіи свой переводъ. Объ этомъ онъ самъ говоритъ въ своихъ стихотвореніяхъ. По смерти великой княгини онъ написалъ „Приношеніе“, въ которомъ высказываетъ свою

<sup>1)</sup> Ч. 58, № 14.

<sup>2)</sup> Соч. Державина, т. VI, стр. 376.

печаль, что ему не удалось поднести ей окончанный переводъ Иліады. Но Гнѣдичъ посвящаетъ его ея памяти, ея имени:

„Такъ имя твое да украситъ мой свитокъ;  
И пусть оно скажетъ потомкамъ, что я,  
Избранный тобою проповѣдникъ Гомера,  
Не вовсе пѣвцовъ недостойную жертву  
Принесъ на священный отчизны алтарь“ <sup>1)</sup>.

Нѣсколько лѣтъ труда надъ продолженіемъ перевода Иліады, начатаго Костровымъ александрійскими стихами, хотя и казались сначала Гнѣдичу напрасно потерянными, не были, однако, безплодными. Онъ успѣлъ полюбить Гомера и не могъ уже съ нимъ разстаться. Въ годъ появленія найденнаго продолженія Кострова, когда Гнѣдичъ колебался, на его трудъ обратилъ вниманіе Уваровъ, научно знакомый съ содержаніемъ и характеромъ греческой поэзіи. Онъ убѣдилъ Гнѣдича оставить совершенно александрійскій стихъ, который требовался необходимо для эпической поэмы ложно-классической теоріей, и приняться за новый переводъ Иліады—размѣромъ подлинника, т.-е. гекзаметромъ, неудачный опытъ котораго былъ представленъ въ прошломъ вѣкѣ Телемахидою. Кажется, и самъ Гнѣдичъ съ самаго начала сознавалъ достоинство гекзаметра для русскаго перѣвода Гомера: „Кончивъ шесть пѣсень, я убѣдился опытомъ, говоритъ онъ въ предисловіи, что переводъ Гомера, какъ я его разумѣю, въ стихахъ александрійскихъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ для меня; что остается для этого одинъ способъ, лучший и вѣрнѣйшій—гекзаметръ... Люди образованные (Уваровъ) одобрили мой опытъ и вотъ, что дало мнѣ смѣлость отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредіаковскимъ“ <sup>2)</sup>. Дѣйствительно, по настоянію Уварова Гнѣдичъ сталъ переводить Гомера гекзаметрами. Уваровъ написалъ съ этою цѣлію письмо къ Гнѣдичу, помѣщенное въ „Чтеніяхъ Бесѣды“ вмѣстѣ съ отвѣтомъ послѣдняго и отрывками перевода уже въ новомъ размѣрѣ <sup>3)</sup>. Нашлись писатели, которые стояли за прежній александрійскій размѣръ, напр., Капнистъ, доказывавшій въ своемъ письмѣ къ Уварову, что гекзаметръ невозможенъ въ рускомъ языкѣ. Онъ предлагалъ переводить Гомера размѣромъ русской пѣсни или былины. Его поддерживали и другіе. Эта полемика или „вопли старовѣровъ литературныхъ“—по выраженію Гнѣдича, напе-

<sup>1)</sup> Приношеніе Екатерины Павловны, покойной королевы Виртембергской.

<sup>2)</sup> Иліада, изд. 1839 г., стр. XVI.

<sup>3)</sup> Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова. Чтеніе тринадцатое. Спб. 1813 г., стр. 56—86.

чатана также въ Читеніяхъ <sup>1)</sup>. Она вызвала даже сатирическіе стихи Воейкова:

„Вотъ ямбонъ защищая честь,  
Не зная, что гекзаметръ есть,  
Въ филиппикѣ многорѣчивой,  
Капнистъ рассказываетъ намъ,  
Что въ музыкѣ Горациіи самъ  
Не зналъ ни толку, ни размѣра,  
Что ухо грубо у Гомера“ <sup>2)</sup>.

Переводъ Иліады стоилъ Гнѣдичу нѣсколько лѣтъ жизни и большаго труда. Онъ изучалъ не одинъ языкъ Гомера, а все что только было писано о поэмахъ его въ европейской наукѣ, знакомился со всѣми разнообразными толкованіями Гомера. Гнѣдичу хотѣлось снабдить свой переводъ объясненіями, которыя онъ считалъ тѣмъ болѣе необходимыми, что наше общество совершенно незнакомо съ классическою литературою и съ содержаніемъ древняго міра. „Фоссъ могъ издать свой переводъ Гомера безъ всякихъ примѣчаній—говорить Гнѣдичъ; онъ не опасался никакихъ недоразумѣній со стороны читателя... Но древняя тьма лежитъ на рошахъ русскаго Ликея“ <sup>3)</sup> и Гнѣдичъ жалуется на господство въ нашей литературѣ одностороннихъ французскихъ сужденій, которыя не позволяютъ правильно смотрѣть на Гомера. Свой собственный взглядъ на Гомера Гнѣдичъ достаточно высказалъ въ своемъ „предисловіи“ къ переводу. Взглядъ этотъ, конечно, соотвѣтствовалъ научному уровню того времени, но теперь онъ значительно измѣнился, какъ измѣнился самый языкъ, которымъ переводилъ Гнѣдичъ и о которомъ онъ много заботился. Какъ извѣстно, языку перевода Гнѣдича недостаетъ простоты и естественности, которыя очевидны въ подлинникѣ; на переводѣ его отразилось сильное вліяніе „Бесѣды“ и господствовавшего въ ней вкуса; Гнѣдичъ не желалъ ограничиваться „языкомъ гостинныхъ и скудными еще нашими словарями“. Онъ употреблялъ и слова малоизвѣстныя, областныя, но болѣе всего матеріала доставилъ ему языкъ церковно-славянскій. Отъ этого его Иліада имѣетъ нѣсколько торжественный тонъ, не вполне соотвѣтствующій подлиннику; въ этомъ сказался старинный теоретическій взглядъ на эпическую поэму. Недостатки эти, конечно значительны, но въ нихъ надобно видѣть вліяніе времени и образованія, полученнаго Гнѣдичемъ; притомъ они не такъ важны, чтобъ читатель не могъ изъ-за нихъ познакомиться съ содержаніемъ всемірно-исторической поэмы и полюбить Гомера. Трудъ Гнѣдича во

<sup>1)</sup> Читеніе семнадцатое. Спб. 1815 г., стр. 18—42 и 47—66.

<sup>2)</sup> Современ. 1857 г., № 3.

<sup>3)</sup> Иліада, изд. 1839 г., стр. I—II.

всякомъ случаѣ заслуживаетъ полнаго и глубокаго уваженія, потому что онъ дѣлалъ достояніемъ русской литературы такое великое произведеніе, съ которымъ она вовсе не была до него знакома и такимъ образомъ способствовалъ обогащенію ея содержанія, развитію художественнаго вкуса. Скромный и уединенный труженикъ сдѣлалъ много. Нѣсколько десятилѣтій тому назадъ переводъ Гнѣдича ставился очень высоко. „Русскіе владѣютъ едва ли не лучшимъ въ мірѣ переводомъ „Иліады“, восторженно говоритъ Вѣлинскій. Этотъ переводъ, рано или поздно, сдѣлается книгою классическою, настольною и станетъ краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполне понимать вообще искусство“ <sup>1)</sup>.

Переводъ Иліады вышелъ въ 1829 году. Современные писатели, академія російская, власти—встрѣтили его чрезвычайно благосклонно. Въ этомъ отношеніи Гнѣдичъ не могъ пожаловаться на равнодушіе къ нему. Вотъ что писалъ между прочимъ Пушкинъ въ издаваемой пріятелемъ его Дельвигомъ „Литературной газетѣ“ о трудѣ Гнѣдича: „Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ нетерпѣливо ожидаемый переводъ Иліады! Когда писатели, избалованные минутными успѣхами, большею частію устремились на блестящія бездѣлки; когда талантъ чуждается труда, а мода пренебрегаетъ образцами величавой древности; когда поэзія не есть благоговѣйное служеніе, но тожко легкомысленное занятіе: съ чувствомъ глубокимъ уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго высокаго подвига. Русская Иліада передъ нами“ <sup>2)</sup>. Посреди романтическихъ стремленій тогдашней литературы и неестественныхъ, вычурныхъ характеровъ, которые тогда нравились всѣмъ, какъ выраженіе тогдашняго идеала—свободы гениальной личности, простой міръ Гомера, его скульптурные боги и герои—казались какимъ-то откровеніемъ. Передъ ними становилось неловко. Тотъ же Пушкинъ писалъ: „Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи, старца великаго тѣнь чую смущенной душой“ <sup>3)</sup>.

Что Гнѣдичъ съ искреннею любовью и по призванію посвятилъ нѣсколько лѣтъ своей жизни Гомеру, доказываютъ его собственныя слова, что „чистѣйшими удовольствіями въ жизни онъ обязанъ былъ Гомеру“, что онъ „забывалъ труды, которые налагала на него любовь къ нему“ <sup>4)</sup>. То же доказывается и его апофеозомъ Гомера въ большемъ стихотвореніи „Рожденіе Гомера“, которое было бы лучше,

<sup>1)</sup> Вѣлинскій. Сочиненія Александра Пушкина. Гл. III.

<sup>2)</sup> О выходѣ Иліады въ переводѣ Гнѣдича.

<sup>3)</sup> На переводъ Иліады.

<sup>4)</sup> Иліада. Изд. 1839 г., стр. XVIII.





**Въ книжномъ складѣ при типографіи М. М. СТАСЮЛЕВИЧА**

(Спб., В. О., 5 линія, д. 28)

имѣются въ продажѣ изданія Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ:

1. „Историческое Обзорѣніе“, издаваемое подъ редакціей *Н. И. Карьева*. Цѣна I тома 2 р. 50 к.; II, III, IV, V, VI и XI по 2 р.; VII, VIII, IX, X и XII—по 1 р. 50 к.

2. **Личные мемуары г-жи Роланъ**. Переводъ Н. Г. Вернадской. Цѣна 1 р.

3. **С. И. Носовичъ**. Крестьянская реформа въ Новгородской губерніи (1861—1863). Съ предисловіемъ В. И. Семевского. Цѣна 1 р. 50 к.

---

Изданіе помѣщается въ книжн. складѣ тип. М. М. Стасюлевича.

(Спб., Вас. Остр., 5 л., д. 28).



